
ФОТ. ВАКУЛЕНКО
Visite
PORTRAIT
Корней Чуковский



Корней Чуковский



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Чуковский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ



ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ЛИТЕРАТУРА И ШКОЛА

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕРБ

МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Ч-88

Файл книги для электронного издания подготовлен
в ООО «Агентство ФТМ, Лтд.» по оригинал-макету издания:
Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. –
М.: ТЕРРА–Книжный клуб, 2001.

Составление и комментарии
Е. Чуковская

Оформление художника
С. Любаева

Чуковский К. И.

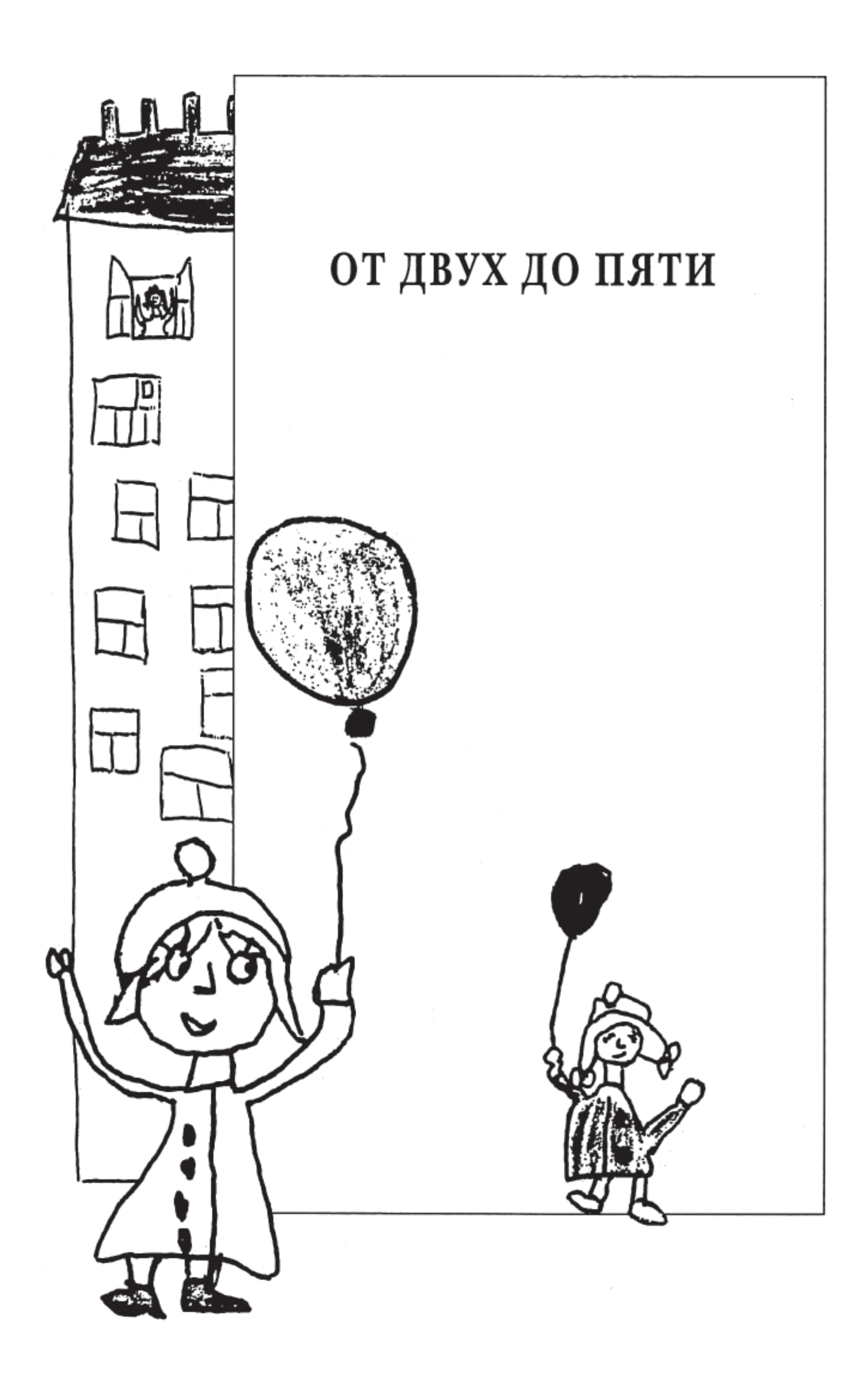
Ч-88 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 2: От двух до пяти; Литература и школа: Статья; Серебряный герб: Повесть; Приложение / Сост., коммент. Е. Чуковской. – 2-е изд., электронное, испр. – М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012. – 640 с.

С творчеством Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) начинают знакомиться в раннем детстве, чтобы затем всю жизнь открывать для себя новые грани таланта писателя. Сочинение сказок, критика, литературоведение, лингвистика, переводы – Чуковский блестяще выступал в этих и многих других областях литературы. Корней Иванович однажды назвал себя «радостным человеком в радостном мире». Познакомиться с удивительным миром Чуковского, представить себе масштаб созданного этим человеком позволяет настоящее Собрание сочинений.

Во второй том включены: книга «От двух до пяти», статья «Литература и школа», повесть «Серебряный герб». В приложение вошли документы 20-х годов, показывающие непростой путь сказок Чуковского к своим читателям, а также книга «Матерям о детских журналах» – первая работа Чуковского как критика детской литературы.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ



Последние издания этой книги я посвящал своей единственной правнучке Маше. Но Маша уже давно не единственная. Добрая моя судьба то и дело обогащает меня все новыми и новыми правнуками. Теперь у меня кроме Маши есть и Юра, и Боба, и Коля, и Андрюша, и Марина, и Митя. Каждому из них и всем вместе я посвящаю эту правдивую книгу, а также их внукам и правнукам, которые будут жить и работать в завтрашнем двадцать первом столетии.

Глава первая
ДЕТСКИЙ ЯЗЫК

...Но всех чудес прекрасных на земле
Чудесней слово первое ребенка.

Петр Семынин

I. ПРИСЛУШИВАЮСЬ

Когда Ляле было два с половиной года, какой-то незнакомый спросил ее в шутку:

— Ты хотела бы быть моей дочкой?

Она ответила ему величаво:

— Я мамина и больше никовойная.

Однажды мы гуляли с ней по взморью, и она впервые в жизни увидела вдали пароход.

— Мама, мама, паровоз купается! — пылко закричала она.

Милая детская речь! Никогда не устану ей радоваться. С большим удовольствием подслушал я такой диалог:

— Мне сам папа сказал...

— Мне сама мама сказала...

— Но ведь папа самее мамы... Папа гораздо самее.

Было приятно узнавать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепешек во рту сквознячок, что гусеница — жена гуся, а муж стрекозы — стрекозёл.

И весело мне было услышать, как трехлетняя спящая девочка внезапно пробормотала во сне:

— Мама, закрой мою заднюю ногу!

И очень забавляли меня такие, например, детские речения и возгласы, подслушанные в разное время:

— Папа, смотри, как твои брюки нахмурились!

*

— Бабушка! Ты моя лучшая любовница!

*

— Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги!

*

— Наша бабуля зарезала зимою гусей, чтоб они не простудились.

*

— Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять.

*

— Бабушка, ты умрешь?
— Умру.
— Тебя в яму закопают?
— Закопают.
— Глубоко́?
— Глубоко́.
— Вот когда я буду твою швейную машину вертеть!

*

Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам.
— Зачем ты это сделал?
— Червячку было скучно. Теперь их два. Им стало веселее.

*

Старуха рассказала четырехлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа: прибили Боженьку гвоздями к кресту, а Боженька, несмотря на гвозди, воскрес и вознесся.
— Надо было винтиками! — посочувствовал внук.

*

Дедушка признался, что не умеет пеленать новорожденных.
— А как же ты пеленал бабушку, когда она была маленькая?

*

Девочке четырех с половиною лет прочли «Сказку о рыбаке и рыбке».
— Вот глупый старик, — возмутилась она, — просил у рыбки то новый дом, то новое корыто. Попросил бы сразу новую старуху!

*

– Как ты смеешь драться?
– Ах, мамочка, что же мне делать, если драка так и лезет из меня!

*

– Няня, что это за рай за такой?
– А это где яблоки, груши, апельсины, черешни...
– Понимаю: рай – это компот.

*

– Тетя, вы за тысячу рублей съели бы дохлую кошку?

*

Басом:
– Баба мылом морду моет!
– У бабы не морда, у бабы лицо.
Пошла поглядела опять.
– Нет, все-таки немножечко морда.

*

– Мама, я такая р а с п у т н и ц а!
И показала веревочку, которую удалось ей распутать.

*

– Жил-был пастух, его звали Макар. И была у него дочь М а к а р о н а.

*

– Ой, мама, какая прелестная гадость!

*

– Ну, Нюра, довольно, не плачь!
– Я плачу не тебе, а тете Симе.

*

– Вы и шишку польете?
–Да.
– Чтобы выросли ш и ш е н я т а?

Окончание «ята» мы, взрослые, присваиваем только живым существам: ягнята, поросята и проч. Но так как для детей и неживое живо, они пользуются этим окончанием чаще, чем мы, и от них всегда можно услышать:

– Папа, смотри, какие вагонята хорошенькие! Сережа двух с половиной лет впервые увидел костер, прыщущий яркими искрами, захлопал в ладоши и крикнул:

– Огонь и огонята! Огонь и огонята!

*

– Ой, дедуля, киска чихнула!

– Почему же ты, Леночка, не сказала кошке: на здоровье?

– А кто мне скажет спасибо?

*

Философия искусства:

– Я так много пою, что комната делается большая, красивая...

*

– В Анапе жарко, как сесть на примус.

*

– Ты же видишь: я вся босая!

*

– Я встану так рано, что еще поздно будет.

*

– Не туши огонь, а то спать не видать!

*

Рисует цветы, а вокруг три десятка точек.

– Что это? Мухи?

– Нет, запах от цветов.

*

– Обо что ты оцарапался?

– Об кошку.

*

Ночью будит усталую мать:

— Мама, мама, если добрый лев встретит знакомую жирафу, он ее съест или нет?

*

— Какой ты страшный спун! Чтобы сейчас было встато!

*

Лялечку побрызгали духами:

Я вся такая пахлая.
Я вся такая духлая.

И вертится у зеркала.

— Я, мамочка, красавлюсь!

*

— Когда же вы со мной поиграете? Папа с работы — и сейчас же за книгу. А мама — барыня какая! — сразу стирать начала.

*

Все семейство поджидало почтальона. Он появился у самой калитки. Варя первая заметила его.

— Почтаник, почтаник идет! — радостно возвестила она.

*

Хвастают, сидя рядом на стульчиках:

— Моя бабушка ругается: черт, черт, черт.

— А моя бабушка ругается: гошподи, гошноди, гошподи, гошподи!

*

Юра с гордостью думал, что у него самая толстая няня. Вдруг на прогулке в парке он встретил еще более толстую.

— Эта тетя заднее тебя, — укоризненно сказал он своей няне.

*

Замечательное детское слово услышал я когда-то на даче под Питером в один пасмурный майский день.

Я зажег для детей костер. Издали солидно подползла двухлетняя соседская девочка:

– Это *всехный* огонь?

– *Всехный, всехный!* Подходи, не бойся!

Слово показалось мне таким выразительным, что в первую минуту я, помнится, был готов пожалеть, почему оно не сделалось «всехным», не вошло во «всехный» обиход и не вытеснило нашего «взрослого» слова «всеобщий».

Я как вижу уличный плакат:

ВСЕХНАЯ РАБОТА НА ВСЕХНОЙ ЗЕМЛЕ
ВО ИМЯ ВСЕХНОГО СЧАСТЬЯ

*

Так же велика выразительность детского слова *сердитки*. Трехлетняя Таня, увидев морщинки на лбу у отца, указала на них пальцем и сказала:

– Я не хочу, чтобы у тебя были *сердитки*!

*

И что может быть экспрессивнее отличного детского слова *смеяние*, означающего многократный и длительный смех.

– Мне аж кисло во рту стало от баловства, от *смеяния*.

*

Трехлетняя Ната:

– Спой мне, мама, *баюльную* песню!

«*Баюльная* песня» (от глагола «баюкать») – превосходное, звучное слово, более понятное детям, чем «колыбельная песня», так как в современном быту колыбели давно уже сделались редкостью.

*

Повторяю: вначале эти речения детей казались мне просто забавными, но мало-помалу для меня, благодаря им, уяснились многие высокие качества детского разума.

II. ПОДРАЖАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

ДЕТСКОЕ ЧУТЬЕ ЯЗЫКА

Если бы потребовалось наиболее наглядное, внятное для всех доказательство, что каждый малолетний ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться возможно внимательнее к сложной системе тех методов, при помощи которых ему удается в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и флексий. Хотя это овладение речью происходит под непосредственным воздействием взрослых, все же оно кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни.

У двухлетних и трехлетних детей такое сильное чутье языка, что создаваемые ими слова отнюдь не кажутся калеками или уродами речи, а, напротив, очень метки, изящны, естественны: и «сердитки», и «духлая», и «красавлюсь», и «всехный».

Сплошь и рядом случается, что ребенок изобретает слова, которые уже есть в языке, но неизвестны ни ему, ни окружающим.

На моих глазах один трехлетний в Крыму, в Коктебеле, выдумал слово п у л я т ь и п у л я л из своего крошечного ружья с утра до ночи, даже не подозревая о том, что это слово спокон веку существует на Дону, в Воронежской и Ярославской областях. В известной повести Л. Пантелеева «Ленька Пантелеев» ярославская жительница несколько раз говорит: «Так и п у л я ю т, так и п у л я ю т!»

Другой ребенок (трех с половиною лет) сам додумался до слова н и к ч е м н ы й.

Третий, неизвестного мне возраста, изобрел слова о б у т к и и о д е т к и (это было в черноморской степи под Одессой), совершенно не зная о том, что именно эти два слова точно в таком же сочетании существуют в течение столетий на севере, в Олонецком крас. Ведь не читал же он этнографических сборников Рыбникова, записавшего некую фольклорную сказку, где были, между прочим, такие слова: «Получаю по обещанию пищу, о б у т к у и о д е т к у»[1].

---

[1] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. III. М., 1910, с. 177.

Самая эта двучленная формула «обутка и одетка» была самостоятельно создана ребенком на основании тех языковых предпосылок, которые даны ему взрослыми.

– Ах ты, стрекоза! – сказала мать своей трехлетней Ирине.

– Я не стрекоза, а я л ю д ь!

Мать сначала не поняла этой «люди», но потом случайно обнаружила, что за тысячи километров, на Урале, человек издавна называется «людью». Там так и говорят:

– Ты что за людь?[1]

Таким образом, ребенок порою самостоятельно приходит к тем формам, которые создавались народом в течение многих веков.

Чудесно овладевает детский ум методами, приемами, формами народного словотворчества.

Даже те детские слова, которых нет в языке, кажутся почти существующими: они могли бы быть, и только случайно их нет. Их встречаешь как старых знакомых, как будто уже слышал их когда-то. Легко можно представить себе какой-нибудь из славянских языков, где в качестве полноправных слов существуют и с е р д и т к и, и н и к о в о й н ы й, и в с е х н ы й.

Или вот, например, слово н ы р ь б а. Ребенок создал его лишь потому, что не знал нашего взрослого слова «ныряние». Купаясь в ванне, он так и сказал своей матери:

– Мама, скомандуй: «К н ы р ь б е приготовиться!»

Н ы р ь б а – превосходное слово, энергичное, звонкое; я не удивился бы, если бы у какого-нибудь из славянских племен оказалось в живом обиходе слово н ы р ь б а, и кто скажет, что это слово чуждо языковому сознанию народа, который от слова ходить создал слово ходьба, от слова косить – косьба, от слова стрелять – стрельба и т. д.

Мне сообщили о мальчике, который сказал своей матери:

– Дай мне нитку, я буду н а н и т ы в а т ь бусы.

Так осмыслил он слова «нанизывать на нитку».

Услыхав от какого-то мальчика, будто л о ш а д а к о п ы т н у л а его, я при первом удобном случае ввернул эти слова в разговор с моей маленькой дочерью. Девочка не

---

[1] Даль приводит это слово как старинное (Толковый словарь, т. II. М., 1955, с. 284).

только сразу поняла их, но даже не догадалась, что их нет в языке. Эти слова показались ей совершенно нормальными.

Да они такие и есть — порою даже «нормальнее» наших. Почему, в самом деле, ребенку говорят о лошади — л о ш а д к а? Ведь лошадь для ребенка огромна. Может ли он звать ее уменьшительным именем? Чувствуя всю фальшь этого уменьшительного, он делает из лошадки — л о ш а д у, подчеркивая тем ее громадность. И это у него происходит не только с лошадкой: подушка для него зачастую — п о д у х а, чашка — ч а х а, одуванчик — о д у в а н, гребешок — г р е б ё х.

— Мама, смотри, петух без г р е б е х а́.

— Уй, какую мы нашли с ы р о е г у!

— В окне на Литейном вот такая и г р у х а!

Сын профессора А. Н. Гвоздева называл большую ложку — л о г а, большую мышь — м ы х а:

— Дай другую л о г у!

— Вот какая м ы х а!

Пушку называл он — п у х а, балалайку — б а л а л а я[1].

Наташа Шурчилова мамины босоножки зовет: б о с о н о г и.

Во всех этих случаях ребенок поступает точно так же, как поступил Маяковский, образуя от слова щенок форму щ е н:

Изо всех щенячьих сил
Нищий щен заголосил.

НЕОСОЗНАННОЕ МАСТЕРСТВО

Переиначивая наши слова, ребенок чаще всего не замечает своего словотворчества и остается в уверенности, будто правильно повторяет услышанное.

Это впервые поразило меня, когда четырехлетний мальчишка, с которым я познакомился в поезде, стал назойливо просить у меня, чтобы я позволил ему повертеть т о р м о з и л о.

Он только что услышал слово т о р м о з и, думая, что повторяет его, приделал к нему окончание и л о.

---

[1] *А. Н. Гвоздев.* Вопросы изучения детской речи (глава «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка»). М., 1961, с. 312 и 327.

Это и л о было для меня откровением: такой крохотный мальчик, а как тонко почувствовал, что здесь необходим суффикс «л», показывающий орудийность, инструментальность предмета. Мальчик словно сказал себе: если то, чем шьют, называется шило, а то, чем моют, — мыло, а то, чем роют, — рыло, а то, чем молотят, — молотило, значит, то, чем тормозят, — т о р м о з и л о.

Одно это слово свидетельствовало, что в уме у ребенка произведена такая четкая классификация суффиксов по разрядам и рубрикам, которая и для созревшего ума представляла бы немалые трудности.

И эта классификация показалась мне тем более чудесной, что сам ребенок даже не подозревает о ней.

Такое неосознанное словесное творчество — один из самых изумительных феноменов детства.

Даже те ошибки, которые нередко случается делать ребенку при этом творческом усвоении речи, свидетельствуют об огромности совершаемой его мозгом работы по координации знаний.

Хотя ребенок и не мог бы ответить, почему он называет почтальона п о ч т а н и к о м, эта реконструкция слова показывает, что для ребенка практически вполне ощутима роль старорусского суффикса н и к, который характеризует человека главным образом по его профессиональной работе — пожар*ник*, физкультур*ник*, сапож*ник*, колхоз*ник*, печ*ник*. Называя почтальона п о ч т а н и к о м, ребенок включил свой неологизм в разряд этих слов и поступил вполне правильно, потому что если тот, кто работает в саду, есть садовник, то работающий на почте есть и вправду п о ч т а н и к. Пусть взрослые смеются над п о ч т а н и к о м. Ребенок не виноват, что в грамматике не соблюдается строгая логика. Если бы наши слова были созданы по какому-нибудь одному прямолинейному принципу, детские речения не казались бы нам такими забавными, они нередко «вернее» грамматики и «поправляют» ее.

Конечно, чтобы воспринять наш язык, ребенок в своем словотворчестве копирует взрослых. Дико было бы думать, что он в какой бы то ни было мере создает наш язык, изменяет его грамматический строй, его словарный состав.

Сам того не подозревая, он направляет все свои усилия к тому, чтобы путем аналогий усвоить созданное многими поколениями взрослых языковое богатство.

Но применяет он эти аналогии с таким мастерством, с такой чуткостью к смыслу и значению тех элементов, из которых слагается слово, что нельзя не восхищаться замечательной силой его сообразительности, внимания и памяти, проявляющейся в этой трудной повседневной работе. Малейший оттенок каждой грамматической формы угадывается ребенком с налету, и, когда ему понадобится создать (или воссоздать в своей памяти) то или иное слово, он употребляет именно этот суффикс, именно то окончание, которые по сокровенным законам родного языка необходимы для данного оттенка мысли и образа.

Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге:

— Мама, мама, какой ползук!

И этим окончанием ук великолепно выразила свое паническое отношение к чудовищу. Не ползёныш, не ползушка, не ползунчик, не ползатель, а непременно ползук! Конечно, этот ползук не изобретен ребенком. Тут подражание таким словам, как жук и паук.

Но все же замечательно, что для данного корня маленький ребенок в один миг отыскал в своем арсенале разнообразных морфем именно ту, которая в данном случае наиболее пригодна.

Двухлетняя Джаночка, купаясь в ванне и заставляя свою куклу нырять, приговаривала:

— Вот притонула, а вот и вытонула!

Только глухонемой не заметит пластики и тонкого смысла этих двух слов. Притонуть не то что утонуть, это — утонуть на время, чтобы в конце концов вынырнуть.

А трехлетний Юра, помогая своей матери снарядить маленького Валю на прогулку, вытащил из-под кровати Валины ботинки, калоши, чулки и гамаши и, подавая, сказал:

— Вот и все Валино обувало!

Одним этим общим словом «обувало» он сразу обозначил все четыре предмета, которые имели отношение к обуви.

Так же выразительно великолепное слово брызгань, сочиненное пятилетним мальчишкой:

— Мы хорошо купались. Такую брызгань подняли!

Большое чутье языка проявил тот деревенский ребенок пяти с половиною лет, который, услышав, что взрослые называют букварь учебником, и воображая, что в точности

воспроизводит их термин, назвал эту книгу — «учило»: очевидно, у ч и л о (как «точило», «молотило», «зубило» и проч.) есть для него орудие ученья.

А суффикс н и к ускользнул от ребенка, так как никакой смысловой аналогии с «умывальником», «кустарником», «чайником» он в слове «учебник» не мог отыскать.

Другой ребенок, назвавший солонку с о л ь н и ц е й, тоже был более чем прав: если вместилище чая — чайница, а вместилище сахара — сахарница, то вместилище соли никак не солонка, а с о л ь н и ц а.

Здесь опять-таки речь ребенка совпадает с народной, ибо, оказывается, слово с о л ь н и ц а так же широко распространено в деревнях, как п у л я т ь, к а р т о х а, о б о р о д е т ь и другие слова, которые у меня на глазах самостоятельно создавали трехлетние дети, воспитанные вдали от влияний «простонародной» речи.

Кстати, отмечу, что созданные ребенком слова «о д у в а н», «с ы р о е г а», «с м е я н и е» существуют кое-где и в народе[1].

Вообще мне кажется, что начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает. В восьмилетних детях ее уже нет и в помине, так как надобность в ней миновала: к этому возрасту ребенок уже полностью овладел основными принципами родного языка. Если бы такое чутье к словесным формам не покидало ребенка по мере их освоения, он уже к десяти годам затмил бы любого из нас гибкостью и яркостью речи. Недаром Лев Толстой, обращаясь ко взрослым, писал:

«[Ребенок] сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети»[2].

Взять хотя бы слово «еще», принадлежащее к категории неизменяемых слов. Помимо глагола «ещёкать», о котором у нас речь впереди, ребенок умудрился произвести от слова «еще» существительное, которое и подчинил законам склонения имен.

Двухлетнюю Сашу спросили:

— Куда ты идешь?

---

1 *В. И. Даль.* Толковый словарь, т. II. М., 1955, с. 574 и т. IV, с. 242, 376.

2 *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1936, с. 70.

— За песочком.

— Но ты уже принесла.

— Я иду за е щ ё м.

Конечно, когда мы говорим о творческой силе ребенка, о его чуткости, о его речевой гениальности, мы, хотя и не считаем этих выражений гиперболами, все же не должны забывать, что (как уже сказано выше) общей основой всех названных качеств является подражание, так как всякое новое слово, создаваемое ребенком, творится им в соответствии с нормами, которые даны ему взрослыми.

Но копирует он взрослых не так просто (и не так послушно), как представляется иным наблюдателям. Ниже, в разделе «Анализ языкового наследия взрослых», будет приведено достаточное количество фактов, доказывающих, что в свое восприятие речи ребенок уже с двухлетнего возраста вносит критическую оценку, анализ, контроль.

Свои языковые и мыслительные навыки ребенок приобретает лишь в общении с другими людьми.

Только это общение и делает его человеком, то есть существом говорящим и думающим. Но если бы общение с другими людьми не выработало в нем на короткое время особую, повышенную чуткость к речевому материалу, который дают ему взрослые, он остался бы до конца своих дней в области родного языка иностранцем, бездушно повторяющим мертвые штампы учебников.

В старину мне случалось встречаться с детьми, которым по различным причинам (главным образом по прихоти богатых родителей) навязывали с младенческих лет словарь и строй чужого языка, чаще всего французского.

Эти несчастные дети, с самого начала оторванные от стихии родной речи, не владели ни своим, ни чужим языком. Их речь в обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, мертвенна — именно потому, что в возрасте от двух до пяти их лишили возможности творчески освоить ее.

Тот, кто в раннем детстве на пути к усвоению родной речи не создавал таких слов, как «п о л з у к», «в ы т о н у т ь», «п р и т о н у т ь», «т о р м о з и л о» и т. д., никогда не станет полным хозяином своего языка.

Конечно, многие неологизмы ребенка нередко свидетельствуют лишь о его неспособности освоить на первых по-

рах те или иные отклонения от норм грамматики, свойственные общепринятой речи.

Иное «созданное» ребенком речение, кажущееся нам таким самобытным, возникло, в сущности, лишь потому, что ребенок слишком прямолинейно применяет к словам эти нормы, не догадываясь ни о каких исключениях. Все это так. И, однако, для меня несомненна огромная речевая одаренность ребенка.

Она заключается не только в классификации окончаний, приставок и суффиксов, которую он незаметно для себя самого производит в своем двухлетнем уме, но и в той угадке, с которой он при создании нового слова выбирает для подражания необходимый ему образец. Самое подражание является здесь творческим актом.

ВЕЛИЧАЙШИЙ ТРУЖЕНИК

Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на бедную детскую голову, а ребенок как ни в чем не бывало ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов и при этом даже не замечая своей колоссальной работы.

У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить то множество грамматических форм, которые так легко и свободно усваивает двухлетний лингвист.

И если изумителен труд, выполняемый им в это время, еще изумительнее та беспримерная легкость, с которой он этот труд выполняет.

Поистине ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом.

Я только что сказал, что, по моим наблюдениям, к восьмилетнему возрасту у ребенка такое изощренное чутье языка притупляется. Но отсюда не следует, что его речевое развитие в какой бы то ни было мере терпит при этом ущерб. Напротив: лишившись недавней способности создавать те своеобразные словесные формы, о которых мы говорили, он сторицей возмещает утрату новыми ценными качествами своего языкового развития.

«В это время, — говорит профессор А. Н. Гвоздев, — ребенок уже в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие, действующие в русском языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него действительно родным. И ребенок получает в нем совершенное орудие общения и мышления»[1].

Конечно, это так. В этом нельзя сомневаться. Лингвистическая работа ребенка переходит теперь на новые рельсы. Использовав результаты, добытые в предыдущий период, ребенок вооружается для более сложного и многообразного речевого общения.

Это очевидно для всякого, кто с достаточным вниманием изучит умственные навыки школьников, недавно вышедших из дошкольного возраста.

Период словотворчества остался у них позади, знание родного языка уже прочно завоевано ими. Теперь, на пороге школы, перед ними новая задача: осознать и осмыслить теоретически то, что в возрасте от двух до пяти они инстинктивно узнавали на практике. С этой труднейшей задачей справляются они превосходно, чего не могло бы случиться, если бы на восьмом году жизни их речевая одаренность угасла совсем.

Это справедливо, но только отчасти. Незыблемым остается тот факт, что процесс овладения речью совершается наиболее быстрыми темпами именно в возрасте от двух до пяти. Именно в этот период в мозгу у ребенка производится наиболее интенсивная выработка генерализации грамматических форм. Механизм этой выработки до такой степени целесообразен и мудр, что невольно назовешь гениальным лингвистом того малыша, ум которого в течение такого короткого времени систематизирует столько грамматических схем.

Уже давно установлено, что в возрасте около года запас слов у ребенка исчисляется единицами; к концу второго года достигает двухсот пятидесяти — трехсот слов, а к концу третьего года доходит до тысячи, то есть сразу, всего в один год, ребенок утраивает свой словарный запас, после чего на-

---

[1] *А. Н. Гвоздев.* Вопросы изучения детской речи. М., 1961, с. 467.

копление слов происходит уже более медленно. То же относится и к грамматическим формам, которыми овладевает в ту пору ребенок. Когда-то я попробовал сделать приблизительный подсчет этих форм (склонение, спряжение, функции приставок и суффиксов). У меня их получилось не меньше семидесяти. И все эти «генерализаторы», образующиеся в мозгу у ребенка раз навсегда, на всю жизнь, возникают в наибольшем количестве в возрасте от трех до четырех, когда лингвистическая одаренность ребенка проявляется с особенной силой.

III. «НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ»

Когда-то мне случилось подслушать несколько замечательных детских речений, где отчетливо сказался тот метод, при помощи которого ребенок незаметно для себя осмысляет нашу «взрослую» речь. Трехлетняя Мура вбежала ко мне и сказала:

— Мама просит мазелин!

— Какой мазелин?

Оказалось, что ее послали принести вазелин. Но вазелин для нее мертвое слово, и вот по дороге из комнаты в комнату она незаметно для себя оживила и осмыслила его, так как в том и заключается для нее существо вазелина, что это мазь, которой можно мазать. Другой ребенок по той же причине назвал губную помаду — губная помаза.

Столь же удачно оживил и осмыслил непонятное слово мой знакомый Кирилл двух с половиною лет. Когда он был болен, он все время повторял:

— Положите мне на голову холодный мокресс!

Он смутно слыхал непонятное слово «компресс» и, думая, что повторяет его, нисколько не желая новаторствовать, создал новое, вполне соответствующее его разумению. Он как бы сказал себе: это мокрая тряпка, почему же она не мокресс? Ведь не знает младенец латинского слова «компрессио» (сжатие), от которого происходит «компресс».

Одна четырехлетняя девочка вместо слова «термометр» говорила то теплóмер, то теплóметр, бессознатель-

но переводя это слово на русский язык и в то же время сохраняя его прежнюю видимость.

Другая вместо «петля» говорила *це́пля*, будучи в твердой уверенности, что повторяет услышанное, а не творит нечто новое. *Цепля* — это куда выразительнее: то, чем цепляешь за крючок.

Такое же осмысление непонятного слова произвел тот ребенок, которому я показал бегающую по блюдечку ртуть:

— Дядя Чукоша принес нам *вертутию*!

Все засмеялись, но кто-то сказал:

— Что вы смеетесь? Ведь вертится. Значит, *вертутия*.

— Мама, я видел автомобиль с поднимающимся *пузовом*. (Великолепная интерпретация слова «кузов».)

Буся (неизвестного мне возраста) метко обозвал бормашину зубного врача *больмашиной*, причем любопытно, что дети из детского дома, которым пришлось побывать у дантиста, дали бормашине то же прозвище.

Здесь такая же — незаметная детям — полемика с нашим невыразительным (для детского понимания) словом, стремление к наивысшей его экспрессивности.

Характерно в этом отношении прелестное слово *кусарик*. Так Леля называла сухарик, который для ребенка ведь не сухостью своей примечателен, а именно тем, что его можно кусать. Какой же он сухарик? Он — *кусарик*.

А четырехлетняя Таня Иванова сказала:

— Возьми меня, мама, к *вихрахеру*.

— К *вихрахеру*?

Мать не без труда догадалась, что *вихрахер* — это парикмахер, который стрижет ей вихры.

В самом деле, для чего отмечать в языке такую деятельность наших брадобреев, которая большинству из них нынче несвойственна? Парики ушли из обихода в XVIII веке, и «делатели париков» (парикмахеры) сохранились главным образом при театрах и клубах, остальные же стали *вихрахерами*, назначение которых заключается в том, чтобы подстригать нам «вихры».

В большинстве случаев дети только к тому и стремятся, чтобы возможно точнее скопировать старших. Но, пытаясь воспроизвести во всей точности нашу «взрослую» речь, они бессознательно *исправляют* ее, причем, повторяю, изумительна та виртуозность, с которой, переменяя в услы-

шанном слове один только звук, они заставляют это слово подчиниться их логике, их ощущению вещей.

— У мамы сердечко болело, и она пила болерьянку.

Словом, если ребенку незаметно прямое соответствие между функцией предмета и его названием, он исправляет название, подчеркивая в этом слове ту единственную функцию предмета, которую он успел разглядеть.

Таким образом, мы убеждаемся снова и снова, что развитие речи ребенка являет собою единство подражания и творчества.

Едва только двухлетний Тараска узнал слово «молоток», он сделал из него колоток. Тронул в нем одну только «литеру», и в результате все слово оторвалось от своего прежнего корня и как ни в чем не бывало стало расти на другом. А что такое для ребенка молоток? Случайное сочетание звуков.

Ребенок бессознательно требует, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове был живой, осязаемый образ; а если этого нет, ребенок сам придаст непонятному слову желательные образ и смысл.

Вентилятор у него — вертилятор.

Паутина у него — паукина.

Пружинка — кружинка.

Милиционер — улиционер.

Буравчик — дырявчик.

Экскаватор — песковатор (потому что выгребает песок).

Рецепт — прицепт (потому что прицепляется к аптечной бутылке).

Коклю́ш — кашлю́ш.

Всюду один и тот же метод осмысления услышанных слов путем непреднамеренной подмены минимального количества звуков. Услышав два стишка из «Мойдодыра»:

И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как трещотки... —

моя трехлетняя дочь, никогда не слыхавшая слова «трещотка», попыталась осмыслить его при помощи такой трансформации:

И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как три тетки.

Из всех недетских песен ребята нашей страны чаще всего слышат, конечно, «Интернационал». Эта песня ими чрезвычайно любима, хотя многое в ней они понимают по-своему. Я знаю, например, трехлетнего младенца, который, услышав строку «Воспрянет род людской», воспроизвел ее так:

Воз пряников в рот людской.

Еще забавнее поступила в подобном же случае четырехлетняя Наташа. Услышала она песню соседки:

Хоть ты сватай, хоть не сватай,
Все равно тебя люблю... –

и спела ее на следующий день своей кукле:

Хоть ты с ватой, хоть без ваты,
Все равно тебя люблю.

ОСМЫСЛЕНИЕ РЕЧИ БЕССМЫСЛИЦЕЙ

Случается, что погоня за смыслом приводит ребенка к сугубой бессмыслице. Услышав, например, песню, которая начиналась словами:

Царь дрожащего творенья, –

ребенок воспроизвел ее так:

Царь, дрожащий от варенья.

Дикое это словосочетание было для ребенка гораздо осмысленнее, чем то, которое он услышал от взрослых.

*

В сказке царевна говорит жениху:

– Властелин души моей.

Услышала эту сказку трехлетняя Ира и пересказала восклицание царевны по-своему:

– П л а с т и л и н души моей.

*

Мать причесывает четырехлетнюю Люду и нечаянно дергает ее волосы гребнем. Люда хнычет, готова заплакать. Мать говорит в утешение:

— Терпи, казак, атаманом будешь!

Вечером Люда играет с куклой, причесывает ее и повторяет:

— Терпи, коза, а то мамой будешь!

*

Такое же влечение к смыслу, к наглядным словам и вещам сказалось в той великолепной бессмыслице, которую создал недавно один четырехлетний москвич.

Услышав от взрослых стихи:

Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес, как стрела,
Но злая пуля осетина
Тебя во мраке догнала... —

он сразу заучил их наизусть, причем последнее двустишие было им оформлено так:

Но злая рыба осетрина
Тебя во мраке догнала.

И здесь опять-таки эта бессмыслица для него гораздо более насыщена смыслом, чем то вполне осмысленное сочетание слов, которое дано ему взрослыми.

*

Четырехлетняя Галочка называла Дон-Кихота «Тонкий Кот».

*

Когда моя старшая сестра заучивала вслух стихотворение Пушкина:

Как ныне сбирается вещий Олег, —

я, пятилетний мальчишка, понимал эту строчку по-своему:

Как ныне собирает свои вещи Олег.

*

У Батюшкова есть такая строка:

Шуми, шуми волнами, Рона!

Известный языковед Д. Н. Ушаков говорил на лекции студентам, что в детстве эта строка воспринималась им так:

Шуми, шуми, волна Мирона![1]

*

Точно такое же словесное творчество можно наблюдать и в речи народа.

В лингвистике это ложное осмысление слов именуется «народной этимологией».

Николаевские солдаты приспособили к своему пониманию иностранное слово «гошпиталь», придав ему ехидное прозвище «вошпиталь» (то есть питомник вшей).

Народное наименование пластыря — кластырь, бульвара — гульвар. Поликлинику в народе часто зовут полуклиникой, в отличие от клиники, то есть больницы.

Немецкое слово Profoss (так назывался когда-то военный полицейский служитель, исполнявший обязанности надзирателя и палача) стало в просторечии прохвостом[2].

Вспомним некрасовское:

— Как не понять! С медведями
Немало их шатается
Прохвостов и теперь.

Те древние египетские сфинксы, что стоят над Невой в Ленинграде перед Академией художеств, именовались в просторечии сфинками (то есть попросту свинками), что отмечено в одном из ранних стихотворений Некрасова:

Я мимо сфинок шел[3].

И в одном из рассказов Даля:

«...о набережной, на которой лежат две свинки, огромные»[4].

---

[1] *Д. Н. Ушаков.* Краткое введение в науку о языке. М., 1925, с. 41 — 42.

[2] *В. В. Виноградов.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1938, с. 52.

[3] *Н. А. Некрасов.* Полн. собр. соч. и писем, т. 1. М., 1948, с. 365.

[4] *В. И. Даль.* Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М.–Л., 1961, с. 56 и 448.

Обыватели к этому народному творчеству всегда относились свысока, пренебрежительно.

В «Скверном анекдоте» Достоевского два чиновника высказывают это пренебрежение так:

«— Русский народ-с, по глупости, изменяет иногда литеры-с и выговаривает иногда по-своему-с. Например, говорят невалид, а надо бы сказать инвалид-с.

— Ну-да... невалид, хе-хе-хе!»

Но, конечно, так поступает всякий живой и здоровый народ. Русский человек, хозяин своего языка, не потерпит, чтобы в этом языке звучали неживые слова, корня которых он не может понять и почувствовать. Ему нужно, чтобы в самом звуке был смысл. Каждое слово подчиняет он своей собственной логике, причем, стремясь к осмыслению слова, он тем самым русифицирует его.

Величайшим знатоком и любителем народной этимологии был, как известно, Лесков. Его герои то и дело говорили: клеветон (фельетон), мелкоскоп (микроскоп), долбица (таблица умножения) и т. д. Барометр превращался у них в буреметр, дезабилье — в безбелье. Французское слово «мораль» производили они от русского слова «марать»:

«Пустили мараль на девку, — замарали ее доброе имя».

Сравните у Островского в «Поздней любви»: «Связываться с бабой, я так понимаю, мараль».

И у Глеба Успенского в «Будке»: «От него на нас мараль идет».

У Куприна в «Поединке» французскую фамилию Дювернуа солдаты превратили в русскую Доверни-Нога. Известно, что иностранец Кос ван Дален сделался в России Козодавлевым.

В «Войне и мире» казаки переделали имя молодого француза Винсента в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молодости:

— Эй, Висеня! Висеня! Весенний!

Так же поступает ребенок, превращая вентилятор в вертилятор, лопатку в копатку и молоток в колоток.

Путем минимального изменения в звуковой структуре непонятного слова ребенок, незаметно для себя, осмысляет

его, причем в этой новой редакции выдвигаются существеннейшие (с точки зрения ребенка) качества того лица или предмета, которые данными словами обозначены.

Так, Адик Павлов называл Серафиму Михайловну Сахарина Михайловна, а маленькая Ира, подметив, что запонки являются исключительной принадлежностью папы, переименовала их в папонки:

— Папочка, покажи твои папонки!

Слюнка, например, у детей превращается в плюнку:

— Потому что мы не слюём, а плюём.

Язык они называют лизык, и мне сообщают о Нине Гуляевой, которая достигла семилетнего возраста, а все еще не могла примириться с нашим взрослым «искажением» формы лизык:

— Как же так! Лизать — и вдруг не лизык, а язык!

По-украински язык у волов и коров так и называется лизень.

Ребенок и представить себе не может, чтобы взрослые создали слово, в звуке которого нет характеристики функций обозначенного этим словом предмета. Тополь — должен топать, орел — орать, а радуга — радовать:

— Почему это — радуга? Потому что она радуется, да?

До сих пор, насколько мне известно, эти языковые процессы были замечены исследователями только у взрослых. Но вот, оказывается, и в речи детей они занимают не последнее место, ибо нет никакой существенной разницы между вертилятором и мелкоскопом, между вертутией и сфинкой.

IV. ДЕЙСТВЕННОСТЬ

И заметьте, как действенны эти ребячьи слова. В большинстве случаев они изображают предметы исключительно со стороны их действия.

Строганок — то, чем строгают.

Копатка — то, чем копают.

Колоток — то, чем колотят.

Цепля — то, чем цепляют.

Вертутия — то, что вертится.

Лизык — то, что лижет.

Мазелин — то, чем мажут.

Кусарики — то, что кусают.

Здесь нет ни единого слова, которое не было бы связано с движением, с динамикой. Всюду выдвинута на первое место действенная функция предмета.

Трехлетний ребенок уверен, что каждая вещь существует для того или иного точно определенного действия и вне этого действия не может быть понята.

В существительном ребенок ощущает скрытую энергию глагола.

Вы только всмотритесь, с каким напряженным вниманием глядит годовалый младенец на автомобили, мотоциклы, трамваи, следя за их непрерывным движением.

Почти все исправления, вносимые ребенком в нашу «взрослую» речь, заключаются именно в том, что он выдвигает на первое место динамику.

В «народной этимологии» взрослых это происходит не так часто, потому что взрослые подмечают в словах и другие особенности. Русские крестьяне из клироса делали крылос (от слова «крыло»), Хамильтона превращали в Хомутова, то есть оперировали и существительными, а «народная этимология» детей почти всегда обнаруживает в названии предметов глагол.

Но, конечно, и детям порою случается выдвигать в названии предмета не глагол, а имя существительное или — очень редко — прилагательное.

Мне сообщают о пятилетнем Гаврюше, который ботанику называл цветаника (его отец был директором ботанического сада), а ватрушку — творушка (от слова «творог»); и я знаю Мусю, которая называла нафталин муфталином, так как была уверена, что нафталин существует специально для маминой муфты.

Впрочем, таких словообразований не много. Большинство детских слов, входящих в область «народной этимологии», связано с глагольными формами.

Так велико у детей тяготение к глаголу, что им буквально не хватает глаголов, существующих во «взрослом» языке. Приходится создавать свои собственные.

Нет, кажется, такого существительного, которое ребенок не превратил бы в глагол:

— Часы часикают.

— Вся елка обсвечкана! Вся елка обсвечкана!

Брат трехлетней Нины играет на балалайке. Нина страдальчески морщится:

— Не *балалай*, пожалуйста!

Ребенок создает такие глаголы десятками — гораздо чаще, чем мы.

Прищемив себе руку дверью, ребенок кричит:

— Ай, я *задверил* руку!

И пусть родителей коробит это смелое производство глагола, ребенок считает его совершенно нормальным. От него во всякое время можно услышать:

— *Отскорлупай* мне яйцо.

— *Замолоточь* этот гвоздик.

— Бумага *откнопкалась*.

— Я *защёкала* свою карамельку.

— Ого-го, как *ладошкаются*!

— Я *намакаронился*.

— Я уже *начаёпился*.

И даже:

— Мы *почайпили* кофе.

Иногда оглаголивается даже наречие.

— *Расширокайтесь*!.. *Расширокаитесь*! — кричала своим гостям четырехлетняя девочка, требуя, чтобы они расступились.

В глагол превращается даже слово «еще»:

— Покачайте меня на качелях, только я не сойду, а буду все *ещёкать* и *ещёкать*[1].

Глаголом может стать даже междометие *алло*:

— Папа *алёкает* по телефону.

Сережа прижался к маме, она обняла его.

— Весь *обмамился*! — хвалится он.

Это приводит к экономии речи. Вместо того чтобы отмахиваться от назойливых мух, Аркашка предпочитает *отмухиваться*:

— Я сижу и *отмухиваюсь*. Сижу и *отмухиваюсь*.

Нет таких слов, которых ребенок не превратил бы в глаголы:

— Идем *покойночиться* с папой и мамой.

Даже муфта приобретает у него глагольную форму:

---

[1] Кстати отмечу, что слово, «ещёкать» по своей структуре вполне соответствует «взрослому» глаголу «бисировать», произведенному от латинского «бис» (bis).

— Ой, мама, зачем ты меня так замуфтала?

Словом, на каждом шагу обнаруживается, что наших глаголов детям недостаточно. Им требуется больше, чем мы можем им дать, хотя дать мы можем вообще немало, так как наш язык чрезвычайно богат глаголами, произведенными от имен существительных. От слова цыган русские люди произвели глагол выцыганить, от слова Кузьма — подкузьмить, от слова Егор — объегорить, от слова черт — чертыхаться, осточертеть. И вот еще подобные глаголы, происшедшие от имен существительных:

остолбенеть — от слова столб,

обезьянничать — от слова обезьяна,

приземляться — от слова земля,

прилуняться — от слова луна.

И от имен прилагательных:

богатеть — от слова богатый,

хорошеть — от слова хороший.

И от междометий:

хихикать, кукарекать, мяукать[1].

Так что ребенок и здесь поступает в полном соответствии с исконными нормами родного языка. Самые смелые и причудливые из новообразований ребенка и в данном случае не выходят за рамки общенациональных языковых традиций.

Замечательно, что детские глаголы типа отскорлупать, намакарониться создаются по такой же схеме, по какой наши великие писатели, художники слова, пытались в свое время создать новые формы глаголов.

Державин сочинил глагол ручьиться (от слова ручей), Жуковский — обезмышить, Кольцов — пилатить, Гоголь — обыностраниться, омноголюдеть, оравнодушеть, Гончаров — байронствовать, Щедрин — душедрянствовать, умонелепствовать.

Порою такие неологизмы создавались для выражения иронии, когда автор и сам сознавал всю нарочитую несуразность сочиненного слова.

---

[1] Ср. *В. В. Виноградов.* Русский язык (глава «Система глагольного словообразования»). М.–Л., 1947, с. 433–437.

Таково, например, двустишие, которое приписывалось Пушкину:

Я влюблен, я очарован,
Словом, я огончарован.

Таковы почти все новые глаголы, которые вводил в свою речь Достоевский: афонить (от названия горы Афон), фонзонить (от фамилии Фонзон), апельсинничать, лимонничать, амбициозничать, белоручничать, подробничать и проч. Все, за исключением двух: джентльменничать и стушеваться. Только эти два и удержались у нас в языке. Большинство же промелькнуло и забылось, как, например, герценовский глагол магдалиниться.

— Магдалинится молодой человек.

(От имени кающейся грешницы Магдалины.)

Таковы же у Чехова: тараканить, этикетничать, пересобачиться, каверзить, окошкодохлиться, размокропогодиться.

В «Воспоминаниях» Кони:

«Он выпивши был — у нас престольный праздник, ну он и напрестолился».

Чуя эти языковые законы, четырехлетний лингвист говорит:

— Наседка оцыплятилась!

Все это слова-экспромты, слова-однодневки, которые и не притязали на то, чтобы внедриться в язык, войти в общий речевой обиход, сделаться универсально пригодными. Созданные специально для данного случая, они чаще всего культивировались в домашних разговорах, в частных письмах, в шуточных стихах и умирали тотчас же после своего появления на свет.

Бывали такие периоды в истории языка, когда этот процесс образования глаголов (главным образом от имен существительных) как будто затихал на много лет, но потом внезапно становился необычайно активным и приобретал очень широкий размах. Так случилось, например, в тот период, когда творил Маяковский, щедро вводивший в свою поэзию такие слова, как обезночить, миллионить, вихрить, иудить, июлить, мандалинить, выфрантить, выгрустить...

Конечно, это не было личным его произволом: такие ли-

тературные новшества были отражением того, что совершалось в быту, потому что в ту эпоху и разговорная речь изобиловала такими словами:

— Ах как я з а к а с т р ю л и л а с ь!

— Он п о д ф а м и л и л бумагу...

— Как вам не стыдно м е ш о ч н и ч а т ь!

— З а к о м и с с а р и л с я молодой человек!

Недаром незадолго до этого Хлебников оперировал такими словами, как ч и н г и с х а н и т ь, м о ц а р т и т ь, а Игорь Северянин вводил в свои «поэзы» такие глаголы, произведенные от имен существительных, как о с у п р у ж и т ь с я, о к а л о ш и т ь, о п р о б о р и т ь, о ф р а ч и т ь с я, о н е з д е ш н и т ь с я, н а с т р у н и т ь с я и проч., и проч., и проч.

В смокингах, в шик о п р о б о р е н н ы е,
великосветские олухи
В княжьей гостиной н а с т р у н и л и с ь,
лица свои о г л у п и в.

Читатели охотно принимали тогда подобные словесные новшества, ибо новшества эти были в духе эпохи: в бытовой, разговорной речи происходил тогда тот же процесс усиленного оглаголивания имен существительных. Тогда же создалась такая песня:

Чай пила,
Баранки ела,
С а м о в а р н и ч а л а.

Потом (приблизительно к середине 30-х годов) этот процесс заглох. Значительно позже появились в русском разговорном языке глаголы: п ы л е с о с и т ь, п ы л е с о с н и ч а т ь.

В речи ребенка такой периодизации нет. Каждое новое поколение детей всегда создает снова и снова великое множество подобных глаголов, не замечая своего языкового новаторства. Активность оглаголивания имен существительных снижается у них лишь по мере того, как они выходят из дошкольного возраста. Как близко примыкают создаваемые ими глагольные формы к тем формам, которые созданы и создаются народом, видно, например, из слова р а с к у л а ч и т ь. Впервые я услыхал это слово полвека назад — даже

раньше. Гай, внучонок И. Е. Репина, крепко сжал свой кулачишко и сказал:

— Ну-ка раскулачь мои пальцы!

В те времена такого слова еще не существовало в народе, так как раскулачивание (в нынешнем значении этого термина) еще не стало историческим фактом. Для того чтобы ребенок мог заранее — так сказать, наперед — сконструировать то самое слово, которое лет двадцать спустя было создано народными массами, нужно, чтобы он в совершенстве владел теми же приемами построения слов, которые выработал в течение тысячелетий народ.

V. ЗАВОЕВАНИЕ ГРАММАТИКИ

ЗА — ВЫ — НА — РАС — ОБ

Смотри, как *на*лужил дождь!

— Ой, какой пузырь я *вы*пузырила!

— Дай мне *рас*пакетить пакеты.

— На тебе кочергу, *по*кочергай.

— Видишь, как я хорошо *при*удобился.

— Погоди, я еще не *от*сонилась.

— Мама сердится, но быстро *у*добряется.

— Весь мост *за*лошадило.

— На что это ты так *у*глазилась?

В этих глаголах меня особенно восхищают приставки, придающие каждому слову именно тот оттенок экспрессии, какой придает им народ.

Они показывают, как чудесно ощущает ребенок назначение этих маленьких *за*, *вы*, *у*, *на*, *рас*, *об* и т. д. *У*глазиться, *вы*пузырить, *рас*пакетить, *за*дверить, *на*табачить, *при*удобиться, *об*снегиться — здесь ребенок никогда не ошибется. Он уже в два с половиною года великолепно распоряжается всеми префиксами.

Когда Юрику Б. не понравилось, что за ужином его мать посолила яйцо, он закричал:

— *Вы*соли обратно!

А другой мальчишка, долго корпевший над какимто бумажным изделием, вдруг проговорил, торжествуя:

— Трудился, трудился и *вы*трудил пароходик! Таких примеров можно привести очень много:

— Никак не могу *рас*понять, что нарисовано на этой картинке.

— Я помнил, помнил, а потом *от*помнил.

— Мама, *от*пачкай мне руку!

— *За*разился, а потом *от*разился (выздоровел).

— Папа, уже *рас*гащивается! — крикнула отцу пятилетняя дочь, когда гости, пришедшие к матери, стали понемногу расходиться.

*Рас*гащивается! Одним этим смелым, внезапно сотворенным глаголом она обнаружила такое гениальное чутье языка, какому мог бы позавидовать и Гоголь.

Все эти приставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная ее выразительность в значительной мере зависит от них. *при*курить, *за*курить, *вы*курить, *рас*курить, *на*курить, *об*курить, *про*курить, *пере*кур — в этом разнообразии приставок таится разнообразие смыслов.

И разве не изумительно, что ребенок уже на третьем году своей жизни вполне овладевает всем этим обширным арсеналом приставок и великолепно угадывает значение каждой из них. Взрослый иностранец, хотя бы он изучал наш язык много лет, никогда не достигнет такой виртуозности в обращении с этими частицами слов, какую проявляет двухлетний ребенок, бессознательно воспринимающий от предков систему их языкового мышления.

Эту виртуозность, как мы только что видели, обнаружила двухлетняя Джаночка, когда она сказала свою бессмертную фразу про куклу:

— Вот *при*тонула, а вот и *вы*тонула!

Ни в чем не сказывается с такой очевидностью лингвистическая чуткость и одаренность ребенка, как именно в том, что он так рано постигает все многообразные функции, выполняемые в родном языке каждой из этих мелких и незаметных частиц.

Ребенок впервые очутился на даче. На соседних дачах и справа и слева лают весь вечер собаки. Он с удивлением спрашивает:

— Что это там за *пере*лай такой?

Этот *пере*лай (по аналогии со словами *пере*кличка, *пере*писка, *пере*бранка, *пере*пляс, *пере*звон) отлично изобразил то явление, которое подметил ребенок: прерывистость и «обоюдность» собачьего лая.

Чтобы объяснить «перелай» иностранцу, пришлось бы прибегнуть к такой многословной описательной речи: лают две собаки (или больше) с двух противоположных сторон, причем не сразу, а попеременно — едва умолкает одна, тотчас же принимается лаять другая: *п е р е* л а й.

Вот сколько понадобилось бы слов, чтобы выразить то, что ребенок высказал единственным словом с короткой приставкой.

Сравни у Маяковского:

Это, Кися, не «переписка»!
Это только всего п е р е *п и с к*[1].

ЛЬЗЯ И НЕЛЬЗЯ

Любопытная особенность детских приставок: они никогда не срастаются с корнем. Ребенок отрывает их от корня и легче, и чаще, чем взрослые. Он, например, говорит:

— Я сперва боялся трамвая, а потом в ы к, в ы к и привык.

Он не сомневается в том, что если есть «привык», то должно быть и «вык».

То же и с частицами отрицания.

Скажешь, например, малышу: «Ах, какой ты невежа!», а он: «Нет, папочка я в е ж а, я в е ж а!» Или: «Ты такой неряха», а он: «Ладно, я буду р я х а!»

Бабушка Ани Кокуш сказала ей с горьким упреком:

— Ты недотёпа.

Аня со слезами:

— Нет, д о т ё п а, д о т ё п а!

И вот восклицание Мити Толстого перед клеткой зоосада:

— Ай, какие обезьяны у к л ю ж и е![2]

У взрослых отрицание *не* чаще всего пристает к корням. Я впервые подумал об этом, когда услышал такой разговор малышей:

— Не плачь, он ударил нечаянно.

— Нет, ч а я н н о, ч а я н н о, я знаю, что ч а я н н о!

---

[1] Литературное наследство, т. 65. М., 1958, с. 129.

[2] Ср. у Полежаева: «И уклюжистые бары» (*А. И. Полежаев,* Стихотворения. М.–Л., 1933, с. 323), и у Игоря Северянина: «Ты послушай меня, мой уклюжий...»

Есть целая категория слов, не существующих во «взрослом» языке без отрицания. Таково, например, слово о ж и д а н н ы й. Без приросшего к нему отрицания оно в новейшей литературе уже не встречается. Стандартной формой стало: «неожиданный», но в прежнее время мы то и дело читали:

«О ж и д а н н о е скоро сбылось...» (Щедрин).

«Вместо о ж и д а н н о й знакомой равнины...» (Тургенев).

Некрасов в 1870 году ввел это слово в поэму «Дедушка»:

Вот наконец приезжает
Долго о ж и д а н н ы й дед, —

но в первом же издании той книги, где была вторично напечатана эта поэма, счел необходимым изменить всю строку:

Вот наконец приезжает
Этот таинственный дед[1].

Дети не одобрили бы этой поправки. Ибо слово «ожиданный» живо для них и сейчас.

Лет двадцать назад я подслушал такой диалог:

— Отстань, я тебя ненавижу.

— Я тебя тоже не очень н а в и ж у.

И то же самое довелось мне услышать недавно:

— Мама, я не могу н а в и д е т ь пенки[2].

Словом, дети и знать не желают этого нерасторжимого сращения приставки и корня; и попробуйте скажите трехлетнему Юре, что он говорит нелепости, — он запальчиво ответит: «Нет, л е п о с т и!»

Вообще всякое «не» обижает детей:

— Ненаглядная ты моя!

— Нет, н а г л я д н а я!

Я сказал на Кавказе двухлетнему загорелому малышу:

— Ух, какой ты стал негритенок.

— Нет, я г р и т е н о к, г р и т е н о к.

Неустанно вникая в структуру всякого сложного слова, дети часто воскрешают в своих речах то далекое прошлое,

---

[1] *Н. А. Некрасов*. Полн. собр. соч. и писем, т. III. М., 1949, с. 8 и 422.

[2] То же и в неизданном дневнике Ф. Вигдоровой: «Мама, ты нас ненавидишь, а мне надо, чтобы ты нас навидела». Там же есть слово «чаянно».

когда еще не наблюдалось такого сращения служебных частиц и корней. От слова «лепости» так и пахнуло стариной, когда лепым называлось ладное, гармоничное, стройное.

Вспомним: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие» – в «Слове о полку Игореве», а также: «У людей-то в дому чистота, лепота» – в «Песнях» Некрасова (1866).

Другое старинное слово я слышал от детей много раз, когда говорил им «нельзя». Они отвечали: «Нет, льзя». И это льзя напоминало Державина:

Льзя ли розой не назвать?

Льзя, лепый, вежа, чаянно – эти древние слова умерли лет полтораста назад, и ребенок, не подозревая об этом, воскрешает их лишь потому, что ему неизвестна их неразрывная спайка с частицей «не», установившаяся в давней традиции. Он вообще не знает никаких исключений из общего правила, и если эти исключения относятся к позднейшей эпохе, то, игнорируя их, он тем самым возвращает словам их забытый смысл. Помню возглас одного четырехлетнего воина:

– Я пленил Гаврюшку, а он убежал!

Пленил, то есть взял в плен.

Это архаическое слово почти совсем забыто в нашей речи, и если мы употребляем его, то чаще всего в переносном смысле («она пленила меня красотой»), а ребенок вернул ему его прямое значение, оглаголив существительное «плен».

Таким же архаистом поневоле оказался малыш, закричавший своему брату во время игры:

– Я тебе приказываю, – значит, я твой приказчик!

В старину приказчиком был действительно тот, кто приказывал, а не тот, кто подчинялся приказам. Ребенок – по аналогии со словами «указчик», «заказчик» – возвратил «приказчику» его утраченную руководящую роль.

ОН И ОНА

Замечательна чуткость ребенка к родовым окончаниям слов. Здесь он особенно часто вносит коррективы в нашу речь.

– Что ты ползешь, как черепаха? – говорю я трехлетнему мальчику.

Но он уже в три года постиг, что мужскому роду не пристало иметь женское окончание «а»:

– Я не черепаха, я черепах.

*

Вера Фонберг пишет мне из Новороссийска о следующем разговоре со своим четырехлетним сыном.

– Мама, баран – он?

– Он.

– Овца – она?

– Она.

– А почему папа – он? Надо бы пап, а не папа.

Другой такой же грамматический протест:

– Мама, у меня на пальце царап!

– Не царап, а царапина.

– Это у Муси если – царапина, а я мальчик! У меня царап!

От четырехлетней Наташи Жуховецкой я слышал:

– Пшеница – мама, а пшено – ее деточка.

О такой же классификации родовых окончаний, произведенной одним дошкольником, мне сообщают из Вологды:

– Синица – тетенька, а дяденька – синиц.

– Женщина – русалка. Мужчина – русал.

Начинают играть:

– Я буду барыня, ты, Таня, слуга, а Вова будет слуг.

Позже, к семилетнему возрасту, дети начинают подмечать с удивлением, что в русской грамматике слова одной и той же категории бывают и мужского, и женского рода:

– Мам! Москва – она, и Пенза – она. Ростов – он, Смоленск – он.

Когда отец Алены Полежаевой укоризненно сказал ей: «Ляля – бяка», она тотчас же от этого женского рода образовала мужской:

– Папа – бяк! Папа – бяк! Папа – бяк!

– Папа, ты мужчин!– говорит Наташа Маловицкая, так как с окончанием *а* у нее связано представление о женщинах. Это представление в некоторой степени свойственно также взрослым. Недаром в народе говорят: «с мальчишком», «с дедушком».

Трехлетний Вова играет в уголке:

– Бедный ты зайчонок… Тебя пьяниц сбил…

Очевидно, для его языкового сознания только женщина может быть «пьяницей».

«КЛЕВАЧИЙ ПЕТУХ»

На предыдущих страницах мы говорили главным образом о той любопытной структуре, которую малолетние дети придают глаголам и существительным. Имена прилагательные сравнительно редко встречаются в речи детей. Но даже в том небольшом их числе, которое удалось мне собрать в течение очень долгого времени, тоже явственно выразилось присущее детям чутье языка:

– Червячее яблоко.

– Жмутные туфли.

– Взбеситая лошадь.

– Дочкастая мамаша.

– Зоопарченный сторож.

– Грозительный палец.

– Пугательные сказки.

– Сверкастенький камушек.

– Молоконная кастрюля.

– Какой окошный дом!

– Какой песок песучий!

– Вся кровать у меня крошкинная.

– Что ты мне даешь слепитые конфеты?

– Зубовный врач.

– У нас электричество тухлое.

– Жульничная я, все равно как мальчишка.

– Брызгучая вода.

– Насмарканный платок.

– Лопнутая бутылка.

– Ты, мама, у меня лучшевсехная!

– Это рыбижирная ложка?

– Я не хочу эту сумку: она вся дыркатая.

– Этот дом высокей нашей почты.

– Почему у ящерицы людины пальцы?

– Наше радио очень оручее.

– Уж лучше я непокушанная пойду гулять.

– Исчезлая собака.

— К л е в а ч и й петух.

— Р а з д а в и т а я муха.

— К р е с л ы е ноги.

— М а х у ч и й хвост.

(Несколько иначе у Чехова: «н а с е к о м а я коллекция».)

Галочка четырех лет похваляется:

— Говорят: надень чулки — надеваю носки! Говорят: надень носки — надеваю чулки. Я вообще н а о б о р о т л и в а я.

Мальчик услышал, как некая купальщица сказала на пляже:

— Я прямо с ума сошла. Купаюсь четвертый раз.

И спросил у матери часа через два:

— Куда она ушла, с у м а с о ш л а т а я?

Четырехлетняя Майя:

— Лес з а б л у д и т е л ь н ы й, о д н о й н е л ь з я х о д и т е л ь н ы й.

Несмотря на всю свою причудливость, каждое из этих прилагательных, изобретенных малым ребенком, вполне соответствует духу русской народной речи, и я не удивился бы, если бы в каком-нибудь из славянских языков оказались такие слова, как «че р в я ч е е яблоко» или «за б л у д и т е л ь н ы й лес».

СКРЕЩИВАНИЕ СЛОВ

Из созданных ребенком прилагательных мне особенно пришлось по душе слово «блистенький»:

— Моя чашка такая б л и с т е н ь к а я (блестящая и чистенькая сразу).

Б л и с т е н ь к и й — синтетическое слово. В нем слиты два разных слова, корни которых различны. Таково же услышанное мною недавно: б р о н е м е ц к а я машина.

Замечу кстати, что такое скрещивание двух разных корней наблюдается не только в прилагательных.

— Я п о л о м о ю (мою полы).

— Где же твоя в о л о с е т к а? (сетка для волос).

—Я б е з у м и т е л ь н о люблю кисанек! (безумно плюс изумительно).

К этой же категории относится слово п е р е в о д и н к и — переводные картинки.

Недавно мне сообщили о маленьком Юре, которого взрослые назойливо спрашивали:

— Чей ты сын?

Вначале он всякий раз отвечал:

— Мамин и папин!

Но потом это ему надоело, и он создал более краткую формулу:

— М а п и н!

*

— Смотрю, какая ж у к а ш е ч к а ползет! (жук плюс букашечка).

*

— Давай сделаем из снега к у ч е л о! (куча плюс чучело).

*

Примеряет бескозырку:

— Шапка с м о р я к о р е м (моряк плюс якорь).

*

Кира, лет двенадцати, крикнула:

— Мама, дай мне, пожалуйста, л у к с у с у!

Я не понял, чего она хочет.

— Л у к с у с — это лук с уксусом, — пояснила мне Кирина мать. — Кира, когда была маленькая, так быстро произносила «лук с уксусом», что у нее получался «л у к с у с». Слово это осталось в нашей семье навсегда.

*

Владимир Глоцер в детстве кого-то обозвал п о д х а л и з о й (подхалим плюс подлиза).

*

Четырехлетняя Маша Пантелеева создала такое же составное словечко: м а р т о ч к а (марка плюс карточка)[1].

---

[1] *Л. Пантелеев.* Наша Маша. Книга для родителей. Л., 1966, с. 259.

*

Трехлетняя Таня Дубинюк.

— У моего папы тоже такой пиджакет (пиджак плюс жакет).

*

И вот гибрид паука с тараканом:

— Мама, я боюсь, на полу паукан!

*

Луксус, мапин, пиджакет, паукан, подхализа, волосетка, безумительно, блистенький — подобные составные слова создаются не только детьми. И. Е. Репин в своей книге «Далекое близкое» выразился, например, о газетных писаках, что они «шавкали из подворотни». Это была обмолвка. На самом деле он хотел написать «тявкали, как шавки», — но слово «шавкали» так выразительно, что отказаться от него было жалко, и я как редактор книги свято сохраняю его в репинском тексте.

Когда два схожих слова вклиниваются одно в другое так, что в результате получается новое, состоящее из двух приблизительно равных частей, это слово называется гибридным. Примером такого гибрида может служить слово драмедия (драма + комедия); слово это придумал один из друзей Чарли Чаплина, стремившийся охарактеризовать те своеобразные киноспектакли, которые созданы гениальным актером.

«Его комедия балансирует на грани трагедии... Для этого подходящее название — драмедия»[1].

Таким же гибридом является другое английское слово смог, сложенное из двух слов: смок — дым и фог — туман.

«Смог, — говорит Сергей Образцов, — непроницаемый, рыжий, отравленный углеродом холодный пар»[2].

Слово это возникло давно: оно встречается в английской газете «Daily News» уже в 1905 году. Знаменитый анг-

[1] *Чарлз Чаплин-младший.* Мой отец Чарли Чаплин. «Иностранная литература», 1961, № 7, с. 150.

[2] *С. Образцов.* О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон. М., 1956, с. 174—175.

лийский писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране Чудес», очень любил сочинять такие составные слова и называл их «слова-чемоданы»[1].

По своей структуре эти «взрослые» слова-чемоданы — д р а м е д и я, с м о г и ш а в к а л и — ничем не отличаются от детских в о л о с е т о к, п а у к а н о в и л у к с у с о в.

ТИПИЧНЫЕ «ОШИБКИ» ДЕТЕЙ

Среди детских местоимений особенным своеобразием отличаются притяжательные:

— Это ч ь и н а я мама? И х и н н а я?

— Это к т о й т и н а шляпа?

— Это к т о ш и н а девочка?

— Тетя Нина, а Волга к а в о н и н а?

Слово «чья» приходит сравнительно поздно.

Местоимения указательные нередко чудятся детям даже там, где их нет. Я, например, в раннем детстве был уверен, что этажерка — два слова: эта жерка. И говорил: «на этой жерке», «под этой жеркой» и проч. Теперь я убедился, что такую же ошибку совершают очень многие дети, чуть услышат слово «этажерка».

Писатель Юрий Олеша сообщил мне, что пятилетний Игорь Россинский наряду с «этой жеркой» ввел форму «та жерка». А другой пятилетний говорил: «та буретка» и «эта буретка».

Труднее всего малым детям даются капризные формы разноспрягаемых глаголов:

— Мой папа в о е в а е т.

— Не воевает — в о й н у е т.

Или:

— Лампа уже з а ж г и т а.

— Зачем ты говоришь «з а ж г и т á»? Надо говорить: «з а ж г и н á»!

— Ну вот, «з а ж г и н á»! Зажгёна!

Иногда этот лингвистический спор принимает форму монолога. Мальчик, спавший в одной комнате со мною, тихо говорил сам себе, уверенный, что я его не слышу:

— Мы с п л я м?

---

[1] «Вопросы языкознания». 1961, № 4, с. 140.

— Не...

— Мы *сплим*?

— Не...

— Мы *сплюм*?

— Не...

Так и не дошел до формы *спим*.

Вообще «неправильными» глаголами дети распоряжаются так, словно это глаголы правильные, и с математической точностью от одной формы производят по аналогии все прочие:

— Рыбка *оживела*.

— Бабушка меня скипидаром *потрила*.

— Ты не *дадошь*, а я *взяму*.

— Я вам *зададу*, подождите.

— *Нарисовай* мне барбоса.

— *Спей* мне песню о глупом мышонке.

— Котя Ляльку колотил, Ляля громко *визгала*.

— Когда дети входят в комнату, их *наслаждают* конфетами.

— Ты чувствуешь, как теплый глаз к твоему уху *прижмался*?

— Верка *плювается*.

— *Укладила* куклу спать.

— Я как только *лягну*, так и вижу сон.

Любопытно, что большинство изъявительных форм произведено здесь механически от повелительных: *лягну* от ляг, *зажмила* от зажми, *потрила* от потри, *принесила* от принеси.

— Юрик меня *поцелул*.

А повелительные столь же прямолинейно производятся от неопределенного: *спей*, *нарисовай*, *причесай*.

— Я *искаю* револьвер. Она *драется*.

Впрочем, дети по инерции могут создать из любой глагольной формы любую глагольную форму.

— Наташа, идем в столовую.

— Не хочу *идёмить* в столовую.

И вот еще более яркий пример: повелительное наклонение глагола, произведенное от восклицания, не имеющего к глаголам никакого касательства.

— Боже мой! Боже мой! — ужасается бабушка, увидев, как

измазался в глине ее четырехлетний Володя. Володе не нравятся ее причитания.

– Пожалуйста, не божемойкай! – говорит он сердито.

*

С. Изумрудова сообщила мне такой замечательный разговор двух четырехлетних девиц:

– А я твоего петушка спря-та-ю (очень протяжно).

– А я отыскаю.

– А ты не отыскаешь.

– Ну, тогда я сядаю и заплакаю.

*

– Ты же пил чай.

– Да не пил я. Я только пивнул капельку.

*

– Стрелка на часах ходнула разок.

*

– Ой, как больнуло живот!

*

– Я только немножко откуснул от пирожка[1].

*

– Пойдем в этот лес заблуждаться... Да что ты от меня все ухаживаешь?

*

Деревенской девочке сказали, что мы собираемся в лес, она спросила:

– Всколькером?

Это слово так очаровало меня, что, признаться, в первую минуту я даже подумал: ввести бы его в нашу «взрослую» речь. Нам его давно не хватает. Изволь говорить: «В каком

[1] Ср. у Есенина: «Вот опять петухи кукурекнули».

числе человек вы собираетесь в лес?», когда можно коротко и прямо сказать: «Всколькером?»

Здесь ребенок (тоже вполне самостоятельно) подошел к самым истокам народной речи, ибо в народе на Севере бытует форма «сколькеро», которая по аналогии с «пятеро», «шестеро» относится исключительно к одушевленным предметам[1].

*

Вообще для ребенка пластичны даже такие слова, форма которых, по убеждению взрослых, не подлежит изменениям. Интересны формы сравнительной степени, образованные от таких слов, как е д в а, н е л ь з я, з в е з д а, у т р о, никогда не знавших этой формы.

Воспитательница детского сада сказала, например, об одном из питомцев:

– Бедный мальчик, он едва идет!

– Подумаешь! – ревниво отозвался другой. – Я, может быть, иду еще е д в е е.

*

Девочкам дали по белой кувшинке:

– Смотри, у меня как звездочка!

– А у меня еще з в е з д е е!

*

– Вставай, уже утро!

– Я буду ждать, когда станет у т р е е.

*

– За это нельзя браться, а за то еще н е л ь з е й, да?

*

Благодаря многократным и единообразным воздействиям речи, которую ребенок с утра до вечера слышит от всех окружающих, в уме у него создаются соответствующие грам-

---

[1] «Сколькеро (горностаев увернулись)». *Ел. Тагер.* Зимний берег. М., 1957, с. 46.

матические обобщения; сам того не замечая, он умело и тонко применяет их к каждому данному случаю.

Возьмем хотя бы только что приведенное слово «пивнул». Конечно, суффикс «ну», означающий мгновенность, однократность, законченность действия, подсказан ребенку взрослыми, от которых он, несомненно, слыхал «чихнул», «хлебнул», «глотнул», «повернул», «заглянул» и т. д. Да и самое слово «пивнул» существует в наших диалектах. Но ребенок его никогда не слыхал, и то обстоятельство, что он в совершенстве постиг сложную экспрессию суффикса «ну» и так удачно применил свое обобщение к одному из тех слов, которым в обычной «взрослой» речи этот суффикс не свойствен, говорит о самостоятельной конструктивной работе ребенка.

– У меня развязнулся шнурок.

– У мамы коса расплетнулась!

Особенно выразительно звучит у детей суффикс «ну» в тех глаголах, в которые он не допускается взрослыми. Это видно из такого, например, диалога:

Кира. Мама, Лена кривляется!

Лена. Неправда!

Кира. А кто сейчас кривнулся?

*

Конечно, такие слова, как «ихинная», «кавонина», «ктойтина», «сумасошлатая» и т. д., тоже построены по готовым моделям, но самый выбор именно той модели, которая наиболее пригодна для каждого данного случая, никоим образом нельзя свести к механическому подражанию.

VI. АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ ВЗРОСЛЫХ

КРИТИК И БУНТАРЬ

К сожалению, у нас все еще не перевелись теоретики, которые продолжают твердить, будто ребенок, как автомат, без раздумья, послушно копирует нашу «взрослую» речь, не внося в нее никакого анализа.

Эта неправда декларируется даже в научных статьях — именно декларируется, потому что доказать ее никак невозможно. Стоит только внимательнее приглядеться к языковому развитию детей, чтобы стало ясно, что подражание у них сочетается с самым пытливым исследованием того материала, который предлагают им взрослые:

— Кочегарка — жена кочегара.

— Судак — это которого судят?

— Начальная школа — это где начальники учатся?

— Раз они пожарные, они должны делать пожар, а тушить пожар должны т у ш е н н и к и!

Какой ребенок уже на четвертом году не приставал к своей матери с такими вопросами, в которых заключается самая строгая и даже придирчивая критика «взрослых» речений:

— Почему сверчок? Он сверкает?

— Почему ручей? Надо бы ж у р ч е й. Ведь он не ручит, а журчит.

— Почему ты говоришь: тополь? Ведь он же не топает.

— Почему ты говоришь: ногти? Ногти у нас на ногах. А которые на руках — это р у к т и.

— Почему ты говоришь: рыба клюет? Никакого клюва у ней нет.

— Почему разливательная ложка? Надо бы н а л и в а т е л ь н а я.

— Почему перочинный нож? Надо бы о т о ч и т е л ь н ы й. Никакие перья я им не чиню.

— Почему белку зовут белка? Давай перезовем ее р ы ж к о й!

Нет ребенка, который в известный период своего духовного роста не задавал бы подобных вопросов. Названный период его жизни характеризуется самым пристальным вглядыванием в конструкцию каждого слова.

Я, например, знаю очень многих ребят, отвергающих слово «художник», так как они уверены, что если слово начинается наречием «худо» — значит, это слово ругательное. О. И. Капица рассказывает о пятилетнем мальчике, который говорил про художника, сделавшего иллюстрацию в книжке:

— Он совсем не художник: он очень хорошо нарисовал.

Смастерив какую-то картинку, этот же мальчик воскликнул:

— Посмотрите, какой я хорошник.

Когда же картинка особенно удается ему, он говорит:

— А теперь я прекрасник![1]

О чем бы мы ни говорили с ребенком, мы не должны забывать, что он, жадно впитывая в себя наши слова, требует, чтобы в них была безупречная логика, и не прощает нам ни малейших ее нарушений.

Это очень наглядно показывает такой, например, эпизод.

Мать рассердилась и сказала трехлетнему Ване:

— Ты мне всю душу вымотал!

Вечером пришла соседка. Мать, разговаривая с нею, пожаловалась:

— У меня душа болит.

Ваня, игравший в углу, рассудительно поправил ее:

— Ты сама сказала, что я у тебя всю душу вымотал. Значит, у тебя души нету и болеть нечему.

Ему неведомо, что такое душа, но он по своему трехлетнему опыту знает, что, если что-нибудь выпито, вылито, вымотано, оно перестает существовать, — и говорить, будто оно болит, не годится. Таких случаев великое множество.

Проезжая в Крыму по степи, я назвал эту степь пустыней. Но моя четырехлетняя спутница указала на убогие кустики:

— Это не пустыня, а кустыня.

Четырехлетний Вадик с удивлением увидел, что взрослые наливают в молочник не молоко, а вино.

— Теперь это не молочник, а виновник.

Требуя, чтобы в конструкции каждого слова была самая прямолинейная логика, ребенок сурово бракует слова, логика которых не удовлетворяет его:

— Это не синяк, а красняк.

— Корова не бодает, а рогает.

Леночка Лозовская (четырех с половиною лет), увидя утят, воскликнула:

— Мама, утки утьком идут!

— Гуськом.

— Нет, гуси — гуськом, а утки — утьком.

В тех взрослых, которые окружают ребенка, он, естественно, видит непогрешимых учителей языка. Он учится у них с младенческих лет, старательно копируя их речь.

---

[1] *О. И. Капица.* Детский фольклор. Л., 1928, с. 181.

Но тем разительнее тот строгий контроль, которому он эту речь подвергает.

Услышав, например, что бабушка сказала кому-то: «Ты тогда еще под стол пешком ходил», внучка перебивает ее язвительным смехом:

— Разве под стол на извозчиках ездят?

Когда же бабушка сказала однажды, что вот скоро и праздник придет, внучка возразила, смеясь:

— Разве у праздника — ножки?

Этот вопрос о ножках задают очень многие дети, полемизируя таким образом с нашим метафорическим истолкованием слов «идти» и «ходить». Слишком широкое и многообразное применение этих слов то и дело сбивает малышей с толку.

Мать приказала ребятам запереть за нею дверь на крючок и никого не впускать, «так как, — пояснила она, — по городу ходит скарлатина».

В отсутствие матери кто-то долго стучался к ним в дверь.

— Приходила скарлатина, но мы не впустили.

Правда, в конце концов у детей создается привычка к нашим «взрослым» идиомам и метафорам, но эта привычка вырабатывается не слишком-то скоро, и любопытно следить за различными стадиями ее возникновения и роста. Приведу один очень характерный пример. В семье заговорили о новой квартире, и кто-то сказал, что ее окна выходят во двор. Пятилетний Гаврик счел необходимым заметить, что окна из-за отсутствия ножек не могут ходить по дворам. Но произнес он это свое возражение без всякой запальчивости, и было видно, что для него наступил тот период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей. Этот период, насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому до смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

Ребенок и здесь, как всегда, стоит на страже правильности и чистоты русской речи, требуя, чтобы речь соответствовала подлинным фактам реальной действительности (в той мере, в какой эта действительность доступна ему).

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жаришь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

*

Отец как-то сказал, что шоколадную плитку нужно отложить на черный день, когда не будет другого сладкого. Трехлетняя дочка решила, что день будет черного цвета, и очень долго и нетерпеливо ждала, когда же придет этот день.

*

Четырехлетняя Светлана спросила у матери, скоро ли наступит лето.

— Скоро. Ты и оглянуться не успеешь.

Светлана стала как-то странно вертеться.

— Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета все нету.

ПРОТИВ МЕТАФОР

Тут все дело в том, что мы, взрослые, если можно так выразиться, мыслим словами, словесными формулами, а маленькие дети — вещами, предметами предметного мира. Их мысль на первых порах связана только с конкретными обра-

зами. Потому-то они так горячо возражают против наших аллегорий и метафор.

«Пришел Иван домой, а лягушка спрашивает: «Что это ты голову повесил?»» Игорь так и представил себе, что снял Иван голову и повесил на гвоздик.

*

Иные дети, наделенные юмором, нередко притворяются для шутки, что не могут понять те или иные фразеологизмы нашей речи, дабы принудить нас к более строгому соблюдению правил, которые мы сами дали им.

Пожалуешься, например, при ребенке:

— У меня сегодня ужасно трещит голова!

А ребенок насмешливо спросит:

— Почему же не слышно треска?

И тем подчеркнет свое отрицательное отношение к странной (для него) манере взрослых выражать свои мысли метафорами, столь далекими от подлинных реальностей жизни.

Дети-юмористы часто придираются даже к понятным словам, чтобы поставить нам в вину их «неточность».

Мать зовет свою трехлетнюю Киру к себе под одеяло «поласкаться» и слышит иронический вопрос:

— Разве мама полоскательная чашка?

*

Мать говорит дочери после долгой разлуки:

— Как ты похудела, Надюша. Один нос остался.

— А разве, мама, раньше у меня два носа было? — иронически возражает четырехлетняя дочь.

*

Сердитый отец — четырехлетнему сыну:

— Чтобы этого у меня и в заводе не было!

Сын — рассудительным голосом:

— Но ведь здесь не завод, а квартира.

*

Услышав, что женщина упала в обморок, ребенок саркастически спрашивает:

— А кто ее оттудова вынул?

*

Играя с Жоржем оловянными солдатиками, я сказал про одного из них, что он будет стоять на часах. Жорж схватил солдатика и со смехом помчался туда, где висели стенные часы, хотя ему было отлично известно, что такое «стоять на часах».

Впрочем, такая полемика с нашей «взрослой» речью не всегда производится в шутку. Я знаю пятилетнюю девочку, которая краснеет от гнева, когда при ней говорят о баранках.

— Почему ты называешь их баранками? Они не из барана, а из булки.

Требуя от взрослых точной и недвусмысленной речи, ребенок иногда ополчается даже на те привычные формулы вежливости, которыми мы пользуемся автоматически, не вникая в их подлинный смысл.

Дядя дал Леше и Бобе по бублику.

Л е ш а. Спасибо.

Д я д я. Не стоит.

Боба молчит и не выражает никакой благодарности.

Л е ш а. Боба, что же ты не скажешь спасибо?

Б о б а. Да ведь дядя сказал: не стоит.

*

Чаще всего эта детская критика вызвана искренним непониманием нашего отношения к слову.

Ребенок, которого мы сами приучили к тому, что в каждом корне данного слова есть отчетливый смысл, не может простить нам «бессмыслиц», которые мы вводим в нашу речь.

Когда он слышит слово «близорукий», он спрашивает, при чем тут руки, и доказывает, что нужно говорить б л и з о г л а з ы й.

*

— И почему кормилица? Надо п о и л и ц а. Ведь не котлетами же будет она нашего Зёзьку кормить!

*

И почему перчатки? Надо п а л ь ч а т к и.

*

— Мама, вот ты говоришь, что сосульки нельзя сосать. Зачем же их назвали сосульками?

Иногда ребенок протестует не против смысла, а против фонетики данного слова. Писатель Н. Прянишников сообщает мне из Уральска про тамошнюю четырехлетнюю девочку, которая с возмущением узнала, что имя нарисованного в книжке человека — Шекспир. Она даже отказалась повторить это имя:

— Так дядей не зовут, а только службу!

Должно быть, слово Шекспир прозвучало для нее как Сельмаш, Мосгаз, Деттиз и т. д.

Замечательно, что даже малыши, еще не умеющие связно излагать свои мысли, и те заявляют протест против сбивчивости и неясности наших речей.

Говорю Вове (пятнадцати с половиной месяцев):

— Вот наденем носочки и пойдем гулять.

Он не дает мне надеть их и, протягивая к ним руки, повторяет: «Носоки, носоки». Я не понимаю, в чем дело, и думаю, что он не хочет одеваться. Но он хватает у меня носки, прикладывает их к носу, громко смеется и опять повторяет: «Носоки, носоки», указывая этим, что, по его убеждению, носочками не могут называться предметы, которые не имеют касательства к носу.

Он так мал, что даже не может выразить эту мысль при помощи слов, но мимика его не оставляет сомнений, что он считает глубоко неправильным то несоответствие между названием и вещью, которое в данном случае допущено нами. Таким образом, еще почти бессловесный, он уже выступает с полемикой против нашего отношения к слову.

Конечно, подражательные рефлексы ребенка чрезвычайно сильны, но ребенок не был бы человеческим детенышем, если бы в свое подражание не вносил критики, оценки, контроля. Только этот неослабный контроль над нашей установленной речью дает ребенку возможность творчески усвоить ее.

Ребенок усваивает нашу «взрослую» речь не только путем подражания, но и противоборствуя ей.

Это противоборство бывает двоякое:

1. Неосознанное, когда ребенок даже не подозревает о том, что он забраковал наши слова и заменил их другими.

2. Нарочитое, когда ребенок сознает себя критиком и мелиоратором услышанных им речений.

И в том и в другом случае основные законы установленной, выработанной взрослыми речи остаются для ребенка непреложными. На них он никогда не посягнет; если же он восстает против некоторых наших речений, то лишь для того, чтобы вступиться за эти законы.

Мы кажемся ему законодателями, нарушающими свои же уставы, и он требует, чтобы мы выполняли их с наивысшею строгостью.

Иногда, впрочем, дети великодушно снисходят к заблуждениям взрослых, и полемика завершается полюбовным размежеванием двух различных «систем языка».

— Мама, — предлагает четырехлетняя Галка Григорьева, — давай договоримся. Ты будешь по-своему говорить: «полозья», а я буду по-своему: «п о в о з ь я». Ведь они не «лозят», а возят.

Но такая покладистость — явление сравнительно редкое. Чаще всего ребенок защищает свою версию горячо и упрямо, не допуская никаких компромиссов:

— Почему ты говоришь — «колоть дрова»? Ведь дрова не колют, а т о п о р я т.

Многие ошибки ребенка объясняются, по-моему, тем, что из нескольких функций той или иной части слова он усваивает всего лишь одну и начисто отвергает другие.

Заметив, например, что суффикс *к(а)* придает многим словам уничижительный смысл (Ань*ка*, Сонь*ка*, Вер*ка* и т. д.), ребенок не видит, что то же самое окончание *ка* обладает иногда другими свойствами и применяется при других обстоятельствах. Поэтому он готов протестовать против этого *ка* даже тогда, когда уничижительный оттенок отсутствует.

— Ругаться нехорошо: надо говорить не «иголка с ниткой», а и г о л а с н и т о й.

Я спросил у трехлетней Оли:

— Почему ты называешь веревку — «в е р е в а»?

— А тебе приятно будет, — пояснила она, — если тебя будут Корнюшкою звать?

Она же с демонстративным упрямством называла свою кошку — к о ш а.

— Она к о ш а, потому что хорошая; а когда она будет плохая, я назову ее кошка.

А трехлетний Игорь по той же причине называет белку — б е л а.

Здесь основная причина большинства тех словесных ошибок, которые совершает ребенок: действуя аналогиями, он не догадывается о многообразии функций, выполняемых данной частицей слова.

Обычно ему бывает известна всего одна-единственная функция этой частицы, и всякий раз, когда мы выходим за пределы единственной известной ему функции, он уличает нас в искажении слов.

Таких фактов тысячи, и все они неопровержимо свидетельствуют, что ребенок в меру своих умственных сил очень часто бессознательно анализирует тот языковый материал, который дают ему взрослые, и порою даже бракует его, если то или иное речение почему-либо не соответствует общим грамматическим или логическим нормам, усвоенным ребенком ранее в процессе его общения со взрослыми.

VII. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ШТАМПОВ

СВЕЖЕСТЬ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛОВ

Только игнорируя все это множество фактов, можно утверждать, наперекор очевидности, будто ребенок механически, слепо, без раздумья и критики принимает от нас наше языковое наследие.

Нет, всякий, кто внимательно наблюдает детей, не может не заметить, что приблизительно к четырехлетнему возрасту у них появляется сильнейшая склонность анализировать (большею частью вслух) не только отдельные слова, но и целые фразы, которые они слышат от взрослых.

Ибо (повторяю опять и опять!) смысловое восприятие слов и словесных конструкций у ребят значительно острее, чем у нас.

Мы так давно орудуем словами, что наше словоощущение притупилось. Мы пользуемся речью, не замечая ее. А ребенок вследствие свежести своих восприятий есть требовательный контролер нашей речи.

Особенно беззаконными кажутся ребенку наши фразеологизмы. Услышав, например, выражение «они живут на ножах», ребенок так и представляет себе, что существуют большие ножи, на лезвиях которых лежат и сидят какие-то странные люди.

Когда же он услышал, что пришедшая в гости старуха «собаку съела» на каких-то делах, он спрятал от нее своего любимого пса.

А когда кто-то спросил у него, скоро ли ему стукнет шесть лет, он прикрыл свое темя руками.

У трехлетней Тани порвался чулок.

– Эх, – сказали ей, – пальчик-то каши просит!

Проходит неделя, а пожалуй, и больше. Вдруг все с удивлением видят, что Таня украдкой насыпала в блюдечко каши и тычет туда палец ноги.

Издавна пользуясь речью, мы именно благодаря этому долгому сроку успеваем забыть первичное значение множества слов.

Это забвение – закономерный и в высшей степени благотворный процесс, что видно хотя бы из нашего отношения к именам и фамилиям. Я знаю ребенка, который так и прыснул от смеха, услыхав фамилию Грибоедов, ибо ему ясно представился ее изначальный смысл. Мы же, взрослые, связываем с этой фамилией столько светлых и величественных ассоциаций, что давно уже забыли ее прямое значение. От нашего внимания ускользнуло, что в слове «Грибоедов» есть «гриб».

Детскому сознанию несвойственно такое вытеснение смысла из произносимого слова.

Мне пишут о пятилетнем Алике, который, впервые услышав фамилию Горький, спросил:

– Почему у него невкусная фамилия?

Тогда как из тысячи взрослых людей, говорящих о Горьком, едва ли найдется один, который сохранил бы в уме первоначальное значение его псевдонима.

– А у Ломоносова ломаный нос? – спросила четырехлетняя Саша, к великому удивлению взрослых, которые, произнося фамилию великого человека, никогда не замечали того странного образа, который заключается в ней.

То же и с именами. Говоря о Льве Толстом, кто же из нас ощущает, что лев – название дикого зверя! Но Боря Новиков, пяти с половиною лет, серьезно сообщил своей матери,

что слушал по радио передачу о Тигре Толстом, – так свежо и остро у ребенка ощущение каждого слова – ощущение, которое, к нашему счастью, уже притупилось у нас.

*

– Я в школу не пойду, – заявил пятилетний Сережа. – Там на экзамене ребят режут.

*

Спрашивают его о сестре:

– Что же это твоя Иришка с петухами ложится?

– Она с петухами не ложится – они клюются: она одна в свою кроватку ложится.

*

– Вот выпадет снег, ударят морозы...

– А я тогда не выйду на улицу.

– Почему?

– А чтоб меня морозы не ударили.

*

Иногда это детское непонимание нашей фигуральной или метафорической речи приводит взрослых к немалым конфузам.

Четырехлетняя Оля, привезенная матерью к тетке в Москву, долго смотрела на нее и на дядю и наконец, во время чаепития, разочарованно и очень громко воскликнула:

– Мама! Ты говорила, что дядя сидит у тети Анюты на шее, а он все время сидит на стуле.

*

Про какого-то доктора взрослые говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

– А где у тебя твои куры?

*

– С тобой голову потеряешь, ей-богу! – говорит, например, сердитая мать.

– Со мною не потеряешь: найду – подниму.

*

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножах», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще ощутимо.

Поэтому ребенок так часто попадает впросак, прислушиваясь к нашим разговорам. Когда, например, один трехлетний американец узнал, что на афише цирка напечатано: «За детей — полцены!» (то есть, иными словами, дети платят за вход половину), он, по словам Джемса Сэлли, обратился к своей матери с просьбой:

— Мама, купи мне ребеночка: они стали такие дешевые.

*

Двухлетняя Джана, которую я уже цитировал на одной из предыдущих страниц, говорила знакомым, что ее мать на луне, так как неоднократно слыхала от взрослых, что мать уехала в отпуск н а м е с я ц.

*

Стася услышал, что враги были под Москвой.

— Значит, и под нашей террасой?

Слова «под Москвой» он воспринял буквально и решил, что речь идет о больших подземельях, прорытых под улицами и зданиями города.

*

— Мама, что такое война?

— Это когда люди убивают друг друга.

— Не друг друга, а враг врага!

Когда мы произносим «друг друга», мы вполне резонно забываем, что то слово, которое дважды повторяется здесь,

связано с понятием «дружба». Только благодаря этому забвению в нашей речи возможны такие обороты, как: «они ненавидят друг друга», «они пакостят друг другу» и т. д. Но для свежего и острого восприятия детей отказ от прямого значения слов невозможен, и они требуют, чтобы люди сражались не «друг с другом», а «враг с врагом».

Такая критика получаемого от взрослых языкового материала представляется мне одним из очень многих путей, которые в конце концов приводят ребенка к полному обладанию родной речью.

ОБЩЕДЕТСКИЕ СЛОВА

Критическое отношение к смыслу и форме слов наблюдается не только у особо одаренных детей, но чуть ли не у всех без изъятия. Это видно уже из того, что каждый нормальный ребенок зачастую придумывает те же слова, какие в том же возрасте придумываются другим малышом, и третьим, и четвертым, и пятым, ибо все эти слова создавались по одним и тем же общенациональным законам.

За свою долгую жизнь я видел по крайней мере десяток малышей, которые независимо один от другого заново придумывали слово «н и к о в о й н ы й».

Т. Анциферова из г. Пушкина сообщает:

«Ма з е л и н», очевидно, общедетское слово, бродячий сюжет... Все мои дети в известном возрасте называли так вазелин – и без всякой преемственности».

То же произошло и со словом «р о г а е т с я». Судя по письмам, получаемым мною, дети в огромном своем большинстве не понимают чуждого им слова «бодаться» и всякий раз изобретают заново более наглядное.

В. Евстигнеев сообщает из Гомеля:

«На вопрос, что такое в и х р а х е р, л и з ы к и н а м а к а р о н и л с я, моя Зоя ответила правильно».

Т. Кузнецова из Великих Лук пишет мне, что ее двухлетняя Дина создала те самые слова, которые есть в моей книжке; л о г а (ложка), п о д у х а (подушка), п л ю н к а (слюна).

– Боря свою п л ю н к у пальчиком мажет!

Попытаемся же дознаться, каковы те слова, которые всякий раз сочиняются сызнова всяким новым поколением русских детей.

Н. Елисеева (Ленинград) сообщает мне, что из числа слов, приводимых в одном из первых изданий этой книжки, ее Надя самостоятельно придумала не только мазелин, но и лощаду.

С разных концов СССР несколько родителей поведали мне почти одновременно, что их дети тоже изобрели кверхногается.

Особенно многочисленны случаи одинакового оглаголивания имен существительных: от Архангельска до Астрахани русские дети во всех селах, деревнях, городах вновь и вновь сочиняют слова: топорить, молоточить, отскорлупить, начаёпиться. Так же широко распространены общедетские названия орудий работы: колоток, копатка и другие.

Слово «всехный» оказалось действительно всехным: теперь мне известны двадцать восемь «изобретателей» этого слова. В их числе — шестилетний сын Льва Толстого Ванечка. Когда Софья Андреевна показала Ванечке участок земли, предназначенный ему во владение, мальчик рассердился и — в качестве природного толстовца — сказал:

— Ах, мама, всё — всéхнее[1].

Существуют не только слова, а целые фразы, которые вновь и вновь создаются детьми.

Когда-то я опубликовал в своей книжке выражение моего младшего сына:

— Посоли сахаром!

Потом, лет через двадцать, услышал такую же фразу от другого трехлетнего мальчика, а теперь нахожу ее вновь в недавнем дневнике Н. А. Менчинской, записавшей о своем сыне (четырех с половиною лет): «Употребил такое выражение: «посолить сахаром»»[2].

Было бы небесполезно составить словарь таких общедетских речений, изобретаемых сызнова чуть не каждым

---

[1] «Красная новь». 1928, № 9, с. 162.

[2] *Н. А. Менчинская.* Развитие психики ребенка. Дневник матери. М., 1957, с. 139.

трехлетним-четырехлетним ребенком. Они схожи, а порой и тождественны, так как взрослые, в лице бабок, отцов, матерей, воспитателей, не только внушают каждому ребенку одинаковые — общенациональные — принципы построения речи, но и дают однородный строительный материал. И один «изобретатель» отлично понимает другого.

«Одинаковые принципы»? «Однородный строительный материал»? Еще недавно к таким утверждениям было принято относиться враждебно. Их объявляли антинаучною ересью. Считалось, что буржуазные дети говорят на каком-то другом языке, чем дети, рожденные в семье пролетариев, и что принципы построения речи не могут быть у тех и других одинаковыми.

Поэтому редакторы требовали, чтобы я, говоря о каком-нибудь слове, произнесенном трехлетним ребенком, всякий раз во что бы то ни стало указывал, к какому социальному слою принадлежит названный мною малыш, и демонстрировал бы при этой оказии, какая глубокая пропасть лежит между языком «Пети Буржуйчикова» и языком «пролетария Симы».

Ибо в то время многие лингвисты, философы, литературоведы, историки ошибочно считали доказанным, что язык есть непременно явление классовое.

Но теперь, когда мы окончательно утвердились в той истине, что язык у всех классов данного народа один, стало до очевидности ясно, как дики и бесплодны попытки найти коренные различия в языке двухлетних-трехлетних детей, к какому бы социальному слою ни принадлежали их семьи.

Развитие языка совершается у всех малышей по одним и тем же законам: все русские дети равно оглаголивают имена существительные, удваивают первые слоги, выбрасывают трудные согласные, борются с нашей метафорической речью, называют сухарики к у с а р и к а м и, лопатки — к о п а т к а м и, пружинки — к р у ж и н к а м и. Ведь все без исключения русские дети черпают свои языковые ресурсы из одного и того же словарного фонда, подчиненного одной и той же грамматике. Хотя, конечно, социальная среда не может не влиять в какой-то мере на лексику того или иного ребенка, но методы ее усвоения везде и всегда одинаковы.

VIII. МАСКИРОВКА НЕВЕДЕНИЯ

ЧУЖИЕ ГРЕХИ

Всем памятны вещие строки, которые написал Лев Толстой о самых первых годах своей жизни:

«Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние»[1].

Среди ранних приобретений детского разума величайшую ценность для всей будущей жизни детей имеет, конечно, язык, его словарный фонд, его грамматика.

Подумать только, что в эти первые годы ребенку предстоит овладеть теми изощреннейшими формами речи, которые на протяжении своей тысячелетней истории создал многомиллионный народ!

Здесь главный пафос всей жизни ребенка, и, хотя он сам не замечает тех гигантских усилий, при помощи которых так планомерно, целесообразно и деятельно совершает он этот процесс, все же я не раз наблюдал, что безупречно правильное усвоение речи является для многих детей предметом честолюбия и гордости.

К сожалению, я не располагаю достаточным количеством материалов, которые давали бы мне право утверждать, что это благородное честолюбие, основанное на жажде интеллектуальных побед, свойственно всем без исключения детям, но даже те случайные сведения, которые удалось мне собрать, говорят о широкой распространенности этого чувства.

Впервые оно поразило меня при встрече с Юриком, двух с половиной лет, который однажды обмолвился и сказал вместо винтики — т и н т и к и.

Его поправили, и он заявил не смутившись:

— Это Боря сказал т и н т и к и, а Юрик сказал винтики.

Среди близких знакомых Юрика никакого Бори тогда не было, Юрик изобрел этого Борю специально затем, чтобы

---

[1] *Л. Н. Толстой.* Первые воспоминания. Собрание художественных произведений, т. 10. М., 1948, с. 247.

взваливать на него все свои языковые ошибки и промахи, а себе приписывать непогрешимость речи:

— Это Боря сказал: м а м о в а р, а Юрик сказал: самовар.

— Это Боря сказал: д а н-да н, а Юрик сказал: чемодан.

Изобретя несуществующего Борю и нагрузив его всеми своими ошибками, хитроумный малыш обеспечил себе полный душевный комфорт. Благодаря этому небывалому Боре сам он при всех обстоятельствах всегда и везде ощущал себя безупречным знатоком языка, получая вдобавок возможность издеваться над побежденным соперником. При помощи такой махинации двухлетний человек раз и навсегда застраховал себя от обид, наносимых его самолюбию.

Всякая новая ошибка только возвышает его в собственном мнении, всякая неудача ощущается им как новый триумф. Но до чего, значит, мучительно для самолюбия детей сознание своего неумения, своей неспособности! До чего, значит, невыносима для Юрика мысль о его ошибках и слабостях, если он счел необходимым изобрести двойника и, наградив его своими ошибками, неукоснительно полемизирует с ним!

Чем больше я вглядывался в двухлетних-трехлетних детей, тем яснее мне было, что этот Юрик не исключение, а правило.

Такой же эпизод сообщает французский романист Жорж Дюамель об одной трехлетней парижанке:

«Она страшная шалунья, хитрая и изобретательная. Она производит опыты над человеческой речью. Но для того чтобы избежать ответственности, она приписывает их воображаемому брату»[1].

Ведь это слово в слово то самое, что проделывал Юрик.

То же сообщает мне и Галина Дмитриевна Катанян о своем сыне:

«Когда ему было три года, он выдумал себе брата Васю-Касю, на которого валил все свои ошибки. Этого брата он представлял себе так живо, что ревел, когда я ему говорила, что не пущу Васю-Касю к нам, и оставлял ему конфеты, пряча их под подушку».

Такой же случай сообщает мне В. Подключникова из Иркутска:

---

[1] *Жорж Дюамель.* Игры и утехи. Перевод с французского В. И. Сметанича. Л., 1925, с. 71.

«Трехлетняя Клара ошиблась и назвала мой капот компотом. Это вызвало общий смех. Стали говорить, что на самой Кларе надета каша, на ее сестре Ляле — кисель и т. д. Клара смеялась вместе с нами и в конце концов заявила: «Эта Ляля такая чудачка. Надо говорить: капот, а она говорит: компот».

ИНСТИНКТ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

Вот какую важную роль в умственной жизни ребенка играет лингвистическое честолюбие. Оно чрезвычайно полезно ему в деле усвоения речи. Ведь когда ребенок награждает своими ошибками выдуманного им «Васю-Касю», он тем самым раз навсегда избавляется от этих ошибок. После того как Юрой был, например, изобретен несуществующий Боря, который якобы назвал самовар «мамоваром», а винтики «тинтиками», мальчик навсегда закрепил в своей памяти правильные формы этих слов.

Признаться в скудости своих познаний ребенок считает стыдом именно потому, что все его детство заполнено неутомимой познавательной деятельностью, и он, пытливейший из всех земных существ, ценит знания превыше всего.

Помню, как очаровала меня двухлетняя Ира, которая с великолепной находчивостью прибегла к очень тонкому маневру, чтобы замаскировать тот обидный для ее самолюбия факт, что она умеет считать лишь до двух. Отец дает ей ложку и спрашивает:

— Сколько у тебя ложек?

— Одна.

Дает другую:

— Теперь сколько?

— Две.

Дает третью:

— Теперь сколько?

— Много.

— Нет, ты скажи.

Ира с преувеличенным выражением брезгливости отодвигает от себя третью ложку:

— Возьми, она грязная!

И при помощи этой лицемерной уловки ей блистатель-

но удается утаить от себя и других скудость своих математических сведений, из чего следует, что сознание такой скудости не доставляло ей большого удовольствия.

*

Четырехлетняя девочка не выговаривает звука «р». Дядя, дразня, говорит ей:

– Наденька, скажи слово «рыба».

– Окунь, – отвечает она.

*

О необходимости борьбы с этими ребячьими уловками напоминает мне Д. Я. Фельдман (Москва).

«У моего сына Додика, – пишет она, – существовала мифическая личность «Андрюша». Этот Андрюша был виновником всех его прегрешений, и нам стоило многих трудов убедить его в том, что надо быть мужественным и уметь честно признавать свою вину, не сваливая ее на Андрюшу».

*

Простодушное лукавство детей отмечено и в детской поэзии. В одном из стихотворений Агнии Барто говорится о мальчике, не умеющем произнести звук «р» и потому называющем Марину – Малиной:

Она твердит:
– Скажи «метро»,
В метро поедем к дяде.
– Нет, – отвечает он хитро, –
В автобус лучше сядем.
(«Буква «р»)

*

Гуляя с теткой по улице, мальчик двух с половиною лет останавливается у книжного киоска.

Продавец спрашивает:

– Умеешь читать?

– Умею.

Мальчику дают книгу:

– Читай.

Он, подражая бабушке, хватается внезапно за карман.

– Я забыл дома очки.

*

Ребенок не стал бы прибегать к таким дипломатическим хитростям, если бы сознание своей неумелости не было для него так огорчительно. Он хочет во что бы то ни стало считать себя умелым и знающим.

Должно быть, такое самообольщение до поры до времени практически необходимо ребенку. И не оттого ли он так громко ликует, когда ему удается подметить какую-нибудь мнимую речевую ошибку, якобы совершенную взрослыми?

Вообще инстинкт самоутверждения чрезвычайно силен в этом возрасте.

Я заметил, что даже самые застенчивые, скромные люди были в детстве хвастунами и бахвалами.

Бахвальство малолетних ребят метко изображено Верой Пановой в ее прелестной повести «Сережа». Сережу везут в автобусе. Его соседом оказывается мальчишка, сосущий леденцового петуха на палочке.

«Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу, взгляд его выражал вот что: «А у тебя леденцового петуха нет, ага!» Подошла кондукторша.

— За мальчика надо платить? — спросила тетя Паша.

— Примерься, мальчик, — сказала кондукторша.

Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей: кто дорос до черты, за тех надо платить. Сережа стал под чертой и немножко приподнялся на цыпочках. Кондукторша сказала:

— Платите.

Сережа победно посмотрел на мальчишку. «А на меня зато билет берут, — сказал он мысленно, — а на тебя не берут, ага!»

Склонность к самохвальству, к возвеличению своего «я», своей личности за счет всякого другого лица (или даже предмета) свойственна, насколько я знаю, огромному большинству малышей с самого раннего возраста.

Поэт Валентин Берестов сообщает мне о своей двухлетней Марине:

«Видит безногую куклу и говорит, торжествуя:

— А у Марины ножка не сломалась!

Ночью у ее дяди заболели зубы. Он заплакал. Маринка проснулась и тотчас же:

— А Марина не плачет!

Узнав причину его слез, заявляет:

– А у Марины не болят!

И все это с большим удовольствием».

Мне пишут про мальчика, который, поселившись в деревне, вдруг потребовал, чтобы ему нашили на штаны и на куртку заплаты, потому что одежда деревенских ребят, с которыми ему приходилось играть, была в то далекое время покрыта заплатами. Он так надоел матери, что она пришила ему «на живульку» на самых видных местах лоскутки, и сияющий Вася всем и каждому хвастался:

– А у меня тоже заплаты!

Хвастают напропалую чем придется. Сидят, например, на пляже и строят песчаные башни.

– Ага, а моя башня выше!

– А зато мне гланды вырезали, а тебе нет! Ага!

Особенно сильно такая жажда самоутверждения сказывается у детей во всех случаях, относящихся к каким-нибудь умениям и знаниям.

IX. ЛОЖНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СЛОВ

«Папа шел по горе Машук. Вдруг у него из-под ног «фррр!» – вылетела п с и х о п а т к а. Психопатка – это такая птица. Очень вкусная, когда жареная!»

Нужно ли говорить, что на самом-то деле героиня этого рассказа была куропатка.

Ребенок, который живет среди взрослых и постоянно присутствует при их разговорах, то и дело слышит такие слова, смысл которых ему непонятен. Часто он пытается осмыслить их сам, не обращаясь за объяснениями к старшим, вполне уверенный, что эта задача не представит для него особенных трудностей. Он решает ее «по вдохновению», внезапно, не обладая для этого никакими другими ресурсами, кроме сильнейшего языкового чутья, и не мудрено, что, пытаясь самостоятельно добраться до смысла непонятных речений, он принужден прибегать к самым фантастическим выдумкам.

Услышала, например, трехлетняя Кира, что у какой-то женщины родились двояшки, и в ту же минуту прибежала ко мне:

— Понимаешь: родились два мальчика и оба называются Яшки. Их так и назвали два Яшки (двояшки). А когда они вырастут, их будут звать Миша и Лева.

Этот миф о двух Яшках избавил Киру от мучительного чувства, которое испытывает каждый ребенок, когда ему становится ясно, что он чего-нибудь не понимает.

А когда маленькой Тане сказали, что у нее на наволочке ржавчина, она без смущения спросила:

— Это мне лошадка наржала?

Но более всего замечателен миф, при помощи которого трехлетняя девочка превратила непонятное ей слово «блокада» в понятные ей «облака». Во время гражданской войны ее отец вошел с газетой и сказал:

— А блокаду сняли.

Девочка была поглощена чаепитием и словно не слыхала отцовского возгласа. Но через час она сообщила подруге:

— Облака-то сняли! Сняли с неба облака!

Та подумала и спросила печально:

— А как же дождик?

И посмотрела в окно.

Увидит ребенок в деревне крестьянина, несущего грабли, и решает, что это — грабитель.

— Ломовик! — говорит он про мальчика, который ломает игрушки.

В каждом слове, которое детям случается услышать от взрослых, они с младенческих лет привыкают искать его корень, очищенный от приставок и суффиксов.

Плодотворный метод такой лингвистической (и совершенно неосознанной ими) работы вскрывается лучше всего в тех ошибках, которые они порой совершают при этом. Двухлетней Саше, например, в слове «отпугивать» почудился тот же корень, что в «пуговице». Она так и спросила у бабушки, пытавшейся расстегнуть ей пальто:

— Зачем ты меня о т п у г и в а е ш ь?

Ей, очевидно, хотелось, чтобы пальто оставалось «запуганным» (то есть застегнутым на все пуговицы).

Та же Саша, услышав как-то слово «наблюдать», решила, что оно происходит от «блюда»: положить какие-нибудь вещи на блюдо — в этом, по ее догадке, и состоит наблюдение.

Такие ошибки чрезвычайно типичны. Они повторяются снова и снова в каждом новом поколении детей. С Сашей я

познакомился в марте 1956 года — и тут же вспомнил, что еще четверть века назад мне встретился подобный же филологический казус. В Сестрорецке на даче соседские дети долго лепили из глины какую-то замысловатую фигурку, потом утвердили ее на дощечке, которая звалась у них блюдом, принесли ко мне и сказали:

— Вот тебе и наше н а б л ю д е н и е.

Оказалось, что н а б л ю д е н и е м они, как и Саша, считают все, лежащее на блюде.

Пользуясь такими словами, как л о м о в и к, н а б л ю д е н и е, о т п у г и в а т ь, малыши не меняют ни фонетики, ни морфологии существующих слов — они наполняют их другим содержанием. Лодырь — это человек, который делает лодки, а всадник — «это который в саду»; «деревня — где деревьев много»; «кустарник — сторож, который караулит кусты»[1]. Мельница — жена мельника, а казак, конечно, муж козы. «Дядя Филя — спец» — про человека, который любит поспать. Фантазер — «кто пускает фонтаны».

— Владик, ты школьник?

— Нет, еще садист. Я в садик хожу.

Володя, встретив в Куоккале какого-то финна с ребенком, сказал своему отцу:

— Вот идет финн, а с ним финик.

Он и раньше слышал слово «финик», но, как теперь обнаружилось, всегда считал, что это маленький финн.

И как вы думаете, что может значить наше «взрослое» слово «беспомощный»? Четырехлетний Игорь, впервые вылепив снежную бабу б е з п о м о щ и в з р о с л ы х, с гордостью заявил окружающим:

— Эта баба совсем б е с п о м о щ н а я!

Он нередко слыхал это слово в разговорах родителей и по-своему осмыслил его.

Пытаясь обойти большую лужу:

— Какая н е о б х о д и м а я.

Майя крикнула своей старшей сестре:

— Хватит тебе секреты говорить! С е к р е т а р ш а какая!

А трехлетняя Таня сказала:

— Мы ходим на прогулку — мы п р о г у л ь щ и к и!

Ни одного из этих слов дети не придумали сами: и «сек-

---

[1] *А. Н. Гвоздев*. Вопросы изучения детской речи. М., 1961, с. 309.

ретарша», и «прогульщики», и «лодырь», и «фантазер», и «всадник» услышаны ими от взрослых. Каждое слово они воспроизвели вполне правильно, не изменяя в нем ни единого звука. Но подлинный смысл услышанных слов ускользнул от них. Не подозревая об этом, они дают каждому слову свое толкование, и хотя тут же выясняется, что из-за недостатка житейского опыта все слова истолкованы ими неверно, даже в этих ложных осмыслениях сказалось присущее маленьким детям великое чутье языка.

Ведь легко можно представить себе какой-нибудь из славянских народов, у которого лодырем зовут человека, имеющего отношение к лодкам (сравни: аптекарь, библиотекарь, слесарь, поводырь и др.), а ломовиками именуются взломщики. Если не знать, что в слове «спец» две последние буквы относятся к корню, необходимо принять их за суффикс (как в словах «куп-ец», «кузн-ец»), и тогда слово «спец» неминуемо получит присвоенное ему ребенком значение: человек, для которого спанье есть профессия.

Эти ошибки показывают, в каком направлении совершается мозговая работа ребенка, когда он принимает от нас наше обширное речевое наследие. Они обнажают те методы, при помощи которых ребенок овладевает этим колоссальным богатством.

Он требует логики от каждого слова и если не находит ее, то выдумывает. Когда пятилетняя Ёлка впервые увидела ломоть пеклеванного хлеба, она всмотрелась в него и сказала с уверенностью:

— А, понимаю. Это птицы его поклевали.

В самом деле, если не знать польского глагола «питловаць» (то есть молоть чисто и мелко), приходится прибегнуть к такой выдумке.

— Консервы делают в консерватории, да? — спрашивал у деда Игорек.

И сколько я знаю детей, которые думают, что н а с у п и л и с ь — это значит наелись супу, о т р а в и л и с ь — наелись травы.

Такое стремление ребенка по-своему истолковывать непонятные речения взрослых было отмечено Горьким в его рассказе «Страсти-мордасти». Там выведен маленький мальчик, одинокий калека, который додумался до того, что богадельня — это место, где делают Бога («дельня» — мастерская, как «швальня»).

И точно таким же манером малолетний Тургенев объяснил себе слово «вонмем» (то есть вслушаемся), выкрикиваемое дьяконом в церкви.

«Кто-то, — вспоминает Тургенев, — завел речь о том, как зовут дьявола, никто не мог сказать, зовут ли его Вельзевулом, или Сатаной, или еще как-нибудь иначе.

— Я знаю, как зовут, — сказал я и сам испугался.

— Ну, если знаешь, говори, — отозвалась мать.

— Его зовут «Мем».

— Как? Повтори, повтори!

— Мем.

— Это кто тебе сказал? Откуда ты это выдумал?

— Я не выдумал, я это слышу каждое воскресенье у обедни.

— Как так — у обедни?!

— А во время обедни выходит дьякон и говорит: вон, Мем! Я так и понял, что он из церкви вон выгоняет дьявола и что зовут его Мем.

Удивляюсь, как меня за это не высекли. Но, как ребенок, я на тот раз был совершенно искренен — просто не понял славянского слова «вонмем» и толковал его по-своему»[1].

Как бы ни были неправильны выводы, к которым приходит ребенок, самый метод, приводящий его к ним, безупречен, — метод анализа составных элементов слова и осмысления их взаимных отношений.

Зарубежные психологи часто относятся к этим детским догадкам не слишком почтительно. «Уж не раз изучали, — говорит Пиаже, — спонтанную (!) этимологию, к которой дети питают такое пристрастие, и затем их изумительное стремление к вербализму, то есть к фантастическому истолкованию плохо понятных слов:

эти два явления показывают, как легко ребенку удовлетворить свой ум произвольными обоснованиями»[2].

Я же не могу не восхищаться упорной и планомерной работой ребенка, направленной к овладению языковыми ресурсами взрослых.

Без устали работает его самонадеянный мозг над анализом каждого непонятного слова и выдвигает одну за другой

---

1 *Я. П. Полонский.* И. С. Тургенев у себя. «Нива», 1884, № 2, с. 38.

2 *Ж. Пиаже.* Речь и мышление ребенка. М., 1932, с. 168.

ряд рабочих гипотез, которые должны внести в этот хаос хотя бы иллюзорный порядок.

Незнание жизни заставляет ребенка поневоле оперировать этими временными гипотезами, но тут ничего страшного нет, так как гипотезы вскоре вытесняются точными данными опыта, главным образом благодаря педагогическому вмешательству взрослых.

И разве не показательно, что этих ошибочных представлений так мало по сравнению с необъятным количеством слов, смысл которых угадан ребенком с абсолютной точностью.

К счастью, ложное истолкование взрослых речений очень редко приносит детям какой-нибудь существенный ущерб. Мне известен лишь один-единственный случай, когда тяготение к анализу составных элементов слова имело неблагополучный результат. Трехлетний Вадя объелся в лесу сыроежками, умозаключив, что если они сыроежки, значит, есть их полагается сырыми.

СЛОВО ОТОЖДЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕЩЬЮ

Конечно, анализ слов далеко не единственный метод, которым ребенок приходит к их осмыслению; порою это дается ему интуитивно благодаря изумительной чуткости к эмоциональному звучанию слов.

Так, одна трехлетняя девочка, услышав на лестнице шум, зашептала:

— Мамочка, я боюсь. К нам, наверно, Трамот ползет.

— Какой Трамот?

— Такой большой, тяжелый и грохает по ступенькам.

Я не сразу понял, что такое Трамот. Потом мне объяснили: это не душегуб и не зверь, это — сокращенное название Транспортно-материального отдела, где служил отец этой девочки.

О Трамоте часто говорилось в семье, и девочку всегда пугало это слово, так как в самом его звуке ей чудились бегемотная свирепость и грузность: ТРАМОТ. Не мудрено, что, когда она услыхала на лестнице топот, она сразу решила, что это и есть Трамот — жирный, неуклюжий, жадный.

Таких случаев можно привести очень много. Слово часто имеет в сознании ребенка такой же конкретный харак-

тер, как и та вещь, которую оно обозначает. Оно, так сказать, отождествляется с вещью. Всякие шишиги, кикиморы, буки, которыми взрослые пугают ребенка, именно потому и страшны для него, что в его уме имена этих свирепых чудовищ сливаются с самими чудовищами. Это бывает даже в тех случаях, когда ребенок сам выдумывает какое-нибудь страшное слово. Я впервые убедился в этом, когда с моей маленькой дочерью случился один эпизод, который я записал по горячему следу в таких непритязательных стишках:

Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
«Это — козочка рогатая».
«Это — елочка мохнатая».
«Это — дядя с бородой».
«Это — дом с трубой».

«Ну, а это что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью рогами,
С десятью ногами?»

«Это Бяка-Закаляка
Кусачая,
Я сама из головы ее выдумала».

«Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?»
«Я ее боюсь».

Впрочем, возможно, что Мура была более испугана графическим изображением чудовища, чем звуками его страшного имени. Но во всех других случаях, которые приводятся здесь, на детей действует одна лишь фонетика. Товарищ моего детства, писатель Борис Житков, рассказывал мне, что в трехлетнем возрасте он выдумал слово «Убзика» (с ударением на «у») и долго боялся глядеть вечерами под отцовский диван, потому что сам же уверил себя, будто там прячется страшная Убзика.

Как восприимчивы дети к звучанию слов в этот период своего языкового развития, показывает, например, такой диалог.

— Что такое Бардадым? Как ты думаешь? — спрашивают у четырехлетнего Вали.

Он сейчас же отвечает без всяких раздумий:

— Страшный, большой, вот такой!

И показывает рукой в потолок.

— А кто такой Миклушечка?

— А это маленький, хорошенький... Мик-лушечка.

Без такого повышенного чутья к фонетике и морфологии слова один голый подражательный инстинкт был бы совершенно бессилен и не мог бы привести бессловесных младенцев к полному обладанию родным языком. Правда, нельзя забывать, что это обладание во всех случаях — без единого исключения — является результатом совместной работы ребенка и тех, кто окружает его. Но все усилия взрослых были бы совершенно бесплодны, если бы дети раннего возраста не проявляли изощреннейшей чуткости к составу и звучанию слов.

«Те очень ошибаются, — писал еще К. Д. Ушинский, — кто думает, что в этом усвоении ребенком родного языка действует только память: никакой памяти недостало бы для того, чтобы затвердить не только все слова какого-нибудь языка, но даже все возможные сочетания этих слов и все их видоизменения; нет, если бы изучали язык одной памятью, то никогда бы вполне не изучили ни одного языка»[1].

Кроме лингвистической памяти, необыкновенно сильной у малолетних детей (особенно в отношении морфологии слов), здесь проявляется именно та повышенная речевая одаренность, которая, как сказано выше, присуща любому ребенку в возрасте от двух до пяти.

Когда я лет сорок назад с восхищением отметил в печати это драгоценное детское качество, тогдашние педологи встретили эту идею как нелепую антинаучную выдумку.

Люди, которым была чужда и враждебна самая мысль о диалектическом развитии ребенка, с негодованием отнеслись к утверждению, высказанному мною в начале настоящей главы, что у старших дошкольников речевая одаренность к шести-семи годам иссякает и мало-помалу вытесняется новыми, столь же целесообразными качествами.

Между тем в настоящее время эта истина уже утвердилась в науке. Бесчисленные наблюдения доказывают, что к восьми годам убывает не только речевая одаренность ребенка, но зачастую и всякая другая. «Приблизительно в восьми-

---

[1] *К. Д. Ушинский.* Родное слово. Собр. соч., т. II. М., 1948, с. 559.

летнем возрасте дети постепенно теряют творческий музыкальный дар, который зарождается в них примерно с полуторагодовалого возраста», — свидетельствует знаменитый дирижер Леопольд Стоковский[1]. Ниже мы увидим, что то же самое происходит и с детьми-стихотворцами. О детях-рисовальщиках и говорить нечего: это подтвердит всякий живописец, практически изучавший разные стадии детского художественного творчества.

Конечно, сказанное относится не ко всем детям. Истинные прочные таланты благополучно переступают этот — установленный мудрой природой — рубеж. А главное, в широком биологическом и социальном плане здесь не только утрата, но — повторяю! — и приобретение. То обстоятельство, что у детей в определенный период их душевного роста начисто исчезает всякая способность (и склонность) к словотворчеству, знаменует собою успешное завершение процессов, при помощи которых ребенок овладевает родным языком.

ФОНЕТИКА ДЕТСКОЙ РЕЧИ

Эта тема не входит в круг моих наблюдений. Здесь я могу лишь попутно сказать, что, как мне кажется, ребенок добирается до правильного произношения слов столь же сложным, извилистым и трудным путем, каким он приходит к их нормативной конструкции. Например, один мой знакомый ребенок, для того чтобы овладеть словом «кооператив», истратил не меньше пятнадцати месяцев. И не механическим присовокуплением новых слогов к тем, которые были добыты прежде, создавал он всякую новую форму, а другими, более изощренными способами:

Сначала: пиф.
Потом: пиф-пиф.
Потом: апиф.
Потом: капиф.
Потом: каапиф.
Потом: патиф.
Потом: копатиф.

---

[1] *Леопольд Стоковский.* Музыка для всех нас. М., 1959, с. 58.

И наконец: кооператив.

Сын Н. А. Менчинской, судя по ее дневнику, больше двух с половиной месяцев овладевал словом «лампа»:

Сначала: ям.

Потом: яма.

Потом:тапа.

Потом: ляпа.

Потом: лямпа[1].

Чтобы овладеть словом «пуговица», ему, как видно из того же дневника, понадобилось четыре месяца.

Сначала: пу.

Потом: пуга и пуца.

Потом: пугитя и т. д.[2].

Все это очень близко к той схеме, которая дана известным физиологом Н. И. Красногорским, одним из учеников и продолжателей И. П. Павлова.

«Новые наблюдения показывают, — пишет Н. И. Красногорский, — что при образовании слова огромное значение имеет сила раздражителя, то есть звуковая сила фонем и слогов, из которых составляется слово. Ребенок в первую очередь берет и упрочивает повторением первый, последний или наиболее сильный ударный слог в слышимом слове. В дальнейшем он присоединяет к этому слогу второй по силе раздражитель и уже только после этого вводит в формирующееся слово относительно слабый, ранее опускаемый слог.

Образовывая слово «молоко», ребенок фиксирует и произносит сначала слог «мо» как первый раздражитель, связывая его с оптическим раздражителем при виде молока. В дальнейшем он присоединяет к этому слогу второй ударный слоговой раздражитель — «ко» и, смотря на молоко, говорит «моко».

Наконец он вводит третий слог — «ло» в конце или в середине слова, произносит «моколо» и, наконец, «молоко».

В другом случае ребенок при виде молока произносит сначала «ням-ням», то есть отвечает генерализованной речевой реакцией. Затем, дифференцируя молоко, он синте-

---

[1] *Н. А. Менчинская.* Развитие психики ребенка. Дневник матери. М., 1957, с. 57–58.

[2] Т а м ж е, с. 55.

зирует сразу два ударных слога и, заменяя «ло» звуком «я», говорит «маяко»; наконец, вводя «л», произносит «маляко».

«Поразительным фактом, — указывает ученый, — является огромная синтетическая объединяющая сила головного мозга у детей уже в самом раннем возрасте»[1].

*

Добавлю от себя, что эта «огромная синтетическая объединяющая сила» мышления чудесным образом проявляется у детей уже в период пассивной речи, когда ребенок еще не умеет произнести ни одного слова. Период пассивной речи, которая поверхностному наблюдателю кажется просто молчанием, — самое творческое время развития речи ребенка.

X. ДЕТСКАЯ РЕЧЬ И НАРОД

Разнообразными и пестрыми кажутся факты, изложенные на предыдущих страницах. Но кто захочет пристально вдуматься в них, тот увидит, что если не все они, то огромное их большинство служит доказательством одной-единственной мысли, которая и связует их в единое целое. Эту мысль провозглашали не раз, но чаще всего в виде некоего абстрактного догмата. Между тем давно уже назрела потребность обосновать ее фактами, наполнить ее конкретным, живым содержанием.

Мысль эта очень проста: ребенок учится языку у народа, его единственный учитель — народ.

Задача настоящей главы — утвердить эту мысль, сделать по возможности так, чтобы читатель на основании наглядных свидетельств самостоятельно пришел к убеждению, что здесь не декларация, не звонкая фраза, а подлинное явление действительности, что в деле языкового воспитания детей взрослые, к какому бы социальному слою ни принадлежали они, в сущности, являются только посредниками между детьми и народом.

Прежде всего нельзя забывать, что, как уже сказано,

[1] *Н. И. Красногорский.* «К физиологии становления детской речи». Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. Вып. 4, т. II. 1952, с. 477.

взрослые с самого рождения ребенка щедро снабжают его такими корнями, флексиями, приставками, суффиксами, которые будут служить ему до конца его дней. Все эти морфемы народны, и, таким образом, дети, принимая языковое наследие предков и даже создавая из предоставленного им материала свои «собственные» слова и речения, тем самым приобщаются к народному творчеству, ибо ни один из неологизмов ребенка никогда не выходит за рамки, установленные народной традицией.

Недаром сплошь и рядом оказывается, что дети сочиняют такие слова, которые уже существуют в народе («л ю д ь», «с о л ь н и ц а», «с м е я н и е», «о б у т к а», «о д е т к а» и т. д.). Это было бы невозможно, если бы самый дух народного словотворчества не был в значительной мере усвоен детьми еще раньше, чем они овладели первыми десятками слов (даже в период пассивной речи).

Только благодаря этому они могут легко и свободно создавать такие слова, как «т о р м о з и л о», «р а с ш и р о к а й т е с ь», «о т м у х и в а т ь с я», «к у с т ы н я», «к р а с н я к» и т. д., обладающие чисто народной экспрессией.

В один и тот же день — в январе 1955 года — я получил два письма от читателей.

В одном сообщали мне о таком диалоге:

— Майя, что ты делаешь?

— Я з а к л ю ч а ю дверь. (То есть запираю на ключ.)

В другом — восклицание четырехлетнего Бори:

— Нелина мама уехала и з а к л ю ч и л а мой стульчик! (То есть опять-таки замкнула на ключ, — очевидно, в чулане.)

И, конечно, я не мог не вспомнить, что прежде в слове «заключить» корень к л ю ч ощущался гораздо сильнее, чем нынче. У Барсова, например, в его книге «Причитания Северного края», в фольклорной легенде «Происхождение горя народного» говорится о каких-то ключах, что они приладились «к тюрьмам заключенным» (то есть именно к запертым на ключ)[1].

---

[1] Характерно, что Некрасов, списывая для себя эту легенду, предпочел придать слову «заключенный» его современное значение: «к тюрьмам заключенных», то есть «к тюрьмам узников», потому что в эпоху Некрасова редко говорили «заключенные двери», «заключенные тюрьмы», и слово «заключенный» стало применяться только к людям (*Н. А. Некрасов*. Полн. собр. соч. и писем, т. III. М., 1949, с. 636).

Ребенок не мог бы самостоятельно воссоздать это старорусское слово в его первоначальном значении (которое нынче уже совершенно забыто), если бы родной народ, снабдивший его материалами для построения слов, не вооружил его — одновременно с этим — нужными методами для их построения. Вспомнилось также у Николая Успенского:

«Мужики заключались в эвтой риге»[1].

Когда на одной из предыдущих страниц я приводил детское слово «ещёкать» (от наречия «еще»), мне и в голову не приходило, что это же новообразование может параллельно возникнуть среди взрослых в народной среде.

В. О. Перцов сообщил мне такой эпизод, слышанный им от П. П. Бажова. Был когда-то на уральском заводе один инженер, любивший при всякой оказии произносить утомительно длинные речи. Каждую речь он неизменно заканчивал традиционным призывом, где часто повторялось словечко «еще» («Будем работать еще продуктивнее, еще энергичнее» и т.д.). Это «еще» произносилось им особенно громко. Слушатели подметили однообразный покрой его обильных речей, и один из них, когда в речи оратора появилось «еще», облегченно вздохнул и шепотом утешил Бажова:

— Ну, теперь скоро конец! Ужо начал ещёкать (по местному произношению — «ишшокать»).

Не показательно ли, что неологизм малыша ленинградца совпадает до полного тождества с тем словом, которое создал экспромтом на далеком Урале взрослый «простой человек»?

Если бы речь и мышление двухлетних, трехлетних, пятилетних детей не были проникнуты общенародными нормами языка, мы никогда не могли бы наблюдать отмеченную выше особенность детского словотворчества, которая заключается в том, что разные, очень разные дети, отдаленные друг от друга большими пространствами, из поколения в поколение самостоятельно придумывают одни и те же слова — будь это в Крыму, или в Новгороде, или где-нибудь во Владивостоке.

Так, например, слово «кусарик» я услышал впервые от трехлетней девочки в 1904 году, потом через двадцать лет я прочитал в «Дневнике» А. Д. Павловой, что ее Адик тоже

---

[1] *Н. В. Успенский.* Повести, рассказы и очерки. М., 1957, с. 67.

«изобрел» это слово. И вот через полвека, минувшей осенью, костромская жительница Наталья Борщевская сообщает мне в письме о своем племяннике Вове, что он тоже называет сухарик «кусариком».

Таких фактов великое множество, и, конечно, они никогда не имели бы места, если бы дети в своем словотворчестве не опирались на одни и те же законы развития языка, надолго установленные русским народом.

Выше я привел одно слово, изобретенное трехлетним ребенком:

— Мама сердится, но быстро у д о б р я е т с я.

Это слово вызывает у взрослых улыбку, ибо связывается в их уме с удобрением полей. Между тем ребенок самостоятельно произвел его от слова «добрая» (в смысле «сердечная») и знать не знает ни о каком удобрении (где «добрый» означает «унавоженный», «тучный»).

Замечательно, что в старорусском языке, лет триста назад, «удобряться» и значило сменять гнев на милость, размягчаться душой. Протопоп Аввакум так и писал в своей книге: «бабы у д о б р и л и с ь». Та же форма сохранилась в народной пословице: «У д о б р и л а с ь мачеха на пасынка».

Здесь одно из наиболее наглядных свидетельств, что при создании всякого нового слова ребенок почти всегда применяет те же самые методы, какие применяет народ.

И разве не знаменательно, что слово «в с к о л ь к е р о м», которое у меня на глазах создал четырехлетний ребенок под Брянском, оказалось давно существующим в речевом обиходе народа! Ю. Трапезников сообщил мне на днях, что в Вологодской области в деревне Горке (Ковжевского сельсовета) принято, например, говорить:

— В с к о л ь к е р о м, бабы, завтра по ягоды пойдем?

Это ли не доказательство близости детского языка и народного!

Или возьмем хотя бы слово «л ь з я», которое снова и снова создается детьми, услышавшими от взрослых «нельзя».

Ведь оно и сейчас существует в народе, о чем недавно напомнил мне в письме П. В. Зимин. «Я живу, — пишет он, — в г. Вельске, Архангельской (ранее Вологодской) области, и как любитель занимаюсь изучением здешнего диалекта. Так вот, я слышал здесь такие выражения:

— А л ь з я ли, батюшка, здесь пройти-то?..

— Силуян Ликарионович, льзя ли так делать-то?»

Полное совпадение детского языкового мышления с народным, хотя, конечно, мы не должны забывать, что у народа первоначальной формой было именно льзя.

Или, например, слово «ворк» вместо нашего взрослого слова «ворчание». Алёна, внучка художника В. М. Конашевича, однажды заявила ему:

— Я бабушке не спускаю: она ворчит, а я строптивлюсь. Один ворк, один строптив.

Ворк не может быть чужд языку, в котором, как указывал Пушкин, «хлоп употребляется в просторечии вместо хлопанье», «шип вместо шипение»:

Он шип пустил по-змеиному.

Защищая от своих критиков слова «хлоп», «молвь», «топ», Пушкин писал:

«Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ»».

Ворк, изобретенный четырехлетним ребенком, относится к той же категории слов, так как вся фактура этого слова создана по законам русского народного языкового мышления. К той же категории, что «шип», «ворк», принадлежит и слово «пад» (вместо падение):

— Проехались по ледяной дорожке, и никакого паду.

Выше мне уже случалось писать, что многие создаваемые малышами слова ничем не отличаются по своему построению от тех, какие создавались в разное время писателями, величайшими мастерами русской речи. Например, детские глаголы «намакаронился», «отскорлупать», «замолоточить» и проч. сконструированы по тому же принципу, по какому русские классики создавали такие слова, как «озакатить», «магдалиниться», «выгрустить».

Этого не могло бы случиться, если бы дети и писатели не пользовались однородными приемами построения слов — теми, какие внушены им народом.

И в других областях детского словотворчества наблюдаются такие же закономерности. Найдя в письмах Чехова «стишины» и «спасибище», а в стихах Маяковского «огромные незабудищи» и «глаза тарелины», проф. А. Н. Гвоздев

сопоставляет с ними восклицание своего четырехлетнего сына, где использованы такие же экспрессивные суффиксы увеличительности.

— Смотри, какую я красоту делаю. Какую красотищу! Какую красотину! Смотри: какая красота![1]

Из чего автором делается правильный вывод, что по своим формам создаваемые ребенком слова совпадают с неологизмами; русских писателей, «так как и те и другие пользуются одними и теми же морфологическими ресурсами русского языка»[2], — иначе говоря, одним и тем же «стройматериалом».

Когда ребенок произносит какое-нибудь слово неправильно или сделает случайную ошибку в синтаксическом построении фразы, мы, взрослые, то и дело заявляем ему: «так не говорят», «так нельзя говорить», «нужно сказать вот эдак». Не значит ли это, что в каждом подобном случае мы выступаем от лица народа в качестве его уполномоченных, его представителей? Выражение «так не говорят», которым мы всегда корректируем малышей, лишь по внешним признакам может считаться безличным, на самом же деле оно означает: «так не говорит наш народ».

Этим «нужно» и «нельзя» мы заявляем ребенку сложившуюся тысячелетиями волю народа, которую ребенок, в свою очередь, будет передавать своим детям и внукам, а те — своим, обеспечивая этим путем дальнейшую устойчивость основного народного словарного фонда и тех мудрых (опять-таки народных) грамматических правил, которым этот фонд подчинен.

Я только что упомянул два слова: «кусарик» и «кустыня». Они принадлежат к той же категории слов, что «копатка», «мазелин», «колоток», «пескаватор», «лизык» и т. д. Происхождение всех этих слов одинаково: они порождены постоянным стремлением детей внести в звучание каждого слова, услышанного ими от взрослых, ясный и отчетливый смысл.

Путь, который приводит ребенка к подобным словам, тот же самый, каким некоторыми слоями народа создава-

---

1 *А. Н. Гвоздев*. Вопросы изучения детской речи. М., 1961, с. 300.

2 Там же, с. 466.

лись слова типа «вошпиталь», «гульвар», «мараль» и другие. Знаменательно, что этот прием реконструкции слов относится к той области лингвистики, которая так и зовется «народная этимология».

Здесь нам до очевидности ясно, как детское словотворчество смыкается с народным.

В настоящей главе я пытаюсь обосновать эту истину конкретными фактами живого общения с детьми. Между тем лет пятнадцать назад нельзя было и заикнуться о ней. Воображая, будто язык есть явление классовое, тогдашние горе-лингвисты настаивали, чтобы автор этой книжки не смел говорить про общенародную основу детской речи, а непременно доказывал бы, будто речевое развитие пролетарских детей диаметрально противоположно речевому развитию буржуазных. Но сколько я ни вслушивался в детские речи, сколько ни раздумывал над ними, я при всем желании не мог уловить ни малейшего различия между теми путями, какими приходят к обладанию родным языком сын лавочника, сын священника и сын пролетария. Пути были те же, и этапы развития те же.

Но можно ли было говорить о подобных вещах в той обстановке, которая господствовала тогда в науке о языке! И так как при таких обстоятельствах главная идея этой книжки оставалась невысказанной, книжка теряла свою целевую направленность и приобретала характер пестрого сборника разрозненных, бессвязных наблюдений, относящихся к развитию детской речи.

Лишь теперь эти наблюдения могут быть сведены в одно целое, ибо при всем своем разнообразии они говорят об одном: что детская речь на всех этапах, своего развития питается неисчерпаемой жизненной силой народного — родного — языка.

Ближе всего к этой истине подошел в свое время Ушинский.

«Усваивая родной язык, — писал он, — ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка, — и усваивает легко и скоро, в два-три года, столько, что и половины того не может усвоить в

двадцать лет прилежного и методического учения. Таков этот великий народный педагог – родное слово!»[1]

Только что было отмечено, что, вместо того чтобы сказать «запираю на ключ», ребенок часто предпочитает говорить «заключаю».

– Дверь з а к л ю́ ч е н а.

– Бабушка з а к л ю́ ч и л а буфет.

– О т к л ю ч и сундук.

Я говорил, что, вернув этому старинному слову его забытое первоначальное значение, ребенок тем самым обнаруживает свою близость к основам народного языкового мышления.

Теперь мне сообщают из Болгарии, что в данном случае детьми воскрешен архаизм, который и поныне живет в родственном славянском языке. Оказывается, у болгар даже нет выражения «запирать на ключ». Там говорят «аз заклю́чвам врата́та» – то есть именно то самое, что говорят у нас дети: «я заключаю ворота». Заклю́чване – запирание на ключ. Заключен – запертый на ключ, заключенный.

Об этом пишет мне из Софии молодой филолог Калина Иванова, работающая в Болгарской Академии наук. Ее письмо вполне подтверждает догадку, высказанную мною в одном из первых изданий «От двух до пяти», что в братских славянских языках непременно должны отыскаться слова, которые «изобретает» русский малолетний ребенок.

«Вы проводите мысль, – пишет Калина Иванова, – что у ребят очень четкая классификация словообразовательных средств. Свой тезис вы подкрепляете примерами, как ребята, так сказать, «открывают» заново существующие в русских диалектах слова. Очень интересная мысль! Я подумала, что вам не будет безынтересно знать, что некоторые из слов-выдумок русских детей совпадают с литературными болгарскими словами и таким образом еще раз подчеркивают вашу мысль о лингвистическом чутье детей. Так, например, у нас с о л о н к а – с о л ь н и ц а; вполне живой глагол – п л е н я т ь, имеется у нас и слово п л ю н к а».

Недаром (скажу от себя) весло по-болгарски г р е б л о, а подводная лодка – п о д в о д н и ц а.

Эти «иностранные» слова были в разное время «изобретены» у меня на глазах русскими детьми под Москвой в Пе-

[1] *К. Д. Ушинский.* Родное слово. Полн. собр. соч., т. II. М., 1948, с. 560.

ределкине. А сейчас Е. В. Гусева из Киева сообщает, что ее внучка Зоя буквально на днях тоже назвала весло — греблом.

Калина Иванова выражает мою заветную мысль следующей многознаменательной формулой, открывающей большие перспективы для дальнейшего изучения речи детей:

«Таким образом, малые дети бессознательно обнаруживают общие тенденции развития славянских языков, которые иногда получают развитие в одном языке, а в другом существуют лишь как потенции».

Эти потенции никогда не могли бы осуществляться детьми, если бы дети не стояли так близко к родникам народного словотворчества.

Этот изумительный факт станет еще более явственным, если мы обратимся к другому славянскому языку — чешскому. Оказывается, что слово тепломер (вместо термометр), изобретенное в России четырехлетним ребенком, с давних времен существует у чехов как законное «взрослое» слово.

Русский ребенок именует перчатки — пальчатками и солонку — сольницей, не подозревая о том, что по-чешски рукавицы пальчаны, а солонка — солничка. Даже слово насмарканный (платок), придуманное русским ребенком, давно существует у чехов: насмарканы (ка́песник).

Обо всем этом любезно сообщают мне из города Мартин чешские читатели Сватова и Иржи Ланде, подтверждая тем самым мою давнюю догадку о том, что детское словотворчество почти всегда подчиняется строгим законам, управляющим формированием лексики родственных славянских народов,

Возвращаясь к слову заключать, я не могу не напомнить, что в Библии, переведенной на старославянский язык, оно встречается именно в том самом значении, какое придают ему дети.

Как бы ни была велика разница между детьми из различных социальных слоев, как бы ни было разнообразно содержание их речей, в их словотворчестве это сказывается меньше всего. Почти все дети одним и тем же путем приходят к обладанию живой народной речью: почти все они равно оглаголивают имена существительные, удваивают первые слоги, выбрасывают трудные согласные, борются с на-

шей метафорической речью, называют сухарики — кусариками, лопатки — копатками, пружинки — кружинками.

Не то — игры, монологи, разговоры детей. Тут, как мы видим, разница воздействия социальной среды проявляется значительно резче. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что и лексика малых ребят (состав и объем их словаря) тоже в значительной мере связана с той бытовой обстановкой, в которой им приходится жить.

XI. ВОСПИТАНИЕ РЕЧИ

Но, восхищаясь теми чудесными методами, при помощи которых ребенок овладевает родным языком, не забываем ли мы, что мы, взрослые, призваны обучать его правильной речи? Не отказываемся ли мы от роли его воспитателей? Ребенок, например, сказал «отмухиваться», или «блистенький», или «журчей», или «елка обсвечкана», и пусть эти слова кажутся нам превосходными — вправе ли мы культивировать их в речи детей?

Конечно, нет! Это было бы вопиющей нелепостью. Хотя никто не может отнять у нас права восхищаться словотворчеством ребенка, мы нарушили бы элементарнейший педагогический принцип, если бы вздумали хвалить при ребенке то или иное из сочиненных им слов и попытались искусственно удержать это слово в его лексиконе. Как бы ни радовали нас некоторые неологизмы ребенка, мы, его учителя и воспитатели, оказали бы ему очень плохую услугу, если бы оставили в его обиходе то или иное из сочиненных им слов. Как бы ни нравились нам слова «колоток» и «кусарик», мы обязаны тут же заметить ребенку:

— Так не говорят, ты ошибся. Нужно сказать «молоток» (или: нужно сказать «сухарик»).

Задача воспитателя заключается в том, чтобы возможно скорее приблизить речь детей к речи взрослых. Нужно решительным образом осудить тех чадолюбивых родителей (к счастью, очень немногих), которые, гурмански смакуя причудливую лексику детей, для собственного развлечения нарочито консервируют в их речи всевозможные «сердитки» и «мокрессы» и тем самым тормозят ее развитие.

Иные матери, бабки и деды так восхищаются всяким словечком, какое придумает милый их сердцу ребенок, что даже забывают обидеться, когда тот этим словечком выказывает свое неуважение к ним.

Алена, пяти с половиною лет, стала как-то распекать своего деда:

— Что у тебя в голове? Сено?! А если мозги, так уж очень н е д о д у м ч и в ы е!

А дед, вместо того чтобы пристыдить грубиянку, стал громко восхвалять (в ее присутствии!) выдуманное ею словцо:

— Как выразительно, как метко: н е - д о - д у м - ч и - в ы е!

И тем доказал, что мозги у него и в самом деле обладают тем свойством, какое в них отметила Алена.

Еще неразумнее поступают родители, которые записывают детскую речь на глазах у ребенка, нисколько не заботясь о том, чтобы скрыть от него свои записи. Ребенок, заметив, что взрослые видят в нем чуть не оракула, теряет непосредственность и становится развязным ломакой.

Вот что сообщает мне про одного из таких злополучных детей его «недодумчивый» родитель:

«Прочитали ему сказку о попе и Балде. Зная, что его «перлы» заносятся мною в тетрадку, тщеславный человечек изрек:

— Мама, у тебя толоконный лоб. Папа, запиши это!

Узнав, что я читаю знакомым кое-что из тетрадки с его «перлами», Славик тенью выскользнул из комнаты и помчался к соседскому мальчику:

— Эдик, иди скорее про меня слушать!»

Очевидно, этот милый родитель даже и не подозревает о том, что, превращая ребенка в «тщеславного человечка», хвастуна и позера, он немилосердно калечит его.

Смаковать при ребенке слова, создаваемые им в возрасте от двух до пяти, — значит поощрять в нем зазнайство, самолюбование, а заодно и пренебрежение к старшим. Но отсюда отнюдь не следует, что воспитателям дано право деспотически вмешиваться в самый процесс детского словотворчества.

Исправляя словесные ошибки детей, нельзя преграждать им тот естественный путь, которым они из поколения в поколение дорабатываются до правильных форм родного языка. Здесь нужен большой педагогический такт, ибо дело

идет о сочетании самой неукоснительной требовательности с глубочайшим уважением к детскому разуму.

Нужно помнить, что создание «колотков» и «кусариков» — вполне закономерный процесс, хотя, конечно, так же закономерны усилия взрослых ввести этот процесс в определенные рамки и тем самым помочь ребенку усвоить общепринятую речь, овладеть ее словарем и грамматикой.

Не забудем, что наряду с этой важной задачей у нас есть другая, не менее важная: систематически обогащать речь ребенка новыми и новыми словами. А так как в умственной жизни детей всякое обогащение словами неразрывно связано с обогащением знаниями, ответственность педагогов, осуществляющих эту задачу, представляется нам очень серьезной.

«Для всех детей дошкольного возраста, — читаем в журнале «Дошкольное воспитание», — необходима прочная и тесная связь представления со словом. Большой простор для обогащения словаря детей новыми словами дает воспитателю окружающая природа... «Сильный дождь пошел, настоящий ливень!» — говорит воспитатель детям, и они прочно связывают свои непосредственные впечатления с новым словом «ливень». Наряду с новыми словами воспитатель терпеливо и настойчиво добивается уточнения тех слов, которыми ребенок постоянно пользуется, но имеет порой весьма неточное представление о предмете, к которому слово относится. Борода и подбородок, табуретка и скамейка — нередко дети не дифференцируют эти предметы; словом «полка» они называют и полку, и этажерку, не делая никакого различия. Воспитатель не удовлетворяется тем, что ребенок знает новое слово и правильно относит его к предмету. Он добивается, чтобы ребенок пользовался этим словом, употреблял его в своей речи. Для этого воспитатель дает детям возможность часто сталкиваться с данным предметом, рассматривать его, действовать с ним, ставит их перед необходимостью называть вещь. Если ребенок непринужденно, к случаю употребляет новое слово, значит, оно действительно вошло в его словарь»[1].

Мы уже говорили о том, что всевозможные народные песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, составляю-

---

[1] «Работа по родному языку — одна из важнейших задач воспитания». Редакционная статья в журнале «Дошкольное воспитание». 1947. № 12, с. 3.

щие любимую умственную пищу дошкольников, лучше всего приобщают ребенка к основам народной речи.

В последнее время детские сады всей страны с удесятеренной энергией взялись за речевое воспитание дошкольников. Ведется дружная борьба с такими, например, диалектизмами малых ребят, принесенными из домашней малокультурной среды, как «вздравствуй», «транвай», «пондравилось», «хочем», «хотишь», «ляжь», «мы лягем», «калидор», «мы обратно лепили снежную бабу» и проч.[1]

Речь младшего дошкольника, как мы только что видели, особенно бедна прилагательными. В речи детей прилагательные, по данным Вахтерова, составляют всего три-четыре процента. Поэтому задача «обогащения детей прилагательными имеет существенное значение»[2].

Но и здесь все дело в педагогической чуткости. Я, например, знаю родителей, которые, вознамерившись выполнить эту задачу, так ретиво принялись за работу, что пришлось обуздывать их пыл. Ибо нельзя же перегружать детский мозг огромными дозами таких недетских эпитетов, как «трогательный», «меланхолический», «изысканный», «томный», «банальный», «роковой» и т. д. Для ребенка ни один из них не имеет (и не может иметь) никакого конкретного смысла, так как все они — за пределами его личного опыта, и те родители, которые торопятся преждевременно навязать их ребенку, тем самым приучают его к пустословию. Тактичный педагог, исполненный уважения к детям, к закономерностям их нормального языкового развития, всегда найдет возможность обогащать их речь без такого насилия над ними.

Задача воспитателя не в том, чтобы возможно скорее снабдить малыша преизбыточным количеством недетских имен прилагательных, которые ребенку еще не скоро понадобятся, а в том, чтобы раз навсегда вооружить его важнейшими навыками соотносить качественные приметы вещей (размер с размером, окраску с окраской и т. д.), потому что у ребенка до двухлетнего возраста — даже несколько позже —

---

1 «Дошкольное воспитание». 1955, № 6, с. 17—40.

2 *Л. А. Пеньевская.* Обучение родному языку. Сборник «Вопросы обучения в детском саду». М., 1952, с. 123. Ссылку на Вахтерова я заимствую из этой статьи.

«сфера качества... не получила четкого расчленения. Умея отличать качества от количества или от действия, ребенок в то же время еще не в состоянии правильно противопоставить их друг другу.

Поэтому он большому противопоставляет красное, поломанному – маленькое...»[1].

– Принеси мне коробочку точно такой величины, но чтоб была побольше.

Характерный пример неумения детей дифференцировать качества: четырехлетняя Лида Григорян, для которой сплели венок из одуванчиков, увидела такой же венок на подружке:

– У нас венки одинаковые, желтого размера!

Отмечая эту особенность мышления младших дошкольников, Н. Х. Швачкин подробно рассказывает, как под влиянием педагогического эксперимента дети мало-помалу овладели соотношением качеств двух однородных предметов. «В связи с этим, – справедливо замечает ученый, – мышление ребенка становится все более упорядоченным и суждения его о качествах предметов более уточненными»[2].

И вот еще пример такого же своеобразного отношения к логике:

– У тебя большой шар, а у меня красненький.

Таким образом, воспитание речи есть всегда воспитание мысли. Когда двухлетний ребенок, узнав слово «красный» и осмыслив его, выбирает из груды разноцветных предметов одни только красные – красный грибок, красное ведерко, красный лоскут, красную пуговицу, – это значит, что он, пользуясь словом, произвел четкий анализ всего этого ряда вещей и объединил их при помощи синтеза.

«Такому методу умственной деятельности... научило ребенка слово... – говорит ленинградский психолог А. А. Люблинская. – Без речи, без слова наглядность нема. Она задерживает познание детей на уровне конкретного и особенного, не давая возможности перейти к отвлеченному, а значит, и раскрыть существенное...»[3]

---

[1] *Н. Х. Швачкин.* Психологический анализ ранних суждений ребенка. Сборник «Вопросы психологии речи и мышления». «Известия Академии педагогических наук РСФСР». Вып. 54. М., 1954, с. 129.

[2] Там же, с. 131.

[3] *А. А. Люблинская.* Роль речи в развитии зрительного восприятия у детей. Сборник «Вопросы детской и общей психологии». М., 1954, с. 18 и 29.

Речевое развитие детей, конечно, невозможно сводить к одному лишь обогащению их словаря. Развитие это выражается также и в том, что речь их с течением времени становится все более связной. Вначале ребенок выражает свои мысли и чувства отдельными восклицаниями, междометиями, отрывочными, краткими словами или даже фрагментами слов, которые понятны лишь тем, кто находится в повседневном и непрерывном общении с ребенком. Чаще всего отрывочные эти слова являются по своему существу, так сказать, спрессованными фразами. Когда годовалый ребенок говорит, например, «ту» (стул), это может значить: «посади меня на стул», «пододвинь ко мне стул», «положи мои игрушки на стул» и т. д. Целые фразы вмещаются здесь в одном-единственном (к тому же урезанном) слове.

– Пойдем тук-тук! (к соседям, где пляшут).

– Пойдем кхы-кхы! (к тете, которая кашляет).

Проходит всего год, и мы на каждом шагу убеждаемся, что ребенок уже овладел основными законами синтаксиса. У него уже хватает умения выражать свои мысли фразами. Но мысли эти еще так неустойчивы, эмоциональны, раскидисты, они с таким необычайным проворством прыгают с предмета на предмет, что нельзя и ждать от детей в этом возрасте сколько-нибудь сосредоточенной, связной, правильно построенной речи. Тут-то и необходимо педагогическое воздействие взрослых. Правда, эта прыгающая детская речь зачастую бывает прелестна своей живой, горячей непосредственностью, но, как бы мы ни любовались ею, мы все же должны всеми способами отучать от нее своих малолетних питомцев и прививать им навыки последовательной и связной речи, что и делается в настоящее время в наших лучших детских садах. Там детей всячески побуждают к рассказыванию (предлагая им, например, изложить содержание демонстрируемой перед ними картинки), причем очень внимательно следят, чтобы форма изложения была наиболее связной[1].

Все это, конечно, прекрасно, но опять-таки только в том случае, если у воспитателя есть педагогический такт. Если же он своей ежеминутной придирчивостью будет

---

[1] См. интересную статью А. М. Леушиной «Развитие связной речи у дошкольников». – «Ученые записки Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена». Психология речи, т. 35. Л.,1941, с. 21–72.

слишком стеснять малышей в свободном выражении их чувств и мыслей, если он не даст никакого простора их эмоциональным высказываниям, он рискует обесцветить их речь, сделать ее анемичной и скудной, убить в ней ее чудесную детскость и тем нанести ей непоправимый ущерб. Топорные методы здесь не годятся, излишняя ретивость окажется здесь только вредна, и хорошие результаты могут быть достигнуты лишь тем воспитателем, который будет действовать исподволь, в меру, не слишком навязчиво, почти незаметно.

Глава вторая

НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

I. ПОИСКИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

НОВИЧОК В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Разум ребенка у нас не в чести.

Всякому, кто высказывает какую-нибудь вздорную мысль, мы нередко говорим с раздражением:

— У тебя детская логика!

Или:

— Ты рассуждаешь, как малый ребенок.

Или еще обиднее:

— Глуп, как дитя!

Многим это кажется вполне справедливым: ведь и вправду очень часто приходится слышать от малых ребят самые нелепые суждения и домыслы.

Но стоит только вдуматься в эти «нелепости», и мы будем вынуждены раз навсегда отказаться от такого скороспелого мнения: мы поймем, что в этих «нелепостях» проявляется жгучая потребность малолетнего разума во что бы то ни стало осмыслить окружающий мир и установить между отдельными явлениями жизни те прочные причинные связи, которые ребенок стремится подметить с самого раннего возраста.

Правда, это не всегда удается ему.

Однажды в дачной местности под Ленинградом случилось такое событие: когда небо на закате было красное, подстрелили бешеного пса. С тех пор Майя, двух с половиною лет, всякий раз, когда видела алое вечернее небо, говорила с полным убеждением:

— Опять там бешеную собаку убили!

Легко глумиться над юной мыслительницей, воображающей, будто из-за какого-то дохлого пса небо запылало огнем! Но разве здесь не сказывается та драгоценная тяга к установлению связи между отдельными фактами, которая является движущей силой всех созданных человеком наук?

Эта тяга зачастую приводит ребенка к самым фантастическим выводам. Вот, например, каким образом четырехлетняя Тася усвоила слово «ученый». Впервые с этим словом она встретилась в цирке, где показывали ученых собак. Поэтому, когда полгода спустя она услыхала, что отец ее подруги – ученый, она спросила радостно и звонко:

– Значит, Кирочкин папа – собака?

Ошибка опять-таки чрезвычайно почтенная: в ней сказывается великолепная способность человеческого разума применять ко всему новому комплексу незнакомых явлений результаты жизненного опыта, добытые в других областях.

*

Но опыт ребенка микроскопически мал, и оттого ребенок пользуется им иногда невпопад.

Поезд налетел на свинью и разрезал ее пополам. Катастрофу увидела пятилетняя дачница Зоря Котинская и пролила много слез. Через несколько дней ей попалась навстречу живая свинья.

– Свинья-то склеилась! – закричала в восторге Зоря.

Вот до чего ребенку неведомы простейшие вещи, с которыми ему приходится сталкиваться! Новичок в окружающем мире, он на каждом шагу попадает впросак, громоздя ошибку на ошибку.

*

Каждый малыш совершает множество подобных ошибок, основанных на глубоком незнании самых элементарных вещей и явлений.

Мой трехлетний сын Николай впервые познакомился с сосновыми шишками, когда они валялись на земле под деревьями. И лишь через месяца два увидел их на ветках сосны с верхнего этажа нашей дачи:

– Шишки на дерево полезли как-то.

*

До чего скудны сведения малых ребят о простейших закономерностях жизни, лучше всего можно видеть из тех потрясающе наивных вопросов и домыслов, с которыми они обращаются к старшим:

– Мама, кто раньше родился: ты или я?

*

– Папа, а когда ты был маленький, ты был мальчик или девочка?

*

– Я люблю снег больше солнышка. Из снега можно крепость построить, а из солнышка что?

*

– Я люблю чеснок: он пахнет колбасой!

*

– Мама, крапива кусается?
–Да.
– А как она лает?

*

– Море – это с одним берегом, а река с двумя.

*

– Под кроватью живут мышкины птенчики.

*

– А если мне оторвать голову и я ее в руки возьму, будет она разговаривать?

*

– Страус – это жираф. Только птица она.

*

– Индюк – это утка с бантиком.

*

Крошит курам капустные листья, которых они не едят.
– Это я им в запас, на потом, когда они станут кроликами.

*

— Мама, что это радио говорит: война, война! Что это такое — война?

— Это когда враги нападают на мирную страну, убивают людей, поджигают города, села, деревни.

Анка снимает радио.

— Куда ты понесла радио? Поставь на место!

— Несу на помойку.

— Зачем?

— Чтобы не было войны!

*

— Что ли, ножик — вилкин муж?

*

— О, луна вместе с нами летит и в трамвае, и в поезде! Тоже на Кавказ захотела!

*

— Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту сосну... Она делает ветер; а если ты срубишь ее, станет тихо, и я пойду гулять.

*

Солнце опускается в море.

— Почему же оно не зашипело?

*

Впервые увидал полумесяц:

— Ой, ракета луну поломала.

*

Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?

— Если я вырасту тетей, буду врачом. А вырасту дядей — инженером.

*

Валерик четырех лет:

— Мама, ты была девочкой?

— Да, была.

— В школу ходила?

— Ходила.

— А с кем я дома оставался?

*

Леша взял кость от говядины, зарыл ее у себя под окном, чтобы выросла корова. По вечерам он поливал эту кость, а по утрам бегал проверять, не показались ли из-под земли коровьи рога.

Моя Мура совершила такой же безумный (и в то же время вполне закономерный) поступок, который я тогда же попытался прославить в стихах:

Мура туфельку снимала,
В огороде закопала:
— Расти, туфелька моя,
Расти, маленькая!
Уж как туфельку мою
Я водичкою полью,
И вырастет дерево,
Чудесное дерево!

Будут, будут босоножки
К чудо-дереву скакать
И румяные сапожки
С чудо-дерева срывать,
Приговаривать:
«Ай да Мурочка,
Ай да умница!»

*

— Собаки нужны охотнику, чтобы на него зайцы не напали?

*

У Славы в папиросной коробке пчела.

— Зачем ты мучаешь пчелу? Выпусти ее.

— Как же! «Выпусти»! Я ее доить буду! Она мне будет мед давать!

*

Эвакуированная семья устроилась спать под открытым небом у вокзала.

— Мама, почему мы не взяли с собой нашу крышу?

*

И солнце, и звезды в одно мгновение создаются ребенком из маленького пламени в печке:

– Топи, топи, папа, пусть огонь летит на небо, там из него сделаются и солнце, и звезды.

*

И вот причина появления весны:

– Зиме стало холодно, она и убежала куда-то.

*

Такая же эрудиция в области политэкономии:

– Мама, сходи на базар, купи, пожалуйста, побольше денег.

*

Засыпая в непривычном Крыму:

– Мамочка, потуши солнце.

*

Увидела поезд:

– Вот откуда облака! Их паровозы делают.

*

– Ложись на мою подушку, будем вместе мой сон смотреть!

*

Когда обидят двухлетнего Элю, он говорит угрожающе:

– Сейчас темно сделаю!

И закрывает глаза, убежденный, что благодаря этому весь мир погрузился во тьму.

*

– Как ты спал? Что видел во сне?

– Ну да! Разве в такой темноте что-нибудь увидишь!

*

Трехлетней Иринушке подарили крохотные кукольные качели.

Писатель Пантелеев спросил:

– Можно мне на них покачаться?

– Нет, они пока еще маленькие.

*

– Мама, знаешь, небо сделано из пластмассы!

*

– Мама, из чего делают корку на хлебе?

– Из муки.

– А как же потом ее на хлеб натягивают?

*

Миф о происхождении двугорбых верблюдов.

Мать говорит своему трехлетнему Лёсе:

– Слезь с окна, упадешь, будешь горбатый.

– А верблюд, наверно, два раза падал.

*

Леночка Люляева попросила у бабушки китайский сервиз.

– Когда будешь выходить замуж – подарю.

Леночка сейчас же к отцу:

– Папочка, дорогой, давай с тобой поженимся, и тогда у нас будет китайский сервиз.

*

Здесь в каждом слове, в каждом поступке ребенка сказывается полное незнание простейших явлений.

Но, конечно, я привожу эти факты не затем, чтобы глумиться над детским невежеством.

Напротив, они-то и внушают мне уважение к ребенку, так как показывают, сколько гигантской работы приходится проделывать детскому мозгу, чтобы уже к семилетнему возрасту преодолеть этот умственный хаос.

Нельзя не удивляться тому, за какой маленький срок ре-

бенок овладевает несметным богатством разнообразных познаний.

Уже ко времени поступления в школу он начисто освобождается от тех заблуждений, которые были присущи ему в возрасте от двух до пяти.

К этому времени его эрудиция становится так велика, он так чудесно ориентируется в окружающем мире, что уже не скажет ни одной из тех фраз, какие приводятся в настоящей главе; ему уже твердо известно, что шишки не влезают на дерево, что куры не становятся кроликами и вилка не бывает женою ножа. Уже та неизмеримо огромная разница, какую мы замечаем в объеме познаний младшего дошкольника и младшего школьника, говорит о чудодейственной активности детского разума в этот ранний период его бытия.

Вот, например, как велика неосведомленность малых детей в области анатомии и физиологии.

— У меня эти глаза навсегда или они, как зубы, выпадут?

*

Голый мальчик стоит перед зеркалом и говорит, размышляя:

— Глаза, чтобы смотреть... Уши, чтобы слышать... Рот, чтобы говорить... А пуп зачем? Должно быть, для красоты...

*

— У Юры в носу понос!

*

— Ой, мама, меня под коленкой тошнит!

*

Сережа двух с половиною лет с большим любопытством глядел, как женщина, придя к его матери, кормит свою девочку грудью.

— Мама, — спросил он, — а когда я был маленький, я тоже так пил молоко?

—Да.

— А как ты его туда наливала?

*

Другой столь же глубокий вопрос, заданный при тех же обстоятельствах.

Мать кормит грудью новорожденную Катю. Старший, Максим, лет пяти, правнук А. М. Горького, спрашивает с величайшей серьезностью:

– А кофе там тоже бывает?

*

– У Аленки на руках одни мизинчики!

*

– Я буду доктор, а ты пусть больная. Что у вас болит?

– Глаза.

– С вашими глазами случилось воспаление легких.

*

– Мама, мама, у меня болит блюдечко!

И указал на коленную чашечку.

*

– У коровы из титеньки морковки торчат.

*

Бабушка вынула искусственные зубы.

Юра расхохотался:

– А теперь глазки выньми!

*

– Вот чудо – я пью и кофе, и воду, и чай, и какао, а из меня выходит один только чай.

*

– У меня на правой ноге ладошка чешется.

*

– Ах, мамочка, неужели у тебя только две груди?

– А ты что думал?

– А я думал – как у нашей Дамки: в два ряда по всему животу.

ПОИСКИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Но сколько бы мы ни приводили подобных ошибок, нельзя не восхищаться проявившимся в них упорным стремлением детского разума внести хотя бы иллюзорный порядок в разрозненные, дробные знания о мире.

Пусть ребенок на первых порах устанавливает ассоциации по случайному признаку, пусть иные применяемые им аналогии ложны, все же самое желание ребенка ответить на вопросы: зачем? почему? каким образом? — есть важнейшее качество его младенческой психики.

В этом искании закономерностей — основа культуры, залог прогресса человеческой мысли; и как бы ни спотыкался ребенок на первых порах (а спотыкается он буквально на каждом шагу), он идет по верному пути.

Каждое из тех детских суждений, которые мы сейчас приводили, основано либо на ассоциации по смежности, либо на ассоциации по сходству.

Ассоциацию по смежности применила, например, двухлетняя Майя — та, о которой сказано в самом начале главы. Ее сильно поразили два факта, совпавшие случайно во времени: закатное небо, пламеневшее невиданными алыми красками, и выстрел милиционера в собаку.

Именно потому, что эти два факта были для нее так неожиданны, новы и ярки, она выделила их из ряда других — и тотчас же установила между ними причинную связь, решив, будто собак убивают всегда, когда небо становится красным.

Пусть на этот раз она ошиблась, но все же, повторяю, она проявила важнейшую склонность ума человеческого к отысканию взаимной обусловленности наблюдаемых фактов.

Здесь, так сказать, эмбрион причинно-следственного мышления, свойственного всему человечеству.

Конечно, ошибочные суждения детей мы, взрослые, должны искоренять самым настойчивым образом; но нельзя же оставаться слепыми к тем замечательным приемам мышления, которыми оперирует ребенок даже тогда, когда совершает ошибки.

Ошибки очень скоро преодолеются жизненной практикой, навыки же к причинно-следственному истолкованию фактов останутся у ребенка навсегда.

Чудесно сказано об этом у Сеченова: «Ребенок начинает сознавать предметы внешнего мира не только в их обособленности, но и со стороны взаимных отношений как цельных предметов друг к другу, так и частей каждого отдельного предмета к своему целому. Пониманию ребенка открываются чрез это те пружины материального бытия, которыми связываются объекты внешнего мира и которые составляют всю основу как обыденного, так и научного миросозерцания.

Из элементарных размышлений ребенка вырастает мало-помалу та грандиозная цепь знаний, которая, начинаясь самым поверхностным расчленением конкретных фактов материального мира, увенчивается точным, непогрешимым математическим знанием»[1].

От «поверхностного расчленения фактов» Майя, как мы видели, уже перешла к отысканию их взаимных отношений. Правда, она даже попытки не делает определить качества наблюдаемых ею вещей, а просто связывает их произвольной каузальной (причинной) связью.

Следующий шаг на этом пути — ассоциации по сходству (и различию) предметов. Наиболее наглядным примером такой ассоциации является сделанное трехлетним ребенком определение индюка: «Индюк — это утка с бантиком».

Одно частное понятие ребенок определяет другим, и в этом его ошибка; но самое его тяготение к классификации объектов материального мира по видовым и родовым признакам, к сопоставлению их с другими объектами является надежной основой всей его будущей умственной деятельности.

II. ПОЛУВЕРИЕ

Но, конечно, ребенок есть ребенок, а не ученый педант. При всей огромности своей интеллектуальной работы он никогда не чувствует себя умственным тружеником, неутомимым искателем истины.

Он то играет, то прыгает, то поет, то дерется, то помогает бабушке или маме хозяйничать, то капризничает, то ри-

---

[1] *И. М. Сеченов*. Кому и как разработывать психологию? — Избранные философские и психологические произведения. М., 1947, с. 268.

сует, то слушает сказку, и уразумение окружающей жизни никогда не воспринимается им как специальная задача.

Он не выделяет мышления из всей своей жизненной практики, да и самое мышление у него очень неустойчиво, прерывисто и легко отвлекается в сторону.

Длительная сосредоточенность мысли не свойственна раннему дошкольному возрасту.

Часто случается, что, создав ту или иную гипотезу для объяснения непонятных явлений, ребенок через минуту уже забывает о ней и тут же импровизирует новую.

В конце концов он доработается мало-помалу до более верного понимания действительности, но, конечно, нельзя ожидать, что за неправильной гипотезой сразу же последует правильная. Он идет к истине большими зигзагами.

Иногда в его уме очень мирно сожительствуют два прямо противоположных представления. Это видно хотя бы из такой изумительной фразы одной четырехлетней москвички:

– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.

Бабушка внушала ей догматы православной религии, отец, напротив, вовлекал ее в безбожие, и она, желая угодить и той и другой стороне, выразила одновременно в одной крошечной фразе и веру, и неверие в Бога, обнаружив большую покладистость и (в данном случае) очень малую заботу об истине:

– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.

Высказывая два положения, взаимно исключающие друг друга, ребенок даже не заметил, что у него получился абсурд.

– А Бог знает, что мы ему не верим?

Ни в социальном, ни в биологическом плане многие истины еще не нужны ему, и оттого он так охотно играет понятиями, легко создавая для себя разнообразные фикции, и распоряжается ими то так, то иначе, как вздумается.

Четырехлетняя девочка играет деревянной лошадкой, как куклой, и шепчет:

– Лошадка надела хвостик и пошла гулять.

Мать прерывает ее: лошадиные хвосты не привязные, их нельзя надевать и снимать.

– Какая ты, мама, глупая! Ведь я же играю!

Из дальнейшего выясняется, что истина о неотделимости лошадиных хвостов издавна известна девочке, но имен-

но поэтому она может оперировать противоположным понятием, создавая воображаемую ситуацию, дабы играть со своей бесхвостой лошадкой, как с куклой, — то есть одевать, раздевать ее.

Чем больше вглядываюсь, тем яснее вижу, что наши «взрослые» отношения к истине нередко бывают чужды ребенку — особенно во время игры.

Какие только игры не увлекают ребенка! Среди них очень заметное место принадлежит смысловым играм, целесообразность которых вполне очевидна: ребенок как бы тренируется для будущей умственной деятельности.

Одна из этих игр заключается именно в том, что ребенок, услышав два разных истолкования одного и того же факта, соглашается одновременно «верить» обоим.

Очевидно, в такие минуты истина кажется ему многообразной, пластичной, допускающей неограниченное число вариантов.

Здесь вполне применимо меткое английское слово half-belief — полуверие, вера наполовину.

Это полуверие имеет разные степени, и порою мне кажется, что ребенок управляет им по собственной воле.

Пятилетняя Люся спросила однажды у киевского кинорежиссера Григория Григорьева:

— Почему трамвай бегает туда и сюда?

Он ответил:

— Потому что трамвай живой.

— А отчего искры?

— Сердится, хочет спать, а его заставляют бегать — вот он и фыркает искрами.

— И неправда! — закричала Люся. — Он не живой и не сердится.

— Если бы не живой, не стал бы бегать.

— Нет, там такая машина, мне сам папа сказал, я знаю!

Григорьев был обескуражен ее реализмом и смолк. Но через некоторое время услышал, к великому своему изумлению, как Люся поучает подругу:

— А ты и не знаешь? Если бы не живой, разве бегал бы взад и вперед? Видишь — искры: трамвай сердится, хочет спать, набегался за день.

Подруга слушает ее и верит ей ровно настолько, насколько это нужно для данного случая.

Люся продолжает наслаждаться гипотезой о живом и очень сердитом трамвае. И хотя ей отлично известно, что такое трамвай, она не без успеха вычеркивает из своего сознания истину, мешающую ее смысловой игре.

Ибо временами ребенок не столько приспособляется к истине, сколько истину приспособляет к себе ради воображаемой игровой ситуации.

Моя правнучка Машенька Костюкова, начиная с двухлетнего возраста, выражала свое тяготение к сказке, к фантастическим представлениям о мире при помощи словечка «как будто».

Вот отрывок из дневника ее матери:

«Она уже прекрасно знает, что ни животные, ни предметы не могут говорить. Однако пристает ко мне с вопросами:

— Мама, а что сказала лошадь дедушке как будто?

Или:

— Мама, а что стул сказал как будто столу, когда его отодвинули? Он сказал: «Мне без столика скучно» как будто, а столик как будто заплакал.

И, если я не всегда могу сообразить, что сказал «как будто», допустим, дом грузовику, она мне подсказывает и велит повторять.

— Когда мы идем за грибами, то они как будто говорят: «Давайте вылезать из земли, за нами идут».

Из дальнейших записей того же дневника выясняется, что девочка чувствовала себя полной хозяйкой всех создаваемых ею иллюзий и по своему желанию могла отказаться от них, если они нарушали ее интересы.

Как-то за чаем она закапризничала и заявила, что ей не хочется булки. Мать попыталась воздействовать на нее при помощи того же «как будто».

— Видишь, булочка как будто просит, чтобы ты ее скушала.

И услышала резонный ответ:

— Булка говорить не умеет. У булки нет ротика.

И такое повторялось не раз: девочка, в случае надобности, тотчас же отрекалась от всяких «как будто» и становилась трезвой реалисткой. Ибо у нее, как у всех малышей, было чисто игровое отношение к фантастике, и она верила в свои иллюзии в той мере, в какой они были нужны ей для ее познавательных игр.

Точно так же относится ребенок и к сказочным вымыслам. Некий велемудрый отец, оберегая свою дочь от фантастики, сочинил для нее, так сказать, антисказку, где проводилась мысль, что бабы-яги вообще не существует в природе.

— Я и без тебя знала, — ответила девочка, — что бабы-яги не бывает, а ты мне расскажи такую сказку, чтобы она была.

По существу это двойственное, игровое отношение к реальности ничем не отличается от того, какое выразилось в незабываемой фразе:

— Бог есть, но я в него, конечно, не верю.

Процесс добывания истины нисколько не затрудняет ребенка. Многие проблемы он решает мгновенно, экспромтом, на основании случайных аналогий, иногда поражающих своей фантастичностью.

Мать готовится печь пироги. Ее пятилетняя дочь сидит на подоконнике и спрашивает:

— Откуда берутся звезды?

Мать не успевает ответить: она занята своим тестом. Девочка следит за ее действиями.

— Я знаю, как делают звезды! — сообщает она. — Их делают из л и ш н е й л у н ы.

Эта внезапная мысль подсказана ей пирожками. Она увидела, как мать, изготовляя большой пирог, отрезает от раскатанного теста все «лишнее», дабы вылепить из этого «лишнего» десяток-другой пирожков[1].

Отсюда созданная детским умом параллель между пирожками и звездами, которая в ту же минуту привела его к новой теории о происхождении планет.

III. «СТО ТЫСЯЧ ПОЧЕМУ»

Все это так... Но этим не должно заслоняться от нас основное стремление детского разума овладеть наибольшим количеством знаний, необходимых для правильной ориентации в мире.

---

[1] Этот пример я заимствую из статьи А. В. Запорожца «Развитие логического мышления у детей в дошкольном возрасте». Сборник «Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста». М.—Л., 1948, с. 82.

Какой бы неустойчивой и шаткой ни казалась нам (особенно в первые годы) умственная жизнь ребенка, мы все же не должны забывать, что ребенок от двух до пяти — самое пытливое существо на земле и что большинство вопросов, с которыми он обращается к нам, вызвано насущной потребностью его неутомимого мозга возможно скорее постичь окружающее.

Главное отличие человека от всех, даже высших, животных заключается в том, что животные, встречаясь с какимнибудь жизненным фактом, никогда не спросят себя, почему этот факт существует.

Вопросы «почему?», «отчего?» возникают лишь в уме у человека.

«Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст, — утверждает А. И. Герцен в своих «Разговорах с детьми». — Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идет, отчего трава растет, отчего иногда месяц бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может?.. Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить ее в покое и не заниматься ею.

Такого любопытства — з н а т ь, что и как делается, — звери не имеют. Зверь бегает по полю, ест, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумает, почему он бегает и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся»[1].

Больше всего люди «заботятся этим» в ребячестве. С возрастом пытливость угасает, особенно у тех, кто привык думать и жить по инерции... Не то ребенок — в возрасте от двух до пяти. Вот стенографическая запись вопросов, заданных с пулеметною скоростью одним четырехлетним мальчуганом отцу в течение двух с половиной минут.

— А куда летит дым?

— А медведи носят брошки?

— А кто качает деревья?

---

[1] *А. И. Герцен.* Разговоры с детьми. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV, М., 1958, с. 206.

— А можно достать такую большую газету, чтобы завернуть живого верблюда?

— А осьминог из икры вылупляется или он молокососный?

— А куры хожут без калош?

И вот вопросы другого ребенка:

— Как небо получилось?

— Как солнце получилось?

— Отчего луна такая ламповая?

— Кто делает клопов?[1]

Иногда эти вопросы следуют один за другим более замедленным темпом. В неизданном дневнике Ф. Вигдоровой приводятся такие вопросы ее пятилетней дочери:

«Кто такой гигант? — А гигант может поместиться в нашей комнате? — А если встанет на четвереньки? — А гиганты ходят в одежде или голые? — А что гиганты кушают? — Они добрые или нет? — А может один гигант убить всех фашистов?

Все это не сразу, а порознь. Значит, голова продолжает работать, раздумывать».

*

Машенька о радио:

— А как же туда дяди и тети с музыкой влезли?

И о телефоне:

— Папа, когда я с тобой говорила по телефону, как же ты туда, в трубочку, забрался?

*

Мне сообщают о трехлетнем мальчугане, который задал такой же вопрос.

Его тетка, физик по образованию, тотчас же принялась объяснять ему устройство телефонного аппарата. Он внимательно слушал ее, но после всех объяснений спросил:

— А как же папа оттуда вылез?

*

— Кто сделал дырки в носу?

---

[1] *К. Рождественская.* Особенности детского восприятия. Журнал «Детская литература». 1940, № 5, с. 10.

*

– И почему у одних только мамов есть молоко для маленьких, а у папов нет?

*

Гораздо реже, чем «отчего»? и «почему?», ребенок задает вопрос: «зачем?» И все же задает его с горячим упорством.

К трем годам – порою даже раньше – он проникается уверенностью, что все окружающее существует не «просто так», а для какой-нибудь точно обозначенной цели, – главным образом для удовлетворения его собственных нужд и потребностей. Корова – чтобы давать ему молоко, яблоня, чтобы снабжать его яблоками, тетя Зина, чтобы но праздникам угощать его тортом. Когда же целесообразность окружающих его людей и предметов остается непонятной ему, он видит здесь нарушение строго установленных законов природы и заявляет протест.

*

– Мама, зачем это в каждую черешню кладут косточку? Ведь косточки все равно надо выбрасывать.

*

– Почему крыжовник натыкался булавками?

*

– Зачем снег на крыше? Ведь по крыше не катаются ни на лыжах, ни в санках.

*

– Ну хорошо: в зоопарке звери нужны. А зачем в лесу звери? Только лишняя трата людей и лишний испуг.

*

Иногда вопросы «для чего?» и «зачем?» возникают у малых детей в самых неожиданных случаях.

Трехлетняя Верочка от кого-то услышала, что не следует вставать с левой ноги, и решила всегда вставать с правой.

Но запомнить, где левая нога, а где правая, было не так-то легко, и Вера не раз ошибалась. Эти ошибки огорчали ее. В конце концов она чуть не со слезами воскликнула:

— И з а ч е м это приделали левую ногу?

*

У Чехова есть крохотный рассказ «Гриша», где собрано столько наблюдений над малым ребенком, сколько иной профессиональный психолог не сделает за всю свою жизнь. Гриша (двух лет восьми месяцев), как и всякий человек его возраста, задает себе вопросы «почему?» и «зачем?» по поводу многих предметов и лиц, причем считает их существование оправданным лишь в той мере, в какой они служат ему. Так, по его убеждению, часы в столовой нужны исключительно для того, чтобы махать маятником и звонить. Еще больше оправдано существование няни и мамы:

«Они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа — неизвестно»[1].

С возрастом познавательные интересы ребенка все более утрачивают свою неустойчивость, и уже к пяти-шести годам он начинает серьезнейшим образом относиться к материалу своей интеллектуальной работы.

Очень убедительно говорится об этом в письме, которое написала мне из города Пушкина юная мать, Нина Васильева, о своем четырехлетнем Николке:

«...Он настойчиво расспрашивает меня, что такое война, что такое граница, какие народы живут за границей, кто с кем воевал и с кем дружно жил, с кем собирается воевать и что побуждает к войне тех или других и т. п. Отбою нет: так настойчиво, точно хочет заучить. Я часто отказываюсь отвечать ему, потому что не знаю, как примениться к четырехлетнему уму; он раздражается и даже начинает презирать меня за незнание.

Как устроен водопровод, паровой котел, трактор, автомобиль, электрическое освещение, что такое гроза, откуда берутся реки, как охотятся на диких зверей, на каждый вид в отдельности, отчего заводятся в утробе матери детеныши — «от пищи, что ли?» — подробно о птицах, о жителях

---

[1] *А. П. Чехов.* Собр. соч. в 12-ти томах, т. 4. М, 1955, с. 108.

прудов, где мы копаемся сачком, — вот его вопросы, они исходят исключительно от него самого без всякого толчка с моей стороны, и все они трактовались еще в прошлом году, когда ему было три года.

Часто я отвечаю ему в духе: «Вырастешь, Саша, узнаешь», — как у Некрасова. Он серьезнейшим образом очень продуманно говорит:

— Не будешь мне отвечать, я буду глупый; а если ты не будешь отказываться мне объяснять, тогда, мама, я буду все умнее и умнее...»

Не всякий ребенок способен так отчетливо и внятно мотивировать требования, которые он предъявляет ко взрослым, но всякий предъявляет их с такой же настойчивостью.

Эти требования четырехлетний Сережа лаконически выразил в таком обращении к маме:

— Я почемучка, а ты потомучка!

И те взрослые, которые брезгливо отмахиваются от «докучных» вопросов ребенка, совершают непоправимо жестокое дело: они насильно задерживают его умственный рост, тормозят его духовное развитие. Правда, в жизни ребенка бывают периоды, когда он мучает своих бабок, отцов, матерей бесконечными «почему?» и «зачем?», но чего бы стоило наше уважение к ребенку, если бы мы ради личных удобств лишили его необходимейшей умственной пищи?

«Есть детский возраст, — пишет Борис Житков, — это между 4-мя и 6-ю годами, когда дети неотступно, просто автоматически, кажется, на каждое слово взрослых отвечают, как маньяки, как одержимые: почему?

— Птичка летает, птичка порхает! — пробует отвлечь их взрослый.

Но ребенок неукоснительно спрашивает:

— Почему порхает?

Даже «серенький козлик» не утешает, сейчас же вопрос:

— Почему серенький?

Но не только «почему серенький?» — вопросы ставят родителям прямо деловые, конкретные вопросы. Тут у родителей часто не хватает сведений, а тогда чаще не хватает смелости ответить: «Не знаю. Погоди, справлюсь, скажу». Родители в таких случаях зачастую врут.

Врут из двух соображений: во-первых, чтобы отстать от надоедливого «почемучки», и, во-вторых, чтобы не поте-

рять авторитета всезнайства. Вопросы ребят самые универсальные; нужно, конечно, быть энциклопедистом, чтобы на все эти вопросы дать ответы, а зачастую и быть философом. Какая уж там энциклопедия и философия, когда трое на все голоса пристают и за юбку дергают! И родители волей-неволей брякают, что в ум взбредет. Но слово родителей — авторитет. И вот над авторитетной санкцией размышляют жадные умы.

Взрослый давно забросил эти «почему?»: то ли устав спрашивать, то ли отчаявшись получить исчерпывающий ответ. Но ребенок, раз поверив в ум и знания взрослых, не отстает и спрашивает:

— А почему глиняный?

А взрослый отвечает что попало в надежде: вырастет — сам поймет, в чем дело, когда поумнеет. А этот маленький, от которого он отмахивается авторитетной глупостью, не глупей его. Его ум еще не засорен и жадней к знанию»[1].

*

Но, разумеется, далеко не все родители отвечают что попало.

Чувство своей ответственности за правильное воспитание ребенка заставляет многих матерей и отцов усиленно заниматься самообразованием — специально для того, чтобы исподволь подготовиться к неизбежным вопросам четырехлетних мыслителей.

«Надо признаться, что у меня часто не хватает знаний, чтобы ответить на ряд вопросов детей, — пишет одна мать в стенгазете детского сада. — Те элементарные сведения, которые я получила в школе в области естествознания, биологии, не всегда достаточны, наполовину забыты, а ведь вопросы ребят бывают очень разнообразны... Отвечать на эти вопросы надо, и надо ответить так, чтобы ребенок понял... И вот приходится ходить в планетарий, читать книжку «Правда о небе», браться за ботанику, зоологию...»[2]

Наш воспитательский долг — не только отвечать малы-

---

[1] Жизнь и творчество Б. С. Житкова. М., 1955, с. 385–386.

[2] *Э. И. Залкинд.* Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье от трех до семи лет (книга для родителей)». М.,1950, с. 230.

шам на их бесконечные вопросы, но и активно пробуждать их пытливость, чтобы число этих вопросов росло. Нужно ли говорить, что из года в год, а порою из месяца в месяц эти вопросы становятся все содержательнее?

Отсюда, конечно, не следует, что мы должны сразу перегружать детский мозг всей своей тяжеловесной эрудицией. «Толково ответить на вопрос ребенка, — писал Горький, — большое искусство, оно требует осторожности». Наши ответы на вопросы детей должны быть строго дозированы. Ведь дети совсем не требуют от нас, чтобы мы раскрывали перед ними в с ю истину — в с ю до конца, во всей ее сложности и глубине. Вот один из многих примеров, ежедневно убеждающих нас в этом.

— Мама, как едет трамвай?

— По проводам идет ток. Мотор начинает работать, вертит колесики, трамвай едет.

— Нет, не так.

— А как же?

— А вот как: динь, динь, динь, ж-ж-ж-ж!

По наблюдениям советских педагогов, «даже дети старшего дошкольного возраста не всегда своими вопросами стараются добиться настоящей, доподлинной причины того или другого явления, объяснение которой можно дать только в научной форме, недоступной ребенку. Детям понятны главным образом поверхностные, внешние связи между явлениями природы. Поэтому ребенок удовлетворяется иногда простой аналогией, ссылкой на пример»[1].

IV. ДЕТИ О РОЖДЕНИИ

Этой особенностью детского разума мы и обязаны пользоваться всякий раз, когда ребенок задает нам вопросы, на которые невозможно ответить со всей прямотой.

К числу таких вопросов принадлежит раньше всего вопрос о рождении.

Наиболее пытливые дети в большинстве случаев уже на четвертом году начинают страстно размышлять о причинах своего появления на свет. Тогда же у них возникают вопро-

---

[1] *Э. И. Залкинд.* Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье». с. 225—226.

сы о том, откуда вообще появляется на земле все живое, и не было, кажется, ребенка, который не создал бы своей собственной гипотезы по этому поводу.

Конечно, все такие гипотезы всегда, без единого исключения, ошибочны, но каждая из них громко свидетельствует о неустанном труде его мысли.

Раздумья о начале всего существующего — закономерность умственного развития ребенка. И когда ребенок спрашивает: «Кто выродил первую маму?» — здесь сказывается одна из самых ранних попыток его юного мозга доискаться до первопричин материального мира.

По словам современных исследователей, такие вопросы совершенно естественны. «Ребенок, — говорит один английский ученый, — видит, что на свете существуют мужчины и женщины, старики и юнцы, маленькие дети и большие, он видит, что в его родной семье то и дело появляются новые младенцы, он слышит, что то же происходит и в других семьях, и, конечно, он был бы слепым и глухим и притом слабоумным, если бы у него не возникло вопроса о происхождении детей»[1].

Умелые педагоги применяют особую тактику, при помощи которой возможно, не слишком отклоняясь от истины, на первых порах удовлетворить любопытство ребенка, жаждущего проникнуть в тайны рождения человека. «А почему папа не беременный?» — спросил один малыш у воспитательницы детского сада. Она ответила ему с той осторожностью, которую рекомендовал педагогам М. Горький: «Родятся детки только у мам, а папы тоже любят своих деток, заботятся о них. Вы видели, как голуби кормили своих птенчиков: и мама, и папа давали птенчикам корм. Яички в гнездышко кладет только мама, а когда мама-голубка улетает, то голубь садится на гнездо и греет яички...» Вот в таком хорошем, вразумительном тоне дается ответ детям. И дети удовлетворяются», — сообщает автор статьи[2].

Верна ли эта тактика, не знаю. Не очень-то мне нравятся эти мармеладные «яички» и «птенчики в гнездышках». К тому же дети бывают разные, и никаких универсальных рецеп-

---

[1] The Nursery Years, by Susan Isaacs. London (Routledge and Kegan Paul ltd.), 1956, p. 93.

[2] *Э. И. Залкинд.* Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье». М., 1950, с. 227.

тов, конечно, у нас не имеется. Здесь нужен индивидуальный подход, причем все зависит от чутья педагогов, от их таланта и такта. Общих норм, равно применимых ко всякому ребенку при всех обстоятельствах, здесь нет и не может быть. Поэтому на дальнейших страницах нам надлежит ограничиться простым воспроизведением наиболее характерных фактов, показывающих, как многосторонен и жгуч интерес малолетних умов к этой — для них непосильной — проблеме.

*

Вот, например, любопытная запись о моей правнучке Машеньке:

«До четырех лет ей внушали, что детей покупают в магазине. Но в четыре года посыпались вопросы: в каком магазине? где? как? и т. д.

Пришлось объяснить, что детей не покупают, а рожают. Например, мама родила Машеньку, а баба Марина — маму и т. д. «А дедушка Коля кого родил? Тети родят девочек, а дяди мальчиков?!» — и была возмущена, узнав, что дяди не родят. Далее посыпалось: «Почему Сережа родился у тети Гали, а не у тебя? Не захотел быть в твоем животике? Почему? А почему Людочка родилась позже меня и теперь она меньше меня? Почему она не захотела родиться вместе со мной?»

*

— И мальчиков мамы родят? А для чего тогда папы?

*

— Как я родилась, я знаю. А вот откудова вы с папой выродились?

*

— Мама, кто меня выродил? Ты? Я так и знала. Если бы папа, я была бы с усами.

*

— А петух может совсем-совсем-совсем забыть, что он петух, и снести яичко?

*

– Как это – где я взялась? Ты же сама родила меня своими собственными руками.

*

– Дядя, дядя, из большого кролика высыпались вот такие малюсенькие. Иди скорее, а то они влезут обратно, и ты их никогда не увидишь!

*

Через много лет мне сообщили о девочке, которая, присутствуя при рождении котят, сказала понимающим голосом:

– Это мышки из кошки сыплются.

*

– Как сделался первый человек? Ведь его родить-то было некому!

*

Вере три года. Коле пять. Они поссорились. Вера кричит:

– Мама! Не роди этого гадкого Колю!

Коля (злорадно):

– А я уже вы́рожденный!

*

– Эта девочка родилась с ручками и ножками или ей их потом приделали?

*

– Эх, мама, мама, и зачем ты родила этого гадкого Гугу! Сидел бы он лучше у тебя в животе и скучал бы там всю свою жизнь.

*

В повести Веры Пановой «Сережа» пятилетний герой рассуждает:

«Откуда берутся дети – известно: их покупают в больни-

це. Больница торгует детьми, одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых — говорят, она их различает по родинке: у одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые. Купила бы лучше разных».

*

Вообще легенда о том, что родители покупают детей, — одна из самых распространенных среди младших дошкольников.

Какой-то назойливо шутливый старик сказал пятилетней Наташе об ее младшей сестре:

— Подари-ка мне эту девочку!

— Как же можно? — солидно возразила Наташа. — Мы за нее деньги платили.

*

Т. К. Горышина пишет:

«С извечным вопросом малолетних исследователей — откуда берутся дети, я столкнулась, когда Кате было четыре года. Относительно себя она безоговорочно приняла версию о покупке в магазине (насколько я знаю, этот современный вариант полностью вытеснил прадедовского аиста). Но уже в пять лет Катя обратилась ко мне с недоумением:

— А откуда звери берут детей? Ведь у них же нет магазинов».

*

— Ну вот, Славик, теперь тебе будет весело: мы купили маленькую Наташу.

— У, чего! Лучше купили бы телевизор!

*

— Сколько вы заплатили, когда покупали меня в родильном доме?

— Ты весил три килограмма, кажется, по семьдесят пять копеек за килограмм.

— Разве детей продают по весу? Что они — сыр или колбаса?

*

Пятилетнего Вову иногда заставляли нянчить маленькую Лену, сестру. Соседка в шутку просила его, чтобы он продал ей Лену. Он не соглашался. Но когда ему надоело быть нянькой, он сам принес ей Лену для продажи.

– У меня нет денег, – сказала соседка.

– А ты возьми в долг, под зарплату.

*

Мать пятилетнего мальчика, вернувшись из родильного дома, громко сокрушалась о том, что у нее вместо ожидаемой девочки – мальчик.

Слушая ее жалобы, сын посоветовал:

– А если копия чека осталась – можно и обменять!

*

Родители Тани (двух с половиной лет) обещали купить ей братишку, но не сейчас, а потом, так как денег у них было маловато. Танечка стала копить медяки и, бросая их в глиняную кошку-копилку, всякий раз нетерпеливо допытывалась, сколько еще не хватает, чтобы купить хотя бы самого дешевого Ваню.

Так прошло месяцев пять. Как-то вечером родители побывали в кино. Узнав об этом, Таня расплакалась:

– Не тратили бы денег на билетики, а скорее купили бы Ваню!

*

Ира Гмызина (в г. Петропавловске) попросила у матери, чтобы та купила ей девочку Таню.

– Они очень дорого стоят, – ответила мать.

Через несколько дней радио объявило о снижении цен.

– Ну, теперь, – закричала Ира, – ты можешь купить мне Таню!

*

Испытывая жгучую ревность к новорожденной сестре, трехлетний Игорь предложил отцу:

– Давай продадим Нинку обратно в роддом! Давай!

*

Подружка сказала Люде, что ей купят сестру или брата. Люда с негодованием:

– Не купят, а выродят. Детей покупали, когда было рабство, а теперь всех выраживают.

*

Дочь ленинградского профессора М. Басова (пяти с половиною лет) сообщила ему как-то в разговоре, что котята, которые родятся у кошки, происходят, по ее убеждению, от съеденных кошкой мышат.

– А маленькие дети как родятся? – спросил отец, испытуя ребенка.

– Тоже у мамы в животе! Вот мама съест телятину, у нее и родится маленький ребеночек.

– А если я съем телятину, у меня родится или нет?

– У тебя тоже родится. У мамы дочка, у тебя сынок.

«Так, – говорит профессор, – ребенком, крайне неожиданно для его собеседника, а может быть, и для него самого, были разрешены сразу две проблемы – происхождение видов и проблема пола».

*

Лет сорок назад, когда в Ленинграде еще существовали пролетки, шестилетний Антон, узнав, что лошади родились «из животика», без всякого удивления спросил:

– Разве у извозчиков такой большой живот?

*

– Слушай, мама: когда я родился, откуда ты узнала, что я – Юрочка?

*

Пятилетний Эдик хвастает в коммунальной кухне:

– Папа маме часы обещал, чтобы родила ему девочку. Дал бы часы мне, я бы ему десять штук родил бы.

*

– В котором часу я родилась?

– В половине седьмого.

– Ой, ты и чаю-то попить не успела!

*

— Если бы я знала, что ты такая противная, я бы у тебя не родилася.

*

— Мама, давай родим себе жеребенка!

*

Каким бы ограниченным ни был жизненный опыт детей, они всегда готовы противопоставить его неправдоподобным измышлениям взрослых.

— Я нашла тебя в лесу под кустом, — сказала мать четырехлетней Ирине.

Та возразила с великолепной иронией:

— Когда мы гуляли в лесу, что-то я не видела, чтобы там дети валялись.

*

— Мама, мне очень хочется сестренку... Ты, случайно, не хочешь родить мне сестренку? Попробуй, пожалуйста!

— Я бы с удовольствием — папа не позволяет!

— Ну что ж! Вот папа уедет, а мы тогда без него попробуем!

*

Нередко встречаются дети, которые считают равно актуальными оба метода возникновения людей на земле:

— Мама, ты меня купила или народила?

— Народила.

— Э! А Лёньку мама купила.

*

— Папа, откуда я взялся?

— Тебя купили на рынке.

— Да, но прежде чем продавать, меня должен же был кто-то сделать!

*

— Что это ты шепчешь собаке?

— Я ей говорю: народи мне щеночков. А она мне отвечает: родю, родю с удовольствием.

*

Четырехлетней Иринушке хочется иметь сестру или брата.

– Анна Аркадьевна, – говорит она знакомой соседке, – вы не можете дать мне адрес, где вы покупали вашу Катеньку?

*

– Царица обожала свою дочь, а потом у нее родилася падчерица...

*

Угроза:

– Вот уеду в Ростов, рожу ребеночка и не напишу, как зовут.

*

– И зачем ты нам такого злого папу народила?

*

– Мама, мама, вы́роди маленького.

– Отстань от меня, мне некогда.

– У тебя же бывает выходной день!

*

Лена:

– Как делают девочек?

Находчивый дедушка:

– Совсем так же, как мальчиков.

Лена удовлетворилась.

*

– Мама, когда твой зонтик у тебя разродится, дай мне самый маленький зонтичек.

*

Родители колеблются, брать ли для Наташи собаку, так как отец этой собаки – дворняга.

– Мама, даю тебе честное слово, наверняка знаю, что там никакого отца и не было.

*

— Из чего человек сделан?
— Из мяса и костей.
— А кто кожей все это обтягивал?

*

Деток мамы родят, а взрослых людей кто?

*

Наташеньке восемь месяцев. Пятилетняя Лена говорит ей сердито:
— Зачем ты в рот берешь пеленку? Вот заболеешь, умрешь, — тебя мамка второй раз рожать не будет.

*

— Когда я родилась, папа и мама были в театре. Пришли, а я уже тут.

*

Саша (трех с половиною лет) растет без отца. Это нисколько не огорчает его. Его спрашивают:
— Где твоя мама?
— На работе.
— А папа?
— Мы его еще не сделали.

*

— Ладно, если ты не хочешь, чтобы я был твой сын, так роди меня обратно! (А потом ревет целый день, удрученный своей кощунственной дерзостью.)

*

О таком же случае я через много лет прочитал в дневнике Ф. Вигдоровой:
— Мама, почему у меня такая скандальная сестра? Роди ее обратно.

*

Там же такая запись:

— Мама, ну, пожалуйста, роди ребеночка или собачку, ну, прошу тебя! Знаешь, как я буду их любить.

*

Мать. Ох, как ты мне надоел!

Пятилетний Сережа. Не надо было родить!

*

— У кого самая первая мама сисю сосала?

*

— Наконец-то у девочки народилися папа и мама, и она им очень обрадовалась.

*

Анюта задает много вопросов о происхождении людей. Бабушка объясняет Анюте, что когда-то она была у своей мамы в животике.

Спустя некоторое время:

— Я была у мамы в животике. А мама была в животике у бабы Анюты. А баба Анюта была у своей мамы. А ее мама тоже у своей мамы... Как матрёшки!

*

Уже с давнего времени и Швеции, во Франции, в Англии, в США идет агитация за «откровенность» родителей: считают, что психике трехлетних-четырехлетних детей будет нанесен очень тяжелый ущерб, если родители не расскажут им полную правду о тайнах их зачатия и рождения.

Английский педагог Бенджамин С. Грюнберг так и назвал свою книгу: «Родители и половое воспитание» («Parents and the Sex Education»), где громит «отсталых» матерей и отцов, которые считают эту преждевременную откровенность ненужной.

Шестнадцатым изданием вышла в Лондоне книжка К. де Швейниц «Каким образом рождается ребенок», специ-

ально предназначенная для детского чтения[1]. Книжка напечатана с подзаголовком «Что каждому ребенку нужно знать», — очень завлекательная, нарядная книжка, с отличными картинками, на отличной бумаге. В ней с большим литературным искусством рассказывается, как продолжают свой род птицы, растения, рыбы, домашние и дикие животные, а с ними заодно и человек, который таким образом ставится в один биологический ряд со всеми живыми существами.

Казалось бы, чего лучше! Но можно ли назвать эту книжку правдивой? В том-то и горе, что нет. Под лозунгом «говорите ребенку правду» она говорит ему ложь.

Пусть неоспорима та истина, что половой инстинкт дан живым существам исключительно для продолжения рода, но какой же влюбленный согласится считать брачные отношения с любимой только средством для производства детей! Для влюбленных их сексуальная жизнь вполне самоцельна и не преследует никаких утилитарных задач. Задача продолжения рода совершенно вытесняется в их представлении такими бурными и сложными эмоциями, какие доступны только душе человеческой. Если вы ничего не скажете ребенку об этих эмоциях, а сообщите ему лишь о технике зачатия (приравняв эту технику к той, какая наблюдается в мире животных), вы, сами того не желая, обманете его, солжете ему, ибо в вашей схеме никак не вместятся не только Наль и Дамаянти, не только Ромео и Джульетта, не только Леандр и Геро, не только Беатриче и мадам Бовари, но даже чеховские «Попрыгунья» и «Душечка», не говоря уже о «Даме с собачкой».

Вся мировая литература с древнейших времен громогласно свидетельствует, что взаимное притяжение полов отнюдь не обусловлено *сознательным намерением* продолжить свой род. Неужели Петрарка, воспламенившись внезапной любовью к Лауре, добивался сближения с нею, чтобы стать отцом ее детей? И было ли материнство сознательной целью княжны Мери, когда она полюбила Печорина?

Если отрешить сексуальные отношения от тех эмоций, которые порождаются ими в каждом человеческом сердце,

---

[1] How a Baby is Born, by K. De Schweinitz. London (Routledge and Kegan Paul ltd.).

и воспринять их как технический процесс, направленный исключительно к изготовлению детей, это будет понято каждым влюбленным как циническая клевета на любовь, — клевета, опровержением которой служат те мириады лирических песен и любовных стихов, которые слагаются снова и снова каждым новым поколением молодежи. В этих стихотворениях и песнях нашел воплощение тот комплекс возвышенных чувств, без которых любовь — не любовь.

Скажут, что я противопоставляю точной науке — поэзию, которая, как и подобает поэзии, питается одними иллюзиями, не вникая в подлинную сущность вещей. Но ведь такие иллюзии властительны не над одними поэтами. Они присущи каждому влюбленному: каждый самый заурядный, самый обыкновенный мужчина субъективно воспринимает свое влечение к женщине как нечто такое, что дорого ему *само по себе*, независимо от заботы о продолжении рода. Имя этого влечения — страсть:

Бьется сердце беспокойное,
Затуманились глаза,
Дуновенье страсти знойное
Налетело как гроза.

«Дуновенье страсти» — какой же воспитатель возьмется рассказывать о нем маленьким детям, которым оно чуждо, недоступно, непонятно, несвойственно.

Вот почему даже в аисте меньше обмана, чем в той урезанной, искалеченной «правде», которую спешат сообщить своим детям иные слишком торопливые взрослые.

Целенаправленность страсти почти никогда не ощущается влюбленными. Для их субъективного сознания страсть не имеет другой цели, кроме себя самой.

Мне много раз случалось убеждаться, как хорошо забронирован ребенок от ненужных ему мыслей и сведений, которые его воспитатели навязывают ему преждевременно.

Если мать или отец, не считаясь с возрастными потребностями ребенка, попытаются сообщить ему полную и неприкрытую «истину» о зачатии, ребенок по законам своего детского мышления непременно превратит эту «истину» в материал для безоглядной фантастики.

Так поступил, например, пятилетний Волик Шмидт, сын академика Отто Юльевича Шмидта, когда его мать от-

кровенно сообщила ему подлинные и подробные сведения о происхождении детей.

Он тотчас же стал импровизировать длинную повесть о своей жизни в материнской утробе:

« — Там есть перегородка... между спинкой и животиком.

— Какая перегородка?

— Такая перегородка — с дверкой. А дверка вот такая маленькая. (Смеется.) Да-да. Я сам видел, когда у тебя в животике был. И комнатка там есть малюсенькая, в ней живет дяденька.

— Какой дяденька?

— Я был у него в гостях, пил у него чай. Потом я играл еще в садике. Там и садик есть маленький, и песочек в нем... И колясочка маленькая... Я там с детками играл и катался.

— А откуда же детки?

— Это у дяденьки народились... Много-много деток. И всё мальчики; девочек там нет. И моссельпромовцы сидят... Трое их... Вот такие малюсенькие.

— И ты там жил у них?

— Я приходил к дяденьке в гости, а когда пришла пора родиться, я с ним попрощался за ручку и вышел у тебя из животика».

Рассказ об этом маленьком Волике, населившем материнскую утробу тремя моссельпромовцами, я заимствую из неопубликованного дневника Веры Федоровны Шмидт.

В том же дневнике есть другая любопытная запись:

«После каждого глотка Волик останавливается и как бы прислушивается, что делается у него внутри. Потом весело улыбается и говорит мне:

— Уже побежало по лестничке в животик.

— Как — по лестничке?

—У меня там лестничка (показывает путь от горла до желудка); все, что я кушаю, бежит потом по лестничке в животик... А потом есть еще лестничка в ручках, в ножках... Везде идет то, что я кушаю...

— Это тебе кто-нибудь рассказал так?

— Нет, это я сам видел.

— Где же ты это видел?

— А когда я был у тебя в животике, я видел, какие у тебя лестницы... значит, и у меня такие...»

Вот что сделал пятилетний ребенок из эмбриологических истин, которые поторопилась сообщить ему мать.

Это было давно. Но вот через двадцать лет, в октябре 1962 года, свердловский врач Г. И. Дубровская пишет мне о своем четырехлетнем Илюше, что он, после того как ему сообщили «всю правду» о зачатии и рождении детей, тотчас же стал фантазировать так:

– Я ходил и искал себе маму. Заглянул в сердце к одной тете, к другой тете. Все тети злые. Нашел добрую тетю и пошел жить у нее в животе.

Научная истина, к которой взрослые поспешили его приобщить, отскочила от пего, словно мяч от стены, потому что до поры до времени он так же не способен усвоить ее, как, скажем, Ньютоновы законы механики.

Как мы видели, ребенок и сам отвергает те сведения, которые преждевременно даны ему взрослыми. Он начисто вычеркивает их из сознания как бы для того, чтобы взрослые могли убедиться, что умственная пища, которую они предлагают ему, в данном случае ему не нужна.

Мать Толи Божинского сообщает мне:

«Я объяснила Толе, что такое беременность. Когда родилась у меня Тиночка, я долго толковала ему, что она «вышла у меня из животика». Но однажды я рассказала ему сказку об аисте. И потом, когда спросили, откуда у нас Тиночка, он убежденно сказал:

– Аист принес.

О Тиночке я никогда не говорила ему, что ее принес аист».

*

Пришли гости, и кто-то спросил про трехлетнюю Валю:

– Чьи у Вали глаза?

Ему ответили:

– Папины.

«А папа, бедный, значит, без глаз остался», – подумала Валя и тут же сочинила такую гипотезу:

– Когда я еще не родилась, у папы было много глаз, и большие и маленькие; а когда мама купила меня, папа отдал мне большие глаза, а себе оставил маленькие.

*

Замечательна легкость, с которой ребенок разрешает такие проблемы. Все это – чистейшая импровизация, сродни тем вдохновенным экспромтам, которые он произносит во время игры. Экспромты для него такая же неожиданность, как и для его собеседника. Он за минуту не знает, что скажет, но говорит уверенно и твердо, не сомневаясь в правильности своих измышлений.

Эти измышления – времянки, нечто вроде рабочих гипотез.

Через минуту он готов высказывать прямо противоположные мысли, ибо здесь для него зачастую своего рода смысловая игра. Даже если ему приведется случайно присутствовать при рождении каких-нибудь тварей, он и тогда готов истолковать происходящее самым фантастическим образом.

В. И. Качалов рассказывал мне, что когда его сын и Митя Сулержицкий узнали, что у кошки должны родиться котята, они никак не могли догадаться, откуда эти котята появятся.

Митя глянул кошке в ухо и крикнул:

– Теперь уже скоро! Уже лапка видна.

*

– Мама, правда, что люди от обезьяны произошли?

– Правда.

– То-то я смотрю: обезьян так мало стало.

*

– Разве ты не знаешь, что все люди произошли от обезьян: и я, и твоя мама.

– Вы – как хотите. А моя мама – нет.

*

Еще один «научный» разговор о происхождении человека по Дарвину.

Нина Щукарева спрашивает бабку:

– Бабушка, ты была раньше обезьяной?

– Нет, никогда не была.

— А твоя мама?

— Тоже нет.

— Кто же был обезьяной? Дедушка?

— Бог с тобой. И дедушка не был.

— Ну так, значит, моя московская бабушка.

*

Во всякой подобной путанице виноваты, конечно, взрослые, которым не терпится обогатить ребенка сложными и многообразными сведениями, еще недоступными несозревшему разуму.

Ведь ребенок не может представить себе те миллионы лет, которые потребовались для эволюционных процессов. Его представления о времени ограничены рамками его крошечного детского опыта.

Поэтому, сколько бы взрослые ни старались приобщить его в полной мере к подобным научным познаниям, это всегда приведет их к постыдному краху. Когда, например, шестилетнему Коле отец стал рассказывать об эволюции животного мира, мальчик понял его рассказ на свой лад и сообщил товарищам по детскому саду:

— Я знаю: мой дедушка был обезьяной, начал работать и стал человеком. Потом он народил папу, а папа меня.

Для каждого ребенка от двух до пяти жизнь всего человечества начинается в лучшем случае с дедушки.

V. НЕНАВИСТЬ К ПЕЧАЛИ

Прежде чем воспроизвести мои записи о том, как маленькие дети относятся к смерти, я хотел бы в виде краткого предисловия напомнить об одном замечательном качестве детской души — оптимизме.

Все дети в возрасте от двух до пяти верят (и жаждут верить), что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера — одно из важнейших условий их нормального психического роста.

Чудесно сказал об этом самообслуживании ребенка весельем поэт Александр Кушнер:

В детстве что? Кружись и падай,
На одной скачи ноге.
Сам себя смеши и радуй
В голубом дождевике...

Доставляй себе веселье
Из всего. Из рук и ног,
Из болезни, из бездолья,
Из бумаги, из чулок...

Гигантская работа ребенка по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, если он непоколебимо доволен и собой, и окружающим миром.

Отсюда — борьба за счастье, которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия.

Пойдите хотя бы в костно-туберкулезный санаторий, где малые дети, привязанные целыми годами к кроватям, вырабатывают в себе, наперекор своей томительной жизни, столько благодатной веселости, что даже многолетние боли не причиняют им психической травмы, какую причинили бы взрослым.

Пойдите в какой-нибудь из детских театров. Когда на героя нападают разбойники, когда баба-яга превращает его в мышь или ящерицу, юные зрители испытывают душевную боль и требуют, настойчиво требуют, чтобы неприятности, выпавшие на долю героя, прекратились возможно скорее и снова воцарилось бы счастье, которое для ребенка является нормой.

В Московском театре для детей шла чудесная пьеса талантливого драматурга Т. Габбе «Город мастеров». Пьеса предназначена для старших ребят, но на один из спектаклей случайно попал мой пятилетний внук. С горячим увлечением глядел он на сцену и вдруг крепко-крепко закрыл себе ладонями глаза:

— Больше не стану смотреть. Ты скажешь, когда начнется хорошее.

Глаза у него оставались закрытыми, покуда на сцене происходило печальное действие: благородный горбун Караколь, главный герой этой пьесы, попал в западню к врагам и коварный злодей наместник несправедливо обвинил его в краже кольца, которое сам же и дал ему. Торжество лицемерия и злобы над смелым, благородным героем было так не-

выносимо для пятилетнего сердца, что внук поспешил зачеркнуть, уничтожить весь этот мучительный для него эпизод.

Лишь тогда отнял он руки от глаз и с прежнею жадностью начал смотреть на сцену, когда убедился, что беды Караколя прошли и тот счастлив опять.

Почему вообще дети младшего возраста — вовсе не такие уж добрые — принимают так близко к сердцу судьбу своих любимых персонажей, будет ли то горбун Караколь, или Буратино, или Аладдин, или Золушка, или Василиса Прекрасная? Почему они горюют и плачут, если этим персонажам приходится плохо, и чувствуют такую горячую радость, когда те становятся победоносны и счастливы?

Главная причина, как мне кажется, заключается в том, что у детей есть способность отождествлять себя с каждым таким персонажем.

Когда мой внучок закрыл глаза, чтобы не видеть страданий, которые предстояло претерпеть Караколю, это, вероятно, произошло оттого, что он увидел в Караколе себя и ему стало жалко себя. И так как в волшебных сказках герои неизменно бывают бесстрашны, самоотверженны, благородны, активны и всегда, ради победы добра, борются со злыми и темными силами жизни, ребенок ощущает себя таким же участником этой борьбы за добро. Поэтому ему так мучительно видеть, как злые и темные силы хоть на мгновение вытесняют из мира добро. В такие минуты он закрывает глаза, дабы этим незамысловатым приемом обеспечить себе душевный покой.

«В нашей семье, — пишет мне А. Н. Робинсон, — сохранилась старая хорошая книжка «Сказки бабушки Татьяны». Все три поколения детей на протяжении полувека (мой дядя, я и мои дети), зная заранее содержание этих сказок, всякий раз, когда кто-либо из взрослых читал им сказки или они сами смотрели картинки, упорно пропускали (или переворачивали) те страницы, где говорится о смерти петушка и о гибели серого козлика».

В знаменитой сказке Льва Толстого «Три медведя» девочка заблудилась в лесу, попала к медведям в дом, сломала у них маленький стул, съела их суп: они сердились на нее и бранили ее.

Вова невзлюбил эту сказку и выбросил из нее все неприятное. По его словам, история случилась не с девочкой, а с ним: это он, Вова, заблудился в лесу и попал к трем медведям. Ничего он у них не ломал, а суп хоть и съел, но сейчас же пошел на кухню и приготовил им новую порцию — вкуснее и больше. Медведи оказались предобрые: угостили его медом и яблоками, подарили ему елку с игрушками, научили стрелять из ружья.

Словом, если Лев Толстой изобразит в своей сказке наряду с веселыми эпизодами грустные, ребенок поправит Толстого, вытравит из его сказки печальное, устранит те места, где говорится о неудачах героев, и оставит одни только удачи и радости.

Но решительнее и активнее всех выразил свою жажду оптимистического отношения к миру Алик Бабенышев.

«Он очень любит книги, — сообщает в письме его мать. — Особенно ему нравилась сказка о Буратино. Он всякий раз просил меня, когда я приходила с работы:

— Прочти «Золотой ключик».

Однажды я увидела, что из книги очень неумелой рукой вырвана страница, все зазубринки торчат.

— Кто это сделал?

— Я.

— Зачем?

— Чтобы он ее не обижал.

Не помню сейчас, кто из героев обижает там Мальвину, но вырвана была действительно та страница, где Мальвину обижали».

*

Александр Жаров сообщил мне такой эпизод.

Внучка Оленька попросила у бабушки:

— Расскажи сказку!

Бабушка начала:

— Дело было в лесу. Шли маленькие козлята. А навстречу им серый волк...

Оля крикнула:

— Не надо рассказывать!

— Почему?

— Козлят жалко.

*

Впрочем, и к волку ребенок отнесется с таким же горячим сочувствием, если только из какой-нибудь сказки узнает, что волк — невинно пострадавшая жертва коварных врагов.

Четырехлетний Алик Чернявский спокойно слушал сказку про злую лису и простодушного волка. Но когда он узнал, что хвост у волка примерз и что волк, убегая от врага, был вынужден оставить оторванный хвост в проруби, он очень огорчился его неудачей и дрожащим голосом спросил:

— Но ведь хвост потом вырос? Правда?

— Нет! — отвечали ему. — Этого не бывает.

— Нет, вырос! вырос! вырос! — упрямо настаивал мальчик.

— Да нет же, у одних только ящериц хвосты отрастают опять, а у волков никогда.

Горе Алика не имело пределов. Он так разбушевался, что его долго не могли успокоить. Он рыдал навзрыд и сквозь слезы выкрикивал:

— Вырос! вырос! вырос!

*

Глупый мышонок в маршаковской «Сказке о глупом мышонке» позвал к себе в няньки кошку, и та растерзала его. Четырехлетняя Галя Григорьева вначале и слушать не хотела об этой катастрофической смерти, но после долгого раздумья сказала:

— Наверное, мышка-мать рада, что кошка съела ее мышонка.

— Почему же?

— Да он все пищал, плакал, не давал ей спать... А теперь ей никто не мешает: спи сколько хочешь. Не надо вставать и баюкать его. Правда? Ведь ей стало лучше? Да?

Так своими собственными средствами, без посторонней помощи, дети на каждом шагу создают для себя иллюзию счастья и зорко следят, чтобы она не терпела ущерба.

В последнее время я получил великое множество писем, подтверждающих эти мои наблюдения целыми десятками примеров. Нина Соковнина (Москва) пишет мне о мальчике Саше (2 года 8 месяцев):

«Не любит плохих концовок в сказках и исправляет их. Дед укладывает его спать и поет:

Ай-дуду! ай-дуду!
Потерял мужик дугу.
Поискал и не нашел.
Он заплакал и пошел.

— Нет, не так! — возражает Саша.

— А как же?

— Запряг лошадь и пошел».

Другой малыш, Коля Черноус, трех с половиною лет, совсем избавил эту песню от горестных строк и создал такой вариант:

Ай-дуду! ай-дуду!
Потерял мужик дугу.
Поискал и нашел.
Засмеялся и пошел.

Тот же Саша слушал по радио «Колобок» и очень радовался его спасению от волка и медведя. Но потом он услышал слова: «Вот лиса «ам» — и проглотила». Саша никак не согласился с этим.

— Нет, он убежал! Вот он бежит, бежит, бежит — слышишь, бабушка?

Тут по радио зазвучала веселая музыка.

— Ну вот, я говорил, что убежал! Вот он прибежал домой: дед и баба и Колобок схватились за руки — пляшут!

И сам приплясывает и в ладоши хлопает, так что бабушке пришлось согласиться, что Колобок прибежал домой.

— Да, и дома его положили на тарелочку! — говорит бабушка.

— Что ты, бабушка! Кто же на тарелочке пляшет?

И снова о Колобке.

«Лет двух от роду, — сообщает Елена Тагер, — я, по словам моей матери, очень любила сказку о Колобке. Но слушала спокойно только до тех пор, покуда Колобку удавалось ускользать от опасных зверей. Когда же доходило дело до лисы, которая его «ам — и съела...», я поднимала страшный крик: «Не надо, не надо!» — и пускалась в слезы. Одно спасение от рева было — продолжать сказку, заставляя ловкого ге-

роя последовательно встречаться со львом, слоном, верблюдом и т. д., причем все эти встречи должны были непременно кончаться торжеством Колобка.

— Весь зоологический сад, бывало, переберу, пока ты уснешь! — жаловалась впоследствии мать».

И вот что сообщает мне из города Кропоткина Л. А. Потапова о своей внучке Леночке:

«Ей было три года, я спела ей песенку про кукушку, которая потеряла детей. При словах:

Потеряла детей,
Скучно бедненькой ей, —

раздались громкие рыдания Леночки, и, когда я через несколько дней попыталась ей спеть ту же песенку, она с ужасом зажала мне рот:

— Не надо! Не надо!

То же самое случилось, когда я рассказывала ей сказку «Теремок», которая кончается тем, что медведь раздавил всех зверей.

В дальнейшем я уже все сказки заканчивала хорошим исходом».

О таком же случае сообщает и писатель Л. Пантелеев. Когда его дочери Машеньке было без малого полтора года, он попытался прочитать ей стишок (переведенный с английского):

Дженни туфлю потеряла,
Долго плакала-искала,
Мельник туфельку нашел
И на мельнице смолол.

Машенька так сильно «переживала» первые три строки этого стихотворения («Бедная девочка, ножка босая, голенькая»), что отец не решился прочитать ей последнюю строку — о жестокости мельника.

«И вот, — пишет он в своем дневнике, — вместо «мельницы» я бормочу нечто благополучное — что-то вроде:

Мельник туфельку нашел,
Положил ее на стол».

Эта жажда радостного исхода всех человеческих дел и поступков проявляется у ребенка с особенной силой именно во время слушания сказок.

Если ребенку читают ту сказку, где выступает добрый, неустрашимый, благородный герой, который сражается со злыми врагами, ребенок непременно отождествляет с этим героем себя.

Всей душой сопереживая с ним каждую ситуацию сказки, он чувствует себя борцом за правду и страстно жаждет, чтобы борьба, которую ведет благородный герой, завершилась победой над коварством и злобой. Здесь великое гуманизирующее значение сказки: всякую даже временную неудачу героя ребенок всегда переживает как свою, и таким образом сказка приучает его принимать к сердцу чужие печали и радости.

VI. ДЕТИ О СМЕРТИ

Года четыре
Был я бессмертен.
Года четыре
Был я беспечен.
Ибо не знал я о будущей смерти,
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

Маршак

Восьмилетний октябренок сказал:

– Аня, я десять раз смотрел «Чапаева», и все он утопает. Может быть, пойти с папой?

Ему хочется думать, что гибель Чапаева – киноошибка и что эту грустную киноошибку он может исправить, добившись, чтобы Чапаев остался в живых. В понимании ребенка счастье – это норма бытия, и оттого трагический конец фильма о любимом герое кажется ему противоестественным.

Тем персонажам, которые милы ребенку, все на свете должно удаваться, и никоим образом нельзя допускать, чтобы они умирали, так как с ними ребенок чаще всего отождествляет себя.

Замечательны в этом отношении поправки, которые в разное время внесли два трехлетних мальчугана в рассказанную им «Красную Шапочку».

Один из них, Андрейка, тотчас же нарисовал иллюстрацию к сказке в виде какой-то бесформенной глыбы и объяснил окружающим:

– Это камень, за ним спряталась бабушка. Волк не нашел ее и не съел.

Второй мальчуган, Никита (по-домашнему – Китя), обеспечил себе такую же уверенность в полном благополучии мира, выбросив из сказки все то, что казалось ему грустным и пугающим. Правда, сказка вышла чересчур уж короткая, но зато вполне утешительная. Китя рассказал ее так:

– Жила-была девочка-шапочка и пошла и открыла дверь. Все. Я больше не знаю!

– А волк?

– А волка не надо. Я его боюсь.

«Волка не надо»! Спрашивается: может ли такой оптимист, не приемлющий ни малейших упоминаний о страхах и горестях жизни, ввести в свое сознание трагическую мысль о смерти – чьей бы то ни было, не говоря уже о собственной?

Если вы вздумаете рассказать ребенку всю правду о смерти, он, из вечно детского стремления к счастью, немедленно примет все меры, чтобы заменить эту правду соответственным мифом.

Вася Катанян, четырех лет, недоверчиво спросил свою мать:

– Мама, все люди умирают?

– Да.

– А мы?

– Мы тоже умрем.

– Это неправда. Скажи, что ты шутишь.

Он плакал так энергично и жалостно, что мать, испугавшись, стала уверять его, что она пошутила.

Он успокоился сразу:

– Конечно, пошутила. Я же знал. Сначала мы будем старенькие, а потом опять станем молоденькие.

Таким образом, он почти насильно вернул себе необходимый ему оптимизм.

А. Шаров приводит следующий рассказ педагога о трехлетнем Коле:

«Когда мы первый раз выезжали на дачу и воспитательница повела малышовую группу на прогулку, Коля шел позади. Потом вдруг остановился и склонился к траве. Воспитательница подошла и поторопила: «Идем, идем!» Он показал на мертвую синичку и спросил:

— Почему она не летит?

— Птица дохлая, — сказала воспитательница и прикрикнула: — Да иди же ты!

Всю прогулку мальчик был молчалив, задумчив. Утром Коля проснулся раньше всех. Босиком побежал к опушке леса. Синички там не оказалось. Он бегом вернулся и, дождавшись воспитательницы, задыхающимся, немыслимо счастливым голосом воскликнул:

— Тетя Маша! Все-таки она улетела!..

Мальчик так и не принял смерти. Так и утвердил вечность жизни»[1].

*

Вспоминается Егорушка из чеховской «Степи»:

«Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но, как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле; вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему: лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...» (гл. VI).

Оптимизм нужен ребенку, как воздух. Казалось бы, мысли о смерти должны нанести этому оптимизму сильнейший удар. Но, как мы только что видели, ребенок чудесно забронирован от подобных скорбей. В его душевном арсенале есть достаточно средств для защиты необходимого ему оптимизма. Едва только, на исходе четвертого года, ребенок убеждается в неотвратимости смерти для всего существующего, он торопится тотчас же уверить себя, что сам он вовеки пребудет бессмертен.

В автобусе круглоглазый мальчишка лет четырех с поло-

---

[1] *А. Шаров.* Языки окружающего мира. «Новый мир». 1964, № 4, с. 143.

виною глядит на похоронную процессию и говорит с удовольствием:

— Все умрут, а я останусь.

*

Великолепно выражена эта детская жажда бессмертия в той же повести Веры Пановой «Сережа»:

«— Мы, что ли, все умрем? [спросил у взрослых шестилетний малыш.]

Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное. А он смотрел и ждал ответа.

Коростелев ответил:

— Нет. Мы не умрем. Тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем, и, в частности, ты, я тебе гарантирую.

— Никогда не умру? — спросил Сережа.

— Никогда! — твердо и торжественно пообещал Коростелев.

И Сереже сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел — покраснел пунцово — и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду: ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду: как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал: ты не умрешь!»

*

— Мама, — говорит четырехлетняя Анка, — все люди умирают. Так должен же будет кто-нибудь вазочку (урну) последнего человека на место поставить. Пусть это буду я, ладно?

*

Замечательны те многообразные и хитроумные способы, при помощи которых ребенок отгоняет от себя мысль о смерти.

Самообслуживание оптимизмом — могучий закон детской жизни.

Таточка Харитон услыхала от няни песню:

И никто не узнает,
Где могилка м о я.

И стала петь ее так:

И никто не узнает,
Где могилка т в о я.

Няня говорит:

— Ты неверно поешь. Нужно петь: «Где могилка м о я».

— Я так и пою: «Где могилка т в о я».

*

Бабушка умерла. Ее сейчас закопают. Но трехлетняя Нина не слишком-то предается печали:

— Ничего! Она из этой ямки переляжет в другую, полежит-полежит и выздоровеет!

*

Мертвые для маленьких бессмертны.

Л. М. Николаенко повела трехлетнюю Марину на кладбище и посадила на могиле ее бабушки клен. Когда вернулись домой, девочка сказала с удовольствием:

— Наконец-то я увидела бабушку Лиду!

— Что ты, Мароша! Ты видела только ее могилку.

— Нет, я видела, как она сама выглядывала в ту ямку, в которую вы сажали деревце.

*

Девочка пяти лет пришла с мамой на кладбище и вдруг увидела пьяного, который шел, шатаясь, за кустами.

— А этот дядя уже выкопался из могилки?

*

У Вересаева записан такой разговор:

«— Знаешь, мама, я думаю, люди всегда одни и те же: живут, живут, потом умрут. Их закопают в землю. А потом они опять родятся.

— Какие ты, Глебочка, говоришь глупости. Подумай, как это может быть? Закопают человека большого, а родится маленький.

— Ну что ж! Все равно как горох! Вот такой большой. Даже выше меня. А потом посадят в землю — начнет расти и опять станет большой».

*

Прошло много лет, и мне сообщили о такой же гипотезе, снова выдвинутой трехлетним ребенком.

— Хоронят старых людей, — это их в землю сеют, а из них маленькие вырастают, как цветы.

*

Смерть представляется детям сплошным удовольствием. Волик о каком-то покойнике:

— А на чем он ехал хорониться?

— Ты ведь видел, как хоронят.

— Это когда в ящике катают на лошадке? Да?

*

Жалеть умирающих — не детское дело.

— Я умру, — говорит мать. — Меня сожгут.

— А как же твои туфли? — ужасается дочь (двух с половиною лет).

*

Фелик вбегает в комнату:

— Мама, я хочу быть курсантом: их хоронят с музыкой, — и шапка на гробу!

*

Похороны без музыки вообще никуда не годятся.

— Почему у м е р не играет? Я хочу, чтобы у м е р играл!

*

Зато, когда «умер играет», можно встать у окна и хвастать:

— Скоро и моего папу так повезут!

*

— Наташа, кого хоронят?

— Не поймешь: их много, и все шевелятся.

*

Скончался дядя Шура. Сегодня хоронят.

— А пойдет за ним музыка?

— Нет, он не военный.

— А ты военный?
— Нет.
— А дядя Гога военный?
— Нет. А что?
— Музыку охота послушать.

*

— Из нашего дома вынесли лодку, а потом еще лодку, в ней умертый дядя, положили его на грузовик, закрыли другой лодкой и увезли.

*

— Моя бабушка никогда не умрет. Дедушка умер — и хватит.

*

В соседнем дворе умерла старуха.

— Нет, старик! Я сам видел, что старик! Впереди несут гроб, а старика ведут под руки, а он плачет, не хочет хорониться.

*

Хоронят женщину. Над нею плачет осиротелая дочь. Девочку уговаривают, чтобы она перестала, но она продолжает рыдать.

— Какая непослушная! — возмущается Юрик и, желая, чтобы его похвалили, спешит заявить своей матери: — Вот когда ты умрешь, я ни за что плакать не буду.

*

— Мама! Поехал покойник, а за ним идет большая очередь.

*

Мать моей правнучки Машеньки Костюковой пишет:

«Вот примерная эволюция ее представлений о смерти. Сперва девочка, потом — тетя, потом — бабушка, а потом — снова девочка (в два с половиною года). Тут пришлось объ-

яснить, что очень старенькие бабушки и дедушки умирают, их закапывают в землю.

После чего она вежливо спросила у бабеньки:

– А почему вас еще в земельку не закопали?

Одновременно с этим возникла боязнь смерти (в три с половиною года):

– Я не умру! Не хочу лежать в гробике!

– Мама, ты не будешь умирать, мне без тебя скучно будет! (И слезы.)

Однако к четырем годам примирилась и с этим».

*

Когда дети становятся старше, эгоистическая забота о личном бессмертии и о бессмертии ближайших родных начинает сменяться у них бескорыстной мечтой о бессмертии всего человечества. Украинский ученый Н. Н. Гришко сообщил мне о таком разговоре:

– Мама, я тоже умру? – спросила девятилетняя Галка.

– Непременно.

– А скоро?

– Лет через сто.

Галка заплакала.

– Не хочу, мамочка, умирать, хочу жить тысячу лет.

Пауза.

– Я, знаешь, мама, буду учиться на «отлично», потом буду докторшей и выдумаю такое лекарство, чтобы люди никогда не умирали.

– Это тебе не удастся.

– Ну тогда, чтобы люди жили не меньше ста лет. Я буду обязательно такое лекарство выдумывать.

Этот разговор замечателен тем, что в нем детский эгоцентризм сменяется (буквально у нас на глазах) заботой обо всем человечестве.

*

Ляля пяти лет говорит:

– Вот ведь большие дяди и тети, а чем занимаются – хоронением! Я, конечно, не боюсь, нет, но ведь жалко – хоронят и хоронят, ведь людей хоронят. Пойдем и заявим в милицию – ведь жалко людей-то!

*

Буквально такое же не личное чувство прорвалось у пятилетней Сашеньки:

– Зачем люди умирают?.. Мне жалко. Мне всех людей жалко, и чужих жалко: зачем они умирают? (Дневник Ф. Вигдоровой.)

*

Е. Калашникова пишет мне про пятилетнего Мишу, который, услышав о смерти знакомого, сообщил одному из гостей:

– Дядя, а ведь, знаете, умереть – это очень плохо. Ведь это на всю жизнь!

*

Двое ребят:

– Не ешь зеленых вишен, умрешь.

– Нет, не умру.

Видел: вчера хоронили дедушку? Когда он был маленький, он ел зеленые вишни – вот и умер.

*

Художник В. М. Конашевич о своей внучке Аленушке:

«Уговаривает нас с бабушкой не умирать, пока она не вырастет: она изобретет лекарство от старости и от смерти. Потому что смерти не должно быть».

*

Пятилетняя Лена обещает отцу:

– Я всегда буду тебя помнить – даже когда ты умрешь.

И тотчас перебивает себя:

– Нет, лучше мы вместе умрем. А то мне будет очень жаль, если ты умрешь скорей меня.

*

Трехлетняя Наташа не играет, не прыгает. На лице у нее трудная дума.

– Наташа, о чем ты задумалась?

— Кто будет хоронить последнего человека?

Вопрос деловой, практический: кто похоронит покойника, когда и похоронщики будут в могиле?

*

У Елизаветы Шабад, в ее книжке «Живое детское слово», приводится такой разговор маленького здравомысла с отцом:

— Папа, если в прошлом году будет война, тебя застреляют?

— Может быть.

— А от тебя ничего не останется?

— Нет.

— Даже точки?

— Да, а ты меня будешь жалеть?

— Чего же жалеть, если ничего не останется![1]

*

Пятилетнему Юре читают стихотворение Некрасова.

— «Смерть крестьянина. Часть первая...»

Юра:

— А разве он умирал по частям?

VII. НОВАЯ ЭПОХА И ДЕТИ

Подобных детских высказываний записано у меня очень много, но и приведенных достаточно, чтобы установить основные их типы. Замечательно, что некоторые из них сообщались мне дважды и трижды в разное время из разных источников, и я не мог не прийти к убеждению, что они в значительном своем большинстве характерны для очень многих нормальных детей.

Как уже сказано выше, я приступил к собиранию детских выражений и слов полвека назад, даже раньше, и это дало мне возможность подметить одно очень важное качество собираемых мною материалов — их частую повторяемость, их, так сказать, однотипность: моя правнучка в своем

---

[1] *Е. Ю. Шабад.* Живое детское слово. Из работ первой опытной станции Наркомпроса. М., 1925, с. 51—52.

словотворчестве идет точно тем же путем, каким шли мои дети и внуки, и не только в словотворчестве, но и в методах всей своей умственной деятельности.

В огромном большинстве читательских писем, получаемых мною, я нахожу уже знакомые мне наблюдения и факты или очень близкие их варианты.

Например, с разных концов Советского Союза мне сообщали и сообщают о детях, которые, услышав от взрослых, что человек – потомок обезьяны, сделали из этого вывод, будто той обезьяной, от которой идет человеческий род, был в недавнее время их дедушка.

Точно так же повторяются опять и опять гипотезы трехлетних-четырехлетних детей, будто девочки произведены на свет исключительно мамами, а мальчики – исключительно папами. Подобно тому как разные дети из поколения в поколение всякий раз сызнова изобретают слова всехный, кусарик, мазелин, ктойтина, рогается, пивнул, методы их умственной работы и в других областях совершенно тождественны и приводят к однородным результатам (зачастую к одинаковым ошибкам).

*

Таковы же детские суждения и помыслы, которые отражают в себе новую эпоху в истории нашей страны, эпоху новых социальных отношений.

Индустриализация нашего быта, например, вызвала тысячи детских речений, немыслимых в прежнее время. Вот некоторые из них, разносторонне отражающие внедрение техники в жизнь советских детей.

Четырехлетний Миша Юров выписывается из больницы. Прощаясь с ним, няня спрашивает:

– Миша, ты москвич?

– Нет, я – «Победа»! – отвечает мальчишка, потому что для него, как и для большинства малышей, «Москвич» – это раньше всего марка автомобиля.

*

По радио передавали статью о сражении на Волге. Статья была озаглавлена: «Победа на Волге».

Услышав это заглавие, Славик взволнованно крикнул:

– Дедушка! Авария! «Победа» налетела на «Волгу»!

*

Трехлетний мальчик, гуляя по городу, увидел остановившуюся на улице лошадь.

— Верно, току у ней нет! — сказал он и обнаружил одной этой коротенькой фразой, что уже появилось такое поколение детей, для которого электропоезда, троллейбусы, трамваи привычнее (а значит, и понятнее) лошади.

Еще не так давно дети всегда наделяли машину свойствами людей и животных:

— Мама, смотри, какой краснощекий автобус!

Но теперь, как мы видим, их так тесно обступила электромеханика, что они объясняют ею даже поведение уличной клячи.

*

Двухлетний гражданин, у которого во время беготни оторвался шнурок от туфли, садится на траву и вздыхает:

— Пеебой мотое... — что, несомненно, должно означать: «Перебой в моторе». Даже сказать эти слова не умеет как следует, а уже применяет к своей крохотной обуви технический термин.

*

Ирочка Ковалева увидела картинку: крыловский «Квартет», и сказала:

— Звериный джаз.

*

Девочка впервые увидела в Зоопарке слона. Глянула на хобот и сказала:

— Это не слон, а противогаз.

*

Кике ставили клизму. Он командовал:

— Ну, включай!

А потом:

— Выключи, выключи!

*

Ах, мамочка, какая ты красивая! Как мотоциклетка!

*

У меня в сказке «Тараканище» есть такие стихи:

Зайчики
В трамвайчике,
Жаба на метле.

Т. М. Мотылева сообщает мне, что ее четырехлетний сын Миша читал эту сказку по-своему:

Зайчики
В трамвайчике,
Жаба на метро, –

то есть модернизировал сказочный транспорт, подсказанный мне древней фантазией патриархальной деревни.

*

Одновременно с этим драматург И. В. Шток написал мне о такой же поправке, внесенной его дочерью Икой:

– Ты неправильно говоришь. Нужно «на метре», а ты говоришь «на метле». Зайчики в трамвайчике, жаба на метре.

*

– Правда, мама, троллейбус – это помесь трамвая с автобусом?

*

– «...Волчишко с годами превратился в матёрого волка...»

Что такое «матёрый», Володя не знал и потому пересказывал эту историю так:

– Волчишко поступил в монтеры...

*

Привычка малолетних детей к автоматике стала у нас так велика, что я не очень удивился, когда услыхал, как один

мальчик, желая выпить томатного сока, громко сказал в магазине:

— Мама, купи мне автоматного соку!

*

— Давай посмотрим коров, — стадо идет.

— А что в них интересного? Если бы в них мотор был!

*

Городская девочка впервые в деревне. Увидела теленка:

— А он заводной?

*

Вася воротился из колхоза.

— Что ты там видел?

— Лошадиный прицеп.

То есть попросту — воз.

*

Мама:

— У одного мальчика два глаза, у второго тоже два глаза. Сколько у них всего глаз?

Костя (с плачем):

— Я глазов считать не умею.

— А что ты умеешь считать?

— Реактивные самолеты.

*

Даже в старинные сказки умудряются советские дети внедрить современную технику. Пятилетний художник, выслушав сказку о бабе-яге, рисует ее избушку на курьих ножках с длиннейшей антенной на крыше.

— Ведь она же радио слушает!

*

— Слушай, Сереженька, сказку. Созвала как-то бабушка семерых козлят...

— По телефону?

*

Илюша Розанов (1 г. 10 м.) впервые увидел грозу:

— Бабушка, смотри, какой салют!

*

Четырехлетний сын инженера Витя Варшавский нарисовал человечка, а сбоку отдельно — нос, уши, глаза, пальцы и сказал деловито:

— Запчасти.

*

Ему показали картинку: лошадь, впряженная в плуг.

— Что это такое?

Объясняют: лошадка пашет землю.

— Разве лошадка — трактор?

*

Вернулся из Зоопарка.

— Ну, Алешенька, что ты там видел?

Ждали, что он начнет говорить о тиграх, слонах, бегемотах.

Но Алеша ответил коротко:

— Машину!

(Грузовик, поливавший дорожки.)

*

Вопрос моего малолетнего внука:

— Дед, а в лошадь бензин наливают?

*

Лошадь попятилась от вырытой канавы.

— Смотри, Николушка, лошадка испугалась!

— И совсем не испугалась, просто забуксовала.

*

Детей постарше интересуют проблемы того же порядка, но значительно более сложные. Семилетний Сережа Сосинский:

– Чтоб долететь до какой-нибудь там планеты, надо сто шестьдесят девять лет. Значит, чтобы человек действительно долетел до нее, ему надо по дороге жениться и иметь детей, которые и долетят. Но могут ли рожаться дети в атмосфере?

Он хотел сказать «в безвоздушном пространстве».

*

Наташа, дочь поэта Д., сочинила такое стихотворение о Лайке:

Отправили собаку
Летать вокруг Земли.
Ей разных бутербродов
На месяц запасли.
Собака громко лает
В кабиночке своей,
А спутник все летает
Вокруг Земли моей.

Поэту захотелось приписать к этой Наташиной песенке несколько строк своего сочинения.

– Пожалуйста, не надо, – сказала Наташа. – Ты ведь, я знаю, испортишь.

*

Девочка ехала в поезде с разговорчивой матерью, которую долго ревновала к ее собеседникам; наконец зажала ей рот:

– Мама, закрой свое радио!

Тут опять-таки «метастаз» техники в область бытовых отношений, процесс, противоположный тому, который приходилось наблюдать в детской речи лет сорок назад.

*

Е. Ковальчук (Ленинград) сообщает мне замечательный случай одного такого «метастаза», который определяется суффиксом и с т.

«С сыном Эдиком мы приехали в Вильнюс. Это было в 1947 году. Тогда у вокзала стояло много извозчиков. В Ленинграде их уже давно не было, и Эдик никогда их не видел.

Он знал, что на свете существуют велосипедисты, таксисты, танкисты, но названия «извозчиков» не знал.

Указав на дрожки, он с восторгом воскликнул:

– Смотри, папа, л о ш а д и с т поехал!»

*

Иные старые слова известны советским детям главным образом в связи с современностью. Например, слово «карета». Когда в сказке Андерсена «Огниво» детям читают о том, что солдата повезли в карете, они спрашивают: «Разве он заболел?», так как единственная карета, известная им в наше автомобильное время, есть «карета скорой помощи», которая, кстати сказать, давно уже перестала быть каретой. Впрочем, в последнее время дети чаще всего говорят: «Победа» скорой помощи».

*

Недавно я читал по радио отрывки из своей книги о Чехове. Рассказывая о его сахалинской поездке, я упомянул, между прочим, что в дороге его обокрали какие-то случайные спутники.

Вскоре после этого мною было получено из Севастополя такое письмо:

«Мой 4-летний сын Вова собирался гулять и, казалось, совсем не слушал вашего чтения. Вдруг на лице его появилось выражение ужаса:

– Мама, ты слышишь? Спутника обокрали!»

*

Сооружает нечто из двух табуреток.

– Что это ты делаешь, Гриша?

– Для твоих сапог гараж строю.

*

Прочтя эту страницу моей книги, А. Мясникова (Куйбышев) спросила своего племянника Алика:

– Как называется дом, где живут лошади?

Он немедленно ответил:

— Гараж.

— Ну, что ты! Совсем не гараж.

— Ангар.

— Нет, нет, не ангар.

Он замолчал и задумался. Когда же ему сообщили, что жилье лошади — конюшня, он недоверчиво замотал головой.

— Такого слова нету! Выдумываешь!

Этот же Алик, по словам А. Мясниковой, воскликнул, увидя купающегося в Волге коня:

— Папа, лошадь по самый кузов в воду залезла!

*

Бабушка стоит у окна, показывает двухлетнему внуку автомобиль и сюсюкает:

— Бибика!.. Сереженька, это бибика!

Внук с пренебрежением глядит на нее:

— Это не бибика, а «Победа».

*

Неинтересным и убийственно скучным представляется пятилетнему Антону Иванову все, что не связано с техникой. О чем бы вы ни говорили ему, он слушает насупившись, с большой неохотой, а чаще всего и вовсе не слушает. Но чуть только дело касается радиолокаторов, динамо-машин, или блюмингов, или самой обыкновенной электрической лампочки, его круглые щеки краснеют, в глазах появляется выражение блаженства, он вскакивает с места и, бегая в восторге по комнате, засыпает говорящего сотней вопросов и не отстанет, пока не получит ответов на свои «как?», «почему?», «для чего?».

Его речь перенасыщена множеством технических терминов. Он сказал, например (цитирую со стенографической точностью):

— Я так устал, как лампочка на сто двадцать вольт, которую включили в сеть на двести двадцать вольт без трансформатора.

И это показалось мне тем более чудесным, что рос он в семье, чрезвычайно далекой от техники: его дед — писатель (Всеволод Иванов), бабка — переводчица повестей и

романов, мать — лингвистка, отец — художник (Д. Дубинский), один дядя — филолог (В. В. Иванов), другой — пейзажист.

*

В троллейбусе.

— Тетя, подвиньтесь!

Молчание.

— Тетя, подвиньтесь, пожалуйста.

Молчание.

— Мама, эта тетя н е о з в у ч е н н а я?

*

У бабушки в углу перед иконой никогда не гаснет красная лампадка.

Леня с удивлением:

— А почему у тебя все время горит стоп-сигнал?

*

— Вот почитай стихи на кубиках.

— Меня это теперь не интересует.

— А что же тебя интересует?

— Космос.

*

— Эта церковь закрыта.

— На переучет?

*

— Бабушка, что с тобой?

— Ох, милый, болею.

— За кого? За «Спартак»? За «Динамо»?

*

Выше говорилось о ребенке, назвавшем полумесяц «сломатой луной».

Сейчас мне сообщают про мальчика (трех с половиною лет), который во время войны закричал о том же полумесяце:

— Мама, мама, луну разбомбили!

*

Мальчик лет пяти иллюстрировал Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» и сбоку нарисовал патефон.

– При чем же здесь патефон?

– Ведь у Пушкина сказано: «Идет направо – песнь заводит». Раз «заводит», значит, патефон.

*

– Звезды на небе не настоящие, не красные, не такие, как в праздник.

*

– Звезды – это с а л ю т и н к и, которые за небо зацепились.

*

– Когда у нас день, в Америке ночь.

– Так им и надо, буржуям!

*

«Однажды мы взяли пятилетнего Сашу в кино, и он увидел картину «Ленин в 1918 году», – сообщает мне Мария Сластёнина. – Там эсерка Каплан стреляет в Ленина. Это страшно взволновало Сашу. Потом ту же картину показывали по телевизору. Саша сел у самого экрана и, когда Каплан стала целиться в Ленина из револьвера, с силой ударил глиняным петушком по экрану. Стекло разбилось, экран потух. Что произошло? Мы не поняли. Но потом услышали: Саша смеется и кричит с торжеством:

– Не успела! Не успела!

Он был уверен, что ему удалось спасти Ленина от предательской пули».

*

Характерно, что слово «белый» советскими малышами часто воспринимается не в прямом, а в переносном смысле. Услышав о белых медведях, Вова говорит с удивлением:

– Разве у зверей тоже буржуи?

*

Внучка инвалида-гардеробщика, узнав, что ее дед заболел и не пойдет сегодня вечером на службу, спросила встревоженным голосом:

— А что же будет с пятилеткой?

*

Шестилетний Игорь — маме:

— Ты у меня самая красивая, хорошая, миролюбивенькая.

*

Пушкина на дуэли убили...

— А где же был милиционер?

*

Об Илье Муромце:

— Илья Тимуровец.

*

—...тут баба-яга приземлилась.

*

— И сказал колдун Олегу: «Ты умрешь от своего коня». И тогда повел Олег коня в колхоз...

*

— Это кто нарисован?

— Гном.

— А он фашист или наш?

*

О какой бы стране ни зашел разговор, Ирочка тотчас же спросит:

— А они за нас?

*

Какой-то мальчишка с большим увлечением слушал пушкинскую сказку о царе Салтане. Но все время его тревожил вопрос: что же такое этот самый Салтан? С одной стороны, он как будто человек симпатичный, а с другой стороны, слишком уж поддается влиянию злой Бабарихи и ее коварных подруг. Поэтому ребенок все время перебивал рассказчика такими вопросами об этом непостижимом царе:

– А что он – правильный? А он хороший? А он наш, советский?

Об этом мальчике я прочитал в одной из статей профессора А. В. Запорожца[1].

*

Подобный же случай описан в неизданном дневнике Ф. Вигдоровой. Она решала со своей дочерью Галей кроссворд, и им встретилась такая строка: «Известный советский поэт».

Галя сказала:

– Некрасов.

– Какой же он советский! – возразила писательница.

– А разве он не советский? Ведь он же хороший.

Как и для миллионов других наших маленьких граждан, «советский» и «хороший» для Гали синонимы.

Правда, Гале в ту нору было уже десять лет, но нужно ли говорить, что в отношении к слову «советский» младшие дети вполне солидарны со старшими? В одной из публикаций Дома детской книги приводится такое восклицание пятилетнего мальчика о сказочном Иване-царевиче:

– Он хороший, Иван-царевич, как наши бойцы. Да?[2]

Если бы Иван-царевич, в представлении нынешнего ребенка, не был наделен качествами советских бойцов, ребенок никогда не полюбил бы его.

---

[1] *А. В. Запорожец.* Психология восприятия сказки ребенкомдошкольником. «Дошкольное воспитание». 1948, № 9, с. 40.

[2] *М. М. Скудина.* Роль русской народной сказки в воспитании моральных качеств у детей дошкольного возраста. Сборник «Литературно-критические чтения». М., 1951, с. 108.

*

Милиционер задержал машину, нарушившую правила уличного движения. Маленький сын нарушителя, с ужасом наблюдая, как советский милиционер бранит его папу и составляет на него какой-то акт, высунулся в окошечко и просит:

— Дяденька, отпустите нас! Мы — за мир!

*

— Правда ли, что в Америке все стулья — электрические?

*

На какую-то просьбу Миши бабушка сказала ему:

— Это тебе по штату не полагается!

— Так ведь штаты — это в Америке, а у нас штатов нет!

*

— Что это за собака?

— Немецкая овчарка.

— Она сдалась в плен, да?

*

Пятилетний Саша:

— Мама, а летом холодной войны не бывает?

*

Играя с детьми, Саша усвоил себе их выражения: «мирово погулял», «мирово покатался» и проч. На их жаргоне «мировое мороженое» — самое лучшее. Поэтому Саша с недоумением спрашивает:

— Почему мировая война? Как же это: война и вдруг мировая?

*

Отец Светика Гусева в шутку сказал жене:

— Я тебе приказываю, и ты должна подчиниться.

Светик ястребом налетел на отца:

— Теперь таких мужей не бывает! Теперь такие мужья не нужны. Ты... раньшенный муж!

Он хотел сказать: старорежимный.

*

С четырехлетним Волей мы гуляли по старинному кладбищу. Среди памятников – мраморный ангел с поднятой кверху рукой. Воля смотрит на памятник и объясняет себе самому:

– Это он «будь готов» делает.

*

Вообще у огромного большинства малышей выработался своего рода иммунитет ко всему клерикальному. Вересаев рассказывает, как набожная нянька взяла с собой маленького Юрика в церковь. Юрик, вернувшись домой, сообщил со смехом своим близким:

– Мы гуляли в большом, большом доме... Там Петровна голенького дядю нюхала.

– Что ты, Юра, врешь? – возмутилась Петровна. – Какого я дядю нюхала?

– А на стенке дядя голенький был нарисован. Петровна подошла к нему близко, машет рукой и нюхает. А старушки все баловались: стукали в землю лбом... А я не баловался, нет!..

*

В церкви с бабушкой, увидя икону:

– Чей это портрет?

– Это боженька.

– А где он живет?

– На небе.

– Высоко?

– Высоко.

– А реактивка его достанет?

*

Рудольф Бершадский сообщает:

«В присутствии пятилетней дочери я однажды рассказывал, как няня постоянно водила меня в церковь. Дочь недоверчиво перебила меня:

– Папа, разве ты еще при Боге родился?»

*

Тот же Светик Гусев увидел в Зоопарке слона. Он долго рассматривал огромного зверя и наконец спросил у матери:

— Чей это слон?

— Государственный.

— Значит, и мой немножечко, — произнес он с большим удовольствием.

*

Нередко приходится наблюдать, как отражается в детских разговорах семья. Специальные технические термины, свойственные отцовской или материнской работе, перекочевывают в речь малолетних детей и начинают своеобразно служить их интересам и надобностям.

Е. В. Гусева сообщает мне о своем маленьком Светике, отец которого служит бухгалтером:

«Когда я ему сказала, что он половину игрушек за лето растерял, он высыпал все игрушки из корзины на пол и говорит: «Надо сделать переучет».

*

Сын одного писателя, глядя на вертящуюся карусель, проговорил с нетерпением:

— Папа, скажи редактору этой карусели — нельзя ли мне наконец покататься!

*

Трехлетняя дочь сапожника, гуляя в садике детской больницы, увидела, что какая-то женщина несет ребенка в приемный покой, и сказала понимающим голосом:

— Починять понесли деточку.

Здесь, конечно, очень большое значение имеет склонность детей к подражанию. Девочка выросла в мире сапожных починок, и немудрено, что лечение ребенка представилось ей чем-то вроде прибивания каблуков и подметок.

*

Я рассказывал детям известную сказку о заколдованном царстве, где заснувшие жители не просыпались сто

лет. И вдруг дочь уборщицы, пятилетняя Клава, воскликнула:

– Ну и пылища же там была. Господи! Сто лет не вытирали и не чистили!

*

Дима, сын продавца готового платья, использовал терминологию отцовской профессии для излияния родственных чувств:

– Я всех люблю одинаково, а мамочку на один номер больше.

*

– Тебя нашли в капусте! – говорят городскому ребенку, думая, что он тотчас же представит себе традиционную капустную грядку.

– Разве я был в супе? – слегка удивляется он и тем обнаруживает, что в качестве горожанина никогда не видел огорода. Капуста являлась ему только в тарелке.

*

Мне весело писать эту книгу о детях, потому что детство лучезарно, и всякое соприкосновение с ним – счастье. Но приходится – ничего не поделаешь! – омрачить эту книгу печальными фактами, свидетельствующими, как трясина мещанского семейного быта втягивает порою и детей. Отчетливо отражается в их разговорах уродливая семейная пошлость.

*

– У меня папа – я не знаю кто.

– А у меня папа – шофер.

– А у тебя, Витенька?

– А у меня папа – подлец.

– Кто тебе это сказал?

– Мама.

*

– У нашего Захара две жены: одна родная, другая двоюродная.

*

– Тетя Оля, отдайте вашу Олечку за меня замуж.

– Зачем?

– Она мне будет готовить, а я буду лежать на диване и читать газету, как папа.

*

– Никогда не женюсь! Охота каждый день ссориться!

*

– Мама, а к Ване-то новый отец приехал и Ваниного отца прогнал.

*

– Твой папка коммунист?

– Нет! Какой он коммунист! Он с мамкой каждый день ругается!

*

Двухлетней Оле мать купила на день рождения бутылку квасу. Когда стали ее откупоривать, пробка вылетела, и квас, запенившись, полился на стол. Оля побежала к отцу.

– Папа, папа! Бутылку стошнило! – крикнула Оля, неоднократно наблюдавшая такую же «тошноту» у отца.

*

Не менее отвратительными кажутся мне и такие, например, эпизоды:

У б о р щ и ц а. Девочка, ты уходи отсюда, ты мне мешаешь пол мыть.

Д е в о ч к а. Не уйду. Мне мама велела: «Как бы, говорит, она чего не взяла».

*

– Я выйду замуж за Вову, – говорит четырехлетняя Таня, – у него красивый костюмчик, и за Петю тоже: он подарил мне копеечку.

– А как же Леша? Ведь у него столько игрушек!

– Что ж! Придется мне и за него выходить.

*

У Люды и Саши отец пьянствует, тиранит семью.

Люда:

— Мама, и зачем только ты на папе женилась! Нам бы знаешь как втроем было бы хорошо!

*

Хочется надеяться, что пошлые нравы, отразившиеся в этих десяти эпизодах, отойдут мало-помалу в далекое прошлое! С каждым годом у меня все больше накапливается фактов, говорящих о трепетно-чутком внимании множества советских родителей к душевному развитию их ребят.

«Уважаемый товарищ Чуковский, — пишет мне один молодой инженер, — мы обращаемся к Вам, как к детскому писателю, за советом несколько необычного характера. В связи с ожиданием рождения ребенка мы оба хотели вести «летопись» его жизни от 0 до 3—4 лет так, чтобы создалась фотография формирования ребенка, его чувств, речи, физического развития...»

Ребенок еще не родился, но у будущих родителей так огромно уважение к нему, к его будущим чувствам, речам и поступкам, они так верят в значительность его психической жизни, что заранее, еще до его появления на свет, готовятся стать летописцами самых первых его криков и лепетов и, придавая этому делу великую важность, обращаются за советом к профессиональным писателям.

Еще характернее письмо, полученное Агнией Львовной Барто от некиих юных супругов:

«...С какого возраста давать детям Пушкина? И когда давать им читать Маяковского?»

Можно было подумать, что речь идет о подростке или, по крайней мере, о школьнике пятого класса, и лишь в самых последних строках обнаружилось, что родители сильно поспешили со своими вопросами, так как в ту пору их сыну было ч е т ы р е м е с я ц а!

Подобных писем становится все больше. И каждое из них продиктовано таким уважением к ребенку, какого не было и быть не могло в прежней, ветхозаветной России.

Как пренебрежительно относились в былое время к пе-

риоду раннего детства, можно видеть из следующей типической фразы в «Записках актера Щепкина»:

«Тут промелькнуло мое детство, весьма неинтересное (?!), как и детство всякого (?!) ребенка»[1].

Чтобы продемонстрировать возможно нагляднее всю огромную разницу между старым и новым отношением к ребенку, приведу два письма, полученные мною в разное время.

Первое написано больше полувека назад (в 1909 году) какой-то разгневанной барыней, прочитавшей в одной из тогдашних газет мои ранние заметки о языке малышей.

«Что касается детского языка, — писала она, — то советую вам почитать Библию; там вы узнаете, как три тысячи лет тому назад премудрый Соломон доказал, что детского языка нет. А я, как мать многих детей, могу вам доказать, что дети, по недостатку развития своих внешних чувств и своего ума, умеют только картавить, то есть коверкать недослышанные слова взрослых, например, «шикана» — картошка, «обдядя» — губка, «панфуй» — футляр и т. д.».

Сбоку приписка:

«Вы забыли, что яйца курицу не учат».

В одной этой строке — древнее, тысячелетнее, рабье неуважение к ребенку.

К письму прилагалось такое обращение в редакцию: «Ваши читатели, конечно, не иначе могут смотреть на статью некоего Чуковского «О детском языке», как на рождественскую шутку. Но всяким шуткам есть предел... Конец вашей газеты недалек, если она не перестанет брать сотрудников с одиннадцатой версты (то есть из сумасшедшего дома. — *К. Ч.*)».

Исследовать детскую речь многие считали в то время безумием. Заявить о своем уважении к ребенку значило навлечь на себя неуважение «публики».

Но вот письмо, полученное мною в 30-х годах от одного деревенского школьника:

«Товарищ Чуковский! Я решил завести дневник и записывать речь маленьких людей, будущих строителей социализма. Прошу сообщить мне, как лучше урегулировать это дело. Жду с нетерпением вашего совета. Привет.

Степан Родионов».

---

[1] Записки актера Щепкина. М.—Л., 1933, с. 53.

Письмо суховатое. Деловое письмо. Насчет того, что детская речь представляет собою большую социальную ценность, у Степана Родионова нет ни малейших сомнений. Для него это дело решенное. Уважение к психической жизни ребенка вошло в его плоть и кровь.

Он спрашивает лишь о методике этой трудной работы, которую берет на себя добровольно, без всяких сентиментальных ужимок, просто как общественную нагрузку. А нагрузок у него не так уж мало. Во втором письме он сообщает:

«Сельсовет назначил меня культармейцем. Сейчас я обязан к перевыборам в Советы ликвидировать неграмотность и малограмотность [взрослых людей]».

Он по самому своему существу – просветитель. Тревога о детях, забота об их приобщении к культуре – для него естественное чувство.

В прежнее время нам, литераторам, писали о детях главным образом лишь матери да бабки, а теперь заурядными становятся письма на эту же тему от девушек, холостяков и подростков, то есть от таких людей, которые прежде считались наиболее равнодушными к детскому быту. Теперь любовь к детям из узко материнского чувства стала массовой, всенародной, разлилась по миллионам сердец.

Вот еще письмо – одно из тех, которые я теперь получаю десятками:

«Я студент ленинградского втуза, не педагог, не отец семейства, и, следовательно, принципиально я далек от мира детей, но...»

Дальше следует обычное признание (очень сдержанное и зачастую застенчивое) в неискоренимом пристрастии именно к «миру детей».

«Я через полтора месяца кончаю 10-й класс саратовской школы, – пишет школьница Наташа Николюкина. – Братьев и сестер у меня не было и нет, но...»

Следует такое же признание.

И вот письмо московской студентки:

«Я страшно люблю детей – и умных, и глупых, и красивых, и некрасивых, – и во мне вызывают умиление и восторг все их слова и поступки. Хотела бы я знать детей, понимать их, а любить их мне учиться не надо. Я бы очень хотела стать хорошим детским врачом, который сумел бы мягко, чутко и внимательно относиться к своим маленьким пациентам».

Это новое чувство с большой глубиной и силой выразилось в советской художественной литературе. Маленький ребенок стал излюбленным героем таких писателей, как Аркадий Гайдар, Борис Житков, Вера Панова, Л. Пантелеев и другие.

Особенно показательна для наступившей эпохи ребенка книга Веры Пановой «Сережа», вышедшая в 1956 году. Кто из прежних писателей, и великих и малых, решился бы посвятить целую повесть — не рассказ, не очерк, а именно повесть — изображению чувств и мыслей самого обыкновенного малолетнего мальчика, и притом сделать его центральной фигурой всей повести? Этого в нашей литературе еще никогда не бывало.

Это стало возможным лишь нынче, при том страстном интересе к ребенку, интересе, которым в последнее время охвачены в нашей стране широчайшие слои населения.

Так как я не меньше полувека пристально наблюдаю детей, я считаю себя вправе сказать на основании очень долгого опыта, что детская психология изображается в этой повести правдиво и верно, с непревзойденною точностью. Пятилетние, шестилетние советские дети думают, чувствуют, играют, ненавидят и любят именно так, как это изображает Панова. Наблюдения над сотнями наших дошкольников, приведенные мною на предыдущих страницах, полностью подтверждают все то, что сообщается ею в «историях из жизни» Сережи.

Особенно зорко подмечены талантливым автором этих «историй» неустанные усилия детского мозга, направленные к овладению знаниями, необходимыми для ориентации в окружающем мире. Автор чрезвычайно наглядно показывает, как велика та страстная пытливость, с которой каждый нормальный ребенок стремится к немедленному решению вопросов, ежечасно встающих перед его неугомонным умом, — в том числе вопросов о рождении, жизни и смерти.

Достаточно хоть бегло ознакомиться с приведенными мною материалами, чтобы прийти к убеждению, что именно эти вопросы неизбежно встают перед каждым ребенком уже с трехлетнего, четырехлетнего возраста.

Но получилась очень странная вещь: вместо того чтобы обрадоваться замечательной книге Пановой, нашлись критики, которые по непонятной причине встретили ее вопию-

ще несправедливыми, мелочными придирками, словно задались специальною целью во что бы то ни стало отнять у новейшей советской литературы одно из лучших ее достижений.

VIII. СЛЕЗЫ И ХИТРОСТИ

На одной из предыдущих страниц я приводил заявление Нюры:

– Я плачу не тебе, а тете Симе!

Нюра точно выразила отношение многих здоровых трехлетних детей к социальной ценности слез.

Ребенок от двух до пяти нередко «плачет кому-нибудь» – с заранее поставленной целью. И отлично управляет своим плачем.

Мать не позволила трехлетнему Коте кидать мячиком в люстру. Он начал бурно реветь, сидя на полу среди комнаты. Мать спряталась за ширму. Он подумал, что она ушла, вытер лицо кулаком, оглянулся и сказал:

– Чего же я реву-то? Никого нет.

И пошел разыскивать мать и, пока разыскивал, не плакал. Матери не нашел, привязался к работнице и тотчас заревел еще пуще.

Профессор К. Кудряшов сообщает в письме, что трехлетний Сережа в разговоре с ним, между прочим, сказал:

– Когда папа и мама приходят домой, я реву.

– А без них?

– При бабуле не реву.

– Почему же?

Сережа развел руками:

– Бесполезно.

Писатель Н. Г. Кон передал мне свой разговор с трехлетней Саррочкой Брахман:

– Я сегодня упала и сильно ушиблась.

– Плакала?

– Нет.

– Почему?

– А никто не видал.

Плакать в одиночку, без слушателей, здоровые дети зачастую считают излишним.

У двух близнецов глухой отец. Поэтому они ревут лишь

при матери. Когда же остаются с отцом, охота плакать у них пропадает.

Тот же Сережа (из повести Веры Пановой) умело управляет своими слезами: когда старшие мальчики прогнали его, «у него дрогнула губа, но он крепился: подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит: «Плакса! Плакса!»

Часто случается видеть, как ребенок несет свой плач какому-нибудь определенному адресату.

Его, скажем, обидели в далеком конце парка, и он бежит к отцу или матери по длинной тропинке и при этом нисколько не плачет, а разве чуть-чуть подвывает. Он бережет всю энергию плача до той минуты, когда добежит до сочувственных слушателей. А покуда тратит эту энергию скупо, минимальными порциями, хорошо понимая, что расходовать ее зря не годится. Вообще эта энергия плача исчерпывается у детей очень быстро.

Вова Воронов плакал на улице.

— Подожди, не плачь, — сказала мать, — сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать.

Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил:

— Уже весь рёв кончился.

Поводы для детского плача нередко бывают ничтожными.

Мать рассердилась на Лену и назвала ее Ленкой, а потом, когда накрыли на стол, с улыбкой сказала бабушке:

— Ах, ты и селедочку приготовила!

Этого было достаточно, чтобы Лена заревела безутешно.

— Ты даже селедку называешь селедочкой, а меня — Ленкой!

Дети в возрасте от двух до пяти вообще очень склонны к проливанию слез. Недаром говорится: «Он плачет, как ребенок».

— Бабуся, ты куда собираешься?

— К доктору.

Девочка — в слезы. И спрашивает, не переставая рыдать:

— Когда ты уйдешь?

— Да вот сию минуту.

— Зачем же ты мне раньше не сказала — я бы раньше начала плакать!

Еще более выразительный случай произошел недавно в одной московской коммунальной квартире. Женщина с трудом убаюкала грудного ребенка, но на душе у нее неспокойно: за тонкой стеной у соседей проживает трехлетний Ваня, страшный крикун и плакса. Стоит ему закричать, и он разбудит грудного. Желая задобрить зловредного Ваню, женщина дает ему большую конфету и просит, чтобы он помолчал хоть часок. Ваня уходит к себе в комнату, послушно молчит, но вскоре возвращается и протягивает конфету соседке:

— На, возьми, не могу — буду реветь.

И с громким ревом выбегает из комнаты.

Дико было бы думать, что так поступают все дети — всегда, во всех случаях. Чаще всего они плачут бесхитростно — от боли, от тоски, от обиды. Вспомним, как плакал Сережа (в той же повести Веры Пановой), когда оказалось, что взрослые решили покинуть его. «Он рыдал, обливаясь слезами. Его не берут! Уедут сами, без него!.. Все вместе было — ужасная обида и страдание».

Это плач, выражающий непритворное детское горе, подлинную душевную муку.

Но здесь я говорю не об этих искренних детских слезах, проливаемых без всякой оглядки на взрослых. Сережа рыдал всерьез, ибо не мог не рыдать. Я говорю о тех, к сожалению, многочисленных случаях, когда дети пытаются при помощи слез достичь каких-нибудь благ. Как бы ни были забавны эти слезы, сколько бы улыбок ни вызывали они у взрослых, поощрять их, конечно, нельзя.

Опрометчиво поступают те взрослые, которые с нелепой угодливостью торопятся исполнить любые желания ребенка, выраженные нарочитым нытьем, и тем самым приучают его с первых же месяцев его бытия к умелому использованию слез.

В этой неприглядной привычке детей виноваты исключительно взрослые.

Справедливо говорит читательница М. Ф. Соснина (Казань) в одном из своих писем ко мне.

«Если, — утверждает она, — слезы и рев никогда не ведут ни к какой выгодной для ребенка реакции со стороны взрослых, ребенок и не будет плакать из корысти. Ему такая воз-

можность прямо-таки не придет в голову. Значит ли это, что он вообще не будет плакать? Нет, будет, но тогда слезы его будут вызваны чисто физиологической потребностью разрядки накопившихся переживаний...»

*

«Хитроумие» свойственно детям гораздо чаще, чем принято думать. Сентиментальная легенда о ребенке, как о некоем ангелочке, бесхитростном праведнике, чрезвычайно далека от действительности.

На самом-то деле ребенок совсем не такой ангелочек, каким он представляется многим слепо влюбленным родителям. Любопытно наблюдать, как часто внушает он себе и другим, будто его своекорыстные желания и требования подсказаны ему чистейшим альтруизмом.

Четырехлетняя Вера говорит своей матери:

— Ты можешь пойти за мороженым... Я не для того говорю, что за мороженым, а для того, чтобы ты вышла немного на воздух.

*

Наташа угощает бабушку конфетами:

— Ты, бабушка, кушай эти красивенькие (мармелад), а уж я буду есть эти грязные.

И, делая гримасу отвращения, со вздохом берет шоколадку.

*

И кого не обезоружит своим простодушным лукавством такая, например, уловка ребенка, где голый эгоизм прикрывается гуманнейшей заботой о ближних.

— Мама, возьми меня на ручки! Я тебя буду держать, чтобы ты не упала!

*

Пятилетняя Ирина во время обеда ест неохотно и вяло. Чтобы она действовала ложкой быстрее, мать предлагает ей есть суп наперегонки. Ирина отказывается, но при этом чрезвычайно хитро мотивирует свой отказ нежными чувствами к матери:

— Не хочу перегонять такую хорошую маму!

*

У бабушки большие очки. Андрюша гуляет с нею по многолюдному парку и очень боится волков. При этом в душе у него тлеет надежда, что если уж волки совершат нападение, то скорее всего на бабушку. Эту свою тайную надежду он выражает такими словами:

– Если какого человека съест волк, что он сделает с его очками? На себя наденет, что ли?

*

Трехлетний Игорь увидел незнакомую кошку и в страхе спрятался за материнскую спину.

– Я кошки не боюсь, я только даю ей дорогу, потому что она такая хорошенькая.

*

Моя правнучка Марина двух с половиною лет весело прыгает в лужу и вдруг замечает, что я из-за занавески смотрю на нее.

Покинуть лужу ей очень не хочется. Поэтому она кричит озабоченным голосом:

– Отойди от окна, ты простудишься!

*

Четырехлетнему Валерику в детском саду предложили нарисовать голубей. Он ничего, кроме домиков, рисовать не умеет. Он и нарисовал домик.

– Где же голуби?

– Они в домике.

*

Андрюша Румянцев (2 г. 10 м.) заинтересовался плавающим в речке бревном. Ему очень хочется подбежать ближе, но его не пускают.

Неподалеку от бревна на берегу собачонка, которая нисколько не интересует Андрюшу.

– Марина, правда, хорошая собачка?

– Да. Очень!

– Чудесная собачка! Нет, ты только подумай, какая собачка! Я побегу к ней – такая хорошая!

О бревне ни слова.

*

Мать собралась уехать на неделю из города и взять с собой Таню. Но Таня не знает об этом. Думает, что она будет оставлена вместе с Юриком дома. Поэтому, ни слова не говоря о себе, Таня начинает лицемерно сокрушаться о брате.

– И ты уедешь? – говорит она матери. – Ты можешь уехать от бедного, больного, маленького мальчика?

Когда же она узнает, что мать намерена взять и ее, она мгновенно сбрасывает маску:

– Не такой уж он маленький и не такой уж больной! И вообще он большой. И притом здоровый.

К чести Тани необходимо сказать, что, в отличие от взрослых, она не замечает своего лицемерия.

*

– Мама, хлеба!

– Подожди, скоро обед.

– Ну, дай моей кукле Маше.

Получив для куклы кусок хлеба, четырехлетняя Галя сразу кладет его в свой собственный рот.

– Что же ты делаешь?

– Пробую, не горячий ли хлеб: чтобы Маша не обожгла себе ротика.

Я думаю, такому лукавству мог бы позавидовать любой иезуит.

*

Двухлетняя Зоя не хочет, чтобы дети, пришедшие в гости, играли ее игрушками. Ради этого она прибегает к таким измышлениям:

– Куклу нельзя трогать: кукла больна. Мишку тоже нельзя: он кусается.

Откуда в ней это лукавство? Растет она в очень правдивой семье, не выносящей никакого криводушия.

А совсем недавно та же Зоя, уже достигшая четырехлетнего возраста, громко за столом произнесла непонятную фразу, услышанную ею по радио:

– Антифашистская демонстрация в Греции.

– Что это, по-твоему, значит? – спросила у нее удивленная тетка.

Вместо того чтобы откровенно признаться, что вся фраза недоступна ее пониманию, Зоя уличает в непонимании тетку:

– Ты не знаешь, что это значит? Папа, да объясни ты ей, пожалуйста, а то мне стыдно, что она не знает.

IX. ПРОДОЛЖАЮ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

В виде дополнения к настоящей главе привожу без всяких комментариев пестрые записи о речах и поступках детей, сделанные мною и моими друзьями – главным образом в последнее время.

Надеюсь, что внимательный читатель и сам прокомментирует их – на основе предыдущего текста.

*

Сенсационные открытия:

– Папа, ты знаешь: оказывается, у лошадей нет рогов!

*

– Мама, ведь правда, домовых нет, а есть только домоуправы?

*

– Володя, знаешь: у петуха нос – это рот!

*

– Знаешь, папа, у всех зверей спина наверху, а живот внизу!

*

– А плохо быть птичкой: захочешь поцеловать маму – и уклюнешь ее.

*

– Когда конфету держишь во рту, она вкусная. А когда в руке – невкусная.

*

– А из замужа обратно выйти можно?

*

– Вовка меня по-деревянному сегодня обозвал.
– Как это?
– Он сказал: сучка.

*

– А мы по радио слушали песню к у в ш и н и!
Люда спутала кувшин и графин, – то была ария графини из «Пиковой дамы».

*

– А как же глисты живут в животе без освещения? Им же там совсем темно.

*

– Я спала, а баба ушла, а тут такой крик стоял...
– Кто же кричал?
– Да я.

*

– Лена, куда ты! Постой! Не надо показывать собачке, что ты ее боишься.
Лена, убегая:
– А зачем я ей буду врать, если я ее и вправду боюсь?

*

– Юбка – это когда две ноги в одну штанину.

*

О портрете Гончарова:
– Он уже умер, да? А кто же теперь его заместитель?

*

Жена филолога ласкает четырехлетнего сына:
– Ах ты, мусенька, дусенька, пусенька.
Сын:
– Мама, н е к р и в л я й русский язык!

*

– Это не настольная игра, а н а с т у л ь н а я. Ведь я же играю не на столе, а на стуле.

*

Отсидела ногу.
– У меня в ножке боржом!

*

– Как же ты упал с кровати?
– А я ночью спал-спал и на себя не смотрел, а потом посмотрел на кровать и вижу: меня там нет.

*

Неистребимая страсть к похвальбе.
– А мой папа храпеть умеет!
– А у нас на даче столько пыли!

*

Соседский Саша так гордился живущими в его постели клопами, что пятилетний Антоша Иванов (с которым мы уже познакомились на предыдущих страницах) заплакал от зависти:
– Хочу, чтобы у меня были клопы!

*

– Вот ты говоришь – чудес не бывает. А разве это не чудесо́, что вишни в одну ночь зацвели?

*

– Звезды очень далеко. Так откуда же люди знают, как их зовут?

*

– Рыба м р ы т ь (умирать) не умеет; у нее головы нету. Только глаза на животе и хвост.

*

– Как рубану человека!

– Как же это можно рубануть человека?

– Не человека – буржуя!

*

– Тетенька, вы очень красивая.

– Что же во мне красивого?

– Очки и тюбетейка.

*

–...Жили-были царь и царица, и у них был маленький ц а р ё н ы ш.

*

– Кто красивее – папа или мама?

– Не буду вам отвечать, потому что не хочу обижать маму.

*

– Достань мне луну, хоть н а д к у ш е н н у ю!

*

– У нас бабушка в деревне всех петушков перерезала. Пусть теперь сама яйца несет.

*

– Папа, какие милиционеры смешные! Он мне говорил «вы», как будто меня несколько!

*

Впрочем, дети очень скоро научаются понимать, что слово «вы», обращенное к одному лицу, знаменует собою учтивость.

– Нинка выдра, выдра, выдра! – кричит пятилетняя Маша.

Ее сверстнице Клаве такое ругательство кажется слишком уж вежливым.

– Надо не выдра, а тыдра, – поучает она.

– Тыдра, тыдра, тыдра! – дружно кричат они обе.

Нина не выдерживает и в слезах убегает.

*

Вырвали зуб.

– Пусть он теперь у врача в банке болит!

*

Нормы поведения, внушаемые взрослыми детям, воспринимаются детьми как универсальные правила, равно обязательные для детей и животных:

– Бабушка, смотри, какие утки глупые – сырую воду пьют из лужи!

*

Девочка, живущая на юге, угощает виноградом козу и все время кричит ей:

– Плюнь косточку!

*

Мы уже видели, что малый ребенок далеко не всегда отличает вещь от того слова, которым эта вещь обозначена.

То же происходит и с рисунками: изображенные на них существа воспринимаются ребенком как живые.

*

Владику было полтора года. Ему прочитали басню «Ворона и Лисица» и показали иллюстрацию к ней. Он пожалел несчастную ворону, которая осталась без сыра. Когда через две-три недели к завтраку был подан голландский сыр – любимое лакомство Владика, – он побежал за книжкой, отыскал тот рисунок, где изображена ворона с открытым клювом, и, тыча вороне сыр, стал приговаривать:

– На, ворона, кушай сыр, кушай!

*

В детском саду воспитатель показывает детям картинку. На картинке мальчуган убегает от разъяренного гуся; вдали домик, окруженный деревьями.

Пятилетняя девочка берет указку и сильно стучит по домику.

— Я стучу, — поясняет она, — чтобы мальчику скорее открыли, а то его гусь укусит.

*

В другой раз воспитатель показал тем же детям картинку, где нарисована спящая женщина, а рядом ее дочь, вся в слезах: играя, она поцарапала руку.

Девочка, всмотревшись в картинку, начинает тыкать указкой в спящую:

— Мама, просыпайся: жалко девочку.

*

В два года Кате очень понравилась картинка, изображавшая козликов на зеленой лужайке. Она стала тянуть маму за руку:

— Пойдем туда, в картинку, к козликам!

*

Наташа принесла в детский сад корейскую сказку «Ласточка». В книге есть картинка: к птичьему гнезду подбирается злая змея. Увидев картинку, приятель Наташи, пятилетний Валерка, набросился на змею с кулаками.

— Не бей! — закричала Наташа. — Я уже побила ее дома.

*

На картинке нарисован бегемот, бегущий за мишкой. Трехлетняя Саша прикрыла медведя ладонью, чтобы бегемот не догнал его.

*

Глядя на лысого:

— Почему у тебя так много лица?

*

Увидел в Зоопарке полосатую зебру:

— Лошадь в тельняшке.

*

Сережа Сосинский с философским уклоном ума:

— Когда я сплю, мне кажется, что меня нигде нет: ни в одной постели, ни даже в комнате. Где я тогда, мама?

*

Он же:

— Мама, а можно спать н а з а д?

— Как — назад?

— Утром уснуть и проснуться вчера вечером?

*

Другой пятилетний философ:

— Когда будет завтра?

— Через ночь.

Утром:

— Сегодня завтра?

— Нет, сегодня.

— И чего это я никак завтра не поймаю!

*

Сын учителя, пятилетний Валерий:

— Пушкин сейчас живет?

— Нет.

— А Толстой?

— Нет.

— А живые писатели бывают?

— Бывают.

— А их кто-нибудь видел?

*

Это напомнило мне один эпизод, приключившийся лет тридцать назад. Меня знакомят с пятилетней Ириной.

— Это, Ирочка, писатель Чуковский.

Та спрятала руки за спину и засмеялась, как человек, хорошо понимающий шутку.

— Чуковский давно умер.

Когда же меня пригласили к столу, она окончательно уличила меня в самозванстве:

— Ага! Разве писатели кушают?

*

В автобусе мальчик четырех лет сидит на руках у отца. Входит женщина. Мальчик, желая быть вежливым, вскакивает с отцовских колен:

— Садитесь, пожалуйста!

*

В заключение — несколько примеров того, как своеобразно отражаются в детских умах количественные отношения вещей.

Математический спор двух четырехлетних соперников:

— Я на четвереньках умею.

— А я на *пятереньках*.

— А я на *шестереньках*.

— А я на *семереньках*.

— А я...

К счастью, дальше семи они не умели считать. Дошли бы до тысячеренек.

*

Кот стоит на четвереньках,
А Наташа на *двуеньках*.

*

Трехлетняя Лика:

— А я *двумями* ногами могу прыгать!

*

У Эрны и Таты три чашки. Разделить их поровну никак невозможно. Та, кому во время игры достается одна чашка, страдает от зависти, плачет, а та, у кого их две, важничает и дразнит страдалицу.

Вдруг Эрну перед игрой осеняет:

— Давай разобьем одну чашку!

Тата обрадована:

— Давай разобьем!

Это первая математическая задача, которую довелось им решать, и они блистательно решили ее, так как после уничтожения чашки получили возможность играть по-товарищески, не причиняя друг другу обид.

*

Леве было пять лет, и он ужасно боялся вернуться в четыре (чем ему однажды пригрозили).

*

— Одна рука холодная, а третья горячая.

*

Мать Леонида Андреева рассказывала мне, что, когда ему было три года, он однажды, ворочаясь в постели, пожаловался:

— Я — на один бок, я — на другой бок, я — на третий бок, я — на четвертый бок, я — на пятый бок — все никак не могу заснуть.

*

— Сколько тебе лет?

— Скоро восемь, а пока три.

*

Известным психологом А. В. Запорожцем были опубликованы наблюдения О. М. Концевой над отношением дошкольников к арифметическим задачам.

«Оказывается, — пишет ученый, — малышей чрезвычайно занимает жизненное содержание задачи, в то время как собственно математические моменты отодвигаются на задний план...

Ребенку говорят: «Мама съела 4 конфеты, а своему сыну дала 2, — сколько они съели вместе?» Малыш не решает этой задачи, так как его волнует описанная в ней несправедливость. Он говорит:

– А почему она Мише так мало дала? Нужно, чтобы было поровну.

Воспринимая текст задачи, ребенок прежде всего видит в нем описание реальных событий, в котором собственно числовые данные имеют второстепенное вспомогательное значение»[1].

*

О подобном же случае сообщает мне из поселка Холбон Читинской области т. Иванов:

«Я предложил своему трехлетнему племяннику такую задачу:

– Папа купил одну конфетку, и мама – одну конфетку…

Но я не успел закончить, потому что мальчишка спросил:

– А где они?»

*

Пятилетний Алик только что научился считать до десятка. Поднимаясь по лестнице на седьмой этаж, он с уверенностью считает ступени, и ему чудится, что в произносимых им цифрах есть некая магия, так как, по его мнению, количество ступеней зависит от цифры, которую он назовет.

– Вот, – говорит он, – если бы считали не 1, 2, 3, 4, 5, а 1, 3, 5,10, было бы легче дойти. Было бы меньше ступенек.

Число кажется ему такой же реальностью, как и вещь, отмечаемая числом. Этот фетишизм цифр сродни детскому фетишизму рисунков и слов.

Таков же фетишизм детей в отношении к календарю и к часам. Таня взяла календарь и старательно отрывает листок за листком:

– Хочу сделать Первое мая… Тогда мы пойдем на демонстрацию.

*

Мама сказала пятилетнему Леве, что вернется домой, когда вот эта стрелка будет здесь (и показала на стенных часах). Лева остался один. Ждал, ждал – не выдержал, взобрался на стул и перевел стрелку, – в твердой уверенности, что тем самым ускоряет возвращение мамы.

---

1 «Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста». М.–Л., 1948, с. 85.

*

Вообще последовательность чисел представляется ребенку чем-то таким, что вполне зависит от его — человеческой — воли.

— Я хочу жениться на Володе, — говорит маме четырехлетняя Лена.

— Но ведь ты на целый год его старше.

— Ну так что! Мы пропустим один день моего рождения и сравняемся.

Глава третья

БОРЬБА ЗА СКАЗКУ

I. РАЗГОВОР О МЮНХАУЗЕНЕ

Это было в Алупке в 1929 году. Больные ребята изнемогали от зноя. Они шумели и хныкали. Какая-то растяпистая женщина кудахтала над ними по-куриному, но не могла их унять. Я пришел издалека и, чтобы обрадовать их, начал читать им «Мюнхаузена».

Через две минуты они уже ржали от счастья.

Слушая их блаженное ржание, я впервые по-настоящему понял, какое аппетитное лакомство для девятилетних людей эта веселая книга и насколько тусклее была бы детская жизнь, если бы этой книги не существовало на свете.

С чувством нежнейшей благодарности к автору я читал под взрывчатый хохот детей и про топор, залетевший на луну, и про путешествие верхом на ядре, и про отрезанные лошадиные ноги, которые паслись на лугу, и, когда я на минуту останавливался, дети кричали: «Дальше!»

Но вот подбегает ко мне эта женщина, и на лице у нее красные пятна:

– Что вы! Что вы!.. Да мы никогда, ни за что!..

И хватает у меня из рук мою бедную книгу, и глядит на нее, как на жабу, и двумя пальцами уносит куда-то, а больные дети ревут от обиды, а я иду растерянно за женщиной, и руки у меня почему-то дрожат.

Тут возникает какой-то молодой в тюбетейке, и оба говорят со мною так, будто я пойманный вор:

– Какое вы имеете право читать эту дрянь нашим детям?

И объясняют мне учительным тоном, что в книге для советских ребят должны быть не фантазии, не сказки, а самые подлинные реальные факты.

– Но позвольте, – пробую я возразить. – Ведь именно при помощи своих фантазий и сказок эта книга утверждает ребят в реализме. Самый хохот, с которым встречают они

каждую авантюру Мюнхаузена, свидетельствует, что его ложь им ясна. Они именно потому и хохочут, что всякий раз противопоставляют его измышлениям реальность. Тут их боевой поединок с Мюнхаузеном, поединок, из которого они неизменно выходят каждый раз победителями. Это-то и радует их больше всего. Это повышает их самооценку. «Ага, ты хотел нас надуть, не на таковских напал!» Тут спор, тут борьба, тут полемика, и их оружие в этой борьбе — реализм. Пойдите спросите ребят, поверили ли они хоть единому слову Мюнхаузена, — они прыснут вам прямо в лицо. И вы оскорбляете их своей дикой боязнью, как бы их не одурачили небылицы Мюнхаузена! Это ли не издевательство над девятилетним гражданином Советской страны — считать его таким беспросветным глупцом, который способен поверить, что топоры взлетают на луну!

Глаза у педагогов были каменные. Но я уже не мог замолчать.

— Или вы боитесь, как бы эти буффонады Мюнхаузена не расшевелили в детях чувство юмора? Почему веселая книга внушает вам такое отвращение, словно вы — гробовщики или плакальщики? Или вы во что бы то ни стало хотите отвадить ваших ребят от чтения и внушить им лютую ненависть к книге? Вы этого добьетесь, ручаюсь вам!

Я ждал возражений, но эти люди были из породы недумающих и даже как будто обиделись, что я приглашаю их самостоятельно мыслить. Только один из них, высоколобый и мрачный, безапелляционно сказал, что мои рассуждения ч у к о в щ и н а. На этом наша дискуссия кончилась. Дети были спасены от «Мюнхаузена». Я взвалил на плечи мою дорожную сумку и вышел на горячее солнце.

В сумке у меня были любимые: «Гулливер», «Сказки Гриммов», «Конек-горбунок». Я хотел подарить эти книги ребятам, но высоколобый перелистал их небрежно и, скучая, отодвинул от себя.

— Это нам ни к чему, — сказал он. — Нам бы о дизелях или радио.

Шагая вдоль берега по каменистой тропе, я думал о том, что случилось.

«Почему эти чудаки, — спрашивал я себя, — так уверены, что радио и «Конек-горбунок» несовместны? Почему они думают, что, если прочитать малышу «Конька-горбунка», он непременно отвратится от всякой механики и до старости

лет будет мечтать о жар-птицах? Откуда взялся у них этот тупой ультиматум: либо сказка, либо динамо-машина? Как будто для того, чтобы выдумать динамо-машину, не понадобилось самой смелой фантазии! Фантазия есть ценнейшее качество ума человеческого, и ее нужно тщательно воспитывать с самого раннего детства, — как воспитывают музыкальное чутье, — а не топтать сапогами. Ленин сказал о фантазии: «Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности...»[1] Недаром Карл Маркс во время загородных прогулок рассказывал своим дочерям «чудесные волшебные сказки, тянувшиеся без конца, — сам по дороге сочиняя их, растягивая или, наоборот, ускоряя события, смотря по длине оставшегося пути...»[2]. Дарвин в детстве был такой фантазер, что все считали его выдумщиком не хуже Мюнхаузена...

Все эти доводы показались мне столь сокрушительными, что мне захотелось сейчас же вернуться и доказать высоколобому, что он непоправимо калечит ребят, изгоняя из их обихода фантастику.

На следующий день спозаранку я уже был у него и изложил ему все эти мысли, а потом достал из походной сумки книгу и прочитал оттуда такие слова:

«Будем развивать природную фантазию или, по крайней мере, не будем мешать ей свободно развиваться. Для маленьких детей очень важно в этом отношении чтение волшебных сказок. Теперь нередко можно встретить родителей, восстающих против сказок. Они не дают их своим детям, стремясь воспитать трезвых, деловых людей. Я всегда предсказывал таким родителям, что из этих детей не выйдут ни математики, ни изобретатели...»

Высоколобый взялся за свой белый картуз.

— А знаете ли вы, кто это пишет? — спросил я его с торжеством. — Это пишет не какой-нибудь поэт или сказочник, а профессор прикладной механики, автор книг «Основания

---

[1] *В. И. Ленин.* Заключительное слово по политическому отчету ЦК на XI съезде РКП(б), 28 марта 1922 года. Полн. собр. соч., 1964, т. 45, с. 125.

[2] *Поль Лафарг.* Воспоминания о Марксе. В кн.: «Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Госполитиздат. М., 1956, с. 72.

статики» и «Курс сопротивления материалов», воспитавший целые поколения выдающихся русских ученых. В итоге многолетнего педагогического и научного опыта он пришел к убеждению, что сказка есть его союзпик, а не враг, что инженер, который в детстве не был воспитан на сказке, едва ли способен к инженерному творчеству. Статья его так и называется: «Значение фантазии для инженеров»[1]. Прочтите ее, и вы сами увидите, что сказка не только не мешает техническому воспитанию детей, а, напротив, помогает и содействует.

Но высоколобый отстранил мою книгу.

— Не хотите читать? — спросил я. — Почему же? Он выпятил губу и веско сказал:

— Потому что я сегодня выходной.

Он получил образование в Харькове, где в то время подвизалась группа педологов, теоретиков детского чтения, утверждавших, что пролетарским ребятам не надобны ни сказки, ни игрушки, ни песни.

Высоколобый именно благодаря этой группе чувствовал себя совершенно свободным от обязанности самостоятельно мыслить.

Как впоследствии выяснилось, около этого времени А. С. Макаренко с гневом писал о педологах:

«Я всегда честно старался разобраться в педологической «теории», но с первых же строк у меня разжижались мозги, и я не знал даже, как квалифицировать всю эту теорию: бред сумасшедшего, сознательное вредительство, гомерическая дьявольская насмешка над всем нашим обществом или простая биологическая тупость. Я не мог понять, как это случилось, что огромной практической важности вопрос о воспитании миллионов детей, то есть миллионов будущих и притом советских рабочих, инженеров, военных, агрономов, решается при помощи простого, темного кликушества и при этом на глазах у всех»[2].

«Мюнхаузен» и сделался жертвой подобных кликуш.

Впрочем, дело не только в педологах. Среди моих сказок не было ни одной, которой не запрещала бы в те давние го-

---

[1] См. статью профессора В. Л. Кирпичева в «Известиях Киевского политехнического института». 1903, кн. 3, с. 24.

[2] Архив А. С. Макаренко. Цитирую по книге Е. Балабановича «А. С. Макаренко». М., 1951, с. 112.

ды та или иная инстанция, пекущаяся о литературном просвещении детей.

Сказка «Мойдодыр», например, была осуждена Главсоцвосом за то, что в ней я будто бы оскорбил... трубочистов. С этим приговором вполне согласилась обширная группа тогдашних писателей, в числе двадцати девяти (!) человек, которая так и заявила в «Литературной газете» в «Открытом письме М. Горькому»:

«Нельзя давать детям заучивать наизусть:

А нечистым трубочистам
Стыд и срам, стыд и срам! —

и в то же время внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почетна, как и всякая другая».

С «Крокодилом» обошлись еще проще: возвестили публично (в газетах и на многолюдных собраниях), будто я изобразил в этой сказке — что бы вы думали? — мятеж генерала Корнилова. То обстоятельство, что «Крокодил» написан годом раньше, чем был поднят мятеж, не отменило этой неправдоподобной легенды.

Запрещение «Крокодила» в 1928 году вызвало протест ленинградских писателей и ученых. В моем архиве сохранилась бумага, обращенная к педагогической Комиссии ГУСа (Государственного ученого совета). Среди подписавших протест — Алексей Толстой, Константин Федин, Юрий Тынянов, Самуил Маршак, Михаил Зощенко, Ник. Тихонов, Лидия Сейфуллина, Вячеслав Шишков, академики Евгений Тарле, Сергей Ольденбург, шлиссельбуржец Николай Александрович Морозов и многие другие. Под влиянием этого протеста было дано разрешение «издать книгу небольшим тиражом», но через несколько месяцев разрешение было взято назад, несмотря даже на вмешательство Горького. А люди, подписавшие эту бумагу, были названы «группой Чуковского».

Впрочем, «Крокодил» был счастливчиком по сравнению с «Мухой-Цокотухой», от которой не раз и не два спасали советских детей.

Раньше всего на том основании, что Муха (по остроумной догадке все той же Комиссии ГУСа) — «переодетая принцесса», а Комар — «переодетый принц». В другой раз — за то, что в нее «было протаскано» мною такое двустишие:

А жуки рогатые,
Мужики богатые,—

а это, по мнению Комиссии, свидетельствует, что я выражаю сочувствие кулацким элементам деревни.

В третий раз злополучная «Муха» подверглась осуждению за то, что она будто бы подрывает веру детей в торжество коллектива...

Конечно, я счастлив, что в настоящее время я могу благодушно смеяться над такими шедеврами критической мысли. А тогда, признаться, было совсем не до смеха.

Тогда в журнале «Звезда» я читал такие свирепые строки: «Что есть «чуковщина»? В том багаже литературных приемов, который носит это название, сказываются попытки мещанства влиять на воспитание детей...

«Чуковщина» — это во-первых, антиобщественность... во-вторых, антипедагогичность, широкое использование приемов, травматически (!) действующих на детей, в-третьих, формальное закостенение...»

И дальше:

«Вот с этим влиянием Чуковского на молодых авторов... нужно бороться сейчас, может быть больше, чем непосредственно с самим Чуковским»[1].

Какую же травму наносят мои стихи детворе?

Оказывается, я с какими-то злодейскими целями перевел с английского «людоедские вещи», вроде «Робина-Бобина», «за подвигами которого, — как уверяет Д. Ханин,— с ужасом следят дети».

«Робин-Бобин», любимая потешка английских детей, известна в печати с 1744 года, и никогда никакого ужаса никому не внушала. Мой «Робин-Бобин» нынче благополучно печатается уже более четверти века в моих стихотворных сборниках — и я до сих пор не видел ни одного малыша, которому эта песенка внушила бы ужас.

Конечно, говорить об «ужасах» и «травмах» можно было лишь при полном незнании психики малых детей, но ханины и не стремились опираться на истину. Не об истине заботились эти гонители зловредной «чуковщины», но о благоволении начальства.

Точно так же не вызвало во мне особенной радости та-

---

[1] *Д. Ханин.* Основные вопросы детской литературы. «Звезда», 1930. № 3, с. 198–199.

кое официальное письмо, которое я получил от заведующей детской секции ленинградского Госиздата:

«Брать под защиту и требовать переиздания ваших прежних книг («Телефон», «Тараканище», «Айболит», «Крокодил») мы, как вы сами понимаете, не можем, так как в настоящее время детям нужна, конечно, другая пища. Комиссия Главсоцвоса разрешает только «Мойдодыра» (но требует выбросить «трубочистов») и т. д.».

Тогда же в Москве состоялся диспут о детской книге. Об этом диспуте репортер Д. Кальм дал отчет в «Литературной газете» под таким заглавием: «Оградим нашего ребенка от классово чуждых влияний!» Там с величайшим сочувствием сказано о выступлении одного из руководящих работников ГИЗа:

«Тов. Разин заявил, что основной опасностью нашей детской литературы является чуковщина».

Один из журналов напечатал тогда целую статью «О чуковщине», посвященную книге «От двух до пяти» (которая именовалась тогда «Маленькие дети»). В статье без всяких обиняков говорилось:

«Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу...», «С идеологией Чуковского и его группы мы должны и будем бороться», «Это идеология вырождающегося мещанства, культ отмирающей (!) семьи и мещанского детства»[1].

Другой журнал через несколько месяцев так и озаглавил свое выступление: «Мы призываем к борьбе с «чуковщиной».

«Мойдодыр», говорилось в журнале, «развивает суеверие и страхи», «Муха-Цокотуха» «восхваляет кулацкое накопление», а «Тараканище» и «Крокодил» «дают неправильное представление о мире животных и насекомых». Вследствие всего этого в той же статье родителям и воспитателям было предложено: а) не читать этих книг детям; б) протестовать против их издания; в) призвать детские сады города Москвы и других городов присоединиться к этому протесту и т. д., и т. д., и т. д.[2].

К счастью, все это далеко позади.

Но не следует думать, что в позднейшие годы, когда «ан-

---

[1] «Красная печать». 1928, № 9–10, с. 92–94.
[2] «Дошкольное воспитание». 1929, № 4, с. 74.

тисказочной кампании» был положен конец, разные добровольцы перестали спасать малышей от меня.

Когда я дерзнул, например, напечатать свои переводы народных английских стихов для детей, в печати появилась такая рецензия Т. Чугунова:

«Это формалистическое кривлянье и рифмованное сюсюканье Чуковского, закрепляя неправильности языка, встречающиеся у детей, мешает развитию их речи... Детиздату должно быть стыдно (так и сказано: «должно быть стыдно») от того, что он выпускает такие недоброкачественные книжки, как «Кота́уси-Ма́уси».

Лишь к концу пятидесятых годов, когда духовная жизнь страны вышла на новые рельсы, детям удалось отстоять свое право на волшебную сказку. А в тот период, о котором я сейчас говорил, в период Пролеткульта и РАППа, между малым ребенком и сказкой все еще стояли десятки преград.

II. «АКУЛОВ НЕ БЫВАЕТ!»

Особенно свирепым кликушеством отличалась в то далекое время московская специалистка по воспитанию детей Э. Станчинская. Выступая в печати и на разных трибунах, она победоносно доказывала с самых крайних левацких позиций, что сказки в огромном своем большинстве чрезвычайно опасны для советских детей.

И когда другая такая же кликуша, Э. Яновская, опубликовала брошюру «Сказка как фактор классового воспитания», содержащую такие же нападки на сказку, Станчинская приветствовала появление брошюры словами:

«Подчеркнем (!) необходимость широкого распространения книжки Яновской».

В рецензии высказывалась прискорбная мысль, будто сказку нужно давать детям не тогда, когда она им насущно нужна для нормального развития их умственных сил, а позднее, когда потребность в сказке у них миновала. Это все равно что разрешить человеку вступление в брак лишь после того, как он достигнет восьмидесятилетнего возраста.

Вот с этой-то Станчинской однажды случилась престранная вещь. Ее собственный сын взбунтовался против ее мракобесных теорий.

Всеми силами оберегала она этого сына от сказок и, даже беседуя с ним о животных, рассказывала ему лишь о таких, которых он видел своими глазами. Нужно же воспитать из него реалиста! Поменьше, поменьше зловредных фантазий! Особенно ужасными казались ей народные сказки «с чудесными превращениями, лешими, бабами-ягами и проч.».

Ярая противница сказок, она так и напечатала в одном из московских журналов:

«Предлагаем заменить народные нереальные, фантастические сказки простыми, реальными, взятыми из мира действительности и природы!»[1]

Никаких уступок, никаких послаблений! Выбросить все без исключения сказки, былины, весь русский и всемирный фольклор!

И все было бы в полном порядке, но, на беду, в качестве любящей матери она стала вести самый подробный дневник о маленьком сыне и, сама того не замечая, этим дневником опровергла все свои домыслы о зловредности фантастических сказок.

Собственною своею рукою, так сказать, разрушила свои же идеи.

Как видно из ее дневника — а этот дневник напечатан, — ее маленький мальчик, словно в отместку за то, что у него отняли сказку, стал с утра до ночи предаваться самой буйной фантастике. То выдумает, что к нему в комнату приходил с визитом красный слон, то будто у него есть подруга — медведица Кора; и, пожалуйста, не садитесь на стул рядом с ним, потому что — разве вы не видите? — на этом стуле медведица. И — «Мама, куда ты? На волков! Ведь тут же стоят волки!»[2] А чуть выпал снежок, он тотчас же стал олененком, маленьким олененком в тайге; а стоило ему сесть на ковер, как ковер немедленно становился пароходом. В любую минуту из воздуха, из пустоты мальчик, силою своей детской фантазии, мог сделать любую зверюшку.

«Сегодня вернулся домой, бережно держа что-то в руке.

— Мамочка, я принес тебе тигренка, — и показывает пустую руку. — Нравится тебе мой тигренок?

— Да, да, детка!

---

[1] «На путях к новой школе». М., 1924, № 1, с. 152.

[2] *Э. И. Станчинская.* Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет. М., 1924, с. 52.

— Пусть он живет у нас, — просительным тоном.

Садится обедать и ставит рядом со своей тарелкой тарелочку, и когда ему приносят еду:

— Мамочка, а тигренку?

И в то же время оживленно рассказывает:

— Я влез в море, кувыркался там, вдруг пришел большой тигр, я спрятался под берег, потом я закинул сеть и поймал рыбу.

— Где же она?

— Я ее съел... сырую»[1].

Так проходили почти все его дни. Ежеминутно творил он какую-нибудь с к а з к у д л я с е б я.

«Мама, я птичка, и ты тоже птичка. Да?»[2]

«Мама, ко мне в гости пришел один клоп, сел за столик, протянул мне лапочку»[3] и т. д., и т. д., и т. д.

А мать, видя, что он буквально купается в сказке, как в море, всячески оберегала его, чтоб он не осквернился н а п е ч а т а н н о й с к а з к о й.

Как будто есть какая-нибудь принципиальная разница между той сказкой, которую сочиняет ребенок, и той, которую сочинил для него великий народ или великий писатель!

Ведь все равно, дадите вы ему эту сказку или нет, — он сам себе сказочник, сам себе Андерсен, Гримм и Ершов, и всякая его игра есть драматизация сказки, которую он тут же творит для себя, одушевляя по желанию все предметы, превращая любую табуретку в поезд, в дом, в самолет, в верблюда.

Я знал мальчугана, который, играя в трубочиста, воскликнул:

— Не трогай меня, мама, ты запачкаешься!..

И другого, который по ходу игры надолго превратился в котлету и, добросовестно шипя на диване, в сердцах оттолкнул свою мать, когда она бросилась к нему с поцелуями:

— Как ты смеешь целовать меня, жареного!

Чуть моя трехлетняя Мура, играя, разложила на полу свои книги, книги тотчас же сделались речкой, где она ло-

---

[1] *Э. И. Станчинская.* Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет. М., 1924, с. 55.

[2] Т а м ж е, с. 92.

[3] Т а м ж е, с. 48.

вила рыбу и стирала белье. И, нечаянно наступив на одну книгу, она так естественно вскрикнула: «Ой, я замочила себе ногу!», что и я на секунду поверил, будто эти книги — вода, и чуть не бросился к ней с полотенцем.

Во всех этих играх ребята выступают как авторы и в то же время исполнители сказок, воплощающие их в сценических образах.

И жажда верить в свой сказочный вымысел у них так велика, что всякая попытка поставить их в рамки действительности вызывает у них жаркий протест.

Я вспоминаю, например, трехлетнего Бубу, который окружил себя кубиками и заявил, что это зоологический сад. «Не могу, я заперт!» — ответил он, как узник из темницы, когда его позвали гулять. «А ты шагай через кубики», — предложили ему, но это разрушение творимой им сказки показалось ему обидным до слез: он упрямо продолжал оставаться в своей добровольной тюрьме и лишь тогда согласился покинуть ее, когда в его постройке выдвинули маленький кубик, то есть сделали вид, что открыли для него ворота.

У ребят с изощренной фантазией такие игры доходят иногда до эксцентрики. Двухлетний Левик, сидя у отца верхом на шее, любил отыскивать себя в самых неподходящих местах: под лампой — нет, в наперстке — нет, в кувшине — нет и т. д. «Где же Левик? Пропал! Вероятно, в папироску забрался!»[1]

Раз при игре в войну Наташа исполняла роль солдатки, которая будто бы осталась в избе и хозяйничала. К ней прибежали сказать, что ее муж убит. Наташа завопила во весь голос. Другие дети пытались успокоить ее. Они повторяли, что Боря, игравший роль ее мужа, жив. Наташа продолжала вопить и не успокоилась до самого вечера. Ночью она всхлипывала во сне и, когда старшие пытались утешить ее, говорила:

— Ну что ж, что Боря жив, а ведь мово мужа убили!

*

Играя в Спящую царевну, дети чем-то отвлеклись от игры и долго не приходили к спавшей на лавке царевне.

— Иди ужинать! — зовет ее бабушка.

— Не могу. Я царевна. Я сплю.

---

[1] *Н. И. Гаврилова* и *М. П. Стахорская.* Дневник матери. М., 1916, с. 52.

Не только игры, но и самые простые разговоры малолетних ребят свидетельствуют, что сказочное восприятие мира для них обыденная норма:

— А будильник никогда не спит?

— А чулку от иголки не больно?

И вот этого-то профессионального сказочника всячески оберегали от сказки, которой он дышит как воздухом.

К счастью, это не удавалось почти никогда. Потому что, спасая свою детскую психику, ребенок уходит со сказкой в подполье и пользуется ею, так сказать, нелегально, протаскивая ее в свой мир контрабандой.

Известную детскую писательницу Т. А. Богданович с самого раннего детства воспитывала сестра «якобинца» П. Н. Ткачева, в свое время тоже писавшая для детей, Александра Никитична Анненская.

Под влиянием просветительства шестидесятых годов она так ретиво охраняла малютку от сказок, что даже боялась взять няню — как бы няня не рассказала ей сказку. Девочке читались только научные книги, главным образом по ботанике и зоологии.

Но по ночам, когда воспитательница наконец засыпала, девочка, освободившись от контроля, наполняла всю комнату самыми диковинными тварями.

На кровать вскарабкивались к ней тогда обезьяны, на стуле у нее вдруг появлялась лисица с лисятами, в ее одежде, сложенной возле кровати, начинали копошиться какие-то птицы, и она каждую ночь подолгу разговаривала с ними. Разговаривала — потому что каждый ребенок разговаривает со всеми предметами, и все предметы разговаривают с ним.

Эта сказочная жизнь среди иллюзорных зверей доставляла девочке огромную радость, она была здоровым и нормальным проявлением ее детской природы.

Так инстинктивно отстаивал бедный ребенок свое право на сказку, тайно предаваясь той самой фантастике, от которой взрослые оберегали его, как от тифа.

Воспитательница только того и достигла, что загнала волшебную сказку в подполье и тем самым придала ей удесятеренные чары. Не лучше ли было бы просто прочитать девочке «Золушку» и «Красную Шапочку»?

О необходимости развивать детскую фантазию при помощи чтения сказок Ф. М. Достоевский писал в конце жизни одному из родителей:

«Вы говорите, что до сих пор не давали читать Вашей дочери что-нибудь литературное, боясь развить фантазию. Мне вот кажется, что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно, — дашь ей развиться, именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно»[1].

Мы уже видели, что сделал пятилетний ребенок, когда одна умная московская мать (тоже педагог по профессии), желая приобщить его к реальностям жизни, преждевременно рассказала ему подробнейшим образом о зачатии и рождении детей: выслушав ее лекцию, он тотчас же переделал всю науку по-своему и сообщил матери, что, когда он был у нее в животе, он играл в тамошнем садике и пил у тамошнего дяденьки чай.

«— Там и садик есть маленький, и песочек в нем... И колясочка маленькая... И моссельпромовцы сидят... Трое их... Вот такие малюсенькие.

— И ты там жил у них?

— Я приходил к дяденьке в гости, а когда пришла пора родиться, я с ним попрощался за ручку и вышел у тебя из животика».

Вот что сделал пятилетний ребенок с теми строго научными сведениями, которые ему сообщили н е в о в р е м я.

Он словно сказал своей матери: ты видишь сама, что мне сейчас нужна не эмбриология, а сказка, чтобы возможно полнее, пышнее, богаче пережить этот полезнейший для моего психического развития период. Не торопись прививать мне до времени «взрослое» мышление, потому что каждую твою «взрослую» истину я, по законам своего естества, немедленно перенесу в фантастический мир, и даже в твою утробу насыплю песочку, и разведу там сад, и поставлю ларьки со сластями.

Лишенный Мюнхаузена, Гулливера, Конька-горбунка, ребенок бессознательно компенсирует себя множеством са-

---

[1] *Ф. М. Достоевский.* Письма в четырех томах, т. IV, М., 1959, с. 196. Письмо к Н. Л. Озмидову, 18 августа 1880 г.

моделковых сказок. Так что педологи, отняв у него народные сказки и сказки великих писателей (то есть, в сущности, ограбив его), совершили это ограбление зря и цели своей все равно не достигли.

Сказка по-прежнему расцветала в ребячьем быту, только вместо народной, или пушкинской сказки, или сказки кого-нибудь из современных поэтов дети вынуждены были самообслуживаться своей собственной случайной кустарщиной.

А использовать их тяготение к сказке, чтобы при помощи классических, веками испытанных книг развить, укрепить, обогатить и направить их способность к творческой мечте и фантастике, — об этом организаторы детского чтения тогда всё еще не удосужились подумать.

Между тем в наше время, в эпоху осуществления самых размашистых научных фантазий, которые еще так недавно казались безумными сказками, нам нужно было во что бы то ни стало создать поколение вдохновенных творцов и мечтателей всюду, во всех областях — в науке, технике, агрономии, архитектуре, политике.

Без фантазии и в физике и в химии будет полный застой, так как создание новых гипотез, придумывание новых приборов, новых приемов опытного исследования, догадки о новых химических соединениях — все это продукты фантазии.

Трезвым, осторожным рутинерам принадлежит настоящее, а тем, кто фантазирует, — будущее. Недаром так пламенно вступился за фантазию знаменитый английский физик Джон Тиндаль. «Без участия фантазии, — настаивал он, — все наши сведения о природе ограничились бы одной классификацией фактов. Отношения причин и их действий рассыпались бы в прах, и вместе с тем рухнула бы и самая наука, главная цель которой состоит в установлении с в я з е й между различными частями природы, ибо творческая фантазия — это способность быстро образовывать новые и новые связи»[1].

Почему же педологи наши сделали слово «ф а н т а з и я» ругательным? Во имя чего они вытравляли его из психики

---

[1] *Джон Тиндаль.* О роли воображения в развитии науки. Цитирую по статье В. Кирпичева «Значение фантазии для инженеров» в «Известиях Киевского политехнического института» за 1903 год.

малых ребят? Во имя реализма? Но реализмы бывают различные. Бывает реализм Бэкона, Гоголя, Менделеева, Репина, а бывает тупорылый и душный реализм лабазника, реализм самоваров, тараканов и гривенников.

Об этом ли реализме мы должны хлопотать? И не кажется ли нам, что его подлинное имя — мещанство? Мещанство достигает в этой области великих чудес: до такой степени вытесняет оно из детского быта сказку, что иные — особо несчастные — дети даже в подполье не уносят ее, с самого раннего возраста становятся скудоумными практиками. Мы еще не окончательно вырвали их из мелочей обывательщины. И среди них есть немало таких, которые трезвее, взрослее, практичнее нас; и если их нужно спасать от чего-нибудь, так это именно от страшного их практицизма, внушенного обывательским бытом.

А педагоги беспокоятся, дрожат, как бы дети и впрямь не подумали, будто сапожки растут на деревьях. Эти несчастные дети так подозрительно относятся ко всякому — самому поэтичному — вымыслу, что все сколько-нибудь выходящее за черту обыденности считают наглой и бессмысленной выдумкой. Когда в одной школе повели с ними, например, разговор об акулах, один из них поспешил заявить свой протест:

— Акулов не бывает!

Ибо ничего диковинного для них вообще на земле не бывает, а есть только хлеб, да капуста, да сапоги, да рубли.

Бояться же, что какая-нибудь сказочка сделает их романтиками, непригодными к практической жизни, могли только те канцелярские выдумщики, которые, с утра до ночи заседая в комиссиях, никогда не видали живого ребенка.

Оберегая младенцев от народных несен, небывальщин и сказок, эти люди едва ли догадывались о мещанской сущности своего практицизма. Между тем самый их взгляд на каждую детскую книгу как на нечто такое, что должно немедленно, сию же минуту принести видимую, ощутимую пользу, словно это гвоздь или хомут, обнаруживал мелкость и узость их мещанственной мысли. Все они страшно боялись фантастики, между тем они-то и были фантазеры, метафизики, мистики, совершенно оторванные от действительной жизни. Их вымыслы о зловредности сказок — самая безумная волшебная сказка, не считающаяся ни с какими кон-

кретными фактами. Это единственная сказка, с которой нам приходилось бороться, — сказка отсталых педагогов о сказке.

И мы говорили этим фантастам и мистикам: бросьте фантазировать, сойдите на землю, будьте реалистами, всмотритесь в подлинные факты действительности — и вы перестанете дрожать перед Мальчиком с пальчик и Котом в сапогах. Вы увидите, что с определенного возраста сказка выветривается из ребенка, как дым, что все волшебства и чародейства размагничиваются для него сами собой, и у него начинается период жестокого разоблачения сказки:

— Как же Снегурочка могла дышать, если у нее не было легких?

— Как могла баба-яга носиться по воздуху в ступе, если в ступе не было пропеллера?

— Красная Шапочка вышла из пасти волка жёваная?

Сказка сделала свое дело: помогла ребенку ориентироваться в окружающем мире, обогатила его душевную жизнь, заставила его почувствовать себя бесстрашным участником воображаемых битв за справедливость, за добро, за свободу, и теперь, когда надобность в ней миновала, ребенок сам разрушает ее.

Бабушка рассказывает внучке:

— ...ударился лбом об землю и сделался ясным соколом...

— Вот и неправда! — кричит возмущенная внучка. — Просто на лбу у него выросла шишка, и все!

Но до семилетнего-восьмилетнего возраста сказка для каждого нормального ребенка есть самая здоровая пища — не лакомство, а насущный и очень питательный хлеб, и никто не имеет права отнимать у него эту ничем не заменимую пищу.

Именно таким ограблением ребенка и занимались педагоги в то время.

Мало того, что они отнимали у детей «Сказки» Пушкина, и «Конька-горбунка», и «Али-Бабу», и «Золушку», — они требовали от нас, от писателей, чтобы мы были их соучастниками в этом злом и бессмысленном деле.

И, конечно, среди литераторов находились подхалимы-халтурщики, которые ради угождения начальству усердно посрамляли в своих писаниях сказку и всячески глумились над ее чудесами.

Делалось это по такому шаблону: изображался разбитной, нагловатый мальчишка, которому все сказки трын-трава. К нему прилетала фея и приносила скатерть-самобранку. Но он —

Руки
В брюки
Запихал,
Прыснул,
Свистнул
И сказал:
«Очень,тетя,
Вы уж врете!
Ни к чему теперь, гражданка,
Ваша «скатерть-самобранка».
Никого не удивите
Этой штукою в Нарпите...»

Когда же ему стали рассказывать про Конька-горбунка, он опять «запихал руки в брюки» и столь же забубённо ответил:

Ну, а я предпочитаю,
Знаете, вагон трамвая.

Невоспитанный, развязный, хамоватый малыш пользовался полным сочувствием автора.

И подобных книжек было много, и нельзя сказать, чтобы они совсем не влияли на тогдашних детей.

С чувством острой жалости прочитал я в одном из журналов, как четырехлетний ребенок оказался до такой степени оболванен своим воспитанием, что, выслушав от матери поэтическую сказку о «Гусях-лебедях», тоже стал изобличать ее во лжи:

— Ты все врешь, мама: печка не говорит, и яблоко не говорит, и речка не говорит, и девочка не спряталась в речку, девочка утонула[1].

И ведь рада, ведь горда воспитательница, что мальчик оказался такой умный и трезвый: она приводит его слова как образец для других, хотя, повторяю, в каждом, кто любит и знает детей, этот ребенок вызывает щемящую жалость, словно он слепой или горбатый.

Не подозревая о его страшном изъяне, с ним пробуют говорить, как с нормальным ребенком. Возбуждая его детскую фантазию, кто-то сказал необдуманно:

---

[1] «На путях к новой школе». М., 1926. № 11, с. 9.

– Ты маленькая белочка! Вот твои лапки!

Он рассердился и возразил свысока:

– Я не белочка, я Лева, и у меня не лапки, а руки!

Конечно, Менделеева из этакого солдафона не выйдет, а разве что Кувшинное рыло.

К счастью, такие калеки – редкость.

Миллионы четырехлетних детей при помощи самочинных игр и самоделковых сказок отстояли свою нормальную детскую психику от душителей и душительниц детства.

Из вышеизложенного вовсе не следует, будто я только о том и мечтаю, чтобы детей с утра до ночи ублажали волшебными сказками. Тут нужна дозировка – и самая строгая. Но нельзя же было допустить, чтобы на основе своих мелкоутилитарных теорий горе-педагоги отнимали у советских детей великое наследие мировой классической и народной словесности.

Владычество мнимых борцов за мнимое реалистическое воспитание детей оказалось весьма кратковременным. В Москве, в Ленинграде и других городах выступила целая когорта защитников сказки, вдохновляемая и руководимая Горьким.

Гонители сказок отступили с уроном, и всем одно время казалось, что они посрамлены окончательно.

III. ПОРА БЫ ПОУМНЕТЬ!

Для такой иллюзии было много причин, потому что уже в 1934 году – особенно после памятного выступления Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей – всюду стали появляться раскаявшиеся педагоги, редакторы, руководители детских садов, которые с такой же ретивостью занялись насаждением сказки, с какой только что искореняли ее.

«Молодая гвардия», а потом и Детиздат стали в ту пору печатать в несметном числе экземпляров и «Гайавату», и «Конька-горбунка», и «Мюнхаузена», и «Сказки» Пушкина, и русские народные сказки, и всякие другие создания фантастики.

Но праздновать победу было рано. В этом я мог убедиться на основании личного опыта. Случилось мне в том же го-

ду напечатать в журнале «Еж» пересказ гениального античного мифа о Персее, Андромеде и Медузе Горгоне. И тотчас же в редакцию «Ежа» было прислано такое письмо — из Гомеля — от одного педагога:

«Уважаемый товарищ редактор! Прочитав в № 1 вашего журнала «Еж» помещенную на стр. 24 греческую сказку «Храбрый Персей», дети моей школы окружили меня с вопросами, зачем такую чепуху пишут в нашем журнале... Как можно объяснить детям всю нелепость и бессмысленность описанных в этом рассказе эпизодов, насыщенных самым грубым, нелепым и бессмысленным суеверием?

По моему мнению, эта сказка лишена всякой художественной и литературной красоты...

Заведующий школой *А. Раппопорт*».

Я хотел было смиренно указать Раппопорту, что этот миф о Персее именно своей красотой и художественностью притягивал к себе из века в век первоклассных скульпторов, драматургов, поэтов — и Овидия, и Софокла, и Еврипида, и Бенвенуто Челлини, и Рубенса, и Тициана, и Корнеля, и Эредиа, и Канову.

Я хотел напомнить о Марксе, который неоднократно свидетельствовал, что древнегреческий эпос и древнегреческое искусство, выросшие на мифологической почве, «продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом»[1].

Но Раппопорту ни Маркс, ни Еврипид не указ. Он твердо стоит на своем:

«По моему мнению, эта сказка лишена всякой художественной и литературной красоты».

И ссылается при этом на детей: будто бы вверенные его попечению дети были чрезвычайно разгневаны, когда увидели «Персея» в журнале, и тотчас же заявили коллективный протест против печатания древнегреческих мифов.

Этому я, извините, не верю. Не может быть, чтобы во всей его школе не уцелело нормальных детей с живым поэтическим чувством! Не может быть, чтобы ему удалось окончательно вытравить из всех малышей присущее им тяготение к фантастике!

---

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 12, с. 737.

А если и нашлось двое-трое таких, которые не поняли этой легенды, так ведь на то им и дан Раппопорт, чтобы объяснить непонятное.

Воспользовавшись «Персеем» для школьной беседы, он мог бы поговорить с ними о происхождении мифов, о созвездиях Кассиопеи, Андромеды, Персея, он мог бы прочитать им научную лекцию о насыщенности христианской религии мифами языческой древности, о связи матери Персея с Богоматерью, девой Марией, о сходстве дракона, который должен был пожрать Андромеду, с китом библейского пророка Ионы и т. д., и т. д., и т. д.

Все это, конечно, в том случае, если он человек образованный. А если нет, он науськивает детей на ценнейшие создания искусства и докучает редакциям детских журналов нелепыми и смешными придирками.

Нелепость подобных придирок заключается, по-моему, в том, что всякое гениальное произведение поэзии, издаваемое для советских детей, — будет ли то былина об Илье Муромце, или «Рейнеке Лис», или «Мюнхаузен», или «Персей», — эти люди объявляют политически вредным и с помощью такой демагогии оправдывают свое мракобесие.

До сих пор, из сострадания к Раппопорту, я не приводил тех строк его письма, где он, подобно прочим гонителям сказок, изображает напечатание «Персея» чуть ли не контрреволюционной интригой. Но теперь я, пожалуй, приведу эти строки, так как без них не обходится ни один из этих душителей детства.

В чем же, по Раппопорту, политическая зловредность «Персея»? А в том, что «Персей», как это ни дико звучит, наносит ущерб... ленинизму. Какой же он наносит ущерб ленинизму? А он, видите ли, напечатан в том номере, все страницы которого посвящены будто бы памяти Ленина. Раппопорт так и пишет в редакцию:

«Особенно не дает мне покоя мой девятилетний сын, ученик второй группы, который с негодованием упрекает меня (как будто я в этом виноват):

— Смотри, папа, весь журнал посвящен памяти Ленина, а тут вдруг такая бессмыслица о какой-то (!) Медузе, о серых бабах (!) и тому подобное!»

И Раппопорт похваляется, что он постиг «всю правоту детского негодования» и вознегодовал вместе с сыном.

А между тем, если ему и следовало негодовать на кого-нибудь, то исключительно на своего коварного сына, который обманул его предательским образом. Ибо про тот номер «Ежа», где напечатан «Персей», никак невозможно сказать, что он «весь посвящен памяти Ленина».

– Или ты ослеп и не видишь, – так должен был сказать сыну Раппопорт, – что тут же, на этих страницах, напечатан рассказ о зайце? А вот карикатуры, где изображается цирк. А вот поэма о героях-водолазах, а вот статья о кукольном театре, а вот о самодельных Петрушках, а вот об апельсиновых плантациях, – и все это, по-твоему, посвящается памяти Ленина? Не стыдно ли тебе лгать, милый сын?

Но ничего этого Раппопорт не сказал, а, напротив, обрадовавшись, что может подвести под ненавистную сказку такую сокрушительную мину, использовал детскую ложь, чтобы придать напечатанию античного мифа характер политической крамолы.

В этом-то вся цель его письма: хотя бы при посредстве фальшивки доказать неблагонадежность великого произведения поэзии.

Да и откуда они взяли, эти два Раппопорта, что памяти Ленина будет нанесено оскорбление, если советские дети, наследники всего лучшего, что создано старой культурой, мало-помалу узнают классические творения мирового искусства?

Ведь если командующие классы всех стран до сих пор отнимали у трудящихся масс и Еврипида, и Софокла, и Овидия, и Бенвенуто Челлини, то теперь, именно благодаря ленинизму, эти массы возвращают себе те колоссальные культурные ценности, к которым у них не было доступа.

Если тысячи и сотни тысяч рабочих у нас в СССР услаждаются Шекспиром, Моцартом, эрмитажными Рибейрами и Рембрандтами, если дети рабочих наполняют теперь и консерватории и академии художеств, – во всем этом победа ленинизма.

И нужно быть беспросветным тартюфом, чтобы утверждать, будто делу Ленина нанесен хоть малейший ущерб, если с педагогическим тактом и в строго обдуманной форме мы дадим советскому ребенку и миф о Прометее, и стихи о полете Икара, и «Одиссею», и «Илиаду», и сказание о великом Геракле...

Но тут я снова всмотрелся в письмо Раппопорта и увидел изумительную вещь.

Ведь этот человек не догадывается, что перед ним античный миф! Он умудрился каким-то фантастическим образом так изолировать себя от литературы всего человечества, что ему ни разу не случалось наткнуться ни в одной из читаемых книг ни на Андромеду, ни на Медузу Горгону! Он чистосердечно уверен, будто все эти гениальные образы выдуманы мною, Чуковским, специально для журнальчика «Еж», и вот делает мне выговор за то, что я – гений и сочиняю такие шедевры!

И все это было бы только забавно, если бы под письмом Раппопорта не красовалась невероятная подпись: заведующий школой такой-то.

Читая эту подпись, мы должны не смеяться, а плакать, ибо перед нами не случайный прохожий, имеющий право городить безответственный вздор, а самый авторитетный педагог во всей школе, самый образованный, самый культурный. И если таков этот лучший, то каковы же другие? Каковы сведения и вкусы рядовых педагогов, если один из наиболее квалифицированных, чуть дело дошло до литературных суждений, обнаружил в этом деле такое невежество, что принял меня за Овидия!

Я потому и печатаю письмо Раппопорта, что Раппопорт и посейчас не одинок. У него немало союзников, и, хотя они уже не имеют возможности демонстрировать свое узколобие в журнальных и газетных статьях, они упрямо ведут свою линию в школьно-педагогической практике и отметают от детей всякое – даже гениальное – произведение искусства, если оно называется сказкой, не стыдясь обнаруживать при этом такое невежество, которое равно их апломбу.

Я понял бы Раппопорта, если бы он возражал против того оформления, которое я придал Персею. Было бы поучительно сопоставить новую версию мифа с теми, которые были созданы для англо-американских детей, например, Натаниэлем Готорном и Чарлзом Кингсли. Но Раппопорту этот труд не под силу, так как тут необходимо знать и думать, а не только махать кулаками.

Я уделяю Раппопорту так много внимания потому, что эти левацкие фребели все чаще пользуются квазиреволюци-

онными лозунгами, чтобы тормозить и коверкать литературное развитие советских детей.

В Москве и в Ленинграде они приутихли, но на периферии бушуют по-прежнему. И всякий раз, когда молодой Детиздат или «Молодая гвардия» издают для детей «Гайавату», или «Маугли», или «Сказки» Пушкина, или «Мюнхаузена», эти душители детства кричат: «Революция в опасности!» – и спасают революцию... от Пушкина.

IV. И ОПЯТЬ О МЮНХАУЗЕНЕ. 1936

Вскоре после того как в книжных магазинах явились в моем изложении долгожданные «Приключения Мюнхаузена», в редакцию газеты «За коммунистическое просвещение» было прислано такое «Открытое письмо К. Чуковскому», предназначенное автором для напечатания в этой газете:

«Товарищ Чуковский! Купила я своей восьмилетней дочке вашу книжку «Приключения Мюнхаузена». Купила и, не читая, подарила ей в день рождения, чтобы сделать ребенку приятное. Подарила книжку, не читая, потому что, во-первых, читать было некогда, а во-вторых, на первом листе ясно было написано: «Для детей»...

Каково же было удивление и разочарование дочери, а вместе с ней и мое, когда мы стали эту книгу читать. Этот «самый правдивый человек на земле» так врет о себе и своих подвигах, что сбивает детишек с толку. У него отрывается или проваливается голова внутрь человека, а затем опять появляется. Он летит на луну. И если бы он летел с целью дать детям какие-то сведения о поверхности луны и т. д., этот полет был бы хоть и фантастичен, но все же интересен, а то какие-то с начала до конца неправдоподобные попытки взобраться по бобовому растению на луну, спуститься вниз по соломенной веревке. Самые нелепые представления о «жителях луны», их образе жизни и т. п.

В том месте книги, где автор рисует животный мир Цейлона, он буквально сбивает с толку детишек, давая странные картины встречи его (?) со львом, тигром, китом. Местами книга заставляет ребенка смеяться, но обязательно с вос-

клицанием: «Вот так врет!» В большинстве же случаев ребенок недоумевает. Меня интересует одно: для чего, товарищ Чуковский, вы переводили эту книгу?.. Нельзя же врать без оговорки на протяжении сотни листов!»

Я уже успел привыкнуть к таким письмам, и только подпись под этим посланием немного удивила меня: «Вязники, Ивановской области. Заведующая библиотекой С. Д. Ковалева». Странные, подумал я, библиотекари в Вязниках! Считается, что библиотекарь — человек образованный, руководящий просвещением обширного круга читателей, а эта Ковалева даже не слыхала о «Бароне Мюнхаузене» и, нисколько не стыдясь, заявляет, что сюжет всемирно прославленной книги явился для нее полным сюрпризом.

Я решил написать ей письмо, пододвинул к себе бумагу и начал:

«Уважаемая товарищ Ковалева! Педагогическое значение «Мюнхаузена» заключается в том...»

Но тут мне пришло в голову, что она не ждет от меня никаких разъяснений, потому что в таком случае зачем бы она стала обращаться ко мне при посредстве газетных столбцов? Написала бы приватное письмо. Нет, ее письмо есть статья для газеты, и она только делает вид, будто хочет узнать, для чего я перевел эту книгу.

Вопросы ее чисто риторические.

Если вчитаться в ее строки внимательнее, станет ясно, что она обратилась ко мне совсем не для того, чтобы получить необходимые сведения, а для того, чтобы публично обличить меня в моем непохвальном пристрастии к такой чепухе, как «Мюнхаузен». Она чувствует себя судьей, а меня подсудимым.

Мы имеем дело отнюдь не с любознательным и чистосердечным невежеством, а с той демагогией, которая еще так недавно отравляла нашу критику детской словесности.

Конечно, спорить с С. Д. Ковалевой я не стану. Достаточно продемонстрировать ее перед читателем: вот из каких персонажей вербовались у нас «принципиальные» противники сказки.

Ковалева да ее собрат Раппопорт в этом смысле чрезвычайно типичны: их метод — левацкие лозунги и бравада оголтелым невежеством.

V. ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ КРИТИКИ. 1956

Но прошли годы, и все эти мракобесы исчезли. В газетах, в журналах все чаще стали появляться статьи, восхваляющие великое воспитательное значение сказок.

Теперь уже считается общепризнанной истиной, что сказка совершенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, так как слушающий сказку ребенок чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с теми из ее персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. В этом-то деятельном сочувствии малых детей благородным и мужественным героям литературного вымысла и заключается основное воспитательное значение сказки.

Как же, в самом деле, не радоваться за новое поколение ребят! Наконец-то им будет дана, и притом в самом обильном количестве, витаминозная, сытная духовная пища, обеспечивающая детям нормальный и правильный умственный рост. Давно уже не встретишь в печати таких смельчаков, которые решились бы открыто и прямо выступить против фантастических сказок.

Да и в жизни, в быту, на практике сказка уже никому не страшна: столичные и областные издательства беспрепятственно снабжают детей украинскими, азербайджанскими, китайскими, индийскими, румынскими сказками, не говоря уже о датских, французских, немецких... Тема об огульной зловредности сказок сдана в архив — и забыта. Теперь вопрос переносится в более узкую сферу: не вредна ли ребенку та или иная определенная сказка? Не причиняет ли она его психике какой-нибудь тяжкой травмы?

Тревога законная, и к ней нельзя не отнестись с уважением. Но грустно, что наш педагогический опыт все еще не выработал сколько-нибудь устойчивых принципов для определения вреда или пользы той или иной категории сказок. Грустно, что здесь открывается широкий простор для обывательских, произвольных суждений.

Случилось, например, известному композитору М. И. Красеву сочинить детскую оперу по сюжету моей «Мухи-Цокотухи». Услышал эту оперу по радио житель Забайкалья, медицинский работник Владимир Васьковский, и написал в «Литературную газету»:

«Такие сказки не нужно было не только музыкально оформлять, но вообще выпускать в свет. Сказка вызывает у

ребят определенное сочувствие к бедной, невинно пострадавшей мухе, к «храброму» комару и другим паразитам. И странно: с одной стороны, в нашей стране проводится систематическая беспощадная борьба с насекомыми, а с другой — отдельными (?) писателями выпускаются в свет произведения со стремлением вызвать к паразитам сочувствие».

«Литературная газета» отказалась разделить его страхи. Тогда он пожаловался на нее в другую инстанцию, откуда его письмо переслали в Комиссию по детской литературе Союза писателей. В письме содержались нападки не только на «Муху», но заодно и на отличный рассказ Евгения Чарушина «Волчишко», в котором, к величайшему возмущению Васьковского, маленьким детям внушаются зловредные симпатии к волкам.

Суждения забайкальского критика кажутся мне типичными для множества подобных высказываний; он один представляет собою несметные легионы таких же мыслителей, меряющих произведения детской словесности точно такими же мерками.

Этого, конечно, не могла не понять Комиссия по детской литературе Союза писателей.

Уверен, что она раньше всего указала обличителю «Волчишки» и «Мухи» на полную непригодность утилитарных критериев, с которыми он так простодушно подходит к определению вредности или полезности сказок.

Ведь если пользоваться такими критериями, придется забраковать, уничтожить не только эти две бедные книжки, но целые десятки других, и в первую голову народные сказки, песенки и прибаутки о зайцах, где выражены самые нежные чувства к этим грызунам и вредителям.

Зайки, заиньки, зайчики, заюшки — так исстари называет их наш фольклор для детей, созданный в течение веков, и самое изобилие ласкательных форм показывает, что народ — право же, неплохой педагог — нисколько не боится прививать своим малолетним питомцам любовь к этим прожорливым тварям:

Заинька мой беленький,
Заинька мой серенький,
Заинька, попляши,
Заинька, поскачи!

Ко всем подобным произведениям фольклора вполне применимы слова К. Д. Ушинского:

«Это... блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа»[1].

А если применять предлагаемый критиком наивно-утилитарный критерий, придется отнять у детей и некрасовского «Дедушку Мазая», который вызывает в ребячьих сердцах горячее сочувствие к зайцам:

Зайцы — вот тоже, — их жалко до слез!

Жалко до слез — вы подумайте! Жалко до слез грызунов и вредителей! И как радуются, как ликуют ребята, когда Мазай спасает всех этих зайцев от гибели и отпускает их в лес, чтобы они — даже страшно сказать! — и дальше размножались на воле.

Мало того: к довершению бедствия, в нашем фольклоре то и дело внушается детям, будто зайцы — верные и преданные друзья человека, охраняющие его огороды от хищников, будто они не только не губят капусту, но поливают и холят ее:

А я заюшка, а я серенький,
По городам[2] я хожу,
Я капустку стерегу.
А на пору хозяину
Рассаду полью[3].

Если встать на позиции забайкальского критика, нужно скрыть от ребят эту песню, дающую им ложное представление об этих врагах человека. Точно так же придется изъять из обихода детей и сказку Льва Толстого «Три медведя», где такая же — чисто народная — симпатия к этим губителям деревенских коров.

И что делать с народной сказкой «Финист — ясный сокол», где серый волк представлен малышам как благодетель и друг человека? И с народной сказкой «Волшебное кольцо», где благодетелем и другом человека выступает зловредный мышонок?

---

[1] *К. Д. Ушинский.* Русские сказки. Избранные пед. соч., т. 2. М., 1954, с. 569–570.

[2] По огородам.

[3] Русские народные песни, собранные П. В. Шейном. М., 1870, с. 48.

— Да, я теперь вижу и сам, что поступил необдуманно, — ответил бы, вздыхая, Владимир Васьковский. — Но будьте добры, объясните, пожалуйста, почему же народ, а вслед за ним и великий народный поэт забывают во время своего общения с детьми, что миллионами рублей исчисляется вред, наносимый зайцами нашим огородам и плодовым деревьям? Почему те самые крестьяне, которые кровно заинтересованы в истреблении хищников, внушают своим малышам пылкое сочувствие к ним?

— Объяснить это, конечно, нетрудно! — ответила бы детская Комиссия Союза писателей. — Дело в том, что тысячелетним своим педагогическим опытом народ имел возможность убедиться, что, сколько бы ни влюбляли младенца в сереньких и беленьких заинек, заек и заюшек, этот младенец, когда станет мужчиной, с удовольствием примет участие в охоте на зайцев. Никакая сказка, услышанная или прочтенная в детстве, не помешает ему бить их без всякой пощады. Создавая свои бессмертные детские песни и сказки, народ очень хорошо понимал, что они совсем не для того предназначены, чтобы заблаговременно осведомлять младенцев, какие звери будут им впоследствии вредны, а какие полезны. У детской сказки есть другие задачи, в тысячу раз более серьезные, чем эта классификация зверей.

— Какие же это задачи? — спросил бы присмиревший Владимир Васьковский.

— Задачи немалые! — ответила бы Комиссия Союза писателей по детской литературе. — И даже, можно сказать, колоссальные. Но раньше всего обратите внимание, что, выполняя эти важные задачи, наши народные сказки, равно как и сказки великих писателей, относятся с откровенным презрением к предлагаемым вами мерилам для определения их полезного действия. Это выразилось, например, в народной сказке, чрезвычайно любимой детьми, — «О Сером Волке и Иване-царевиче», где, словно в насмешку над вашими принципами, волк выступает большим добряком, добывающим своему другу Ивану и златогривого коня, и жар-птицу, и Елену Прекрасную, так что дети с самого начала отдают все свои симпатии волку. Это выразилось также и в сказке про другого волка, написанной Львом Толстым, где волк изображен вольнолюбивым мудрецом, отказывающимся во имя свободы от сытой, обеспеченной жизни.

А медведи — всевозможные Мишки, Топтыгины, Михаилы Потапычи, — нужно ли говорить, какими обаятельными для миллионов детей сделал их тот же народ! И кто не знает, что самые, так сказать, задушевные игрушки для малых детей — это именно мишки, деревянные, тряпичные, плюшевые, — изготовленные специально затем, чтобы дети могли гладить их, тискать, баюкать, жалеть и ласкать, укутывать их в лоскутки, кормить воображаемой кашей, защищать от воображаемых бед. И нужно быть лунатиком, совершенно оторванным от подлинных реальностей жизни, чтобы, увидев у какого-нибудь Вани плюшевого медвежонка в руках, отнять у него эту игрушку из боязни, что он, когда станет Иваном, не пойдет с ружьем или рогатиной на живого лесного медведя.

Так — или приблизительно так — должна была ответить Комиссия по детской литературе от имени Союза писателей.

Но, к великому моему изумлению, она ответила ему совершенно иначе.

«Вы правы в самой постановке (!) вопроса, — заявила она с первых же слов. — К сожалению (?), некоторые наши писатели, работавшие в области (так и сказано: «работавшие в области») детской сказки и детского дошкольного рассказа, действительно ради занимательности совершили ошибки, наделяя вреднейших зверей, птиц и насекомых качествами положительных героев».

Дикий ответ. Канцелярский. Ведь при таком подходе к детской сказке окажутся глубоко ошибочными и замечательная сказка Жуковского о том же благодетельном волке, где поэт вслед за народом прославляет доброту и гуманность волков, и сказка Льва Толстого о медведе на повозке, где ребячьи сердца так и влекутся к медведю, и пушкинская сказка о Салтане, вызвавшая симпатии детей к комару. Кто из нас в детстве не хлопал в ладоши, не радовался, когда читавшие нам сказку доходили до знаменитых стихов:

Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара...
И т. д.

Почему же, спрашивается, Пушкин, Жуковский, Толстой совершили эту странную «ошибку»?

Комиссия по детской литературе ответила на этот вопрос так: «Объяснялось это, на наш взгляд, — так и написала она, — пренебрежением к правде жизни, незнанием родной природы».

Установив таким косвенным образом, что не только Чарушин и я, но и Пушкин, и Жуковский, и Лев Толстой, а с ними заодно и Некрасов не знали родной природы и относились пренебрежительно к жизненной правде, Комиссия по детской литературе тут же заявила, вопреки очевидности, что русский народ в своем фольклоре почти не придает положительных черт каким-нибудь вредным животным, то есть предпочла умолчать о вышеназванных зайцах, волках, мышах и медведях.

Ради чего же допустила она все эти отклонения от истины? А ради того, чтобы сделать из них соответствующий вывод: опера композитора Красева была признана вредной и уже не звучала в эфире.

Повторяю: приемы и методы нашего критика чрезвычайно типичны для многих подобных высказываний. И, конечно, я не стал бы так долго на них останавливаться, если бы в их основе не лежало одно заблуждение, имеющее мировоззренческий, принципиальный характер.

Как было сказано на предыдущих страницах, народ тысячелетним своим педагогическим опытом пришел к непоколебимой уверенности, что те сказочные образы, которые окружают ребенка в первые годы его бытия, не останутся в его уме неподвижными, а в процессе его развития и роста, под влиянием жизненной практики, подвергнутся большой переоценке. В данном случае к народу вполне применимо утверждение Энгельса, что «люди мыслили диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика»[1].

Представить себе жизнь ребенка в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, развитии, многим и сейчас не под силу. Этим людям все еще порою мерещится, что ребенок есть просто сундук, в который что положишь, то и вынешь. Положишь любовь к волку, или к комару, или к мухе — так эта любовь и останется в нем до самого конца его жизни. И они стараются напихать туда, в этот сун-

---

[1] *К.Маркс* и *Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 20, с. 146.

дук, возможно больше хороших вещей и очень удивляются, когда вынимают оттуда совсем не то, что туда положили.

Не подозревая о диалектичности детского возраста, они топорнейшим образом думают, что если ребенку в качестве умственной пищи дать, скажем, некое *а*, то это *а* так и останется в нем в виде *а* и не преобразится в *б*, или *в*, или *г*. Они забывают, что как яйцо не похоже на курицу, как семя не похоже на дерево, так и трехлетний младенец не похож на того человека, который из него выйдет впоследствии. Ребенок есть только черновик человека, и многое в этом черновике будет зачеркнуто, и многое пририсовано заново, покуда из большеглазого и щекастого Юрика выйдет Павлов, Циолковский или – самый низкопробный деляга.

Из того, что ребенок в три года переживает период ломания игрушек, отнюдь не следует, что к пятнадцатилетнему возрасту он сделается взломщиком несгораемых касс.

Педагоги, не учитывающие диалектического развития ребячьего возраста, именно так и думают. Совсем как та беременная, которая горько заплакала, узнав, что у ее утробного младенца, в начале второго или третьего месяца, появились жабры и хвост: «Не хочу, чтобы мой Ваня был хвостатенький!» – не подозревая, что и жабры и хвост исчезнут у него еще до рождения.

Эти нехитрые люди воображают, что каждая сказка, которую расскажешь младенцу, так-таки до гроба и останется в нем со всей своей моралью и фантастикой и определит собою всю его дальнейшую жизнь.

На этой наивной уверенности спекулировали все гонители сказок.

В Ростове-на-Дону некто П. тиснул в ту пору статью, где грозно осуждал знаменитую сказку о Мальчике с пальчик за то, что в сказке изображены людоеды. Должно быть, он полагал, что ребенок, прочитавший эту сказку, вырастет и сам людоедом.

– Почему вы питаетесь человеческим мясом? – в ужасе спросят у него окружающие.

– Мне в детстве прочитали сказку о Мальчике с пальчик.

А в Оренбурге какой-то Булгаков так прямо и напечатал на белой бумаге, что волшебная сказка – это школа полового разврата, потому что, например, в сказке «Золушка» злая мачеха, которая из одной только потребности мучить насыпает своей падчерице золы в чечевицу, есть, несомненно,

садистка, а принц, приходящий в восторг от башмачка бедной Золушки, есть замаскированный фетишист женских ножек![1]

В г. Горьком А. Т—ва напечатала тогда же статейку о том, что ребенок, наслушавшись сказок, проникнется психологией морального безразличия, начнет стремиться не к коллективному, а к индивидуальному счастью — очевидно, станет растратчиком или скупщиком краденого[2].

Сажая его за решетку, судья так и скажет ему:

— Не читали бы вы в детстве «Кота в сапогах»!

Гонители сказок спекулировали именно на убеждении невежд, будто нет такого сказочного образа, такого сюжета, которые не оставались бы законсервированными в детском уме на двадцать и тридцать лет, не подвергаясь никаким метаморфозам. Пугали простодушных читателей бессмысленной басней о том, что, если пятилетнему мальчику прочитать, например, о ковре-самолете, он, достигнув тридцатилетнего возраста, и слышать не захочет ни о каких Днепростроях, а пребудет до конца своих дней мечтателем, романтиком, мистиком.

Чем же от этого давнего, ныне забытого бреда отличается мысль вышеназванного забайкальского жителя (и всех авторитетных товарищей, объявивших себя солидарными с ним), будто ребенок, которому прочитают «Волчишку» Евгения Чарушина, на всю жизнь сохранит в своей душе горячую привязанность к волкам? И будто, прослушав сказку о храбром комарике, победившем злого паука, ребенок, даже сделавшись взрослым, уже никогда не станет убивать комаров?

И там и здесь — схоластическая, средневековая мысль, будто понятия и представления ребенка есть нечто застывшее, данное раз навсегда.

Нет, объекты симпатий ребенка с течением времени будут меняться не раз. Сегодня — одни, завтра — другие. Поэтому сказочники — и в первую голову народные сказочники — не слишком-то бывают озабочены выбором этих объектов, установлением их вреда или пользы.

---

[1] *В. Булгаков.* О вреде сказок. Сборник: Настольная книга для работника просвещения трудовой школы. Вып. 1. Оренбург, 1922, с. 106—110.

[2] Статья А. Т—вой в сборнике Нижегородского губоно «Школа и жизнь». Н. Новгород, 1923, с. 37—41.

Цель сказочников – иная. Она заключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека, волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу, как свою.

Сказочники хлопочут о том, чтобы ребенок с малых лет научился мысленно участвовать в жизни воображаемых людей и зверей и вырвался бы этим путем за узкие рамки эгоцентрических интересов и чувств.

А так как при слушании сказки ребенку свойственно становиться на сторону добрых, мужественных, несправедливо обиженных, будет ли это Иван-царевич, или зайчик-побегайчик, или Муха-Цокотуха, или бесстрашный комар, или просто «деревяшечка в зыбочке», — вся наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек — не человек.

Только эта способность, привитая с самого раннего детства и доведенная в процессе развития до высочайшего уровня, создавала и будет впредь создавать Бестужевых, Пироговых, Некрасовых, Чеховых, Горьких...

*

Все, о чем повествуется в настоящей главе, происходило лет десять назад. Нынче в Комиссии по детской литературе Союза писателей уже другой, обновленный состав, нисколько не ответственный за тот документ, который я сейчас процитировал. Но значит ли это, что уже не существует самозваных блюстителей народного блага, готовых отнимать у детей то или иное произведение искусства на основе своих схоластических догматов, бесконечно далеких от подлинных реальностей жизни?

В том-то и горе, что эти догматы страшно живучи. Вряд ли нам удастся в ближайшее время искоренить их из нашего быта.

Ибо, во-первых, они все еще импонируют наивным умам своей кажущейся, мнимой логичностью.

А во-вторых, всякий, кто использует их для полемических выпадов против той или иной детской книжки, тем самым присваивает себе благородную роль горячего поборни-

ка общественной пользы, а роль эта весьма соблазнительна — особенно для тартюфов и человеков в футляре.

Поэтому искоренить из нашего обихода такие методы критической мысли не так-то легко, и было бы нелепо надеяться на быстрый и стремительный успех. Еще будут рецидивы — и не раз. Борьба предстоит упорная. И я буду искренне рад, если окажется, что в настоящей главе мне удалось хоть отчасти, хоть в самой незначительной степени пошатнуть этот порочный критический метод, показав на первом попавшемся конкретном примере полную непригодность подобных приемов для решения важнейшего вопроса о педагогической ценности той или иной детской сказки.

VI. «ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО, ЧТОБЫ...» 1960

Редактор моей книги сказал:

— Вся эта глава «Борьба за сказку» в настоящее время едва ли нужна. Дико думать, будто теперь, в шестидесятых годах, может найтись хоть один мракобес, который, спекулируя левацкими, мнимо утилитарными лозунгами, станет требовать уничтожения какой-нибудь фантастической сказки. Время раппопортов и васьковских прошло. Теперь даже они поумнели! Для чего же ломиться в открытую дверь?

— Вы правы! — ответил я. — Мне и самому представляется, что эта глава устарела. Незачем доказывать то, что давно уже ясно как день.

Но в эту минуту принесли свежий номер «Литературной газеты», и мы прочитали в ней такое письмо:

«Опять и в который раз вышло произведение Корнея Чуковского о «Мухе-Цокотухе». На этот раз это произведение выпущено тиражом в 1 300 000 экземпляров.

До каких пор К. Чуковский будет вводить в заблуждение советских детей?»

И т. д., и т. д., и т. д.

Кончается письмо таким призывом:

«Бесполезную книжку К. Чуковского о Мухе (Цокотухе) можно смело сжечь, история (?) от этого ничего не потеряет».

И подписано:

«А. П. Колпаков, кандидат исторических наук (Душанбе)».

Среди обвинений, выдвинутых кандидатом исторических наук Колпаковым против моей «Мухи-Цокотухи», особенно грозно прозвучало такое:

«Корней Чуковский проповедует любовь к мухе-цокотухе, он выдает ее замуж —

За лихого, удалого,
Молодого комара!

Это *противоестественно, чтобы* комар мог жениться на мухе, — возмущается кандидат исторических наук Колпаков. — Вошь, — поучает он, — не может жениться на клопе и комар на мухе. Это все несусветная чушь и обман»[1].

В искренности этой тирады нельзя сомневаться. Одного не могу я понять: почему, выступив на борьбу с «несусветною чушью», Колпаков ограничивается одной «Цокотухой»? Бороться так бороться до конца! Если уж он решил навести в этом деле порядок, почему не потребовал, чтобы возможно скорее сожгли гениальную народную сказку «Царевна-лягушка», где без всяких обиняков говорится, что на самой обыкновенной лягушке женится юноша богатырского роста?

«Старший сын женился на боярской дочери, средний — на купеческой, а Иван-царевич — на лягушке».

И почему достопочтенный ученый до сих пор не бросил в огонь другую русскую народную сказку — «Медведко», где такой же «кровосмесительный» брак: красавица на целых два года становится женою медведя!!

А сказка о Никите Кожемяке:

«Схватил змей царевну и потащил к себе в берлогу — за жену себе взял».

Разве это не «противоестественно, чтобы»?

А эта знаменитая народная детская песенка:

Сватали совушку
За белого гуся, —

почему Колпаков пощадил и ее?

И почему он пощадил Льва Толстого? Ведь черным по белому Лев Толстой написал для детей сказку «Уж», в которой крестьянская девушка Маша выходит замуж за боль-

---

[1] «Литературная газета» от 20 августа 1960 г.

шого ужа и тот становится отцом ее детей. Как же Колпаков допустил этот противоестественный брак?

И спрашивается: почему до сих пор он не сжег бессмертной украинской народной баллады о мухе-чепурухе, на которой женился... — слушайте! слушайте! — тот же комар!

Ой, що ж то за шум учинився,
Що комарь та на мусі оженився!

«На мусі» и значит «на мухе». Как же это так могло случиться, что бдительный Колпаков проворонил такой криминал? Ведь уже лет двести миллионы украинских детей с восторгом читают и слушают эту балладу, в которой воспевается такой же «противоестественный» брак, что и в моей злосчастной «Цокотухе».

Если уж пришла Колпакову мракобесная блажь сжигать дотла ненавистные книги, он должен был заранее знать, что тут потребуется огромный костер, ибо, как мы видим, и русский, и украинский народы создали на потребу своей детворы немало таких сказок и песен, к которым вполне применима его грозная формула:

«Противоестественно, чтобы».

Я уж не говорю о польском, чешском, монгольском, английском фольклоре, предназначенном для маленьких детей. Если бы кандидат исторических наук Колпаков имел хоть какую-нибудь возможность познакомиться с этим фольклором, он, конечно, пришел бы в отчаяние, ибо в его костре не хватило бы дров. Взять хотя бы английский детский фольклор — так называемые Nursery Rhymes, отголоски которых так явственно слышатся в творчестве Шекспира, Джонатана Свифта, Роберта Бернса, Льюиса Кэрролла, Алена Александера Милна и других. Воображаю, какой гнев они вызвали бы в нашем доблестном блюстителе нравственности, если бы он каким-нибудь чудом узнал, что этот великолепный поэтический цикл считает вполне допустимой женитьбу лягушонка на мыши! И уже настоящая ярость охватила бы того же блюстителя, если бы ему стало известно, что у замечательного детского поэта Эдварда Лира утка мечтает о том, чтобы сделаться женой кенгуру, а кошка венчается с филином.

Подобные сказки и стихи существуют в английском фольклоре уже полтысячи лет — или больше! — почему же никто из миллионов детей не заметил в них ничего одиозного?

Я думаю, причина одна: дети не бывают пошляками.

*

И не только детям, но и нам, взрослым читателям сказок, простодушно, по-детски восхищающимся «Царевной-лягушкой», — нам и в голову не приходят те грязноватые мысли, в итоге которых слагается пресловутая колпаковская формула:

«Противоестественно, чтобы».

В сущности, я должен благодарить Колпакова, так как его письмо послужило для меня верным свидетельством, что настоящая глава не устарела и до сих пор сохраняет свою актуальность.

— Нет, — сказал я редактору, — придется эту главу сохранить. Исключать ее из книжки рановато. Васьковские и раппопорты, оказывается, на диво живучи и по-прежнему рвутся в бой, нисколько не боясь оказаться всеобщим посмешищем.

Правда, их стало значительно меньше. Огромное большинство читательских писем, полученных мною и редакцией «Литературной газеты», написаны в защиту моей сказки. Я не цитирую этих многочисленных писем, так как не хочу огорчать Колпакова: вряд ли ему придутся по вкусу те эпитеты, которыми авторы писем так щедро награждают его.

Впрочем, почему не привести самое безобидное из всех этих писем, благо оно такое короткое?

«Дорогой наш Корней Иванович! Мы прекрасно понимаем, как муха-цокотуха обвенчалась с удалым комаром. Это доходит до нашего сознания. Но мы никак не можем понять, как этот (опускаю нелестный эпитет. — *К. Ч.*) получил степень кандидата исторических наук».

А я хоть убей не пойму, отчего, выступая с призывом к сожжению книг, он считает необходимым подкрепить этот дикий призыв указанием на свою ученую степень. Ведь этим он бросает на свою корпорацию очень неблаговидную тень.

Глава четвертая

ЛЕПЫЕ НЕЛЕПИЦЫ

Глаз человека не слыхал, ухо
человека не видало...

В. Шекспир. *Сон в летнюю ночь*

Медведь летит по поднебесью,
В когтях да он несет коровушку,
В осеќу овца да яйцо снесла,
На дубу свинья да гнездо свила.

Русская народная песня

Обмолвка актера:
«Ключи заперты, двери в кармане».

В. Слепцов. Отрывки из дневника

I. ПИСЬМО

Я получил такое письмо:

«Стыдно, т. Чуковский, забивать головы наших ребят всякими путаницами, вроде того, что на деревьях растут башмаки. С возмущением прочитали мы в вашей книжонке такие фантастические строки:

Жабы по небу летают,
Рыбы по полю гуляют,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.

Зачем вы извращаете реальные факты? Детям нужны общеполезные сведения, а не фантастика насчет белых медведей, которые будто бы кричат кукареку. Не того мы ждем от наших детских писателей. Мы хотим, чтобы они разъясняли ребенку окружающий мир, а не затемняли его мозги всякой путаницей!»

Я прочитал это письмо, и мне стало не то чтобы грустно, а душно.

Какое затхлое и безнадежное невежество! Дело не во мне и не в моих бедных стишках, а в огромном вопросе о принципах детского чтения, который нельзя же решать при помощи одного только обывательского «здравого смысла», потому что «здравый смысл» нередко бывает врагом всякой научной теоретической истины.

Признаться, я даже почувствовал к своему обличителю жалость: взять бы его за руку, вывести на солнечный свет и объяснить ему от души, без запальчивости, самыми простыми словами то, чего он не может понять в своем обывательском погребе.

Если бы, кроме «здравого смысла», у него были какие-нибудь другие ресурсы, он увидел бы, что «путаницы», которые кажутся ему такими зловредными, не только не мешают ребенку ориентироваться в окружающем мире, но, напротив, укрепляют в нем чувство реальности и что именно в интересах реалистического воспитания детей следует культивировать в детской среде такие стихи. Ибо так уж устроен ребенок, что в первые годы его бытия мы можем насаждать в его душе реализм не только путем ознакомления с окружающим миром, но чаще и успешнее всего именно при посредстве фантастики.

II. ТИМОШКА НА КОШКЕ

Для того чтобы мой обличитель мог вполне усвоить эту очевидную истину, я повел бы речь издалека и сказал бы ему приблизительно следующее:

— Заметили ли вы, мой бедный друг, что в русских народных стишках для детей — этих шедеврах поэзии и педагогической мудрости — редко кто проскачет на коне, а все больше на кошке, на курице — на самом неподходящем животном:

Стучит-гремит по улице,
Фома едет на курице,
Тимошка на кошке
По кривой дорожке.

Нет, кажется, такой птицы, такого животного, на котором не прокатились бы люди в русских детских народных стишках:

Села баба на баран,
Поскакала по горам...

Доктор едет на свинье,
Десять розог на спине...

Запрягу я кошку в дрожки,
А кота в пристяжку...

Сядьте на курицу,
Поезжайте в кузницу...

Машенька из дому уходила,
На воробушке по улице катила...

А Ерема на утяти
Поехал пахати...

Всюду в этих стишках нарочитое отклонение от нормы: от лошади. Чем объясняете вы такую «нелепость»? Деревенские дети, в возрасте от двух до пяти, отказываются почему-то ввести в свою песню канонического ездока и коня. Только вчера они усвоили этот канон, только вчера постигли великую истину, что лошадь существует для езды, что здесь ее главная функция, а сегодня наделяют этой функцией всякую заведомо неподходящую тварь:

Как по речке, по реке
Ехал рыжий на быке.
Ему красный повстречался
На козе.

Всеми способами стремятся они заменить верхового или ломового коня каким-нибудь нелепым суррогатом, и чем ощутительнее эта нелепица, тем охотнее культивирует ее детская песня:

Ехал повар на чумичке,
Две кастрюли впереди.

Дело доходит до того, что огромное для детского глаза животное заменяется микроскопической козявкой, дабы еще сильнее подчеркнуть всю явную эксцентричность этого отклонения от нормы:

Маленьки ребятки
На маленьких козявках
Поехали кататься.

Но необходимо тут же отметить, что, при всех этих резких отклонениях от нормы, норма живо ощущается ребенком.

На каких бы козявках ни разъезжали герои стишков, этим козявкам в сознании ребенка всякий раз противопоставляется лошадь, которая незримо присутствует тут же.

Иногда, впрочем, она присутствует зримо, но появляется лишь для того, чтобы ее отстранение было еще более заметно:

Впрег коня, конь-ат не везет.
Впрег комара, комар-ат помчал,
На гумно замчал.

Эта тяга к нарушению установленного порядка вещей наблюдается не только в русском фольклоре. В английских, например, народных детских песнях тот же мотив о ездоке и коне варьируется множество раз:

– Оседлаю моего петуха, взнуздаю мою курицу и отвезу мою маленькую даму домой... (I'll saddle my cock and I'll bridle my hen...)

– Мать Джека поймала гусака и, взобравшись ему на спину, полетела верхом на луну... (Jack's mother... caught the goose soon and mounting its back flew up to the moon...)

Причем англичане минувших веков, как народ-мореплаватель, ввели тот же процесс отстранения нормы в стихи о морских путешествиях. Герои этих стихов носятся по морю в самых неподходящих суденышках: кто в лохани, кто в ковшике, кто в решете! Изо всех предметов во всем мире решето наименее пригодно для навигации: именно поэтому детская английская народная песня так охотно пользуется им.

Универсально это систематическое неприятие ребенком прочно установленной истины.

Нет числа тем извращениям, которым подвергает детская народная песня незыблемую идею езды на коне. Если и оставит коня, она примет другие меры, чтобы достичь демонстративного отклонения от нормы:

а) либо перепутает эпитеты, неизменно характеризующие коня и телегу:

Он на пегой на телеге,
На дубовой лошади;

б) либо поменяет местами ездока и дорогу:

Ехала деревня
Мимо мужика;

в) либо повернет ездока в направлении, противоположном маршруту:

Сел задом наперед
И поехал в огород.

Словом, так или иначе достигнет вожделенной нелепости, не оставив нетронутым ни одного из тех элементов, из коих слагается образ скачущего на коне человека.

Из народной песни эта тенденция к заведомо неверному взаимоотношению образов перешла в литературно-книжную и утвердилась во многих излюбленных детских стихах. Таково, например, соединение двух взаимно исключающих друг друга способов езды:

Баба ехала верхом,
Развалясь в карете.

III. ТЯГОТЕНИЕ РЕБЕНКА К ПЕРЕВЕРТЫШАМ

Впрочем, будем говорить исключительно о народной поэзии.

Ведь нет никакого сомнения, что стихи, которые я сейчас процитировал, утверждены и одобрены несчетными поколениями русских детей, так как, хотя каждому новому поколению родители, деды и бабки могли напевать наряду с хорошим и плохое, в памяти маленьких слушателей всегда выживало лишь то, что наиболее соответствовало их детским запросам и вкусам. И, дожив до старости, всякий, кто в детстве слыхал эти песни, передавал в свою очередь внукам самое лучшее, самое яркое. А все фальшивое, чуждое младенческой психике понемногу забывалось, отмирало и, таким образом, не передавалось потомству, переставало существовать для следующего поколения детей.

То был суровый отбор, и в результате этого многовекового отбора русские дети получили ценнейшее наследие песен, которые дороги именно тем, что они как бы созданы самими детьми.

Недетское погибло на тысячелетней дороге.

Так создавалась образцовая детская народная песня, по всей своей семантике и ритмике идеально соответствующая умственным потребностям русских трехлетних детей, — одно из сильнейших средств мудрой народной педагогической практики.

Точно таким же путем возникла и та великая книга, которая у англичан называется «Старуха гусыня» («The Mother Goose»). Стишки, входящие в «Старуху гусыню», так называемые Nursery Rhymes, подверглись тому же процессу коллективного отбора, бессознательно произведенного длинным рядом детских поколений. Стишки эти просеивались через тысячи сит, прежде чем из них образовался единственный всенародный песенник, без которого немыслимы детские годы английских, шотландских, австралийских, канадских детей. Многие из этих стишков зарегистрированы в печати лет четыреста или пятьсот тому назад. Например, песня о Готемских умниках (Three Wise Men of Gotham) считалась старинной уже в середине XIV века.

А версия песни о снеге «Птаха белая, без перышков» («White bird featherless») восходит к началу десятого века[1].

Почему же, спрашивается, среди этих произведений фольклора, так чудесно приспособленных для воспитания детей, возникла такая обширная группа озорных, диковинных стишков, посвященных нарочитому систематическому отклонению от установленной нормы? Почему образцовая детская песня, одобренная миллионами детей, в течение многих веков культивирует с таким упорством это явное нарушение реальности?

Я взял одну-единственную тему: лошадь везет человека, но, если всмотреться внимательнее в детскую народную песню, можно заметить, что чуть ли не каждая тема, доступная кругозору ребенка, подвергается такой же обработке, словно идея строгой закономерности вещей и событий невыносима для трехлетнего ума.

Многие песни как будто к тому и стремятся, чтобы перемешать, перепутать те немногочисленные данные опыта, из коих для ребенка слагается мир.

---

[1] The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, edited by Iona and Peter Opie. Oxford at the Clarendon Press, 1958, pp. 227, 263.

Чаще всего желанная нелепица достигается в детской песне тем, что неотъемлемые функции предмета *а* навязываются предмету *б*, а функции предмета *б* навязываются предмету *а*.

Благодаря применению этого метода в фольклоре создались так называемые небывальщины, издавна широко распространенные среди русских детей:

Среди моря овин горит,
По чисту полю корабль бежит...[1]

Здесь, в этих строках, дано сочетание шести несочетаемых вещей: моря и овина, корабля и поля, воды и огня.

Подобную же обратную перестановку незыблемых признаков моря и леса находим в английском детском фольклоре:

«Пустынник спросил меня, сколько ягод земляники растет в море? Я ответил: столько же, сколько копченых селедок растет в лесу».

Повторяю и подчеркиваю: для восприятия этих игровых стихов ребенку необходимо твердое знание истинного положения вещей: сельди — обитатели моря, земляника растет в лесу.

Небывальщина необходима ребенку лишь тогда, когда он хорошо утвердился в «бывальщине».

Если ему неизвестно, например, что лед бывает только в холодную пору, он не воспримет народной английской песни о том, что:

Дети скользили по льду на коньках
В летний жаркий день.

Это нужно с самого начала понять и запомнить: все подобные нелепицы ощущаются ребенком именно как нелепицы. Он ни на минуту не верит в их подлинность.

Навязывание предметам несвойственных им функций и признаков увлекает его как забава.

В русских малых фольклорных жанрах эта забава нередко принимает характер игры в обмолвку:

Полтора молока кислого кувшина...

---

[1] Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским, т. VII. СПб., 1902, с. 287.

*

Лыко мужиком подпоясано...

*

Глядь, из-под собаки лают ворота. Мужик схватил собаку и давай бить палку. Собака амбар-то поджала да под хвост и убежала.

*

Квашня женщину месит...

*

Озеро вспорхнуло, а утки остались...

*

Корова бабу доит...

*

Иногда же здесь откровенная игра несуразностями:
«Я посеял конопель, а выросли раки, зацвели вороны...»

*

Кошка кованая, утка дойная...

*

Кочерга раскудахталася, помело нарумянилося...

*

На печи старик – он рыбу ловил.

*

Одёрни пуп, рубаху видно!

*

На грушу лезу, грушки трясу, караси падают, сметану собираю.

*

В немецком фольклоре, как и во всяком другом, тоже с незапамятных времен существует великое множество таких же озорных небылиц — для детей и для взрослых. Приведу одну из них, наиболее удачную, в талантливом переводе Льва Гинзбурга. Она распространялась в «Летучих листках» в 1530 году в Нюрнберге:

Жил в мужике богатый дом,
Пил хлеб, закусывал вином,
Стриг ножницы овечкой.
Доской рубанок он строгал,
В коня повозку запрягал,
Топил поленья печкой.

. . . .

Сажал он в репе огород,
Воров поставил у ворот,
Чтоб под покровом мрака
Не влезла в дом собака.

Он в рыбах озеро удил,
Ему сынок жену родил...[1]
И т. д.

По этой схеме построено немало любимейших детских стихов.

Например, эта бессмертная народная песня, возрождающаяся с каждым новым поколением детей:

Слепой подглядывает,
Глухой подслушивает,
Безногий в догон побежал,
Немой караул закричал[2].

Вариантов этой песни великое множество. Один из наиболее характерных:

Еще где же это видано,
Еще где же это слыхано,
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес...
Чтоб безрукий-то клеть обокрал,
Голопузому за пазуху наклал,

---

[1] Немецкие народные баллады в переводах Льва Гинзбурга. М., 1959, с. 118–120.

[2] Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским, т. VII, СПб., 1902, с. 210–211.

А слепой-то подсматривал,
А глухой-то подслушивал.
Безъязыкий караул закричал,
А безногий в погонь побежал?[1]

В народе такие стихи называются иногда «нескладухами»:

Вы послушайте, ребята,
Нескладуху вам спою:
«Сидит корова на березе,
Грызет валяный сапог».

Примеров таких «нескладух» можно привести сколько угодно, и все они поведают нам о неистребимой потребности каждого здорового ребенка всех эпох и народов внести нелепицу в тот малый, но отчетливый мир, с которым он недавно познакомился. Едва только ребенок уразумел окончательно, какие предметы съедобны, какие нет он с радостью стал слушать народную нескладуху о том, что

Жил-был Моторный на белом свету,
Пил-ел лапти, глотал башмаки.

Недаром в зарубежных детских антологиях так часто встречается целый отдел «стихотворений без смысла». Вот одно из них, принадлежащее Уильяму Рэнду (William Rand); оно так и озаглавлено — «Перевернутый мир»:

Если бы конь оседлал седока,
Если бы трава стала есть корову,
Если бы мыши охотились за котом,
Если бы мужчина стал женщиной, —
Весь мир перевернулся бы вниз головой[2].

В сущности, все стишки, о которых мы сейчас говорили, это стишки о перевернутом мире.

По какой-то непонятной причине ребенка влечет в этот перевернутый мир, где безногие бегают, а вода горит, а лошади скачут на своих ездоках, а какие-то Моторные вместо хлеба едят башмаки.

Выделив эти произведения детского фольклора в особую группу, я дал всему их циклу название «Стишки-перевер-

---

[1] Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским, т. VII, СПб., 1902, с. 291—292.

[2] «This Singing World» (An Antology of Modern Poetry for Young People). Collected and edited by Untermeyer. N. Y., Harcourt, Brace and Co., 1923, p. 325.

тыши»[1] и попытался дознаться, какова же их практическая цель в системе народной многовековой педагогики. Я говорил себе: ведь не стал бы народ так упорно, в течение стольких столетий, предлагать новым и новым поколениям детей такое множество этих своеобразных произведений поэзии, если бы они не способствовали совершенствованию психической жизни ребят.

И все же я долго не мог доискаться, в чем польза детского влечения к игре в «перевернутый мир». Ни у русских, ни у иностранных писателей я не нашел о нем ни единого слова.

В конце концов разгадка этого странного явления нашлась. Но не в литературе, а в жизни. К этой разгадке привела меня моя двухлетняя дочь.

В ту пору для нее, как и для многих детей ее возраста, являлось источником сильнейших эмоций и напряженнейшей умственной деятельности то незначительное само по себе обстоятельство, что петух кричит кукареку, собака лает, а кошка мяукает.

Эти скромные сведения были могучим завоеванием ее интеллекта. Прочно, нерасторжимо, раз навсегда привязала она к петуху «кукареку», к кошке «мяу», к собаке «гав-гав» и, справедливо гордясь своими великими знаниями, неустанно демонстрировала их.

Эти знания сразу внесли ясность, порядок и стройность в обаятельный для нее, как и для всякого ребенка, мир окружающих ее живых существ.

И вот как-то входит ко мне дочь — на двадцать третьем месяце своего бытия — с таким озорным и в то же время смущенным лицом, точно затевает необыкновенную каверзу. Такого сложного выражения я никогда не видел у нее на лице.

Еще издали она крикнула мне:

— Папа, ава — мяу! — то есть сообщила сенсационную и заведомо неверную весть, что собака, вместо того чтобы лаять, мяукает. И засмеялась поощрительным, несколько искусственным смехом, приглашая и меня смеяться этой выдумке.

---

[1] Слово «перевертыш» издавна живет в языке. Но то значение, которое в настоящем случае я придал ему как литературному термину, прежде не существовало.

Я же был склонен к реализму:

– Нет, – ответил я, – ава – гав.

– Ава – мяу! – повторила она, смеясь и в то же время ища у меня на лице выражения, которое показало бы ей, как ей следует относиться к этой еретической выдумке, которой она даже чуть-чуть испугалась.

Я решил войти в ее игру и сказал:

– А петух кричит мяу!

И этим санкционировал ее интеллектуальную дерзость.

Никогда самая затейливая эпиграмма Пирона не вызывала такого благодарного смеха, как эта убогая шутка, основанная на механическом перемещении двух элементарных понятий.

То была первая шутка, которую моя дочь ощутила как шутку на двадцать третьем месяце своего бытия.

Она почувствовала, что не только не страшно «переворачивать» по своей прихоти мир, а, напротив, весело и очень забавно, лишь бы только рядом с этим неправильным представлением о мире в уме оставалось сознание правильного. Она, так сказать, воочию увидела основную пружину комизма, заключающуюся именно в том, что данному предмету навязываются прямо противоположные качества.

Постигнув механизм своей шутки, она пожелала наслаждаться ею опять и опять, измышляя всё новые несоответствия между животным и звуком.

И тогда мне показалось – я понял, откуда эта выразившаяся в детском фольклоре несокрушимая страсть к несоответствиям, несообразностям, к разрыванию связей между предметами и их постоянными признаками.

Ключ ко всему этому в той многообразной и радостной деятельности, которая имеет такое большое значение для умственной и нравственной жизни ребенка, – в игре.

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ

Существует немало детских стишков, которые являются продуктами игры, но эти стишки-перевертыши и сами по себе есть игра. Ко всем категориям игр, о которых мы так много узнали в последнее время из работ Д. Б. Эльконина,

А. П. Усовой, Д. В. Менджерицкой и других (не говоря уже о Горьком и Макаренко), нужно присоединить эту категорию: игры мыслительные, игры ума, потому что ребенок играет не только камешками, кубиками, куклами, но и мыслями.

Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сделать ее своей игрушкой.

Распространеннейшим методом этих умственных игр является именно обратная координация вещей: наделение предмета *а* функциями предмета *б* и наоборот. Когда моя двухлетняя дочь заставляла воображаемую собаку мяукать, она играла именно в такую игру. Чтобы принять участие в этой игре, я тогда же сочинил для моей дочери целый ряд подобных небылиц:

Свинки замяукали:
Мяу! мяу!

Кошечки захрюкали:
Хрю! хрю! хрю!

Уточки заквакали:
Ква! ква! ква!

Курочки закрякали:
Кря! кря! кря!

Воробышек прискакал
И коровой замычал:
М-м-му-у!

Прибежал медведь
И давай реветь:
Кукареку!

Это стихотворение написано, так сказать, по заказу и по рецепту ребенка. Я чувствовал себя столяром, который изготовил для своего малыша игрушку.

Важнейший признак этих игрушек: дети неизменно ощущают их как нечто забавное.

И все без исключения стишки, порожденные этими играми, — в глазах ребенка смешные стишки.

Чем яснее для него та правильная координация вещей, от которой он намеренно отступает в игре, тем сильнее в нем это ощущение смешного.

Недаром Коля Шилов так смеялся, когда ему удалось перевернуть знакомую фразу о звенящих колокольчиках и летающих птицах.

— Птички звенят, колокольчики летят! — сказал он на третьем году жизни и захохотал от такой еретической выдумки.

Это стремление создавать перевертыши — у здорового ребенка на каждом шагу. Тому же Коле Шилову не было еще и двух лет, когда он в шутку назвал тетю дядей и очень восхищался своей выдумкой:

— Дядя Маня! Дядя Маня!

Колина мать записала у себя в дневнике: «Как я его ни поправляю, он твердит свое, причем закатывается от смеха.

В другой раз вместо доброго утра он пожелал отцу спокойной ночи и при этом опять-таки хохотал громче всех»[1].

В статье А. Н. Гвоздева о развитии детской речи приводится, между прочим, один перевертыш, придуманный мальчиком Женей, двух с половиною лет.

Мать сидела и вязала чулок. У Жени спросили, кто это, и он «явно нарочито» ответил:

— Папа.

— Что делает?

— Пишет.

— Что?

— Яблоко.

Женя ощутил эту путаницу как нечто комическое. И когда через две недели ему снова указали на мать и спросили, кто это, он засмеялся и снова ответил:

— Папа!

А потом указал на отца:

— Мама!

И опять засмеялся[2].

Жажда играть в перевертыши присуща чуть не каждому ребенку на определенном этапе его умственной жизни. В тот самый день, когда я сдавал эту книгу в печать, я получил от педагога-историка Е. А. Ивановой (ст. Сещинская, Брянской области) подробный и очень интересный дневник о ее племяннике Вите. Там есть такая запись от

---

[1] *В. А. Рыбникова-Шилова.* Мой дневник. Орел, 1923, с. 74, 129,133.

[2] *А. Гвоздев.* Наблюдение над языком маленьких детей. «Русский язык в советской школе». 1929. № 5, с. 74 — 75. Там же сообщается, что Женя в шутку называл маму — тетей, отца — дядей, себя — Олечкой.

3 мая 1946 года, когда мальчику было два с половиной года.

«Витя смотрит картинки. Начинает шалить. Со смеющимися глазами показывает на бегущего страуса и говорит:

– А я думал – заяц!

Раз пять со смехом повторяет это. Затем показывает на зайца:

– А я думал – это индюк!

Показывает на ласточку:

– Воробышек!

Смеется и добавляет:

– Петух!

Ему, видимо, кажется забавным, что он знакомых животных называет другими именами».

Вива Фисулати пишет мне из Ужгорода (Закарпатская область) о своем племяннике Сереже (двух с половиною лет):

«Он то и дело предлагает родным:

– Наденем фуражку на ноги, а сандалии на голову.

– Возьмем дверь и откроем ключ!»

Елена Дмитриевна Таль, живущая в Перове под Москвой, сообщает о внучке Леночке:

«В один год одиннадцать месяцев Леночка стала шутить: про соль говорила, что она сладкая, про сахар – соленый. При этом лукаво глядела на нас и четко произносила: «Ха-ха»».

Так же смеялась трехлетняя Ира, когда ей пришла в голову такая нелепица:

– Красная Шапочка скушала волка.

Некоторые наблюдатели думают, что самая эта тяга к обратной координации вещей порождена в ребенке стремлением к юмору.

Мне кажется, это не так.

Мне кажется, остроумие здесь только побочный продукт, а первопричина этой тяги иная.

Возьмем, например, тот случай, о котором говорит Жорж Дюамель в своей книге «Игры и утехи». Это – книга о детях. В ней, между прочим, рассказывается, как одна девочка, которая, по обычаю французских детей, называла свою бабушку Maman Ma, а дедушку – Papa Pil, однажды окрестила их так:

— Maman Pil и Papan Ma, — то есть сама изобрела перевертыши не хуже тех, о которых мы сейчас говорили: мужчину наградила женским именем, а женщину — мужским[1].

Весьма возможно, что вначале эта обратная координация имен и людей была просто результатом обмолвки, но обмолвка понравилась девочке и тотчас превратилась в игру, подобно тому как в русском фольклоре навсегда утвердились обмолвки: «лыко мужиком подпоясано», «ехала деревня мимо мужика» и т. д.

Во всем этом эпизоде французский писатель видит лишь проявление детского юмора. Он говорит, что тени величайших мастеров каламбура должны бы померкнуть перед лицом этой остроумнейшей тринадцатимесячной девочки и что ребенку вообще присуще самое изысканное чувство комизма. Мне же кажется, что это явление сложнее. Я думаю, что в основе подобных причуд не юмористическое, а познавательное отношение к миру. Ибо давно уже стало общепринятой истиной, что именно посредством игры ребенок овладевает огромным количеством знаний и навыков, нужных ему для ориентации в жизни.

Об этом написано множество книг, с этим уже не принято спорить.

«Чтобы быть способным к цивилизации, человек должен пройти через детство, так как, не будь у него детства, посвященного забавам и играм, он навсегда остался бы дикарем». «В играх он как бы начерно знакомится с миром». «Если развитие приспособлений для дальнейших жизненных задач составляет главную цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явлений принадлежит игре, так как мы вполне можем сказать, что мы играем не потому, что нам дано детство, а детство нам дано для того, чтобы мы могли играть».

«Опыт ребенка почти всегда облекается в форму игры. Играть в детстве — то же, что накоплять опыт, а этот накопленный опыт порождает в свою очередь новые знания, новые чувства, новые желания, новые поступки и новые способности».

Игра может быть веселой забавой, но не в этом ее главная особенность.

---

1 *Жорж Дюамель.* Игры и утехи. Перевод с французского В. И. Сметанича. Л., 1925, с. 46.

В большинстве своих игр дети, напротив, бывают чрезвычайно серьезны. Привожу отрывок из своего дневника, относящегося к двадцатым годам: «Сейчас у меня под балконом бегает в высшей степени насупленный мальчик, который уже часа два является в своих собственных глазах паровозом. С унылой добросовестностью, словно исполняя какую-то необходимую, но трудную должность, он мчится по воображаемым рельсам и пыхтит, и шипит, и свистит, и даже выпускает пары. Никакого смеха в игре этой нет, а между тем она его любимейшая: все лето он предается ей с угрюмым азартом, совершая регулярные рейсы между рекою и домом. Во время этой игры у него и лицо паровозное, чуждое всему человеческому».

Если же те умственные игры, о которых у нас идет речь, кажутся ребенку смешными, это происходит, во-первых, от обратной координации предметов, которая сама по себе порождает в большинстве случаев эффекты комические; во-вторых, оттого, что эти игры всегда и неизменно ощущаются ребенком как игры. Играя во всякую другую игру, ребенок предается добровольному самообману, и чем сильнее этот самообман, тем увлекательнее игра. Здесь же наоборот: игра осуществляется постольку, поскольку этот самообман осознан, обнажен и выдвинут на первое место.

Конечно, всякая иллюзия, необходимая для осуществления игры, ограничена.

Когда ребенок на взморье печет из песка пироги, он никогда не забывается настолько, чтобы проглотить свое печенье. Он всегда хозяин своих иллюзий и отлично знает те границы, в которых эти иллюзии необходимо держать. Он величайший реалист в своих фантазиях. Но ребенку, играющему в паровоз, игра доставляет тем большее удовольствие, чем больше он верит в созданную его воображением иллюзию. А ребенку, играющему в перевертыши, в «мир вверх ногами», игра доставляет удовольствие лишь в том случае, если он ни на минуту не забудет подлинного взаимоотношения вещей, полярно противоположного тому, которое он утверждает в игре, то есть чем меньше он верит в созданную его воображением иллюзию.

Когда ребенок, намеренно перетасовывая качества немых и слепых, заставляет немого кричать, а слепого подглядывать, эта игра только потому и является для него игрой, что он доподлинно знает и помнит истинные качества не-

мых и слепых. Здесь он не столько предается иллюзии, сколько разоблачает ее и таким образом служит торжеству реализма.

Осознание игры как игры, конечно, еще более способствует комическому действию, производимому ею, но, повторяю, не о комизме хлопочет ребенок, когда занимается этой игрой: главная его цель, как и во всякой игре, — упражнение новоприобретенных сил, своеобразная проверка новых знаний.

Ведь ребенок — и в этом вся суть — забавляется обратной координацией вещей лишь тогда, когда правильная координация стала для него вполне очевидной.

Когда представление о льде нерасторжимо связалось у ребенка с представлением о холоде, когда представление о землянике столь же прочно соединилось с представлением о лесе, когда понятие «рыба» навсегда прикрепилось к понятию «вода» — только тогда, но не раньше, ребенок начинает играть этими координатами понятий.

Чуть, например, он усвоил себе полезнейшую, нужнейшую истину, что горячее жжется, он с величайшим удовольствием воспринял шутливую народную английскую песню о том, как некий смешной человек обжегся холодной похлебкой.

Таким образом, эта смысловая игра всякий раз знаменует собой благополучное завершение какого-нибудь ряда усилий, производимых ребенком для координации своих представлений. Это, так сказать, последняя веха на долгой и трудной дороге.

Предположим, что ребенок окончательно усвоил координацию крупного роста с силой и малого со слабостью, установил для себя навсегда, что животное чем больше, тем сильнее. Когда эта идея становится ясна окончательно, ребенок начинает ею играть. Игра заключается в том, что прямую зависимость он заменяет обратной. Большому приписываются качества малого, а малому — качества большого.

Эта игра выражается в бесчисленных детских стишках про самых ничтожных букашек, которые наделяются особенностями огромных зверей. Гибель маленькой мухи изображается в них как величайшая катастрофа вселенских размеров:

Всколебалося море,
Сыра земля застонала,
Стала муха тонути.

Столь же колоссальным изображается другое событие: падение комара с ветки дуба, причем для вящего оттенения игры каждое существительное наделено увеличительным суффиксом:

Полетел комарище в лесище,
Садился комар на дубище.
Дуб под ним зашатался,
Комар весьма испугался.
Стукнуло-грянуло в лесе —
Комар с дуба свалился;
Упал он на коренище,
Сбил он до костей плечище[1].

Это дурашливое наделение малого и легковесного качествами огромного и тяжелого есть один из самых распространенных видов перевертыша в детском фольклоре.

В английской народной детской песне простофиля Саймон сидит с удочкой над маленьким ведерком, мечтая выудить оттуда кита.

Саймон, Саймон, простота,
Ловит удочкой кита!

В другой песне из того же цикла отряд портных, в числе двадцати четырех человек, отправляется походом на улитку, но чуть улитка показала им рога, они кидаются от нее врассыпную. Вот эта песня в приблизительном моем переводе:

Наши-то портные
Храбрые какие:
«Не боимся мы зверей,
Ни волков, ни медведей».
А как вышли за калитку
Да увидели улитку,
Испугалися,
Разбежалися.
Вот они какие,
Храбрые портные!

---

[1] Едва ли эта песня народная: женские рифмы и вообще вся фактура стиха указывают на украино-польское, бурсацкое ее происхождение. Но она издавна просочилась в русский фольклор и живет в детском обиходе наравне с исконно русскими песнями. Ср. Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским, т. VII, СПб., 1902, с. 386.

В данном случае мотивировкой этой обратной координации вещей служит забавная трусость портных. Но мотивировка может быть та или иная, лишь бы осуществлялась игра в обратную координацию вещей.

Чаще всего эта обратная координация мотивируется в детских стихотворениях глупостью: Саймон, ловящий маленькой удочкой большого кита, откровенно назван в этих стихах простофилей. Не умнее британского Саймона и наш русский Моторный, который пил-ел лапти, глотал башмаки. В Англии фигурируют в песнях и сказках знаменитые Готемские умники, несомненные родственники наших пошехонцев, которые на каждом шагу вместо логически необходимого действия совершают прямо противоположное. Эта мотивировка перевертышей глупостью вполне удовлетворяет ребенка: он чувствует свое умственное превосходство над теми, кто обнаруживает такое глубокое незнание окружающего мира. «Сам-то я не такой!» — этому умственному самоудовлетворению ребенка и служат всевозможные детские песни и сказки о дураках, поступающих вопреки установленному порядку вещей:

Что ни делает дурак,
Все он делает не так!

Польза подобных стихов и сказок очевидна: за каждым «не так» ребенок живо ощущает «так», всякое отступление от нормы сильнее укрепляет ребенка в норме, и он еще выше оценивает свою твердую ориентацию в мире. Он делает как бы экзамен своим умственным силам и неизменно этот экзамен выдерживает, что значительно поднимает в нем уважение к себе, уверенность в своем интеллекте, столь необходимую ему, чтобы не растеряться в этом хаотическом мире: «Я-то не обожгусь холодной кашей»; «я-то не испугаюсь улитки»; «на дне моря я не стану искать землянику».

В этом проверочном испытании, в этом самоэкзамене — главное значение детской игры в перевертыши.

Для такого же «проверочного испытания» утвердился в детском фольклоре один из самых популярных перевертышей, начало которого я уже приводил на предыдущих страницах:

Ехала деревня
Мимо мужика.
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.
Я схватил дубинку,
Разрубил топор,
И по нашей кошке
Пробежал забор.
Лошадь ела кашу,
А мужик овес.
Лошадь села в сани,
А мужик повез.

Этой же цели служит и другой перевертыш, который мне сообщили недавно:

Бочка сена,
Охапка воды,
Окорок капусты,
Кочан ветчины.

Здесь третья причина веселости, которую эти стихи-перевертыши неизменно вызывают в ребенке: они повышают его самооценку.

И эта причина — немалая, ибо ребенку важнее всего быть о себе высокого мнения. Недаром он с утра до вечера жажде т похвал, одобрений и так любит тщеславиться своими превосходными качествами.

Для него невыносимо сознание, что он не способен к тем действиям, которые у него на глазах совершают другие. Что бы кто ни делал на глазах у двухлетнего мальчика, он в каждом видит соперника, которого ему надлежит превзойти. Он не может допустить и мысли, что кто-нибудь другой, а не он будет действующим, а стало быть, и познающим лицом в этом мире.

Дети только потому не пугаются собственной своей неумелости, что не подозревают об истинных размерах ее. Но всякий раз, как по какому-нибудь случайному поводу они почувствуют, до чего они слабы, это огорчает их до слез.

Ребенок хочет быть Колумбом всех Америк и каждую заново открыть для себя. Все руками, все в рот, — поскорее бы познакомиться с этим неведомым миром, научиться его делам и обычаям, ибо всякое непонимание, неумение, незнание мучает ребенка, как боль.

Мы все к двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками, ботаниками, зоологами, если бы это жгучее любопытство ко всему окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования знаний.

К счастью, ребенок не представляет себе всех колоссальных размеров того непонятного, которое окружает его: он вечно во власти сладчайших иллюзий, и кто из нас не видел детей, которые простодушно уверены, что они отлично умеют охотиться за львами, управлять оркестром, переплывать океаны и т. д.

Великую радость должен почувствовать этот пытливый и честолюбивый исследователь мира сего, когда ему становится ясно, что обширные области знания уже прочно завоеваны им, что ошибаются другие, а не он.

Другие не знают, что лед бывает только зимой, что холодной кашей невозможно обжечься, что кошка не боится мышей, что немые не способны кричать «караул» и т. д. А он настолько утвердился в этих истинах, что вот — может даже играть ими.

Когда мы замечаем, что ребенок начал играть каким-нибудь новым комплексом понятий, мы можем наверняка заключить, что он стал полным хозяином этих понятий; игрушками становятся для него только те идеи, которые уже крепко скоординированы между собой.

Не нужно забывать, что именно координация, систематизация знаний является важнейшей, хотя и неосознанной заботой ребенка.

Умственная анархия невыносима для детского разума. Ребенок верит, что всюду должны быть законы и правила, страстно жаждет усваивать их и огорчается, если заметит в усвоенном какой-нибудь нечаянный изъян.

Помню, как опечалилась моя трехлетняя дочь, когда услыхала от взрослых, что по небу идет большая туча.

— Как же туча может идти, если у тучи нет ног? — спрашивала она со слезами.

Эти слезы объяснили мне многое. Ребенок только что усвоил с большим напряжением умственных сил, что обладание ногами есть единственное условие ходьбы, и вот взрослые (то есть непогрешимые) люди разрушают это обобщение явно противоречащим фактом, снова внося бес-

порядок в ту область его знаний о мире, которую он считал забронированной от всякого хаоса.

На ребенка ежедневно обрушивается такое количество путаных, отрывочных знаний, что, не будь у него этой благодатной тяги к преодолению хаоса, он еще до пятилетнего возраста непременно сошел бы с ума.

Поневоле ему приходится производить неустанную систематизацию всех явлений своего духовного мира, и нельзя не поражаться тем необычайным искусством, с которым совершается им эта труднейшая работа, а также той радости, с которой связана каждая его победа над хаосом.

До какой виртуозности доходит искусство ребенка систематизировать беспорядочно приобретенные клочки и обломки знаний, показывает хотя бы то обстоятельство, что он еще до пятилетнего возраста усваивает все самые прихотливые правила грамматики родного языка и научается мастерски распоряжаться его приставками, суффиксами, корнями и флексиями.

Являясь таким непризнанным гением систематизации, классификации и координации вещей, ребенок, естественно, проявляет повышенный интерес к тем умственным играм и опытам, где эти процессы выдвинуты на первое место.

Отсюда та популярность, которой в течение многих столетий пользовались в детской среде всевозможные стихи-перевертыши. Если бы нашелся ученый, который захотел бы систематизировать все стихотворения этого рода, живущие во всемирном фольклоре, обнаружилось бы, что нет ни одной области в умственном обиходе ребенка (от двухлетнего до пятилетнего возраста), которой не соответствовал бы какой-нибудь особый, как бы специально для него предназначенный стишок-перевертыш.

Даже те немногие русские и английские народные песенки, которые цитируются в этой главе, могут быть разбиты на группы, соответствующие отдельным этапам умственного развития детей. В самом деле, приводимые выше стишки легко распадаются на такие отделы:

I. Перевертыши большого и малого

Малому приписываются качества большого:

1. Комарище, упавший с дубища.

2. Муха, утопление которой описано как мировая катастрофа.

II. Перевертыши холодного и горячего

1. Холодному приписываются качества горячего: человек обжегся холодной похлебкой.

2. Горячему приписываются качества холодного: знойным летом дети скользят на коньках по льду.

III. Перевертыши еды

Съедобность несъедобных вещей: пил-ел лапти, глотал башмаки.

IV. Перевертыши одежды

1. Лыко мужиком подпоясано.
2. Мужик подпоясан топорищем.

V. Перевертыши явлений природы

1. Море горит.
2. В поле бежит корабль.
3. В лесу растет рыба.
4. В море растет земляника.

VI. Перевертыши ездока и коня

1. Конь скачет верхом на ездоке.
2. Ездок скачет не на коне, а на баране, корове, быке, козе, теленке, собаке, курице, кошке и т. д.

VII. Перевертыши телесных недостатков

1. Слепые видят.
2. Немые кричат.
3. Безрукие воруют.
4. Безногие бегают.
5. Глухие подслушивают.

VIII. Перевертыши действующих лиц

1. Ворота лают из-под собаки.
2. Мужик собакой бьет палку.
3. Деревня едет мимо мужика.

Таким образом, мы видим, что во всех этих путаницах соблюдается, в сущности, идеальный порядок. У этого «безумия» есть система.

Вовлекая ребенка в «перевернутый мир», мы не только не наносим ущерба его интеллектуальной работе, но, напротив, способствуем ей, ибо у ребенка у самого есть стремление создать себе такой «перевернутый мир», чтобы тем вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным.

И если вообще полезны для ребенка его детские игры, помогающие ему ориентироваться в окружающем мире, тем более полезны ему эти умственные игры в обратную координацию вещей, — а я настаиваю, что это именно игры, почти ничем не отличающиеся от всяких других.

Вообще у нас далеко не всеми усвоено, какая близкая связь существует между детскими стихами и детскими играми.

Оценивая, например, книгу для малолетних детей, критики нередко забывают применить к этой книге критерий игры, а между тем большинство сохранившихся в народе детских песен не только возникли из игр, но и сами по себе суть игры: игры словами, игры ритмами, звуками.

Перевертыши есть такое же порождение игр. Существенное достоинство этих игр заключается в том, что они по самой своей природе комические: никакие другие не подводят ребенка так близко к первоосновам юмора. А это задача немалая: воспитать в ребенке юмор — драгоценное качество, которое, когда ребенок подрастет, увеличит его сопротивление всякой неблагоприятной среде и поставит его высоко над мелочами и дрязгами.

У ребенка вообще есть великая потребность смеяться. Дать ему добротный материал для удовлетворения этой потребности — одна из непоследних задач воспитания.

Я потому и счел необходимым посвятить особую главу изучению явных и нарочитых бессмыслиц, дабы обнаружить, что даже такие бессмыслицы, которые, казалось бы, не смеют притязать на какой бы то ни было педагогический смысл, — даже они в высшей степени ценны, закономерны, полезны.

Эти стишки привлекли меня именно тем, что они презираемы с давних времен как вздорные и притом заведомо вредные; что нет такого доморощенного Фребеля, который

не считал бы своим долгом охранять от них малых детей. Исследуя эти стишки в русском и отчасти зарубежном фольклоре, наблюдая из года в год, как реагирует на них малый ребенок, я в конце концов не мог не прийти к убеждению, что они опорочены зря, так как отвечают насущным потребностям детского разума и служат немаловажным подспорьем в его познавательной деятельности.

Реабилитируя оклеветанные произведения народной поэзии, я тем самым пытаюсь установить непригодность наивно-утилитарных критериев, с которыми еще недавно подходили у нас ко всяким стихам для детей, да и сейчас еще подходят во многих статьях и рецензиях.

Здесь, на этом малом примере, мы в тысячный раз убеждаемся, что обывательский «здравый смысл» — ненадежная опора для всякого, кто ищет научно обоснованной истины. Здесь наглядная иллюстрация к тому положению, которое высказано в «Анти-Дюринге» Энгельсом: «Здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования»[1].

Только выйдя на этот простор, мы могли обнаружить путем тщательного сопоставления и анализа фактов, что та категория явлений, которая обывательскому «здравому смыслу» представляется бессмысленной и вредной, на самом-то деле должна расцениваться как полезная, жизненно важная.

Я отнюдь не хочу сказать, что детей следует воспитывать только такими «бессмыслицами», но я думаю, что детская литература, из которой эти «бессмыслицы» выброшены, не отвечает многим плодотворным потребностям трехлетнего-четырехлетнего разума и лишает его полезнейшей умственной пищи.

Мне кажется, что неоспоримо право этого рода стихов занимать свое — может быть, и скромное — место в устной и письменной детской словесности и что те, кто изгоняет их из обихода детей, руководствуются отнюдь не какими-нибудь научными принципами, а так называемой логикой «здравого смысла», которая не всегда бывает верна. Неда-

---

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Сочинения. 1961, т. 20, с. 21.

ром К. Д. Ушинский, типичный представитель шестидесятых годов, ввел «Небывальщины» в свое «Родное слово»[1].

И я дерзаю надеяться, что тот сердитый читатель, который потребовал от меня в грозном письме, чтобы я «не забивал головы наших ребят всякими путаницами», откажется от своих заблуждений и в конце концов разрешит мне и впредь сочинять вот такие стихи для детей:

Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите.
Помогите, помогите!»
И т. д.

Ибо после всего вышесказанного даже самый несмышленый догадается, что в подобных стихах неправильная координация вещей только способствует утверждению правильной и что путем такой фантастики мы утверждаем детей в их реалистическом представлении о мире.

Я, по крайней мере, не знаю ни одного ребенка, который хоть на минуту был бы введен в заблуждение небылицами подобных стихов.

Напротив, любимая интеллектуальная работа трехлетних и четырехлетних детей — изобличать небылицы, делать им очную ставку с реальными фактами. Словно для того и созданы эти стихи, чтобы стимулировать умственные силы ребенка для борьбы с извращением истины.

Когда я начинаю читать малышам про чудо-дерево, на котором растут башмаки, я знаю заранее, что они непременно заявят мне с величайшей горячностью, что таких деревьев не бывает на свете, что башмаки делаются так-то и так-то и покупаются там-то и там-то. Эта небылица тем и забавна для них, что ее легко опровергнуть и полемика против нее становится как бы игрой, при помощи которой малыши, так сказать, экзаменуют себя.

---

[1] *К. Д. Ушинский.* Собр. соч., т. VI, М.–Л., 1949, с. 97.

Для этой-то чрезвычайно полезной игры в фольклоре детей всего мира существует множество стихов-перевертышей, где порою каждая строка есть новое нарушение подлинной координации предметов.

Имеем ли мы право изгонять из обихода детей столь благотворную гимнастику мыслей?

*

Статья «Лепые нелепицы» была опубликована в 1924 году, и вскоре я с большим удовлетворением увидел, что предложенный мною термин «стихи-перевертыши» вошел в научную литературу о детях[1].

Идея о педагогической ценности таких небывальщин, предлагаемых средним и старшим дошкольникам, вскрывает полную негодность тех наивно-утилитарных критериев, с которыми еще недавно подходили у нас к «большой литературе для маленьких».

С тех пор как я выдвинул и обосновал теорию о педагогической ценности «лепых нелепиц», прошло больше сорока лет, и я рад, что дожил до полного торжества этой теории: недавно в издательстве «Просвещение» вышла отличная книга, вся окрыленная ею, — «Хрестоматия по английской и американской литературе», умело и дельно составленная Н. М. Демуровой и Т. М. Ивановой, где собраны воедино многие из тех шедевров британской поэзии, которые мне приходилось открывать для себя и читателя в 1924 году[2].

В советской литературе есть одно прекрасное произведение поэзии, основанное на игре в перевертыши: «Вот какой рассеянный» С. Маршака.

В нем высмеиваются несуразные поступки гражданина, надевавшего вместо рубашки штаны, вместо валенок — перчатки, вместо шапки — сковороду и т. д. Каждый подобный поступок героя мотивируется его феноменальной рассеянностью. Автор не раз приговаривает:

---

[1] *Георгий Виноградов.* Детский фольклор и быт. Иркутск, 1925; *О. Капица.* Детский фольклор. Л., 1928; *В. П. Аникин.* «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор». М., 1957. Здесь перевертышам отведено почетное место.

[2] An Anthology of Children's Literature. М.—Л., 1965.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Популярность этого стихотворения огромна. Написанное еще в двадцатых годах, оно выдержало десятки изданий и переведено чуть ли не на все языки. Выражение «рассеянный с Бассейной» сразу стало народной поговоркой, его слышишь и в кино, и в трамвае, и в клубе:

— Эх ты, рассеянный с Бассейной!

Лаконичные, веселые, звонкие строки «Рассеянного» полны перевертышей — не потому ли они с давнего времени так привлекают к себе миллионы ребячьих сердец?

В том смехе, которым дети встречают каждый поступок героя, чувствуется самоудовлетворение, не лишенное гордости: «Мы-то знаем, что сковорода — не одежда и что на ноги не надевают перчаток!»

Лестное для них сознание своего умственного превосходства над незадачливым героем поэмы возвышает их в собственном мнении.

Все это непосредственно связано с познанием реальной жизни: ведь этим путем малыши закрепляют завоевания своего житейского опыта.

Поэтому я был так удивлен, когда обнаружил, что воспитатели детских садов в подавляющем большинстве причисляют это стихотворение к категории юмористических, шуточных и не замечают той роли, которую играет оно в умственной жизни ребенка. Между тем это стихотворение давно уже должно быть поставлено рядом с такими стихами того же автора, как «Вчера и сегодня», «Посадка леса», «Война с Днепром», «Что такое год?», познавательное значение которых бесспорно.

V. ПРЕДКИ ИХ ВРАГОВ И ГОНИТЕЛЕЙ

Если же применять те грубо утилитарные критерии, которые рапповцы всех мастей и оттенков еще недавно применяли к литературе для маленьких, придется совсем уничтожить не только перевертыши, но вообще все лучшие произведения народной поэзии, наиболее любимые детьми. Так и поступали горе-педагоги всех стран в течение многих веков: они ревностно искореняли из обихода детей эти

«сумбуры и вздоры». Но дети оказались сильнее: они отстояли неприкосновенность своей умственной жизни от многовекового натиска высокомудрых учителей и родителей, которые считали своим нравственным долгом ограждать их от подобных «нелепиц».

Многим учителям и родителям не терпелось приобщить ребенка к тем сведениям, которые у них, у взрослых, почитались в данную эпоху нужнейшими.

В Англии в XVI веке нашелся такой Вильям Коплэнд (William Copland), который изготовил для трехлетних детей в высшей степени полезную книгу «Тайна тайн Аристотеля» и рекомендовал ее в качестве «очень хорошей»[1].

Можно представить себе, с каким презрением взглянул бы этот Коплэнд на того чудака, который осмелился бы заикнуться, что для ребенка нелепейший стишок о морской землянике полезнее всех Аристотелей.

Другой детский писатель XVI века — Уинкин де Уэрд (Wynkyn de Worde) — так и назвал свою книгу: «Трехлетний мудрец» («Wise Child of Three Year Old»), где он, между прочим, обращался к трехлетнему младенцу с вопросом:

«Мудрое чадо, как сотворены небеса?» (То есть каким образом их создал Господь?)[2]

Тогдашние детские авторы ненавидели в ребенке — ребенка. Детство казалось им какой-то непристойной болезнью, от которой ребенка необходимо лечить. Они старались возможно скорее овзрослить и осерьезить ребенка. Оттого-то в мировой литературе до сравнительно недавнего времени не было ни одной веселой детской книги. По-детски смеяться с ребенком — до этого не унижались писатели. Сам Чосер, гениальный рассказчик, когда сделался детским писателем, сочинил для маленького сына «Трактат об астролябии», в высшей степени канительный и нудный.

Это похоже на то, как если бы грудного ребенка вместо молока его матери насильно кормили бифштексами. Такое стремление взрослых навязать ребенку свое, взрослое, было особенно заметно в те эпохи, когда взрослым казалось, что они обладают некоторой единоспасительной истиной,

---

[1] A Century of Children's Books, by Florence V. Barry. N. Y., G. H. Doran Co., 1923, p. 4.

[2] Там же.

что бифштексы, которыми они в данный момент утоляют свой голод, – единственная полезная пища.

Так, в пору диктатуры пуритан каждый детский писатель старался сделать ребенка святошей, миниатюрой благочестивого Вильяма Пенна. Единственные книги, которые считались в ту пору пригодными для трехлетних малюток, были кладбищенские размышления о смерти!

Типичной детской книгой того времени было «Знамение для детей» Джемса Дженвея – «о безболезненной и пресветлой кончине многих богоугодных младенцев»! В ту пору считались, например, чрезвычайно полезными, ценными такие стихи, как «Предостережение для хорошенькой девочки», которое я привожу здесь, в своем переводе с английского:

Я знаю, глядя в зеркала,
Что я пригожа и мила,
Что обольстительную плоть
Мне милосердный дал Господь.
Но горько думать, что она
В аду гореть обречена.

И вот стихотворение Джона Баниана, знаменитого автора «Пути пилигрима», который известен советским читателям главным образом по фрагменту, переведенному Пушкиным. (У Пушкина фрагмент озаглавлен «Странник».) Баниан сочинил для ребят очень назидательную книгу под названием «Священные Эмблемы, или Тленность Вещей». Из этой книги я для образца перевел следующие стихи о лягушке:

Холодная и мокрая лягуха,
Широкий рот, прожорливое брюхо.
Она сидит, постыдно некрасива,
И квакает, надутая спесиво.

Вы, лицемеры, ей во всем подобны:
Вы так же холодны, заносчивы и злобны,
И рот у вас, как у нее, широк –
Хулит добро и славит он порок...
И т. д.

«Идейность» подобных стихов не подлежала сомнению, и тогдашние ханжи горячо рекомендовали их детям.

Единственное чувство, которое пытались вызвать в ребенке тогдашние книги, был ужас. Вот какие диалоги печа-

тались в изданной американскими пуританами «Первой книге для чтения»:

«— Хорошо ли тебе будет в аду?

— Меня будут ужасно мучить.

— А с кем тебе придется там жить?

— С легионами дьяволов и мириадами грешников.

— Доставят ли они тебе утеху?

— Нет, но весьма вероятно, что они умножат мои адские муки.

— Если ты угодишь в ад, долго ли ты будешь мучиться там?

— Вечно»[1].

Если бы в то ханжеское время вышла книга о какой-нибудь тетушке Габбард, у которой собака скачет верхом на козле, эту книгу сожгли бы рукой палача: лишь унылые кладбищенские книги были одобряемы в ту пору властями.

Подлинная детская книга должна была проникать в детскую среду контрабандой.

По большим дорогам слонялись коробейники, веселые, вороватые, пьяные люди, которые в числе прочих товаров торговали и дешевыми книжками — сказками, балладами, песнями. Каждый коробейник был сказителем, музыкантом, певцом. Коробейники пели о Робине Гуде, о Фортунатусе, о Гекторе, о докторе Фаусте, о том, что корова прыгнула выше луны, а котята нашли на дороге перчатки, а лягушонок женился на мыши, — и все эти песни почитались в ту пору зловредными, и всякого коробейника, уличенного в их распространении, благочестивые пуритане забивали в колодки и били кнутами нещадно.

Идеолог той эпохи Джордж Фокс в своем «Увещевательном слове к учителям» осуждает, в числе прочих детских грехов и пороков, «пристрастие к сказкам, забавным историям, басням, стишкам, прибауткам».

Томас Уайт, протестантский священник, в «Маленькой книжке для маленьких» (1702) советует английским детям: «Читайте не Баллады, не дурацкие вымыслы, но Библию, а также очень легкую божественную книжку «Что должен делать каждый простой человек, чтобы попасть в Рай». Прочтите также «Жития мучеников», которые умирали во имя

[1] *B. E. Weekes.* Literature and the Child. N. Y., «Silver», 1935, p. 78.

Христа. Читайте почаще Беседы о Смерти, о Страшном суде и о Крестных страданиях Иисуса Христа»[1].

Дальше он рассказывает душераздирающие истории о мучениках: тому отрубили голову, того сварили в кипящем котле, тому отрезали язык, того бросили на съедение тиграм. Обо всех этих членовредительствах и пытках Уайт повествует с таким свирепым удовольствием, что в нем можно заподозрить садиста.

*

Но и потом, когда кончилось пуританское иго, «забавные истории, стишки, прибаутки» по-прежнему продолжали считаться зловредными, хотя и на других основаниях.

Взрослые в то время стали увлекаться науками, и, конечно, им захотелось немедленно сделать каждого малолетнего ребенка ученым.

Надвигалась эпоха буржуазной индустрии, и гениальный предтеча мещанского утилитаризма Джон Локк стал исподволь приспособлять к этой эпохе детей. Лозунгом педагогики стало: обогатить детей возможно скорее наиполезнейшими научными сведениями — по географии, истории, математике: долой все детское, присущее ребенку, всякие игры, стишки и забавы! — нужно только взрослое, ученое, общеполезное. По системе Локка удавалось так чудовищно обрабатывать бедных младенцев, что они к пятилетнему возрасту могли показывать на глобусе любую страну.

Жаль только, что к десяти годам эти миниатюрные Локки становились поголовно идиотами. Легко ли не стать идиотом тому, у кого насильственно отнято детство!

Локком любуешься. Не любоваться нельзя: прекрасен свободный ум, бунтующий против мертвой догматики. Многие его мысли — на тысячу лет. Но и Локк не поднялся над эпохой, и для него детский возраст — ошибка природы, мировой беспорядок, оплошность Творца. Нужно эту ошибку исправить — и чем скорее, тем лучше! Если уж невозможно, чтобы дети сразу рождались многоучеными Локками, сделаем их Локками в самый короткий срок — к пятому, к шестому году их жизни! Естественно, что при таком высокомерном отношении к подлинным потребностям и вкусам детей

---

[1] The Cambridge History of English Literature, vol. XI. Cambridge. 1914, pp. 369–371.

Локк забраковал без милосердия все тогдашние детские книги, баллады, стихи, небылицы, сказки, поговорки и песни, которые в его глазах нехороши уже тем, что они не география и не алгебра. Всю детскую литературу, необходимую ребенку как воздух, Локк, не обинуясь, назвал дребеденью, «никому не нужной дрянью» (trumpery) и рекомендовал для детского чтения одну-единственную книгу — басни Эзопа[1].

Нужны были сотни лет, чтобы взрослые признали право детей быть детьми. Медленно завоевывал ребенок уважение к себе, к своим играм, интересам и вкусам. В конце концов поняли, что если трехлетний ребенок, получив географический глобус, не хочет и слышать о материках и морях, а хочет катать этот глобус, вертеть этот глобус, ловить этот глобус, — значит, ему нужен не глобус, а мяч. Даже для умственного (а не только физического) развития трехлетних детей мяч полезнее всякого глобуса.

Но когда дело доходило до детской книги, до детских стихов, тогдашние педагоги упрямо выбрасывали оттуда все подлинно детское — такое, что их взрослым умам казалось ненужным и бессмысленным.

Характерно, что и в настоящее время в Англии все еще находятся люди, которые стыдятся могучих и дерзких стихотворных причуд, доставшихся в наследство от предков. Перепечатывая, например, «Старуху гусыню», фольклорную книгу, где собраны народные потешки, загадки, считалки и другие стихи для детей, они пытаются приспособить ее к своему тривиальному здравому смыслу. На днях мне попалось одно издание этой классической книги, где самые озорные стихи так благообразно приглажены, что смахивают на воскресные гимны. Знаменитое «Гей диддл, диддл» — о корове, которая перепрыгнула через луну, и о собаке, которая засмеялась человеческим смехом, — переделано каким-то благонамеренным квакером так: собака не смеется, а лает, корова же прыгает не над луною, а под луною, внизу, на поляне[2].

Изменено всего только несколько слов, и получилась вполне благоразумная книга, которая имеет лишь тот недостаток, что никакими розгами нельзя заставить ребенка по-

---

[1] The Works of John Locke in nine volumes, vol. VIII, London, 1824, p. 147.

[2] Mother Goose's Nursery Rhymes. Tales and Jingles. London and New York (Frederic Warne and Co.).

любить и запеть ее текст. А та, бессмысленная, беззаконная, гонимая, живет уже четыреста лет и проживет еще тысячу, потому что она вполне соответствует своеобразнейшим методам, которыми ребенок утверждает себя в познании подлинного, реального взаимоотношения предметов.

Борьбу с фантастикой этих гениальных стихов английское мещанство с таким же успехом проводит при помощи целой системы рисунков, иллюстрирующих эти стихи. Например, к той песне-загадке, которая переведена Маршаком:

Шалтай-Болтай сидел на стене, —

дана картина, где вместо Шалтая-Болтая (то есть яйца) сидит на заборе обыкновенный мальчишка и держит в руках гнездо!

К тому перевертышу, где сказано, что в жаркий *июльский* день детвора каталась на коньках, приложен рисунок, изображающий *зиму*: дети в шубках катаются по льду в зимний морозный день.

К титанической песне о том, что случилось бы, если бы все моря слились в одно море, а все топоры стали бы одним топором, в той же книге дан мармеладный рисунок, где две кудрявые девочки плещутся в приторно сладком море[1].

Нынешнему английскому обывателю совестно, что он получил от отцов такие чудесные песни: он принимает все меры, чтобы испакостить их. И это ему удается.

Наши обыватели ведут в настоящее время такую же постыдную борьбу с высочайшими образцами детской народной словесности. Но это им — я знаю — не удастся.

Здесь большая победа передовой педагогической мысли над леваками-педологами, которые с тупым усердием изгоняли наш мудрый и поэтичный фольклор из системы воспитания советских детей.

Победа большая — но, к сожалению, не полная. Словно победители еще не окончательно верят, что они победители. Они явно робеют в завоеванной области, действуют с оглядкой, с опаской. Похоже, что они и сами боятся, как бы волшебные сказки или стихи-перевертыши не нанесли ущерба тому материалистическому воззрению на мир, к ко-

---

[1] Mother Goose's Nursery Rhymes. London and New York (Ernest Lister, E. P. Dutton and Co.).

торому в конечном итоге должна привести подрастающих граждан вся система воспитания в нашей стране. Они как будто еще не вполне убедились, что именно при помощи фантастических сказок, при помощи небывальщин и перевертышей всякого рода и утверждаются дети в реалистическом отношении к действительности.

Умственная робость этих людей проявляется в том, например, что они всю массу фольклорных (и не фольклорных) стихов-небывальщин, стихов-перевертышей зачислили в разряд развлекательных.

Так и пишут: веселые, смешные стишки.

И говорят снисходительно: «Ну что ж, детям не грешно и посмеяться, почитаем им, так и быть, ради смеха, какую-нибудь из этих забавных нелепиц».

Между тем давно уже пора перенести эти «нелепицы» в разряд педагогически ценных познавательных произведений поэзии, способствующих закреплению в детских умах правильного понимания действительности.

Скажут, что это парадокс, противоречащий здравому смыслу. Но можно ли какие бы то ни было научные истины отождествлять с теми иллюзорными видимостями, которые подсказаны нам так называемым жизненным опытом.

«Это кажется парадоксальным, — пишет Маркс по поводу одного из открытых им законов экономической жизни, — и противоречащим повседневному опыту. Но парадоксально и то, что земля движется вокруг солнца и что вода состоит из двух легко воспламеняющихся газов. Научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей»[1].

Таким же парадоксом, несомненно, покажется так называемому здравому смыслу моя старинная догадка о том, что бесчисленные произведения фольклорной и книжной поэзии, в которых нарочито по определенной системе искажаются факты реальной действительности, служат великим задачам реалистического воспитания детей.

Конечно, чтение детям перевертышей, небывальщин и сказок является лишь одним из путей к достижению этих задач; его нельзя изолировать от многих других, но пользоваться им нужно уверенно, энергично и смело, помня, что

---

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 16, с. 131.

здесь для детей не забава, или, вернее, не только забава, но и полезнейший умственный труд.

Я затронул малый уголок этого большого вопроса: каковы должны быть книги для детей — и мы увидели, что обывательские мнения, высказываемые по этому поводу, не только ошибочны, но и чрезвычайно опасны. А между тем у нас все еще нет научно обоснованной критики детских книг. Кто в наших газетах, журналах и даже в специальных диссертациях чаще всего пишет, например, о стихах для детей?

— либо те, кто не понимают стихов,

— либо те, кто не понимают детей,

— либо те, кто не понимают ни стихов, ни детей.

*

Нужно ли говорить, что едва я написал эту главу, я с особым интересом стал искать в зарубежной печати какие-нибудь статьи или книги, где была бы хоть отчасти затронута любопытная тема, которая трактуется здесь.

Лучшее из всего, что было найдено мною, — новая книга двух английских ученых, Айон и Питера Опи (Opie), вышедшая в Оксфорде в 1959 (и снова в 1960) году. Книга называется «Фольклор и язык школьников» — монументальная книга, целая энциклопедия детских считалок, загадок, дразнилок, потешек, примет, бытующих среди нынешних английских детей. Стихи-перевертыши занимают в этой книге видное место.

Читая их, невольно удивляешься: до чего они похожи на наши русские стихи-перевертыши!

В них фигурируют те же слепцы, которые как ни в чем не бывало пришли поглядеть на какое-то зрелище; те же немые, кричащие кому-то «ура». Есть и глубокий п о д в а л, куда необходимо спуститься, чтобы выглянуть в окно ч е р д а к а. Есть и мешок, доверху н а п о л н е н н ы й сырами и все же п у с т о й. Есть и полевые цветы, которые поют и чирикают. Есть и полночь среди ясного дня.

Иные из этих «нелепиц» существуют, по крайней мере, полтысячи лет, другие возникли недавно: в них идет речь об автомобилях, автобусах, телефонах, кино, но принцип их построения всегда одинаков, и все они принадлежат к тому же типу, что и любой из наших русских перевертышей:

Глядь — из-под собаки
Лают ворота.

И, конечно, когда я читал эту книгу, мне страстно хотелось узнать, чем же объясняют почтенные авторы многовековую тягу английских, русских, чешских, сербских, французских, немецких детей к этой словесной игре в перевертыши. К сожалению, их высказывания имеют очень отдаленное отношение к науке. Здесь, в перевертышах, ими почему-то усмотрено природное английское остроумие («a native English wit»), ибо, как утверждают они, «вполне естественно, что в стране, которая взлелеяла Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла и которая видит в них национальных героев, каждый ребенок не может не хранить в своей памяти некоторого запаса стихотворных нелепиц»[1].

Никто не спорит: Льюис Кэрролл и Эдвард Лир — истинные гении британского юмора, но силлогизм оксфордских ученых был бы правилен только тогда, если бы в обиходе детворы других стран не существовало таких же стихов-перевертышей. Даже из настоящей главы моей книги читателям нетрудно убедиться, что русский народ, обладающий своим собственным юмором, нисколько не похожим на английский, создал для своей детворы точно такие же стихи-перевертыши, как и те, что создал британский народ. Так что и Кэрролл и Лир здесь совсем ни при чем. И никакого касательства к этому жанру стихов не имеет общепризнанный юмор британцев.

Оксфордским ученым лишь потому было легко утвердиться в своем заблуждении, что, исследуя английский фольклор, они в данном случае предпочли игнорировать всякие другие фольклоры.

*

Нет, тем-то и замечательны стихи-перевертыши, что, независимо от каких бы то ни было качеств того или иного народа, дети всех стран на известном этапе своего духовного роста одинаково услаждаются ими, — причем не только заимствуют их из книжных и фольклорных источников, но и сами сочиняют их в несметном количестве, подобно Же-

---

[1] «The Lore and Language of Schoolchildren», by Iona and Peter Opie. Oxford at the Clarendon Press, 1960, p. 22, 24.

не Гвоздеву, Коле Шилову, Муре Чуковской, Сереже Фисулати и другим советским гражданам «от двух до пяти», которых я цитирую в настоящей главе.

В этом всемирном тяготении детей определенного возраста к «лепым нелепицам» — один из наиболее ярких примеров той автопедагогики, автодидактики, при помощи которой малолетние дети сами — независимо от своей принадлежности к тому или иному народу — формируют свое реалистическое постижение внешнего мира.

Оксфордские ученые легко убедятся в этом, если параллельно с английским фольклором подвергнут исследованию перевертыши, считалки, потешки других — в том числе и русских — детей.

Надеюсь, что это случится, ибо в других своих трудах, особенно в «Оксфордском словаре детских народных стишков», они обнаружили большие познания в области славянского устного творчества[1].

---

[1] The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, edited by Iona and Peter Opie. Oxford at the Clarendon Press, 1958, pp. 227, 263.

Глава пятая

КАК ДЕТИ СЛАГАЮТ СТИХИ

I. ВЛЕЧЕНИЕ К РИФМЕ

Среди многочисленных методов, при помощи которых ребенком усваивается общенародная речь, смысловая систематизация слов занимает не последнее место.

По представлению ребенка, многие слова живут парами; у каждого из этих слов есть двойник, чаще всего являющийся его антитезой. Узнав одно какое-нибудь слово, дети уже на третьем году жизни начинают отыскивать то, которое связано с ним по контрасту. Или по аналогии. При этом, конечно, возможны такие ошибки:

– Вчера была сырая погода.

– А разве сегодня вареная?

Или:

– Эта вода стоячая.

– А где же лежачая?

Или:

– Это – подмышки, а где же п о д к о ш к и?

В подобных случаях дети хватаются не за ту антитезу, какая была им нужна, но сама по себе классификация слов по контрасту чрезвычайно плодотворна для более полного овладения речью.

Такие словесные пары, насколько я мог заметить, являются для ребенка не только двойниками по смыслу, но в большинстве случаев – по звуку.

Четырехлетняя дочь домработницы Паша, когда ей приходилось говорить про желток и белок, произносила либо желток и б е л т о к, либо белок и ж е л о к.

Сахар у нее был кусковой и п е с к о в о й.

И если я начинал рассказывать ей сказку с печальным концом, она предупреждала меня:

– Расскажи начало, а к о н ч а л а не надо.

Слово «конец» превратилось у нее в «кончало», чтобы

рифмовать со словом «начало». Очевидно, в ее представлении понятия, параллельные по смыслу, должны быть параллельны и по звуку.

Всякий раз, подавая мне письма, принесенные на кухню почтальоном, она говорила:

— Две открытки и одна *закрытка*.

— Три открытки, ни одной *закрытки*.

Во всех этих рифмах нет ничего преднамеренного. Просто они облегчают речь ребенка: «начало и *кончало*» ему легче сказать, чем «начало и конец»; «*ложики* и ножики» — гораздо легче, чем «ложки и ножики».

— Ты глухой, а я *слухой*.

— То тяжелее, а это *легчее*.

— Какая в небе *глубочина*, а у деревьев *высочина*.

— Вобла — это такая *рыбла*?

— Ты что мне принесла — игрушечное или *кушечное*? — спросила больная четырехлетняя девочка, когда мать явилась к ней в больницу с подарками.

— Ты будешь покупатель, а я *продаватель*.

— Не продаватель, а продавец.

— Ну хорошо: я буду продавец, а ты *покупец*.

Леночка Лозовская, играя с матерью в мяч, предложила:

— Ты бросай с высоты, а я с *низоты*.

Женщине, которая вымыла голову и уничтожила следы завивки, один киевский мальчик сказал:

— Вы вчера были курчавая, а сегодня *торчавая*.

*

Говорят четырехлетнему мальчику:

— Какой же ты лохматый и вихрастый.

Он сейчас же оснастил эту фразу двумя очень звонкими рифмами:

Я лохматый и *вихратый*,
Я вихрастый и *лохмастый*!

*

— Светик, нельзя кушать лежа.

— Хорошо, я буду кушать *сёжа*.

*

Едва научившись читать, моя пятилетняя Мура увидела заглавие книги И. Е. Репина «Далекое близкое» и прочла: «Далёкое близёкое».

«Далёкое близёкое» понравилось ей, и она была огорчена, когда взрослые указали, что она ошибается, и отняли у нее таким образом рифму.

*

— На фестиваль съедется молодёжь. Но я не поеду...

— Значит, ты — с т а р о д ё ж ь?

*

Эта особенность детской речи была в свое время подмечена Чеховым. В его повести «Три года» девочка, подчиняясь все той же своеобразной инерции, говорит про Авеля и Каина:

— Авель и Кавель[1].

*

Итак:
ножики — ложики,
желток — белток,
кусковой — песковой,
начало — кончало,
открытка — закрытка,
глухой — слухой,
далёкое — близёкое,
игрушечное — кушечное,
курчавая — торчавая,
молодежь — стародежь —
всюду сказывается стремление ребенка рифмовать слова, принадлежащие к одной категории понятий, и таким образом систематизировать их либо по контрасту, либо по сходству. Лидочка, четырех с половиною лет, сама себе рассказывает сказку:

— Няня его нянчила, мама его м а м ч и л а.

---

[1] *А. П. Чехов*. Полн. собр. соч., т. 8, М., 1947, с. 431.

И вот что сказала Ляля, когда какая-то девочка в купальне похитила мамины туфли:

— Она их примерякала и присебякала.

Иногда эти параллельные по смыслу слова сами собой образуют некоторое подобие стиха — особенно если их не два, а четыре. Именно такую параллель создала шестилетняя Варя Роговина, впервые установив для себя, каково коренное отличие одних представителей военного дела от других.

Генералы — сухопутные, адмиралы — мокропутные, — сказала она и, уловив в этой фразе нечаянный стих, стала повторять ее (с небольшим вариантом):

Генералы — сухопутные,
Адмиралы — водопутные.

Н. А. Менчинская рассказывает в дневнике о своем сыне, трех с половиною лет; воспроизводя по памяти двустишие:

У меня для Петеньки
Леденцы в пакетике, —

мальчик произнес:

У меня для Петеньки
Леденцы в пакетеньке.

То есть из приблизительного рифмоида сделал точную рифму[1].

Вася Катанян, пяти с половиною лет, произнося слово «столик», часто прибавлял молик-полик. Стульчик у него был стульчик-мульчик. Самого себя он называл Вася-Тарася, бабушку — бабушка-колабушка и проч.

Сын Гвоздева — правда, на седьмом году жизни — создал такое чудесное сочетание рифмованных слов: дятел-долбятел[2].

В какой-то мере это свойственно и взрослым, о чем свидетельствуют такие неразрывные сочетания слов, как чу-

---

[1] *Н. А. Менчинская.* Дневник о развитии ребенка. М.—Л., 1948, с. 123.

[2] *А. Н. Гвоздев.* Вопросы изучения детской речи. М., 1961, с. 327.

до-юдо, мальчик с пальчик, тары-бары, шуры-муры, фигли-мигли и проч.

Дети тяготеют к этим «двустворчатым» словам гораздо сильнее, чем взрослые. Игорь, трех лет семи месяцев:

— Папа, а будут сегодня передавать по телевизору мульти-пульти?

Это звонкое мульти-пульти куда привлекательнее для детского слуха, чем вялая и тягучая мультипликация.

Вообще всякая рифма доставляет ребенку особую радость.

Когда она случайно подвернется ему в разговоре, он играет ею, твердит ее несколько раз, использует ее для импровизированной песни.

— Куда ты положил мыло? — спрашивает у Юры мать.

Он отвечает без всяких покушений на рифму:

— А вон туда, где вода.

И, лишь сказав эти слова, замечает, что в них промелькнуло созвучие. И мгновенно начинает распевать:

Вон туда,
Где вода.
Вон туда,
Где вода.

Дети изумительно чутки к тем случайным и непреднамеренным рифмам, какие возникают порою в нашей прозаической речи.

Мать посылает свою пятилетнюю Веру на кухню:

— Пойди скажи няне: няня, мама разрешила дать мне чаю с молоком.

Вера сразу уловила здесь ритм, свой излюбленный четырехстопный хорей, и, вбежав на кухню, закричала:

Няня, мама разрешила
Дать мне чаю с молоком.
И теперь зовут ребята
Дядю Степу маяком!

То есть к первому двустишию пристегнула две строки из «Дяди Степы» Сергея Михалкова, причём это вышло без всякой натуги, неожиданно для нее самой.

*

У Сергея Михалкова есть прелестное стихотворение «Всадник». В нем отчетливый ритм и звонкие рифмы. Но последняя строка по прихоти автора написана неожиданной прозой. Стихотворение кончается так:

Я в канаву не хочу,
Но приходится —
Лечу.
Не схватился я за гриву,
А схватился за крапиву.
— Отойдите от меня,
Я не сяду больше на эту лошадь.

Дети, повышенно чуткие к поэтической форме, возмущаются таким разрушением ритма и отсутствием ожидаемой рифмы. Сплошь и рядом они не только отвергают прозаический текст, но тут же придумывают свою собственную стихотворную строку, которая подсказана им всей структурой предыдущих стихов. Мне пишут о пятилетней Ниночке, которая, услышав концовку «Всадника», с возмущением сказала:

— Неправда. Ты неверно читаешь. Надо сказать:

— Отойдите от меня,
Я не сяду на коня.

Почти все дети, которым в виде опыта я читал эти стихи Михалкова, реагировали на них точно так же. Нужно ли говорить, что именно на такую реакцию и рассчитывал Сергей Михалков.

II. СТИХОВЫЕ ПОДХВАТЫ

Влечение к рифмованным звукам присуще в той или иной степени всем детям от двух до пяти: все они с удовольствием — можно даже сказать, с упоением — предаются длительным играм в созвучия. Трехлетняя Галя говорит, например, своей матери:

— Мама, скажи: Галюнчик.

Мама говорит:

— Галюнчик.

Галя рифмует:
— Мамунчик.
Тогда мать говорит:
— Галюха.
А Галя:
— Мамуха.
Мать:
— Галу́шка.
А Галя:
— Маму́шка.
Мать:
— Га́лище.
Галя:
— Ма́мище.
Мать:
— Галубуха.
Галя:
— Мамумуха.

И так далее. Иногда эта рифмовая гимнастика длится десять — пятнадцать минут. Девочке она очень нравится, так как, очевидно, удовлетворяет насущной потребности ребячьего мозга. «Когда моя изобретательность кончается, — пишет мне Галина мать, — я перехожу на другое слово и говорю: Телефон. Галя говорит: Барматон. — Телефонище. — Барматонище и т. д.».

Аналогичная запись у Ф. Вигдоровой:
«Я говорю: Сашуля.
Саша отвечает: Мамуля.
Я. Сашок.
С а ш а. Мамок.
Я. Сашенция.
С а ш а. Маменция, Марктвенция».

Замечательно, что каждому из этих отзвуков ребенок всякий раз придает тот же ритм, какой он улавливает в только что услышанной фразе. Четырехлетняя Мурка мчалась на воображаемом коне и кричала:

Надо бить
Коня сильнее,
Чтобы вез
Меня быстрее!

А Лёня (немного постарше) тотчас же откликнулся четырехстопным хореем:

Чем быстрее,
Тем плохее!
Чем быстрее,
Тем плохее!

Л. М. Чудинова, воспитательница детского сада Фрунзенского района Москвы, сообщает:

«В старшей группе есть своеобразная словесная игра: кто-либо из детей предлагает: «Давайте смешиться», и несколько человек начинают подбирать рифмы: «Мальчики — стаканчики», «Девочки — тарелочки», «Лёвочка — веревочка», или просто придумывают бессмысленные сочетания слов, вроде «сундук-кундук-пундук», и чем бессмысленнее слово, тем дети громче хохочут»[1].

Лет пятнадцать назад в журнале «Семья и школа» появилась статья М. Микулинской «Как мы развиваем мышление и речь сына», там говорится о том же:

«Славик не только знает много стихов, но и сам пробует «сочинять» их. Хотя его творчество еще весьма примитивно, все же в нем явно заметны чувства ритма и рифмы. Часто Славик спрашивает: «А так подходит?» — и произносит рифмованные слова или строчки («грелка — тарелка», «хорошо кушать — маму слушать» и др.). Иногда же под рифму он подбирает бессмысленный набор звуков и спрашивает:

— А так подходит: ложка — барабошка, стол — балол, попугай — дугагай?

Я объясняю, что хотя и подходит, но таких слов — «барабошка», «дугагай» и «балол» — в русском языке нет. Славик явно огорчен.

— А как же тогда? — чуть не со слезами спрашивает он.

Я подсказываю: «ложка — ножка», «попугай — угадай», «стол — козел». Лицо ребенка озаряет счастливая улыбка, он шепчет услышанные рифмы, стараясь их запомнить. Теперь он все реже произносит бессмысленные рифмы, а когда и произносит, сам смеется, зная, что говорит глупости»[2].

---

[1] *Л. М. Чудинова.* Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Сборник «Воспитатели детских садов о своей работе». М., 1948, с. 292.

[2] «Семья и школа». 1955. № 11, с. 8.

Такие подхваты созвучий — всегда диалоги. Но нередко случается наблюдать одинокое самоуслаждение рифмами, когда ребенок изобретает созвучие без всяких партнеров. Л. Пожарицкая сообщила мне такой монолог пятилетнего Вовы:

Это разве ложка?
Это просто кошка.
Это разве печка?
Это просто свечка...

И так далее — очень долго — в том же роде.

И вот что сделала, например, со словом «молоко» Танечка Зенкевич, трех с половиною лет, когда ей понадобилось ввести его в стих:

Том, Том, Том...
Ешу кашу с молоком,
Томи, Томи, Томи...
Ешу кашу с молокоми.

Четырехлетняя Светлана Гриншпун выкрикивала при прощании с матерью:

До свиданья, будь здорова,
Пионерчатое слово!

Она почувствовала, что, если скажет «пионерское», ритм у нее выйдет хромой, и для спасения ритма в одну секунду изобрела «пионерчатое».

Эдда Кузьмина, четырех с половиною лет, пела стихи Маршака:

Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?

Потом переделала первую строку на свой лад и мгновенно почувствовала, что вследствие трансформации первой строки нужно переделать и вторую. Таким образом, у нее получилось:

Мой веселый звонкий мячик,
Ты куда помчался вскачик?

Трехлетняя Ната Левина:

Кот под деревом сидит,
Кашу манную едит.

И еще:

Ах, папулька-катапулька,
Ты *вставаешь* или нет?

Вставаешь — опять-таки жертва стихотворному ритму, так как девочка к этому времени в совершенстве усвоила форму *встаешь*.

Бойкий и смышленый Валерик, воспитывающийся в одном из детских садов Ленинграда, обладает способностью говорить наподобие раешника «в рифму», и замечательно, каким радостным смехом окружающая его детвора встречает чуть не каждую рифму, которой он щеголяет в разговоре.

Это очень верно отмечено в записках воспитательницы О. Н. Колумбиной.

«Дети, — записала она, — играют в фанты, и Гарик спрашивает Валерика:

— Что же хочешь ты купить?

Валерик. Хочу купить мишке тапы и надеть ему на лапы. (Дети, наблюдающие за ходом игры, смеются.)

Гарик. Тапы — так не говорят, надо сказать: тапочки, тапки или туфли, сандалии.

Валерик. Хорошо. Покупаю мишке тапочки и надеваю ему на лапочки. (Дети снова смеются.)

Смех повторяется снова, когда Валерик по ходу игры говорит:

А еще хочу купить машину
И посадить мишку в кабину»[1].

Подобных примеров можно привести очень много, потому что коллективам детей рифма еще более мила, чем тому или иному ребенку в отдельности.

Годовалые дети — те, кого прежде называли младенцами, — пользуются рифмой не для игры, не для украшения речи, но исключительно для ее облегчения.

При неразвитом голосовом аппарате младенцу значительно легче произносить схожие звуки, чем разные. Легче, например, сказать «покочи ночи», чем «покойной ночи». Оттого — чем меньше ребенок, чем хуже владеет он речью, тем сильнее его тяготение к рифме.

[1] «Дошкольное воспитание». 1955. № 4, с 20.

Это звучит парадоксом, но это подтверждается огромным количеством фактов. Когда перебираешь дневники матерей и отцов, записывающих речи младенцев, убеждаешься, что это именно так. В дневниках непременно наталкиваешься на такую приблизительно запись через год или полтора после рождения ребенка:

«Без умолку болтает всякий рифмованный вздор, целыми часами твердит какие-то нелепые созвучия, не имеющие смысла: аля, валя, даля, маля».

Когда Коле Шилову было тринадцать месяцев, его мать записала о нем в дневнике:

«...Любит рифму. Говорит: маим, паим, баим».

И через полтора месяца опять:

«...Говорит какое-то пана, папана, амана, бабана...»

И еще через два месяца:

«...Выдумал ряд слов с одинаковыми окончаниями: манька, банька, панька. Или: небальча, вальча, мальча, тальча. Или: найти, бапти...»

«...Иногда старается говорить в рифму: бабка, тяпка...»

«...Подбирает иногда рифму и, которая ему нравится, повторяет много раз: базя — мазя, баня — маня и т. д.».

«...Когда расшалится, говорит в рифму ничего не значащие слова»[1].

Виноградова записала о своей трехлетней Ирине:

«Последние дни стала петь песенки, без слов, случайный подбор слогов, которые только взбредут в голову»[2].

Рыбникова о своем двухлетнем Аде:

«Подолгу болтает набор слов: ванька, ганька, манька»[3].

В моем дневнике о двухлетней Мурке:

«Каждый день приходит ко мне, садится на чемодан и, раскачиваясь, начинает рифмовать нараспев;

Кунда, мунда, карамунда,
Дунда, бунда, парамун.

Это продолжается около часа».

---

[1] *В. А. Рыбникова-Шилова.* Мой дневник. Орел, 1923, с. 58, 76, 84, 98,118, 120. Запись на с. 84, кажется, искажена опечатками. Я восстанавливаю ее наугад.

[2] Цитирую по книге: Н. А. Рыбников. Словарь русского ребенка. М.–Л., 1926, с. 56.

[3] Там же, с. 79.

Такие цитаты можно приводить без конца.

Рифмотворство в двухлетнем возрасте — неизбежный этап нашего языкового развития.

Ненормальны или больны те дети, которые не проделывают таких языковых экзерсисов.

Это именно экзерсисы.

Трудно придумать более рациональную систему упражнения в фонетике, чем такое упорное, многократное повторение всевозможных звуковых вариаций.

Путем величайших (хотя и незаметных) усилий ребенок к двухлетнему возрасту овладел почти всеми звуками своего родного языка, но эти звуки все еще туго даются ему, и вот для того, чтобы научиться управлять ими по своей воле, он произносит их снова и снова, причем ради экономии сил (конечно, не сознавая этого) в каждом новом звукосочетании изменяет один только звук, и все остальные сохраняет нетронутыми, отчего и получается рифма.

Таким образом, рифма есть, так сказать, побочный продукт этой неутомимой работы ребенка над своим голосовым аппаратом, и продукт чрезвычайно полезный: благодаря ему тяжелая работа ощущается ребенком как игра.

Но не следует думать, что рифмованные «свисты и щебеты» двухлетних детей есть самая первоначальная форма детского стихотворства. Нет, еще раньше, еще в колыбели, еще не научась говорить, ребенок восьми или девяти месяцев уже услаждается ритмическим лепетом, многократно повторяя какой-нибудь полюбившийся звук.

Не об этом ли младенческом лепете мы читаем в стихах Бориса Пастернака:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут — а слова
Являются о третьем годе...
Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря,
Так будут начинаться ямбы...
Так начинают жить стихом.

В стихи Пастернака, мне кажется, необходимо внести небольшой корректив. В них сказано, будто дети только «го-

да в два от мамки рвутся в тьму мелодий». Между тем это происходит значительно раньше. Правильнее было бы сказать:

Так начинают жизнь стихом, —

потому что в начале жизни мы все — стихотворцы и лишь потом постепенно научаемся говорить прозой.

Самой структурой своего лепета младенцы предрасположены и, так сказать, принуждены к стихотворству. Уже слово «мама» по симметричному расположению звуков есть как бы прообраз рифмы. Огромное большинство детских слов построено именно по этому принципу: бо-бо, бай-бай, ку-ку, па-па, дя-дя, ба-ба, ня-ня и т.д., у всех у них такая двойная конструкция, причем вторая часть каждого слова является точным повторением первой. Эти звукосочетания заимствованы взрослыми из детского лепета и, получив от взрослых определенный смысл, снова предоставлены детям, но вначале для каждого ребенка это были просто самоцельные звуки, многократное произнесение которых доставляло ему бескорыстную радость[1].

Замечательно, что в этих экзерсисах преобладает женская рифма. Почти семьдесят процентов изученных мною рифмованных слов, произносимых детьми до двухлетнего возраста, имеют ударение на втором слоге от конца. Дактилические окончания почти никогда не встречаются. Дочь моя Мура на третьем году своей жизни начала упиваться такими созвучиями:

Биля, биля, унага́, унава́ляя.
Биля, биля, унага, унаваляя.

Раньше этого возраста дактилические окончания были ей недоступны.

А дактилические рифмы приходят к ребенку еще позднее. Лишь в четырехлетнем возрасте Саша Менчинский мог сообщить своей матери:

---

[1] Когда, например, девятимесячный Коля Шилов стал бессмысленно повторять слово «мама» — без всякого отношения к кому бы то ни было, — его бабушка помогла ему осмыслить это слово, указывая всякий раз на маму. «Но, — читаем в дневнике его матери, — как его ни учит бабушка, где мама, он пока еще не знает... и, как попугай, твердит «мамма» (*В. А. Рыбникова-Шилова.* Мой дневник, с. 43).

«Мама, я придумал рифму: «Каретно-Садовая — здоровая»[1].

Но сейчас я говорю не о стихах, а исключительно о рифмованных звуках. Зачатки этих звуков наблюдаются уже в младенческом лепете. О них есть последовательная запись у Павловой: когда ее Адику было семь месяцев и одиннадцать дней, он стал повторять много раз: гра-гра-ба-ба-ба... Через пять дней он затянул: аблям-лям-ба... Еще через две недели тянет без перерыва: дай-дай-пр-пр-пр... На двенадцатом месяце он уже организовал эти звуки в хорей:

Мама — ма́
Мама — ма́!

Через три недели у него появились и другие хореи: например, ня-ня-ня́. Из этого материала на втором году жизни у него создалось много двухсложных слов, уже санкционированных взрослыми, например: кики — кошка, тук-тук — пароход, цо-цо — извозчик, ням-ням — еда, там-там — музыка и т. д.[2].

Каждое такое «ням-ням» является, по существу, прарифмой. Таким образом, уже в лепете семимесячных детей можно заметить зачатки рифмованной речи.

Сперва, как мы видели, рифма возникает у детей поневоле: такова структура их лепета. Без созвучий они не могут обойтись. «Батя, ватя, матя, сатя» — это просто легче сказать, так как в каждом из этих слов изменяется лишь один-единственный звук, прочие же можно повторять по инерции.

Но именно поэтому «батя» и «ватя» не являют собою стиха, ибо подлинный стих начинается там, где кончается автоматическое произнесение звуков и начинается смысл.

III. ПА И МА

Эмбрионом такой осмысленной рифмы необходимо, как мне кажется, считать одну неразрывную пару младенческих слов, которая неизбежно возникает в сознании ребен-

---

[1] *Н. А. Менчинская.* Развитие психики ребенка. Дневник матери. М., 1957, с. 134.

[2] *А. Д. Павлова.* Дневник матери. Записки о развитии ребенка от рождения до шести с половиною лет. М., 1924, с. 27—59.

ка, растущего в нормальной семье. Я говорю о звуках п а и м а

«Папа» и «мама» — эти два слова являются для ребенка как бы прообразом всех дуализмов и всех симметрий. Прежде чем человеческий детеныш узнает, что в мире есть ночь и день, огонь и вода, белое и черное, низ и верх, смерть и жизнь, он воочию видит, что мир разделен на две части — на папу и маму.

Двухлетний Юрик, желая взобраться на диван, всегда обращается к своей матери с просьбой:

— Мамочка, мамоги.

И к отцу:

— Папочка, папоги.

Ребенок считает законом, чтобы все подобные слова были парными, чтобы всякому звуку п а, входящему в состав любого слова, непременно соответствовал звук м а. Одно без другого немыслимо. Когда какая-то женщина сказала при Лиле, что у нее есть мама и мачеха, Лиля спросила:

— Значит, и папа, и п а ч е х а?

Если мачеха — значит, и п а ч е х а. Тут привычная перекличка двух звуков, крепко объединенных в уме у ребенка.

Увидев заросли папоротника в дачном лесу, Володя оглянулся и спросил:

— А где же м а м о р о т н и к?

И сколько я видел детей, которые, узнав, что на свете существуют картонные папки, через несколько дней именуют их м а м к а м и.

Как широко распространена среди малых детей, в возрасте от двух до пяти, эта перекличка двух родственных звуков, показывает хотя бы такой эпизод.

Лет пятьдесят тому назад я в ленинградском музее показывал моей маленькой дочери чучело мамонта.

Она взглянула на него и сейчас же спросила:

— А где же п а п о н т?

И вот в 1954 году я получаю такое письмо от московского лингвиста А. Н. Робинсона:

«Когда Вале было около семи лет, а Мише около трех, я повел их в университетский Зоологический музей.

— Смотрите, это мамонты, — сказал я.

— А п а п о н т ы где? — спросил малыш».

Проходит еще несколько лет, и в апреле 1957 года жи-

тель Нижнего Тагила инженер Е. Мосар сообщает мне снова о том же.

«Сережа Левелецкий, четырех лет, — пишет он, — сын моего коллеги по работе, увидел в журнале картинку с изображением мамонта.

— Мамочка, — спросил он, — а мамонты теперь бывают?

— Нет, деточка, мамонтов давно уже нет.

Сережа задумался.

— А папонты есть?»

Как бы ни были различны эти дети, наблюдаемые в разное время и в разных местах, характерна одинаковость их своеобразных речений. Тем-то, повторяю, и замечателен детский язык, что чуть ли не каждое новое слово, «изобретенное» ребенком у нас на глазах, «изобретается» снова и снова другими детьми, в другую эпоху, при других обстоятельствах. Ибо законы языкового мышления у всех русских детей одинаковы и вследствие этого не могут не приводить к одним и тем же формациям слов. В каждой сотне писем, полученных мною из разных концов страны, найдется не меньше тридцати (а порою и больше!), где, как некую новинку, мне сообщают слова, которые давно уже вошли в эту книгу и теперь «изобретаются» снова новым поколением детей. К числу этих слов, как мы видим, принадлежит и папонт, возникший из мамонта благодаря тому, что в уме миллионов ребят с первых же месяцев жизни установлена крепкая связь между звуками ма и па. Знаменитый юрист Анатолий Федорович Кони рассказывал мне, что в восьмидесятых годах, когда среди адвокатов вошло в моду ссылаться на психопатизм преступников, курьер суда выразился про какую-то барыню, будто она психоматка.

Здесь та же перекличка *ма* и *па*, та же простодушная уверенность, что в любом слове *па* относится только к мужчинам, а женщинам должно быть присвоено *ма*.

Л. Пантелеев в своем дневнике «Наша Маша» рассказывает, как он пытался натолкнуть свою трехлетнюю дочь на любимое детьми сочетание звуков.

— Не папироска, — сказал он, — а мамироска.

Она отвергла предложенный ей каламбур и, засмеявшись, произнесла:

— Машироска[1].

---

[1] *Л. Пантелеев*. Наша Маша. Л., 1966, с. 129.

IV. ПЕРВЫЕ СТИХИ

Типичность этого явления несомненна. Едва ли существует ребенок, речевое развитие которого обошлось бы уже в этот ранний период без парных — чаще всего рифмованных — звуков и слов: высочи́на — глубочина, ня́нчила — мамчила и т. д.

Впервые я заметил это у себя в семье. Помню, сын мой четырехлетним мальчишкой бегал по саду и как безумный выкрикивал:

Я-а больше тебя,
А ты меньше комара!

Это он сочинил про сестру, но сестра уже давно убежала, а он — таковы поэты — все еще носился в пространстве, один, ничего не видя, не слыша, и по-шамански кричал:

Я-а больше тебя,
А ты меньше комара!

Кружился, оглушенный своим собственным криком. И вдруг, словно из-за тысячи верст, до него донеслось:

— Обедать!

Его повели к умывальнику, потом усадили за стол, но в крови у него еще не утихомирились ритмы недавних прыжков, и он, скандируя ложкой, воскликнул:

Дайте, дайте, дайте мне
Ка-артофельно пюре!

Ибо, только прыгая и махая руками, ребенок может создавать свои вирши. Прицепив к поясу тряпку, тот же мальчик бегал из комнаты в комнату и, хлопая в ладоши, заливался:

Я головастик,
Вот мой хвостик!

И опять:

Я головастик,
Вот мой хвостик!

И опять, и опять, и опять. Уже по самому кадансу стихов ощущаешь, что автор их прыгал, подскакивал и топал ногами. Здесь первое условие его творчества.

Вообще стихотворения детей в возрасте от двух до пяти всегда возникают во время прыжков и подскакиваний. Если ты пускаешь мыльные пузыри, тебе естественно прыгать с соломинкой возле каждого пузыря и кричать:

Как высóко! Ай, ай, ай!

А если играешь в пятнашки, тебе нельзя не выкрикивать:

Как могу, так и бью!
Как могу, так и бью!

И не раз и не два, а раз десять – пятнадцать подряд. Здесь вторая особенность этих детских стихов: их выкрикивают множество раз.

Поэтому они такие короткие: две строки – длиннее нельзя. И в этом их третья особенность. С каждым новым прыжком все стихотворение повторяется снова. Оно может быть даже в одну строку, лишь бы повторялось многократно. Тот же мальчик, заткнув себе уши, кружился на месте, выкрикивая:

Как я желто говорю!
Как я желто говорю!
Как я желто говорю! –

покуда физически не устал. Кончилось прыганье – кончилось творчество.

Детское стихотворство – признак избытка играющих сил. Оно – явление того же порядка, как кувыркание или махание руками. Печальный, хилый или сонный ребенок в возрасте от двух до пяти не создаст ни одного стиха. Для того чтобы стать поэтом, ребенку нужно испытывать то, что называется «телячьим восторгом». Ранней весной на зеленой траве, когда дети шалеют от ветра и солнца, им случается по целым часам изливать свою экзальтацию в стихах. Как всякие стихи, порожденные экзальтированной пляской, эти стихи часто бывают бессмысленными, ибо исполняют главным образом функцию музыки:

Уманяу, Уманяу!
Уманяу, Уманя!
Эндендине, бететон!

Эндендине, бететон!
Горбонове реткос!
Горбонове реткос![1]

Множество детских заумных стихов я записал в свое время для поэта Велемира Хлебникова.

О тяготении маленьких детей к звуковым арабескам, имеющим чисто орнаментальный характер, я впервые узнал из биографии Пушкина. У его приятеля Дельвига был брат, семилетний Ваня, которого Дельвиг называл почему-то романтиком. Услыхав, что Ваня уже сочиняет стихи, Пушкин пожелал познакомиться с ним, и маленький поэт, не конфузясь, внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индияди, Индияди, Индия!
Индиянда, Индиянда, Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал его и сказал:

— Он точно романтик...[2]

Часто бывает так, что сочиненные ребенком стихи вначале исполнены самого четкого смысла, но потом под влиянием игры этот смысл понемногу выветривается, и стихи незаметно для автора становятся заумными глоссами. Однажды на даче у меня под окном появился незнакомый мальчишка, который закричал в упоении, показывая мне камышинку:

Эку пику дядя дал!
Эку пику дядя дал!

Но, очевидно, его восторг выходил далеко за пределы человеческих слов, потому что через несколько минут та же песня зазвучала у него по-другому:

Экикики диди да!
Экикики диди да!

Из «экой пики» стало «экикики», из «дядя дал» — «диди да».

Случай чрезвычайно выразительный, но, к сожалению, в то время, когда мне привелось услыхать эту песню, я не-

---

[1] Цитирую по книге *Е. Ю. Шабад* «Живое детское слово». Из работ первой опытной станции Наркомпроса. М., 1925, с. 69.

[2] *А. П. Керн.* Воспоминания. Л., 1929, с. 288.

правильно истолковал трансформацию, которой подверг ее поющий ребенок. Мне почудилось, будто ребенок «освободил свою песню от смысла, как от лишнего груза». Я так и написал в своей книжке, и лишь позднейшие наблюдения убедили меня, что у детей никогда не бывает нарочитого стремления к бессмыслице. Как мы уже видели, дети, напротив, стремятся во что бы то ни стало осмыслить каждое услышанное слово, превращая «экскаватор» в «песковатор» и «вазелин» в «мазелин». В данном случае ребенок освободил свою песню совсем не от смысла, а от затруднительных звуков. Произнести «экикики» легче уже потому, что все три согласные здесь совершенно тождественны. В сущности, таковы же и гласные, ибо, если фонетически записать это слово, получится, конечно, «икикики», где одни и те же согласные чередуются с одними и теми же гласными. Все дело здесь в облегченной фонетике. Характерно, что и во втором варианте ритмика стиха осталась та же.

Но, конечно, нельзя умолчать и о том, что дети в иные минуты тешат себя «сладкими звуками» и упиваются стихами, как музыкой, даже не вникая в их смысл.

Это бывает чуть не с каждым ребенком, о чем свидетельствуют все дневники матерей и отцов, где, как мы только что видели, регистрируются всевозможные «мунды-карамунды» и «вальчи-небальчи», в изобилии творимые детьми младшего дошкольного возраста.

Этой склонности малых ребят упиваться звонкими созвучиями вполне соответствуют многие детские песни в русском, сербском, чешском, грузинском, шведском, финском, английском фольклоре.

Чтобы не загромождать свою книгу десятками многоязычных цитат, ограничусь лишь английским фольклором, где бытуют, например, такие стихи, чрезвычайно популярные в детской среде:

Heetum, peetum, penny, pie
Pop a lorie, jinkie jye!
Хитэм, питэм, пенни, пай,
Поп э лори, джинки джай!

Eena, meena, mina, mo
Bassa, lena, lina, lo!
Инэ, минэ, майнэ, мо,
Бэссэй, линэ, лайнэ, ло!

В кропотливом исследовании английского ученого Генри Бетта я прочел об историческом происхождении этих заумных стихов.

Оказывается, что когда-то они были далеко не заумными. Они были исполнены самого ясного смысла в языке тех древних кельтов, которые владели Британией задолго до Цезаря[1]. Но кельты исчезли, их язык позабыт. Теперь стихи эти не значат ничего. Английским детям они дороги своим ритмом, своим музыкальным звучанием, подобно тому как для русских детей из поколения в поколение сохраняют свою привлекательность песни с такими зачинами:

Тень, тень, пототень...

Постригули, помигули...

Коля, моля, селенга...

Перя, еря, суха, рюха...

Цыкень, выкень...

Колень-молень...

И т. д.

И пусть теперь филологи доискиваются, что значило в старину перя-еря; мы знаем, что для русских детей уже около полутысячи лет оно не значит ровно ничего и что именно в таком забвении смысла (если только был этот смысл!) заключается многовековая привлекательность подобных стихов для каждого нового поколения детей.

До какой степени ритм и рифма бывают для многих детей важнее, чем смысл стихов, я убедился, наблюдая свою четырехлетнюю дочь на горячих сестрорецких песках. Она деятельно разыгрывала сама для себя какую-то бесконечную сказку о зайцах. Она была зайчиха, и у нее было десять зайчат. Игра так захватила ее, что вскоре она заговорила стихами. Я не слишком прислушивался к этим стихам, но вдруг меня поразили слова:

Шибко зайчик побежал,
А за ним бежит Журнал.

---

[1] Nursery Rhymes and Tales, their Origin and History, by Henry Bett. London, Methuen and Co., 1924, p. 58–59. (*Генри Бетт.* Детские стихи и сказки. Их происхождение и история.)

— Журнал? — спросил я. — Почему же журнал?

Она была застигнута врасплох, покраснела, но через минуту нашлась:

— Неужели ты не понимаешь? Журнал — это зайчик такой... Он читал журналы, журналы, журналы, вот его и прозвали Журнал.

Так была придумана — задним числом — логическая мотивировка для явно бессмысленной рифмы, не имевшей вначале никакого отношения к сюжету. Самому ребенку эта мотивировка была не нужна, он отлично обходился без нее. Когда же ему пришлось призадуматься, чтобы найти ее для непонимающих взрослых, он утратил и ритм игры, и аппетит к стихотворству.

Повторяя свой импровизированный стих, дети могут деформировать слово, но ни при каких обстоятельствах не нарушат напева, который для них есть первооснова стиха. Когда мальчик закричал за столом:

Дайте, дайте, дайте мне
Ка-артофельно пюре! —

он достиг безукоризненного ритма путем решительной расправы со словом «картофельное»: удвоил его первую гласную и совсем уничтожил последнюю.

С не меньшей решительностью деформировала слова своей песни трехлетняя Аня — в угоду тому же полновластному ритму. Анина мать лежала в постели и кормила грудью новорожденного, которого только что привезли из родильного дома. Аня прыгала вокруг своего нового брата и выкрикивала в бурном восторге:

Мама с мальчиком лежит
И грудóй его кормúт!

Мама с мальчиком лежит
И грудóй его кормúт!

«Грудóй» и «кормúт» — жертвы ритму. Через час девочка сама объяснила отцу:

— Надо бы «грудью»... но «грудóй» — чтобы было складнее.

Дерзко, без дальних раздумий, маленькие дети ломают любую словесную форму, лишь бы только обеспечить победу своему любимому ритму (а также порою и рифме).

Наточка Вернандер, двух с половиною лет, выкрикнула как-то такие стихи:

Плывут уточка с гусем
На раздутых парусём.

Произнеся это двустишие, она тотчас же заметила, что ею нарушены какие-то важные нормы, и стала объяснять подобно Ане:

— «Парусём» — это чтоб было красиво.

Трехлетняя Лена раскрашивала картинки и повторяла ритмически:

Красный дом
Из солом.

Красный дом
Из солом.

Столь же смело исказила нормальное слово ради звонкой и свежей рифмы неизвестная мне пятилетняя Ира, создавшая такой стихотворный экспромт:

Белые зайцы
Упали на кустайцы.

Это загадка. Разгадка: снег[1].

Двое детей были посланы к дачным соседям за газетами. Девочка вернулась с охапкой «Известий», а мальчик вбежал в комнату с пустыми руками, победоносно крича:

Я не та-ак волоку.
Я в галопию скаку!

Я не та-ак волоку.
Я в галопию скаку!

Слово «галоп» было отлично известно ему. Но ради стихотворного размера он незаметно для себя создал на бегу слово г а л о п и я, благодаря чему у него получился совершенно правильный хорей. Так велико у ребят чисто мышечное ощущение стиха. От движения — к звуку, от звука — к слову, — вот истинный путь «экикик».

Таким же стремлением к ритму объясняется то усечение, которому подверглось слово к о ш к а в детских стихах, обращенных шестилетней поэтессой к собаке:

---

[1] «Семья и школа». 1967. № 4, с. 25.

Джойка, Джойка, ты малыш,
Ты гоняешь кош и мышь.

«Грудо́й», «галопия», «ка-артофельно», «кош», «кор-ми́т» — дети охотно подвергнут такой деформации любое слово, нарушающее ритм.

Папа уезжает в командировку.

Четырехлетний Лёня удивлен:

— Так папа у нас командир?!

И мгновенно изобретает двустишие:

А мой папа командир.
В командирку укатил.

Мать поправляет его:

— Не в командирку, а в командировку.

Он пробует ввести в свою песню это длинное слово, но оно разрушает ее, и потому через минуту он снова поет: «в командирку». Так велико у него чувство ритма, что, как и всякий поющий ребенок, он предпочитает исказить форму слова, лишь бы сохранить в неприкосновенности ритм (сообщено его матерью А. С. Мазаевой).

Каков же ритм всех этих детских экспромтов, вызванных пляской и прыганьем?

Сколько ни доводилось мне слышать подобных стишков, во всех один и тот же ритм — хорей.

Почему это так, я не знаю. Может быть, потому, что дети всего мира прыгают и пляшут хореем; может быть, потому, что еще грудным, бессловесным младенцам все матери внушают этот ритм, когда качают и подбрасывают их, когда хлопают перед ними в ладоши и даже когда баюкают их (так как «баю-баюшки-баю» есть хорей), — но, как бы то ни было, это почти единственный ритм радостных детских стихов. Хорей, который порою сопряжен с анапестом.

Лучшие детские народные песни (такого же плясового склада) имеют в огромном своем большинстве тот же единственный ритм.

Возьмите наиболее характерные песни из тех, которые собраны Шейном в московских, тульских и рязанских деревнях, и сравните их с английскими Nursery Rhymes. Всюду на первое место выступит тот же хорей:

Тюшки, тюшки, тюшки!
На горе пичужки...

Ай дуду, дуду, дуду!
Сидит ворон на дубу...

Три-та-та, три-та-та!
Вышла кошка за кота...

Дон, дон, дон!
Загорелся кошкин дом...

А чучу, чучу, чучу!
Я горошек молочу...

А тари, тари,тари!
Куплю Лиде янтари...

Тенти, бренти! Сам сокóл
Через поле перешел...

Куба, куба, кубака.
Тама яма глубока...[1]

Хитэм, питэм, пенни, пай,
Поп э лори, джинки джай!

Инэ, минэ, майнэ, мо,
Бэссэй, линэ, лайнэ, ло!

Все эти разнообразные отрывки излюбленных детских стишков, созданных в разные века в разных концах Европы, как бы сливаются в одно стихотворение — до того они схожи между собой, однородны и по расположению слов, и по ритму.

Я нарочно выбрал такие из них, повышенная эмоциональность которых не вызывает сомнений, так как сказывается в структуре стиха: каждое стихотворение начинается какой-нибудь тарабарской запевкой, имеющей характер междометия, выкрикиваемого по нескольку раз: тенти-бренти, дон-дон-дон, ай дуду-дуду-дуду, а чучу-чучу-чучу и т.п. В этих междометиях ярче всего выражается плясовая сущность народной поэзии для детей. Тут топот ног, тут вскидывание рук, тут опьянение звуками — воистину дети всего мира одно сплошное братство прыгунов.

[1] Русские народные песни, собранные П. В. Шейном. М., 1870, с. 9, 14, 17, 40, 58 и др.

Недаром так неистово кричала орава детей, прыгая вокруг большого стола:

Ситцевый галопа!
Скачет вся Европа.

Ситцевый галопа!
Скачет вся Европа.

Это тот самый «галопа», который у всякого здорового ребенка так часто реализуется в стихах:

Я не та-ак волоку,
Я в галопию скаку!

Об этом «галопе» Инна Клевенская сообщила мне из города Калинина такой эпизод:

«Мой сын Павел вбежал ко мне с сияющими глазами, держа в руке растение сурепку, и закричал в восторге:

— Мама, эта травка — арбикой?

Затем — он впереди, а дети за ним — помчались в галоп вокруг комнаты, распевая дико, но вдохновенно:

Эта травка — арбикой!
Эта травка — арбикой...»

Здесь обнаруживается с особенной ясностью общественный характер «экикик». Они прилипчивы. Они заразительны. Стоит одному из детей выкрикнуть какое-либо ритмическое сочетание звуков, эти звуки мгновенно подхватываются всеми другими детьми, и, таким образом, личное творчество поэта-ребенка становится хоровым, коллективным.

В приведенном письме очень четко отмечены все этапы такого обобществления стихов.

Сначала — одинокий восторг мальчугана, нашедшего неизвестную травку, которой он дал такое необыкновенное имя: арбикой.

Потом — его взволнованный ритмический возглас, в котором он сам не заметил стиха:

— Эта травка — арбикой?

Потом восприятие этого возгласа коллективом детей, которые чутко улавливают здесь стиховое звучание, ощущают этот возглас как хорей и начинают пользоваться им для своей массовой экстатической пляски, вовлекая в нее и поэта.

Такое коллективное детское творчество мне случалось наблюдать не раз. Я часто был свидетелем того, как группа

детей, услышав какой-нибудь случайный отрывок прозаической речи, тут же превращала эту прозу в стихи. Помню, на даче в Куоккале проезжал мимо нашего сада незнакомый финн-зеленщик и, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Дождь прошел, дорога сукка! – выразив этой лаконической фразой свою радость по поводу того обстоятельства, что, несмотря на вчерашний ливень, дорога осталась сухой.

Дети тотчас же уловили в этой загадочной фразе свой любимый хорей и, когда испугавший их финн скрылся за поворотом дороги, закружились, как факиры, выкрикивая:

Дождь прошел, дорога сукка!
Дождь прошел, дорога сукка!

Так случайная прозаическая, не совсем понятная фраза стала выразительным и звонким стихом, организующим коллективную детскую пляску.

Стихи такого рода, как мы видели, бывают по необходимости кратки и никогда не выходят за пределы двустишия, так как во время пляски маленьким детям нужны однообразные звуки, могущие быть повторяемыми бесчисленное множество раз.

Другое дело, когда детские стихи создаются не пляской, а какой-нибудь ритмической работой, слагающейся из более разнообразных движений. Такие внушенные работой стихи бывают гораздо длиннее, и ритм у них более сложен.

Много лет назад мне, к моему удовольствию, удалось подсмотреть, как пятилетние дети и другие, немного постарше, сами сложили удивительную рабочую песню, которая прекрасно ритмизировала их трудовые процессы. Произошло это так.

Я жил на даче в Финляндии, в поселке, который нынче называется «Репино», и с целой артелью детей ходил за водой в «Пенаты» к Илье Ефимовичу Репину, у которого в саду был абиссинский колодец. Ведро у нас было маленькое, я надевал его на длинную палку, и дети несли его вместе со мною, гордясь, что помогают взрослому человеку работать.

Дорога была трудная: ведро, зацеплялось за пни и корни. Особенно мешали два пня, торчавшие на середине дороги, и всякий раз, когда мы к ним приближались, я уговаривал детей быть осторожнее: не расплескать бы воды. После

каждых шестнадцати шагов мы останавливались и минуты две отдыхали. И вот на третий день нашей совместной работы, когда в ней наметился ритм, дети, шагая с ведром, стали выкрикивать такие стихи:

Два пня,
Два корня́,
У забора,
У плетня, —
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито, —
Блямс!

При крике б л я м с они, как по команде, останавливались и тихо опускали ведро на землю. Потом снова брались за палку и снова выкрикивали те же стихи, шагая в такт своим крикам. Замечательно, что стихи были как раз такой длины, чтобы заполнить собою весь путь между двумя остановками: их хватало ровно на шестнадцать шагов. Впрочем, не только своей длиной отличаются эти стихи от тех плясовых экспромтов, о которых мы сейчас говорили: самый их стиль другой. В них нет упоения пляской — это бравая, но истовая песня работников, напрягающих силы, чтобы возможно тщательнее выполнить свою работу. Правда, здесь тот же хорей, но в этом хорее не прыжки и подскакивания, а мерная, несколько затрудненная, хотя и бодрая поступь. Здесь каждое слово осмысленно, так как продиктовано самой обстановкой труда.

Это не помешало младшему поколению детей на следующее лето воспользоваться нашей песней для обычных безудержных плясок. Они кружились на морском берегу и выкрикивали:

Два пня, два корня,
Поглядите на меня, —
Блямс!

И при крике б л я м с падали на песок как подстреленные.

В глазах детей стихи до такой степени неотделимы от танца, что дети склонны измерять «плясовитостью» даже волшебные сказки.

Тетя Зося сказала Маринке по поводу моего «Бармалея»:

— Зачем, не понимаю, нужны такие пустопорожние книги!

— Ах, тетя, — возразила Маринка, — ее всю можно протанцевать!

К числу коллективных стихов относятся также и те, которые недавно получили название: «дразнилки». Многие из них бывают вызваны жестоким азартом.

В старое время эти стихи обычно выкрикивались толпой возбужденных детей, преследовавших какого-нибудь ненавистного им человека — хромого, сумасшедшего, горбатого, рыжего.

При этом дети не просто бежали за «врагом», а прыгали и плясали, как дикие, что опять-таки сказывалось в ритме стихов.

Бывало, что эта дикарская пляска происходила на месте — когда, например, две группы детей стояли одна против другой, как две армии, готовые к бою, и обменивались рифмованной бранью, которая каждую минуту могла перейти в драку.

Я много слыхал этих детских дразнилок, и мне кажется, что их наиболее характерное свойство — в звуковых вариациях первого слова, в повторах, свидетельствующих о том возбуждении, в котором находились произносившие их.

Таковы народные дразнилки:

Федя-бредя
Съел медведя...

Цыган, мыган
Кошку дрыгал...

Коля-моля селенга
Съел корову и быка.

Эта звуковая инерция — верный знак, что дразнилки принадлежат к числу таких же эмоциональных стихов, как и те, о которых было сказано выше.

В большинстве дразнилок господствует опять-таки хорей. Иные из них производят впечатление ямбов, но не нужно забывать, что у них первый слог во время произнесения вытягивается: «Бе-эсштанный рак», «Еэгорка косой», что и делает эти строки хореями.

Дразнилки бывали направлены не только против людей, но и против животных, ненависть к которым дети иногда разжигали в себе.

Живя в деревне под Лугой, я видел, как соседские дети, ежедневно проходя мимо мельницы, хором упрекали жившего там индюка за то, что он будто бы похитил поросенка, и в своих упреках доходили до ярости, с каждым новым криком распаляясь все больше:

Индя, индя, красный нос,
Поросеночка унес,
Индю в городе поймали,
Красны сопли оторвали.

Стихи эти, вряд ли сочиненные самими детьми, были насыщены свирепой, хотя и беспричинной ненавистью, которая так и звенела в каждом крике.

Справедливость требует отметить, что через два месяца, осенью, я встретил тех же детей, когда они торжественной процессией направлялись на мельницу, неся на круглых дощечках, которые издали показались мне большими подносами, разноцветные и яркие груды ягод, грибов и цветов.

– Куда вы идете?

– К индюку. Он сегодня именинник.

Они шли поздравить индюка с именинами и несли ему богатые дары, совершенно позабыв о той ненависти, которую все лето разжигали в себе своей песней.

Дразнилки часто бывают экспромтами. Трехлетняя Аня, услышав, как хвалится какая-то женщина, что у нее мать из дворян, тотчас же прибавила в рифму:

– А отец из обезьян.

И, взволнованная своей хлесткой нечаянной рифмой, закружилась но комнате и закричала пронзительно:

Твоя мама из дворян,
А отец из обезьян!

Твоя мама из дворян,
А отец из обезьян!

Так нежданно-негаданно у нее получился хореический стих, без которого подлинные дразнилки немыслимы.

Есть еще одно качество в экикиках трехлетних детей: все они проникнуты радостью. Они не знают ни вздохов, ни слез. Это песни счастья, это высшее выражение того довольства собою и миром, которое так часто охватывает каждого здорового ребенка. Какое с ч а с т ь е, что мне дали пику! Какое с ч а с т ь е, что мама «корми́т» моего брата «грудо́й»!

Какое с ч а с т ь е, что мой мыльный пузырь залетел в такую высоту!

Едва ли Фридрих Шиллер был так счастлив, сочиняя свой гимн «К радости», как был счастлив трехлетний Бубус, выкрикнувший в избытке блаженства:

С рынку бабушка пришла
И конфету принесла!

Это песня самоутверждения и бахвальства, без которых ребенок — не ребенок, так как ему всегда необходима иллюзия, что он умнее, сильнее, храбрее других.

Никто никогда не бывает так самодоволен, как двухлетний младенец: он рад без конца восхищаться своими мнимыми удачами и качествами. Нужно было слышать, с какой надменностью произносил слово «я» крохотный четырехлетний поэт, когда он дразнил свою сестру ее маленьким ростом:

Я-а больше тебя,
А ты меньше комара!

Самая веселая песня, какую я когда-либо слыхал от трехлетних поэтов, заключала в себе следующий текст:

Бом, бом,тили,тили,
Нашу маму сократили.

Бом, бом, тили, тили,
Нашу маму сократили.

Помню, я вернулся домой из Хельсинки в Куоккалу; дети мои выбежали мне навстречу и, прыгая, запели в упоении:

А нас обокрали!
А нас обокрали!

Для них это была нечаянная радость, и они удивились, что я не разделяю ее.

Таким образом, мы можем сказать, что среди стимулов, порождающих в детской душе экикики, главную роль играет приятная новизна впечатлений. Новый человек. Новое, неслыханное слово. Новая, невиданная вещь. Внезапная перемена обстановки, даже перемена погоды.

Я никогда не забуду, как четырехлетнего украинца Валю поразил обломок утюга, внесенный зачем-то в квартиру.

Этот обломок показался ему такой сенсационной новинкой, что сначала он выразил свое изумление так:

— Тю! Половина утюга!

А потом, уловив в этой прозаической фразе хорей, тотчас превратил ее в стих и выкрикнул с мягчайшим украинским акцентом:

А-га-га! Тю-га-га!
Половина утюга!

А-га-га! Тю-га-га!
Половина утюга!

Это была опять-таки песня нечаянной радости.

И вот, например, экспромт Вики Ч. о неожиданном приезде отца:

Дримпампони!
Римпампони!
Едет папа на вагоне,
Молодец паровоз —
Хорошо его довез!

Отъезд больного отца в санаторий тоже может сделаться предметом веселых стихов:

Папа едет в Красный Вал
Поправляться наповал.

Но проходит еще два года, и в детских стихах появляются минорные звуки. Так, пятилетняя Мура, осматривая подарки, полученные ею в день рождения, произнесла элегически:

Если б каждо воскресенье,
Было бы мое рожденье,
Было б хорошо! —

и вздохнула о несовершенстве вселенной, где такие идеалы остаются мечтой.

По мере того как дети становятся старше, экикики умирают в их поэзии, и дети постепенно усваивают новые формы стиха, не связанные с экстатической пляской.

На шестом или чаще всего на седьмом году жизни они понемногу переходят от эмоциональных выкриков к чисто литературным стихам.

Вначале создается переходная форма, где еще господствует прежний хорей и рифмованные строки все еще распо-

ложены рядом, но эти строки уже выходят за пределы двустиший, а их тема становится гораздо сложнее.

Шестилетняя Аня, узнав, что какого-то мальчика высекла его сердитая тетка, воспела свою мать в таких стихах:

Мама умная была
И меня не посекла.
Ай люли, люли, люли,
Ты меня всегда люби,
Я теперь тебя люблю,
Не кап-риз-ни-ча-ю.

Это все еще экспромт, в ритме еще чувствуется некий экстаз, но стихи гораздо истовее, чем экикики, и, главное, втрое длиннее. Проходит еще полгода, и всяким экикикам конец. Стихи становятся нестройны и бесформенны, их ритмы начинают заметно хромать, потому что к этому времени ребенок утрачивает моторное ощущение стиха, и его импровизации выражают уже не экстаз, а чаще всего рассуждение, раздумье.

В этом отношении новый период детского стихотворства представляет собою высшую стадию по сравнению с предыдущим периодом, так что едва ли можно жалеть, что прогресс достигается ценою временного угасания чувства ритма.

Вот, например, какие непевучие стихи сочинил шестилетний Никита Толстой:

Некоторые люди нуждаются в молоке.
Но рыба в этом не нуждается.
Она плавает по реке.

Стихи резонерские. Их интонации подсказаны не песней, не пляской, а рассудочным, прозаическим говором.

Оттого-то в эту пору — от пяти до десяти лет — дети так часто слагают белые, «свободные» стихи — без всякого определенного ритма:

Я видывал яблоко
В царском саду.
Ему не завидовал:
Ведь оно за решеткой,
Оно за решеткой.

Эта элегия девятилетнего Кесария В. есть, в сущности, поэтическое рассуждение о рабстве. Она очень грациозна,

умна, но ее природа иная, чем в плясовых экикиках: правильный и стройный размер только испортил бы ее интонации.

Такое же разрушение «правильной» формы наблюдается и в другой элегии Кесария В.:

Между мрачными скалами
Одна сосенка растет
На берегу морском.
Она морю стон свой шлет:
«Ой, милые волны!
Вы ведрами льете соленую воду
На нежную кожу мою,
Мне больно, мне больно!
Вы, милые волны, оставьте,
Подумайте!»
Но волны не слушают стонов сосны.

Вначале поэт, очевидно, пытался построить это стихотворение хореем, но уже на третьей строке перешел к свободному стиху, а на пятой отказался от рифмы.

Одно время я был склонен ошибочно думать, будто здесь наблюдается некий регресс в душевном развитии ребенка. С горечью я отмечал, что, чуть только ребенок оторвется от пляски и песни, его стихи почти всегда становятся дряблой нескладицей. Они уже не возникают экспромтом, а, напротив, сочиняются, выдумываются, и мудрено ли, что в большинстве этих сочиненных стихов нередко отсутствует какой бы то ни было определенный напев или строй.

— Мамочка, послушай стихотворение, которое я сочинил, — говорит интеллигентский ребенок, четырех с половиною лет, и декламирует такие стихи:

Поздно вечерком
В поле я остался,
Лошади наши не будут видеть,
Куда ехать. Ну, что же? Я заеду, где одеяла взять,
На холодной травке
Будем мы лежать[1].

Это не проза и не стихи — это хаос. Попробуйте прочитать их вслух, и вы увидите, что ребенок словно сразу оглох,

---

[1] *Э. И. Станчинская.* Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет. М., 1924, с. 67.

сразу потерял чувство стиха, еще вчера поражавшее своей остротой.

Особенно огорчали меня стихи восьмилеток — грамотных, благонравных детей, которые для сочинения стихов прилежно садятся с карандашом за бумагу и тем самым отрывают себя от каких бы то ни было ритмических действий — от пляски и махания руками.

Правда, у некоторых особо одаренных детей тяготение к музыке стиха, к его ритму сохраняется и в этот период, о чем свидетельствует, например, в своей автобиографии Александр Твардовский: приблизительно на восьмом году жизни он сочинил одно стихотворение, в котором, по выражению поэта, не было «ни лада, ни ряда, — ничего от стиха». «Но я, — говорит он, — отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого, — и лада, и ряда, и музыки, желание родить их на свет, и немедленно, — чувство, сопутствующее и доныне всякому замыслу»[1].

Именно в тот период, когда ребенок не имеет ни малейшей возможности удовлетворить собственным творчеством свое «горячее до сердцебиения желание лада и ряда», он чаще всего удовлетворяет его чужими стихами, причем порою эти чужие стихи так интенсивно переживаются им, что он по душевной неопытности готов считать их автором себя.

— Бабушка, — говорит восьмилетняя Вера, — запиши в тетрадь стихи:

Безмолвное море, лазурное море!

— Но ведь это не твои стихи, это написал Жуковский.

— Да... Только это и мои тоже... Пускай это будут и его стихи, и мои — вместе!

— Как же ты выучила эти стихи?

— Говорю же я тебе, что я их не учила; я сама их сочинила. Ведь это же про Крым. Как же ты не понимаешь?

Вот типичное отношение восьмилетнего автора к творчеству его великих предшественников. Точно такой же случай сообщила мне Е. В. Гусева из Киева:

«Однажды утром Светик проснулся с озабоченным видом и потребовал, чтобы я поскорее одела его.

---

[1] *А. Твардовский.* Статьи и заметки о литературе. М., 1961, с. 153.

– Я хочу написать стихи, только не детские, а для больших...

Светик сел к столу, взял карандаш и бумагу и задумался. Потом говорит:

– Знаешь, мама, я напишу «Выхожу один я на дорогу».

– Но ведь это не твои стихи, а Лермонтова.

– Так ведь Лермонтов умер, мамочка, пусть это будут теперь мои стихи».

Назвать этих детей плагиаторами может, конечно, лишь тот, кто совершенно не знает детей.

Впрочем, такие случаи сравнительно редки. Чаще всего стремление «к ладу и ряду» выражается у восьмилетних детей подражанием.

В той же автобиографии Твардовского приводятся такие стихи, сочиненные им в этом возрасте:

Раз я позднею порой
Шел от Living Вознова домой,
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога;
На лужайке меж ракит
Шупень старый был убит...[1]

Стихотворение написано под влиянием Пушкина: четыре строки по «Вурдалаку» и две – по «Шотландской песне» («В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый»)[2]. Если даже такой самобытный поэт, как Твардовский, начал в детстве с подражательных стихов, что же сказать о тех детях, стихотворство которых есть явление временное, всецело обусловленное определенным периодом их духовного роста? Все их «творчество» в этот период сводится чаще всего к перепевам. На конкурс, устроенный Центральным домом художественного воспитания детей (в Москве), школьник Исидор Амшей прислал, например, такие стихи, внушенные «Тремя пальмами» Лермонтова:

В песчаных степях каракумской земли
Три гордых шофера машину вели.

В печати не раз отмечалась эта склонность школьников

---

[1] *А. Твардовский.* Статьи и заметки о литературе, с. 154.

[2] Впрочем, возможно, что рифма «ракит» и «убит» была внушена Твардовскому фольклором.

ориентироваться в своем стихотворстве на знакомые литературные тексты. Педагог Пасхина приводит, например, такие стихи, заимствованные учениками у классиков:

Еще в полях белеет снег
И грач не прилетел...

Весна! как много в звуке этом...[1]

Детьми воспроизводятся не только чужие сюжеты, но и чужие ритмы. Так, Вера Н., начитавшись и наслушавшись Некрасова, начала писать свои стихи некрасовским щемящим анапестом:

Не ходите гулять, мои детки,
Не губите сердечко мое!
Будьте добрыми, милые детки,
Пожалейте сердечко мое!

Перечитывая такие стихи, я ещё нежнее вздыхал о моих любимых экикиках, которые рядом с этими виршами казались мне еще звонче и ярче.

V. О СТИХОВОМ ВОСПИТАНИИ

Но потом я понял, что был не прав, осуждая стихотворения старших детей. Как бы ни были плохи эти тусклые строки, оторванные от жеста и пения, они являют собой высшую стадию в развитии ребенка именно потому, что они оторваны от жеста и пения.

До четырехлетнего возраста ребенок был и поэт, и певец, и плясун одновременно, а теперь стихотворство впервые становится для него самостоятельной деятельностью, отделенной от всякого другого искусства.

Кончился период слияния поэзии с криками и топотом ног, началась эпоха дифференциации искусств, соответствующая более высокой культуре.

До этой поры всякий стих, произносимый ребенком, был лишь одним из элементов игры, а теперь он — самоценное целое. Как же ему не спотыкаться на первых порах!

---

[1] *А. Пасхина.* Школьные поэты. Журнал «Искусство в школе». 1928. № 1, с. 26. См. также: *В. Правдухин.* Маленькие поэты. Журнал «Учитель и школа». 1914. № 3. с. 16–31.

Впрочем, он спотыкается далеко не всегда, ибо перерождение ритма не есть еще уничтожение ритма.

Вчитайтесь, например, в такие строки четырехлетнего Адика Павлова:

Мы пойдем в лес,
Будем там собирать чернику, пьянику и грибы.
Мы пойдем в сад,
Будем рвать там вишни и цветы...

Мы пойдем на волю,
Будем гнать домой коров.
Мы пойдем на речку,
Будем купаться и сидеть на песке[1].

Эти стихи еще не оторвались от песни, но плясовых элементов у них уже нет никаких. И тем не менее в них слышится отчетливый внутренний ритм: недаром они разделены на параллельные двустишия.

«Правильными» же ритмами дети овладевают лишь на десятом году, а иные и позже. Вот какой сатирический (почти правильный) ямб сложила в старину девятилетняя школьница о своем ненавистном учителе:

Сидит мучительный,
Карандашом стучительный.

А другая сочинила такую элегию:

Экзамен,
Как камень,
На сердце упал
И долго-
Предолго
На месте лежал.
И ждет моя Нина, когда все пройдет,
Когда сдаст экзамен и камень спадет[2].

Это очень четкий амфибрахий, выдержанный от первой строки до последней. Но, вообще говоря, организованная, вполне литературная форма появляется, как я заметил, лишь у детей двенадцати-тринадцати лет, и только тогда, но не раньше, можно с некоторой долей вероятия определить, у кого из них есть поэтический дар.

---

1 *А. Д. Павлова.* Дневник матери. М.–Л., 1924, с. 102, 105.

2 *А. Крученых.* Собственные рассказы, стихи и песни детей. М., 1923, с. 10.

Вот отрывок из поэмы одной — несомненно, талантливой — двенадцатилетней писательницы, воспевающей электрификацию деревни:

Повернула в хлеву выключатель,
Расплескался по стенам свет,
Удивленно коровы мычали,
Покосясь на лампочку ГЭТ.

Стихи подражательные, но, если бы в школе, где учится девочка, нашелся педагог, понимающий дело, она, может быть, выбилась бы на самостоятельный путь[1].

Конечно, никто не требует, чтобы педагоги делали учеников стихотворцами, но они обязаны научить их подлинному восприятию стиха, развить у них умение наслаждаться стихами.

Все это очень волнует меня, так как я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею.

Я давно уже с грустью слежу, как иные педагоги убивают в ребенке естественное чувство стихотворного ритма, которое, как мы видели, присуще ему в раннем детстве.

Многие даже не задумываются над тем, что если дети обучаются пению, слушанию музыки, ритмической гимнастике и проч., то тем более необходимо обучать их восприятию стихов, потому что детям, когда они станут постарше, предстоит принять огромное стиховое наследство от Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока, Маяковского, Байрона, Гёте, Гюго. Но что сделают с этим наследством наследники, если их заблаговременно не научат им пользоваться? Неужели никому из них не суждена величайшая радость: читать, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?

---

[1] Впоследствии так и случилось. Ныне она известный советский поэт Ольга Берггольц.

Но что сделано педагогами нашими для стихового воспитания детей?

Где бы я ни очутился, я, ни минуты не медля, прямо с парохода или с поезда бежал к детворе — в детский сад или в детский дом — и всюду видел столько настоящей и нежной заботы о детях, что весело было глядеть.

Но в этой бочке сладчайшего меда всегда была ложка дегтя. Покуда дети пели, плясали, играли, работали, я смотрел на них с большим удовольствием. Когда же они начинали читать мне стихи, которым их научили в школах или в детских домах, я нередко чувствовал себя истинным мучеником. Наряду с произведениями Твардовского, Маршака, Михалкова — штампованные фразы, сумбурная ритмика, грошовые рифмы. Я готов был плакать от досады. Я говорил, что, приучая детей к такой мертвечине, мы калечим их художественный вкус, искажаем их литературное развитие, внушаем им неряшливое отношение к слову, что вся эта труха затрудняет несчастным детям доступ к подлинным произведениям поэзии, — но многим педагогам моя писательская боль была чужда, так как эти отличные люди (такие полезные в других отношениях) лишены были словесной культуры. У них не было никакого мерила для оценки произведений поэзии.

Это глухонемые в опере. Они не могли бы отличить Баратынского от Надсона или, скажем, Плещеева. Для них звучат одинаковым звуком и ямбы Барбье, и анапесты Некрасова, и стукотня халтурящих писак. Почти в каждом детском доме, в каждой школе я видел даровитых детей, из которых при других обстоятельствах могли бы выработаться неплохие писатели, но их дарования глохли в тех антилитературных условиях, в которых они находились. «Исправления», внесенные в их стихи педагогами, почти всегда ухудшали первоначальную версию.

До чего нечувствительны многие взрослые к ритмике детских речей, свидетельствует, например, такая запись в одной педагогической книжке:

«Вове Г. (2 года и 4 месяца) сестра-воспитательница говорит, вводя его в спальню:

— Тихонько, Вова, не шуми, потому что Яша спит.

— Патянюсся Яся пит! Патянюсся Яся пит! Патянюсся Яся пит! — повторяет Вова шепотом и, уже уложенный в кроватку, шепчет это до тех пор, пока не засыпает.

В данном случае новым для него явилось слово «потому что», которое ему и нужно было заучить»[1].

Факт любопытный, но объяснение факта неверное. Ребенок совсем не оттого повторял эти фразы, что ему хотелось зазубрить незнакомое слово. Он повторял их оттого, что в них был ритм, его излюбленный ритм — хорей. И автор должен был печатать их не прозой, а стихами:

Патянюсся Яся пит!
Патянюсся Яся пит!
Патянюсся Яся пит!

Я привожу этот случай, чтобы показать, как мало внимания уделяли еще так недавно даже наиболее квалифицированные из наших педагогов стиховым излияниям детей. Даже слыша своими ушами, как ребенок услаждает себя напевным повторением стихотворной строки, они не замечали стихов, а усматривали тут одну зубрежку.

К счастью, такое пренебрежение к стихам мало-помалу отодвигается в прошлое. Усилиями передовых педагогов, их учеников и последователей стиховое воспитание начинает входить в систему педагогики детского сада. Любовно и вдумчиво составлена известная книга Академии педагогических наук «Художественное слово дошкольнику» («Пособие для воспитателей детских садов». М., 1952).

Редактор книги очень хорошо говорит в предисловии и о «музыкальном рисунке» стихов, и о «звуковом рисунке» поэтических образов, и о методике развития «чувства ритма» — хорошо, но как-то робко, вполголоса, ежеминутно подкрепляя свои мысли целым ворохом авторитетных, но совершенно излишних цитат из области физиологии и лингвистики, словно приобщение ребенка к поэзии нуждается в таких многочисленных идейных подпорках. Надеюсь, что в новом издании книги большинство таких подпорок уже не понадобится.

Увы, существуют и посейчас методисты, которые, говоря о художественном воспитании детей, совершенно игнорируют поэзию. Таков, например, Н. И. Болдырев, автор книги «Роль школы и семьи в воспитании детей». В этой

[1] *Л. В. Полежаева.* Детская речь и развитие ее. М., 1927, с. 19.

книге скрупулезно учитывается воспитательное значение музыки, живописи, театра, кино, — но о стихах ни полслова.

*

В заключение я хотел бы сослаться на свой собственный педагогический опыт.

Воспитывая своих детей, я пытался привить им с самого раннего возраста строгий и здоровый эстетический вкус, дабы забронировать их от литературной пошлятины.

Надежным материалом для достижения такой воспитательной цели послужил мне, конечно, фольклор — главным образом героический эпос. Я читал своим детям и их многочисленным сверстникам былины, «Одиссею», «Калевалу» и убедился на опыте, как нелепы и беспочвенны опасения взрослых, что дети не поймут этой поэзии.

Нужно только исподволь приучить их к непривычному для них складу речи, и они будут готовы часами слушать эти гениальные поэмы, в которых так много очаровательной детскости. Самая лексика этих поэм, поначалу якобы чуждая детям, отпугивающая их своей архаичностью, будет в конце-концов воспринята ими как близкая, живая, понятная, и они не только полюбят ее, но и введут в свой речевой обиход, что неминуемо должно повлиять на их общее языковое развитие.

Особенно привлекательными для детей оказались былины о Добрыне, Ваське Буслаеве, Чуриле, Илье Муромце, Дюке, Алеше Поповиче. Сборники былин (Гильфердинга и Рыбникова) сделались любимейшими детскими книгами. Самое звучание этих поэм до того полюбилось детям, что даже во время игр их речь стала сбиваться на былинный размер. В их лексиконе появились такие слова, как «ярлыки скорописчаты», «кале́на стрела», «кинжалище булатное». Дело дошло до того, что мой маленький сын однажды назвал свою мать «мате́ра вдова Амелфа Тимофеевна».

Приобщая детей к нашему национальному эпосу, я тем самым пытался выполнить один из патриотических заветов Белинского. «Очень полезно, и даже необходимо, — писал Белинский, — знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные

сказки Кирши Данилова»[1]. (Так назывались в ту пору былины. — *К. Ч.*)

Результаты такого раннего знакомства детей с богатырскими песнями не замедлили сказаться позднее на моем малолетнем сыне Борисе, о котором я сейчас говорил. К великому удивлению всех окружающих, он, едва научившись писать, сочинил целый цикл былин и тогда же своим неумелым, младенческим почерком записал их в тетрадку, хранящуюся у меня до сих пор.

Привожу одну из них с буквальной точностью: здесь выправлена лишь орфография, а в тексте не изменено ни единого слова. Дата былины — 1919 год, когда кто-то сдуру рассказал при ребенке ходившие по городу слухи, будто на улицах орудуют ночные разбойники, которые прыгают выше домов при помощи особых пружин, прикрепленных у них к сапогам. Одеты они будто бы в саваны. Городская охрана (сокращенно «Горохр» — так называлась в ту пору милиция) ведет с ними упорную борьбу. Об этих «пружинках» и повествует в былине ее восьмилетний автор:

БОЙ ПРУЖИНОК
С ВАСЬКОЙ САПОЖНИКОВЫМ

А не золото с золотом сливается,
А не сéребро с сéребром стекается,
А не две горы вместях да сокатаются,
А со всех сторон пружинки собираются,
Собираются на кладбище Смоленское,
На Смоленское кладбище огромное.
А и думают они думу великую,
А великую думу не малую,
Как побить охрану Петроградскую,
А и всю милицию горохрскую,
Чтобы больше их не преследовали,
Не преследовали их, не закапывали,
Не расстреливали их больше пулями,
Крепкими пулями свинцовыми.
А выходит покойник один в саване,
А и в белом саване светящемся.
Говорит покойник таковы слова:
«Ах вы, гой еси, пружинки вы все лютые,
Вы все лютые пружинки богатые,
Мы пойдемте-ка по улице похаживать,
А и будем мы охрану Петроградскую,

[1] *В. Г. Белинский.* Полн. собр. соч., т. IV, М., 1954, с. 88.

Петроградскую охрану поколачивать».
Не успел пружинка слово вымолвить,
Закричали все пружинки зычным голосом:
«Мы пойдем-ка по улице похаживать,
А и будем мы охрану Петроградскую,
Петроградскую охрану поколачивать!»
Побежали все пружинки по городу,
По стольному по городу по Питеру,
А и стали охрану Петроградскую,
Петроградскую охрану поколачивать.
Вдруг навстречу им да трамвай катит,
А трамвай катит да с вагонетками.
С вагонеток бежит добрый молодец,
А по имени Васька Сапожников.
Налетели на Ваську три покойника,
Он первого покойника взял разорвал,
Второго покойника взял растерзал,
А третьего покойника взял за ноги,
Стал по улице похаживать,
Стал пружинок пружинкой поколачивать.
А и бил он пружинок ровно три́ года,
Ровно три́ года да три часа.
Три часа да три минуточки.
Намахались его плечи могучие,
Разорвались его латы кольчужные,
А не может он побить покойников.
Наконец хотел Васька отъехати.
Из небес же тут Ваське глас гласит:
«Ах ты, гой еси, Василий, сын Сапожников,
Отсель тебе не уехати.
Ты сражался с пружинками ровно три́ года,
Ровно три года да три́ часа,
Три часа да три минуточки,
Посражайся еще восемь лет».
И послушался Василий, сын Сапожников.
Стал сражаться снова с пружинками.
А и день за день, будто дождь дождит,
А неделя за неделей как река бежит,
А и год за годом как трава растет,
А проходит ровно восемь лет,
А побил он всех покойников,
Всех покойников до единого.
А тут покойникам славу поют.
А и славу поют им век по́ веку.

Сколько я ни вчитываюсь в эти стихи, я не вижу здесь ни единого отклонения от канонического стиля былин. Ясно, что юным поэтом вполне усвоены своеобразные формы этого трудного жанра – и ритмика, и синтаксис, и лексический строй – и что он свободно распоряжается ими. Когда

он вырос, литература не стала его специальностью. Но привитая с детства любовь к бессмертной народной поэзии осталась в нем до конца его жизни и вооружила его раз навсегда верным и строгим вкусом, этой драгоценной — и такой редкой — способностью ориентироваться среди хаоса литературных явлений, отличая подлинное искусство от всяческой фальши.

Приведу стихотворение двенадцатилетнего поэта Капралова, насыщенное мальчишеской неукротимой энергией:

ПАРОВОЗ

Паровоз, паровоз,
Силы в тебе сколько!
Ты везешь тыщи тонн,
Как не лопнешь только.
Ты идешь день и ночь,
И идешь ты быстро.
Нету друга у тебя
Лучше машиниста.
И в Москву ты прилетел,
Обливаясь паром,
С машинистом удалым,
С черным кочегаром...
И т. д.

«Паровоз» напечатан в сборнике «Стихи детей», вышедшем в Ленинграде под редакцией С. Я. Маршака в 1936 году.

Если хотите, чтобы на вас так и хлынуло горячей волной давно забытое детское счастье, прочтите стихотворение «Мимоза» двенадцатилетней школьницы Лены Гулыги. Здесь очень четко срисован этот южный весенний цветок — «желтые шарики», «легкие перышки», — но подлинная лирическая тема стихотворения не мимоза, а бесконечно счастливое детское двенадцатилетнее сердце, до краев переполненное радостью жизни. Автор щедро раздает эту радость всем и каждому, кто в зимнюю стужу на улицах обледенелого города среди вывесок, троллейбусов, автомобилей, витрин вдруг натыкается — как на нежданное чудо — на этот поэтический предвестник весны.

Хотя все стихотворение насыщено юмором, в его подтексте с самого начала ощущается пафос, полно раскрывающийся в последних строках. Вообще конец «Мимозы» сильнее начала, но все ее части так органически слиты, в ней такая цельность и выдержанность, что охотно прощаешь и

сбивчивую дикцию второго стиха («дел своих, забот»), и чрезмерное скопление глагольных созвучий, которое могло бы оказаться губительным для большинства наших «взрослых» стихов. Все искупает прелестная свежесть непосредственного детского чувства.

МИМОЗА

На улицах московских торопится народ.
Множество у каждого дел своих, забот,
По улице иду я — витрины в огнях, —
Веточка мимозы у меня в руках.
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе!
Видать, не побоялась мороза на дворе!»
Еду я в троллейбусе,
Еду я в метро
Люди удивляются,
Люди расступаются,
Люди улыбаются радостно, тепло:
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе?!»
«Повыше подымите — не смяли б у дверей!»
«Да где ж это мимозу покупали вы?»
Мартовская веточка на улицах Москвы...
Легкие перышки колышет ветерок,
Желтые шарики — пушистый огонек
Люди удивляются,
Люди расступаются,
Люди не толкаются,
Люди улыбаются радостно, тепло.
Где ветка появляется, становится светло!
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе!»
Веточка кивает бегущей детворе...
«Погляди-ка, мама! Человек с цветами!»
Я человек с цветами!
Какое это звание — человек с цветами!
Перышки зеленые колышет ветерок,
Шарики-фонарики, ломкий стебелек...
«Да откуда ж вы взяли?»
«А понюхать нельзя ли?»
«Если вы устали,
Мы бы подержали!»
Светлее, чем витрины, рекламы, фонари,
Пушистый огонек мой,
Гори, гори, гори!

Надеюсь, что моя похвала не вскружит голову молодой поэтессе, так как она не должна забывать, что детская талантливость (в живописи, в поэзии, в музыке) очень часто иссякает с годами, и я знаю немало двенадцатилетних поэтов,

которые через семь-восемь лет, утратив поэтический дар, становились отличными конструкторами, моряками, геологами. Как бы то ни было, ее «Мимоза» — большая удача. Недаром Лена несколько лет занималась в литературном кружке Московской детской библиотеки им. Ломоносова под руководством педагога-энтузиаста Владимира Глоцера.

В 1964 году этому педагогу посчастливилось напечатать книгу о поэтическом детском творчестве, озаглавленную «Дети пишут стихи».

Внимание к детской психике, к детскому творчеству настолько усилилось в нашей стране, что книга «Дети пишут стихи» оказалась в центре внимания многих передовых педагогов. Книга отличная — разошлась буквально в два-три дня. Критика встретила ее с необычайным радушием. Такой же сердечный прием оказан читателями и другой книге того же автора — «Раннее солнце», где собраны стихи тринадцати детей от 5 до 12 лет (с прелестными рисунками Игоря Рублева).

Вот стихи моей покойной дочери Муры Чуковской, написанные в крымском санатории (в Алупке), едва ей исполнилось десять лет. В этих стихах она описывает свой санаторий и вспоминает тот дом в Ленинграде, где она родилась. Любовь к поэзии была привита ей с детства: лет с семи она страстно любила читать и перечитывать «Кубок» и «Роланд-оруженосец» Жуковского, «Гайавату», былины, «Мороз, Красный нос». В поэзии она черпала душевные силы во время своей тяжелой болезни.

ВОСПОМИНАНИЕ

Я лежу сейчас в палате
Рядом с тумбой на кровати.
Окна белые блестят,
Кипарисы шелестят,
Ряд кроватей длинный, длинный...
Всюду пахнет медициной.
Сестры в беленьких платках,
Доктор седенький в очках.
А за сотни верст отсюда
Звон трамваев, крики люда.
Дом высоконький стоит,
Прямо в сад окном глядит.
В этом доме я родилась,
В нем играла и училась.
Десять лет там прожила
И счастливая была.

МЫ ЛЕЖИМ

Мы лежим, мы лежим на желтой площадке,
Воробьи — чик-чирик! — скачут под кроватки.
Много, много, хлеб клюют, пыжатся, дерутся,
И из бочки воду пьют, пока не напьются.
Кошка серая идет, подползает близко.
Но проворные они, не поймает киска.

ФЛАГ

Гляжу я на флаг, прикрепленный на крыше,
Он рвется, он вьется, он с ветром играет.
Но чуть только ветер подует потише, —
Безжизненной тряпкой он с палки свисает.

VI. ЭКИКИКИ И НЕ ЭКИКИКИ

Но вернемся к нашим экикикам. На предыдущих страницах мы видели:

1. Что это экспромты, порожденные радостью.

2. Что это не столько песни, сколько звонкие выкрики или, как я их называю, «кричалки».

3. Что они не сочиняются, а, так сказать, вытанцовываются.

4. Что их ритм — хорей.

5. Что они кратки: не длиннее двустиший.

6. Что они выкрикиваются по нескольку раз.

7. Что они заразительны для других малышей.

Но не нужно думать, будто стихи двухлетних — четырехлетних ребят всегда и непременно экикики. Малышам доступны и другие стихотворные формы. Какие — об этом еще рано судить, так как детских стихов у нас собрано очень немного. Время обобщений и выводов еще не пришло, сперва необходимо собрать материал. В качестве такого материала я могу напечатать только десять — пятнадцать стишков. Правильная их оценка будет возможна лишь после того, как мы соберем их тысяч пять или шесть да разобьем их на группы соответственно той обстановке, в которой они создавались.

Вот баллада четырехлетнего Никиты Толстого:

На крыше ворон: кар, кар, кар!
Увидел в небе желтый шар
С глазами, носом и со ртом
И с очень круглым животом.

Как и подобает всякой традиционной балладе, здесь есть и ворон, и ночь, и луна. Стих очень крепкий, то, что называется, кованый, ритм четкий, рифмы точные. Другая баллада того же поэта посвящена мореплаванию:

Красивая лодка
По морю плывет,
По морю плывет.
За лодкой селедка
По морю плывет,
По морю плывет.

Достигнув пятилетнего возраста, Никита создал нечто вроде триолета:

Бабушка спит,
Она храпит.
Из-под подушки вылезает кит.
И говорит:
«Бабушка храпит,
Она спит».

Много у него также своеобразных зарисовок с натуры — тех моментальных стихотворных эскизов, которые некогда так удавались великому автору «Листьев травы»:

Катенька сидит на барабанчике,
Сосет пальчики.

Или:

Взял Дмитрий Иваныч
Подсвечник и свечку
И смотрит внимательно на печку.

Ритм уитменский, свободный, вполне соответствующий сюжету и стилю стихов. А младший брат Никиты, Митя Толстой, в три с половиною года сочинил такую песню о городе:

Товарищи, что за крик?
На нас едет грузовик.
Товарищи, что за вой?
На нас едет ломовой.
Товарищи, что за пыль?
На нас едет автомобиль.

Уже по этим немногим стишкам можно видеть, какое разнообразие форм доступно малолетним поэтам. Конечно, Никита и Митя Толстые не могут служить нормативными образцами детей, так как они выросли в литературной среде: и отец, и мать у них писатели (А. Н. Толстой и Наталья Крандиевская). Но вот стихи Ирины Ивановой, трех с половиною лет, дочери заводского врача:

1

ГЛУПЫЙ КОТ

Видит кот: лежит коробка,
Он ее и проглотил.
И за это в больницу покатил.

2

ВОЛК И КУРИЦА

Идет волк по улице,
Видит три курицы.
Захотел он их съесть,
Надо через забор перелезть,
Разбежался волк: раз, два, три!
Ну, курица! смотри!

3

ОБЛАЧКО

– Здравствуй, дружище!
– Здравствуй, комарище!
– Где ты был?
– В лавочку ходил.
– Что купил?
– Облачко купил.
– Где оно?
– Съел давно.

В большинстве всех этих детских стихов рифмованные строки стоят рядом. Иного чередования рифм дети-поэты не любят. Им доступны главным образом смежные рифмы. Детское ухо не способно так долго удерживать в памяти окончание предыдущей строки, как его удерживает ухо взрослых. Стихи Ирины Ивановой в этом отношении чрезвычайно типичны:

Лиса дремала
И скучала.
Увидала воробья:
Цап-царап! — и съела.
Вот тебе и дело!

Здесь указание для детских писателей, которые порою в своих стихах доходят до такого невнимания к детям, что щеголяют рифмами, отстоящими одна от другой на три или четыре строки. Например:

Том столовою ложкою ест варенье.
Ягоды прячет в карманы:
— Ничего, что протекут!
И конфеты, и каштаны,
И любимое теткино печенье...

Здесь варенье так далеко от печенья, что созвучие перестает быть созвучием.

Такого размежевания рифм нет ни в одном из народных стишков для детей, ни в пушкинских сказках, ни в ершовском «Коньке-горбунке», где рифмы всегда в самом близком соседстве — как бы специально для детского уха.

Особую категорию стишков составляют те монологи, которые произносят одинокие дети, увлеченные какой-нибудь длинной игрой. Эти монологи длятся порой часа полтора и вмещают в себе до тысячи строк. Превосходный монолог своего пятилетнего сына записала у себя в дневнике Э. Станчинская. Мальчик был болен, полусидел в кровати и, самозабвенно играя в войну, сопровождал свои военные действия такими стихами:

Быстро солдаты, быстро, быстро идут на войну.
Быстро встречают красноармейцев,
Быстро стреляют прямо в бок одному,
Быстро летают пули.
Встречаются быстро,
Прямо идут,
На войну прямо, раз-два, раз-два,
Понимаете, раз скорее, раз скорее.
Поперба-ба-ба-ба...
Остановились! Пришли! Войско так!
На бок! Винтовку! Паф!
Быстрое солнце скоро зашло,
Красное солнце скоро зашло,

Идут же темной ночью,
Красноармейцы идут.
Красная Армия уже близка.
Красноармейцы идут да идут.
Откуда-то пули быстро стреляют.
Летят пули далеко, а им же не видно.
Что-то на небе быстро летит.
Огонь освещает,
Летят аэропланы, и быстро красноармейцы пришли...[1]

Здесь так и чувствуешь пульсацию воинственной мальчишеской крови. Недаром слово «быстро» повторяется здесь одиннадцать раз. Даже солнце в этой пылкой игре пробегает по небу, как молния:

Быстрое солнце скоро зашло.

«Быстрое солнце» — неслыханный в поэзии эпитет. И какое множество глаголов! Что ни строка, то глагол: «идут», «встречают», «стреляют», «летают».

В Симферополе перед памятником Ленину неизвестный мне мальчик лет пяти произнес:

В Мавзолее ты лежишь
И по-мертвому молчишь,
Подожди, я подрасту
И тебя в о с к р е с т у.

*

Дети нередко прибегают к повторениям начальных слов каждой строки сочиняемых ими стихов. Эти единоначатия ярче всего выражают песенный лад их поэзии. Таково, например, стихотворение четырехлетней Е. К.:

Жил-был мальчик не простой,
Жил-был мальчик золотой.
Жил-был мальчик, не шалил,
Только с папой водку пил.

Хотя в стихах этого рода тоже преобладает хорей, но он часто уступает место другим ритмам — в зависимости от вы-

---

[1] *Э. И. Станчинская.* Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет. М., 1924, с. 100. Превосходный образец той эгоцентрической речи детей, которую Пиаже называет «внутренней речью» по психологической функции и «внешней» по форме.

ражаемых ими эмоций. Вот, например, великолепный анапест четырехлетнего мальчика, которому только что объяснили, что значит слово «всегда». Уразумев это слово, он долго бегал взад и вперед по дорожке, а потом подбежал к маме и с какой-то торжественной страстью заявил свой протест против бренности всего существующего:

Пусть *всегда* будет небо!
Пусть *всегда* будет солнце!
Пусть *всегда* будет мама!
Пусть *всегда* буду я![1]

Стихи эти так поразили меня, что я поспешил обнародовать их в одном из первых изданий книжки «От двух до пяти».

Прошло лет тридцать, и взрослый поэт Лев Ошанин ввел их в качестве рефрена в свою песню. И произошло небывалое. Стихи ребенка зазвучали на всех континентах — и в Афганистане, и в Японии, и в Канаде, и в Индии, — уже не говоря об СССР. Одно время невозможно было пройти мимо детского сада или пионерского лагеря и не услышать многоголосого пения «Пусть всегда будет небо!». И во всех детских дворцах, детских клубах, во всех школах и детских библиотеках стали красоваться плакаты с этим же четверостишием ребенка. Песня самого Ошанина по своему качеству была не хуже других его песен, но рядом с этими детскими стихами сильно потускнела, поблекла. Так опасно иным поэтам состязаться с четырехлетним ребенком!

Стихи и в самом деле замечательные, едва ли не лучшие из напечатанных в настоящей главе. С большой энергией выражается в них несокрушимая вера ребенка в бессмертие всего, что он любит. Так и слышишь мажорный мальчишеский голос, прославляющий жизнь, которой не будет конца.

Начальные слова каждой строки в этом детском четверостишии тождественны. Чаще бывает, что в создаваемых ребенком стихах повторяются не первые слова, а последние, завершающие каждую строку. Характерно в этом отношении прелестное стихотворение семилетней Танюши Литвиновой, где в конце каждой строки варьируется слово «Москва»:

---

[1] «Родной язык и литература в трудовой школе». 1928. № 4, с. 179.

Город чудный Москва!
Город древний Москва!
Что за Кремль в Москве!
Что за башни в Москве!
Англичане в Москве!
И китайцы в Москве!
И все хвалят город Москву!

Как утверждает американская исследовательница детской психики Люси Спрэг Митчель, эта форма, столь часто встречающаяся в древнем восточном фольклоре, специфически свойственна детям. Митчель приводит такие стихи, сочиненные девочкой, еще не достигшей трехлетнего возраста:

Я упала в воду.
Человек упал в воду.
Джон упал в воду.
Фор упал в воду.
Тетя Керри упала в воду.

Я достала лодку.
Человек достал лодку.
Джон достал лодку.
Фор достал лодку.
Тетя Керри достала лодку.

Я поехала на лодке.
Человек поехал на лодке.
Джон поехал на лодке.
Фор поехал на лодке.
Тетя Керри поехала на лодке[1].

Горе, что у нас так мало материалов. Много ли существовало в прежнее время родителей, которые стали бы записывать такие стишки! Между тем эти стишки в своей массе могут принести несомненную пользу и педагогам, и критикам, и детским писателям, и даже художникам-иллюстраторам книг для детей. Даже художникам, потому что в огромном своем большинстве детские стихи отличаются изумительно четкой графичностью. Это, так сказать, стиховые рисунки. Вспомним вирши Никиты Толстого: в каждой строке отчетливый зрительный образ, который словно создан для примитивнейшей графики:

---

[1] *Л. Митчель.* Книга рассказов про здесь и теперь. М., 1925, с. 41—42.

Красивая лодка
По морю плывет,
По морю плывет.
За лодкой селедка
По морю плывет,
По морю плывет.

Четкий-четкий рисунок. Словно взял Никита карандаш и тремя штрихами нарисовал на бумаге «красивую лодку», плывущую (в профиль) в сопровождении сельди, которая нисколько не меньше, чем лодка, и до странности похожа на нее.

Такой же четкостью зрительных образов отличается стихотворение маленькой Ирины Ивановой, рисующее вид из окна во время гражданской войны и разрухи:

Дом поломанный стоит,
Крыша на земле лежит,
А рядом ребяты
Играют в солдаты.

Это именно рисунки в стихах. В четырех строках три рисунка: 1) сломанный дом, 2) сброшенная крыша, 3) играющие дети. И каждый из этих рисунков доведен почти до чертежа.

Из трубы идет дымок:
Мама жарит пирожок.

И вот экспромт девятилетнего Юры Грызлова, тоже основанный на зрительных образах:

Деревья машут лапками,
И снег летит, летит.
И воробей, нахохлившись,
На проводе сидит[1].

В четкой графичности детских стихов — указание художникам, иллюстрирующим детские книги, и поэтам, сочиняющим стихи для детей.

Жаль, что никто еще не разработал поучительной темы о взаимной связи детских стихов и рисунков и о параллельном развитии их форм.

В качестве сырого материала приведу здесь несколько любопытных стишков, сообщенных мне читателями в разное время:

---

[1] Журнал «Детская литература». 1967. № 6, с. 46.

1

СОЛНЦЕ
(Стихи трехлетней Таты)

Отворяйте ворота,
Солнце всходит на неба́!

2

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
(Стихи двухлетней Оли)

Было сухо, стало мокро
Оля сделала пипи.

3

ПРОВОДЫ
(Стихи трехлетней Светланы)

Я иду по камушку,
Провожаю мамушку.

4

СВИНЬЯ
(Стихи четырехлетней Лизы)

Сидит
За столом
Семья,
И вдруг
Вылезает
Свинья.

5

СТЫДЛИВЫЙ МЕДВЕЖОНОК
(Стихи четырехлетней Оли)

В углу стоит мишка,
Улыбается на книжку,
Ему стыдно сказать,
Что не умеет он читать.

6

СТАРИК
(Стихи пятилетней Ирины)

В бедной деревне
Жил бедный старик,
Так много лет он
Жить не привык.

7

НА ДАЧЕ
(Ее же)

Цветет редиска,
Поет артистка,
А я пью чай
Черезвычай.

8

ЗИМА
(Стихи четырехлетней Нины Глёкиной)

Я валяюсь на снегу.
Как приятно мне валяться,
Даже носом я могу
Ковыряться, кувыркаться.

Привожу для сравнения экспромты шестилетних детей:

9

ИЗ ОКНА

Гляжу из своего окошка
И вижу ясный день,
И зелени немножко,
И парусную тень.

10

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОЛОВЕЙ

Вышли в сад пройтиться детки,
Посмотреться на реку́,
Соловей сидит на ветке
И поет свое куку.

11

МОРЕРЕЦ

Море страшно зашумело,
Из моря вышел моререц.
Моререц! Моререц!
Принеси нам огурец.

Бывают минуты, когда ребенок в экстазе готов благодарить всю вселенную за то, что она существует. Один из таких гимнов природе создан шестилетним ленинградским поэтом Юрочкой Шенкманом:

12

СПАСИБО

Спасибо тебе, солнце, что ты есть!
Спасибо тебе, речка, что ты здесь!
Спасибо вам, цветы!
Спасибо вам, кусты!

Можно ли лаконичнее, сильнее и проще выразить тот восторг бытия, который так часто охватывает всю душу ребенка?

Немалую роль в раннем стихотворстве детей играют, конечно, взрослые. Выше было сказано, что первые свои «стиховые впечатления» дети получают еще в грудном возрасте, когда матери поют им колыбельные и другие подобные песни.

Перелистывая свои дневники, я наткнулся в них на давнишнюю запись:

«Четырехмесячный младенец лежит на кровати и пускает изо рта пузыри, а его мать, охваченная внезапным экстазом, вдруг бросается на него с поцелуями и выкрикивает такие слова:

Буцики, муцики, дуцики,
Руцики, пуцики, бум!
Куценьки вы, таракуценьки,
Пуценьки вы, марабу!»

Этих слов она никогда не слыхала и ни разу никому не говорила. Обычно ее речи бывали банальны и скудны.

И вдруг такой праздничный расцвет словотворчества, такие фейерверки экзотических звуков!

И что всего замечательнее — эти «буцики, муцики, пуцики» образуют собою стихи: в них есть и ритм и рифмы. Бессловесная, темная женщина сделалась на время поэтессой. За всю свою жизнь она не имела и отдаленного отношения к стихам и вот заговорила стихами.

Всему виною ее четырехмесячный Санька, который лежит нагишом у нее на постели, пуская изо рта пузыри. Она только что кормила его грудью и, чуть положила на кровать, набросилась на него, как безумная, и стала кусать губами его голое тело, ненасытно вдыхая в себя его запах, и тут-то я услыхал ее странные «буцики».

Ритм этих «буциков» был продиктован ей рядом однообразных повторных движений, которые она производила в то время. Как я заметил потом, у всех матерей при таких обстоятельствах движения почти всегда одинаковы.

Неотрывно глядя на ребенка, женщина молча пятится к стене и, отойдя шага на три, быстро возвращается к нему, произнося на ходу свою импровизированную стихотворную фразу, и снова молча пятится к стене, и снова совершает свое «нападение», произнося новую фразу (очень близкую вариацию старой), причем в конце каждой фразы ребенок как бы по сигналу заливается смехом. И это повторяется не меньше десяти или двенадцати раз строго размеренным темпом.

Оттого в материнских стихах такое правильное чередование пауз и такое четкое деление на строфы:

Рубашонка, шонка, тонка,
Рубашоночка!

Распашонка, шонка, тонка,
Распашоночка!

Для миленка, для дитенка,
Для дитеночка!

Так выкрикивала ночью у меня за стеной жена управдома, восхваляя новую рубашку своего грудного младенца.

Удивительно, что почти каждую мать охватывает такая внезапная страсть к ритмическим, стиховым излияниям во время каждого бурного приступа нежности. Насколько я мог проследить, эти материнские стихи связаны с периодом кормления грудью.

Почему-то в течение всего этого времени женщина в своих речах, обращенных к ребенку, начинает проявлять тяготение к стихотворному ритму — особенно в такие часы, когда она остается с ребенком одна.

Среди других категорий экстатической речи эти словоизлияния занимают не последнее место, и если уж доискиваться первоистоков поэзии, то придется признать, что стихотворные навыки в значительной мере внушены каждому из нас нашей матерью в пору раннего детства, прежде чем мы научимся говорить и ходить. Потому что, сама того не замечая, каждая мать почти всем своим обращениям к ребенку невольно придает если не чисто стихотворную, то ре-

читативную форму, которая хотя и не влияет на форму первого младенческого лепета, но все же приучает ребенка к восприятию ритмов.

VII. ЕЩЕ О СТИХОВОМ ВОСПИТАНИИ

Если бы книжка моя называлась «от сорока до семидесяти», я непременно отметил бы в ней, что люди, достигшие этого возраста — пожилые и старые, — сравнительно редко увлекаются чтением стихов.

Конечно, они не прочь иногда почитать того или иного поэта, но кому же из них придет в голову изо дня в день — и подолгу! — упиваться стиховыми созвучиями!

Одним гораздо милее кино, другие питают пристрастие к симфонической музыке, третьи — к живописи, четвертые — к шахматам, пятые любят романы и повести.

И это вполне естественно. Нельзя же требовать от инженеров, врачей, математиков, шахтеров, геологов, чтобы стиховые созвучия были в центре их умственной жизни!

Вообще я знаю десятки людей, которым стихи не нужны. Заставьте иного сорокалетнего человека, даже из числа образованных, прочитать «Илиаду», или «Калевалу», или «Метаморфозы» Овидия, или Тютчева, или Блока, или Кольриджа, или Роберта Бернса, и он утомится после первых же строк и, воспользовавшись первой возможностью, увильнет от дальнейшего чтения.

Среди взрослых я видел даже таких чудаков, которые предпочитают услышать «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» в опере и не знают «Домика в Коломне», так как эти гениальные октавы еще никто не догадался поставить в кино.

Но есть среди нас миллионы существ, которые все до единого пламенно любят стихи, упиваются ими, не могут без них обойтись. Это — дети, особенно маленькие. Среди взрослых вдохновенный поэт есть редчайшее явление, «чудо родины своей», а среди детей 99% — поэты. Ребенку еще нет и двенадцати месяцев, он еще не владеет активной речью, а посмотрите, с каким ненасытным удовольствием слушает он и бессмертные «Ладушки», и «Сороку-ворону», и «Кошкин дом», и другие шедевры народной поэзии.

Стихи для них — норма человеческой речи, естественное выражение их чувств и мыслей.

А на третьем, на четвертом году как жадно воспринимает ребенок стихотворные сказки, иногда очень длинные, по триста — четыреста строк, то есть целые поэмы, сразу после третьего чтения запоминает их полностью, от доски до доски. И все же деспотически требует, чтобы их читали ему еще и еще — несколько раз подряд, доведя до изнеможения и маму и бабушку, а порой и воспитателей детского сада.

Иные взрослые даже пугаются: не повредила бы незрелому мозгу такая тяжкая стиховая нагрузка.

Но для ребенка она не тяжка, тем более что по миновании надобности ребенок сам освободится от нее: после того как эти сотни стихов, усвоенные изумительной детской памятью, сыграют свою немаловажную роль в деле умственного и эмоционального развития ребенка, он тотчас же разгрузится от них и сохранит в памяти лишь сотую долю тех текстов, которые он знал наизусть в возрасте от двух до пяти.

Здесь сказывается с особой наглядностью диалектичность духовного развития детей. Ведь и собственное их стихотворство, и их неодолимая тяга к стихам, к слушанию и запоминанию стихов отвечают временной, скоропреходящей, но очень сильной потребности их интеллектуального роста.

Воспитателям нельзя не воспользоваться этим «стиховым периодом» в жизни своих малолетних питомцев, памятуя, что именно в этот период стихи являются одним из сильнейших средств педагогического воздействия на мысли и чувства ребенка; я не говорю уж о том, что они помогают ему ориентироваться в окружающем мире, а также плодотворно способствуют совершенствованию его языка.

Благодаря этим изящным словесным конструкциям, подчиненным гибкому музыкальному ритму, богато украшенным звонкими рифмами, ребенок играючи, без малейших усилий еще прочнее закрепляет в уме словарь и строй общенародной речи.

А если это так, нам, пишущим стихи для детей, необходимо обсудить со всей серьезностью, каким образом должны мы ответить на эти жизненно важные запросы ребенка, какую форму должны мы придать создаваемым нами сти-

хам, каких художественных методов должны мы придерживаться, чтобы стихи эти полюбились ребенку, стали для него желанны и близки.

Проблема эта не представляет особенных трудностей, ибо здесь у нас немало учителей и предшественников. И первый учитель, конечно, — народ, создавший в течение веков чудесные стихи для детей, недосягаемые образцы национальной поэзии.

Второй наш учитель — ребенок. Конечно, мы не должны раболепно приспособляться к нему и отказываться от суверенной роли его воспитателей, но если мы самым пристальным образом не изучим его вкусов и требований, нам никогда не удастся творчески влиять на него, и все наши усилия закончатся горестным крахом, ибо ребенок настоятельно требует от нас таких-то и таких-то стихов, оформленных так-то и так-то, и знать не желает других. Знаменитая мысль Толстого о том, что мы должны учиться писать у детей, была воспринята когда-то педагогами как эффектный парадокс гениального «чудака», но вся наша литературная практика служит подтверждением этой мысли.

Впрочем, обо всем этом речь впереди, а теперь мне хотелось бы снова вернуться к стиховому воспитанию детей.

Здесь советским педагогам приходится идти по целине, так как педагогическая практика старого времени даже не ставила перед собою подобной задачи. Детское стихотворство трактовалось тогда как сумасбродная блажь, которую никоим образом нельзя поощрять. Сохранилось немало свидетельств такого презрительного отношения к детским стихам. Думаю, что иные из этих свидетельств будет, пожалуй, небесполезно напомнить.

VIII. ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Молчаливый, насупленный мальчик поступил в знаменитый Лицей, где когда-то учился Пушкин. Вскоре оказалось, что он пишет стихи. Начальник и учителя всполошились. Изобличенный поэт был наказан. Но он не раскаялся и продолжал стихотворствовать, пряча свои стихи то в рукав, то в сапог. Их с торжеством извлекали оттуда и снова присуждали преступника к заслуженной каре.

Звали его Михаил Салтыков. Впоследствии, уже великим писателем, он не раз вспоминал, как усердно гасила в нем поэтический дар эта хваленая школа. Из автобиографии Салтыкова мы знаем, что за «стихотворную деятельность», а «равным образом за чтение книг» его особенно преследовал учитель русского языка, тот самый, которому больше всего надлежало бы радоваться литературным тяготениям даровитого мальчика[1].

В ту пору Царскосельский Лицей кичился своей верностью «традициям Пушкина», и если уж он преследовал детское поэтическое творчество как недопустимый порок, что же сказать о школах обычного уровня, не притязавших на «литературный уклон»!

Одаренных детей и тогда было множество, но в тех условиях, в которых они находились тогда, только чудо могло спасти их таланты от гибели. Как нечто стыдное, как скверную болезнь, приходилось им скрывать свои таланты. Одиннадцатилетний Шевченко, чувствуя неукротимое влечение к живописи, должен был прятаться со своими рисунками в колючий бурьян, «щоб не почув хто, не побачив», и горе было бы ему, когда бы об этих рисунках проведал его драчливый учитель...

В литературе того времени неуважение к детскому творчеству было самым заурядным явлением. У Николая Успенского есть забавный рассказ: пустяковые люди от нечего делать издают в деревенском захолустье газету. Чтобы показать, какая дрянь была эта газета, автор одним из ее сотрудников выводит десятилетнего мальчика и тут же сообщает образец его творчества:

«Появилось солнце, улыбаясь, точно юноша, беспечно играющий на руках (!) своей матери»[2].

Такая ахинея казалась в то время типичной для литературных попыток детей.

Автор «Антона Горемыки» Д. В. Григорович в своем «физиологическом очерке» «Скучные люди», перечисляя разные категории унылых и нудных субъектов, не забыл также и «всех мальчиков от двенадцати до восемнадцати лет включительно, одаренных каким-нибудь талантом». Сочи-

---

[1] *Н. Щедрин (М. Е. Салтыков).* Полн. собр. соч., т. 1. М., 1941, с. 81.

[2] *Н. Успенский.* Повести, рассказы и очерки. «Деревенская газета». М., 1957, с. 148.

няют ли эти мальчики стихи, рисуют ли картинки, они равно вызывают в писателе брезгливую скуку, и он ставит их на одну доску с тупицами.

«Таких юношей, – с горечью пишет Д. В. Григорович, – является год от году больше и больше; они распложаются, как кролики. Дай только Бог, чтобы скука (!), которую наводят они в юношеских летах, вознаградилась чем-нибудь в зрелом возрасте»[1].

Нынче эти строки кажутся нам непонятными. У нас так привыкли интересоваться художественным творчеством одаренных детей, что мы часто не в силах представить себе зевоту, с которой старик беллетрист говорил о пишущих и рисующих детях.

Другой влиятельный писатель сороковых – пятидесятых годов А. В. Дружинин в своем шуточном романе «Чернокнижников» посвящает целую главу осмеянию мальчика, который пишет стихи. Глава так и называется: «Опыты девятилетней музы, или Удивительный крошка, подающий большие надежды». Как явствует из романа, никаких надежд этот крошка не мог подавать никому, а просто его чванные родители разжигали в нем зуд честолюбия, похваляясь его творчеством перед своими гостями, и, когда он читал им кривые стишки, его возносили до небес как великого гения. Несмотря на хихиканье автора, чувствуешь острую жалость к несчастному, ни в чем не повинному мальчику.

«Лицо его, – читаем в романе, – было необыкновенно худо и зелено, он, казалось, едва передвигал ноги.

– Отчего он так худ? Видно, болен...

– О нет, не думайте!.. Он часто *работает* ночью, а оттого немного ослаб...»[2]

Ребенок работает ночью! И когда он декламирует стихи, родители поят его вином!

Для Дружинина все это уморительный случай – и только.

Но вот в Москву, в Центральный дом художественного воспитания детей, было однажды прислано свыше пяти тысяч детских рукописей со всех концов Советского Союза: из

[1] *Д. В. Григорович*. Скучные люди. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1896, с. 32.

[2] «Чернокнижников». Собр. соч. А. В. Дружинина, т. VIII. СПб., 1867, с. 28–36.

Омской области, из Ташкента, из Мурома, из Баку, из Алтайского края, ибо этот Дом объявил среди школьников всех республик, областей и краев Всесоюзный конкурс на лучшее произведение искусства. В этом конкурсе я принял участие в качестве члена жюри. Конкурс был строг и требователен. Все банальное, дряблое отметалось беспощадной рукой, и поощрялись произведения искренние, свежие, подлинно детские, не лишенные в то же время определенных литературных достоинств.

Сколько, например, этой свежести в таком самобытном изображении тыквы, которое дано белозерским школьником Сережей Орловым:

Лежит рядочком с брюквой,
И кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

Стихи обрадовали меня своей очаровательной детскостью. Так и видишь озорную физиономию их юного автора. Придавать динамичность неподвижному образу — эта склонность детского ума нашла здесь блестящее свое выражение[1].

С такой же энергией свежего чувства выражено любование летним пейзажем в стихотворении алтайского восьмиклассника Константина Евстафьева:

И синевы кругом так много,
Хоть зачерпни ведром и пей.

Перечитывая произведения детей, присланные в Дом художественного воспитания на конкурс, видишь, как разнообразны их темы. Этому разнообразию мог бы позавидовать и взрослый поэт. Вот стихи о геологии, вот о биноме Ньютона. Вот о старике чабане. Вот о концерте скрипачки Марины Козолуповой. Вот о солнечных зайчиках, о лыжах, об утках, о красоте зимней и летней природы; но больше всего в этих детских стихах воспевается счастье.

Все советские дети-поэты являются чуть не с пятилетнего возраста представителями так называемой «гражданской поэзии». Наряду с этим у них пробивается тема, которая до недавнего времени считалась почему-то запретной: любовь.

---

[1] Ныне Сергей Орлов стал профессиональным писателем.

Школа ханжески притворялась, будто ей совершенно неведомо то обстоятельство, что юношам и девушкам девятого и десятого классов свойственно порою влюбляться друг в друга. Любовь третировалась школой как постыдное подпольное чувство, которое необходимо замалчивать. Эти школьные стихи о любви являются протестом против такой педагогики. Виктор Яконовский, калининский школьник, пишет о разлуке с подругой:

На листву зеленую блестящую
Ветерок веселый набежал —
Я простился с ней по-настоящему:
Я ей руку бережно пожал.

Однако, читая и перечитывая стихи, присланные на конкурс, ясно видишь: это самотек. Там, на местах, никто не руководил стиховым воспитанием детей. Очень были рады их творчеству, проявляли нежнейшую заботу о них и в то же время ничему не могли научить их, так как и сами не обладали необходимыми знаниями.

И главное: как ни дорого само по себе наше бережное и заботливое отношение к талантливым детям, необходимо признаться, что порою оно кое-где принимало чрезмерные формы.

Вместо того чтобы научить юных поэтов требовательно относиться к своей литературной работе, курили им такой фимиам, что те нередко задирали носы и начинали чувствовать себя боговдохновенными гениями, для которых никакие законы не писаны. Помню, в какой-то школе я поднимался по лестнице, набитой детьми, — и вдруг мальчишка в бархатной артистической курточке, протискиваясь сквозь густую толпу, сильно задел меня футляром от скрипки, и, когда я, рассердившись, спросил его, как он смеет толкаться, он бесцеремонно пояснил на бегу:

— Я — юное дарование... спешу на концерт.

Быть юным дарованием сделалось чем-то вроде профессии. «Я — юное дарование» — эти слова произносились таким же голосом, как: «Я — зубной врач», или: «Я — сотрудник газеты «Известия».

В ту пору стоило ребенку сочинить какой-нибудь колченогий стишок или сыграть на скрипке вариации «Чижика», взрослые тотчас же приклеивали ему ярлык «юное дарование», причем все это производилось нередко самым бюро-

кратическим способом. У меня хранится вырезка из «Красной газеты», где приводится текст удостоверения, выданного ленинградской школой одной семикласснице:

«Дана сия справка ученице седьмого класса Пятой полной средней школы Смольнинского района Татьяне Хвостаткиной в том, что... ее по стихосложению можно считать одаренной.

Завуч такой-то»[1].

В канцелярии школы к этой чудовищной справке приложили, конечно, печать, и таким образом дарование Тани Хвостаткиной уже не могло подлежать никакому сомнению.

Слово «талант» — драгоценное, редкостное, огромное слово, а чиновники педагогического ведомства (увы, они не вывелись и до настоящего времени) норовят сделать его дешевою кличкою, раздаваемой направо и налево при помощи канцелярских бумажек.

Замечательно, что сами дети, имеющие склонность к искусству, не хотят мириться с подобными кличками. За несколько лет до войны в ленинградской Академии художеств, в круглом парадном зале, собралось по какому-то случаю человек двести детей, стремящихся стать живописцами, и ораторы, обращая к ним свои слащавые речи, то и дело повторяли заискивающе:

— Вы — будущие Брюлловы... Вы — молодые таланты...

Я тогда же взошел на кафедру и запротестовал против этой антипедагогической лести, а потом, поговорив в кулуарах с детьми, убедился, что среди них немало таких, кому она противна, как и мне.

— Называть нас талантами вы будете лет через десять... а покуда не мешало бы нас поучить, — таков был смысл многочисленных откликов, вызванных среди детворы бестактными дифирамбами взрослых.

И характерно: те дети, которые горячее всех возражали против навязываемого им ярлыка «юные дарования», оказались, когда я ближе познакомился с ними, наиболее одаренными. Захваливая авансом того или иного ребенка,

---

[1] «Красная газета» от 19 мая 1936 года.

проявившего тяготение к искусству, эти педагоги тем самым развивали в нем чванство и готовили ему судьбу неудачника.

К счастью, все это явственно, у нас на глазах, отодвигается в прошлое. Наряду с уважением к детскому творчеству мало-помалу у передовых педагогов складываются необходимые навыки для приобщения детей к подлинной словесной культуре. Уже среди руководителей школьных литературных кружков порою встречаешь работников, которые способны умело и вдумчиво оказать начинающим авторам необходимую помощь, оснастить их таланты наиболее совершенной писательской техникой. Но таких руководителей все еще мало. Здесь нужны не одиночки, а целые кадры литературно образованных людей, вооруженных и вкусом, и пониманием, и педагогическим тактом. В последние годы уже созданы все предпосылки для того, чтобы эти люди могли появиться.

Да и чуткость взрослых наблюдателей к детским стихам повышается.

«Я думаю, вы правы, — пишет мне Н. Дмитриева из Москвы, — что первый намек на хорей получает ребенок от материнских песен:

На гусенышке пушок.
Спи, мой мальчик, кудряшок.

Я проверила на себе, что всякий другой ритм совершенно не вяжется с колыбельной. Заведешь, бывало, гречаниновскую «Спи, моя девочка, спи, моя милая» и т.д., и незаметно перейдешь на удобную любимую «Спи, мой мальчик» (хоть и баюкаешь дочь), да еще на самый простонародный, испытанный мотив, и в такт прихлопываешь рукой по маленькому тельцу — как же могут эти первые звуки остаться бесследными для ребенка?» Жена композитора Ванелова пишет мне о своей маленькой дочери: «Маринка с пеленок любила рифмы. Я смеюсь, что она начала сочинять стихи с 1 года 5 месяцев. Мы увидели поезд. Маринка замахала ручкой и закричала:

Дидидади!
Тети, дяди!

Обычно она *до свидания* говорила *дидади*, так что лишний слог прибавила здесь для размера».

Наблюдения тонкие, доступные лишь высококультурным умам, требующие зоркого внимания к детской речи. И таких наблюдений в последнее время становится все больше и больше. Между тем в двадцатых годах, в то далекое время, когда я готовил к печати первое издание этой книжки, мне пришлось работать в одиночку, так как ни в семьях, ни в детских домах не нашлось наблюдателей, которые сочувствовали бы безрассудной затее изучать стихотворство двухлетних-трехлетних ребят.

*

Выше я сказал, что у особо одаренных детей влечение к музыке стиха, к его ритму сохраняется и после того, как эти дети выходят из дошкольного возраста.

Вот, например, прекрасное, богатое живыми интонациями стихотворение семилетнего Кости Райкина:

УМ ЧЕЛОВЕКА

Быть может, умней человека лисица,
Быть может, хитрее бизон,
Но, если вдруг дым из ружья заклубится,
Тогда убегает и слон.
А это ружье ведь придумали люди.
И нету ружья у зверей.
Не могут медведи, не могут верблюды
Быть человека умней.
Так, значит, сильней всех зверей он на свете:
Хозяин лесов он и рек,
Хозяин пустыни и тундры хозяин —
Могуч и умен человек.

И вот стихи десятилетнего Володи Лапина с безупречным ритмом и точной рифмовкой.

МОЛОТОК

Я им стучу, стучу, стучу,
Я гвоздик им заколочу,
Я табуретку им собью,
Я им подкову сам скую.
Он честный друг,
Он лучший друг
Моих рабочих рук.

В тринадцать лет тот же Володя писал:

ВЕСЕННИЕ НАБРОСКИ

Лопнуло терпенье:
Пенье ручейков,
Первых листьев пенье —
Пение без слов.

Птиц весенних пенье.
Нет, нельзя терпеть!
Лопнуло терпенье:
Сам хочу запеть![1]

А вот стихи Володиного брата — Бориса, двенадцати лет:

Если б только мы умели
Понимать язык зверей,
То услышали б, наверно,
Чтó щебечет воробей,
Чтó лягушки на болоте
Громко выразить хотят,
Почему, когда уснете,
Мыши под полом пищат,
Чтó в листве поет синица
И зачем защелкал клёст,
Почему сове не спится,
Чтó мурлычет серый кот
И зачем в тиши лесной
Громко плачет козодой[2].

---

[1] *Вл. Глоцер.* Дети пишут стихи. М., 1964, с. 121.
[2] Т а м ж е, с. 49.

Глава шестая

ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПОЭТОВ

I. УЧИТЬСЯ У НАРОДА — УЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ

Удивительная история случилась в России с одним молодым человеком. Он приехал в столицу учиться и неожиданно для себя, без натуги создал гениальную книгу, которая живет уже больше ста лет и, несомненно, проживет еще столько же.

Девятнадцатилетний, круглощекий, безусый юнец, только что со школьной скамьи, — как изумился бы он, если бы кто-нибудь тогда, в 1834 году, предсказал ему великую судьбу его полудетского опыта!

И как громко засмеялись бы тогдашние критики, если бы кто заикнулся о том, что эта жалкая рукопись угловатого провинциального юноши есть классическое произведение русской поэзии, которое и тогда будет волновать миллионы сердец, когда навеки засыплются библиотечной пылью многошумные книги знаменитейших Кукольников, Бенедиктовых, Гречей, Сенковских и прочих кумиров тогдашней читающей «публики».

Звали юношу Петр Ершов, а его книга была «Конек-горбунок».

В литературной биографии Ершова меня всегда поражали две странности. И первая странность такая. Почему, после того как он незрелым юнцом написал свою знаменитую книгу, он до конца дней уже не мог написать ничего, что по литературному качеству могло бы хоть в какой-нибудь мере сравниться с его юношеским, ранним шедевром? Жил он долго, и у него хватило бы времени сочинить хоть десять таких же замечательных книг, а он сразу после «Конька-горбунка» утратил всю силу своего дарования. Не то чтобы он бросил перо — он продолжал писать, и порою с большими претензиями, но у него почти всегда получались дюжинные, эпигонские вещи, лишенные каких бы то ни было ярко

выраженных, индивидуальных особенностей. Вскоре после «Конька-горбунка» были написаны им: напыщенная поэма «Сибирский казак», в духе мистических баллад реакционной романтики, либретто для оперы «Страшный меч», драматический анекдот «Суворов и станционный смотритель» и т. д. Его биограф так и пишет об этой полосе его жизни: «Он мечется, берясь за самые разнохарактерные литературные работы... пытает свои силы в драматургии, пишет либретто для опер»[1]. И все это было, пожалуй, неплохо, но, повторяю, не шло ни в какое сравнение с гениальным «Коньком-горбунком».

Часто случалось читать, будто эта творческая трагедия Ершова произошла оттого, что он вскоре после «Конька-горбунка» уехал к себе в Сибирь, сделался инспектором, а позднее директором тобольской гимназии и с головою был втянут в тину захолустной чиновничьей пошлости. Это, конечно, вздор. Мало ли было чиновников среди замечательных русских писателей: и Крылов, и Даль, и Гончаров, и Щедрин, — но из-за этого они не утратили своих дарований тотчас же после первого литературного опыта.

Еще более разительной кажется мне вторая странность биографии Ершова. Почему, создавая свою детскую книгу, которая является, так сказать, хлебом насущным для всех пятилетних, шестилетних, семилетних детей, он ни разу не догадался, что это детская книга?

И никто из окружавших его тоже не догадался об этом.

Барон Брамбеус напечатал первую часть его книги в «Библиотеке для чтения», издававшейся исключительно для взрослых читателей. И критики мерили ее только такими мерилами, которыми измеряются книги для взрослых. А если бы Ершов вздумал сунуться со своим «Коньком-горбунком» в журнал для детей, оттуда вытолкали бы его «Горбунка», как мужика-деревенщину, затесавшегося на губернаторский бал.

За всю свою долгую жизнь он почти никогда уже не возвращался к «простонародному», крестьянскому стилю, которым написан «Конек-горбунок», а пытался культивировать стиль тогдашней высокой поэзии, сочиняя послания, эклоги в духе Жуковского и даже вычурные стихотворения в бе-

---

[1] *В. Утков*. Вступительная статья в книге: П. П. Ершов. Конек-горбунок. Стихотворения. Малая серия «Библиотеки поэта». Л., 1951.

недиктовском духе, хотя и был в этой области неудачлив и даже безличен, то есть похож на всякого другого из тогдашних середняцких писателей.

И тут, мне сдается, разгадка первой странности его биографии. Мастер русского народного стиля, которым он владел в совершенстве, он тотчас после «Конька-горбунка» отрекся от этого стиля, пренебрег им и ни разу не сделал попытки вернуться к нему в своем творчестве (если не считать «Русской песни», написанной им вскоре после «Конька-горбунка», и еще двух-трех произведений такого же рода, проявлявших тенденцию к модному в те времена стилизаторству). Его биограф очень верно указывает: «Там, где искрой вдохновения Ершову служит народное творчество, где он остается верным своему светлому таланту сказочника и поэта, там он находит и нужные краски, и выразительную красоту языка, и естественность хода событий, и задушевность, которые всегда получают отклик в сердце читателя. Но как только он становится на ходули романтизма или переходит на чуждую его поэтическому таланту почву бытописательства и религиозного мистицизма, силы изменяют ему»[1].

Отсюда все его неудачи и немощи: он оторвался от своей почвы, от народа, который дал его творчеству такие могучие соки, — от народной речи, народного юмора, народного мировоззрения, народной эстетики. И тут, как мне кажется, ключ ко второй особенности его трагической биографии.

При Николае I «Конек-горбунок» был долго под цензурным запретом. А потом мало-помалу стал печататься как лубочная книга для низового читателя. Ею бойко торговали офени в деревнях и на ярмарках — наравне с ситцами, сонниками, иконами, пряниками.

Однако прошло лет тридцать, и она вошла в литературу опять, но уже в качестве книги для маленьких. Маленькие отвоевали ее у больших и навсегда завладели ею, как драгоценной добычей, и тут только большим удалось разглядеть, что для детей это в самом деле хорошая пища — вкусная, питательная, сытная, способствующая их духовному росту.

---

[1] *В. Утков.* Вступительная статья к «Сочинениям» П. П. Ершова. Омск, 1950, с. 27.

К тому времени в нашей стране произошли огромные социальные сдвиги. Русская педагогика стала служить разночинцу, которому не могла не прийтись по душе демократическая идея и простонародная форма ершовского «плебейского» эпоса.

Отвоевав эту книгу у взрослых, дети передали ее по наследству своим внукам и правнукам, и правнукам правнуков, и нельзя представить себе такое поколение русских детей, которое могло бы обойтись без нее.

Тут великий урок для всех нас. В этой поучительной судьбе «Горбунка» был явно для всех поставлен знак равенства между детьми и народом. Детское и народное оказались синонимами.

И подобных случаев в истории нашей литературы немало. Именно в силу своей народности многие подлинно народные книги не раз преображались в книги детские. Судьба «Горбунка» повторяет судьбу сказок Пушкина. Пушкин писал их для взрослых тоже в порядке усвоения и разработки фольклора. Взрослые отнеслись к ним с высокомерной брезгливостью, видя в них падение Пушкина, и даже Баратынский сердился. как смеет великий поэт отдавать свои силы такому «низкопробному» жанру. А дети, к которым и не думал обращаться поэт, когда писал своего «Салтана», «Золотого петушка» и «Царевну», ввели их в свой духовный обиход и лишний раз доказали, что народная поэзия в высших своих достижениях часто бывает поэзией детской.

Все сказки Пушкина, все до одной, были сказки крестьянские и по словарю, и по дикции.

И если мы вспомним, что басни Крылова тоже возникли как литература для взрослых и тоже с непревзойденным совершенством воссоздали народную речь, у нас будет полное право сказать, что русский народ (то есть русский крестьянин, потому что народ в ту пору был почти сплошь деревенским) продиктовал своим гениальным писателям все лучшие детские книги. Их устами народ утверждал свою веру в вечную победу добра, милосердия, правды над криводушием, жестокостью, ложью. Таковы же детские стихотворения Некрасова, детские книги Льва Толстого, Ушинского, насквозь пропитанные нашим фольклором.

Параллельно с этими народными книгами в XIX веке возникла ненародная, антинародная детская литература, на-

чиная с ишимовской «Звездочки» и кончая «Задушевным словом» Маврикия Вольфа. Вполне понятна литературная немощь этой оторванной от народа словесности. Понятно, почему от нее не осталось теперь ничего или почти ничего. К концу века с детской литературой случилось то самое, что когда-то случилось с Ершовым. Чуть она оторвалась от народной эстетики, от народного юмора, от народных идеалов и вкусов, она тотчас же стала бесплодной.

Тот бурный ренессанс «большой литературы для маленьких», который начался у нас лет сорок назад, ознаменован обращением детской поэзии к фольклору. В критике давно было отмечено, что детские стихи Маяковского обильны «считалочными реминисценциями» и что, например, начало «Сказки о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» — типичная народная считалка, приближающаяся по своим интонациям к традиционным числовкам:

Жили-были
        Сима с Петей.
Сима с Петей
        были дети.
Пете 5,
        а Симе 7 —
И 12 вместе всем[1].

Читаешь эти строки и невольно делаешь те самые жесты, какие делает перед началом игры всякий ребенок, произносящий считалку среди пяти или шести своих сверстников.

Пристальное изучение «алмазной» речи народа проявилось не только в повестях и романах А. Н. Толстого, но и в тех «Русских народных сказках», тексты которых он с таким тонким искусством сконструировал из разных вариантов фольклора[2].

Или вспомним, например, «Петрушку» Маршака, где умело использованы широкие и емкие формы раешного стиля, его же «Кошкин дом» и «Терем-теремок», творчески воссоздающие стиль устной народной поэзии и в то же время далекие от внешних стилизаторских приемов. И в других жанрах, казалось бы очень далеких от фольклорной темати-

---

[1] *М. Китайник.* Детский фольклор и детская литература. Журнал «Детская литература». 1940. № 5, с. 12—15.

[2] *А. Толстой.* К молодым писателям. «Новый мир». 1939. № 2.

ки, у него то и дело звучат отголоски народной поэтической речи; например, в сказке «Вчера и сегодня»:

Подходили к речке близко,
Речке кланялися низко:
– Здравствуй, речка, наша мать,
Дай водицы нам набрать!..
И т. д.

Беседуя в печати о поэзии, Маршак призывал молодежь к истокам народного творчества[1].

И конечно, в своих переводах он не мог бы так верно передать дух английских детских народных песенок, если бы не ориентировался на звучание и стиль русского фольклора для детей.

Об этой же органической связи нашей детской поэзии с фольклором говорит и Агния Барто: «Ведь у детской поэзии, безусловно, есть свои законы. Она, например, особенно широко пользуется изобразительными средствами народной поэзии. В лучших стихах для детей мы находим гиперболу, повторы, звукоподражание, меткую игру слов, считалку, загадку»[2].

В произведениях Михалкова часто слышится то близкое, то отдаленное эхо фольклора. Так, например, и сюжет, и самая форма его замечательного по своей словесной чеканке стихотворения «Как старик корову продавал» подсказаны ему устной народной поэзией, равно как и старинная притча об упрямых баранах, встретившихся на узком мосту:

Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.

И хотя в стихотворении «А у вас?» фабула городская, московская, уже первые его строки заранее подготовляют нас к тому сплаву народного стиля с детским, которым и определяется стиль Михалкова.

Как верно указывает Сергей Баруздин, «близость стихов С. Михалкова к народной поэзии подтверждается тем, что многие их строки вошли в обиходный разговорный язык:

---

[1] *С. Маршак.* О плохих и хороших рифмах. Сборник «О писательском труде». М., 1953. с. 122–123.

[2] *А. Барто.* О стихах для детей. «Литературная газета» от 3 января 1953 г.

«Из районных великанов самый главный великан», «Мы с приятелем вдвоем замечательно живем», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» и т. д.».

«В стихотворении «Красная Армия», — говорит тот же критик, — поэт использует характерный для народной песни прием параллелизма:

Мы летаем высоко,
Мы летаем низко,
Мы летаем далеко,
Мы летаем близко»[1].

И чего стоили бы лучшие драмы Евгения Шварца, если бы он не опирался на русский и всемирный фольклор, творчески преобразуя его.

Могущество народной традиции мне пришлось испытать и на собственном опыте. Когда я приступал к сочинению детских стихов, я долго не мог отыскать для них живую, органическую форму. Тогдашняя поэзия, которую предлагали детям всех возрастов «Путеводные огоньки», «Светлячки», «Родники», «Задушевные слова» и т. д., отличалась самой оголтелой бесстильностью (вследствие полного распада ее идейных основ). И лишь мало-помалу, после многих неудач и шатаний, я пришел к убеждению, что единственным компасом на этом пути для всех писателей — и сильных, и слабых — является народная поэзия.

*

Это, конечно, не значит, что наша задача — имитация старинного народного творчества. Копии фольклора никому не нужны. Но нельзя же забывать, что народ в течение многих веков выработал в своих песнях и сказках идеальные методы художественного и педагогического подхода к ребенку и что мы поступили бы весьма опрометчиво, если бы не учли этого тысячелетнего опыта.

Однако, как сказано выше, не только у народа должны мы учиться. Второй наш учитель — ребенок. Я, по крайней мере, никогда не дерзнул бы приступить к сочинению моих

---

[1] *Сергей Баруздин.* О большой школе и одном из ее воспитанников... (Заметки о работе С. Михалкова в поэзии для детей.) Сборник «Детская литература». М., Детгиз, 1959, с. 97.

«Мойдодыров», если бы не попытался дознаться заранее, каковы потребности и вкусы малолетних «читателей», к которым мне предстоит адресоваться со своими стихами, и каков наиболее правильный метод сильнейшего воздействия на их психику.

Нельзя понимать дело так, будто я призываю угодливо приспособляться к ребенку. У нас, повторяю, нет и не может быть права отказываться от обязанности воспитывать его, влиять на него, формировать его личность, но эту обязанность нам только тогда удастся исполнить, если мы досконально изучим умственные навыки ребенка, методы его своеобразного мышления и попытаемся возможно точнее определить для себя, каковы должны быть те литературные формы, которые в данном случае окажутся наиболее действенными.

*

Конечно, писал я стихи инстинктивно, без оглядки на какие бы то ни было правила. Но в моем подсознании правила эти существовали всегда; они были подсказаны мне самой детворой, я считал их тогда непреложными и верил, что они универсальны, то есть обязательны для всякого автора, пытающегося писать для детей. Ни Маршак, ни Михалков, ни Барто, ни Борис Заходер, ни другие мои товарищи по литературному служению детям еще не приступали к работе, и я не мог проверить на их писательской практике правильность моих тогдашних догадок.

Теперь я могу сказать, не боясь ошибиться, что хотя творчество этих поэтов внесло в мои «заповеди» ряд коррективов, в главном и основном оно подтвердило их правильность, поскольку дело идет о стихах для дошкольников младшего и среднего возраста.

II. ОБРАЗНОСТЬ И ДЕЙСТВЕННОСТЬ

О **первой заповеди** уже было сказано выше. Она заключается в том, что наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность.

Те стихи, с которыми художнику нечего делать, совершенно непригодны для этих детей. Пишущий для них должен, так сказать, мыслить рисунками[1].

Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности.

«Мама, покажи!» — кричал ребенок, когда одна из сотрудниц издательства читала ему «Тараканище» в корректурных листах без рисунков. Он чувствовал, что в данном случае зрительный образ и звук составляют органическое целое. А так как детское зрение на первых порах воспринимает не столько качество вещей, сколько их движения, их действия, сюжет поэмы для малых детей должен быть так разнообразен, подвижен, изменчив, чтобы каждые пять-шесть строк требовали новой картинки. Там, где этого нет, детские стихи, так сказать, не работают.

Если, написав целую страницу стихов, вы замечаете, что для нее необходим всего один-единственный рисунок, зачеркните эту страницу как явно негодную. Наибыстрейшая смена образов — здесь, как мы видели выше, **второе правило** для детских писателей.

Третье правило заключается в том, что эта словесная живопись должна быть в то же время лирична.

Поэт-рисовальщик должен быть поэтом-певцом.

Ребенку мало видеть тот или иной эпизод, изображенный в стихах: ему нужно, чтобы в этих стихах были песня и пляска. То есть ему нужно, чтобы они были сродни его собственным стихам-экикикам.

Если же их невозможно ни петь, ни плясать, если в них нет элементов, составляющих главную суть экикик, они никогда не зажгут малолетних сердец.

Чем ближе наши стихи к экикикам, тем сильнее они полюбятся маленьким. Недаром в детском фольклоре всех стран уцелели в течение столетий главным образом песенно-плясовые стихи.

Эта заповедь труднее всех других, так как поэт-рисовальщик почти никогда не бывает поэтом-певцом. Тут две враждебные категории поэтов. Можно ли требовать, чтобы каждый эпизод, изображаемый в стихотворении с гра-

---

[1] Если читатель перелистает, например, мои детские сказки, он увидит, что для «Тараканища» требуется двадцать восемь рисунков (по числу зрительных образов), для «Мойдодыра» — двадцать три и т. д.

фической четкостью, был в то же время воспринят читателями как звонкая песня, побуждающая их к радостной пляске?

Всю трудность этой задачи я вполне сознавал, когда принимался за сочинение своей первой «поэмы для маленьких». Но мне было ясно, что эта задача — центральная, что без ее решения нельзя и приступать к такой работе. Предстояло найти особенный, лирико-эпический стиль, пригодный для повествования, для сказа и в то же время почти освобожденный от повествовательно-сказовой дикции. Мне кажется, что всякие сказки-поэмы и вообще крупные фабульные произведения в стихах могут дойти до маленьких детей лишь в виде цепи лирических песен — каждая со своим ритмом, со своей эмоциональной окраской.

Речь идет о большой эпопее, которую я и пытался воскресить в нашей детской словесности через семьдесят лет после «Конька-горбунка». Чувствуя, что ее прежние формы, выработанные деревенско-дворянской культурой, уже давно не соответствуют психике наших детей, я строил все свои «крокодилиады» на основе бойких, быстро сменяющихся, урбанистических, уличных ритмов, избегая монотонной тягучести, которая свойственна деревенскому эпосу.

Вырабатывая форму «Крокодила» (1916), я пытался всячески разнообразить фактуру стиха в соответствии с теми эмоциями, которые этот стих выражает: от хорея переходил к дактилю, от двухстопных стихов — к шестистопным.

Такая подвижность и переменчивость ритма была для меня **четвертой заповедью**.

III. МУЗЫКА

Пятая заповедь для детских писателей — повышенная музыкальность поэтической речи.

Замечательно, что экикики всегда музыкальны. И музыкальность достигается раньше всего необыкновенной плавностью, текучестью звуков. Дети в своих стихах никогда не допускают того скопления согласных, которое так часто уродует наши «взрослые» стихи для детей. Ни в одном стиш-

ке, сочиненном детьми, я никогда не встречал таких жестких, шершавых звукосочетаний, какие встречаются в некоторых книжных стихах. Вот характерная строка из одной поэмы для детей:

Пупс взбешен...

Попробуйте произнести это вслух! П с в з б — пять согласных подряд! И взрослому не выговорить подобной строки, не то что пятилетнему ребенку.

Еще шершавее такая строка некоего ленинградского автора:

Вдруг взгрустнулось...

Это варварское в д р у г в з г р — непосильная работа для детской гортани.

И больно читать ту свирепую строку, которую сочинила одна поэтесса в Москве:

Ах, почаще б с шоколадом...

Щ е б с ш! Нужно ненавидеть детей, чтобы предлагать им такие языколомные щебсши. Не мешало бы сочинителям подобных стихов поучиться у тех малышей, которым они царапают горло своими корявыми щебсшами. Стоит только сравнить два стиха: один, сочиненный ребенком, — «Половина утюга», и другой, сочиненный взрослым, — «Ах, почаще б с шоколадом», чтобы увидеть колоссальное превосходство трехлетних поэтов. В «Половине утюга» на семь слогов приходится всего шесть согласных, а в стишке о шоколаде на восемь слогов целых двенадцать согласных.

Конечно, создавая столь благозвучные строки, ребенок заботился не об их красоте, а только о том, чтобы ему было легче выкрикивать их, но именно благодаря этому они так мелодичны и плавны.

Любопытна в этом отношении та переработка стихов, которую незаметно для себя производит ребенок. Она вся направлена к тому, чтобы придать стиху максимальную плавность. Мой знакомый двухлетний мальчик очень любил почему-то стихотворение Пушкина «Черногорцы? что такое?» — и декламировал это стихотворение так:

Тетеготи? то такое? —

то есть устранял все согласные, тормозящие плавное течение стиха. Конечно, и тут сказалась не эстетика, а неразвитая гортань, но ведь именно для этой гортани мы и должны писать свои стихи.

Вы только вслушайтесь в ту благозвучнейшую хореическую песню, которую пела, танцуя, девочка Витя Раммо, еще не достигшая двухлетнего возраста:

Коси мине, коси кой,
Леба куси, леба кой.
Коси баба, коси кой,
Куси паки, куси мой.
Йока куку, шибка кой,
Леба кусяй, шибка кой,
Кока кусяй, шибка кой.

Говорила она в то время отлично, свободно произнося любые сочетания звуков, но, когда дело дошло до стихов, предпочла распределять свои согласные так, чтобы они возможно реже встречались друг с дружкой. За исключением слова «шибка», все остальные слова построены у Вити Раммо таким образом, что между двумя согласными непременно слышится гласная.

Вообще в речи ребенка мы нередко замечаем борьбу с согласными, преодоление согласных. Трехлетний Адик Павлов, вместо того чтобы сказать «солнце красно», говорил соне касно (то есть выбрасывал л, ц, р). У Ади Рыбникова слово «дрова» превратилось в дова, слово «смотри» — в соти, слово «другой» — в дугой. Нина Златковская говорила пазник, потивный, касивый. Левик Гаврилов говорил пиезжай, а «гром» выговаривал гом[1].

Замечательны меры, которые принимала двухлетняя Алена Полежаева, для того чтобы этого скопления не было. Ее мать сообщает о ней: когда рядом в слове встречаются две согласные, Аленушка ставит между ними гласную:

— Птичка — патичка. Кто — кито. Где — гиде[2].

Точно такой же прием «разукрупнения» согласных при помощи добавочных гласных подметила у своей дочери

---

[1] *Н. А. Рыбников.* Словарь русского ребенка. М.–Л., 1926, с. 24, 45, 56, 64, 71, 80, 81, 105, 112.

[2] *Л. В. Полежаева.* Детская речь и развитие ее. Педагогика раннего детского возраста. Под ред. проф. А. С. Дурново. М., 1927, с. 56.

Майи ленинградская жительница Инна Борисова: «Я сикушила кашику», «я гуляю си бабушкой».

При помощи такого приема Майя (одного года десяти месяцев) избегала неудобных для нее звукосочетаний:

Сочиняя детские стихи, я старался, насколько у меня хватало умения, считаться с этим отчетливо выраженным требованием малых детей.

IV. РИФМЫ. — СТРУКТУРА СТИХОВ

Шестое правило было подробно изложено на предыдущих страницах. Оно заключается в том, что рифмы в стихах для детей должны быть поставлены на самом близком расстоянии одна от другой.

Читатели этой книжки могли убедиться, что почти во всех стихотворениях, сочиненных малыми детьми, рифмы находятся в ближайшем соседстве. Ребенку гораздо труднее воспринимать те стихи, рифмы которых не смежны.

Седьмое правило заключается в том, что те слова, которые служат рифмами в детских стихах, должны быть главными носителями смысла всей фразы. На них должна лежать наибольшая тяжесть смысла.

Так как благодаря рифме эти слова привлекают к себе особенное внимание ребенка, мы должны дать им наибольшую смысловую нагрузку. Это правило я считаю одним из важнейших и пытаюсь не нарушать ни при каких обстоятельствах. И часто делаю опыты со своими и чужими стихами: прикрываю ладонью левую половину страницы и пытаюсь по одной только правой, то есть по той, где сосредоточены рифмы, догадаться о содержании стихов. Если это не удается, стихи подлежат исправлению, так как в таком виде они до детей не дойдут.

Восьмое правило заключается в том, что каждая строка детских стихов должна жить своей собственной жизнью и составлять отдельный организм. Иными словами, каждый стих должен быть законченным синтаксическим целым, потому что у ребенка мысль пульсирует заодно со стихом: каждый стих в экикиках — самостоятельная фраза и число строк равняется числу предложений. (Этой своей особенностью

стихи для детей очень близки к народным стихам.) Две строки — два предложения:

Твоя мама из дворян,
А отец из обезьян.

Шесть строк — шесть предложений:

Мама умная была
И меня не посекла!
Ай, люли, люли, люли!
Ты меня всегда люби!
Я теперь тебя люблю.
Не кап-риз-ни-ча-ю!

У детей постарше каждое предложение может замыкаться не в одну, а в две строки, но за эти границы уже никогда не выходит. Вот стихи девятилетней Ирины:

1) Мы с Чукошею вдвоем
За калошами идем.
2) Купим, купим мы калоши
Для себя и для Чукоши.

Поэтому длинные стихи для детей чаще всего состоят из двустиший. В сущности, пушкинский «Салтан» и ершовский «Конек-горбунок» по своей структуре являют собой целую цепь экикик, большинство которых не превышает двух строк. И Пушкин, и Ершов свои сказки писали главным образом «двояшками». Вот типичный отрывок из Пушкина;

1) В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
2) Туча но небу идет,
Бочка по морю плывет.
3) Словно горькая вдовица
Плачет, бьется в ней царица;
4) И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
5) День прошел, царица во́пит...
А дитя волну торопит:
6) «Ты, волна моя, волна,
Ты гульлива и вольна;
7) Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
8) Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
9) Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»

После каждой «двояшки» — пауза. Восемнадцать строк — девять пауз и девять «двояшек», причем в большинстве случаев каждая «двояшка» есть самостоятельная фраза.

Стихи эти написаны не для детей. Пушкин, создавая свои сказки, ориентировался на фольклорную дикцию взрослых. Но благодаря близости народного поэтического мышления к детскому пушкинская сказка с давнего времени прочно вошла в обиход малышей, и ее структура является для нас образцом.

Никаких внутренних пауз детские стихи не допускают, иначе будет нарушен напев. Во всех известных мне стихотворениях, сочиненных малыми детьми, я нашел только один перенос — да и то очень слабый, — один-единственпый случай вытеснения фразы за пределы двустишия:

Воробейко поскакал,
На ходу он уплетал
Крошки хлеба, что ему
Я в окошечко даю.

Эти строки сочинил Ваня Ф., четырех с половиною лет.

Они в моих глазах есть одно из редкостных нарушений общего незыблемого правила, которое заключается в том, что каждый стих, сочиненный ребенком, целостен, замкнут сам в себе, неделим.

V. ОТКАЗ ОТ ЭПИТЕТОВ. — РИТМИКА

Выше было сказано, что детское зрение чаще всего воспринимает не качество, а действие предметов. Отсюда **девятая заповедь** для детских писателей: не загромождать своих стихов прилагательными.

Стихи, которые богаты эпитетами, — стихи не для малых, а для старших детей.

В стихах, сочиненных детьми младшего возраста, почти никогда не бывает эпитетов. И это понятно, потому что эпитет есть результат более или менее длительного ознакомления с вещью. Это плод опыта, созерцания, исследования, совершенно недоступного маленьким детям.

Сочинители детских стихов часто забывают об этом и перегружают их огромным числом прилагательных.

Покойная Мария Пожарова дошла до того, что в своих «Солнечных зайчиках» чуть не каждую страницу наполнила такими словами, как зыбколистный, белоструйный, тонкозвучный, звонкостеклянный, беломохнатый, багряно-золотой, и, конечно, все это для детей мертвечина и скука.

Потому что маленького ребенка по-настоящему волнует в литературе лишь действие, лишь быстрое чередование событий. А если так, то побольше глаголов и возможно меньше прилагательных! Я считаю, что во всяком стишке для детей процентное отношение глаголов к именам прилагательным есть один из лучших и вполне объективных критериев приспособленности данного стишка к психике малых детей.

Поучителен в этом отношении Пушкин: в своей «Сказке о царе Салтане» он на 740 глаголов дал только 235 прилагательных, между тем как в его поэме «Полтава» (в первой песне) число глаголов даже меньше числа прилагательных: на 279 глаголов — 281 прилагательное.

Тяготение ребенка к глаголу отмечено в науке давно. Канадский профессор Фредерик Трэси в своей «Психологии детства» (1893) подсчитал, что в словаре у малышей (от 19 до 28 месяцев) глаголы составляют 20 процентов всех слов, в то время как у взрослого их только 11, то есть почти вдвое меньше. Вот таблица, приводимая Трэси:

	У ребенка	У взрослого
Имен прилагательных	9%	22%
Имен существительных	60%	68%
Глаголов	20%	11%

Таблица едва ли правильная, так как многие существительные в речи ребенка являются по своей сути односложными предложениями, где на первом месте — глагол. Когда маленький ребенок кричит, например, «диньдинь», это может значить: «дай мне позвонить колокольчиком!», или «колокольчик звонит!», или «мне очень нравится звон колокольчика», или «подними меня вверх к колокольчику!» и мало ли что еще. В каждом таком «динь-динь» подразумевается непроизнесенный глагол. Предмет как таковой, вне своих динамических функций, гораздо реже фигурирует в речи ребен-

ка, чем это было принято думать, когда Трэси составлял таблицу.

Поэтому Трэси был бы более прав, если бы составил для детского словаря примерно такую таблицу:

Существительных	20%
Существительных, имеющих характер глагола (или сопряженных с глаголом)	53%
Глаголов	20%
Прилагательных	7%

Такая таблица была бы ближе к истине, потому что в речи двухлетнего ребенка скрытых и явных глаголов приблизительно 50–60%, а чистых прилагательных в девять раз меньше. Ошибка Трэси заключается в том, что он отнесся к грамматическим категориям слишком формально. Но общие выводы его вполне справедливы: идеи, которые играют в уме ребенка наиболее значительную роль и которые ребенок чаще всего выражает словами, суть идеи действий, а не состояний; движений, а не качеств и свойств.

По утверждению немецких исследователей Клары и Вильяма Штерн (1907) в речи ребенка сперва преобладают существительные, потом глаголы и лишь потом прилагательные. Штерны приводят такие наблюдения над одной маленькой девочкой: когда ей был год и три месяца, 100 процентов ее словаря составляли имена существительные; через пять месяцев они составляли всего 78 процентов, а глаголов было 22 процента; еще через три месяца существительных оказалось всего 63 процента, глаголов 23 и остальных частей речи (в том числе и прилагательных) 14 процентов.

Эта схема грешит таким же формальным подходом к грамматике, как и схема профессора Трэси, но общая тенденция языкового развития детей в ней отмечена верно: ребенок в первые годы своего бытия так глубоко равнодушен к свойствам и формам предметов, что прилагательные долго являются наиболее чуждой ему категорией речи.

Любовь к прилагательным свойственна (да и то в малой мере) только книжным, созерцательно настроенным детям, а ребенок, проявляющий активное отношение к жизни,

строит почти всю свою речь на глаголах. Поэтому «Мойдодыра» я сверху донизу наполнил глаголами, а прилагательным объявил беспощадный бойкот и каждой вещи, которая фигурирует в этих стихах, придал максимальное движение: «все верти́тся и кружи́тся и несется кувырком».

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Ибо только такая, только «глагольная» речь по-настоящему дойдет до ребенка.

Конечно, все изложенное в этой главе относится лишь к самым маленьким детям. Когда дети становятся старше, ни в чем так наглядно не сказывается созревание их психики, как именно в увеличении числа прилагательных, которыми обогащается их речь.

И. Адамиан пишет мне по этому поводу: «Вы говорите, что у детей больше тяготения к глаголу, чем к прилагательному. Мне кажется, что ваш вывод правилен лишь отчасти, ибо, насколько я заметил, в лексиконе девочек преобладают прилагательные, а в лексиконе мальчиков — глаголы. Вообще, по моим случайным и отрывочным наблюдениям, девочки больше обращают внимания на определенное свойство предметов (у куклы розовый бантик, зеленое тото и т. п.). а мальчики — на действие (паровоз свистит и т. п.). Интересно было бы произвести опыт: написать рассказ с одинаковым количеством прилагательных и глаголов и прочесть детям обоего пола, а затем заставить их повторить. Возможно, что результат ряда таких опытов подтвердит правильность моих наблюдений». Мне кажется, что догадка тов. Адамиана верна лишь в отношении старших детей. Младшим же — и мальчикам и девочкам — одинаково чуждо большинство прилагательных. Между тем, как уже сказано выше, речь идет исключительно о литературе для младшего возраста. Форма произведений, предназначенных для более старших, должна быть иной.

Десятая заповедь заключается в том, что преобладающим ритмом ребячьих стихов должен быть непременно хорей.

VI. ИГРОВЫЕ СТИХИ

Одиннадцатая заповедь для детских писателей заключается в том, что их стихи должны быть игровыми, так как, в сущности, вся деятельность младших и средних дошкольников, за очень небольшими исключениями, выливается в форму игры.

Конечно, есть отличные стихи для детей, не имеющие отношения к игре; все же нельзя забывать, что детские народные стишки, начиная от бабушкиных «Ладушек» и кончая «Караваем», чаще всего являются порождением игры.

Вообще почти каждую свою тему поэт, пишущий для младших дошкольников, должен воспринимать как игру. Тот, кто не способен играть с малышами, пусть не берется за сочинение детских стихов.

Но дети не ограничиваются играми этого рода. Они, как мы видели, играют не только вещами, но и произносимыми звуками. Эти звуковые и словесные игры, очевидно, чрезвычайно полезны, так как в фольклоре детей всего мира они занимают заметное место. Даже когда ребенок становится старше, у него часто появляется потребность потешиться и поиграть словами, так как он не сразу привыкает к тому, что для большинства окружающих слова выполняют только деловую, коммуникативную функцию. Разные словесные игрушки все еще привлекают его, как привлекают куклы многих девочек, давно уже вышедших из «кукольного» возраста.

Вспомним наши русские потешки, созданные уже в школьной среде:

«Императрица Екатерина заключила перетурие с мирками». «Челодой моловек! Не камняйтесь бросами, а то режиком заножу, будешь дрыжками ногать».

Дошкольнику такие словесные игрушки еще больше нужны, так как пользование ими всегда знаменует, что ребенок уже вполне овладел правильными формами слов.

Взрослые, кажется, никогда не поймут, чем привлекательны для малых ребят такие, например, незатейливые деформации слов, которые я позаимствовал в английском фольклоре:

Жила-была мышка Ма́уси
И вдруг увидала Кота́уси.
У Котауси злые глаза́уси
И злые-презлые зуба́уси.

Подбежала Котауси к Мауси
И замахала хвостауси:
– Ах, Мауси, Мауси, Мауси!
Подойди ко мне, милая Мауси!
Я спою тебе песенку, Мауси,
Чудесную песенку, Мауси!
– Но ответила умная Мауси:
– Ты меня не обманешь, Котауси!
Вижу злые твои глазауси
И злые-презлые зубауси! –
Так ответила умная Мауси
И скорее бегом от Котауси!

Дети именно потому и смеются, что правильные формы этих слов уже успели утвердиться в их сознании.

Мою песенку очень бранили в печати за «коверкание родного языка». Критики предпочитали не знать, что такое «коверкание» с незапамятных времен практикуется русским фольклором и узаконено народной педагогикой. Вспомним хотя бы известную сказку «Звери в яме», где несколько раз повторяются в различных вариантах такие стихи:

Медведь-медведухно – имечко хорошее,
Лиса-олисава – имечко хорошее,
Волк-волчухно – имечко хорошее,
Петух-петушихно – имечко хорошее,
Кура-окурова – имя худое.

Почему же, спрашивается, всевозможные человеки в футлярах нещадно преследуют подобные словесные игры, столь необходимые детям в процессе их языкового развития?

Покойный академик Игорь Грабарь сообщил мне, что в детстве ему, как и всем его товарищам-сверстникам, очень нравилась такая вариация басни «Мартышка и очки»:

ОЧКИШКА И МАРТЫ

Старишка в мартости глаза слабами стала,
А у слухей она людала...

С великим удовольствием я вспоминаю, как яростно встретили леваки-педагоги мои игровые стишки о лягухах, впервые увидевших черепаху:

И они закричали от страха:
– Это Че!
– Это Ре!
– Это Паха!
– Это Че́чере... папа... папаха!

Весело и озорно, совсем по-детски увлекался такой словесной игрой молодой поэт Даниил Хармс. Нужно было видеть, каким восторгом встречали дети своего любимого автора, когда он читал им с эстрады:

А вы знаете, что у,
А вы знаете, что па,
А вы знаете, что пы,
Что у папы моего
Было сорок сыновей?

И дальше:

А вы знаете, что на,
А вы знаете, что не,
А вы знаете, что бе,
Что на небе
Вместо солнца
Скоро будет колесо?
И т. д.

Совсем по-другому, но так же аппетитно и весело играет он словом «четыре» в своей последней книжке «Миллион»:

Раз, два, три, четыре,
И четыре на четыре,
И четырежды четыре,
И потом еще четыре.

Одним из лучших памятников его словесной игры останется «Иван Иваныч Самовар», где всему повествованию придана такая смехотворная (и очень детская) форма:

Самовар Иван Иваныч,
На столе Иван Иваныч,
Золотой Иван Иваныч,
Кипяточку не дает,
Опоздавшим не дает,
Лежебокам не дает.

Такие же игровые стихи создал в свое время поэт Александр Введенский. Особенно было популярно в детской среде его шуточное стихотворение «Кто?»:

Дядя Боря говорит,
Что
Оттого он так сердит,
Что
Кто-то на пол уронил
Банку, полную чернил,

И оставил на столе
Деревянный пистолет,
Жестяную дудочку
И складную удочку.
Может, это серый кот
        Виноват?
Или это черный пес
        Виноват?
                                И т. д.

С таким же озорством Наталья Кончаловская изобрела такие небывалые овощи:

Показал садовод
Нам такой огород,
Где на грядках, засеянных густо,
Огурбузы росли,
Помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста,
Сельдерошек поспел
И моркофель дозрел,
Стал уже осыпаться спаржовник...

Я не говорю, что детские писатели все, как один, должны сплошь заниматься такими словесными играми, забыв о других воспитательных и литературных задачах (это было бы ужасно и привело бы к деградации детской поэзии), я только хочу, чтобы наконец была признана педагогическая целесообразность и ценность литературного жанра, который недаром так богато представлен в устной народной поэзии (см. главу «Лепые нелепицы»).

Мастер этого жанра С. Я. Маршак. Его знаменитое четверостишие о вагоновожатом словно затем и написано, чтобы разъярять филистеров и восхищать детвору:

Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!

VII. ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОВЕДИ

Итак, мы видим, что стихи для детей нужно писать каким-то особенным способом — иначе, чем пишутся другие стихи. И мерить их нужно особенной меркой. Не всякий даже даровитый поэт умеет писать для детей.

Такие, например, великаны, как Тютчев, Баратынский и Фет, несомненно, потерпели бы в этой области крах, так как приемы их творчества враждебны по самому своему существу тем приемам, которые обязательны для детских поэтов.

Но отсюда не следует, что детский поэт, угождая потребностям малых детей, имеет право пренебречь теми требованиями, которые предъявляют к поэзии взрослые.

Нет, чисто литературные достоинства детских стихов должны измеряться тем же самым критерием, каким измеряются литературные достоинства всех прочих стихов.

По мастерству, по виртуозности, по техническому совершенству стихи для советских детей должны стоять на той же высоте, на какой стоят стихи для взрослых. Не может быть такого положения, при котором плохие стихи оказались бы хороши для детей.

В сущности, совершается злое и вредное дело: вместо того чтобы подготовлять детей к восприятию гениальных поэтов, их систематически отравляют безграмотной и бездарной кустарщиной, убивающей в них то горячее чувство стиха, которое сказалось в экикиках.

Итак, **двенадцатая заповедь** для детских поэтов: не забывать, что поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэзией![1]

Есть и **тринадцатая**. Она заключается в том, что в своих стихах мы должны не столько приспособляться к ребенку, сколько приспособлять его к себе, к своим «взрослым» ощущениям и мыслям. Конечно, мы должны делать это с большой осторожностью, не насилуя природы ребенка, но если мы этого делать не станем, нам придется отказаться от роли его воспитателей. Мы обязаны мало-помалу нарушать многие из вышеуказанных заповедей, дабы путем постепенного усложнения поэтической формы подвести малыша вплотную к восприятию великих поэтов. Это и будет подлинным стиховым воспитанием, о котором у нас почему-то все еще очень мало заботятся. Методика стихового воспитания старших дошкольников заключается в выработке наиболее рациональных приемов постепенного нарушения вышеиз-

---

[1] Теперь она звучит тривиально, но, когда писались эти строки, в них увидели формалистическую ересь, ибо всякий разговор о поэтической форме считался тогда формализмом.

ложенных правил — всех, за исключением двенадцатого, которое требует высокого качества детских стихов. Это правило нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах.

К сожалению, многие педагоги, рецензенты и критики все еще судят о детской поэзии исключительно по ее содержанию, не догадываясь, что самое ценное содержание детских стихов будет безнадежно погублено неудачной и неряшливой формой, — так что именно в интересах тематики нужно раньше всего изучать формальные особенности детских стихов, а также наиболее эффективные методы их созидания.

Всякий, кто хоть бегло ознакомится с тем золотым фондом советской поэзии, который создан Маяковским, Маршаком, Михалковым, Барто, Квитко, Янкой Купалой, Забилой и славной плеядой из младших собратьев Борисом Заходером, Вал. Берестовым, Нурадином Юсуповым, не может не прийти к убеждению, что богатейшее разнообразие поэтических форм вполне соответствует здесь такому же богатому разнообразию сюжетов. По сравнению с литературой дореволюционной эпохи в нынешних детских стихах чрезвычайно умножилось количество жанров, входящих в повседневный обиход детворы.

В течение последних двадцати лет я из года в год (с небольшим перерывом) наблюдаю несколько детских садов Подмосковья и вижу, как многочисленны темы, входящие нынче в круг интересов ребенка. Вот примерный перечень тех стихотворений и песен, которые бытуют в этих детских садах и пользуются особой популярностью среди малышей. Уже самые заглавия этих произведений поэзии показывают, как расширился в последнее время диапазон интересов и вкусов ребенка.

«Песня о Ленине». — «Первомай». — «Мы — за мир!» — «Полет в космос». — «Мальчик и летчик». — «Праздник урожая». — «Мой папа депутат». — «Кто построил этот дом». — «Война с Днепром». — «Елка». — «Дед Мороз». — «Дождик». — «Журавли». — «Усатый-полосатый». — «Детки в клетке». — «Дядя Степа». — «Снегирь». — Фольклорные перевертыши, считалки, потешки, загадки, игровые стишки. — Озорные развлекательные сказки в стихах — и наряду с этим такие ставшие народными песни, как «По долинам и по

взгорьям», «Летят перелетные птицы», «Эх, туманы мои, растуманы» (усвоенные по радио).

Уже из одного этого перечня заглавий мы видим, что нет, в сущности, такого литературного жанра, доступного пониманию детей, которого не внедряла бы в духовную жизнь дошкольника наша педагогика последнего времени. Все дело только в соблюдении пропорций — в том, чтобы какой-нибудь один-единственный жанр не вытеснил всех остальных.

Так что вопрос о тематике стихов для детей можно считать (в общих чертах) решенным. Те жаркие споры по этому поводу, какие так часто велись в двадцатых — тридцатых годах, нынче остались уже далеко позади.

Не так обстоит дело с вопросом о поэтической форме стихов, предлагаемых детям. До сих пор этот важный вопрос не привлекает сколько-нибудь серьезного внимания исследователей. Критики словно не замечают его. Педагоги в огромном своем большинстве игнорируют его совершенно.

Между тем (повторяю опять и опять!) в интересах той самой тематики, которая дорога педагогам (и не только педагогам, а нам всем), им следует во что бы то ни стало изучить поэтику детских стихов. Вот почему меня не покидает надежда, что мои скромные заповеди будут не совсем бесполезны.

Конечно, заповеди — слишком громкое название для этих непритязательных правил. Это просто вехи, поставленные для себя одним из начинающих детских писателей, который стремился приблизиться к психике малых детей, чтобы влиять на нее возможно сильнее.

Мы, советские писатели, имеем драгоценную возможность изучать эту психику не только келейным порядком, в узком кругу семьи, но и в бесчисленных «громадах» детей — в детских яслях, детских садах и т. д. Поэтому главная особенность наших дошкольных стихов заключается именно в том, что они должны быть созданы для чтения вслух перед большими коллективами детей. Конечно, их можно читать и детям-одиночкам, но их композиция, их ритмы и образы организованы так, чтобы их могли без труда воспринимать многочисленные аудитории ребят. Здесь одна из наиболее характерных черт нашей нынешней детской поэзии: когда

мы пишем, мы воображаем себя на эстраде перед множеством юных слушателей.

Этого чувства не знали детские писатели Запада, и оттого их шедевры в большинстве случаев были камерные, глубоко интимные.

Много ли детей видел перед собой Эдвард Лир, когда писал свою прелестную «Книгу нелепостей»? Только трех маленьких внучат графа Дарби, которых в то время учил рисованию.

И только три девочки, сестры Лидделл, слушали Льюиса Кэрролла, автора «Алисы в Стране Чудес», когда он импровизировал над сонной оксфордской рекой свою знаменитую сказку, в которой навсегда сохранились интонации его тихого голоса.

Нам же, детским писателям советских республик, если бы мы даже захотели быть камерными, это ни за что не удалось бы, так как всю свою жизнь мы находимся, так сказать, в океане детей. Безбрежный океан — от Артека до Арктики. В нем-то и формируются наши писания. Я совсем по-другому написал бы «Муху-Цокотуху», «Бармалея», «Краденое солнце», «Телефон», если бы не чувствовал, что мне нужно будет читать эти вещи в обширных залах, перед множеством маленьких слушателей. Отсюда — то качество этих стихов, которое я назвал бы сценичностью. Эти сказки театрализованы: сюжет развертывается в них по законам драматического действа (завязка, коллизия и проч.).

Самый объем каждой сказки определяется тем, что она должна быть произнесена перед непоседливой и нетерпеливой толпой, психика которой не похожа на психику отдельного слушателя. «Краденое солнце» я сперва написал в виде длинной, однообразной сказки:

Журавли по небесам,
А медведи по лесам
Понеслися во всю прыть,
Чтобы солнце воротить.
Долетели журавли
До Египетской земли...
И т. д.

Медведь в этой сказке обращался к Крокодилу с такой негодующей речью:

Ишь разбойничья порода,
Цапнул солнце с небосвода
И с набитым животом
Растянулся под кустом.
Да и хрюкает спросонья,
Словно сытая хавронья.
Пропадает целый свет,
А ему и горя нет!

Но так как в таком оформлении сказка была монотонна и годилась только для индивидуального чтения, я сократил ее впятеро, ускорил темпы, внес максимальное разнообразие в ее ритмику — словом, приспособил ее к восприятию детского коллектива.

Это не значит, конечно, что «комнатное», уединенное чтение сказок отошло в область прошлого. Напротив, никогда еще не было такого изобилия дедов, бабок, матерей и отцов, которые читают книжки своим маленьким детям. Но пусть эти книжки раньше всего пройдут испытание в массовых аудиториях детей.

Это не праздное требование, так как коллективное чтение занимает все большее место в системе воспитания дошкольников и младших школьников. Все эти дома культуры, детские городки и дворцы, организующие многомиллионную массу детей, предъявляют нам, литераторам, новые требования, которых мы не можем не выполнить. Для того чтобы вполне уразуметь эти требования, у нас есть единственный путь — всей своей деятельностью приобщиться к ребячьей «громаде». Я, например, как и прочие «детские авторы», не могу себе представить такого месяца в моей жизни, когда я был бы оторван от коллектива детей. Подобно другим товарищам, я выступал со своими стихами и в Крыму, и на Кавказе, и в Ленинграде, и в Колонном зале, и в Зале Чайковского, и в Доме Советской Армии, и в клубе писателей, и в клубе ученых, и во множестве школ всех районов, во множестве детских садов, детских больниц, детских санаториев, детских библиотек, детских домов культуры и проч. и проч. и проч.

Только такое беспрестанное, повседневное общение с коллективами малых детей давало и дает нам, советским писателям, возможность согласовать свое творчество с их массовой психикой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга «От двух до пяти» возникла совершенно случайно. Я жил на даче у самого моря. Перед моими окнами на песках Сестрорецкого пляжа копошилось несметное количество малых детей под надзором бабушек и нянек. Я только что оправился после долгой болезни и по предписанию врача был обречен на безделье. Слоняясь с утра до вечера по чудесному пляжу, я вскоре сблизился со всей детворой, да и она привыкла ко мне. Мы строили из песка неприступные крепости, спускали на воду бумажные плоты.

Вокруг меня, ни на миг не смолкая, слышалась звонкая детская речь. На первых порах она просто забавляла меня, но мало-помалу я пришел к убеждению, что, прекрасная сама по себе, она имеет высокую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым вскрываем причудливые закономерности детского мышления, детской психики.

С тех пор прошло лет сорок, даже больше. В течение всего этого долгого срока я ни разу не расставался с детьми: сначала мне представилась возможность наблюдать духовное развитие своих собственных малолетних детей, а потом — своих внуков и многочисленных правнуков.

И все же я не мог бы написать эту книгу, если бы не дружная помощь читателей. Уже много лет из недели в неделю, из месяца в месяц почтальоны приносят мне множество писем, где бабки, матери, деды, отцы малышей сообщают мне свои наблюдения над ними, над их поступками, играми, разговорами, песнями. Пишут домашние хозяйки, пенсионеры, спортсмены, рабочие, инвалиды, военные, актеры, дипломаты, художники, инженеры, зоотехники, воспитатели детских садов — и можно себе представить, с каким интересом (и с какой благодарностью) я вчитываюсь в эти драгоценные письма. Если бы я обнародовал весь имеющийся у меня материал, собранный в течение сорока с чем-то лет, получилось бы по крайней мере десять — двенадцать томов.

Как и всякий фольклорист-собиратель, заинтересованный в научной достоверности своего материала, я считаю себя обязанным документировать каждое детское слово, каждую детскую фразу, сообщенную мне в этих письмах, и очень жалею, что отсутствие места не дает мне возможности назвать по именам всех друзей моей книги, делящихся со мною наблюдениями, мыслями, сведениями.

Но я бережно сохраняю все письма, так что почти у каждого речения детей, приводимого мною на этих страницах, есть паспорт...

Широкие читательские массы отнеслись к моей книге с горячим сочувствием. Достаточно сказать, что в одном только 1958 году книга вышла в двух разных издательствах в количестве 400 000 экземпляров и в течение нескольких дней разошлась вся без остатка: так жадно стремятся советские люди изучить и хотя бы отчасти осмыслить все еще мало изученную психику своих Игорей, Володей, Наташ и Светлан.

Это налагает на меня большую ответственность. Поэтому для каждого нового издания книги я перечитываю снова и снова весь текст, всякий раз исправляя и дополняя его.

Книга вышла в переводе на болгарский, чешский, польский, словацкий, немецкий, английский, японский языки.

Главная суть этой книги — в идеях, к которым меня привело многолетнее общение с детьми. Книга для того и написана, чтобы теоретически обосновать наблюдения, какие добыты столь длительным опытом, осмыслить и обобщить этот опыт. В книге трактуются серьезные темы, которые глубоко волнуют меня: о целенаправленности влечения малых детей к перевертышам, об устойчивой форме их стихотворных экспромтов, о древних произведениях фольклора, как верных регуляторах детской поэзии, о реалистическом воспитании детей при помощи небывальщин и сказок и т. д., и т. д., и т. д.

Но существует обширная группа читателей, которые знать не хотят предложенных мною мыслей. Теории не занимают их нисколько. Так как я иллюстрирую каждое свое утверждение речениями малых детей, а эти речения, естественно, вызывают улыбку, читатели, о которых я сейчас говорю, видят в моей книге юмористический сборник курьезов, составленный для смеха и забавы. И в своих письмах ко мне они сообщают только курьезное, только смешное, словно в книге моей нет таких глав, как «Лепые нелепицы», «Обывательские методы критики», «Учиться у народа — учиться у детей», «Воспитание речи», «О стиховом воспитании» и пр.

Поэтому я вынужден обратиться к читателям с друже-

ской просьбой: ради Бога, не считайте мою книжку комической и постарайтесь изучить ее идеи, которые, хочется думать, достойны вашего внимания и даже сочувствия. Ибо цель ее не развлекать и смешить, а серьезнейшим образом исследовать те области умственной и психической жизни малолетних детей, которые до сих пор не подвергались исследованию.

Правда, в книжке едва ли найдешь насупленные, скучные страницы, но это отнюдь не значит, что она не научная. Это только значит, что научность (по крайнему моему разумению) далеко не всегда сочетается с дремучими словесными дебрями и с нагромождением умопомрачительных терминов.

ПРИЗНАНИЯ СТАРОГО СКАЗОЧНИКА

I. Как была написана «Муха-Цокотуха»

1

Прошлым летом я сочинил для моей правнучки, трехлетней Марины, сказку, которая начинается так:

Бабушка к буфету,
А жарко́го нету!
«Что ж это такое!
Где мое жаркое!»

Марина ничего не сказала, ушла к своим куклам, но вскоре я услышал, как она поет им мою сказку:

Бабушка к буфету,
А жаркое есть.

Очевидно, мое *нету* не понравилось ей, и она преобразила его в *есть*.

Для ребенка отвратительны сказки и песни с печальным концом. Живя иллюзией вечного праздника, дети упрямо заменяют печальные концовки наших сказок и песен благополучными, радостными.

Существует невеселая старинная песня о мужике, потерявшем дугу:

Поискал и не нашел,
Он заплакал и пошел.

Услышав эту песню, Коля Черноус, трех с половиною лет, насупился, весь покраснел, заткнул уши и убежал на балкон. Через минуту он вернулся оттуда веселый и, как бы издеваясь над нами, запел:

Поискал и нашел,
Засмеялся и пошел.

Заплакал превратилось в *засмеялся*. Ибо малые дети не терпят, чтобы в тех сведениях о жизни, какие дают им лите-

ратура, театр и живопись, был хоть намек на окончательную победу несчастья и зла.

Сколько я знаю детей, которые на театральных спектаклях крепко закрывают глаза, чуть только с каким-нибудь любимым героем случится хоть на минуту беда.

В обиходе английских детей есть знаменитая песенка с печальным концом: к какой-то девушке подлетела ворона и начисто откусила ей нос (Snapped off her nose). Можно не сомневаться, что английские дети в течение веков жаждали другой, менее мрачной концовки. Угождая их неосознанным инстинктивным желаниям, кто-то (уже в XIX веке) присочинил к этой горестной песне утешительные строки о том, будто к искалеченной девушке позвали королевского врача, и он так искусно пришил ей откушенный нос, что несчастная опять стала счастливой. После чего дети вполне примирились с отвергнутой песней и перестали чуждаться ее[1].

Это понятно. Ведь счастье для малых детей — норма жизни, естественное состояние души, еще не знающей ни об угрозе неминуемой смерти, ни о мучительных тяготах и томлениях жизни. В возрасте «от двух до пяти» они — самое счастливое племя из всех, какие живут на земле.

Спрашивается: где же серьезным и безрадостным взрослым, «измученным жизнью, коварством надежды», соваться в безоблачно-солнечное царство детей?

Подделаться под ребенка нетрудно, да ведь подделка легко обнаружится, и дети отпрянут от нее, как от фальши. Сколько ни вымучивай из себя бойких и мажорных стишков, их бравурность будет чисто механической, и они никогда не дойдут до трехлетних — пятилетних сердец. Когда-то в своей книге «От двух до пяти» я опубликовал заповеди для детских поэтов, но только теперь догадался, что ко всем этим заповедям следует прибавить еще одну, может быть самую главную: *писатель для малых детей непременно должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит.*

Таким счастливцем порою ощущал себя я, когда мне случалось писать стихотворные детские сказки.

---

[1] Речь идет о народной песне «Sing a Song of Sixpence», которая, по словам английских фольклористов Айоны и Питера Опи, была зарегистрирована в печати около 1744 года. Строфа о враче, излечившем безносую девушку, была сочинена около 1866 года. Рендольф Колдекотт в 1880 году дал другую, более лаконичную концовку: «Прилетела пташка Дженни Рен (wren — крапивник) и приклеила его».

2

Конечно, я не могу похвалиться, что счастье — доминанта моей жизни. Бывали и утраты, и обиды, и беды. Но у меня с юности было — да и сейчас остается ~ одно драгоценное свойство: назло всем передрягам и дрязгам вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший прилив какого-то сумасшедшего счастья. Особенно в такие периоды, когда надлежало бы хныкать и жаловаться, вдруг вскакиваешь с постели с таким безумным ощущением радости, словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток.

Не знаю, бывали ли у вас такие беспричинные приливы веселья, а я без них, кажется, пропал бы совсем в иные наиболее тоскливые периоды жизни. Идешь по улице и, бессмысленно радуясь всему, что ты видишь, — вывескам, трамваям, воробьям, — готов расцеловаться с каждым встречным и твердишь из своего любимого Уитмена:

> Отныне я не требую счастья,
> я сам свое счастье.

Один такой день мне запомнился особенно ясно — 29 августа 1923 года, душный день в раскаленном, как печь, Петрограде, когда я внезапно на Невском пережил наитие этого необыкновенного чувства и так обрадовался самому факту своего бытия на земле, что готов был выкрикивать вслух строки из того же поэта:

> Почему многие, приближаясь ко мне,
> зажигают в крови моей солнце!
> Почему, когда они покидают меня,
> флаги моей радости никнут!

Но в тот блаженный и вечно памятный день флаги моей радости нисколько не никли, а, напротив, развевались с каждым шагом все шире, и, чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не взбежал, а взлетел, как на крыльях, в нашу пустую квартиру на Кирочной (семья моя еще не переехала с дачи) и, схватив какой-то запыленный бумажный клочок и с трудом отыскав карандаш, стал набрасывать строка за строкой (неожиданно для себя самого) веселую поэму о мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом.

Поэму я задумал давно и раз десять принимался за нее, но больше двух строчек не мог сочинить. Выходили вымученные, анемичные, мертворожденные строки, идущие от головы, но не от сердца. А теперь я исписал без малейших усилий весь листок с двух сторон и, не найдя в комнате чистой бумаги, сорвал в коридоре большую полосу отставших обоев и с тем же чувством бездумного счастья писал безоглядно строку за строкой, словно под чью-то диктовку.

Когда же в моей сказке дело дошло до изображения танца, я, стыдно сказать, вскочил с места и стал носиться по коридору из комнаты в кухню, чувствуя большое неудобство, так как трудно и танцевать, и писать одновременно.

Очень удивился бы тот, кто, войдя в мою квартиру, увидел бы меня, отца семейства, 42-летнего, седоватого, обремененного многолетним поденным трудом, как я ношусь по квартире в дикой шаманской пляске и выкрикиваю звонкие слова и записываю их на корявой и пыльной полоске содранных со стенки обоев.

В этой сказке два праздника: именины и свадьба. Я всею душою отпраздновал оба. Но чуть только исписал всю бумагу и сочинил последние слова своей сказки, беспамятство счастья мгновенно ушло от меня, и я превратился в безмерно усталого и очень голодного дачного мужа, приехавшего в город для мелких и тягостных дел.

Вряд ли я тогда понимал, что эти внезапные приливы бездумного счастья есть, в сущности, возвращение в детство. Горе тому детскому писателю, кто не умеет хоть на время расстаться со своей взрослостью, выплеснуться из нее, из ее забот и досад, и превратиться в сверстника тех малышей, к кому он адресуется со своими стихами.

Эти возвращения в детство чаще всего были сопряжены у меня с таким редкостным и странным душевным подъемом, который я дерзну обозначить устарелым словцом *вдохновение.*

Теперь это словцо не в чести. Литературоведы и критики давно уже изгнали его из своего словаря. Вдохновение объявлено чуть ли не мифом, придуманным лукавыми поэтами ради того, чтобы возвеличить свой цех.

Между тем я на собственном опыте убедился, что оно существует. Вдруг ни с того ни с сего все мои писательские интересы и навыки отлетают от меня ко всем чертям, я испытываю сердцебиение ребяческой радости, которая сильнее

меня самого, и тороплюсь без оглядки записать «Бармалея», или «Путаницу», или сказку о том,

Как у наших у ворот
Чудо-дерево растет.
Чудо-чудо-чудо-чудо
  Расчудесное!
Не листочки на нем,
Не цветочки на нем,
А чулки да башмаки,
  Словно яблоки!

Вот почему, когда я на старости лет перелистываю мои давние сказки, иные из них представляются мне древними памятниками тех приливов внезапного детского счастья, которыми они рождены.

Впрочем, по мнению моих близких друзей, у меня в характере вообще очень много ребяческого. Когда мне исполнилось семьдесят пять лет (о, как давно это было!), Маршак обратился ко мне с задушевным посланием, которое кончалось такими словами:

Пусть пригласительный билет
Тебе начислил много лет,
Но, поздравляя с годовщиной,
Не семь десятков с половиной
Тебе я дал бы, друг старинный,
Могу я дать тебе — прости! —
От двух, примерно, до пяти...
Итак, будь счастлив и расти!..

Это остроумно, но, к сожалению, неверно. Если бы детская психика была моим всегдашним достоянием, я написал бы не десять сказок, а по крайней мере сто или двести. Увы, приливы ребяческой радости бывают в человеческой жизни нечасто, и длятся они очень недолго. Да и возможно ли полагаться на взлет вдохновения? В сущности, «Муха-Цокотуха» — единственная моя сказка, которую от первой строки до последней я написал сгоряча, в один день, без оглядки, по внушению нахлынувших на меня неожиданно радостных чувств.

Остальные сказки давались мне не так-то легко, хотя всякая из них зародилась во мне в минуты моего возвращения в детство. Но эти минуты бывали так коротки, что дарили мне лишь несколько строк. Остальные приходилось добы-

вать долгим и упрямым трудом, неизменно радостным, но тяжким.

Здесь на смену вдохновению к писателю должна приходить другая, столь же драгоценная сила, без которой ему нельзя обойтись.

Но об этом — на дальнейших страницах.

II. История моего «Айболита»

1

Что же мне было делать, когда, окрылив меня на недолгое время, внезапно прекращался тот нервный подъем, который некогда именовали вдохновением, и у меня не оставалось надежды, что он снова вернется ко мне?

Так произошло, например, с моей сказкой о целителе зверей Айболите, которую с давнего времени я хотел написать. Вдохновение нахлынуло на меня на Кавказе — в высшей степени нелепо и некстати — во время купания в море. Я заплыл довольно далеко, и вдруг под наваждением солнца, горячего ветра и черноморской волны у меня сами собой сложились слова:

О, если я утону,
Если пойду я ко дну...
И т. д.

Голышом побежал я по каменистому берегу и, спрятавшись за ближайшей скалой, стал мокрыми руками записывать стихотворные строки на мокрой папиросной коробке, валявшейся тут же, у самой воды, и сразу в какой-нибудь час набросал строк двадцать или больше.

Ни начала, ни конца у сказки не было.

На первых страницах нужно было рассказать о зверях, приходивших к любимому доктору, и о болезнях, от которых он вылечил их. И тут, уже по возвращении домой, в Ленинград, начались мои долгие поиски подлинно поэтических строк. Не мог же я снова надеяться на слепую удачу, на праздничный взлет вдохновения. Мне поневоле пришлось выжимать из себя необходимые строки кропотливым, упорным трудом. Мне нужны были четыре стиха, и ради них я исписал мелким почерком две школьные тетрадки.

Тетрадки, случайно уцелевшие у меня до сих пор, заполнены такими двустишиями:

Первое:

И пришла к Айболиту коза:
«У меня заболели глаза!»

Второе:

И пришла к Айболиту лисица:
«Ой, болит у меня поясница!»

Третье:

Прилетела к нему сова:
«Ой, болит у меня голова!»

Четвертое:

И влетела к нему канарейка:
«У меня исцарапана шейка».

Пятое:

И влетела к нему чечетка:
«У меня, говорит, чахотка».

Шестое:

Прилетела к нему куропатка:
«У меня, говорит, лихорадка».

Седьмое:

И приплелся к нему утконос:
«У меня, говорит, понос».

И восьмое, и десятое, и сотое — все были в таком же роде. Нельзя сказать, чтобы они никуда не годились. Каждое было аккуратно сработано и, казалось бы, могло благополучно войти в мою сказку.

И все же я чувствовал к ним омерзение. Мне было стыдно, что бедная моя голова производит такие пустышки. Механически срифмовать наименование больного с обозначением болезни, которая терзает его, — слишком легкий ремесленный труд, доступный любому писаке. А я добивался живого образа, живой интонации и ненавидел банальные строки, которые без всякого участия сердца выводило мое скудное перо.

После того как у *бегемота* оказалась *икота*, и у *носорога* — *изжога*, а *кобра* пожаловалась у меня на свои заболевшие *ребра* (которых, кстати, у нее никогда не бывало), а *кит* на *менингит*, а *мартышка* на *одышку*, а *пес* на *склероз*, я в отчаянии попытался прибегнуть к более сложным синтаксическим формам:

А жирафы так охрипли,
Опасаемся, не грипп ли.

Рифма «охрипли» и «грипп ли» была и нова, и свежа, но никаким самым затейливым рифмам не спасти плоховатых стишков. В погоне за щегольскими созвучиями я в конце концов дописался до таких пустопорожних куплетов:

Прилетели трясогузки
И запели по-французски:
«Ах, у нашего младенца —
Инфлуэнца».

Этот стих показался мне еще хуже других. Нужно было выбросить его вон из души и упрямо продолжать свои поиски. На эти поиски ушло дня четыре, не меньше. Зато какое ощутил я безмерное счастье, когда на пятый день после многих попыток, измучивших меня своей бесплодностью, у меня наконец написалось:

И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»

И пришел к Айболиту барбос:
«Меня курица клюнула в нос!»

Эти двустишия — я почувствовал сразу — крепче и насыщеннее всех предыдущих. Тогда это чувство было у меня безотчетным, но нынче мне думается, что я понимаю его, — если не вполне, то отчасти: ведь по сравнению со всеми предыдущими строчками здесь, в этих новых стихах, удвоено количество зрительных образов и значительно усилена динамичность рассказа — оба качества, столь привлекательные для детского разума. Это последнее качество внешне выражено изобилием глаголов: не только «пришла», но также «укусила» и «клюнула».

А главное: в каждом из них есть обидчик и есть обиженный. Жертва зла, которой необходимо помочь.

Жажда защиты обиженного, драгоценное человеческое чувство, так легко воспринимаемое детской душой, впервые

наметилось здесь, в этих простеньких, незамысловатых двустишиях, и они сразу определили собою всю тему.

Эти двустишия я добыл ценою многодневных трудов, о которых я нисколько не жалею, ибо если бы я не прошел долгую полосу неудач, я никогда не пришел бы к удаче.

2

Нет, при создании детских стихов рассчитывать на вдохновение нельзя.

Оно дало мне «Муху-Цокотуху», «Чудо-дерево», первую часть «Крокодила», две страницы «Федорина горя», но в большинстве случаев тот радостный нервный подъем, при котором пишется необыкновенно легко, словно под чью-то диктовку, длился у меня не так уж долго — чаще всего десять — пятнадцать минут. В течение этих коротких мгновений удавалось занести на бумагу лишь малую долю стихотворного текста, после чего начинались бесконечные поиски определительной, ясной образности, чеканной синтаксической структуры и наиболее сильной динамики.

На днях я перелистал свои старые рукописи и, вчитываясь в них, убедился, что максимально четкая фразеология сказки получалась у меня лишь после того, как я сочинял предварительно такое множество слабых стихов, что хватило бы на несколько сказок.

После того как в моих тетрадях скапливались сотни разнокалиберных строк, предстояло отобрать пятьдесят или сорок наиболее соответствующих стилю и замыслу сказки. Между ними происходила, так сказать, борьба за существование, причем выживали сильнейшие, а прочие бесславно погибали.

Если бы я вздумал напечатать ко всеобщему сведению плюгавые строки, написанные мной в первом черновике «Мойдодыра», я думаю, даже бумага, предназначенная для их напечатания, и та покраснела бы от стыда и обиды.

Вот наиболее благообразные из этих постыдно беспомощных строк, изображающих бегство вещей от ненавистного им мальчугана:

Панталоны, как вороны,
Улетели на балкон.
Воротитесь, панталоны.
Мне нельзя без панталон!

Вялые вирши с поддельной динамикой! К тому же чопорное словцо *панталоны* давно уже вытеснено в живом языке *брюками*, *штанами* и т. д.

Ранец, ранец, где мой ранец!
Милый ранец, погоди!
Что же ты пустился в танец!
Погоди, не уходи!

Рифма «танец» и «ранец» слишком дешевая рифма, да и не такая уж это беда для ленивого школьника — утрата ранца с учебными книжками. Я зачеркнул весь куплет и заменил его таким же убогим двустишием:

И коробочка со стула,
Словно бабочка, вспорхнула!

И эти нищенски бедные строки были с тем же презрением отвергнуты мною, так как, во-первых, они лишены каких бы то ни было интонаций и жестов, а во-вторых, что же это за такие коробочки, которые хранятся на стульях у детских кроватей? Много бумаги мне пришлось исписать, прежде чем я отыскал окончательный вариант первых строк:

Одеяло
Убежало.
УлеТела просТыня.
И подушКА,
КАк лягушКА,
УсКАКАла от меня.

Первое слово «одеяло» привлекло меня тем, что в нем на две согласные приходится целых четыре гласных. Это и обеспечивает слову наибольшее благозвучие. В строке «улетела простыня» — оба слова объединены звуком Т, который и способствует их экспрессивности, а последние три строки точно так же приобрели достоверность благодаря пятикратному КА: подушКА, КАк лягушКА, усКАКАла, передающему прерывистое движение предмета.

В той же рукописи есть вариант, пытающийся изобразить возвращение вещей после их примирения с героем:

А за ними и калоши,
Так и хлопают в ладоши (!)
И играют на ходу
С башмаками в чехарду.

Эти вирши словно специально затем и придуманы, чтобы тотчас же быть уничтоженными.

Даже из «Мухи-Цокотухи», написанной, что называется, с маху, по вдохновению, экспромтом, без черновиков, набело, и то при отсылке в печать пришлось выбросить такие, казалось бы, складные строки о насекомых, пирующих на именинах у Мухи:

Гости важные, мохнатые,
Полосатые, усатые,
За столом сидят,
Пироги едят,
Сладкою малиною закусывают.

Сами по себе эти строки не хуже других, но при окончательном чтении я вдруг обнаружил, что без них очень легко обойтись, и, конечно, это сразу лишало их права на дальнейшую литературную жизнь.

Такому же остракизму подверглись при окончательном чтении строки:

Муха рада и гостям, и подарочкам.
Каждого поклонами встречает.
Каждого блинами угощает.

Ибо эти строки опять-таки при всем своем благообразии оказались совершенно излишними.

Конечно, для такой классификации несметного числа вариантов, для отбора наиболее добротных стихов из группы неудачных и посредственных нужен искушенный и опытный вкус. Вкус, беспощадно бракующий даже такие стихи, которые по своему внешнему виду производят впечатление вполне доброкачественных. Вкус я считаю наиболее сильным оружием в арсенале каждого художника. Читая рукописи начинающих авторов и книги современных поэтов, даже даровитых и признанных, можно легко убедиться, что талантливых людей гораздо больше, чем людей, обладающих вкусом.

Наряду с отличными стихами сколько рыхлых, тусклых, скороспелых, неряшливых! И как часто они губят весь текст, сводя на нет отдельные удачи. Читаешь — и кажется, будто перед тобой черновик, и хочется вычеркнуть слабые строки, коим надлежало бы умереть до рождения.

Такое словесное разгильдяйство, неряшество, обесценивающее книги для взрослых, кажется мне тяжким преступ-

лением, когда оно проявляется в книгах, предназначенных для малых детей. Здесь мы не вправе небрежничать. Здесь нам приходится делать всю ставку на долгое труженичество и на требовательный безжалостный вкус, готовый отметать все сомнительное, шаткое-валкое, рожденное ленивою, робкою или хаотически-смутною мыслью.

Но спросят: каким же образом я, начинающий автор, мог воспитать в себе этот разборчивый вкус? Где тот педагог, который научил меня отделять литературную пшеницу от плевел?

В том-то и дело, что я не был начинающим автором, когда стал писать свои детские сказки. Писать их смолоду я, конечно, не смог бы. Для этого мне не хватало культуры, не хватало самого элементарного вкуса. Поэзия для детей — такой трудный, сложный, художественно ответственный жанр, что к овладению им мне нужно было готовиться долгие годы. Первую свою детскую книгу я написал уже в зрелом возрасте, после того как больше пятнадцати лет проработал в качестве профессионального критика и приобрел какие-то необходимые навыки для оценки литературных явлений.

И, кроме того, к этому времени я уже открыл для себя великое животворное чудо искусства: русский гениальный фольклор. Книги Снегирева, Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга, Афанасьева, Барсова, Шейна давно уже стали моими настольными книгами. Они приобщили меня к народной эстетике и дали мне надежные основы здорового, нормативного вкуса[1].

Но этого мало. Словно предчувствуя, что мне суждено сделаться сочинителем детских стихов, я еще в годы своего пребывания в Англии буквально влюбился в старинные народные песенки для английских детей, в так называемые «Нэрсери раймз», впоследствии виртуозно переведенные на русский язык С. Я. Маршаком. Их буйная фантастика своей дерзкой причудливостью очаровала меня навсегда, и я пристально изучал их поэтику, их древнюю и новую историю.

---

[1] Любовное изучение родной фольклористики впоследствии дало мне возможность написать два научных исследования: «Лепые нелепицы» (в книге «От двух до пяти») и «Некрасов и фольклор» (в книге «Мастерство Некрасова»).

Я уже не говорю о том океане стихов, который окружал меня с юности. Издавна я полюбил услаждать себя чтением Державина, Пушкина, Некрасова, Баратынского, Полонского, Фета, а впоследствии Кольриджа, Китса, Роберта Браунинга, раннего Суинберна. Это чтение было для меня (и по сей час остается) одной из моих сильнейших потребностей. Вряд ли без этого усвоения «взрослой» поэзии я мог бы написать хоть строку моих «Мойдодыров» и «Мух-Цокотух».

Но и этим не ограничилось мое ученичество. Мне выпал завидный жребий быть смиренно-восторженным слушателем лирических стихов и поэм в авторском чтении Блока, Ахматовой, Гумилева, Бунина, Маяковского, Мандельштама, Кузмина, Ходасевича, Иннокентия Анненского. Думаю, что здесь была для меня немаловажная школа литературного вкуса.

Словом, для того чтобы на тридцать пятом году жизни взять перо и написать первую строку своего «Крокодила», я должен был очень долго учиться, изживать свое бескультурье, невежество.

Не забудем также, что по милости великодушной судьбы мне посчастливилось прожить чуть не всю жизнь в непрерывном дружеском общении со своими и чужими детьми. Без досконального знания их психики, их мышления, их читательских требований я едва ли мог бы отыскать верную дорогу к их сердцам.

Конечно, дорог этих много, и моя — не единственная. Своей дороги я никому не навязываю. Но я глубоко уверен, что тот никогда не создаст сколько-нибудь прочных поэтических ценностей, кому недоступны (а порой и неведомы) мудрые традиции родной и всемирной культуры.

3

Но пора вернуться к «Айболиту».

Вначале я написал его чуть не втрое длиннее и уже хотел было отправить в редакцию, когда мой грозный и деспотический вкус вдруг запротестовал против моих, казалось бы, прочно сколоченных строк и потребовал немедленного их удаления.

Я сопротивлялся как мог, но в конце концов был вынужден подчиниться ему и вычеркнуть из сказки такой, например, эпизод:

И пришел к нему печальный мотылек:
«Я на свечке себе крылышки обжег,
Помоги мне, помоги мне, Айболит,
Мое раненое крылышко болит!»

Добрый доктор на больного поглядел
И больного, как родного, пожалел.
«Не печалься, мотылек!
Ты ложися на бочок:
Я пришью тебе другое,
Шелковое, голубое,
Новое,
Хорошее
Крылышко».

Взял он шелку
Да иголку,
Раз, два и готово,
Вот и вылечил больного!

Засмеялся мотылек
И помчался на лужок.
И летает под березами
С бабочками и стрекозами.

А веселый Айболит
Из окна ему кричит:
«Ладно, ладно, веселись,
Только свечки берегись!»

Сам по себе этот отрывок был нисколько не хуже других, сохраняемых мною в тексте, но я счел нужным удалить его прочь, чтобы не затянуть экспозиции и возможно скорее перейти к основному сюжету: к самоотверженному подвигу доктора, который, забыв о себе, думает лишь о спасении страждущих:

О, если я не дойду,
Если в пути пропаду,
Что станется с ними, с больными,
С моими зверями лесными!

Здесь пафос всей сказки — в героическом путешествии доктора, который из сострадания к больным мужественно преодолевает преграды, встающие у него на пути. Эту тему о самоотверженном подвиге необходимо было развернуть пе-

ред малолетним читателем тотчас же, не утомляя его внимания картинами, изображающими мирную врачебную практику доктора. Нужно было сжать экспозицию до крайних пределов, ради чего я и выбросил из первоначального текста весь эпизод с мотыльком, которому доктор прилаживает новые крылышки. Но так как уничтожить эти стихи было жалко, я перенес их в прозаическую сказку о зверином целителе, которую написал «по Гью Лофтингу», и там они отлично прижились[1].

Вслед за этим эпизодом пришлось удалить и другой — о лечении ослепшей козы:

Вот коза очки надела
И в окошко поглядела:
«Вижу, вижу я капусту, и морковку, и салат!
То-то радость, то-то сладость
Для меня и для козлят!»

Вслед за этим рассказом был выброшен такой же рассказ о медицинском совете, с которым доктор обратился к слонихе:

Принимай-ка ты касторку
Через час по ведерку
И четырнадцать мешков
Проглоти-ка порошков.

Были и еще пациенты. Воробышек, которого укусила змея. Кукушонок с подбитым крылом. Хромые белки. Слепые утята. Их всех до одного пришлось выбросить из первоначального текста, дабы скорее перейти к героической теме.

Все эти примеры я привожу для того, чтобы читателю стало ясно, какую огромную роль в нашей трудной и ответственной работе над стихами для малых детей играет эстетический вкус. Вкус контролирует и композицию стихов, и их звукопись, и систему их образов. Он с беспощадной суровостью вытравляет из каждого текста не только бесцветное, шаблонное, хилое, но даже удачное, если этим удачным замедляется повествовательный темп.

---

[1] У Лофтинга этот целитель именуется «доктор Дулиттл». Перерабатывая его милую сказку для русских детей, я окрестил Дулиттла Айболитом и вообще внес в свою переработку десятки реалий, которых нет в подлиннике. Антагонист Айболита назван у меня Бармалеем (речь идет о прозаической сказке «Приключения доктора Айболита»).

Ибо, отрешаясь от взрослости, детский поэт не может не сохранять при себе всех своих культурных богатств. Грош цена его «возвращениям в детство», если он не запасся заранее доскональным знанием родной и зарубежной словесности и не проникся ее могучей эстетикой. Если этого нет, ему суждено остаться дилетантом. Прочных поэтических ценностей он никогда не создаст, так как подлинное мастерство невозможно без высокой культуры. Самое сильное дарование бессильно, если оно не руководится взыскательным вкусом, который дается художнику лишь после долгого общения с творчеством его гениальных предшественников.

Никогда я не устану повторять, что по своим литературным достоинствам стихи для детей должны стоять на той же высоте, на какой стоят стихи для взрослых. «Не может быть такого положения, — писал я лет тридцать назад, — при котором плохие стихи были бы хороши для детей». «Качество детских стихов нужно измерять теми же критериями, какими измеряются литературные качества всех прочих стихов»[1].

Здесь мы, писатели, не должны давать себе ни малейшей поблажки, ибо непрощаемым грехом представляется мне пичкание детей плохой литературой, грозящее на всю жизнь испортить и опошлить их вкус.

III[2]

1

В старые годы, где бы я ни был — в трамвае, в очереди за хлебом, в приемной зубного врача, — я, чтобы не тратилось попусту время, сочинял загадки для детей. Это спасало меня от умственной праздности. Одна из выдуманных мною загадок такая:

Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!

---

[1] См. главу: «Заповеди для детских поэтов».

[2] Автор не успел ни окончательно обработать эту главу, ни дать ей название. — *Ред.*

Отгадка, конечно, *крапива.* Правильно отгадывали эту загадку лишь деревенские дети, а городские говорили почему-то: *утюг.*

И вот загадка о грузовике, перевозившем наши вещи на дачу. Я был вынужден взгромоздиться на груду вещей и ехать по ухабистой дороге, держа в руках лампу и зеркало. Доехал до места измученный, зато сочинил вот такую загадку:

Была телега у меня,
Да только не было коня.
И вдруг она заржала,
Заржала — побежала.
Глядите, побежала телега без коня!

Многие мои загадки давно напечатаны. Но есть среди них и такие, которые я до сих пор не решаюсь включить в свои детские книжки. Например, эта, где изображен головастик, жаждущий превратиться в лягушку:

Без рук, без ног голова плыла,
Голова плыла, приговаривала:
«Эх, ноги бы мне, я бы скок да скок,
Поскакала бы я на лужок-бережок!» —
«Ну, вот тебе ноги,
Беги, голова,
Скачи по дороге.
Кричи КВА-КВА».

Загадка как будто не хуже других, но горе в том, что ни один взрослый, кому я загадывал эту загадку, не мог отгадать ее. Дети не могли и подавно. Поэтому я и не дерзаю печатать ее на страницах своего «Чудо-дерева».

На днях мне привелось сызнова прочитать этот сборник, взглянуть на него свежими глазами. И когда в конце книги я дошел до загадок, с удивлением увидел, что есть в этих загадках одно характерное свойство, какого я не замечал до сих пор.

Оказывается, даже неодушевленные вещи определяются здесь не столько своими качествами, сколько своими делами, поступками. *Обожгу, заржала, побежала, поскакала, беги, скачи, кричи* и т. п. — все это действия, и притом энергичные, повышенно эмоциональные, резкие. Такова, например, загадка про бегущий пароход:

Паровоз
Без колес!
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошел? —
Прямо по морю пошел!

На четыре строки три восклицательных знака и один вопросительный. Каждая строка требует нового жеста. Оказывается, обращаясь к детям со своими загадками, я инстинктивно избегал прилагательных, определяющих качества, признаки и приметы вещей, и столь же инстинктивно тянулся к глаголам. Мне было бы скучно загадывать такие загадки, где репа определяется тем, что она «желта и хвостата», хлебная мякоть — тем, что она «комковата и ноздревата», а рябина — тем, что она «кругла и красна». Таких загадок у меня нет ни одной. Не суммой типических признаков характеризуется предмет в моих загадках, но чаще всего динамикой движений и действий. Такова, например, загадка о нашем домашнем ковре, на котором любили играть мои дети, перед тем как отправиться спать:

Лежу я у вас под ногами,
Топчите меня сапогами,
А утром во двор
Унесите меня
И бейте меня,
Колотите меня,
Чтоб дети могли
Поваляться на мне,
Барахтаться
И кувыркаться на мне.

Топчите, унесите, бейте, колотите, поваляться, кувыркаться, барахтаться — семь энергичных глаголов подряд и ни одного — из качественных определений ковра.

Конечно, я привожу крайние случаи. Чаще всего в моих загадках (как и в фольклоре) перечисления качественных определений предмета совмещаются с изображением его типических поступков и действий. Такова загадка о яйце и цыпленке:

Был белый дом,
Чудесный дом,
И что-то застучало в нем.
И он разбился, и оттуда
Живое выскочило чудо —
Такое теплое, такое
Пушистое и золотое.

Но в большинстве загадок все же преобладает динамика.

Это я разглядел лишь теперь, перечитывая на старости лет (не в последний ли раз?) свои давние детские книги, служившие верно и преданно четырем или пяти поколениям детей.

2

Внимательно вглядевшись в эти книги, я подметил, что не только в загадках, но и в большинстве моих сказок — непрерывные вихри движений и действий. В «Мойдодыре» уже на первых страницах:

Все верти́тся,
Все кружи́тся
И несется кувырком.

Вообще я почти никогда не изображаю предметов в их статике.

Тот мир, который я демонстрирую перед малым ребенком, почти никогда не пребывает в покое. Чаще всего и люди, и звери, и вещи сломя голову бегут из страницы в страницу к приключениям, битвам и подвигам. В «Айболите» — путешествие на волке, на ките, на орле. В «Бармалее» — чехарда со слонами, боевая схватка с Каракулой. В «Тараканище» — длинный кортеж едущих, летящих и скачущих путников:

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперед.

А за ним комарики
На воздушном шарике.

А за ними раки
На хромой собаке.
Зайчики
В трамвайчике.

Жаба на метле...

Едут и смеются,
Пряники жуют.

И такими быстрыми темпами движется вся эта чудная вереница, что не успеешь вглядеться в одного проезжающего, как перед тобой другой. Эти быстрые темпы вполне соответствуют умственным потребностям малых детей. Ведь ребенка в начале его бытия меньше всего интересуют характерные приметы вещей. Не оттого ли его собственная речь в раннем возрасте так небогата эпитетами? Это, я уверен, объясняется тем, что каждый эпитет (за исключением очень немногих) есть результат более или менее длительного ознакомления с вещью, вглядывания в нее, размышлений о ней, — то есть такой интеллектуальной работы, которая под силу лишь более позднему возрасту.

Поэтому, изображая в первых строках «Тараканища» мчащихся друг за другом животных, я не обременяю ребенка ненужными ему сведениями, каковы они, эти зайцы, раки, медведи, коты, комары, которые проносятся мимо, — какой у них нрав и какая наружность. Детскому уму эти сведения еще не нужны.

Действий, приключений, событий, молниеносно следующих одно за другим, — вот чего ждет ребенок в первые шесть-семь лет своей жизни. Герои «Крокодила» то сражаются, то убегают из плена, то ездят верхом на пантерах, то попадают в лапы к осатанелым гориллам, то пляшут вокруг праздничной елки — одно приключение сменяется десятком других. И в «Бармалее», и в «Краденом солнце» такая же непрерывная цепь приключений. И в «Бибигоне», и «Мухе» тоже[1].

3

Если я в своем воображении, как и подобает природному сказочнику, переживаю всем существом, всеми нервами каждое из тех действий, приключений, событий, о которых мне случается писать, я невольно, нисколько о том не заботясь, нахожу для каждого из этих эпизодов особую звуковую окраску, особый музыкальный напев.

---

[1] «Крокодил» — моя первая сказка, сочиненная еще в 1916 году. В нее (во вторую ее часть) я по неопытности ввел длиннейший монолог Крокодила о тех страданиях, которые испытывают звери, заключенные в железные клетки зверинцев. При новом издании сказки я хотел было заменить этот монолог кратким восьмистишием, излагающим тот же сюжет, но редакторы воспротивились этой замене. По их словам, уже создалась традиция, которую нельзя нарушить... Все же я считаю этот монолог своей ошибкой.

Муха-Цокотуха с беззаботным радушием угощала своих щедрых гостей, приносивших ей богатые дары, и вдруг попала в когти к пауку, который сразу же стал мучить ее, — неужели об этом катастрофическом случае можно повествовать тем же голосом, каким я говорил об ее легкомысленном пиршестве?

Конечно, нет. Здесь зазвучал для меня другой музыкальный мотив, соответствующий наступившему бедствию и резко отличающийся от прежних мажорно-ликующих ритмов. Хорей сменился скорбным анапестом:

А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он мухе веревками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у нее выпивает.

Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.

Дико было бы, если бы этот горестный случай был описан тем же плясовым и беспечным хореем, каким я только что описывал праздник.

Нет, весь ритмический строй поэмы изменился мгновенно, и речь злополучной Мухи зазвучала отчаянным воплем:

«ДорогИе гости, помогИте!
Паука-злодея зарубИте!
И кормИла я вас,
И поИла я вас,
Не покИньте меня
В мой последний час!»

Этот вопль, как я вижу теперь, пронизан от первой строки до последней единственным звуком И, трагическим звуком, издаваемым мухами, когда их терзает паук. В пяти строках — шесть слов с ударением на И.

Не прошло и минуты, как Муха опять стала счастлива. Ее спас самоотверженный герой. И, естественно, грустная ритмика плача тотчас же сменилась — не могла не смениться — ритмикой безоглядного счастья. Началась неистовая пляска, причем каждый опять-таки пляшет по-своему, в соответствии со своей комплекцией и общественной ролью, — от-

сюда многочисленные вариации ритмов. Вот музыкальная фактура стиха, изображающего пляску солидных и грузных жуков:

А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.

И совсем по-другому звучит ухарская пляска удалого деревенского батрака-муравья:

Муравей, Муравей
Не жалеет лаптей —
С Муравьихою подпрыгивает
И букашечкам подмигивает:
    «Вы, букашечки,
    Вы, милашечки,
Тара-тара-тара-тара-таракашечки!»

Изумительный детский слух к музыкальному звучанию стиха, если только он не загублен скудоумными взрослыми, легко схватывает все эти вариации ритмов, которые, я надеюсь, в значительной мере способствуют стиховому развитию детей.

Вот эта-то переменчивость ритмической фактуры стиха и была тем нововведением, тем новшеством, которое я ввел в свою работу над детскими сказками. Старинные русские сказки, хотя бы такие длинные, как «Конек-горбунок», от первой строки до последней звучали одним-единственным ритмом, ни разу не нарушая заранее установленной схемы. О чем бы ни повествовалось в «Коньке-горбунке» — о путешествии на небо, или о расправе с царем, или о чудо-деревне, расположенной на спине у кита, — обо всем этом говорилось одним и тем же монотонным голосом, неторопливым и ровным.

4

Повторяю. Далеко не всегда мне выпадало веселое счастье: писать стихи для маленьких детей. Тянулись месяцы, а порою и годы, когда в качестве детского автора я чувствовал себя жалкой бездарностью, способной вымучивать из вялого мозга одни лишь постыдно корявые вирши. Досаднее всего было то, что всякие прочие жанры в это самое время давались мне без всяких усилий. Я писал и этюды по

истории словесности, и мемуарные очерки, и критические статьи, и памфлеты, но, чуть дело доходило до детских стихов, оказывался неумелым ремесленником.

Причина моего бесплодия ясна. Всякая искренняя детская сказка всегда бывает рождена оптимизмом. Ее живит благодатная детская вера в победу добра над злом. Этой веры мне в то время не хватало.

Но вот однажды на даче под Лугой я забрел далеко от дома и в незнакомой глуши провел часа три с детворой, которая копошилась у лесного ручья. День был безветренный, жаркий. Мы лепили из глины человечков и зайцев, бросали в воду еловые шишки, ходили куда-то дразнить индюка и расстались лишь вечером, когда грозные родители разыскали детей и с упреками увели их домой.

На душе у меня стало легко. Я бодро зашагал переулками среди огородов и дач. В те годы я каждое лето до глубокой осени ходил босиком. И теперь мне было особенно приятно шагать по мягкой и теплой пыли, еще не остывшей после горячего дня. Не огорчало меня даже то, что прохожие смотрели на меня с омерзением, ибо дети, увлеченные лепкой из глины, усердно вытирали загрязненные руки о мои холщовые штаны, которые из-за этого стали пятнистыми и так отяжелели, что их приходилось поддерживать. И все же я чувствовал себя превосходно. Эта трехчасовая свобода от взрослых забот и тревог, это приобщение к заразительному детскому счастью, эта милая пыль под босыми ногами, это вечереющее доброе небо — все это пробудило во мне давно забытое упоение жизнью, и я, как был в измазанных штанах, взбежал к себе в комнату и в какой-нибудь час набросал те стихи, которые с позапрошлого лета безуспешно пытался написать. То музыкальное чувство, которого все это время я был совершенно лишен и напряженно пытался в себе возродить, вдруг до того обострило мой слух, что я ощутил и попытался передать на бумаге ритмическим звучанием стиха движение каждой даже самой крохотной вещи, пробегающей у меня по странице.

Передо мной внезапно возник каскад взбунтовавшихся, ошалелых вещей, вырвавшихся на волю из долгого плена, — великое множество вилок, стаканов, чайников, ведер, корыт, утюгов и ножей, в панике бегущих друг за дружкой. Причем во время этого отчаянно быстрого бегства каждая тарелка зазвучала совершенно иначе, чем, скажем, сковоро-

да или чашка. Бойкая и легковесная кастрюля пронеслась лихим четырехстопным хореем мимо отставшего от нее утюга:

И кастрюля на беГУ
Закричала утюГУ:
«Я беГУ, беГУ, беГУ,
Удержаться не моГУ!»

Как я понимаю теперь, шесть ГУ на четыре строки призваны передать фонетически стремительность и легкость полета. А так как утюги увесистее юрких кастрюль, я оснастил свои строки о них тягучими сверхдактилическими рифмами:

Утюги бегут покрякивают,
Через лужи, через лужи перескакивают.

По-кря-ки-ва-ют, пе-ре-ска-ки-ва-ют — неторопливые протяжные слова с ударением на четвертом слоге от конца. Этим ритмическим рисунком попытался я выразить чугунную тугоподвижность утюгов.

У чайника другая «походка» — шумная, суетливая и дробная. В ней мне послышался шестистопный хорей:

Вот и чайник за кофейником бежит,
Тараторит, тараторит, дребезжит...

Но вот раздались стеклянные, тонко звенящие звуки, вновь вернувшие сказке ее первоначальный напев:

А за ними блюдца, блюдца —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Вдоль по улице несутся —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
На стаканы — дзынь! — натыкаются,
И стаканы — дзынь! — разбиваются.

Конечно, я нисколько не стремился к такой многообразной и переменчивой ритмике. Но как-то само собой вышло, что, чуть только передо мною пронеслась разная кухонная мелочь, четырехстопный хорей мгновенно преобразился в трехстопный:

А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по дорожке.

Не заботился я и о том, чтобы походка стола, неуклюже, вперевалку бегущего вместе с посудой, была передана другой вариацией ритма, совсем не похожей на ту, какая изображала движение прочих вещей:

Из окошка вывалился стол
И пошел, пошел, пошел, пошел, пошел...

А на нем, а на нем,
Как на лошади верхом,
Самоварище сидит
И товарищам кричит:

«Уходите, бегите, спасайтеся!»

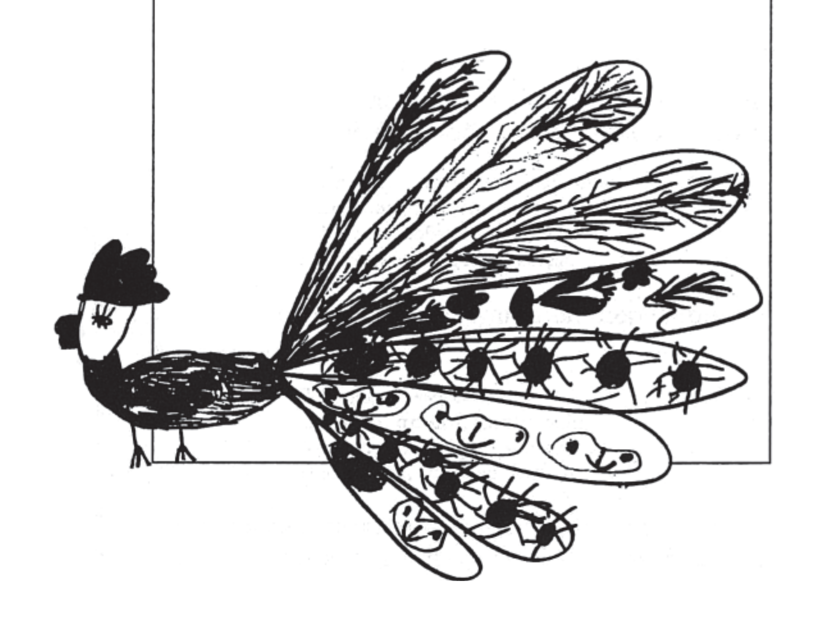
Конечно, таких вариаций стихотворного ритма, изображающих каждый предмет в его музыкальной динамике, не добьешься никакими внешними ухищрениями техники. Но в те часы, когда переживаешь тот нервный подъем, который я пытался описать в очерке о «Мухе-Цокотухе», эта разнообразная звукопись, нарушающая утомительную монотонность поэтической речи, не стоит никакого труда: напротив, обойтись без нее было бы гораздо труднее.

Вся эта сюита о каскаде вещей была написана экспромтом, в какой-нибудь час или меньше. Зато продолжение «Федорина горя» далось мне ценою кропотливой и долгой работы, о которой не стану сейчас говорить, так как тороплюсь сделать вывод из того, что сказано раньше[1].

---

[1] Статья не закончена. – *Ред.*

ЛИТЕРАТУРА И ШКОЛА



В 1936 году в советских журналах и газетах горячо обсуждался вопрос о преподавании литературы в школе. В обсуждении этого вопроса принял участие и я («Правда», от 18 января 1936 года). Той же теме я посвятил свое выступление на X съезде ВЛКСМ (24 апреля 1936 года).

В моей книге «От двух до пяти» (1937) я объединил два выступления под общим заглавием «Литература в школе».

Здесь воспроизводится текст этого издания.

1968

I

В Воронежской области есть Нина Чичильева, ученица седьмого класса. Натура поэтическая, она любит стихи. Подруги этой Нины Чичильевой, девочки четырнадцати лет, тоже увлекаются изящной словесностью: Люба Яровая, Валя Яценкова, Маруся Соловьева и другие, — целый литературный кружок. Нина завела себе альбом, куда ее подруги в течение двух лет прилежно вписывали всякие стихи, которые почему-либо понравились им. Получился замечательный сборник любимых молодежью стихов. Сборник довольно обширный: сто восемьдесят шесть страниц, исписанных убористым почерком. Он дорог нам именно тем, что дети здесь непринужденно выражают свои литературные вкусы. Это книга интимная и потому безоглядно искренняя: девочки записывали эти стихи не для стенгазеты, не для декламации в школе, а сами для себя.

Тут откровенно сказалась подлинная эстетика этих четырнадцатилетних детей. Откройте же их альбом и читайте:

Ох вы, мужчины, вы — скотины,
В вас азиатские глаза,
Вы девок любите словами,
Но своим сердцем никогда.

Оправившись от первого смущения, переверните две страницы и читайте:

Я просила, умоляла:
О приди, приди, милый мой,
А он, стерва, с другою занялся,
Насмеялся, стервец, надо мной.

Такими стихами заполнены сто семьдесят страниц этого сборника. Недаром озаглавлен он так: «Альбом для любви и страдания».

Если рассматривать этот альбом как некий трактат о любви и страдании, получится приблизительно такая концепция:

На свете нет ничего интереснее, увлекательнее, ценнее, важнее, чем амурные отношения мужчины и женщины. Но, занимаясь этим единственно увлекательным делом, женщина не должна забывать, что все мужчины (как выражается этот альбом) — «подлецы», «изменщики», «скотины», «лукавцы» и «стервы», и потому она должна вести себя с этими «лукавцами» возможно хитрее, чтобы они остались, так сказать, околпаченными. Ту женщину, которая забывает об этом, «Альбом для любви и страдания» именует жалкой простячкой и приводит у себя на страницах множество поучительных случаев, когда «простячкам» пришлось поплатиться за доверчивую свою «простоту».

Когда знакомство заводила
И полюбила подлеца,
Я откровенность всю открыла
И попросила, как отца.

Но он на просьбу не сдавался,
И насмеялся надо мной,
И назначил мне свиданье,
А сам гулять пошел с другой.

В этом, по мнению «Альбома», главная злокозненность лукавца-мужчины; женщина откроет ему свою «откровенность», а через день он «занимается» с другою:

И прихожу я на то место,
А он с другою вже стоит.

И снова:

Мой миленький изменщик
Целуется с другой.

И снова:

Я как роза в саду расцвела.
А потом фулигана нашла.
Фулиган надо мной насмеялся.

И снова:

Матрос девочку завлек,
А теперь смеется.

И снова:

Ты просила его, умоляла:
«О приди повидаться со мной!»
Но, других беззаботно лаская,
Он смеялся тогда над тобой.

Даже в лес за грибами невозможно пойти: непременно набредешь на «лукавца», который завлечет тебя сладкою речью и сделает на всю жизнь несчастною:

Вот вам, девочки, наука,
Как в лесок ходить.

Словом, единственный есть классовый враг у каждой женщины — это мужчина, и для борьбы с этим коварным, хорошо вооруженным врагом женщина должна мобилизовать все свои душевные силы. Конечно, «Альбом» не отрицает того, что

Когда деточка красивый,
За ним надо вхаживать.

Но «вхаживать» надо с оглядкой:

Пусть он обманет,
Пусть он изменит,
Новый поклонник
Его мне заменит, —

таков должен быть девиз каждой девушки. Вся девичья тактика — по словам этого мудрого альбома — именно в том и должна состоять: примани к себе возможно больше поклонников и насмехайся над каждым, — тогда за хорошую цену тебе удастся продать твою миловидность и молодость. В чем эта хорошая цена заключается, ясно обозначено на странице 96.

Нас три сестры. Одна за графом,
Другая герцога жена,
А я — их всех милее, младше, —
Простой морячкой жить должна!

Мировоззрение монолитное, стройное и в достаточной степени гнусное. Каким же чудом укоренилось оно на девятнадцатом году революции в сердцах и умах этих школьниц? Под одним стихотворением есть дата: 11 ноября 1935 года, так что этот альбом не вчерашний наш день, а сегодняшний.

Судя по приложенным к альбому портретам Нины Чичильевой и ее ближайших подруг, у всех у них есть пионерские галстуки, так что они не отщепенки, не выродки, эти одиннадцать девочек шестого и седьмого классов неполной школы Алексеевского района, села Матрено-Гезево, Воронежской области, а самые обыкновенные Вали, Кати, Маруси, Любы, Тамары и Нюры, которым предстоит через год, через два войти в нашу жизнь в качестве строительниц нового быта.

Не дико ли, что даже нечаянно, даже случайно в этот сборник их любимейших стихов не попало ни единого звука, в котором не было бы цыганской, кафе-ресторанной, лакейской, смердяковской, эстрадной пошлятины? Если уж им так нужна (а им, очевидно, чрезвычайно нужна) любовная поэзия, любовная лирика, почему они с таким пренебрежением прошли мимо всех наших Маяковских и Блоков — и вот утоляют свою жажду поэзии такою фальцетною мещанскою дрянью, как «Цыганка Занда», «Маруся отравилась», «Лопнули струны» и проч. вплоть до:

> Нас три сестры. Одна за графом,
> Другая герцога жена...

Конечно, клеветником на советских детей был бы тот, кто сказал бы, что такие альбомы представляют собою бытовое явление. Но и музейной редкостью их тоже невозможно назвать. Если не такая мораль, то такая эстетика встречается еще довольно часто. И, конечно, очень легко разразиться громами против этих романтических девочек, которые каким-то загадочным образом, забронировали себя от всех благотворных влияний русской гуманитарной культуры. Но каковы бы ни были причины, сделавшие весь этот воронежский школьный кружок средоточием обывательской затхлости, огромная доля вины за такую растленность детей ложится на нас, на взрослых. И раньше всего — на школу, на Детиздат и на нынешних детских писателей. Ведь стихи, наполняющие «Альбом для любви и страдания», несомненно, достались этим воронежским девочкам в наследство от их теток, матерей, пожилых сестер и т. д. Это те стихи, что издавна бытовали в мещанской среде, вполне соответствуя ее хищнической и рабьей природе. Теперь эта среда разбита вдребезги, *но стихи остались*, и вот спрашивается, какие же другие стихи противопоставила школа этим мерзопакостным, но столь пленительным для молодежного сердца стихам?

Если бы школа умела обрадовать, очаровать, взволновать этих девочек произведениями высокой поэзии, если бы преподавателям русской словесности удалось так заразить их своими эмоциями, что они на самом деле ощутили бы счастье оттого, что на свете был Пушкин, вся эта смердяковская гниль сама собой отпала бы от них, и сердцещипательный лакейский романс был бы для них раз навсегда размагничен.

Но школа, столь великолепная в других отношениях, все еще не способна привить нашим детям подлинные литературные вкусы, вооружив их здоровой эстетикой, которая на всю жизнь дала бы им надежный критерий для оценки литературных явлений, — не способна научить их самостоятельно разбираться в произведениях поэзии.

Причин этого плачевного явления много, но главная заключается в том, что наши учебники, хрестоматии, методические пособия, программы — все еще страдают стихофобией, дурно скрываемой враждою к поэзии и никакого стихового воспитания даже не пытаются дать нашим школьникам. Возьмите хотя бы этот прискорбный альбом: ученицы шестого класса даже не догадываются, что у стихотворений должен быть какой-нибудь ритм: школа не развила в них самого элементарного стихотворного слуха, без которого восприятие поэзии так же немыслимо, как для слепого восприятие живописи. Поэтому все стихи, вписанные в этот альбом, в ритмическом отношении — калеки:

Ты хочешь знать, кого люблю.
И его нетрудно взнать.
Будь заинтересованный мною,
Я не могу сказать.

И вы только вслушайтесь, как эти бедные дети записали стихотворение Лермонтова:

Играют волны, ветер свищет
И молча (!) стонет и скрыгчит (?!)
Ува (?), он ищет не счастья
И не от счастья бегит.

Чтобы понять, каким образом, дети доведены до такой глухоты к стиховой музыке, к звучанию стиха, нужно бегло перелистать те учебники, которые дает им Наркомпрос. Вот, например, «Букварь» Фортунатовой и Шлегер — отличный букварь, хотя его теперь кое-где и побранивают. Первые его страницы кажутся мне безупречными, преподавать по этому

букварю — удовольствие... покуда дело не дойдет до стихов. А чуть появились стихи, хватаешься за голову и стонешь.

Вот завод!
Тракторы колхозам дает.
Много тракторов в год
Дает этот завод.

Не ямб, не хорей, не поэзия, не проза. Дилетантская слякоть.

Когда в том же букваре я читаю такое противоестественное (в ритмическом отношении) двустишие:

Нам заводы помогли,
Нам заводы выслали́, —

мне вспоминается читанный мною в детстве стишок:

Полна корзина здесь яиц,
Что мы имеем от кури́ц.

А «Книга для чтения», составленная Е. Я. Фортунатовой, — сколько физической боли доставляет она всякому, кто любит поэзию! Книга утверждена Наркомпросом для первого класса, и там есть такие стихи:

Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Ка́кой (!) будет дом большой.

Удареньями здесь вообще не стесняются. Прочтите, например, стихотворение «Шутка», напечатанное на пятой странице. Его можно прочитать лишь в том случае, если в каждой строке *исковеркаешь какое-нибудь слово.* Должно быть, в этом и заключается шутка:

На́дел Ваня валенки,
Пошел с Таней маленькой.
У колодца во́да льется...
Сто́ят возле и ревут...

Тебе предоставляют читать на выбор: либо:

Много́ снега́, круго́м бело́, —

либо:

Мно́го сне́га, кру́гом бе́ло.
(«Букварь», стр. 35)

И это измывательство над русскою речью утверждается Наркомпросом во всесоюзном масштабе, и никто до сих пор не закричал «караул».

Учебники напечатаны в баснословном числе экземпляров, и в них детей систематически приучают к таким халтурным, неряшливым рифмам:

Оба *вместе*
Хоть бы с *места* (5).

И под лавки, *под столы*,
И под стулья, *под шкафы* (7).

Весь народ уж на *работе*,
У ребят своя *забота* (6).

Под крышей *дуга*
Подпирает *провода*...

Если в Наркомпросе так позорно низка стиховая культура, если эта низкая стиховая культура сказалась во всей наркомпросовской практике, чего же, спрашивается, требовать от бедных воронежских школьниц? Мудрено ли, что их вполне удовлетворяет такая колченогая ритмика:

Те ночи блаженства любви,
Когда твои карие (?) мне губы жгли (96).

В Наркомпросе все еще полагают, что всякая интеллигентная старушка, не имеющая ни чутья, ни таланта, может изготовить стишки, которые будут вполне хороши для детей. Что с детьми церемониться! Они маленькие! И вот старушка выкомаривает такие стишки:

Напишем строчку,
Как по цепочке (63).

А Учпедгиз распространяет этот хлам среди миллионов советских детей.

Правда, порою старушка сочиняет более складно и грамотно, и тогда у нее получается следующее:

Был хозяин на заводе.
Нас он в голоде держал.
За станком весь день стоял,
У него отец Володи

Уж давно с того завода
Богатей тот убежал.
И теперь отец Володи
Управлять заводом стал.

Дальше следует куплет про помещика, где, к изумлению читателей, повторяются те же слова:

Близ деревни жил-был барин.
Дом — дворец, как роща — сад.
У него отец Евгеши
Холил малых жеребят.

Уж давным-давно тот барин
Из деревни убежал,
И теперь отец Евгеши
Управлять совхозом стал.

Таким образом, найден универсальный рецепт, как без малейшего напряжения умственных сил составлять механическим способом историко-революционные стихи для детей. По этому рецепту можно писать без конца. Предлагаю такие же стихи моего сочинения:

Жил да был домовладелец,
За квартиры деньги драл.
У него отец Еремы
Нанимал сырой подвал.

Уж давным-давно хозяин
Того дома убежал.
И теперь отец Еремы
Управлять тем домом стал.

В течение получаса можно, не затрудняя мозговых полушарий, сфабриковать по такому шаблону двести— триста подобных куплетов:

Жил да был рыботорговец,
Гнилой рыбой торговал.
У него отец Федота
Эту рыбу покупал.

Уж давно рыботорговец
С того рынка убежал.
И теперь отец Федота
Сам купцом советским стал.

Одни только не убежали: невежды-педологи, которые гнездятся в Наркомпросе. И, к сожалению, мы не можем написать:

Уж давно из Наркомпроса
Тот педолог убежал[1].

[1] Стихи пророческие. Написаны в январе 1936 года. Теперь, после постановления ЦК (от 4 июля), педологам, к счастью, пришлось «убежать» не только из Наркомпроса, но и из всех советских учреждений.

В назидание составителям всех этих колченогих стишков я могу рассказать один поучительный случай. Дня три тому назад ко мне явился сотрудник газеты «За пищевую индустрию» и вывалил на письменный стол груду каких-то конфет.

– Это шоколад для детей, изготовленный в Москве кондитерской фабрикой «Красный Октябрь». На каждой плитке картинка, и тут же под картинкой – стихи. Так вот посмотрите, пожалуйста, хорошие ли эти стихи или скверные.

Стихи оказались отличные.

Сотрудник повеселел и, прощаясь со мною, сказал:

– Мы, «Пищевая индустрия», хотим, чтобы советские дети получили не только самый лучший шоколад, но чтоб и картинка на этом шоколаде была самая лучшая, и стихи на нем были бы первого сорта.

То, что понимает «Пищевая индустрия», пора уже понять Наркомпросу: литература, которую даем мы детям, должна быть самого первого сорта.

II

Смелую и верную мысль высказала, между прочим, товарищ Барун, директор Детиздата Украины, по поводу Нины Чичильевой и ее «Альбома любви и страдания».

Для того чтобы такие альбомы исчезли, Детиздат, по ее словам, должен без жеманной и лицемерной стыдливости напечатать для наших подростков доброкачественный (и вполне литературный) сборник любовных лирических песен. Девушки и юноши пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет жаждут стихов, где были бы опоэтизированы их любовные томления, желания, иллюзии, мечты. Но что дали мы нашим «отроковицам» и «отрокам», чтобы утолить их великую жажду? Ничего. Ни одного песенника, ни одной антологии. И этим мы сами толкнули их к трактирной цыганщине. Дадим же им сборник любовных стихов Пушкина, Фета, Полонского, Блока, Бернса, Беранже, Маяковского.

Но разве Нине Чичильевой не хватает только этого любовного сборника? Какие книги читала она? Много ли книг было у нее в раннем детстве? Увы, детская книга – все еще великая редкость, потому что спрос на нее небывалый, невиданный на нашей планете. Прежде только дети, принад-

лежавшие к интеллигентной верхушке, были обслуживаемы детскими книгами. А теперь и колхозники, и колхозницы, попадая в Москву, часами разыскивают по магазинам и книжным ларькам детиздатскую книжку для своих трехлетних потомков. Нельзя сказать, чтобы до настоящего времени Детиздат, хотя бы в малой мере, удовлетворял этот сказочно выросший спрос. Когда в Ленинграде был съезд педиатров, я получил от одной участницы этого съезда такое письмо: «Госиздат обещал устроить на педиатрическом съезде киоск детской книги. На *полторы тысячи* врачей выбросили сорок книг. Мне, увы, ни одной не досталось. Когда я уезжала из Уральска, мне был дан наказ от детей и родителей не возвращаться без (таких-то и таких-то) детских книг. Будьте добры, разрешите кое-что списать у вас. *Врач Антонина Ивановна Лаушкина*».

Таких писем я получаю десятки. И приходят ко мне уральские, архангельские, вятские люди со своими собственными карандашами, со своею бумагою и списывают моих «Бармалеев», списывают «Конька-Горбунка», списывают басни Крылова, словно мы живем в пятом веке и книгопечатание для нас недоступная роскошь. Но много ли можно распространить таких списков среди детей нашей бескрайной страны? Двести, триста, триста пятьдесят... А нуждаются в них миллионы. Миллионы детей все еще остаются без книги.

Вот, как мне кажется, одна из причин возникновения в школьной среде «альбомов любви и страдания».

Замечательно, что все стихи, которыми школьницы заполнили этот альбом, все без исключения записаны ими по слуху, по памяти, без какого бы то ни было соприкосновения с книгами. На это указывают многочисленные ошибки их записей: вместо «догорает *камин*» они пишут: «догорает *камыш*» (60), вместо «по темным *аллеям*» они пишут «по темным *оленям*» (97), вместо «скорблю» они пишут «корблюсь»:

Из-за вас я *корблюсь* и страдаю.

Вместо «страстно» у них получается «страшно».

Я так *страшно тебя целовала.*

Все это — и многое другое — показывает, что стихи, входящие в состав этого сборника, восприняты не зрением, а исключительно слухом и памятью, а это, конечно, возможно только при полном бескнижье.

III

Все же тут главная виновница — школа, которая до настоящего времени не может наладить сколько-нибудь удовлетворительного преподавания русской словесности.

Сейчас, например, все шестиклассники испытывают великую скорбь. И причина их скорби — Пушкин.

Как сквозь колючий кустарник, пробираются двенадцатилетние дети сквозь такие непонятные строки:

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе,
И не завидовать судьбе
Злодея, иль глупца в величии неправом,
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас...
и т.д.

Нужно свирепо ненавидеть и Пушкина, и наших детей, чтобы предлагать двенадцатилетнему школьнику такой архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор.

Я не говорю, что советские школьники, при их понятливости и упрямом трудолюбии, не могут в конце концов одолеть эти дремучие строки. Могут. Но не требуйте, чтобы с именем Пушкина после этой тяжелой работы была у них связана радость.

Между тем, если бы составители программы вместо «оракулов» и «суетных оков» дали детям такие стихи, как, например, «Ворон к ворону летит», «Вурдалак», «Бонапарт и черногорцы» и прочие, изучение Пушкина стало бы для шестиклассников праздником.

Если же Наркомпросу не терпится заявить малышам о либеральных симпатиях юноши Пушкина, пусть даст им четыре стиха из «Деревни» (ровно четыре, не больше!):

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря? —

да концовку из послания «Чаадаеву». Это сбережет семь или восемь часов для более полезных занятий. И, главное, с име-

нем Пушкина не будет у школьников связано представление о какой-то сплошной тарабарщине, которую одолеваешь, тоскуя и тужась.

Но Наркомпрос упорно скрывает от них того Пушкина, которого они могли бы полюбить. Даже одиннадцатилетним ребятам (в пятом классе) он навязывает «Дубровского» и «Зимнее утро», то есть опять-таки то, что нисколько не соответствует их возрастным интересам.

Они на всю жизнь влюбились бы в Пушкина, если бы им дать, например, «Делибаша»:

Делибаш уже на пике,
А казак без головы!

Но похоже, что Наркомпрос вообще не желает внушать детям любовь к литературе. Пусть зубрят по программе — без всяких эмоций! Вот, например, басни Крылова. В них есть все, что может понравиться детям: и звонкий стих, и забавная фабула, и медведи, и слоны, и обезьяны. Одиннадцатилетние тянутся к этим басням, как к меду. Не потому ли программа дает им всего лишь три басни, то есть почти ничего! Чтоб они не лакомились теми стихами, которые доставляют им радость! Из всего Лермонтова детьми наиболее любима «Песня про купца Калашникова», — и, конечно, Наркомпрос не включил этой песни даже в программу внеклассного чтения[1]. То же самое и с «Детством» Толстого. Дети так любят читать про детей! Но составители школьной программы не сделали им поблажки и тут.

Вообще, если составители программы нарочно стремились представить ребятам художественную нашу словесность в самом невкусном, неудобоваримом и непривлекательном виде, они достигли своей цели блистательно.

В достижении этой цели им сильно помогают учебники, где равнодушные люди тускло и черство «прорабатывают» гениальных художников слова.

Скажут: учебники должны изощрять классовую зоркость ребенка. Но неужели нельзя сочетать самый строгий социа-

---

[1] Хотя в наркомпросовском учебнике сказано, что эта песня знаменует собою «расцвет его [Лермонтова] творчества» (*С. Флоринский* и *Н. Трифонов.* Литература XIX и XX вв., М., 1935, с. 49).

льный анализ с любовным и живым восприятием гениального творчества классиков? А наши фребели стыдятся эстетики, словно все еще сомневаются, нужна ли она детям пролетариев. Развитие эстетического вкуса детей — об этом наркомпросовские программы ни слова. Оттого и происходит, что, например, о Шевченко детям говорят исключительно как о революционном бойце, а вся изумительная красота его творчества проходит мимо детей. Так и печатают в школьных учебниках:

«Ценность Шевченко для нашего времени — в его революционных стихах и в правдивом показе (!) тяжести крепостной эпохи»[1].

И точка. Ни в чем другом они ценности Шевченко не видят. То обстоятельство, что он был гениальный поэт, их не интересует нисколько. Всю свою статью (целых десять страниц) посвящают они политическим убеждениям Шевченко и лишь четыре строки — «большой художественной высоте» его творчества. Но эти строки — канцелярская отписка. Никакого конкретного содержания в них нет. Удивительно ли, что дети посмотрели на меня так угрюмо и хмуро, когда я спросил у них, нравится ли им его творчество (тем более что его творчество представлено поэмою «Сон», которая в переводе потеряла девяносто процентов всей своей поэтической силы).

И случай с Шевченко далеко не единственный. Мы все еще боимся говорить во весь голос о художественной форме литературных творений и пробавляемся одной «социологией». Недавно в Детиздате вышла великолепная книга: крыловские «Басни». Любовное оформление книги, множество отличных иллюстраций, научно проверенный текст, небывалой красоты переплет, являющийся сам по себе произведением большого искусства, — все это делает честь Детиздату.

В этом превосходном издании самые басни прозвучали по-новому. Как-то особенно ощущаешь всю гениальную динамику крыловских стихов. Каждая фраза — мотор в несколько тысяч лошадиных сил! Чтобы довести свой стих до такого лаконизма, до такой чарующей четкости, до такой

[1] См. тот же учебник, с. 122.

монументальной простоты и художественности, — сколько дней и ночей должен был этот недосягаемый мастер шлифовать и оттачивать каждое слово, как на токарном станке! Вот у кого наши школьники, да и наши писатели, должны учиться работе над словом! И, издавая его книгу, мы должны и детей заразить своим восторгом перед теми огромными словесными ценностями, которые созданы таким упорным трудом. Но, вот вступительные строки к этой книге. О Крылове как о мастере слова, как о величайшем из поэтов — ни звука. То есть имеется несколько слов, но это именно несколько слов, самые общие фразы, без всякой конкретности. Все предисловие, от первой строки до последней, доказывает единственный тезис: что Крылов был пройдоха, ренегат, подлипало, лакей, что даже обжорству он предавался из хитрости, даже неряшлив он был из угодничества. Статья написана очень талантливо, остроумно, свежо, но где же здесь тот гениальный Крылов, у которого должны мы учиться, которому должны мы подражать? Где Крылов как писатель, как мастер, как создатель литературных шедевров? Как же вы надеетесь поднять словесную культуру наших школьников, повысить их литературные вкусы, если вы будете мерзавить писателей, которыми они должны восхищаться?

И это не случайность, а система.

Недавно пришлось мне присутствовать в одной из московских школ на уроке, посвященном Валерию Брюсову. Я знал Валерия Брюсова лично, и мне, признаться, было очень приятно, что вот нынешние школьники изучают его. «Как обрадовался бы он сам, — думал я, — как гордился бы, если б узнал, что его стихи стали достоянием школы». Но радость моя скоро потухла, потому что учитель говорил о Валерии Брюсове не как об одном из замечательных русских поэтов, а так, как говорят о конокраде. Это даже не был суд над Валерием Брюсовым, это был расстрел без суда. Собственно, Брюсов нисколько не интересовал педагога, его интересовал символизм, — и Брюсов был нужен ему с единственной целью: чтобы продемонстрировать перед учащимися, какая это постыдная дрянь.

Сплошная социологизация и ни одного грамма любви!

Не прошло получаса, как цель преподавателя была блестяще достигнута: он угробил не только символизм, но заодно и Валерия Брюсова. Ученики глядели на него с удивлени-

ем: зачем же изучать этого самого Брюсова, если он был такое ничтожество!

Учителя винить невозможно: такова программа Наркомпроса. Ее гораздо больше занимают всевозможные «измы», нежели подлинное творчество того или иного писателя. О том, что поэзия может доставить радость, программа до сих пор не додумалась. Она вообще не желает внушать детям любовь к литературе: пусть зубрят без всяких эмоции.

И зубрят. Даже Пушкина зубрят. С результатами этой зубрежки может познакомиться всякий, кто захочет присутствовать на проверочных испытаниях по литературе — ну, хотя бы в седьмом классе при переходе в восьмой. Войдите, сядьте на скамью и послушайте.

— Что хотел сказать Чехов своим «Человеком в футляре»?

— Тра та та́та та́та та!

— Чем отличаются басни Крылова от басен Демьяна Бедного?

— Тра та та́та та́та та!

Ответы проворные, бравые, звонкие, но совершенно бездушные. Школяры доведены до такой дрессировки, что, даже не дослушав вопроса, лихо барабанят ответ.

Учитель чувствует себя триумфатором и с самодовольною скромностью ожидает похвал. Но я ухожу огорченный. Литература не таблица умножения: ее нужно не зубрить, а любить. Сделать из нее окрошку разрозненных фактов, имен и заглавий — не значит ли это навсегда отвратить от нее детское сердце?..

Как же вы требуете от Нины Чичильевой, чтоб она возлюбила классиков — Тютчева, Некрасова, Лермонтова — и возненавидела доставшуюся ей по наследству пошлятину, если школа преподносит ей всех этих классиков в виде какого-то безвкусного месива формул, имен и фактов, которые следует вызубрить, ибо они совершенно чужды внутренней жизни детей.

Школьники догоняют меня с веселыми лицами: большинство из них получило «отлично». Мы проходим мимо Инженерного замка, и разговор у нас, естественно, заходит о Павле I.

— Вы, конечно, знаете, отчего он умер?

Мнутся, потупляют глаза. Но одна очень серьезная девочка (лет пятнадцати, а может быть, и старше) произносит полновесно и четко:

— Застрелили. Революционеры.

— Застрелили? Павла Первого? Революционеры? Какие же?

— Социал-демократы, конечно.

Я пристыдил эту девочку, записал ее имя, фамилию. Но вскоре обнаружилось, что тут почти все таковы. Никакого представления об эпохах, о датах, о последовательности исторических и литературных явлений. Вызубрен целый реестр заглавий, имен и цитат, а какая между ними связь — неизвестно. Из беседы понемногу выясняется, что:

— Лев Толстой участвовал в наполеоновских войнах.

— Чехов был сверстник Жуковского.

— Пушкин жил при Александре III. У него был приятель Слепцов... или нет, не Слепцов... Слепнев... который издавал «Современник».

Но, может, эта школа отсталая? Я решил пойти в другую, по соседству. В лучшую школу района.

Тамошние семиклассники уже разошлись. С трудом я разыскал пятерых в библиотеке. И немедленно задал им невинный вопрос:

— Кто такой был Иван Гончаров?

Последовал дружный ответ:

— Мы учили его в прошлом году!

Впрочем, они тут же припомнили, что Гончаров был автором «Обломова».

— А что еще вы знаете о нем?

— Он был папаша Гончаровой, жены Пушкина.

Таковы их представления о последовательности литературных периодов. Писатель пятидесятых — шестидесятых годов выдает свою дочку замуж за человека, заведомо скончавшегося в тридцатых годах!

Я решил посетить третью школу, тут же за углом, через дорогу. Там я задал семиклассникам вопрос:

— Мог ли Николай Алексеевич Некрасов, гуляя по Невскому, встретить Николая Васильевича Гоголя?

— Нет, не мог!

(И смеются: нас не проведешь!)

— А почему?

— Они жили в разные столетия.

— Позвольте! — И я стал рассказывать им о натуральной школе», о Белинском, о «гоголевском периоде», о встрече Некрасова с Гоголем, но увидел, что они слушают меня только из вежливости.

– Мы будем изучать это после, в девятом, в десятом, а сейчас это в нашу программу не входит.

Тут я впервые заметил ту роковую особенность школьников, которая впоследствии столько раз удручала меня: отсутствие живого интереса к фактам литературной истории, изучаемым в классе.

В Кисловодске в четвертой школе нынче осенью один семиклассник наиболее отчетливо выразил свое отношение к этому делу. Я спросил его, в какую эпоху жил Пушкин. Он ответил:

– А шут его знает!

К сожалению, это точная формула того равнодушия к изучаемым литературным явлениям, которым до настоящего времени отличаются даже самые лучшие, наиболее одаренные школьники.

Я побывал сейчас в нескольких школах Бауманского, Фрунзенского, Октябрьского, Кировского районов Москвы – и всюду одно и то же. Дети, которые обладают такими монументальными знаниями в области физики, биологии, географии, ботаники, которые пылко увлекаются шахматами, спортом, театром, кино, к литературе, преподаваемой в школе, не чувствуют никакого влечения. Зубрят ее «отсюда – досюда» по тем образчикам, которые даны в хрестоматиях.

– И зачем учить такую древность? – публично спросил меня один десятиклассник об «Отцах и детях» Тургенева.

Другие произведения Тургенева он даже не пытался читать.

– Ведь в школьной программе их нет!

А Чернышевский? Оказывается, что, кроме «Что делать?», ни один школьник десятого класса по своей воле не прочитал ни одной строки Чернышевского.

Да и откуда может взяться у них интерес к творчеству того или иного писателя, если эти писатели подаются им на уроках «словесности» в таком невкусном, неаппетитном, непривлекательном виде?

На днях в том же Кисловодске я вошел в шестой класс образцовой, показательной школы и подумал, что у детей болят зубы: такая была тоска на всех лицах. Оказалось, эта тоска происходит от изучения Пушкина. Согласно установленной программе, двенадцатилетние дети знакомятся с Пушкиным по самым незрелым, самым архаическим, самым

трудным его стихам. И вот несколько уроков подряд уходят на унылую зубрежку непонятных речений, словно Пушкин был китайский поэт:

— Лидочка, что такое «томленье»?

— «Томленье» это то-то и то-то.

— Хорошо, садись.

— Зина, что такое «упованье»?

— «Упованье» это то-то и то-то.

— Юзя, что такое «пленительный»? А что такое «глас»? А что такое «витийство»?

Все эти вокабулы выписаны отдельно — в тетрадку, и их нужно знать наизусть. Что же удивительного, что веселое имя — Пушкин — вызывает у детей зубную боль? Если бы кто-нибудь преподавал мне таким образом Пушкина, я возненавидел бы Пушкина на всю свою жизнь. Учителю и в голову не приходит, что он раньше всего должен влюбить своих школьников в Пушкина, научить их восхищаться его творчеством, гениальной *простотой* его речи, а не томить отвратительной скукой зубрежки.

После этого я уже не удивляюсь, что Нина Чичильева (а вместе с ней и все ее подруги) обходится в своем быту совсем без Пушкина, что пушкинская лирика так и не нашла себе места в интимной тетради ее любимых стихов, что под заглавием «Сочинения Пушкина» в этой тетради красуется все та же пошлятина:

Пойду в аптеку, куплю яду,
Аптека яду не дает,
Тогда молоденька девчонка
Через мальчишку пропадет.

В некоторых (особенно в московских показательных) школах учителя щеголяют формальным анализом каждого произведения поэзии: «Перечисли эпитеты», «Укажи приемы контраста», — и проч. Этот анализ хорош лишь тогда, когда он сопряжен с эмоциональным отношением к поэзии. А сам по себе он окончательно убивает в ребенке всякий живой интерес к произведениям словесности.

Вот почему учащиеся почти никогда не читают писателей, которые преподаются им в школе. Вот почему, когда спросишь у семиклассников о Гончарове, Шевченко, Некрасове, они отвечают: «Мы учили их в прошлом году», — то есть имеем право позабыть о них решительно все.

IV

Вчера я посетил седьмой класс одной из самых достохвальных школ Москвы, и, когда лучшая ученица, ударница, поведала мне, что Некрасов сочинял свои стихи в самом начале минувшего века, то есть, очевидно, в одно время с Гаврилом Державиным, я окончательно пришел к убеждению, что преподавание литературы в огромном большинстве наших школ все еще нуждается в коренной перестройке.

Кто это выдумал, что можно изучать, например, поэзию Пушкина вне определенного периода русской истории? Если Пушкин жил «шут его знает когда», то все его творчество абракадабра и скука. Между тем для всех наших школьников, вплоть до восьмого класса, и Пушкин, и Чехов, и Лев Толстой, и Крылов висят в безвоздушном пространстве, вне истории, вне времени. И эта педагогика хочет называться марксистской! Именно в ту пору, когда формируется мышление ребенка – в пятом, шестом, седьмом классах, – от него держат в секрете все, что имеет отношение к русской истории. Больно видеть, что талантливые, многознающие советские школьники именно в этой нужнейшей им области знания доведены до такого невежества. Казалось бы, именно им надлежало бы выработать в себе с ранних годов привычку координировать исторические факты, между тем школа охотно предоставляет им думать, что Лев Толстой и Наполеон – современники.

Большую помощь могли бы оказать нашей школе писатели, но... я до сих пор не забыл одного позорного случая, происшедшего в писательской среде. Дело было нынче зимою. Газета «Литературный Ленинград» затеяла сблизить писателей и передовых педагогов, собрать их в писательском доме им. Маяковского, чтобы совместно обсудить (и осудить!) наркомпросовские методы преподавания русской словесности.

Я шел на собрание, окрыленный надеждами, но оказалось такое: весь зал полон педагогами – и ни одного писателя!

Педагоги, изнуренные целодневной работой, иные с отдаленнейших окраин, пришли для дружеского общения с писателями, однако те не соблаговолили явиться. А между тем от того, как наш школьник воспримет наследие Пушкина, Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Льва Тол-

стого, Горького, в значительной мере зависит будущая культура Советской страны.

Мне было жаль, что не пришли писатели, потому что я хотел предложить им один проект, в обсуждении которого они могли бы принять самое живое участие.

Проект этот очень простой. Чтобы спасти наши школы от зубрежки и скуки, чтобы приманить, приохотить детей к радостному и плодотворному изучению серьезной литературы, было бы чудесно, если бы наш Детиздат при участии наших лучших писателей наладил многотиражное издание «Детской литературной газеты».

Какую огромную помощь могла бы оказать она школе! Влюбить детей в литературу, в поэзию, повысить их художественный вкус, вплотную приблизить их к творчеству классиков, — не по-школьному, не по-казенному, свободно и весело познакомить их с историей, с теорией словесности, привить им на всю жизнь те знания и навыки, которые зовутся культурой. Такая газета в течение года могла бы сделать больше для литературного развития детей, чем десятки самых лучших учебников.

Замечательно, что такая газета уже существует в Горловке, в Донбассе, — единственная в СССР «Пионерская литературная газета», орган Горловского горпрофсовета, гороно и горкома ЛКСМУ. Выходит ли она в нынешнем году, я не знаю, но в 1935 году я получал ее, хотя не совсем аккуратно, и думаю, что опыт ее мог бы пригодиться и нам. Но, так сказать, в отрицательном смысле: как не следует издавать литературную газету для детей. В этой удивительной «Литературной газете» за весь 1935 год я не встретил ни единого упоминания о Пушкине! В ней много иллюстраций и портретов, но нет ни одного портрета, ни одной иллюстрации, которая имела бы хоть какое-нибудь отношение к писателям. Портреты в ней такие: «Шура Пупов учится на скрипке», «Женя Тетеркина учит ребят играть на гитаре», «Лида Титаренко у классной доски решает задачу» — и все это, конечно, превосходно, но я думаю, школьникам было бы гораздо полезнее вместо того, чтобы рассматривать Пупова с Тетеркиной, увидеть, например, «Некрасова у постели Белинского», или «Пушкина, читающего свое стихотворение Пущину», или «Гражданскую казнь Чернышевского» — мало ли какие есть сюжеты в нашей литературной истории. Но чего требовать от редакции этой газеты, если сама она по

своей словесной культуре, по своей эстетике, по своему литературному развитию стоит гораздо ниже детей, которых она берется чему-то учить. Дети тут почти все даровиты, но как бездарны их руководители — взрослые. Вот, например, стихотворение одного из детей:

Солнце, слушай, будем же друзьями!
Распылайся жарче всем твоим огнем!
Знаешь, солнце, ты весну лучами,
Ну, а мы вторую—руками создаем!

Это пишет горловский школьник Лашенко в своем стихотворении «Две весны», и какая в этом стихотворении талантливая, веселая, горячая кровь!

А вот как изъясняются в той же газете взрослые:

«*Развернулась* энергичная борьба...», «Между школами *развернулось* соцсоревнование...», «Во многих школах *развернулся* поход...», «Литературное движение *развернулось...*», «Литкружковцы сами *развертывают* сюжеты...», «Провели разбор романа «Отцы и дети» и дали *развернутую* характеристику героев» (1935, № 5).

Это в одном только крошечном номере! Закостенелый, канцелярский, нищенски убогий язык! «Развернулось», «развернулся», «развернуться», «развертываются» — и больше никаких оборотов. Как будто специально приучают детей к бездушной, штампованной речи.

Или возьмите любопытнейший сборник «Стихи счастливых», весь собранный из детских стихов. Он издан сталинградской краевой пионерской газетой «Дети Октября». Там есть очень неплохие стихи, особенно Шуры Рудомино, Юры Щербакова, Миши Луканина, Изи Израилева. Подлинные поэтические проблески. Но какое напыщенное, банальное и малограмотное предисловие к нему состряпал какой-то взрослый, по фамилии Швер. Куда же этому взрослому до этих детей! Он, между прочим, восхищается тем, что нынешние дети не пишут стихов ни о «Дедушке-Морозе», ни о «беспредметном» любовании природой. Так что, если бы в Сталинграде какой-нибудь пионер написал:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут, —

досталось бы ему от этого Швера. И какое счастье, что Некрасов не был под опекою Швера, когда писал поэму «Мороз — Красный нос», в которой действует Мороз-воевода.

Если бы эти даровитые дети руководили литературным воспитанием взрослых, я был бы, пожалуй, спокоен. Но вся моя тревога оттого, что эти бездарные взрослые воспитывают литературные вкусы детей.

Конечно, та детская «Литературная газета», которую, как мне кажется, должен основать Детиздат, будет совершенно иной. Она должна быть такой же веселой и неказенной газетой, как, например, «Пионерская правда». Кстати, та же «Пионерская правда» недавно дала нам хороший пример, как нужно говорить о литературе с детьми. Специальный пушкинский номер, выпущенный ею недавно, вполне соответствует тому типу «Детской литературной газеты», который, по-моему, будет наиболее актуален у нас. «Пионерская правда» намерена посвятить такие же номера Лермонтову, Гоголю, Диккенсу, – и мне кажется, что именно эти номера могли бы послужить, так сказать, эмбрионами будущей «Детской литературной газеты».

Недавно мне стало особенно ясно, до какой степени детям нужны – хотя бы на первых порах – такие образцы стихов и прозы, которые могут увлечь, взволновать и обрадовать их. Я, как и многие, издавна люблю украинского поэта Тычину, и вот, узнав, что семиклассники всех наших школ в РСФСР изучают его поэзию, я пошел в одну из лучших школ Ленинграда и спросил у детей:

– Любите ли вы Павла Тычину?

– Да, мы проходили его по программе.

– Нет, вы скажите правду: нравятся ли вам его стихи? Чувствуете ли вы радость, когда читаете их? Хотелось бы вам читать их еще и еще?

– Радость? Какую радость?

Я пошел в библиотеку этой школы:

– Обращался ли к вам хоть один семиклассник, чтобы вы дали ему почитать сочинения Тычины?

– Нет, не обращался *ни один*.

Тычина – хороший украинский поэт, и любить его дело нетрудное. Но откуда у школьников возьмется охота разыскивать в своих библиотеках Тычину, если никто даже не сделал попытки внушить им к Тычине любовь?

Конечно, у Наркомпроса были благие намерения: познакомить школьников с литературами братских народов, но к этому делу он подошел по-казенному, и оттого, в сущности, никакого знакомства не вышло. Вызубрили наизусть одно-

единственное стихотворение Тычины («Чабан») и могут лихо отщелкать его на уроке, чтобы сейчас же забыть. А подлинного интереса к нему — никакого. Казалось бы, если хочешь вселить в их сердца горячие чувства к литературному творчеству братских народов, научи их *восхищаться* стихами Тычины, Маркиша, Паоло Яшвили. А если ты дашь им зубрить скверные переводы каких-то случайных отрывков, это будет для них только лишней нагрузкой и вряд ли внушит им большие симпатии к литературному творчеству братских народов.

Так что даже те политические задачи, которые ставит себе эта программа, могут быть выполнены только тогда, если равнодушно-формальное отношение к нашей словесности заменится в Наркомпросе живым и любовным.

Но, может быть, не давая школьнику ни наслаждений, ни радостей, литература, изучаемая по этой программе, даст ему четкое представление о той социальной динамике, которая формирует ее, о том историческом процессе классовой борьбы, которая отражается в ней.

Увы, ей не под силу и эти задачи, потому что вся она клочковата, обрывчата.

Только что школьник начнет представлять себе литературу как некий процесс, движущийся в рамках истории, вдруг в этот стройный процесс ни с того ни с сего откуда-то сбоку врываются то Мольер, то Байрон, то Бальзак, то Шекспир, — вне всякой исторической связи, в виде каких-то «беззаконных комет», причем каждый из них представлен мизерным отрывочком (а Байрон, кроме того, в таком занозистом, корявом переводе, который Байроном даже не пахнет). Это называется изучением западно-европейской литературы!

В седьмом классе в виде таких же лоскутков и клочков дана поэзия братских народов.

В шестом — сюда пристегиваются клочки и отрывки теории словесности. Учителю так прямо и сказано: когда проходишь Пушкина — попутно говори... о варваризмах; когда проходишь Демьяна Бедного — дай детям понятие о... звукописи[1], и мудрено ли, что в головах у детей остается от всей

[1] Программы средней школы. «Русский язык. Литература», Наркомпрос РСФСР. 1935, с. 25.

этой окрошки такой ералаш, что хорей они называют гекзаметром, а писателя Гончарова — отцом жены Пушкина.

Клочковатость программы дошла до того, что одного и того же писателя раздирают на мелкие части и каждую из этих частей преподносят детям отдельно. Например, Демьяна Бедного проходят и в пятом классе, и в шестом, и в десятом (кусочками!). Чехова и в седьмом и в девятом. Тургенева и в пятом, и в шестом, и в девятом.

Такая чехарда заглавий, имен, дисциплин и эпох вряд ли помогает детворе понять литературу как исторический процесс...

1936

Так обстояло дело в начале 1936 года. Теперь многое изменилось к лучшему. Теперь и представить себе невозможно, чтобы в первые книги для чтения могли проникнуть те бездарные стишки, какие приводятся в настоящей статье. Издательство «Детская литература» (прежде Детиздат и Детгиз) после ряда горьких неудач научилось наконец выпускать такие издания классиков, которые можно назвать образцовыми.

Но преподавание литературы все еще не стало одним из могучих средств эстетического воспитания детей. Эстетический вкус, который необходимо воспитывать в детях с самого раннего возраста, все еще не вступил в свои права при изучении литературы в школе. В классных сочинениях школьников все еще преобладает мертвенный канцелярский стиль, о котором я писал в своей книжке «Живой как жизнь». Поэтому я и решился воспроизвести свою давнишнюю статью, хотя и сознаю с большой радостью, что многое в ней устарело.

1968

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕРБ

Глава первая
ТЕЛЕФОН

Зуев высыпал из ранца дюжину мелких иконок — медных, жестяных, деревянных, бумажных, — разложил их перед собою на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну: как бы она не обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости.

Зуев молился недаром: через три или четыре минуты в нашем классе начнется диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней.

Одиннадцать дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошел наш директор Бургмейстер (Шестиглазый, как мы звали его) и, словно читая стихи, сообщил нам своим строгим, торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа его сиятельство граф Николай Фердинандович фон Люстих на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском уроке во время диктовки.

Теперь этот день наступил.

Мне особенно жалко Тимошу Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг.

— Тимоша... Погоди... Я придумал!

В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи веревочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше:

— Привяжи к ноге... Да покрепче!

И, покуда он возится с узлами хвоста, говорю:

— Дерну раз — запятая. Два — восклицательный. Три — вопросительный. Четыре — двоеточие. Понял?

Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне

какое-то слово. Но он заика, и изо рта у него вылетают только два-три звука и брызги слюны.

Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, кудрявый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту: расширить телефонную сеть.

Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек! Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему.

Блохин достает из кармана бечевку и протягивает ее от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет ее к своей правой ноге.

Рядом с Бугаем — Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус.

Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой.

За Зюзей Козельским, на «Камчатке», у самой стены, сидят знаменитые на всю гимназию губошлепы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним.

— Не забудьте же, — повторяет Блохин, — раз — запятая, два — восклицательный, три — вопросительный, четыре — двоеточие. Поняли?

А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза все время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку.

В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.

По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятерка, хотя и случалось, что тут же, по соседству с пятеркой, мне ставили в тетрадку единицу — за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу.

Но вот распахнулась дверь. В класс вошел не Бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали одиннад-

цать дней, а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом. И немедленно начал диктовать нам диктовку.

Пришлось поработать моей правой ноге! Все время, пока длилась диктовка, я дергал, и дергал, и дергал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело.

Диктовка была такая (я запомнил ее от слова до слова):

В тот день (дерг!), когда доблестный Игорь (дерг!), ведущий войска из лесов и болот (дерг!), увидел (дерг!), что в поле (дерг!), где стояли враги (дерг!), поднялось зловещее облако пыли (дерг!), он сказал (дерг! дерг! дерг! дерг!): «Как сладко умереть за отчизну!» (дерг! дерг!)

Наши парты дрожали, как в судороге. Я без устали передавал свои сигналы Зуеву, Тимоше и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муня – Козельскому и братьям Бабенчиковым.

По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом взял наши тетради и унес неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха.

И благодарила же меня вся спасенная мною шестерка! Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы – полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва.

Через неделю в класс деревянной походкой снова вошел незнакомец в сопровождении нашего наставника Флерова и заявил, что, по приказу господина попечителя учебного округа его сиятельства графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь...

Незнакомец порылся в тетрадях.

– Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф... Нельзя ли пригласить их к доске?

Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал.

Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое:

В тот день когда: доблестный Игорь ведущий? войска из лесов и болот увидел что в поле где? стояли, враги поднялось!? зловещее облако пыли?

– Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому Иосифу нуль, равно как и Григорию Зуеву.

Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки:

– Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы... Бабенчиков Александр написал свою диктовку так:

В тот день когда доблестный Игорь веду,щий вой!ска из ле?сов и бо,лот уви,дел что в поле где стоя,ли вра!ги поднялось зловещее об,лако пы?ли он сказал как слад,ко умереть: за от,чизну.

Беда произошла оттого, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей – быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвертое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.

После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть – так болели у меня ребра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным: они были глухи к моим слезам и протестам.

Вернулся я в гимназию лишь на четвертые сутки. Молва о телефоне гудела и в коридоре, и в классах. Но Шестиглазый предпочел притвориться, будто ничего не слыхал: иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву, и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью.

Вскоре начались у нас экзамены. Я совсем забыл о телефоне. Но через два года, в пятом классе, случилась со мной новая беда, о которой я сейчас расскажу. Тут-то мне и припомнили мой телефон, и я понес такое наказание, какого не забуду до конца моих дней.

Виновником этой беды был наш гимназический поп.

Глава вторая
«ДА-ДА-ДА!»

Звали попа Мелетий. Он очень старался быть добрым. Только это плохо удавалось ему, потому что он был очень обидчивый. Заведет тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны нежно любить и друзей, и врагов, и вдруг позеленеет от злости:

— Как вы смеете смеяться надо мной! Бондарчук, почему ты хихикаешь?

— Батюшка, я не хихикаю!

— Нет, ты хи-хи-каешь! Все вы там сзади хи-хи-каете! Вот Лобода не хи-хи-кает! Зуев не хи-хи-кает! Косяков не хи-хи-кает! А вы хи-хи-каете! Почему вы хи-хи-каете?

— Батюшка, мы не хи-хи-каем!

На уроках он всегда был какой-то рассеянный. Соберет всю бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно:

— Да-да-да-да-да-да!

Отвечаешь ему урок, а он смотрит сквозь тебя куда-то вдаль и говорит невпопад, поддакивая своим собственным мыслям:

— Да-да-да!

Однажды вздумалось мне сосчитать, сколько раз в течение урока он произнесет это слово. Я стал записывать пальцем на парте, всякий раз макая палец в рот: «30... 40... 48... 53... 60...»

Моим соседом был Гришка Зуев. В первые минуты он равнодушно глядел на мои вычисления, но в классе стояла такая скучища, что надо же было заняться каким-нибудь делом. И вот, поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты.

Понемногу мы оба приходим в азарт.

Всякий раз, когда замечтавшийся поп произносит свое «да-да-да», мы, торжествуя, стираем ладонями предыдущую цифру и быстро пишем новую. Каждое свежее «да» радует нас, как выигрыш.

Но вскоре я с негодованием вижу, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторга-

юсь в его территорию, стираю фальшивую цифру и ставлю верную: 212.

Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью.

Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Мелетия:

— Зуев... И ты... Как тебя? Ну-кася, повторите, о чем я сейчас говорил.

Странное дело: нельзя сказать, что мы слушали этот урок невнимательно. Напротив. Для того чтобы не пропустить ни одного «да-да-да», мы должны были жадно вслушиваться в каждое слово Мелетия. Но, кроме «да-да-да», мы, оказывается, ничего не слыхали. Потому что рыбак ловит сетями не воду, а рыбу.

Мы стояли растерянные и бормотали несвязное. Зуеву повезло: его большая, круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжелая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удрученного грешника, переживающего муки раскаяния.

Попу Мелетию его покаянная поза понравилась: поп Мелетий любил плачущих, покорных, униженных. Он прищурил глазок и залюбовался тоскующим Зуевым, как художник картиной.

И благосклонно произнес:

— Да-да-да!

— Четыреста двенадцать, — еле слышно сказал мне Зуев, сохраняя ту же лицемерную позу страдальца, плачущего о своих прегрешениях.

— Врешь! — возразил я запальчиво. — Не четыреста двенадцать, а двести четырнадцать!

Голос у меня был визгливый, и мое «врешь» прозвучало как выстрел.

Мелетий взлохматил бороду.

— Сейчас же ступай к доске, — сказал он, — и объяви всему классу о причинах твоего неблагопристойного вопля. И прибавил внушительно:

— Да!

Это новое «да» особенно рассмешило меня.

— Хи-хи-каешь! — рассердился Мелетий. — Радуешься, что мерзким своим поведением развращаешь благочестивого Григория Зуева!

Тут уж засмеялся весь класс. «Благочестивый» Зуев был отъявленный сквернослов и ругатель.

Желая показать отцу Мелетию, что я вовсе не так плох, как он думает, что у меня и в помыслах не было развращать «благочестивого» Гришку Зуева, я решил открыть ему всю правду.

– У вас, батюшка, – сказал я любезно и вкрадчиво, – есть привычка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в течение урока...

Мелетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из нее волоски.

Это всегда выражало у него высшую степень гнева: чем сильнее был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из нее два или три волоска.

Теперь он вырвал не меньше десятка и, вырвав, сложил их рядком, один к другому, на черном переплете классного журнала, дунул на них что есть силы и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным голосом (в минуты гнева голос его всегда опускался до шепота).

Он говорил, что он служитель алтаря – да-да-да! – и не допустит – да-да-да! – чтобы всякий молокосос – да-да-да!..

Говорил он долго и тем же шепотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса.

Я вышел из класса и встал у дверей...

Мелетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то *онагром.* Что такое *онагр*, я в то время не знал и тихонько отодвинулся от двери.

Близилась большая перемена.

В конце коридора зазвякали стаканы и блюдца.

Наш гимназический сторож, которого звали Пушкин, расставлял на длинном столе, застланном грязноватою скатертью, бутылки с молоком, колбасу, пирожки, бутерброды.

В кармане у меня оказались четыре копейки. Я помчался к Пушкину и купил пирожок. Только что я взял его в рот – динь-дилень! – зазвонил колокольчик, и из всех дверей стали выбегать гимназисты.

Вот и поп Мелетий, придерживая рукою серебряный крест на груди, шествует крупными шагами в учительскую.

Я бегу к нему и говорю:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Но рот у меня набит пирожком, и у меня получается:

— Баюа, поие, поауа!

Он поворачивает ко мне лохматую голову, и вдруг его чахлые, тонкие губы искажаются ужасом.

— Ты... Ты... Ты!.. — говорит он, задыхаясь от ярости, и хватает меня за плечо.

Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь-то мне не будет пощады! Потому что пирожок у меня с мясом! Сегодня же, как нарочно, пятница, а Мелетий тысячу раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно великим постом, мы, христиане, и думать не смели о мясе, ибо господь бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил: неужели господу богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот! Но Мелетий уверял нас, что это именно так, и горе тому нечестивцу, который сегодня (в пятницу!) дерзнул предстать перед ним с мясным пирожком — нарочно, чтобы поиздеваться над ним, да-да-да!

Непрожеванный кусок этой преступной еды так и застрял у меня в горле.

Я понял, что мне прощения нет и не будет, но все же лепетал механически:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Мне самому его прощение было не нужно, но на Рыбной улице во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для нее большим несчастьем.

Всякий раз, когда в гимназии со мной случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что у нее будет болеть голова и что целые сутки она — моя мама — будет лежать без движения, полумертвая, с почернелыми веками.

Я готов был сделать все на свете, лишь бы голова у нее перестала болеть.

И вот я бегу за попом и со слезами умоляю его:

— Батюшка, простите меня!

Но по его насупленным белесым бровям, по вздернутому крохотному носику, по искривленной нижней губе я вижу,

что тут личная обида, за которую этот человек уже не может не мстить.

– Как христианин, – сказал он, – я прощаю тебя. Как твой духовный отец, я молюсь за тебя. Но как законоучитель, я обязан тебя покарать... Ради твоего же спасения.

Вокруг собралась толпа. В толпе я увидел Зуева. Он стоял за спиной у Мелетия и с самой простодушной улыбкой обсасывал куриную ножку. Его широкое, мясистое, бабье лицо лоснилось от куриного жира.

Вдруг Мелетий заулыбался, закланялся: к нам, стуча высокими каблучками маленьких щегольских башмачков, подошел Шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своем шутовском языке:

– Слышал, слышал о ваших художествах! Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне... Сюда... В рыдальню?

Глава третья
ЗЮЗЯ

Директор был немец: Бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенно русском языке и любил такие слова, как *галдеж*, *невтерпеж*, *фу-ты*, *ну-ты*, *намедни*, *давеча*, *вестимо*, *ай-люли*.

Этим языком он владел превосходно, но почему-то этот язык вызывал во мне тошноту.

Распекал он всегда очень долго, так как сам упивался своим краснобайством, и даже наедине с каким-нибудь малышом-первоклассником произносил такие кудрявые речи, словно перед ним были тысячи слушателей.

Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один «рыдалец». Это был распухший от слез, испуганный Зюзя Козельский.

Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену. Несчастный не только спиною, но головою и пятками прижался к стене, пылко желая, чтобы стена проглотила его. Но стена была каменная, и Шестиглазый мог сколько угодно услаждать свою душу пустословием.

— Смею ли я верить глазам? — декламировал он, отступая на шаг и помахивая в такт своей речи какой-то измятой тетрадью. — Не обманывает ли меня мое зрение? Не мираж ли предо мною? Не призрак ли? Неужели это ты, Козельский, тот самый Иосиф Козельский, который еще в прошлом году был гордостью наставников, утехой родителей, радостью братьев, опорой семьи?..

В этом стиле он мог говорить без конца, подражая величайшим ораторам древности. Не меньше получаса терзал он Козельского, и только к концу этого получаса я понял, в чем заключается преступление Зюзи.

Преступление было немалое.

Началось с того, что Зюзя получил на этой неделе целых две единицы — по каким предметам, не помню. Эти единицы были проставлены классным наставником Флеровым в его школьный дневник. И он должен был показать их отцу, чтобы тот подписался под ними. Но так как Зюзин отец, владелец ресторана у Воронцовского сада, грозился избить его за первую худую отметку, он, по совету своего товарища Тюнтина, переделал у себя в дневнике обе единицы на четверки. Дело было нетрудное. Отец Козельского не заметил обмана и подписался под фальшивыми четверками с большим удовольствием.

Но Зюзя был малоопытный жулик: когда ему пришлось превращать четверки «назад» в единицы (для предъявления классному наставнику), он так неумело стер лишние черточки перочинным ножом, что вместо них образовались две дырки.

Что было делать? Если классный наставник увидит ужасные дырки, лучше Зюзе не возвращаться домой. Нужно было скрыть следы преступления.

И вот вчера вечером, по совету того же Тюнтина, Зюзя решил похоронить свои единицы в глубокой могиле, из которой они не могли бы воскреснуть. Пробрался тайком в наш гимназический сад, выкопал под акацией ямку, не очень глубокую, так как почва была жесткая, кремнистая, и закопал там навеки свой многострадальный дневник.

Он был уверен (и в этом убедил его Тюнтин), что, чуть он заявит о пропаже своего дневника, ему тотчас же выдадут новый, без единиц и двоек, без замечаний и клякс, и тогда он начнет новую, светлую, прекрасную жизнь.

Был лишь один свидетель этих тайных похорон дневни-

ка: пес Эсхил ньюфаундлендской породы. Эсхил принадлежал Шестиглазому. Шестиглазый каждое воскресенье прогуливался с Эсхилом по приморской аллее с незажженной сигарой во рту. У Эсхила были добрые, человечьи глаза. Они глядели на Зюзю с братским сочувствием.

И этот-то ласковый пес, так приветливо вилявший своим добрым хвостом, предал Зюзю, как последний подлец.

Чуть только Зюзина работа была кончена и Зюзя удалился счастливый, собака разрыла своими добрыми лапами могильную насыпь, схватила зубами похороненный под нею дневник и, не понимая всей безнравственности своего поведения, побежала прямо к Шестиглазому, замахала добрым хвостом и положила добычу к ногам повелителя.

Теперь этот дневник находился в левой руке Шестиглазого, вымазанный землею, измятый и рваный. Шестиглазый изящно помахивал им перед носом Козельского, угрожая преступнику чуть ли не Сибирью.

Я так глубоко задумался о собственных своих злоключениях, что даже не заметил, как Зюзя ушел. Я знал, что мне предстоит такая же мучительная пытка: целый час прижиматься к стене и слушать монологи Шестиглазого.

Но дело обернулось еще хуже.

Он сразу накинулся на меня со всеми своими громами и молниями.

Из его слов я узнал, что я величайший злодей, какой только существует под солнцем, что я издеваюсь над обрядами церкви, развращаю благочестивого Зуева, устраиваю десятки снастей для сигнализации во время диктовки (вот когда он вспомнил о моем телефоне) и нарочно даю неверные сигналы товарищам, чтобы они получали нули...

— Нарочно?!

— Нарочно! Нарочно! И ты думаешь, я не знаю, — вскричал Шестиглазый, надвигаясь на меня еще ближе, — что это ты подбил Иосифа Козельского переделать единицы в четверки и зарыть под деревом дневник?

— Я?!

Словно кто ударил меня кнутом по глазам.

Я закричал Шестиглазому прямо в лицо, что все это ложь, ложь, ложь, и, когда он попытался продолжать свою речь, я с визгом зажал себе уши руками, чтобы не слышать этой невыносимой неправды.

Шестиглазый схватил меня за руки и стал отдирать их от моих ушей, но я сопротивлялся отчаянно.

В конце концов ему удалось завладеть моим ухом, и он прокричал туда, уже без всяких фиоритур красноречия, что о моем буйстве он доложит совету, а покуда, до того как будет вынесен мне приговор, он исключает меня из гимназии на две недели, и пусть завтра, в субботу... или нет, в понедельник... придет к нему моя мать, которая... которая... Впрочем, он лично побеседует с нею... и пусть она пеняет на себя, что так плохо воспитала меня.

Глава четвертая
НЕВЕСЕЛАЯ ДОРОГА

Измученный шел я в этот день из гимназии домой. Помню, подбежал ко мне Леня Алигераки, соседский мальчишка, и стал показывать большую стеклянную банку с какой-то усатой рыбиной песочного цвета, которую поймал он руками, и я еле сдержался, чтобы не хватить эту банку о камни.

Когда я повернул на Канатную улицу, мимо проехал воз, доверху груженный камышом.

Еще не встречалось мне камышиного воза, из которого я не выдернул бы себе камышинки.

Всякая камышинка была для меня настоящим богатством. Из нее можно было сделать косматую пику и сражаться на заднем дворе с армией Васьки Печенкина. Из нее можно было смастерить дудку и дудеть под окнами у сумасшедшего Беньки, покуда Бенька не выскочит и не закричит: «Скандибобером!»

Из нее можно было сделать раму для бумажного змея и запустить его так высоко, чтобы тебе позавидовал сам Печенкин, хромоногий кузнец, знаменитейший змеепускатель нашей улицы.

Но сегодня я даже не сделал попытки подойти к этому возу поближе, хотя улица была пустынна и я свободно мог выдернуть не одну камышинку.

На углу Канатной и Рыбной под ноги мне попалась жестянка — круглая, легкая, звонкая.

В другое время я непременно ткнул бы ее носком сапога, она помчалась бы, громыхая, по камням мостовой, я побежал бы за ней и гнал бы ее до самых ворот, а потом припрятал бы где-нибудь в мусорной куче, чтобы гнать ее завтра назад по дороге в гимназию: это было одно из самых любимых моих развлечений. Но теперь я угрюмо отшвырнул ее в сторону и согнулся еще больше, чем всегда, потому что в детстве был очень сутулый и при всякой невзгоде сгибался, как вопросительный знак. Уличные мальчишки за это звали меня «гандрыбатым».

Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче. Но она не скажет ни слова, она только свалится в постель, и лицо у нее станет желтое, и веки у нее потемнеют, и голова у нее будет болеть, и жизнь для нее прекратится на несколько дней... И что сделается с нею в понедельник, когда она, изнуренная, встанет с постели и, еле передвигая ногами, пойдет к Шестиглазому, а тот, вымотав у нее жилы своим красноречием, скажет ей торжественным голосом, что ее сын негодяй и что одна ему дорога — в босяки?

Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у нее есть только один страх: как бы не исключили меня из гимназии. Этого она боится больше смерти.

Ужасно не хочется возвращаться домой. Я останавливаюсь перед большим магазином «Гастрономическая торговля братьев В. И. и М. И. Сарафановых» и рассматриваю колбасы, маслины, икру, балыки, сыры.

Этот магазин кажется мне великолепным дворцом. Здесь и я бываю покупателем. Всякий раз, когда у мамы бывают деньги, я прибегаю сюда, зажав в кулаке полтинник, и чувствую себя важной персоной и говорю надменному приказчику:

— Четверть фунта ветчины и четверть фунта масла!

И надменный приказчик почтительно спрашивает:

— Что еще прикажете?

И я важно говорю:

— Ничего!

— Пожалуйте в кассу! — говорит надменный приказчик.

Хотелось бы мне когда-нибудь отведать икры. Говорят, она замечательно вкусная, но такая дорогая, что едят ее только генералы с министрами. Или такие богачи, как ма-

дам Шершеневич. Интересно: ест ли икру Шестиглазый? Конечно, ест. И огромными ложками.

Обычно перед магазином меня охватывает бурный аппетит. Так, кажется, и проглотил бы всю витрину. Но сегодня даже икра не привлекает меня, хотя за весь день я только и съел, что этот проклятый мясной пирожок.

Я иду дальше и все сильнее сгибаюсь, будто в ранце у меня кирпичи. Мимо проходит белобрысый и безбровый гимназист, которого мы все называем Спиноза. Это восьмиклассник Людвиг Мейер из нашей гимназии. Лоб у него нахмуренный, глаза без улыбки, одутловатое лицо неподвижно. У самого подбородка он держит раскрытую книгу и читает ее на ходу. Мальчишки, выбежавшие из кузницы Васьки Печенкина, кидают ему под ноги всякую дрянь, чтобы он споткнулся и выронил книгу.

Но и спотыкаясь, он продолжает читать. Он читает всегда и везде, в самых неподходящих местах: в булочной, в купальне, на кладбище, и потому кажется мне самым ученым и самым умным человеком на свете.

В другое время я непременно погнался бы за злыми мальчишками, но сегодня я тотчас же забываю о них и иду дальше, растравляя в себе свое горе.

Поверит ли мама, что я ни в чем, ни в чем не виноват?.. А если виноват, то чуть-чуть... И дернуло меня связаться с Мелетием!.. Но можно ли за это выгонять из гимназии?..

Вот и дом мадам Шершеневич, трехэтажный, с балкончиками и с облупленными лепными фигурами, а вот и мадам Шершеневич гуляет со своими болонками. И сама она похожа на болонку: вертлявая, с кудряшками, маленькая. В ушах у нее серьги, круглые и большие, как бублики.

— Здравствуйте! — кричит она мне. — Что вы так согнулись? Вам же не семьдесят лет!

До меня ей нет ни малейшего дела, а кричит она так игриво и звонко лишь потому, что на той стороне, у ворот длинного одноэтажного здания казармы, толпятся юнкера и поручики, ради которых она и совершает здесь свои рейсы с болонками. Юнкера и поручики кричат ей через дорогу любезности, восхищаются ее красотой, приглашают ее танцевать, а она заливчато и лукаво смеется, глядя не на них, а на болонок.

Глава пятая

ЦИНДИЛИНДЕР

Да, мама у меня очень бесстрашная. Кроме Шестиглазого, она, кажется, никого не боится. Как расправилась она с этим грабителем, который забрался ночью в квартиру мадам Шершеневич! Ведь мама была одна и он мог бы избить ее до смерти.

Это случилось три года назад. Мадам Шершеневич тогда не было дома. Она с мужем уехала в Киев, и ее квартира стояла пустая. Охранять эту пустую квартиру она попросила маму. Мама поселилась там на летние месяцы вместе со мной и Марусей (Маруся — моя старшая сестра).

Болонки жили с нами. Им требовались особые кушанья, и ради этого нужно было очень часто ходить на базар. Нужно было ухаживать за всеми цветами — а цветов у мадам Шершеневич было великое множество, — поливать их утром и вечером. Нужно было уничтожать целые батальоны клопов, которые гнездились у мадам Шершеневич повсюду: в диванах, за обоями, в кушетках, даже в зеркалах и картинах. Эта работа отнимала у мамы все дни.

И вот однажды душною лунною ночью маму разбудил собачий лай. В столовой, выходившей на улицу, тявкали все четыре болонки мадам Шершеневич. Мама вбежала туда полуодетая и увидела, что на подоконнике, в самом ярком свете, стоит среди фуксий, олеандров и фикусов какая-то мужская фигура. Мама всмотрелась: замухрышный оборванец лет семнадцати, а может, и меньше, растрепанный, весь дрожащий, без шапки, взобрался на второй этаж (должно быть, по водосточной трубе) и завяз в самой гуще растений. Болонки выстроились перед ним полукругом, тоже освещенные луною, и так ретиво защищают владения мадам Шершеневич, что уже охрипли от лая.

Увидев маму, замухрышка схватил с подоконника горшок с каким-то цветком и, выругавшись простуженным голосом, кинул его, как бомбу, в болонок. Те взвизгнули, завыли, заплакали и на минуту разбежались кто куда. Но тотчас же снова сомкнулись и затявкали с новым азартом. Мама негромко и спокойно сказала ему:

— Дурень ты, дурень! Кто же ходит воровать при луне?

И зачем ты кричишь на всю улицу? Хочешь, чтоб тебя скорее сцапали?

Вор ответил нехорошею руганью и, схватив с подоконника самый крупный горшок, со всего размаха запустил им в маму. Мама легко нагнулась, и горшок попал в пустой аквариум, который стоял у нее за спиной.

Весь этот трезвон разбудил меня. Я вбежал в комнату, схватив на всякий случай чугунный подсвечник, которым вчера перед сном разбивал на пороге орехи. В это время мама говорила грабителю ровным, бесстрастным голосом, словно читала ему какую-то книгу:

— Вот какой ты ледащо, даже красть не умеешь. Пришел бы ко мне как хороший, я дала бы тебе и сала, и хлеба.

Тут только сообразил я, что делать, и кинулся черным ходом за дворником. Дворницкая была заперта. Я стучал в нее кулаком и подсвечником.

Из соседней квартиры на мои стуки выбежал денщик генеральши Ельцовой, человек усатый и громадный. Он побежал за городовым и за сторожем.

Мама встретила этих людей неприветливо:

— Опоздали. Он уже вон оно где... — И указала в сторону Старо-Портофранковской улицы.

Они убежали, стуча сапогами, и вскоре мы услышали:

— Держи-и!

Такие крики в ту пору слышались каждую ночь.

Прошло минут пять. Вдруг мама сказала негромко:

— А теперь вылезай.

Из длинной корзины с бельем, что стояла в прихожей, вылез наш замухрышный грабитель.

Он должен был бы упасть перед мамой на колени и сказать ей растроганным голосом: «Благодарю вас, великодушная дама, за то, что вы спасли мою жизнь». Но он только сплюнул, поправил прическу и снова отвратительно выругался.

Мама посмотрела на него с жалостью, как на калеку, и поспешила в столовую, к поломанным, измятым цветам, которые лежали среди черепков на полу.

Вор тупо глядел на нее, следя за ее быстрой работой.

— Как же тебя зовут? — спросила мама, после того как начисто вытерла испачканный пол.

Вор помолчал и угрюмо ответил:

— Циндилиндер.

Мама нисколько не удивилась такому странному имени.

— Ну, Циндилиндер, там у меня от обеда вареники.

Вор накинулся на мамину еду с жадностью голодного звереныша. После этого в нашей семье долго еще держалась поговорка, обращенная к тем, кто глотал не жуя: «Что это ты ешь, как Циндилиндер?»

Насытившись, он хотел поскорее уйти, но мама оставила его ночевать тут же в коридоре, на корзине, потому что боялась, как бы не схватили его в подворотне.

Утром Циндилиндер ушел, и мы долго не видали его.

Месяца через три — уже у себя дома — я заболел скарлатиной. Скарлатина была тяжелая. Доктор Копп приходил каждый день и за каждые три визита получал два рубля — грандиозные деньги! А сколько ушло на лекарства да на два медицинских консилиума!

К зиме мы совсем обнищали. И мамина брошка из слоновой кости, и золотая браслетка с бонбончиками, и самовар, и медные кастрюли, и перламутровые круглые запонки, и даже черненькие Марусины часики — все уплыло в ломбард. Взамен мы получили зелено-лиловые квитанции, красивые, приятно хрустящие, с какими-то гербами и узорами. Восемь великолепных квитанций, которые я, выздоравливая, перебирал у себя в постели и рассматривал по целым часам.

И вот, когда мама стояла однажды в ломбарде у стойки, держа в руках последнюю нашу роскошь — шкатулку из карельской березы, — она в очереди увидела вдруг Циндилиндера.

Циндилиндер засмеялся:

— Гы-гы! — и хитро подмигнул ей.

Под мышкой у него был востроносый турецкий кофейник причудливой формы, должно быть похищенный летом у зазевавшихся дачников.

— Уй, какая же вы стали сухая тараня! — сказал он ей с любезной улыбкой, будто говорил комплимент. — На вас прямо-таки гадко смотреть!

Тарань — это такая сушеная рыба.

По маминому исхудалому лицу и по той ничтожной шкатулке, которую она принесла заложить, он увидел, что с нею беда. Мама рассказала ему о моей скарлатине. Он проводил

маму до самых ворот, а вечером явился к нам, как давнишний приятель, и, ни слова не говоря, щедрым жестом положил перед мамой перевязанную веревочкой аккуратную пачку рублевок.

— Спрячь сейчас же, — сказала мама, — или я позову Симоненко.

Симоненко был седой околоточный, который жил в нашем доме и каждый вечер уныло учился играть на трубе. И сейчас его труба издавала отрывистые, монотонные, безнадежные звуки.

Циндилиндер засмеялся:

— Гы-гы. Не позовете. Я знаю.

Мама разгневалась и выгнала Циндилиндера вон.

Вскоре он явился опять, и как-то незаметно получилось, что он сделался у нас в семье своим человеком.

«Мамин вор» — звала его Маруся.

Придет в потемках кошачьей походкой, и под его бесшумными воровскими ногами не звякнет даже тот железный заржавленный лист, который прикрывает нашу помойную яму. Яма вырыта неподалеку от наших окон. Всякий, кто идет к нам с улицы, непременно наступает на лист, лист ударяется о чугунную решетку, на которой он неплотно лежит, и тогда раздается бряцание, заменяющее нам звон колокольчика.

Один только Циндилиндер умеет так ловко наступить на этот лист, что не слышится ни малейшего звука.

Ни с кем не здороваясь, он проходит на кухню, берет с табурета ведро и идет за водой — наливать нашу опустелую бочку.

Так как мама вечно возится со стиркой, с лоханкой, воды ей требуется всегда очень много, а крана во дворе у нас нет. И мама, и Маруся, и я должны добывать воду на далеких задворках одного из соседских домов, чтобы налить доверху ненасытную бочку, высасывающую все наши силы.

Принесешь четыре ведра, и в глазах зеленеет, и ноги и руки дрожат, а нужно нести пятое, шестое, седьмое, иначе придется идти за водою маме, а от этого мы хотим избавить ее — я и Маруся.

И вот теперь Циндилиндер сделался главным наполнителем бочки.

Оказалось, он совсем не такой «ледащо», каким мама счла его в первое время.

Рысью бегает он к далекому «кранту» с нашим зеленым ведром, не делая ни одной передышки, и лишь тогда останавливается, когда не только бочка наполнена доверху, но и маленькая кадка в прихожей, и жестянка для кипячения белья (которая стоит на плите), и черное ведро, и даже лейка для поливания цветов.

Вообще он как-то сразу вошел во все хозяйственные интересы нашей семьи, и, когда по воскресным дням мама посылает его со мной на базар за селедками, помидорами, баклажанами, грушами, «пшенками» (то есть кукурузными початками), он так бешено торгуется из-за каждой копейки, что мне становится совестно, и я краснею перед базарными торговками...

Задумавшись о Циндилиндере, о своем горе, о маме, я не заметил, как дошел до нашего двора, как наступил на гулкое железо, прикрывающее нашу помойную яму (обычно я старался обрушиться на него всей своей тяжестью, чтобы оно прогремело погромче), и, сгорбленный, готовый заплакать, поднялся по трем деревянным ступеням и вошел в нашу единственную комнату, которую мама называла «гостиной».

Глава шестая
МАМА. – ДЯДЯ ФОМА

Мама стояла у гладильной доски, набирала в рот воды из медной кружки, так что щеки у нее надувались, а потом делала губами: пфр! пфр! пфр!

И изо рта у нее вылетали мельчайшие брызги на белую мужскую сорочку, распростертую перед ней на доске. Потом она быстро хватала с опрокинутой самоварной конфорки черный тяжелый утюг, и утюг как-то особенно весело начинал танцевать по сорочке, словно ему было приятно, что им управляют такие умелые руки.

Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо ее, красивое и правильное, кое-где было тронуто оспой, потому что родилась она в крестьянской семье, где натуральная оспа была обычной болезнью.

Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл мою маму прачкой, и очень удивился бы, если б услышал.

Между тем в ту зиму она не разгибая спины стирала чужое белье, и деньги, получаемые ею за стирку, были, кажется, ее единственным заработком.

Держала она себя гордо, с достоинством. Ни с кем из соседей не водила знакомства. По праздникам, уходя со двора, надевала кружевные перчатки и стеклярусную черную шляпку, а узлы с бельем приносила ей на дом Маланка, дочка соседнего дворника, тоже чуть-чуть рябоватая. Маланка же и вывешивала белье на «горище» (так назывался чердак), а порой во дворе, перед нашим окном, протянув веревку между сараем и двумя вербами, которые росли неподалеку. Маланка называла маму «барыней». А торговки, которые приносили к нашему крылечку груши, яблоки, кабачки, огурцы, называли ее «мадам».

Стирала она только по ночам, тайно от всех, а целыми днями стояла у гладильной доски с утюгом. Я даже и представить себе не могу нашу комнату без этой гладильной доски. Комната была небольшая, но очень нарядная, в ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами, и все это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу.

Три некрашеные ветхие ступени, ведущие к нашей двери, она каждую субботу «шарувала» мочалкой с мылом, а однажды при луне я видел из окна, как моет она во дворе гладкие широкие плиты, которыми была выложена площадка перед нашим крыльцом. А самовар! А подсвечники! А медная ступка! Мама чистила их даже тогда, когда они были совсем еще чистые. В ночь спала она два-три часа и охотно отказывалась от этого краткого отдыха, если ей вдруг придет в голову выбелить известкою погреб, выкопанный под нашей квартирой.

С каким презрением говорила она про мадам Шершеневич:

«Серьги золотые, а шея немытая!»

Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы однажды у нее под диваном оказалась пыль или за шкафом — паутина. А уважала она себя чрезвычайно, никогда никому не кланялась, никого ни о чем не просила. И походка у нее была величавая.

Говорила она по-южному, певуче и мягко, наполовину по-украински, наполовину по-русски. Маруся часто поправляла ее:

— Так не говорят!

Но мне почему-то нравилось, когда вместо «шея» она говорила «шыя», вместо «умойся» — «умыйся», вместо «грязный» — «замурзанный», вместо «воробей» — «горобец».

— Ах, мама, ты опять сказала «цибуля»! Надо говорить не цибуля, а лук! — поучала ее Маруся.

И мама так стеснялась своей прекрасной украинской речи, что при посторонних предпочитала молчать.

Была она очень доверчива. Перед тем как купить у захожей торговки груши, яблоки или, скажем, черешни, она простодушно спрашивала:

— А они хорошие?

— Хорошие, мадамочка, хорошие! — неизменно отвечала торговка, отмахивая привычным движением руки кружащихся над ее корзиною мух.

Узнав у торговки цену, мама задавала ей новый вопрос:

— А это не дорого?

— Не дорого, мадамочка, не дорого!

Когда же торговка отвешивала маме товар на своих сомнительных весах, мама спрашивала:

— А весы у вас верные?

— Верные, мадамочка, верные!

Мама вполне удовлетворялась такими ответами и была убеждена, что очень удачно купила хорошие и дешевые фрукты.

Впрочем, если бы она и видела, что ее надувают, она, по своей деликатности, вряд ли сказала бы об этом тем, кто надувает ее.

Ночью, когда она мыла наш погреб или белила кухню короткой мочальной кистью, она сама для себя, в такт работе, напевала грудным, низким голосом: «Ой, за гаем, гаем», «Ой, пид вишнею, пид черешнею», и я очень любил слушать сквозь сон эти чудесные песни, доносившиеся ко мне издалека. Но в другое время она не пела почти никогда. И умолкала на полуслове, едва замечала, что ее слушает хоть один человек.

Была она очень смешлива и, когда мы читали ей Гоголя или Квитка-Основьяненко, хохотала так, что было странно смотреть. Но я никогда не видел, чтобы она смеялась на людях или хоть бы раз улыбнулась, проходя мимо соседей по двору. Вообще с людьми она была очень сурова, ни к кому не ходила ни на именины, ни на свадьбы, ни в гости. И всякий

раз, когда оставалась одна, на лице у нее застывало выражение глубокой печали.

А сегодня мама так весела, словно никакого горя и нет в ее жизни. Глядит на меня задорно и молодо, еле сдерживается, чтобы не рассказать мне о каком-то веселом событии.

— Где это ты пропадал? — говорит она мне без упрека.

Еще на улице, по дороге домой, я решил сразу объявить ей всю правду. Я даже составил готовую фразу, которую нужно сказать ей, чуть только я взойду на порог: «Мама, не пугайся, пожалуйста... Все будет отлично... Даю тебе честное слово. Шестиглазый выгнал меня из гимназии».

Но не могу же я навалить на нее такое тяжелое горе как раз теперь, когда она так весела!

Лучше я скажу ей потом... Вечером... Или завтра за чаем. Завтра, завтра, в половине восьмого... А сегодня незачем ее огорчать.

Эта отсрочка страшно обрадовала меня — такой уж был у меня легкий характер. Я сразу повеселел и как ни в чем не бывало стал допрашивать маму, что такое случилось сегодня и отчего с дивана снят чехол.

Мама не ответила, но засмеялась негромко и указала подбородком в прихожую. Я бросился туда и сейчас же увидел висящий на гвоздике кнут. Как это я прежде не заметил его! Я с восторгом схватил этот кнут (помню и сейчас чуть кривое его кнутовище, гладко отполированное ладонью владельца) и закричал вне себя:

— Дядя Фома приехал! Приехал дядя Фома!

От моих горестей почти ничего не осталось. Все вокруг меня сделалось прекрасным и сказочным. Я бегу на кухню и щелкаю, щелкаю великолепным кнутом, но дяди Фомы там нет. Я заглядываю в погреб, в сарай. Я ищу его под кроватью, за бочками, и мне кажется, что, чуть я найду его, горе мое испарится совсем. И я опять бегу к маме и спрашиваю: «Где же дядя Фома?». Но мама только смеется загадочно и говорит, что он уехал к какому-то Фурнику, — ждал меня, ждал и уехал один далеко, на Пересыпь, к Фурнику, и неизвестно, вернется ли. Но я чую милый его запах: дегтя, меда, деревенского хлеба и еще чего-то уютного, поэтичного.

— Он здесь! — кричу я. — Он здесь!

И правда, он здесь, в двух шагах. Я распахиваю дверцы кладовой: вот он стоит не дыша, притаившись, чернобро-

вый красавец в белой холщовой рубахе, и смотрит на меня без малейшей улыбки. А мама смеется до слез — она любит такие сюрпризы. И я тотчас начинаю кричать:

— Пу́канцы! Пу́канцы!

Потому что всякий раз, когда приезжает дядя Фома, он привозит с собой кукурузные зерна в мешочке из белой холстины, и не простые зерна, а диковинные. Они кажутся нам заколдованными. Помочи их в воде, брось в духовку, они начинают стрелять (только и слышно: пых! пых!). И прыгают как живые; и, чуть они прыгнут, скорее хватай их, чтобы они не сгорели, и смотри: из желтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы. Я готов стоять у раскаленной духовки весь день и бросать туда все новые и новые зерна и набивать пу́канцами живот до отвала.

И мне даже самому удивительно: как это я, переживая такое тяжелое горе, могу в то же время легкомысленно радоваться, каждому выстрелу кукурузного пу́канца.

Впрочем, горе ушло от меня не совсем, я чувствую его даже тогда, когда выбегаю во двор в барашковой дядиной шапке и прыгаю, как дикарь, на помойке и щелкаю звонким кнутом, а мальчишки глядят на меня и завидуют.

— У меня есть ежик! — кричу я мальчишкам. — Мне привез его дядя Фома!

И те, изнывая от зависти, бегут за мною по лестнице в погреб и смотрят на ежика с таким восхищением, будто он кенгуру или слон.

В первую минуту, едва только я стал обладателем ежика, я обрадовался ему, как родному. Я угощал его бураками, капустой и даже кусочками брынзы, которую дала мне к обеду Маруся, я хвастался им перед всеми мальчишками. Но вот мальчишки ушли, я остался один вместе с ежиком в погребе, и глаза мои набухли слезами. Если бы он знал, этот ежик, какая беда отодвинута мною на завтра и что ждет меня через несколько дней, он сразу, подружился бы со мною, он прижался бы ко мне всеми своими колючками и замурлыкал бы, как ласковый кот. Но он даже не глядит на меня. Он свернулся в комок и невежливо фыркает, и я даже не могу разобрать, где у него ноги и где голова.

Это кажется мне очень обидным. Я сердито швыряю в него остатки капусты и бегу по лестнице к дяде Фоме. Пусть расскажет мне сказку про хитрого шевчика (то есть сапожника). Я знаю ее наизусть, но люблю слушать ее еще и еще:

Сыдыть шевчик на стильци,
На кумови постыльци,
Накладае латы.
А тут двери в синцях скрып,
А там дали в хати рып,
Шелеп кум у хату.

Но дядя Фома занят труднейшим и серьезнейшим делом: он сидит в «гостиной» вместе с мамой и, мрачно нахмурив свои черные брови, чинно и чопорно пьет из стакана чай.

Удивительные у него сложились отношения с мамой. Он ее единственный брат, она любит его всей душой, а он боится ее как огня и чувствует себя рядом с ней словно скованный. Она говорит ему «ты», он ей «вы». Она ему — Фома, а он ей — Катерина Осиповна. Он совестится перед нею всех своих деревенских привычек; она, прачка, кажется ему важною барынею, а ее убогая квартира — хоромами. Ни на секунду не забывает он, что он в городе, где надо говорить по-городскому и ходить иначе, чем в деревне. Пить чай из стакана для него пытка; вилка, положенная возле тарелки с колбасой и таранью, до такой степени пугает его, что он и не берется за еду.

Я тоже ни на секунду не забываю, что он деревенский. В деревне я не был ни разу, и потому «человек из деревни» для меня все равно что краснокожий индеец, или пират, или капитан корабля. Я ложусь на гладильную доску и жду. Я знаю, что, когда чаепитие кончится, дядя Фома схватит свою деревенскую шапку и побежит в сарай к своей деревенской коняге, — и я побегу вслед за ним: там, в сарае, начнутся чудеса и забавы, откуда-то вынырнет шкалик — и дядя Фома вдруг окажется говорливым весельчаком, остроумцем, и все биндюжники вокруг него будут хохотать, «как скаженные», над каждым его словом, потому что, насколько я теперь понимаю, у него был талант юмориста.

Всякого человека умел он изобразить в смешном виде:

И нашего домохозяина Спиридона Макри, и старика Исаака Мордухая, державшего кабак за углом, и мадам Шершеневич, и меня, и Марусю, и Маланку, и даже свою жену Ганну Дмитриевну: как она боится грозы и, увидев молнию, лезет в сундук.

Выпучив глаза, надует щеки, как-то странно уменьшится в росте, сунет себе в рот большой палец — и вот уж он другой человек: весь до последнего волоска превратился в седого усача Симоненка, который учится играть на трубе.

— А теперь Абрашку! Абрашку!

— Мотю! Мотю!

Мотя была кухаркой биндюжников, великанша с мужскими усами, вечно ругавшаяся рокочущим басом. Дядя Фома не то что передразнивал ее, а прямо-таки превращался в нее: вот она стоит у плиты, воровски озираясь, и, вытащив из большого котла огненно-горячий кусок сала, прячет его на своей необъятной груди.

И хотя в руках у дядя Фомы — ничего, но видишь это мягкое, разваренное, горячее сало, от которого идет белый пар, как оно обжигает ей руки и грудь, как она швыряет его обратно в котел.

Зрители расслабли от смеха. Уже не хохочут, а стонут. Их набирается все больше. Слышатся восторженные отзывы:

— Ну ж и холера, волдырей ему в голову!

Но, если в дверях позади показывалась хоть на мгновение мама, дядя Фома умолкал и даже закрывал шапкой лицо, а потом уходил в глубь сарая и начинал неуклюже возиться с каким-нибудь колесом или шкворнем. Это всегда удивляло меня, так как мама рада была бы похохотать вместе с ним.

Но дядя Фома робеет перед ней до безъязычия. Чинно и чопорно сидит он сейчас на диване и обжигает себе рот горячим чаем, не смея прикоснуться к колбасе, и молчит целый час, как немой. Мама заговаривает с ним на всевозможные темы, но он только «да» или «нет».

Впрочем, я не знаю, чем кончился их разговор, так как я глубоко заснул тут же, на гладильной доске.

Глава седьмая

СНОВА В ГИМНАЗИИ

На другое утро я проснулся чуть свет и хотел тотчас же броситься к маме, чтобы сказать ей ту фразу, которую приготовил вчера: «Мама, не пугайся, пожалуйста. Все будет отлично, даю тебе честное слово. Шестиглазый выгнал меня

из гимназии». Но тут мне пришла в голову дерзкая мысль: взять ранец и пойти в гимназию как ни в чем не бывало. Проберусь туда тихонько, раньше всех. Сяду за свою парту и буду сидеть притаясь. Может быть, Шестиглазый не увидит меня: он ведь такой близорукий. А если и увидит — кто знает? — может быть, ему станет жалко меня, он махнет своей маленькой ручкой и скажет: «Ладно, оставайся, но помни...»

А может быть, он забыл о вчерашнем, мало ли у него дел и забот! Пригрозил сгоряча, а потом и забыл. Забыл, забыл! Он ведь и сам говорит, что из-за нас у него «мозги набекрень». Где же ему помнить о таких пустяках!

Мне так хочется верить в это, что через две-три минуты я начинаю воображать, будто и в самом деле никакой особенной беды не случилось, торопливо хватаю фуражку и выбегаю на безлюдную улицу, пристегивая ранец на ходу.

В окне у часовщика на Канатной без четверти семь. Пахнет пылью и весенним дождем. В гимназии еще нет никого. Приду до начала уроков и сяду тихонько повторять географию. Хорошо бы получить по географии пять. И по истории тоже. Вот даю себе честное слово здесь, на перекрестке Канатной и Рыбной, что с нынешнего дня, если только я останусь в гимназии, я буду учиться как черт и сделаюсь по всем предметам первым, даже лучше Адриана Сандагурского, первейшего ученика во всей гимназии.

Справа, в переулке за Андреевской церковью, вся в утренних светло-вишневых лучах, видна белоснежная, окруженная садом женская гимназия Кроль. Там учатся Рита Вадзинская, Лека Курындина и Тимошина сестра Лизавета. Я вглядываюсь в глубину переулка, исчерченного длинными тенями деревьев, и мне страшно хочется, чтобы там появилась Вадзинская. Мне даже кажется, я вижу ее. Вот она идет под деревьями, а солнечные блики и тени полосами пробегают по ней. Нет, это не она. Я ошибся.

Я влюблен в нее еще с прошлого года. Стоит мне завидеть ее издалека, и сердце мое холодеет, как мятная лепешка во рту. Мне становится так трудно идти, словно я иду по канату, протянутому высоко над домами. Никакие силы не могут заставить меня посмотреть ей в лицо. Она еще далеко, за десять — двенадцать шагов, а шея у меня становится словно чугунная, и я от растерянности готов буквально провалиться сквозь землю.

И как мне странно, что все остальные нисколько не робеют перед нею, а разговаривают, как с самой обыкновенной девчонкой! И что отец ее просто-напросто владелец «Соборной аптеки», у которого во всякое время вы можете купить мозольный пластырь. Объявления о его мозольном пластыре расклеены во всем городе на каждой стене.

Нас, гимназистов, в гимназию Кроль не пускают. Нам даже запрещают останавливаться возле гимназии Кроль. И все же мы трое — Муня, Тимоша Макаров и я — в течение этой зимы умудрялись выручать гимназисток, когда на каком-нибудь уроке им приходилось особенно туго.

Мы придумали верный способ оказывать им дружескую помощь.

Не беда, что гимназистки сидят запертые в стенах своих классов, за две улицы от нашей гимназии. Все же мы наладили с ними крепкую почтовую связь, которой могла бы позавидовать и настоящая почта.

В качестве почтальонов работали у нас учителя: Иван Митрофаныч и поп, причем они даже не подозревали об этом, потому что почтовыми ящиками, как ни странно сказать, служили нам их же калоши — мелкие калоши Ивана Митрофаныча и глубокие калоши попа.

И тот и другой преподавали не только у нас, но и в гимназии Кроль. Каждый день и тот и другой путешествовали в строго определенное время из женской гимназии в мужскую и потом, через час, через два, снова шагали в женскую.

Раздевались они в общей шинельной, у сторожа Филиппа Моисеича, там же оставляли калоши. И уходили в учительскую.

Едва только они уходили, мы вбегали в шинельную и, озираясь как воры, совали руки в самую глубину их калош. Достав оттуда записочку, мы в течение ближайшего часа писали гимназисткам ответ и клали наше послание в ту же калошу.

Ничего не подозревавший учитель, хлюпая по грязи калошами, нес это послание в гимназию Кроль, где его нетерпеливо поджидали кудлатая Симочка Глазер или тонконогая Ася Бонецкая.

Но теперь весна, улицы обсохли по-южному, и никто уже не ходит в калошах.

Вот и гимназия. Тяжелая дубовая дверь. Никого еще нет.

Я вхожу в вестибюль, оставляю на вешалке фуражку, пробираюсь в класс, сажусь за парту и вынимаю из ранца учебники. «География» Георгия Янчина. Реки Сибири. Отлично! Раскрываю атлас и начинаю зубрить:

— Лена. Обь. Енисей. Колыма. Ангара...

Не проходит и четверти часа, как все реки Сибири в каком угодно порядке, враздробь и с конца, выучены мною назубок. Чудесные реки, многоводные, богатые рыбой! И какие звучные у них имена: Хатанга, Индигирка, Анадырь!

Теперь, когда меня каждую минуту могут выгнать из класса на улицу, все здешнее кажется мне замечательным.

Вот пришли полотеры с окаменелыми лицами и, танцуя, натирают пол в коридоре. До сих пор мне не слишком-то нравился запах полотерной мастики, а сегодня я с удовольствием вдыхаю его, потому что это — запах гимназии.

Вот поплелся в учительскую, расчесывая поломанным гребнем обвислые свои бакенбарды, учитель рисования Галикин (кличка — Барбос), он же надзиратель старших классов. Это хмурый, морщинистый, сердитый старик с осипшим голосом и пустыми глазами.

Он совершенно похож на дворнягу и даже кашляет, как простуженный пес.

Но нынче мне мил и он, то есть не то чтобы мил, а жалок. Говорят, у него какая-то болезнь — катар. Жидкие его бакенбарды сегодня свисают как-то особенно грустно. Бедный, старый, облезлый Барбос! Легко ли ему злиться с утра до вечера!

А вот и учитель географии Волков Василий Никитич, благодушный чудак, для которого я и вызубрил нынче Хатангу, Ангару, Индигирку, Лену, Обь, Колыму, Енисей.

Но где же его друг и приятель, наш историк Иван Митрофаныч, которого мы зовем Финти-Монти? Как я рад, что увижу сегодня его крупную, стриженую, круглую, лобастую голову!

Финти-Монти — человек не без странностей, и первая его странность такая: стоит ему рассердиться, он выпаливает, как пулемет, целую обойму ругательств, без передышки, одно за другим. И всегда в одном и том же порядке:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-Монти! Жуки на заборе!

Все эти дикие слова вылетают из него единым духом. Их порядка он не нарушает никогда.

Вторая его странность такая: если вы не знаете урока, он подзовет вас к себе, словно хочет приласкать и обрадовать:

– Ближе... Еще... Еще...

Вы подходите вплотную к самой кафедре, и он говорит, улыбаясь приветливо:

– Возьмите, пожалуйста, перышко. Макните в чернила и поставьте себе в эту клеточку... Нет, не сюда, а сюда.. Единицу.

Поставить себе единицу – все равно что ударить себя по щеке. Вы ставите тоненькую, еле заметную.

– Но зачем такую тощую? Жирнее. Не стесняйтесь, пожалуйста.

Отчего он это делает, не знаю. Но к его чудачеству мы уже успели привыкнуть, и, так как единицы у Ивана Митрофаныча редкость, так как он ставит их только в том случае, если вы их заслужили вполне, эта процедура давно не вызывает обид.

Зато его уроки для всякого радость. Неужели меня выгонят отсюда и я больше никогда не услышу, как своим сиповатым голосом, медленно и сонно, как будто скучая, он изображает перед нами и самозванцев, и Грозного, и Владимира Мономаха, и Минина? От него мы впервые услышали имена Радищева, Рылеева, братьев Бестужевых, Петрашевского, Герцена, о которых в нашем казенном учебнике по русской истории не сказано ни единого слова, будто эти люди никогда не существовали на свете. Все его рассказы такие занятные, что даже пучеглазые братья Бабенчиковы слушают его разинув рот.

А вот и они. До чего краснощеки и счастливы! Идут к своей парте и громко сосут по дороге какую-то шоколадную сласть, утирая коричневую слюну рукавами.

Почему их, губошлепов и лодырей, которые не интересуются ничем, кроме пакостных анекдотов и карт (я уверен, что и сейчас у них в ранцах есть истрепанные игральные карты), почему этих скудоумцев, несмотря ни на что, награждают четверками, переводят из класса в класс и через три года сделают студентами в красивых мундирах, а я... Страшно подумать, что будет со мною.

Впрочем, что же мне жаловаться? Я еще сижу за своей партой, как сидел вчера и неделю назад, и никто меня не го-

нит, все отлично, и вокруг меня те же товарищи, с которыми я под одним потолком пробыл неразлучно пять лет.

Вот и Зуев. Идет, семеня по-старушечьи ножками, опустив на грудь свою тяжелую голову.

Мне даже запах его издавна знаком: старушечий запах кофея, церковного ладана, уксуса, кошек и каких-то противных лекарств, вроде валерьяновых капель.

Сейчас, я знаю, начнет он крестить по порядку мелкими и быстрыми крестами свою чернильницу, свои тетради, свою ручку с пером. А потом посмотрит на висящую в классе икону бородатого и лысого пророка Наума, перекрестится и скажет по-старушечьи:

Святой пророк Наум,
Наставь меня на ум!

Я ведь знаю его наизусть, знаю даже, что нынче с утра по случаю субботнего дня, еще до начала уроков, он, вместо того чтобы повторять «Географию» Янчина, бегал по церквам и часовням и усердно молился о том, чтобы все учителя, за исключением двух-трех, заболели холерой и умерли.

Вот и наш финансовый гений Аристид Окуджалла, маленький, юркий, как мышь. Уже два года он занимается в классе очень прибыльной и остроумной коммерцией: страхует нас от единиц и двоек. Перед каждым особенно страшным уроком — перед письменной алгеброй или устной латынью — вы идете к Окуджалле и вносите в его кассу пятак. Если вы получите удовлетворительный балл, ваш пятак остается в кассе; если же кол или двойку, Окуджалла сразу облегчит ваше горе, ибо его касса тотчас же выдаст вам пять или шесть пятаков. Если вас не вызывали, ваш пятак пропадает.

В свою пользу Окуджалла удерживает очень скромный процент. Вообще он ведет свое предприятие честно, не зарится на большие доходы, и фирма его процветает. Нет, если я останусь в гимназии, Окуджалла больше не получит от меня ни копейки. Я буду первый ученик во всем классе, и мне не нужно будет страховаться от двоек!

— Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма...

А вот исплаканный, несчастный Козельский. Сегодня и завтра ему предстоит просидеть в карцере по четыре часа «за подделку отметок и сокрытие своего дневника». Хорошо еще, что отец его уехал в Тирасполь и тем избавил его от ку-

лачной расправы. Отчего же он плачет, чудак? Я был бы рад просидеть в нашем карцере двадцать часов — нет, не двадцать, а двести, — лишь бы Шестиглазый оставил меня на этой скамье.

Вот и Муня Блохин. Запыхался, вспотел. Боялся опоздать и бежал всю дорогу. А живет он далеко, на Молдаванке. И, как нарочно, он сегодня дежурный.

— Здравствуй, Муня!

— Пфа!.. Ты здесь?

Он смотрит на меня с удивлением и присаживается на край моей скамьи:

— А я слышал, что тебя...

Он делает жест кулаком, показывающий, как выталкивают человека за дверь.

— Муня, ведь и правда меня выгнали, — говорю я и хочу улыбнуться, но чуть только я выражаю мое горе словами, я впервые с необыкновенною силою чувствую всю отчаянность моего положения.

Мне становится так жалко себя, что у меня начинает дрожать подбородок. Я слышу, как мои редкие слезы падают на «Географию» Янчина, орошая и без того многоводные реки Сибири: Хатангу, Индигирку, Анадырь.

— Меня выгнали... И все же я пришел... Потому что...

Он понимающе кивает головой.

— Я пришел и сижу... Как всегда... И думаю: а вдруг не заметят, забудут... Я пришел и сижу, потому что...

Я стараюсь плакать беззвучно. И плачу до икоты, до бульканья в горле.

Он с сомнением чмокает губами:

— Ты думаешь, не заметят? Ой-ой!.. А впрочем, откуда мы знаем? Посмотрим. И... Садись-ка ты лучше сюда. Ты — на мое место, а я — на твое. Раздвину локти, и вот тебе ширма.

Это очень ничтожная помощь, но другой оказать он не в силах. Я хватаюсь и за эту соломинку.

К счастью, мною никто не интересуется, хотя теперь без трех минут половина десятого, когда надзор особенно силен. В это время по коридору всегда проносится, как летучая мышь, Шестиглазый, заглядывая по порядку в каждый класс, и в каждом говорит одно и то же:

— Прекратите — немедля — этот — безобразный — галдеж.

И проходит на цыпочках дальше какой-то чрезвычайно затейливой и хлопотливой походкой.

Тут же расхаживает между классами наш красноносый инспектор Прохор Евгеньевич. Он сует голову в каждую дверь и говорит свое обычное:

– Пш!..

Прохор Евгеньевич (или попросту Прошка) еще хуже Барбоса. Вечно он подкарауливает, подслушивает, подглядывает, ходит на мягких подошвах, охотится за каждым гимназистом. Это кляузник и соглядатай, ненавистный нам всем. Если ты вышел на улицу после семи часов вечера, если ранец у тебя не пристегнут на оба крючка, если ты, обходя лужу, зазевался и не снял фуражки перед каким-нибудь отставным генералом, Прошка запишет тебя в зеленую книжечку, и завтра же тебя посадят в карцер после занятий на час или два.

Глава восьмая

ЗА СПИНОЮ У МУНИ

Прозвонил звонок, и в комнату впорхнул м-сье Лян, учитель французского, вытирая свой крохотный лобик концом темно-лилового шарфа. М-сье Лян мне нисколько не страшен. Хоть он приехал в Россию давно, но все еще не понимает по-русски.

М-сье Лян кажется человеком, упавшим с луны: не знает в лицо ни одного гимназиста, никогда не соображает, в каком он находится классе, и в течение нескольких лет не научил нас ни единому французскому слову. Впрочем, нет: одно французское слово мы все знаем твердо. А именно: что Лян (l'âne) – это осел.

Меня и теперь удивляет, почему у него такая фамилия. Осел ли он, я сказать не могу, потому что ни разу не разговаривал с ним. В классе есть семь или восемь счастливцев, которые чуть не с пеленок знают французский язык. С теми он болтает самым дружеским образом и часто во время разговора смеется, всякий раз поднимая палец, перед тем как сострить. На остальных он не обращает внимания. Кажется, если бы вместо меня посадили на мою парту Циндилин-

дера или Ваську Печенкина, и тогда м-сье Лян ничего не заметил бы.

Но все же в нем есть что-то милое. Нынче я вижу это особенно ясно. Даже его достопримечательный шарф не вызывает во мне обычной насмешки. В сущности, чем же он плох, этот шарф? М-сье Лян не только обматывает им свою тощую, зябкую шею, но и чистит им туфли, и стирает им мел с доски. В него же он часто и гулко сморкается.

«Если я останусь в гимназии, я в два-три месяца *непременно* выучу французский язык», — говорю я себе, глядя не без зависти, как бойко разговаривают с Ляном Сандагурский, Сабуров и другие «аристократы» нашего класса. «А шарф можно выстирать, и он опять будет чистый».

Но вот загремел звонок. Все выбежали в коридор — на перемену. Я же продолжаю сидеть притаясь. Так как дежурный — Муня, никто не тревожит меня.

Муня открывает в классе форточку и бежит в канцелярию за бутылкой чернил, но сейчас же возвращается взволнованный:

— Идут! Шестиглазый и Прошка!

Я бегаю в испуге по классу. Где спрятаться? За печкой? Под кафедрой? Но пугаться было нечего: Шестиглазый и Прошка проходят мимо и направляются в соседний класс — в шестой.

Как мы узнали потом, в этом классе произошло небольшое событие: в ящик для мела под классной доской кто-то с самого утра сунул кошку.

И вот теперь Шестиглазый и Прохор нагрянули на место преступления с Василием Афанасьевичем, Барбосом и Пыжиковым (надзирателем младших классов, помещавшихся на нижнем этаже) и чинят там суд и расправу. Значит, я могу ничего не бояться по крайней мере полчаса или час. Следующий урок — геометрия — тоже миновал благополучно.

И так как в шестом классе все еще не кончилось «дело о кошке» (нет сомнения, что Шестиглазый произносит там вдохновенную речь), я пользуюсь этим вовсю: выбегаю во время второй перемены из класса и мчусь по всему коридору — от стены, где висят часы, до стены, где висят иконы (стена огорожена деревянной решеткой, и за этой изгородью Шестиглазый устроил небольшую молельню, как бы

специально для Зуева, который, даже пробегая в уборную, останавливается здесь покреститься).

Я неудержимо ношусь взад-вперед, скользя, как по льду, по вощеному полу, и заглядываю вместе со всеми в стеклянные двери шестого класса: гимназисты все еще стоят, как солдаты, навытяжку, а Бургмейстер по-прежнему пилит их деревянной пилой своего красноречия.

Звонок. Пробегая к парте, я издали вижу обрадованные глаза моего друга Тимоши. Должно быть, он все время тревожился, не зная, куда я пропал. Я усаживаюсь поскорее на место и открываю учебник по русской истории. Царствование Екатерины Второй. Параграф восьмой и девятый. Сейчас войдет сюда Иван Митрофаныч, и я опять услышу его милую, безобидную ругань: «Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-Монти! Жуки на заборе!»

Но вошел не Иван Митрофаныч, вошел Шестиглазый, а вслед за ним какой-то высокий, кудрявый, могуче сложенный мужчина с широкой холеной, волнистой бородой.

Шестиглазый надел пенсне сверх своих обычных очков (оттого и назвали его Шестиглазым), выступил вперед и сказал:

– Я пришел, чтобы познакомить вас с вашим новым учителем, Игорем Леонидовичем Гудима-Карчевским, и сказать вам, что вы должны быть благодарны судьбе за то, что она посылает вам такого наставника. Те исконно русские начала государственной власти...

Дальше пошли непонятные и нудные фразы, но одно стало ясно после первых же слов: Иван Митрофаныч ушел из гимназии и уже никогда не вернется.

Вскоре Шестиглазый исчез. Новый учитель вдруг, к нашему изумлению, трижды перекрестился на икону пророка Наума, потом поднял могучие плечи, будто приготовился к бою, и крупным, уверенным шагом пошел по рядам.

– Что вам задано? – воинственно обратился он к Тюнтину.

– Екатерина Вторая, параграф восьмой и девятый.

– Неверно. Стойте столбом... Ну-ка, вы!

– Нам задана Екатерина Великая, параграф восьмой и девятый.

– Неверно. Стойте столбом... Ну-ка, вы!

Кого бы он ни спрашивал, все отвечали ему одинаково, и каждого он заставлял «стоять столбом». Таких «столбов»

набралось уже больше десятка. С отвращением посмотрел он на них, как смотрят на мокриц или жаб, и наконец проговорил расслабленным, обиженным, страдальческим голосом, очень медленно отчеканивая каждый слог:

– Не Екатерина, а им-пе-ра-три-ца Екатерина Великая. Екатериной вы можете называть вашу дворничиху... Но го-су-да-ры-ня им-пе-ра-три-ца... Она исправляла нравы, насаждала науки, осчастливила нашу отчизну завоеванием новых земель...

Было похоже, что он сию минуту заплачет.

– И вообще предупреждаю, что всякий из вас, – продолжал он тем же детским, обиженным голосом, который так не шел к его огромному росту, – кто на уроке истории скажет мне о каком-нибудь из самодержавных им-пе-рато-ров русских просто Павел, или просто Николай, или Иван получит от меня (тут лицо его засияло, как солнце)... е-ди-ни-цу.

Уже прозвенел звонок и началась большая перемена, а он все еще продолжал говорить.

Блохин повернулся ко мне и сказал:

– Это же черт знает что: из-за такого шпендрика прогнать Финти-Монти!

– А разве Финти-Монти прогнали?

– Пфа! Еще на прошлой неделе. В субботу.

– Откуда ты знаешь?

– Пфа!

Блохин жил на квартире у нашего географа Волкова и знал от него много гимназических тайн.

Кто же прогнал Финти-Монти? И за что? За какие грехи? Не было в нашей гимназии учителя, к которому мы, гимназисты, питали бы более нежные чувства. Это был наш верный союзник и друг.

Помню, к нам на экзамен, когда мы переходили из третьего класса в четвертый, неожиданно приехал в роскошной карете главный начальник всех церквей и священников – преосвященный архиерей Диомид. Его встретили на лестнице специальным приветственным гимном. Шестиглазый и другие педагоги сгрудились в прихожей,чтобы поцеловать ему руку, а мы, гимназисты, сидели в своем классе, дрожа и холодея от страха, ибо в присутствии такого большого начальства нам на экзаменах не будет поблажки. Закон божий считался тогда важнейшим и труднейшим предметом – нужно было знать назубок десятки всевозмож-

ных молитв и евангельских текстов, — и провалиться на этом экзамене было бы для каждого из нас великим несчастьем.

Но вот, покуда Шестиглазый и вся его свита суетились в прихожей, в класс вошел Финти-Монти, и в какие-нибудь две-три минуты все мы были спасены от грозящей нам гибели.

Молча, не говоря ни единого слова, Финти-Монти приблизился своей тяжелой и спокойной походкой к столу, застланному синим сукном, взял с самого краю семь или восемь билетов, по которым нам предстояло отвечать на экзамене, и стал медленно показывать их изумленному классу — достаточно медленно, чтобы мы успели запомнить, в каком порядке они лежат на столе. Потом проделал то же самое с другими билетами, и к тому времени, как архиерей, почтительно поддерживаемый с обеих сторон Мелетием, Шестиглазым, Барбосом и Прошкой, был водворен наконец на свое почетное место за экзаменационным столом, каждому из нас было твердо известно, где, на каком именно участке стола, находится наиболее желанный билет. Из всех билетов я, например, лучше всего вызубрил 24-й. Заприметив, что он лежит возле чернильницы справа, я, когда пришла моя очередь, уверенно протянул к нему руку и отбарабанил свой ответ без запинки. Слушая меня, преосвященный благосклонно кивал головой и поставил мне круглое пять.

Таких же пятерок почти поголовно удостоились и другие мои одноклассники. И все это благодаря Финти-Монти, который, как узнал я впоследствии, был ярым противником попов и поповщины.

Кроме того, каким-то инстинктом мы чувствовали, что он, как и мы, ненавидит Шестиглазого и всех его «архангелов», как он выражался, и что они ненавидят его.

Наконец-то новый учитель Гудима-Карчевский направился к двери. Все с ревом и топотом, свистя и толкая друг друга, помчались вслед за ним в коридор.

Выбежал вместе со всеми и я, стараясь, по возможности, держаться в самой гуще толпы, чтобы меня не заметили ни Прошка, ни Барбос, ни Бургмейстер. Только бы прошла большая перемена! А потом уж нечего бояться!

Следующий урок после большой перемены — латынь. Мои товарищи ее терпеть не могут. Я же с самого первого

класса полюбил этот язык, как родной. Всякое латинское слово кажется мне драгоценностью: оно такое красивое, простое, благородное, гордое, звучное, что я рад повторять его множество раз, как повторяют любимую песню. И я знаю, что, если Игнатий Иваныч Кавун, наш латинский учитель, вызовет меня сегодня к доске, он будет после каждого ответа кивать мне румяной своей головой и приговаривать «бене» («бене» — по-латыни «хорошо»). Кавуна мне бояться нечего. Кавун всегда и везде за меня.

А потом география. Тоже не страшно. Многоводные реки Сибири — Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма.

А потом домой, к себе на Рыбную!.. А дома — дядя Фома! А завтра — воскресенье! А в погребе — еж! А ко мне придет мой любимый Тимоша, самый закадычный мой друг!

Глава девятая

«НИ В ПАРАДНЫЙ, НИ В ЧЕРНЫЙ!»

Мы подружились с Тимошей еще в первом классе, на девятом году нашей жизни, чуть только он поступил к нам в гимназию.

Помню, тогда в коридоре возле нашего класса полыхнуло из печки пламя; кто-то сказал: «Пожар!» Это испугало Тимошу, и он пожаловался, сильно заикаясь:

— У м-м-меня инда сердце трепещет.

И даже не «трепещет», а «тряпещет». Многие из нас, несмотря на испуг, засмеялись: таким необычным показалось нам это «инда» и это «тряпещет». Тимоша только что приехал из Архангельска, и его северная русская речь, без всяких примесей нашего южного говора, показалась большинству диковатой.

Никому из нас он тогда не понравился: веснушчатый, с большими ушами, заика. Заикаясь, он брызгал слюною, и все убегали от него, не дослушав. А он, как и многие заики, любил говорить. Я единственный с первых же дней стал его терпеливым и снисходительным слушателем.

Сначала я слушал его только из жалости, чтобы не обидеть его. Но вскоре произошла очень странная вещь, кото-

рой я и до сих пор не могу объяснить: разговаривая со мною, Тимоша почти перестал заикаться. В разговоре с другими он заикался по-прежнему, но, когда мы оставались вдвоем, речь его становилась текучей и гладкой, как у всякого другого мальчишки. На том чудесном северном наречии, которое он привез с собою с Белого моря к Черному, он рассказывал мне о Синдбаде-Мореходе, о птице Рох, о лампе Аладдина, о волшебных пещерах, наполненных золотыми сосудами, о подземных садах, где копошатся чудовища, и, главное, о контрабандистах и веселых разбойниках, которых он будто бы видел своими глазами.

Его отец был начальник морской таможни и ловил контрабандистов десятками, — так, по крайней мере, говорил мне Тимоша.

Потом я понял, что его рассказы о контрабандистах — фантазия, но тогда я верил им и они волновали меня.

Контрабандисты в этих рассказах были все как на подбор смельчаки, великаны, с длинными пистолетами в белых зубах, но Тимошин отец был смелее их всех: он в страшную бурю выезжал на таможенном катере один против всех и, смеясь над их выстрелами, брал их в плен, как Гулливер лилипутов.

Я очень удивился потом, увидев его отца: этот грозный сокрушитель пиратов оказался самым обыкновенным чиновником — лысоватый, с землистым лицом, в теплых валенках, которые он носил даже летом, потому что страдал ревматизмом.

Может быть, Тимоша оттого и выдумал себе другого отца, что его подлинный отец был такой чахлый и скучный.

О подвигах этого выдуманного отца Тимоша рассказывал мне чаще всего на задворках нашего дома. Там стояли «каламашки» — некрашеные полукруглые ящики, похожие на глубокие большие корыта, в них вывозили накопившийся мусор и снег. В свободные часы мы с Тимошей любили забираться в каламашку, ложились на ее занозистое, корявое дно и шептали друг другу всякие небылицы и выдумки. Это у нас называлось почему-то «говорить про Багдад».

Позже, когда мы перешли в третий класс и стали читать из недели в неделю бурнопламенный журнал «Вокруг света», который выписывала Тимошина мать, мы стали в той же каламашке рассказывать друг другу истории о следопы-

тах, людоедах, ковбоях, огнедышащих горах и африканских миражах.

Замечательно, что, едва только попадали мы на дно каламашки и, качаясь, как в лодке, начинали «говорить про Багдад», мы словно переселялись в другую страну и сами становились другими, не такими, какими были за минуту до этого, когда дразнили на улице козла Филимона или воевали с ордою печенкинцев.

Там же, в каламашке, уже будучи в пятом классе, я открыл Тимоше две важные тайны, которых не открывал никому: что я влюблен в Риту Вадзинскую и что я сочиняю стихи. Об этом я говорил ему только в каламашке. Едва мы вылезали оттуда наружу, все подобные разговоры у нас прекращались, и Тимоша страшно удивился бы, если бы в классе или на улице я сказал хоть одно слово о том, о чем мы говорили в каламашке.

Сейчас Тимоша подбегает ко мне возбужденный и радостный:

— Вот как хорошо обошлось! Теперь уж тебе нечего бояться! Видать, Шестиглазому и самому стало стыдно, что он зря на тебя наклепал.

Он хлопает меня по плечу, и у меня сразу отлегает от сердца. В самом деле гроза миновала. Все мои тревоги рассеиваются, и я чувствую дьявольский голод. Вернее, только теперь замечаю, как сильно проголодался с утра. Ведь утром я не ел ничего, убежал спозаранку и не захватил с собою ни денег, ни завтрака.

Как раз в это время толпа гимназистов штурмует в коридоре покрытый грязноватою скатертью стол, на который навалена груда съестного: колбаса, ветчина, бутерброды. Попрошу Пушкина, чтобы продал мне в долг бублик «семитати» или французскую булку.

Пушкин смотрит на меня недоверчиво, но все же после небольших колебаний достает из корзины сморщенную вчерашнюю булку и безрадостно сует ее мне. Ой, какая маленькая! Мне бы таких пять или шесть!

— Пушкин, нельзя ли еще?

Но тут я слышу у себя за спиной:

— Па-азвольте! Па-азвольте! Па-дождите минутку!

Оглядываюсь — Прошка.

Желтые тараканьи усы. Помятое лицо. В голубых глазенках удовольствие.

— Что вы здесь делаете, уважаемый сэр?

Я растерянно гляжу на него и почему-то показываю ему французскую булку:

— Вот... Я купил... То есть не то что купил, но... Я завтра отдам... А сегодня...

— Здесь вам не булочная, уважаемый сэр, — говорит он громко, на всю залу. — Или вы не заметили — на дверях у нас вывесочка: «Посторонним вход строго воспрещается».

Гимназисты окружают нас молчаливой толпой. Их не меньше ста, а откуда-то мчатся еще и еще. Двое или трое — со скрипками; должно быть, у них только что кончилась музыка.

— Здесь вам не булочная, — повторяет Прошка язвительным голосом, глядя не на меня, а на публику. Он потирает руки, он выпятил грудь. Он похож на актера, который дорвался наконец до любимой выигрышной роли и собирается сыграть ее под аплодисменты восторженных зрителей.

— Прохор Евгеньич, — лепечу я бессвязно, — я ни в чем... Спросите у Козельского... У Зюзи. Зюзя, отчего ты молчишь? Ведь ты знаешь, что я даже не видел твоего дневника. Честное слово, не видел. Все мои товарищи скажут. Вот и Тюнтин... Спросите у Тюнтина.

— Нет-с! Извините! Ваши товарищи — вон они!

И Прошка указывает рукою в окно. Там на панели под мартовским солнцем, у железной решетки монастырского сада, сгрудились оборванные бездомные дети, которых в нашем городе называют «босявками».

— Не прикажете ли пригласить этих джентльменов сюда? — спрашивает Прошка насмешливым голосом. — «Садитесь, дорогие, за парты, мы научим вас алгебре, химии, всем языкам».

Это любимая Прошкина тема. В течение многих лет он не раз повторял, что гимназии существуют для избранных.

Сегодня он говорит об этом особенно красноречиво и долго. И тут только я замечаю, что справа, у двери в «рыдальню», тихо стоит Шестиглазый и, зажмурившись, кивает головою.

Прошка — его обезьяна: подражает ему во всех своих жестах и произносит такие же цветистые речи. И даже щурится близоруко, совсем как Бургмейстер, хотя зрение у него очень хорошее.

Я слушаю его как в тумане. Прямо против меня стоит взволнованный, бледный Тимоша, и в его зеленых глазах — пламенная ненависть к Прохору. Щеки его дергаются в судороге, губы непрерывно шевелятся. Он силится что-то сказать, но не может, потому что он заика; при малейшем душевном волнении у него отнимается язык, и он только мычит от натуги.

Тут же стоит Людвиг Мейер, восьмиклассник, и смотрит на меня с явным сочувствием.

— Будьте же любезны удалиться! — обращается ко мне Прошка с преувеличенной вежливостью. — И как это он ловко прокрался сюда! — говорит он совсем другим голосом, обращаясь к молодому служителю Косте. — «Я, Прохор Евгеньич, за булочкой!»

— Да он тут с утра! — кричит Тюнтин.

— С утра?.. Угу-гу! Ты, Костя, гляди и помни: чуть увидишь этого синьора — ни в парадный, ни в черный. В прихожую — и то воспрещается... По-жалуйте, молодой человек!

— Прохор Евгеньич! — кричит издали Муня Блохин, протискиваясь к нему сквозь толпу. — Прохор Евгеньич, вы, должно быть, не знаете... Я сейчас вам скажу...

Прошка глядит на Блохина тем зловещим и многозначительным взглядом, каким обычно глядит Шестиглазый на самых закоренелых «рыдальцев», и, не ответив ни слова, обращается ко мне с той же насмешливой вежливостью:

— Берите, молодой человек, ваши вещи, если они у вас есть, и пожалуйте за мной... Вот сюда-с!

Он показывает мне дорогу — «направо-с», «налево-с», как будто я здесь никогда не бывал, и ведет меня к выходу, как полицейский своего арестанта: он — впереди, сбоку — Костя.

— Погодите, пожалуйста! — кричит Муня Блохин, затертый толпой первоклассников, хлынувшей из нижних коридоров.

Я иду опустив глаза. Почему-то мне так стыдно перед идущими вслед за мною товарищами, словно я пойманный вор. Наконец Муне удается протискаться к Прохору:

— Прохор Евгеньич, его только на две недели... Только до постановления совета. Я слышал. Мне сказали... Вы, должно быть, не знаете...

— Совет уже заседал вчера вечером. Экстренно. И постановил: исключить. Его и еще двоих.

Услышав эти страшные слова, я не грохнулся на пол, не завопил, не заплакал. Для нового горя во мне уже как будто нет места.

Тимоша что-то говорит мне, но что — я не понимаю, не слышу. Я как будто онемел и оглох.

Мы начинаем спускаться в шинельную. Здесь я знаю каждую ступеньку, каждое пятно на стене. Какими испуганно круглыми, большими глазами глядят на меня первоклассники, девятилетние мальчики, толпящиеся внизу, в вестибюле! Должно быть, им кажется, что я самый настоящий разбойник, который, если вырвется, наделает бед.

Сгорбленный и несчастный, я спускаюсь по лестнице.

В шинельной я вижу Мелетия. Он стоит перед зеркалом и старательно приглаживает маленькой щеточкой свои жидкие белесые брови. Я кланяюсь ему в зеркало, по старой привычке. Он смотрит на меня, как на забор или дерево.

Прошка звонко кричит Моисеичу:

— Подайте молодому человеку фуражечку!

Подавать гимназистам фуражки — такого обычая у нас не бывало.

Я хочу шагнуть к своей вешалке (знакомая вешалка — номер одиннадцатый, первая слева), но Прошка удерживает меня за плечо:

— Не трудитесь, пожалуйста. Вам сейчас подадут.

И, перехватив мою фуражку — недавно купленную, с белыми кантиками, — он делает ужасную вещь: выламывает из нее мой гимназический герб и отдает ее мне — без герба! В отчаянии я выбегаю в этой опозоренной фуражке на улицу, а губы мои сами собой повторяют:

— Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма...

Глава десятая

БИТВА И ПОБЕДА

Герб у меня на фуражке был такой: два дубовых листочка, между ними две буквы и цифра — название нашей гимназии.

Был он сделан из белого металла «фраже» и потому назывался серебряным. Цена гербу — тридцать копеек, но ма-

ма готова отдать за него несколько лет своей жизни, лишь бы он блестел у меня на фуражке.

Мама знает, что тот, у кого на фуражке есть герб, может сделаться важным адвокатом, или доктором, или знаменитым профессором. А тот, у кого на фуражке нет этих белых дубовых листочков, может во всякое время пойти в босяки и сгинуть в морозную ночь под эстакадой в порту.

Конечно, хорошо было бы стать матросом Добровольного флота или кузнецом вроде Васьки Печенкина, но для этого нужна богатырская сила — вон какие у Васьки Печенкина могучие мускулы! Я как раз подхожу к его кузнице на углу Канатной и Базарной и останавливаюсь под проржавленной вывеской, на которой намалеваны большая подкова и маленькая красная двуногая лошадь. Он гол до пояса и черен, как негр. Тело его лоснится от пота. Одною рукою поднимает он молот, какого я не подниму и двумя, и, будто балуясь, бьет молотом по раскаленной болванке, которую вертит щипцами, как легкую трость. И кажется, что вся его цель — выбить оттуда возможно больше взлетающих красными фонтанами искр. Нет, я слаб и неловок, не гожусь в кузнецы.

— Хатанга, Ангара, Индигирка...

Вот и дом Макри, вот и наша помойная яма, прикрытая железным листом. Страшно воротиться домой без герба! Но — счастье! — мамы нет дома. Мама и дядя Фома ушли на кладбище, на могилу моей тетки Елены, которой я никогда не видал: она умерла от холеры. А кладбище далеко, за вокзалом, за Чумкой. Вернутся они часам к десяти, даже позже. Значит, мама и сегодня не узнает о нашей беде. Я расскажу ей обо всем завтра вечером, когда уедет дядя Фома. Или лучше послезавтра утром, в понедельник. А послезавтра — это так далеко, впереди еще тридцать семь или тридцать восемь часов! Мало ли что может случиться за эти тридцать восемь часов!

Конечно, я хорошо понимаю: радость моя безумна и надеяться не на что. Я знаю: тридцать восемь часов — ужасно короткое время, которое пролетит как минута. И все же мне очень приятно, что в квартире одна Маруся.

Охваченный легкомысленной радостью, я выбегаю во двор и, добежав до ворот, взбираюсь по канату на горище, где среди всякого хлама есть у меня небольшой закуток, носящий индейское имя «Вигвам». Кроме Тимоши, об этом «Вигваме» не знает ни один человек, вход в него забаррика-

дирован пустыми бочонками с надписью «Портландский цемент», и нам приходится под самым потолком протискиваться в него, как в ущелье. В «Вигваме» у меня очень чисто, уютно и тихо. Пол вымыт (по-маминому) мочалкой и мылом — легко ли было протискивать сюда ведра с водой! — стены оклеены страницами журнала «Будильник», который подарил мне усач Симоненко. На полу — охапка прошлогоднего колкого сена, все еще пахнущего ромашкой, полынью и мятой. На стенах развешано мое боевое оружие: рогатка, стреляющая на тридцать шагов, и полукруглый железный, ярко размалеванный щит, сделанный дядей Фомой.

Здесь, в «Вигваме», прошедшим летом я сочинил свою «Гимназиаду», поэму о разных событиях нашей гимназической жизни. Поэма написана в трехкопеечной школьной тетради, а тетрадь засунута за потолочную балку — там ее никому не найти.

Чтобы добраться до потолка, нужно стать на бочонок, а бочонок ветхий и шаткий. Но все же я вскарабкиваюсь на него кое-как и сую за балку еще одну вещь — мою бедную, опозоренную Прошкиными руками фуражку — фуражку, из которой выломан герб.

Мне сразу становится легче, и я спешу воротиться домой.

Маруся, сгорбившись, сидит на диване. Глаза ее вонзились в библиотечную книгу. Книга называется так: «О чем щебетала ласточка». Маруся читает ее чуть не двенадцатый раз.

— Возьми из духовки мамалыгу и рыбу и, пожалуйста, не мешай мне читать, — говорит она, не отрываясь от «Ласточки». Голос у нее сухой и отчетливый, будто она диктует диктант.

Маруся строгая, всегда занятая, разговаривает со мной свысока. Она считает меня легкомысленным лодырем. Я боюсь ее больше, чем маму. Она первая ученица в гимназии и уже зарабатывает ежемесячно четыре рубля, так как дает уроки племяннице мадам Шершеневич. Все хвалят Марусю за то, что она такая серьезная, и попрекают меня, зачем я не похож на Марусю. Одна только мама относится ко мне снисходительно. Маруся чувствует это, и для нее это большая обида.

Мне очень хочется быть таким же серьезным, как Маруся, но у меня ничего не выходит. Несколько раз она пробо-

вала воспитывать меня на свой лад и в конце концов махнула рукой. Года три назад она сказала мне каким-то неожиданным, мальчишеским голосом:

— Хочешь играть в путешествия?

Я ответил:

— Еще бы!

Потому что я жаждал кораблекрушений и подвигов. Но она взяла пять узеньких листочков бумаги, написала на них старательным почерком «Азия», «Африка», «Европа», «Америка», «Австралия» и приколола их булавками в разных концах нашего большого двора. Кухня для биндюжников оказалась Америкой, крыльцо усача Симоненко — Европой. Мы взяли длинные палки и пошли из Азии в Америку. Чуть только мы очутились в Америке, Маруся нахмурила лоб и сказала:

— В Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные страны такие-то, климат такой-то, растения такие-то.

А потом сказала:

— Повтори.

Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня! Путешествовать — значило для меня мчаться по прериям, умирать от желтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных индианок от кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и тигров, и вдруг вместо этого меня ведут от бумажки к бумажке и заставляют, как в классе, зубрить какие-то десятки названий! Марусе эта игра была по сердцу — полезная игра, поучительная. Я убежал от нее со слезами, чуть только мы дошли до Европы, и спрятался в «Вигваме» на весь день. С тех пор Маруся окончательно убедилась, что я легкомысленный лодырь, и говорит со мною, как с жалким ничтожеством. Когда я кончил обед и вымыл посуду, она позвала меня и негромко сказала:

— На твоем месте я принесла бы воды, потому что обе бочки абсолютно пустые!

Она любит слово «абсолютно» и другие книжные слова, каких кругом никто не говорит: «с точки зрения», «интеллект», «индивидуум».

— Есть! — говорю я со смехом и сам удивляюсь: откуда у меня этот смех? Будто и не было со мною несчастья!

Я беру зеленое ведро и быстро выбегаю на улицу.

Кран — в доме Петрококино, на далеких задворках, где тоже волы, биндюги и биндюжники. Биндюги — это особые телеги, длинные и очень тяжелые. В каждую такую телегу впрягается пара волов, и рано-рано, еще до рассвета, два-три десятка телег медленно тянутся в гавань — выгружать и нагружать пароходы. Рядом с волами шагают биндюжники — могуче сложенные загорелые люди в изодранных линялых рубахах. Весь день под жестоким солнцем они бегают по сходням с семипудовыми мешками коринки, ванили, канифоли, зернового зеленого кофе, красного перца, винных ягод, маслин, миндаля. Запахами этих товаров они пропахли насквозь — запахами Турции, Греции, Малой Азии, Африки. Биндюжники любят меня (хоть и зовут «гандрыбатым») и зачастую насыпают мне полную жменю подсолнухов или сладких рожков.

Сегодня, впрочем, биндюжников нет. По случаю субботы они в бане. Через минуту я уже с полным ведром снова шагаю по Рыбной.

Возле дома Вагнера я останавливаюсь отдышаться, ставлю ведро на панель, хоть и знаю, что мне угрожает опасность, потому что дом Вагнера — особенный дом. В нем живут мои враги. Я никогда не решился бы войти в этот дом, так как твердо уверен, что там выкололи бы мне глаза, вырвали бы язык, отрубили бы уши.

Дом набит озорными мальчишками, которые с древних времен ведут с нашим домом войну.

Их предводитель — кузнец и жестянщик Печенкин, и мы всех их называем «печенкинцами».

Когда кто-нибудь из нашего двора проходит мимо печенкинцев с ведром воды, они стараются плюнуть в ведро или набросать туда дряни.

Мы, жители дома Макри (они зовут нас «макрюхами»), тоже не даем им проходу и пытаемся напакостить как только можем. У младшего хозяйского сына Кириака (или Киры) Макри есть рогатка, и из нее он поражает печенкинцев, которые, проходя мимо нас, показывают нам язык или кукиш.

Я страстно ненавижу их всех и не поверил бы, если бы мне сказали в ту пору, что они такие же люди, как мы, жители дома Макри.

Особенно я ненавижу Фичаса, мальчишку лет четырнадцати, с длинной и узкой, как огурец, головой. Вот он прита-

ился за уступом стены в воротах и подстерегает меня, выпятив рыхлое брюхо.

Я останавливаюсь в пяти шагах и жду, чтобы на улице показались прохожие, которые защитили бы меня от него. Но улица пуста. Я перехожу на другую сторону — туда, где казарма. Из окна казармы глядит на меня офицер, равнодушный, как чугунная тумба. Я бегу что есть силы. Но вода выплескивается из ведра, и нужно замедлить шаг. В руке у Фичаса кизяк — круглый, черный, засохший воловий навоз.

— Опа-па́! — кричит Фичас, как краснокожий индеец, и скачет через улицу ко мне.

Я отбегаю к воротам казармы. Из ведра выплескивается еще больше воды. Я ставлю ведро у стены. Фичас снова кричит «опа-па» и с разбегу ударяет меня головою в живот. Я отлетаю к стене и с отчаянием вижу, как он дважды плюет в ведро и швыряет туда весь свой кизяк. Слюна у него белая, как лошадиная пена.

Я взвизгиваю и хочу вцепиться в его щеки. Но он опять отбрасывает меня к той же стене и победоносно кричит:

— Опа-па́!

Из окошка равнодушно глядит офицер.

И вдруг — о радость! — ко мне на помощь приходит могучий союзник; он выскакивает из казармы и налетает на врага, как паровоз.

Это солдатский козел Филимон, знаменитый на всю улицу забияка и пьяница.

Если люди ведут себя смирно, Филимон никогда не вмешивается в их разговоры, но стоит кому-нибудь затеять хотя бы легкую драку, Филимон из козла превращается в тигра: налетает с разбегу на одного из дерущихся и бьет его сзади под коленки (не рогами, а лбом) с такой бешеной силой и, главное, с такой неожиданностью, что несчастный падает в ту же секунду.

Пьянствует Филимон лишь по праздникам. Заметит, что биндюжники идут мимо казармы в кабак, увяжется за ними, и его не отогнать никакими дубинами. Биндюжники с удовольствием поят его водкой, а иногда макают в водку хлеб и кормят его этим проспиртованным хлебом, который он глотает с жадностью. Возвращаясь домой, он шатается из стороны в сторону, задевает за столбы, за фонари, как подгулявший биндюжник. И голова у него бессильно

свисает к земле, и борода волочится по мостовой, как метла. Мальчишки из соседних домов дразнят его, тормошат, хватают за рога и толкают, но он не обороняется, он кроток и тих, как ягненок; добредет до казармы и сейчас же завалится спать на конюшне у ног полкового коня Черемиса.

К счастью, сегодня он трезвый, и Фичасу не будет пощады от ударов его крепкого лба. Фичас падает ничком на панель, а козел стоит над ним и трясет бородой, как Мелетий, и ехидно смеется:

«Мм-ме!»

Фичас пытается встать, но Филимон опять бодает его под коленки, и он опять растягивается во всю длину на панели.

Я счастлив. Я прыгаю вокруг как дикарь, а потом хватаю ведро и, закричав «опа-па́» (это наш воинственный клич), с восторгом выливаю всю грязную воду на голову лежащего передо мною Фичаса.

Фичас фыркает, дергает ногами, захлебывается, потом поворачивает ко мне мокрое, красное, отчаянно злое лицо и, трусливо глядя на своего победителя, пытается встать в третий раз. Но я нахлобучиваю пустое ведро на его дурацкую длинную голову и барабаню что есть силы по ведру кулаками:

— Опа-па́! Опа-па́! Опа-па́!

Фичас начинает реветь на всю улицу.

— Что ты делаешь, байструк! Оставь ребенка! — кричит мне из окна его мать.

Я еле удерживаюсь, чтобы не показать ей язык, хватаю ведро и бегу.

Победа наполняет меня торжеством. Стыдно сказать, но, когда в ту ночь я засыпаю на складной моей койке, так и не дождавшись возвращения мамы, я думаю не об ужасном несчастье, случившемся сегодня со мною, а только о победе над Фичасом. И о том, как я буду хвастать этой великой победой перед всеми мальчишками нашего дома. И о том, что сделать, чтобы завтра, в воскресенье, нам, макрюхам, разгромить печенкинцев в открытом бою и взять в плен их предводителя Ваську Печенкина.

Это давнишняя наша мечта — отомстить кузнецу за все обиды и злодейства.

Странное дело: мы пылко ненавидим его, но только по

праздникам, а в будни мы готовы часами стоять неподвижно у порога его крохотной кузницы на углу Канатной и Базарной и с почтительным любопытством следить за всяким движением его проеденных копотью рук. Особенно интересно смотреть, как подковывает он лошадей или натягивает шины на колеса. В это время мы даже любим его. Но в праздники, когда, смыв с себя копоть, он припомадит волосы, наденет лимонного цвета рубаху и, набросив на широкие плечи голубой пиджачок, который называется «твинчик», выйдет за ворота погулять со своими печенкинцами, он сразу становится нашим врагом, точно это другой человек: прищуренные, узкие глазки, хитроватая кривая усмешка и зловещая молчаливость пирата. На нас, макрюх, он никогда не глядит, никогда не разговаривает с нами и от этого кажется нам еще страшнее. Печенкинцы — его верная армия.

В городе его считают юродивым, потому что он играет только в детские игры и водится только с мальчишками. Поглядели бы вы, как во время дождя он плещется в лужах босыми ногами, как он пускает в этих лужах кораблики, сделанные из папиросных коробок, как дразнит индюка, живущего во дворе у мадам Шершеневич!

Печенкинцы за него — в огонь и в воду. Любят его больше, чем своих матерей и отцов. Фичасом называется самый воинственный из них, придурковатый Игнашка, потому что, когда его зовут домой пить чай или ужинать, он кричит в ответ не «сейчас», а «фичас». Любимое занятие Васьки Печенкина — пускание змея. Из этого мирного занятия он сделал себе разбойничий промысел. Когда его змей пущен в небо, Васька чувствует себя единственным хозяином неба, и перед ним наши бедные змеи все равно что воробьи перед коршуном.

Горе тому смельчаку, который решится запустить в то же самое время свой слабосильный змей. Змей Печенкина могуч и огромен. Он с размаху налетает на бедную жертву, и там, в высоте, закипает отчаянный бой, после которого змей смельчака, оторванный от своей тоненькой ниточки, падает широкими зигзагами вниз, а его бывший владелец с неистовым ревом бежит по ближайшим улицам, спасая уцелевшую нитку и даже не пытаясь добежать до своего побежденного змея, упавшего где-нибудь в парке или у самого моря.

Теперь, засыпая, я думаю о том, о чем думал уже тысячу раз: как было бы хорошо, если бы мне удалось (вместе с Ленькой Алигераки и Муней) соорудить такой сильный змей, который схватился бы в небе с врагом и победил его. Был бы у меня английский шпагат — ого-го, показал бы я Ваське Печенкину! С этой мечтой я заснул.

Глава одиннадцатая

«ПО-ХРИСТИАНСКИ, ПО-БРАТСКИ»

В воскресенье я просыпаюсь печальный. Великая победа над Фичасом кажется мне далеким, неинтересным событием. Зато до подробностей вспоминается вчерашняя катастрофа в гимназии. Вскакиваю с постели и мчусь, не умываясь, во двор, подальше от мамы, чтобы она по моему жалкому виду не догадалась о нашей беде. Под квартирой погреб. Я приподнимаю его тяжелую дверь.

— Куда? — кричит Маруся, не отрываясь от книги.

— К ежику.

Но ежика я даже не ищу. Я сейчас же забываю о нем, сажусь на поломанный ящик и начинаю стонать, как больной. Какое горе! Какое ужасное горе! Мне кажется, что нет на всей земле человека несчастнее меня, что никогда в жизни я уже не буду смеяться, что я с охотою сейчас же лег бы в гроб, лишь бы не испытывать такого мучения.

Этот гроб представляется мне с необыкновенной ясностью. Он стоит на коротеньких ножках в «гостиной», наискосок от окна, белый, с золотыми кистями, а кругом венки и цветы и атласные ленты. И на лентах надписи красивыми буквами:

«Незабвенному товарищу от пятиклассников Пятой гимназии».

«Безвременно погибшему брату».

«Лучшему другу от Риты Вадзинской».

Я лежу в гробу с замученным лицом, и все любовно глядят на меня.

«Отчего он умер?» — спрашивает Марусю мадам Шершеневич.

«Ах, — отвечает она, — он был такой гордый, такой благородный, а мы были *абсолютно* несправедливы к нему».

И она прижимает к глазам мокрый от слез платок. Только теперь ей становится ясно, какой у нее был замечательный брат.

Сзади всех, сгорбившись и приподняв воротники, точно воры, стоят Шестиглазый и Прошка. Носы у них разбухли от слез, щеки стали серыми, как глина, волосы всклокочены, губы дрожат.

«Они, они виновны в его смерти!» — грозно кричит, заикаясь, Тимоша.

Все с негодованием смотрят на них.

Они горбятся еще сильнее и глядят исподлобья. Глаза у них виновато-испуганные, как у нашкодившей собаки, которую собираются бить.

«И я, и я повинен в его гибели!» — говорит с тоскою поп Мелетий, вырывая у себя из бороды целый клок.

Но кто это хнычет над моим изголовьем? Зюзя Козельский! Слезы льются ко мне в гроб и обильно поливают мои мертвые щеки.

«Меня, — всхлипывает он, — подучил Валька Тюнтин, а свалили все на него, на покойного... А он ни в чем, ни в чем не виноват!»

Зрелище собственной смерти доставляет мне большое удовольствие. Я мало-помалу успокаиваюсь.

«Еще не все потеряно! — говорю я себе. — Я пойду к Зюзе и к Тюнтину, пусть они сейчас же заявят Бургмейстеру, что меня исключили неправильно, что во всем виноваты они. Бургмейстер ошибается, Бургмейстер не знает, Бургмейстеру кажется, что на всю гимназию я самый большой негодяй. Но негодяи они, а не я, и нужно вывести их на чистую воду... Вот это будет здорово!» — говорю я себе.

Слезы мои мигом высыхают.

«Вот это будет здорово, честное слово!»

Я вскакиваю и начинаю шагать в темноте. Погреб заканчивается длинной пещерой, ведущей неизвестно куда. Пещера усеяна осколками угля, которые тускло блестят под ногами.

Как только Бургмейстер узнает, что ему нужно гневаться не на меня, а на Тюнтина, он пошлет ко мне красноносого Прошку, и Прошка, пьяненький, придет ко мне и скажет:

«Возвращайтесь, милорд, в гимназию... И позвольте мне на минуточку вашу фуражечку...»

И вденет в нее новый гимназический герб.

Мне становится так весело, будто все это произошло на самом деле. Я поднимаю с пола осколки угля и со всего размаху бросаю их в пещеру один за другим. Там что-то звякает: не то стекло, не то жесть. Где-то сзади, за ящиками, фыркает еж.

Да, я пойду к Тюнтину, к Зюзе Козельскому, я уговорю их сказать Шестиглазому правду, и тогда я снова гимназист! Приду и сяду на свою скамью, рядом с Зуевым, и буду учиться как черт. Они согласятся, еще бы! Ведь не захотят же они, чтобы я пропадал из-за них! Это будет чудесно, и мама ничего не узнает, и голова у нее не будет болеть! Я скажу ей как-нибудь утром за завтраком, месяца через два, уже во время каникул: «Знаешь, мама, меня по ошибке хотели исключить из гимназии. Но теперь эта ошибка исправлена. Я тогда не говорил тебе об этом, чтобы ты не волновалась понапрасну».

Сердце мое прыгает от радости. Я бросаю в пещеру целые пригоршни осколков угля.

Через минуту я выбегаю из погреба и по дороге к воротам что есть силы ударяю двумя каблуками по железному листу нашей ямы.

Лист звенит на весь двор.

— Куда ты? — кричит Маруся.

— Я недалеко. Я сейчас.

Скорее к Тюнтину, к Зюзе Козельскому! Мимо дома Вагнера мне не пройти: там меня подстерегают печенкинцы, жаждущие отомстить за Фичаса. Нужно пробираться обходными путями, по Старо-Портофранковской улице. Я бегу как на пожар, и мне кажется, что все мое спасение в том, чтобы добежать поскорее до Тюнтина.

Вот и его дом, трехэтажный, ярко-голубой, на Приморском бульваре. Над воротами — новая, желтая, как цыпленок, табличка:

«Дом вдовы подполковника Аглаи Семеновны Тюнтиной».

Я взбегаю по каменной лестнице, только что окрашенной под мрамор, и дергаю за ручку колокольчика.

Тюнтин еще не вставал. Очень красивая горничная с

надменным и печальным лицом, которое все перекошено флюсом, вводит меня в крохотную комнатку. Там в высокой клетке на медном кольце сидит невзрачный и плешивый попугай и глядит на меня со стариковским презрением. Через открытую балконную дверь видно далекое море.

Я нетерпеливо шагаю по комнатке взад и вперед, и меня окружают Тюнтины: Тюнтин на велосипеде, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин с матерью, Тюнтин с собакой — десятка два фотографических карточек, изображающих Тюнтина.

«Куда столько Тюнтиных!» — думаю я с удивлением.

Но тут вбегает низенькая женщина в красивом шелковом японском капоте, расшитом золотыми павлинами. Бровей у нее нет, все лицо в бородавках.

Это мать Тюнтина, хорошо известная всем гимназистам пылкой влюбленностью в сына. Она постоянно провожает его до самой гимназии и крестит и целует его на прощанье, так что прохожие смеются над нею, а Валентин угрюмо буркает ей злые слова и скорее убегает в подворотню. Ему совестно, что она его мать, что она такая толстая, что у нее бородавки, что она зовет его «бэби» и «солнышко».

«Он у меня хрупкий!» — говорит она каждому, а он здоровый, сонный, тупой и надутый.

Самое имя его «Валентин» она произносит особенным голосом, на французский манер: «Валэнтэн».

— Валэнтэн еще спит. Я его не бужу. Пусть хоть в воскресенье подремлет. Он у меня такой неврастеник (она говорит «нэврастэник»).

В ее голосе слышится гордость. Как будто быть «нэврастэником» — большая заслуга.

Я хочу сказать ей, зачем я пришел, но она подбегает к висящим на стене фотографиям и, как экскурсовод в музее, рассказывает о каждой из них:

— Вот это Валэнтэн в Ай-Тодоре, в Крыму, под своим любимым кипарисом. Посмотрите, какой у него классический профиль. А это в ванночке, голенький, когда ему было одиннадцать месяцев. А это на елке у графа Капниста... А это отец Валэнтэна, мой муж, когда он был полицмейстером в Риге. Вылитый Тургенев, не правда ли?

Я мрачно молчу и жду, когда мадам Тюнтина хоть на се-

кунду умолкнет, чтобы я мог сказать ей, зачем я пришел. Но она неожиданно спрашивает:

— А ваш отец... Скажите... Он тоже военный?

— Отца у меня нет, — говорю я краснея.

— То есть как это так: нет отца?

Я еще сильнее конфужусь и виновато молчу. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивает меня об отце, я испытываю отчаянный стыд.

— Где же ваш папа? Умер?

— Нет, он жив... Только мама... Только я... Я его ни разу не видел.

Она хмурит напудренный лоб, и глаза ее теряют свою сладость.

— То есть как это так: ни разу не видели?

Я беру со столика тяжелую чугунную пепельницу и в смущении верчу ее в руках.

— Так, так, так! — многозначительно говорит мадам Тюнтина и, взяв у меня из рук чугунную пепельницу, ставит ее со стуком обратно на стол. — Что же вам нужно от моего Валэнтэна?

— Видите ли, — говорю я волнуясь, — Шестиглазый... То есть наш директор, ну, Бургмейстер... Выгнал меня вчера из гимназии за то, что я будто бы подучил одного... Вы его не знаете... Зюзю Козельского... Подделать отметки и закопать свой дневник. А я тут ни при чем. Его подучил Валя Тюнтин... Ваш сын... Валентин... Вот я и хочу, чтобы он завтра сказал Шестиглазому... То есть Бургмейстеру, что меня исключили неправильно...

Мадам Тюнтина вскакивает, словно ее укусила гадюка.

— Валэнтэн! — зовет она. — Валэнтэн! Валэнтэн!

Из всех моих слов она поняла одно: что я угрожаю ее Валэнтэну каким-то несчастьем.

В дверях появляется Тюнтин, надутый и сонный. Его лицо выражает беспредельную скуку.

— Тюнтин! Тюнтин! — говорю я ему. — Твоя мама не знает, но ты ей скажи... Ты скажи Бургмейстеру и всем. Ведь я из-за тебя... Ведь это ты... Ведь не я же это сделал, а ты... А если ты не скажешь. Валя Тюнтин...

Он спокойно глядит на меня, как я размазываю по щекам свои слезы грязными от угля кулаками, бормочет мне невнятные слова и скучающей, неторопливой походкой ухо-

дит в соседнюю комнату. За ним семенит его мать. Из комнаты доносится ее взволнованный шепот.

Наконец оба возвращаются, и у обоих такие ласковые, добрые лица! Мадам Тюнтина порывисто подходит ко мне, согревая меня теплой улыбкой, и гладит меня по рукаву моей куртки.

— Перестаньте же... Ну перестаньте же плакать... Ну перестаньте же... Ну не надо, ну не надо, пожалуйста! Все будет хорошо... Вы увидите...

Я смотрю на нее, и в душе у меня снова загорается надежда.

— О, Валэнтэн... Вы его не знаете... Он такой... Как это говорится... Отзывчивый... И вот мы решили по-христиански, по-братски...

И внезапно, разжав мой кулак, она сует туда скомканную пачку бумажек. По всем ее бородавкам разливается нежность.

Я оторопело гляжу на бумажки. Это рублевки. Их семь или восемь.

— Бери, пригодятся! — покровительственно говорит Валентин, чувствуя себя моим благодетелем.

— Как пригодятся? Куда?

— Видите ли, мой дорогой, — медовым голосом лепечет мадам Тюнтина, — у вас начинается новая жизнь. Теперь, когда вы ушли из гимназии...

— То есть как это — ушел из гимназии! Ведь если Тюнтин, если Валентин, если он... Мой товарищ...

— Товарищ? — широко улыбается Тюнтина. — Извините, но какой же вы товарищ моему Валэнтэну? Он будет великобританским послом, вы увидите... У него такие связи, такие возможности! А ваша мамаша — мне сейчас говорил Валэнтэн — стирает сорочки для мадам Шершеневич...

Меня охватывает бешенство. Мне хочется ударом ноги опрокинуть на нее мраморный столик, так, чтобы она отлетела к самой дальней стене, и больно отхлестать Валентина по его сонным щекам.

В ожидании пощечины он прикрывает свой «классический профиль» руками. Мадам Тюнтина бросается ко мне, чтобы защитить своего Валэнтэна, но я отталкиваю его и ее и, кинув комок рублевок в попугайную клетку, выбегаю из комнаты, не переставая твердить:

— Ах ты мурло́! Ах ты мурло́ тупорылое!

Глава двенадцатая

ИЗ ДОМА В ДОМ

«Еще не все потеряно. К Козельскому!» – говорю я себе, но куда девалась моя недавняя бодрость! Согнувшись в три погибели, еле передвигая ногами, я безнадежно бреду к Воронцовскому саду.

Козельские живут в двух шагах от своего ресторана. Их окна выходят во двор. Двор старинный: тихий и тенистый, вымощен плитами лавы. Во дворе – тополя и фонтан: статуя голого мальчика с лебедем. Перед окнами – небольшой палисадник. В палисаднике среди стриженых лавровых кустов весело толпится народ и заглядывает в комнаты, будто там свадьба.

Я подхожу к окну, и первое, что я вижу, – глаза. Выпученные, налитые кровью. Страшные глаза, словно два револьвера. Глаза направлены на Зюзю Козельского, который скрючился за спинкой большого дивана, отодвинутого наискось от стены. Зюзиного лица мне не видно, но даже его затылок выражает испуг. Глаза принадлежат его отцу, Сигизмунду Козельскому. Это приземистый гном, лысый, багровый, без шеи.

Вся мебель сдвинута с места, перевернута, как во время землетрясения. Можно в первую минуту подумать, что у отца с сыном происходит игра: отец гоняется за сыном по комнатам, а тот, убегая, подставляет ему в шутку то столик, то ширму, то этажерку, то стул. Издали это могло бы показаться цирковым представлением, если бы отец не был так разъярен, а сын не был так ужасно испуган. Теперь их обоих разделяет последняя баррикада: диван. Всякий раз, когда отец хочет обойти ее справа, сын, не спуская с него настороженных глаз, ускользает вдоль дивана влево. Стоит отцу ринуться влево, сын оказывается на правом конце. Это повторяется раз двадцать подряд в глубоком молчании.

– От хороба! Не хочет уважить отцу! – негодуют в толпе на Зюзю.

Отец всем своим туловищем – плечами и грудью – налегает на спинку дивана, диван надвигается прямо на Зюзю и гонит его в угол. Зюзя пятится и попадает в западню. Он пробует прошмыгнуть под диваном, но отец хватает его за

штаны и выволакивает на середину комнаты, как тряпичную куклу.

Мне становится страшно, я закрываю глаза. Толпа еще теснее придвигается к окнам. Я убегаю в подворотню и вижу белобородого дворника, который сидит на завалинке и ласково гладит большого кота, мурлыкающего у него на коленях.

Я очень застенчив: боюсь заговаривать с дворниками. Дворники, почтальоны, швейцары, городовые и даже кондуктора конки кажутся мне вроде начальства и внушают мне непобедимую робость. Но этот дворник с такой нежностью гладит кота, что я осмеливаюсь попросить его, чтобы он поскорее пошел за полицией.

— Тут полиции не требуется, — возражает он ласковым голосом. — Батько лупцуе дытыну, щоб була розумнийше. Какая ж тут полиция? На то он и батько.

Глаза у старика безмятежные. Кот сладко мурлычет у него под рукой.

Я медленно выхожу на Соборную площадь. Мне жалко Зюзю, но еще больше мне жалко себя. Значит, мое дело пропащее. Не пойдет Зюзя завтра к директору и не скажет ему правды о Тюнтине. Теперь он запуган до смерти, теперь от него уже ничего не добьешься: три дня он будет плакать и дрожать по-собачьи. Что же мне делать? Куда мне идти? С кем посоветоваться? Бедная моя мама! А эта мадам Тюнтина в павлиньем капоте... Какие противные у нее бородавки!

Часы на соборе показывают без четверти час. Значит, мне осталось всего семнадцать часов. Что же можно сделать за семнадцать часов?

И вдруг передо мной возникает встревоженная физиономия Тимоши. С какой ненавистью глядел он вчера на смеющегося Прохора Евгеньича, когда тот выламывал у меня из фуражки мой герб! Ведь мы с первого класса друзья-неразлучники. Сколько раз он бледнел от волнения, когда меня вызывали к доске, и весь расцветал тихой радостью, если меня хвалили за удачный ответ!

И как это я мог позабыть о Тимоше! Нужно было пойти к нему раньше всего, а потом уже к Зюзе и к Тюнтину. Пусть он бессилен помочь, но я знаю, он разделит со мной мое горе и мне станет легче, еще бы! Вчера он что-то говорил мне там, в гимназии, но я не разобрал его слов. Может быть, он

звал меня к себе? И тут только я вспоминаю, что поп Мелетий и Тимошин отец – земляки, оба северяне, из Архангельска, и начинаю серьезнейшим образом верить, что если Тимошин отец замолвит обо мне доброе слово Мелетию, Мелетий пожалеет меня, и я – опять за гимназической партой!

Тимоша живет у моря, возле самой таможни. Идти к нему по переулкам и улицам долго. Но существует другая дорога – глинистый, очень крутой, заросший бурьяном откос. Добираюсь через парк до откоса и скатываюсь с него (кое-где кувырком) чуть не к самому зданию таможни.

Должно быть, недавно шел дождь, но я не заметил его. Вот и море, полосатое от пены. С моря сразу ударяет в меня свистящий и режущий ветер.

Дом, в котором живет Тимоша, больше похож на пароход, чем на дом. Узкий и длинный, с высокой «кормой», он вдается своим корпусом в море, и кажется, вот-вот поплывет. У него есть и палуба – широкий балкон, окружающий весь его корпус. Всегда над ним носятся чайки и хлопает невидимый флаг. Сейчас дом сотрясается от прибоя и ветра.

Дверь не заперта. Я спускаюсь в кухню по лестнице, похожей на трап корабля. На кухне обычно хозяйничает тетка Тимоши, вся в кудряшках, в скрипучем корсете, с таким выражением лица, словно только что выпила стакан уксуса. Но теперь – это так неожиданно! – кухня встречает меня шумом и смехом. На кухне две девочки – Лека Курындина и сестра Тимоши, «разноцветная» Лиза. Разноцветной ее зовут потому, что у нее в золотистых кудрях растет возле самого лба темная каштановая прядь. В руках у них белые туфли, которые они натирают зубным порошком. Тут же на столе горит лампа. В лампу вставлены щипцы для завивки. Щипцы, очевидно, уже были пущены в ход, так как в кухне чувствуется запах спаленных волос.

Девочки мгновенно тушат лампу и с визгом уносят куда-то щипцы.

– Где Тимоша? – спрашиваю я.

– Ушел, – отвечает Лиза сквозь зубы, так как во рту у нее несколько шпилек, при помощи которых она пытается справиться с пышными локонами.

Оказывается, и тетка, и Тимошин отец уехали куда-то на хутор, и, пользуясь отсутствием взрослых, девочки похити-

ли у тетки щипцы для завивки, пудру, помаду, румяна, духи и с самого утра завиваются, румянятся, пудрятся, хотя обе даже чересчур краснощеки и волосы у обеих кудрявые без всякой завивки.

Весь этот маскарад доставляет им величайшую радость, они поминутно шушукаются, взвизгивают и прыскают со смеху. Мне всегда было ужасно любопытно, о чем эти девчонки постоянно шушукаются и над чем они столько смеются. Но теперь мне даже трудно понять, как это люди могут веселиться и радоваться, если у меня такое тяжелое горе.

— Где Тимоша? — спрашиваю я.

— Не знаю! Ушел... Кажется, к Финти-Монти, — отвечает небрежно Лиза. Потом вглядывается в меня и снова разражается смехом: — Где это ты так перепачкался? Как это тебя угораздило?

Тут только я замечаю, что и моя куртка, и брюки густо измазаны глиной.

— Как же я выйду на улицу?

Лиза смеется и ведет меня к зеркалу в комнату тетки:

— Погляди, какое ты страшидло!

С отчаянием я гляжу на свой грязный костюм, весь в пятнах коричневой глины.

— Как же я выйду на улицу? — повторяю я с горьким отчаянием.

Девочки тащат меня обратно на кухню, вооружаются двумя колючими мокрыми щетками и начинают счищать с меня глину в четыре руки.

Покуда они теребят, тормошат и терзают меня, я неотступно думаю о том, как бы мне повидаться с Тимошей.. Я знаю: он пошел к Финти-Монти, чтобы поговорить обо мне, рассказать ему о моих злоключениях и посоветоваться с ним, что мне делать!..

Почему же он до сих пор не вернулся домой?

Вдруг вверху раздается звонок.

— Ой, это Тимошка! — кричит Лиза и мигом взвивается по лестнице вверх, путаясь в теткиной юбке...

Она веселая, шальная, насмешливая; отлично гребет, купается в любую погоду, заплывает в море дальше всех.

Лека, над которой она деспотически властвует, гораздо добрее ее и относится ко мне с материнским участием.

— Что это ты сегодня какой-то несчастный? — спрашивает она, когда мы остаемся вдвоем. — И, боже, какой рас-

трепанный! Дай-ка вон тот гребешок, я тебя сейчас причешу...

Тут вбегает Лиза и сразу хватает какую-то теткину склянку:

— Постой! Мы подрумяним его! — Но, заметив, что мне не до смеха, говорит потускневшим голосом:

— Тимоша тоже невеселый сегодня. Даже умываться не стал. Выпил чаю и убежал со двора.

— А кто это звонил? Не Тимоша?

— Нет, это так... Это Рита...

Рита Вадзинская! Кровь ударяет мне в щеки, руки начинают дрожать, и я, словно спасаясь от пожара, убегаю в кухонную дверь. Девочки смеются мне вслед: они давно уже знают о моей дикой влюбленности в Риту...

Не помню, как добрался я до того небольшого домишка, где проживает Иван Митрофаныч.

Но и здесь меня ждет неудача! На двери — замок, на обоих окнах — глухие ставни. Под мокрой акацией сидит Людвиг Мейер и читает какую-то книгу близорукими немецкими, голубыми глазами. Я всегда робею перед ним: он такой ученый и важный.

Подождав, когда Мейер дочитает главу, я спрашиваю, не приходил ли к Ивану Митрофанычу Тимоша Макаров из пятого класса... Тимоша Макаров, вот с такими ушами... Но Мейер не слышит и не замечает меня. Он все еще во власти прочитанной книги. Дальше спрашивать его все равно бесполезно, и я тихо ухожу от него.

Дождь начинает накрапывать снова.

Глава тринадцатая
ПРЕМУДРЫЙ СОВЕТ

Меня окружают неизвестные улицы. Я иду сам не знаю куда. А потом сажусь на ступеньку у каких-то дверей, закрываю глаза и прислоняюсь головою к перилам. Как в тумане, проплывают передо мною мутно-лиловые тени, и каждая тень — Тюнтин: Тюнтин на велосипеде, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин в черкесской папахе, — все Тюнти-

ны, каких я видел сегодня на фотографических карточках. А потом они сразу исчезают, и я теряю сознание.

В детстве это случалось со мною нередко. Однажды, когда мама вынимала иголкой у меня из ладони занозу, я «сомлел» у нее на руках. В другой раз, после долгого морского купанья, я пролежал в беспамятстве на раскаленном берегу около четверти часа, и у меня украли незабвенное жестяное ведерко, по которому я потом тосковал много дней.

Очнулся я среди каких-то птиц. Птицы стояли рядами на полках. Крохотные страусы, не больше мизинца, маленькие журавли без носов, круглоголовые филины.

– А это что за птицы... С такими хвостами?

– Это ибисы, священные, египетские.

Голос был незнакомый, необыкновенно приятный. Я услышал его и опять задремал. Когда я проснулся, в комнате шел разговор.

– Как же вам не стыдно, папаша! – говорил тот же голос. – Фуй! Это прямо стыд! Ведь вы уже получили четыре куска.

В ответ послышалось виноватое шамканье.

– Фуй, какой стыд! Что сказала бы покойная мамаша? Фуй! Фуй! Мне так стыдно, так стыдно за вас!

Я приоткрыл глаза и увидел древнего старика без бороды и усов, в зеленом колпаке с черной кисточкой. Нос у него был длинный и острый. На кончике этого носа понемногу скоплялась светлая, чистая, прозрачная капля и падала старику на колени. Еще... Еще... Я долго следил за этими ясными каплями, и на душе у меня сделалось очень спокойно.

– Он проснулся! – произнес тот же голос, который только что журил старика. – Сестрица Франциска, готово ли?

Тут я почуял упоительный запах фасоли. Запах был такой же приветливый, как и все в этой комнате. Я вдохнул его полной грудью и, приподнявшись на диване, увидел двух очень румяных старушек, тоненьких и маленьких, как десятилетние девочки. Словно кто насыпал им на голову снегу – такие были у них белые волосы.

Где я? Куда я попал?

Заметив, что я не сплю, одна из них подала мне дымящуюся миску похлебки и черствую горбушку сероватого хлеба. Живо расправившись с этой едой, я увидел на дне миски

картинку: три пуделя с разноцветными бантами сидят и ухмыляются, как люди, а один из них даже подмигивает, будто знает обо мне что-то смешное.

Вообще обитатели комнаты, очевидно, любят картинки до страсти: даже на одеяле, которым они прикрыли меня, вышиты звезды и бабочки. Стены сверху донизу покрывают разноцветные коврики с вышитыми тиграми, рыцарями, цветами, якорями и радугами. На диване выстроились по росту подушки всевозможных размеров и цветов, и каждая представляет собою картинку: на одной — розы, на другой — те же самые пудели, которых я только что видел на дне моей миски, на третьей — Робинзон Крузо с длинной бородой и под зонтиком.

Я оглядываю эту веселую комнату. Комната как будто говорит: «Какой вздор, что на свете бывают несчастья! На свете есть только мягкие коврики, да разноцветные картинки, да подушки».

— Сестрица Мальвина, дайте мне, пожалуйста, коробочку спичек!

Коробочка оказалась в футляре из темно-синего бисера, а когда сестрица Франциска, взобравшись на стул, зажгла большую висячую лампу, на стеклянном абажуре этой лампы сейчас же заплясали силуэты китайчат и китайцев. Одна из этих старух была прыткая, быстрая, говорливая, с молодыми движениями, а другая — солиднее, старше, в очках.

Родом (как я узнал впоследствии) они были из Эльзас-Лотарингии: мамзель Франциска и мамзель Мальвина. В нашем городе они жили чуть не с самого детства и вполне правильно говорили по-русски, с очень приятным иностранным акцентом. Только вместо «будто бы» говорили «будбето».

— Мы смотрим в окошко, а там *будбето* кто-то лежит. «Ай, — говорю я сестрице Франциске, — он уже *будбето* мертвый».

Их папа, м-сье Рикке, был когда-то учителем танцев, но теперь ему девяносто шесть лет, и он издавна сидит в своем кресле под теплым пледом, на котором вышита черная летучая мышь на фоне огромной луны. Он уже оглох, плохо видит, он даже охладел к табаку, который охотно нюхал еще два года назад. Целыми днями не произносит ни слова. Но есть в этой жизни одно, что попрежнему ему любо и дорого: сахар. И, так как ему мало кусков, которые выдают ему доче-

ри, он ворует у них сахар при всякой возможности. И, так как это доставляет ему удовольствие, дочери нарочно ставят сахарницу у него под рукой, чтобы ему было удобнее воровать. Уморительно было смотреть, как он, озираясь по сторонам, точно взаправдашний вор, протягивает руку за добычей, которую они сами подставляют ему. Воображая, будто он совершил необыкновенно ловкую кражу, он радуется, точно младенец. Кусок сахару, который он в ту же секунду кладет себе в рот и начинает со смаком сосать, кажется ему вдвое вкуснее, оттого что он считает этот кусок уворованным. Особенно ему приятно, если ему говорят: «Фуй, папаша, как же вам не стыдно!»

Тогда ему мерещится, что он в самом деле ужасный хитрец и пройдоха. Это льстит ему, и он самодовольно хмыкает.

Рассказывая мне об этих причудах отца, сестры в то же время непрестанно работают: перед ними на столе навалены грудами лоскутки всевозможных материй, они быстро сшивают их разноцветными нитками, отчего получается узорчатая красно-сине-зеленая скатерть. Мне кажется, что я век пролежал бы вот так на диване и смотрел бы, как мелькают их быстрые руки. Они рассказывают мне (впрочем, рассказывает одна лишь Франциска, а Мальвина только сочувственно шевелит бровями), что они обе преподают в разных школах рукоделье и музыку и, кроме того, делают из гаруса птиц для продажи.

– Вот посмотрите! – говорит Франциска, берет ножницы и игральную карту, складывает ее вчетверо, вырезает из нее кружок вроде бублика, обматывает его гарусом ярко-желтого цвета, позвякивает вокруг него ножницами – и получается пушистый цыпленок, будто сейчас из яйца.

– Жалко, нет воска для клюва. Вон сколько у нас журавлей без носов! – говорит, печально вздыхая, Франциска. – Воск ужасно вздорожал!

– Ужасно! – вздыхает Мальвина. – А этот негодный Суббоцкий...

Суббоцкого я знаю. Он живет у нас во дворе и держит писчебумажную лавчонку наискосок от женской гимназии Кроль. Маленький и юркий, как чиж, он сладко улыбается желторотым своим покупательницам, гладит их по голове, зовет «деточками».

– Вот тебе, деточка, промокашечка с ленточкой.

Но при всем при том он отъявленный плут. По словам Франциски и Мальвины, он скупает у них за бесценок их филинов, страусов, цыплят, журавлей и продает в магазины, наживая огромный барыш. За каждого цыпленка он платит им всего только десять копеек, а получает за каждого полтинник. Магазины же продают этих цыплят по рублю, потому, что цыплята Субботского славятся своей красотой. Они так и называются — «цыплята Субботского». Их покупают нарасхват, особенно к пасхе и к елке. Между тем материал для приготовления птиц стоит так дорого, что за работу обеим сестрам остается не больше двух с половиной копеек с цыпленка.

— Я достану вам воску! — говорю я, обрадовавшись, что могу угодить им. — Я скажу дяде Фоме, он привезет из деревни. У него в деревне мед и пчелы. Воску у него целый пуд.

И я рассказываю им про дядю Фому. А потом про маму, про Бургмейстера, про свалившееся на меня горе. Они слушают, кивают головой, и вдруг Мальвина говорит повелительно:

— Вы должны сейчас же пойти и рассказать вашей маме всю правду. Ей будет больно? Пускай. Лучше боль, чем неправда. Лучше даже смерть, чем неправда. Подите расскажите своей маме всю правду, и вы увидите: все будет хорошо.

Я смутился. Я был не в силах понять, почему же, в таком случае, они обманывают своего отца насчет сахара, но, чуть только я заикнулся об этом, Франциска перебила меня:

— О, папаша другое дело! Наш папаша сделался *будбето* двухлетний малюточка.

Я вскочил на ноги:

— Хорошо, я пойду и скажу.

— И передайте вашей маме от нас — от Франциски и Мальвины — любовь. И, если можно, вот это.

И она схватила с полки красногрудого дятла, сунула его в бумажный мешочек (мешочек был тоже с картинкой) и подала мне.

Я горячо поблагодарил и ее, и Мальвину и словно на крыльях помчался домой. Тут только я понял, как тяжело мне было столько времени скрывать от мамы правду.

Но зачем они дали мне этого дятла? Разве может дятел обрадовать маму теперь, когда я буду рассказывать ей о случившемся с нами несчастье?

Глава четырнадцатая

ПЕРЕДЫШКА

Пока я отдыхал у моих новых друзей, дождь прошел. Небо стало огненно-красным. Лужи казались налитыми кровью.

Мне так хочется рассказать маме о Зюзе, о Тюнтине, о гербе, о Шестиглазом, о Прошке, обо всем, что произошло в эти дни, даже о Фичасе, даже о козле Филимоне, что я готов заплакать от досады, увидев, что в комнате одна лишь Маруся.

Мамы нет ни на кухне, ни в погребе.

Еще так недавно я избегал ее, прятался, а теперь, кажется, отдал бы все на свете, чтобы прижать к шершавым рукам свое холодное и мокрое лицо.

Маруся глядит на меня с унылым упреком: существуют же такие жалкие люди, которые целыми днями шатаются бог знает где! Я чувствую, что я виноват перед нею (это мое привычное чувство), и спрашиваю еле слышно, где мама.

Маруся требует своим отчетливым голосом, чтобы я не притворялся глупцом, так как, говорит она, мне отлично известно, что сегодня в полдень дядя Фома уехал к себе в деревню и что мама провожает его до Аккерманской заставы.

Значит, я и вправду преступник! В семье издавна установился обычай, что всякий раз, когда дядя Фома уезжает из нашего дома, мы с мамой провожаем его до Аккерманской заставы, а потом заходим к Длинной Лизе, и Длинная Лиза всегда говорит мне:

«Ой, как ты вырос, нивроку![1]»

И убегает в лавчонку и приносит мне серые, засиженные мухами, каменно-твердые мятные пряники, и я, ломая себе челюсти, грызу эти пряники всю дорогу домой.

Длинная Лиза питает к маме благодарные чувства, потому что мама когда-то давно, когда в городе был еврейский погром, спрятала ее в нашем погребе в кадке, которую сверху прикрыла капустой, — эта кадка долго еще существовала у нас и называлась «Лизина кадушка». И вот теперь мама идет с Аккерманской заставы одна, без меня, и дядя Фома уехал, и я не поцеловал его в усатые губы, пахнущие хлебом

[1] Нивроку (*укр.*) — не сглазить бы.

и вишневой наливкой, и даже не видел, какие гостинцы купила мама для его жены и детей. Впрочем, гостинцы эти почти всегда одинаковы: полголовы сахара, четверть фунта чая, липкие конфеты в бумажках, под названием «Царский букет», и голубой или канареечный ситчик, купленный на распродаже у Пташниковых.

Я стою перед Марусей жестоко сконфуженный.

— Посмотри, Маруся!

Я показываю ей бумажный мешочек с картинкой и вынимаю оттуда пушистого дятла, которого мне подарила Франциска. Только теперь я вижу, какой он красивый. Из глины кирпичного цвета вылеплен ствол дерева с корой и сучками, и в этот ствол вцепился обеими лапами дятел и, откинув голову далеко назад, долбит его длинным клювом, сделанным из самого лучшего воска.

— Это мне... Это для мамы... Подарили...

Но Маруся взглядывает на дятла враждебно, будто дятел тоже виноват перед ней, и перед мамой, и перед дядей Фомой.

Я ухожу на кухню. Меня сильно знобит. Я, должно быть, простудился. Хорошо бы выпить горячего чаю. В казарме через дорогу есть «куб» — большой вмазанный в плиту кипятильник. Солдат за копейку нальет мне из куба полный чайник горячей воды. Беру со стола чайник и вдруг вижу: под ним записка.

«Приходи сегодня в десять к Дракондиди. Важное дело! Блохин».

Я выбегаю во двор, пригибаясь под окнами, чтобы меня не увидела Маруся.

Я ни разу не бывал у Дракондиди. Дракондиди — тайный гимназический клуб. Все в гимназии знают о существовании этого клуба, но говорят о нем шепотом. Там второгодники Зозуля и Куц пьют водку из бутылок от хлебного кваса. Там пучеглазые братья Бабенчиковы, играют в «подкидного осла». Там Степа Бугай всякий раз, когда ему удается похитить у отца трехрублевку, объедается пирожными и мороженым, угощая Зуева и своего брата Володю, второгодника из четвертого класса. Там прячутся от Барбоса «казенщики».

«Казенничать», или «править казну», — это значит околачиваться в каком-нибудь месте (чаще всего в парке или

на морском берегу), когда тебе полагается сидеть в своем классе.

Ты, например, не приготовил урока по физике, и тебе грозит единица. Ты берешь ранец и уходишь как будто в гимназию. Но, пройдя две-три улицы, сворачиваешь в сторону и воровски пробираешься в потаенное место, где проводишь все время учения. А потом приходишь домой дурак дураком и бессовестно лжешь родным. Те казенщики, у которых есть деньги, проводят свои дни у Дракондиди. Там они угощаются, играют в карты, в лото, в домино или спят.

И гимназическое начальство ни разу не накрыло их в этом притоне, хотя бывало, что в день какого-нибудь трудного урока там собиралось сразу до десяти человек. Они даже заранее сговаривались — завтра с утра всей оравой пойти к Дракондиди.

А однажды тот же Степа Бугай пригласил к Дракондиди весь класс. Случилось это так. Был последний урок — французский. Нужно было читать молитву после учения:

«Благодарим тебя, создателю, яко сподобил нас еси благодати твоея во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага...»

Степа Бугай смело вышел вперед и, пользуясь тем, что мсье Лян не понимает по-русски, произнес тем напевом, каким в церкви читают молитвы:

«Аще кто не хочет получити по-гречески кол, да похитит у родителей полтинник и скроется в вертепе Дракон-ди-ди!»

И набожно смотрел на икону и, не переставая, крестился.

Лян, воображая, что это молитва, с благоговением потупил глаза, чтобы показать, как он уважает чужую религию.

О «вертепе» Фемистокла Дракондиди мне много рассказывал Муня Блохин, так как он каждую пятницу играл там в шахматы с горбатым реалистом Иглицким.

Но идти в этот гимназический клуб еще рано. Сейчас три четверти восьмого, не больше. Не пойти ли мне к Леньке Алигераки, моему соседу, у которого есть белая крыса и пара новых голубей «вертунов»? Нет, не такое у меня сейчас настроение, чтобы интересоваться голубями и крысами! А

может быть, вернуться к сестрам Рикке в их безмятежный уют и снова услышать их ласковый голос, их милое и забавное *будбето*?

Медленно и нерешительно я выхожу за ворота. Улица безлюдна. Никого. Ах, увидеть бы Риту Вадзинскую! Я иду вправо, потом возвращаюсь и вдруг вижу у нашей калитки расфуфыренного Циндилиндера в ослепительном фиолетовом галстуке. От него так и разит одеколоном. Не здороваясь, он достает из кармана коробочку и вынимает оттуда малюсенькое золоченое сердце, пронзенное белой стрелой! В сердце вставлен голубенький камушек.

— Шикарная цацка! — восхищается он. — Ты думаешь, она будет рада?

«*Она*» — оранжево-рыжая Циля, оберточница с фабрики «Глузман и Ромм». В эту горластую красивую краснощекую девушку Циндилиндер около года назад влюбился по самые уши.

С той поры он стал напропалую франтить, и даже походка у него изменилась. Прежде он ступал по-кошачьи, осторожно и мягко, а теперь шагает все больше вприпрыжку, пританцовывая, как будто под музыку.

Я стараюсь возможно внимательнее вслушиваться в его бессвязную речь. Какое счастье, что я встретился с ним: ведь эта встреча дает мне возможность хоть на полчаса отодвинуть от себя все мои тревоги и горести. Так невыносима для меня тяжесть беды, свалившейся на мои малолетние плечи, что я от всего сердца благодарен судьбе за ту передышку, которую — пусть на самое короткое время — сулит мне этот разговор с Циндилиндером. Передышка до того мне нужна, что я вдруг начинаю разжигать в себе горячий интерес к Циндилиндеру и страшно боюсь, как бы тот не ушел от меня.

Мы садимся на скамью у ворот. Циндилиндер снова достает из кармана бомбошку с голубеньким камушком.

— Думаешь, краденая? Вот!

И он показывает мне с торжеством какую-то зеленую бумагу. Это счет от ювелирного магазина «Бизе и Компания». На бумаге очень четко написано:

«Серебряная брошь — 3 рубля 48 копеек».

Под этой строкой — круглая печать магазина.

— Видишь, какой штамп, ого-го! И накажи меня бог — настоящий!

Он будто сам удивляется, что бомбошка не похищена им.

Я хорошо знаю, что без этого штампа Циля не возьмет его подарка. Чуть только они познакомились, она потребовала, чтобы он побожился, что никогда не будет заниматься своей «специальностью». И действительно, с прошлого лета, или, точнее, с июня – да, с седьмого июня 1895 года – он уже никогда ничего не ворует. Мама посоветовала ему «учиться на токаря» в мебельной мастерской А. Э. Кайзера, на углу Канатной и Новой. Теперь он поступил туда в учение, и его стали звать уже не Циндилиндер, но Юзя. Юзя Шток (или, кажется, Штокман). И он обижается, если кто зовет его, как прежде, Циндилиндер.

Он и раньше уверял меня и маму, что уже давно перестал воровать, но только теперь мы поверили ему окончательно. Раза два он приводил к нам свою Цилю и был чрезвычайно доволен, когда увидел, что Циля понравилась маме и мне. Каждое воскресенье он по-прежнему приходит к нам с утра, наполняет нашу бочку водой, чистит для мамы к обеду бураки и картошку, развешивает вместе с Маланкой на «горище» белье, бегает для Маруси в городскую библиотеку за книгами.

Милый, дорогой Циндилиндер! Огромное для меня удовольствие ходить с ним спозаранку на базар под утренние перезвоны церквей. На базаре по-южному шумно: кричат торговки, визжат поросята, все запальчиво и страстно торгуются. Мы покупаем живых раков, скумбрию, помидоры, бублики, черешню, халву. Идем, бывало, домой утомленные, останавливаемся отдохнуть возле дома мадам Шершеневич, и вдруг Циндилиндер говорит, улыбаясь:

– Эти торговки такие раззявы! – и вытряхивает из рукава слипшийся ком чернослива. Я гляжу на него и не верю глазам.

– Юзя! Ты же говорил! Ты дал слово... И маме, и Циле... Как тебе не стыдно, Юзя, Юзя!

– Так разве ж это воровство? – улыбается он и достает из-за пазухи горсть мушмулы, моченое яблоко, огурец, карамельку. – И разве тебе не хочется моченого яблока?

Мне совестно признаться: украденные Циндилиндером лакомства были для меня так привлекательны, что я охотно соглашался не считать их украденными и съедал без зазрения совести и мушмулу, и чернослив, и моченое яблоко.

Но оранжево-рыжая Циля оказалась бескорыстнее и строже меня. Когда Циндилиндер похитил для нее на базаре любимые ею каштаны, она отшвырнула их так, словно это были раскаленные уголья, и заявила, что не желает водиться с таким «неизлечимым мазуриком».

С тех пор, прогуливаясь между ларьками в воскресные дни, Циндилиндер перестал похищать даже тыквенные и арбузные семечки у полоумной старухи Марьянки, у которой даже маленькие дети, то и дело налетавшие на нее воробьиными стаями, и те беспрепятственно опустошали всю корзину. Забавно было смотреть, с каким трудом он удерживает свои ловкие руки от похищения плохо лежащих сластей и как, стянув нечаянно огурец или луковицу, он произносит ругательство и кидает их обратно в мешок продавца.

Ругается он тоже меньше прежнего. Мама строго-настрого запретила ему сквернословить. Он обещал. Но беда была в том, что на первых порах он не мог догадаться, какие слова скверные, какие хорошие. Нисколько не стесняясь, произносил он такие слова, от которых дерево и то покраснело бы. А случись ему сказать, например, «штаны», или «наплевать», или «шиш», и он, спохватившись, ужасно конфузился:

– Уй, виноват, извиняюсь!

Но теперь и по этой части все обстоит у него в полной исправности. Вообще теперь трудно представить себе, что еще так недавно его считали «неисправимым мазуриком». Теперь даже у седого трубача Симоненко честность Циндилиндера не вызывает сомнений.

Но, к сожалению, Циндилиндер должен уже уходить. В парке у памятника Александру II его ждет оранжево-рыжая Циля.

– А я иду к Дракондиди! – говорю я ему и хочу рассказать обо всех своих бедствиях.

Но сейчас ему не до меня, он боится опоздать к своей Циле. Я остаюсь на скамейке один, и снова накатывает на меня мое горе.

В такт моим грустным мыслям завыла, застонала труба Симоненко.

Этот вой надрывает мне сердце. Мне хочется плакать. Что-то ждет меня в подвале Фемистокла Дракондиди?

Глава пятнадцатая

ДРАКОНДИДИ

Этот подвал помещается при «Заведении искусственных минеральных вод» на Успенской улице, против станции конки.

Издали сверкает сине-белая вывеска, освещенная языками голубовато-желтого газа: «Искусственные воды и сиропы Ф. М. Дракондиди». На вывеске нарисован сифон, из которого веером брызжет вода. Я толкаю дверь и вхожу в магазин. Звонок, приколоченный к двери, дребезжит гораздо громче, чем я ожидал.

Первое, что я вижу: синяя лысина и черная борода Дракондиди. Борода ассирийская, квадратная, похожа на крашеную. Из ее чащи выпячиваются мясистые ярко-пунцовые губы.

Дракондиди стоит за стойкой и чистит мелом оловянные ложки. Перед ним на высоком металлическом стержне стеклянные колонки с сиропами: ананасный сироп, шоколадный сироп, вишневый, ванильный, малиновый, апельсинный и даже почему-то тюльпанный. Венчает всю эту разноцветную колоннаду сиропов ярко-красный бумажный букет.

Но где же клуб? Где великолепная тайная комната, о которой так много говорил мне Блохин? За спиной у Дракондиди никакого подобия двери. Гладкая стена. На ней ковер. На ковре афиша:

ЦИРК МАНУИЛА ГЕРЦОГА
Братья Фернандо и Танти Бадини

— С сиропом или без? — спрашивает у меня Дракондиди, бросая ложечку в высокий стакан.

— Нет, мне не вода... Я — другое... Меня позвал сюда Муня Блохин.

Дракондиди хмурит роскошные кустистые брови.

— Как вы говорите? Блохин?

— Из пятого класса. Из Пятой гимназии. Муня.

— Блохин — это такая фамилия? Может быть, Марази́ или Ра́лли?

(Ра́лли и Маразли́ – местные купцы, знаменитые своими богатствами.)

– Нет, не Ралли, не Маразли, а Блохин… Вы его знаете… Муня… Он у вас играет в шахматы с этим… С горбатым… С Иглицким… Я знаю всех, кто бывает у вас: Курца, Зозулю… Обоих Бабенчиковых.

Лысина Дракондиди из синей становится красной.

– Вы сумасшедший, накажи меня бог! У меня тут лимонады и сиропы, а он шукает какого-то Курца с Зозулей!

Должно быть, я ошибся. Блохин рассказывал мне, что все это «Заведение искусственных минеральных вод» есть лишь одна декорация, а главное – там, за кулисами, в темной комнате с закрытыми ставнями.

Я выхожу на улицу, долго стою под акацией и бессмысленно смотрю на ворота, на которых написано мелом:

«Юра любит Раю Глузман».

Рядом с Дракондиди помещается конфетная фабрика «Глузман и Ромм», и там внизу, в подвальном этаже этой фабрики, обычно сидят у решетчатых окон сорок или пятьдесят молчаливых работниц. В страшной тесноте за длинным и липким столом, мерно качаясь вперед и назад, при свете двух керосиновых лампочек они с быстротой автоматов обертывают клейкие карамельки бумажками, на которых написано: «Царская роза. Фабрика Глузман и Ромм».

Здесь-то и работает рыжая Циля, и мне даже странно подумать, что после такого трудного рабочего дня она еще может задорно смеяться, а иногда и плясать до упаду вместе со своим женихом Циндилиндером.

Перегнувшись через жидкие перильца, сделанные из водопроводной трубы, я гляжу в подвальное окно. Но сегодня воскресенье, фабрика «Глузман и Ромм» не работает, за темными окнами мрак. Я отворачиваюсь и вижу: Блохин.

– Муня, – говорю я ему, – должно быть, есть другой Дракондиди?

Но Муня ухмыляется, произносит свое любимое «пфа» и ведет меня обратно в «Заведение искусственных вод», кладет на стойку два двугривенных – за меня и за себя, – и Дракондиди, к моему удивлению, здоровается с ним, как с приятелем, и, озираясь, приподнимает ковер, тот самый, к кото-

рому прикреплена цирковая афиша, и за ковром я вижу невысокую дверь, обитую рваной клеенкой.

– Осторожно: ступенька! – говорит Дракондиди, обнажая сахарно-белые зубы, и я, как в яму, проваливаюсь в темную полуподвальную комнату, где пахнет дымом, рыбой, уборной, керосином и сыростью.

Когда глаза привыкают к потемкам, я вижу кудлатого парня с цыганским лицом, который жарит на керосинке бычков. По словам Муни, это брат Дракондиди (я уже слышал о нем), глухонемой водопроводчик или слесарь, по имени Жорка. Справа у стены занавеска. Из-за занавески доносится храп. Где-то поскрипывает жестяной вентилятор. Или, может быть, это льется из крана вода?

Вот он какой, клуб Дракондиди, о котором рассказывали мне столько чудес! Я почему-то был уверен, что тут позолота и бархат, а тут засаленные столы, шелуха от подсолнухов, грязь и такая вонь!

Мы усаживаемся с Блохиным в дальний угол.

По нашему столу пробегает прусак.

Приглядевшись, я вижу Бабенчиковых. Они сидят на перевернутых бочонках справа у самой стены и тасуют карты, ожидая партнеров.

Глухонемой тотчас же подает нам на заржавленном черном подносе два стакана мутноватого чаю с крошечными солеными бубликами, какие подают обычно к пиву.

– Этот Жорка – артист, ой-ой-ой! – говорит, подмигивая, Муня. – Дать ему три папироски, и он проглотит вон того прусака, даже двух...

– При чем тут прусаки? – говорю я с тоскливым упреком. – Ты меня звал... Я пришел... А ты – о прусаках... О папиросах...

Муня смеется:

– Все будет отлично, не бойся. Мы с Тимошей придумали... То есть придумал Тимоша. Замечательный план!.. Вот увидишь... Сейчас он придет... Он расскажет.

Но улыбка у Блохина невеселая. Или, может быть, просто рассеянная? Я всматриваюсь в него и с негодованием вижу, что думает он о другом.

Такой у него непостоянный и суетливый характер: вот уж он подбежал к восьмикласснику Людвигу Мейеру и предлагает ему билет в лотерею:

— Разыгрывается знаменитая книга: «Ожерелье королевы» Александра Дюма! Четыреста двадцать страниц!

Потом подбегает к Зенкевичу, собирателю марок, и меняет у него «Кубу» на «Яву».

Потом останавливается у стены против двери — играть с каким-то черномазым в орлянку.

Потом подходит к столику, где объедаются шоколадной халвой Володька и Степка Бугаи, и, дирижируя бубликом, поет вместе с ними свирепую песню о нашем надзирателе Галикине (он же Барбос).

Нет такого человека, мимо которого он мог бы пройти, не затеяв с ним игры или дела. Он нужен каждому, и каждый — ему. Во всей этой толпе только и слышно:

— Мунька! Муня! Блохин! Блоха!

И скоро мне начинает казаться, что в комнате не один Блохин, а пять или шесть.

Но вот к нему подходит Иглицкий, высоколобый горбун, и оба сейчас же садятся за шахматы.

От чада и голода у меня начинает болеть голова. Я не отрываю глаз от той двери, где должен появиться Тимоша. Мне кажется: едва только я увижу его простосердечное, круглое, красноватое от веснушек лицо, голова у меня сразу же перестанет болеть. С каким видом войдет он сюда? Веселый или грустный? И что нового скажет он мне?

Тускло светится в темной стене обитая рваною клеенкою дверь. Я ненавижу каждого входящего в нее человека за то, что этот человек — не Тимоша.

— Шах! — говорит Иглицкий.

— Шах и мат! — говорит Блохин.

И тотчас же вскакивает, так как в эту самую минуту на верхней ступеньке появляется, растерянно щурясь, Тимоша.

Мы бежим к нему, расталкивая всех.

Оказывается, его долго не пускал Дракондиди, и он чуть не силой ворвался в эту дверь. Его крепкозубый рот улыбается мне, как всегда, но глаза его тоскливы и тревожны. Русые волосы потемнели от пота.

Мы садимся у самой занавески на кучу пахнущих рыбой рогож, и Тимоша начинает подробно рассказывать обо всем, что он делал с утра, чтобы выручить меня из беды.

— Раньше всего, — это мне посоветовал Мунька, — я побежал к Эммануилу Жуку.

— Боже мой! При чем же здесь Жук?

В нашей гимназии все знают Эммануила Жука. Он солиден и важен, как капитан парохода. У него крупная фигура, отличный костюм и барственный, гордый профиль. Он и в самом деле важная персона: парикмахер «Приморской гостиницы». Но какой же помощи могу я ожидать от него?

— Как — какой? — набрасывается на меня Муня. — Или ты не знаешь, что он каждое утро, зимою и летом, является с бритвой и ножницами на квартиру к Бургмейстеру — побрить и постричь его перед началом уроков?

— Ну так что же?

— А то, что он обладает драгоценной возможностью ежедневно разговаривать с самим Шестиглазым!

Тут Муню прерывает Тимоша и рассказывает с большим изобилием подробностей, как благосклонно принял его этот важный цирюльник и как охотно взялся похлопотать обо мне.

— Вот и чудесно! — говорю я, обрадованный.

— Нет, ты с-слушай до к-конца! — И нижняя губа у Тимоши вдруг начинает дрожать, словно он хочет заплакать.

Из его дальнейшего рассказа я понял, что этот восхитительный Жук отнюдь не имеет намерения расточать свои благодеяния даром: за свой разговор с Шестиглазым он требует сто рублей — сто рублей за один разговор! — а в случае удачи еще двести!

Сердце у меня холодеет: бывают же на свете такие бесстыжие люди!

— А ты что думал! — ухмыляется Муня. — На то он и Жук... Тайный агент Шестиглазого... Разве Зуев и Зюзя Козельский могли бы хоть час оставаться в гимназии, если бы их родители не отваливали ему — для Бургмейстера — не двести, не триста, а тысячи!

— К черту Жука! — кричу я.

Тимоша смотрит на меня виновато. Ему как будто совестно, что его хлопоты не привели ни к чему. Он уныло и тягуче рассказывает, что от Жука он поплелся к попу в далекую Покровскую церковь, выстоял там до конца всю обедню и что поп, едва услыхал мое имя, зафыркал на него, словно кот на ежа.

Дальше мне не хочется слушать. Стыдно признаться, но я, как ни дико это звучит, не чувствую к Тимоше никакой

благодарности. Человек с утра до вечера, не пивши, не евши, бегал по всему городу ради меня, хлопотал, суетился, а я слушаю его рассказы об этом с нетерпеливой досадой, со злостью — и сам сознаю, что неправ, но это еще сильнее раздражает меня.

— А потом я пошел к Митрофанычу... К Финти-Монти...

— Знаю, знаю! Не тяни! — говорю я сердито и резко. — Знаю: пошел к Митрофанычу и *не застал его дома.*

— Не застал... — Убитым голосом отвечает Тимоша, будто не замечая моего раздражения. — Сначала я пошел на волнорез, к маяку, где по праздникам он ловит бычков... Оттуда...

— Мне неинтересно, куда ты ходил... Важно, что ты не застал! Не застал! Не застал!

Горе мое так велико, что я чувствую себя вправе быть несправедливым, капризным и грубым. Я хватаю с ближайшего столика чью-то суковатую палку и, стуча ею по столу, кричу каким-то не своим, сварливым, истерическим голосом, отвратительным мне самому:

— К черту вас всех! К черту! К черту!

И вдруг спохватываюсь и начинаю лепетать извинения:

— Не сердись... Я понимаю... Я знаю... Но что же мне делать? Ведь я...

Слезы душат меня, и я припадаю лицом к занавеске, — она тоже пропитана запахом рыбы.

— Эх, жаль, — говорит Муня Блохин, — что мы так и не нашли Финти-Монти! Он бы посоветовал, он бы сказал.

И вдруг в эту самую секунду до нас доносятся знакомые, родные слова:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны!..

Мы вскакиваем, точно в комнате разорвался снаряд. Финти-Монти!!! Неужели он здесь, среди нас?!

Мы бросаемся за занавеску.

Да, это он, Финти-Монти: прикорнул на неширокой скамье, прикрылся своей убогой шинелькой, а возле него на сундуке полуштоф и оплывшая тусклая свечка.

Что за чудо! Как очутился он здесь, под землею, в этой вони и мерзости? Правда, среди гимназистов был слух, что он, как принято было выражаться тогда, топит свое горе в вине, но я так привык видеть его трезвым и важным в классе, на кафедре во время урока, что гляжу на него и букваль-

но не верю глазам. Вот он приподнимается, медленно и грузно садится, гладит свои длинные, как у Тараса Бульбы, усы, словно раздумывая, спать ли ему дальше или проснуться совсем. И, видимо, решает: спать. И тянет кверху свою худую шинель, чтобы опять укрыться с головой.

— Здравствуйте, Иван Митрофаныч! — говорим мы хором, как в гимназии.

— Здорово, богадельня! — отвечает он сонно и хмуро.

Я порывисто бросаюсь к нему:

— Что мне делать, Иван Митрофаныч? Вы ведь знаете: меня исключили. Неужели не простят, не позволят вернуться? Я, честное слово, исправлюсь! Я...

Иван Митрофаныч молчит.

— Ис-клю-чи-ли? — отчеканивает он по складам. — И меня, брат, тоже ис-клю-чи-ли.

И вдруг хватает меня за кушак и притягивает изо всей силы к себе.

— Куриная ты слепота! — говорит он с ласковым упреком. — Не маленький, пора понимать... Думаешь, тебя прогнали за то, что ты накуролесил с попом или с этим... С Козельским? Вздор и брехня! Не за то тебя турнули, что ты виноват, а за то, что ты черная кость. В этом твоя вина, понимаешь?

В нашем закоулке вдруг, как из-под земли, вырастает «глухонемой» Дракондиди и начинает слишком уж усердно егозить возле нас.

— Ты думаешь, он и вправду глухой? — говорит громким шепотом Муня. — Ого-го! Уши у него не хуже твоих! Шныряет тут весь день между столиками, а завтра побежит и донесет кому следует.

Иван Митрофаныч встает, берет с сундука свою мягкую шляпу, накидывает на плечи крылатку (я подаю ему его суковатую палку, которой я давеча стучал по столу) и направляется к двери.

— Назад! Не сюда! — кричит Муня и ведет нас в какую-то боковую каморку, из которой мы, словно из гнилого колодца, выбираемся под огромное спокойное синее небо, озаренное круглой луной.

Перед нами деревья, кусты, силуэт голубятни, и через минуту мы в глухом переулке, который тоже до самых краев переполнен золотом лунного света и черными тенями невысоких домов.

Глава шестнадцатая

ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ

Мне кажется, я никогда не видал такой огромной луны. Она завладела всем городом, наполнила его светом, как музыкой.

Иван Митрофаныч садится на какую-то тумбу в черной тени возле дома и, снова притянув меня к себе, повторяет свой грустный упрек:

— Ты ведь не маленький, пора понимать!

Потом долго молчит и вдруг спрашивает ни с того ни с сего:

— Ты когда-нибудь слыхал про Топтыгина Третьего?

— Про какого Топтыгина?

— Про покойного, «в бозе почившего»? Вот он и виноват в твоей беде!

«В бозе почившим» называли тогда царя Александра III, того самого, что скончался два года назад.

Помню, едва только в нашей гимназии узнали, что он «в бозе почил», то есть, говоря попросту, умер, Шестиглазый, Прохор Евгеньич и поп стали взапуски расхваливать его и так часто повторяли, колотя себя в грудь, какой он был хороший, мудрый, благородный, что в конце концов мы, детвора, поверили их похвалам и горячо горевали об умершем царе. На портрете, что висел в нашем зале (его рама была обтянута трауром), он изображен таким добряком, что, глядя на него, было невозможно подумать, будто он способен на какие-нибудь злобные каверзы.

А на самом деле, по словам Финти-Монти, это был настоящий солдафон, держиморда... Вместе со своими министрами он состряпал свирепый приказ о так называемых «кухаркиных детях»: чтобы в гимназии ни за что не допускались дети рабочих, мастеровых, кучеров, судомоек, приказчиков, грузчиков, швей.

— Но какая же радость царю, — спрашиваю я с удивлением, — если все мы останемся неучами?

Иван Митрофаныч не успевает ответить — его перебивает Блохин.

— А скажи, пожалуйста, — говорит он насмешливо, — какая же радость царю, если из тебя выйдет студент? Какая

ему будет выгода? Богатые, они не пойдут бунтовать, а которые бедные, да еще из простых, — ого-го!

— Верно, верно! — говорит Финти-Монти и, тяжело опираясь на палку, входит в полосу лунного света.

— Сейчас он будет петь! Вот увидишь! — говорит мне шепотом Муня Блохин. — Уж я его знаю, пфа!

И действительно, Финти-Монти откашливается и запевает сиплым баритоном:

Выдь на Волгу. Чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется...

Но тут же обрывает свое пение и, взяв меня за кушак, начинает втолковывать мне, что я ни в чем, ни в чем не виноват. Кое-что в его словах мне непонятно, но главное я все же улавливаю. Дело, оказывается, вовсе не в том, подучил ли я Козельского закопать в землю дневник. Все это вздор, не имеющий никакого значения. Главное в том, что у мамы моей нет ни такого дома, как у «вдовы полковника Тюнтиной», ни таких бань и трактиров, как у матери Зуева, ни такой лавки, как у братьев Бабенчиковых, ни такого ресторана, как у Сигизмунда Козельского, — у нее нет ничего, кроме рук, стертых до крови от стирки чужого белья.

Оттого-то и решено не допускать меня до университетской скамьи.

— Зачем же ты унижаешься, клянчишь и кланяешься! — говорит Иван Митрофаныч сердито. — Ведь дело простое и ясное: Шестиглазому велено изъять из гимназии полдюжины «кухаркиных детей». Вот он и нацелился вышвырнуть семь человек: тебя, Финкельштейна, Яковенко, Христопуло и тех, из шестого класса. Уж он найдет у вас болячки, будь покоен! Ему приказывают, он и старается...

Мы выходим из переулка и начинаем шагать мимо каких-то магазинов, домов, палисадников. Знакомая Канатная улица кажется под луною поэтичной, загадочной. Ни одного дома невозможно узнать. Словно мы попали на другую планету.

Иван Митрофаныч снова хватает меня за кушак:

— Но недолго этим иродам глумиться над нами!

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси!

Слова Финти-Монти действуют на меня ободряюще. Довольно унижаться и кланяться! Я ни перед кем не виноват! Я так и скажу маме. Я ей все объясню. Это они передо мной виноваты. И перед нею... Да, да!

По дороге я рассказываю об Эммануиле Жуке.

– Правая рука Шестиглазого, – поясняет Иван Митрофаныч. – Работает у него на процентах.

По словам Ивана Митрофаныча, Шестиглазый самый неистовый, самый бесстрашный хабарник и самый знаменитый из всех. Когда в городе хотят выругать какого-нибудь крупного взяточника, говорят: «Он дерет, как Бургмейстер».

Торговля отметками – опять-таки по словам Ивана Митрофаныча – поставлена у него на широкую ногу. У него даже существует определенная такса: за тройку столько-то, за четверку дороже, за пятерку еще дороже. Особенно в последнюю четверть, когда подводятся итоги учебному году.

Иван Митрофаныч обличал его всюду, где мог. Написал о нем для газеты статью, но ее запретила цензура. Написал бумагу в министерство, но там ему сказали: не суйся.

– Н-но скажите, – спрашивает, заикаясь, Тимоша, – за что же министру любить Шестиглазого, если Шестиглазый такой людоед?

Иван Митрофаныч утомленно молчит. Вместо него отвечает Блохин:

– Или ты не видел, как Шестиглазый поет «Боже, царя храни»? Как он крестится и целует иконы? Как хлюпает носом, когда говорит о вдовствующей императрице Марии? А министру только это и нужно! За это он простит и не такие грехи!

Лунное сияние по-прежнему ходит голубыми волнами по улицам. Увлеченный разговором с Финти-Монти, я так и не заметил, как мы приблизились к нашим воротам.

– Прощай! – говорит мне Иван Митрофаныч. – И помни: ты пария, ты плебей, но не раб!

Едва только я вхожу в подворотню, навстречу мне бежит Циндилиндер. Он прыгает, машет руками и кричит, как сумасшедший, на весь двор:

– Пришел! Пришел! Воротился! Живой! И даже не думал тонуть!

И вот уже меня окружают и мама, и Маруся, и Маланка, и

Длинная Лиза, и Циля и шумно радуются моему возвращению.

Мало-помалу я начинаю понимать, что случилось. Вечером, воротившись домой, мама была страшно обеспокоена: куда я пропал? На кухне она увидала записку, в которой Муня приглашает меня к Дракондиди. Что за Дракондиди, ни мама, ни Маруся не знали. Но вскоре пришел Циндилиндер, прочитал записку и помчался на Успенскую улицу (он бывал у Дракондиди не раз). Меня уже там не было, и мама взволновалась еще больше: не утонул ли я в море, как утонули на днях два семинариста, Фюк и Жаров.

Но где же Тимоша? Где Муня Блохин? Я хочу догнать их, сказать им спасибо, но Циндилиндер не пускает меня. Теперь, когда я воротился живой и здоровый, мама раньше всего велит мне хорошенько умыться. Я беру мыло, мочалку, ухожу с Циндилиндером за ближайший сарай, и там он беспощадно окатывает меня холодной водой. Потом мама ставит на стол деревянную миску борща, но я не в силах прикоснуться к еде и, когда чужие уходят, начинаю бессвязно рассказывать маме все, что я таил от нее.

— Ты не знаешь... Даю тебе честное слово... Это не я... Это Тюнтин... Да еще Мелетий... Да царь... Финти-Монти говорит... Ты послушай...

Мама молча глядит на меня с какой-то странной и тихой улыбкой. По всему видно, что она ни о чем не догадывается. Ей и в голову не может прийти, что я обманывал ее и вчера, и сегодня, что те деньги, которые она платила за мое обучение в гимназии, и за тетради, и за книги, и за ранец с мохнатой покрышкой, и за круглый пенал, и за гимназический мундир с такими блестящими пуговицами, — что все эти деньги, добытые тяжелым трудом, пропали без пользы, истрачены зря, все равно что брошены в огонь.

— Мама, я должен сказать тебе... Шестиглазый... вчера... или нет, третьего дня... впрочем, нет, вчера...

Мама продолжает молчать. И вдруг произносит бесстрастно:

— Знаю... Давно уже знаю.

— Знаешь?

Сердце у меня обрывается.

— Со вчерашнего дня. С утра. Вчера утром пришла из гимназии бумага... Рано утром... В субботу... При дяде Фоме.

Значит, напрасно я убегал от нее, напрасно притворялся, будто ничего не случилось! Как раз в то время, когда я сидел в своем классе и прятался за спиной Блохина, она уже знала, что произошла катастрофа. Но ни слова не сказала ни дяде Фоме, ни Марусе. И теперь так спокойно достает из-за припечка аккуратно сложенную большую бумагу и подает ее мне. Бумага плотная, глянцевитая, белая, и на ней написано красивейшим почерком:

Педагогический Совет Пятой Гимназии такого-то города извещает Вас, Милостивая Государыня, что, по постановлению Совета от такого-то числа, сын Ваш такой-то исключен из пятого класса означенной Гимназии за малоуспешность в науках и вредное влияние на учащихся. Благоволите пожаловать такого-то числа в канцелярию Гимназии для получения документов Вашего уволенного сына такого-то.

Примите, Милостивая Государыня, уверения в совершенном почтении и преданности.

Директор А. Бургмейстер.

Эта бумага для мамы и для меня — смертный приговор. А мама (это так странно) спокойна. Не называет меня ни бродягой, ни лодырем, как любит называть меня Маруся. Хоть бы крикнула или заплакала! В ее оцепенении есть что-то пугающее. Я хватаю ее холодные, точно мертвые руки, и повторяю с отчаянием:

— Ну не надо!.. Ну пожалуйста! Ну будь так добра! Финти-Монти объяснил мне сегодня...

И я рассказываю ей все, что говорил мне сейчас под луною на улице Иван Митрофаныч. Потом рассказываю ей о сестрицах Рикке, о Зюзе Козельском, после чего мы оба затихаем и долго сидим на большом кухонном топчане.

Лампочка начинает чадить и мало-помалу гаснет. От этого становится как будто светлее: всю кухню заливает лунный свет.

Мама взволнованным голосом, какого я никогда у нее не слыхал, рассказывает мне о себе, о своей жизни, о моем отце, который покинул ее в Петербурге вскоре после того, как я появился на свет, и наконец умолкает.

Я только теперь замечаю, что все лицо мое мокро от слез. Но мне становится так хорошо, словно в мире никогда

не бывало ни Мелетия, ни Шестиглазого, ни Прошки, ни попечителя Люстиха. Я кладу голову маме на колени и, тихо гладя ее руки, засыпаю.

Глава семнадцатая
ПОНЕДЕЛЬНИК

В понедельник я сплю до полудня и просыпаюсь с таким аппетитом, какого у меня никогда не бывало.

С жадностью набрасываюсь на еду: съедаю и большущий, осыпанный маком калач, и оставшуюся с вечера миску борща, и выпиваю такое количество чаю, что Маруся морщится и произносит брезгливо:

— Ты какой-то ненормальный, ей-богу!

Должно быть, я и в самом деле ненормальный. С тех пор как я понял, что я решительно ни в чем не виноват, что директор со своими «архангелами» взвалил на меня злую напраслину и — главное! — что мне больше не приходится прятаться от мамы и бояться ее, на меня нахлынуло восхитительное чувство свободы и легкости.

Я выбегаю во двор и через две-три минуты поднимаюсь по канату в свой «Вигвам», вскакиваю на ветхий бочонок и достаю из своего тайника, из-за балки, школьную измятую тетрадь, на синей обертке которой написано:

ГИМНАЗИАДА
Героическая поэма
в двенадцати частях с эпилогом.

И на первой странице красными чернилами в затейливой рамке:

Посвящается
Рите Вадзинской

Открываю тетрадь и читаю:

Страховку от дурного балла
Завел на парте Окуджалла,
И пред диктовкой где же тот,
Кто страховаться не пойдет?

А вот о нашем гимназическом «греке», преподававшем нам древнегреческий синтаксис:

И грек вошел, и все мы встали,
Как волоса на голове.

А вот про Зюзю Козельского, подлизу и труса:

Как он умел страдать зубами,
Чуть замечал, что алчный грек
Своими хищными очами
Его терзаниям обрек,
Как шуткам Прошкиным смеялся
(Инспектор Прошкой назывался
И был великим шутником,
Зане еврея звал жидом).

А вот про Шестиглазого, про Финти-Монти, про Зуева... А вот про нашего латиниста Павла Ильича Кавуна...

И тут я вспоминаю, что сегодня от часу до двух у нас... — то есть нет, не у нас, а «у них» — мой любимый латинский урок. Я отдал бы все на свете, чтобы в эту минуте встать перед всем классом у кафедры и прочитать нараспев:

Рэ́гиа со́лис эра́т
Сумбли́мибус а́льта колю́мнис, —

и видеть, как Павел Ильич упивается вместе со мною музыкой каждого древнеримского слова и, зажмурившись, кивает мне в такт. И я впервые понимаю теперь со всей ясностью, что этому уже не бывать никогда, и чувствую такое сиротство, словно я один на земле.

К черту же все, что напоминает гимназию! Долой «Гимназиаду»! На что она мне! Я с яростью рву мою бедную рукопись на мельчайшие части, рву сосредоточенно и долго, чтобы нельзя было прочесть ни единого слова, потом спускаюсь вниз, подбегаю к большому, обмазанному дегтем мусорному ящику, над которым с густым жужжанием носится целое облако мух, и бросаю туда всю эту бумажную рвань.

На душе у меня становится легче, и я бегу задворками домой.

Едва я всхожу на порог, Маруся делает мне знак не шуметь: у мамы с утра мигрень. Она лежит без движения, с потемневшим лицом. Голова ее туго обмотана большим поло-

тенцем, которое Маруся каждые двадцать минут погружает в наполненный уксусом таз.

— Мама была в гимназии. Ходила за *твоими* документами! — говорит она укоризненным шепотом. — Бургмейстер кричал на нее. Да, кричал. И все из-за *тебя*, из-за *тебя*!

Я стою у маминой постели, и сердце мое ноет от тоски. Потом иду на кухню, чтобы не разреветься при маме. Маруся протягивает мне три пятака:

— Я на твоем месте пошла бы сейчас к Гавриленко, купила бы к ужину хлеба и полфунта перловой крупы.

Лавка Гавриленко за углом, на Старо-Портофранковской улице. Беру деньги и уныло бреду к Гавриленко. И нужно же так случиться, что первый, кого я встречаю, еще не дойдя до угла, — Валька Тюнтин! Его сонное лицо с подслеповатыми глазками пышет самодовольством и важностью. В руке у него тяжелая трость, хотя ношение палок, зонтиков, тростей и дубинок строго-настрого запрещено гимназистам. В наших краях Валька бывает почти ежедневно: здесь неподалеку живет его тетка, вдова какого-то московского барина, занимающая целый этаж в доме мадам Шершеневич.

Больше всего на свете мне сейчас не хотелось бы встретиться именно с Валькой. Но он глядит на меня так дружелюбно и так широко улыбается мне, словно узнал обо мне что-то очень хорошее и ему не терпится обрадовать и поздравить меня.

— Здравствуй, — говорит он, торжествуя, — какой ты худой и зеленый! Ну уж и ругал тебя сегодня директор... Он назвал тебя паршивой овцой. Пришел к нам на урок и сказал: «Слава богу, его уже не будет в гимназии!» Так и сказал: «Слава богу! Паршивая овца все стадо портит». Моя мама говорит то же самое: твое место не в гимназии, а в прачечной. Ведь твоей маменьке...

— Ах ты, мурло́! — кричу я, охваченный единственным желанием: исцарапать, избить, искусать эти наглые, смеющиеся щеки.

В его самодовольной ухмылке воплощается для меня все жестокое, злое, что терзает меня вот уже несколько дней. Это придает мне удесятеренные силы, и неожиданно для себя самого я набрасываюсь на ошеломленного Тюнтина, выхватываю его тяжеловесную трость, ломаю ее пополам и швыряю ему прямо в лицо.

Ни раньше, ни потом я не мог бы совершить это чудо: трость была крепкая, словно стальная, и в обыкновенное время я не мог бы не только сломать ее, но даже согнуть.

Я жду, что Валька завопит от обиды и боли, набросится на меня с кулаками, а кулаки у него посильнее моих. Но на его лице вдруг появляется жалкое выражение испуга, и он с каким-то дрянненьким визгом и хрюканьем трусливо убегает в подворотню.

Глава восемнадцатая

Я СТАНОВЛЮСЬ ХУДОЖНИКОМ

Проходит еще несколько дней. Как-то является к нам Циндилиндер и, отведя меня в угол, спрашивает заговорщическим шепотом:

– Хочешь заработать большой капитал? – и лукаво подмигивает и делает такое движение пальцами правой руки, словно перебирает бумажные деньги.

Я испуганно гляжу на него. Уж не втягивает ли он меня в какое-нибудь темное дело? Зачем эти подмигивания, эти странные жесты, этот таинственный шепот? Но нет, ничего зазорного он не собирается мне предложить. Предлагает он, в сущности, хорошую вещь: живописцу вывесок маляру Анаховичу временно нужен подручный – так вот, не хочу ли я взяться за эту работу по двугривенному в день, на хозяйских харчах.

Трудно даже представить себе, с каким упоением бегу я в тот же вечер к Анаховичу! Его фамилию я знаю отлично, так как он не только маляр, но и создатель многочисленных вывесок для табачных магазинов, парикмахерских, трактиров, прачечных заведений и проч. Каждая его вывеска – величиною с хорошую дверь, и на каждой (в правом углу внизу) он всегда выводит крупными печатными буквами: «Художник Л. Анахович». Для табачных магазинов он рисует дородного турка в роскошной малиновой феске. Турок сидит по-турецки на турецком диване и с наслаждением курит турецкий табак из длиннейшего турецкого кальяна, откуда элегантной спиралью вьется тоненькии турецкий дымок. А какими оказываются на вывесках у него парикмахеры! Мо-

лодые, с прелестными усиками, они всегда держат за ушами гребенку и в изящной позе склоняются над своими клиентами, любовно лелея их волосы большими серебристыми ножницами.

Вообще вывески Анаховича и других таких же мастеров-живописцев единственная картинная галерея, доступная жителям нашего города. И еще недавно, когда другой живописец, конкурент Анаховича, Бендель, изготовил для «Северной гостиницы» вывеску, на которой четыре джентльмена с тончайшими талиями играют на изумрудном бильярде, жители сбегались отовсюду поглядеть на это новое произведение искусства, и никого не смущало, что все джентльмены были как две капли воды похожи один на другого и что руки, державшие кий, были у них выворочены в локтях, как на дыбе.

Поэтому нет ничего удивительного, что, выслушав предложение Циндилиндера, я пришел в бурный восторг: я был, уверен, что стоит Анаховичу увидеть меня, он даст мне все свои кисти и краски, и я сейчас же начну малевать таких же великолепных турок в малиновых фесках и таких же близнецов-джентльменов, цепенеющих над изумрудным бильярдом.

Но Анахович (маленький человечек с кислыми, равнодушными глазками) смотрит на меня апатично и говорит таким голосом, словно ничего хорошего не ждет от меня:

– Вот там в углу стоит шпатель. И чтоб завтра с утра вы уже были на крыше...

И называет адрес: Садовая, восемь.

Что за шпатель? Какая крыша?

Оказалось, шпателем называется длинная палка с острым скребком на конце. Перед тем как окрасить крышу, с нее чисто-начисто соскребаются шпателем и ржавчина, и прошлогодняя краска.

– А кисти?

– А кисти, молодой человек, через год, через два...

С этой минуты я делаюсь шпательщиком.

Шпательщик – это вовсе не то, что шпаклевщик. Он исполняет самую простую работу, для которой не требуется особых умений. Взберешься с самого утра по «дробинке» на заржавленную, закопченную, заскорузлую крышу, на которой кое-где сохраняются побуревшие островки старой краски, снимешь куртку, рубаху, ботинки, обмотаешь ноги тря-

пьем и начнешь при помощи шпателя превращать всю эту запачканную, безобразно корявую площадь в чистую, без единой пылинки, после чего сюда могут прийти маляры, хорошо зашпаклевать эту крышу и сделать ее пунцовой, зеленой или даже огненно-желтой, так что дом помолодеет надолго и станет украшением всей улицы.

Шпаклевать я тоже умею недурно: затирать и замазывать особою смесью все царапины, щели и выбоины, чтобы крыша стала ровной, как зеркало, — этому искусству я научился на взморье, когда мне случалось помогать рыбаку Симмелиди красить его челноки и шаланды. Но Анахович не доверяет мне этой работы, и я вполне доволен своим шпателем.

С утра прохладно, веет морской ветерок, работается легко и приятно, но часам к двенадцати весеннее южное солнце сильно накаляет мою крышу, и я сажусь у трубы отдохнуть.

Почти всегда в это время по «дробинке»[1] на крышу взбирается сын Анаховича, Борис Леопольдович, надсмотрщик над всеми работами, на которые его отец взял подряд. Он очень похож на отца: такого же маленького роста, апатичный и вялый. Постояв у трубы минут пять неизвестно зачем, он достает из принесенной им с собою корзины пучок чесноку или луку, краюху хлеба и бутылку кисловатого кваса. Это и называется у Анаховича «на хозяйских харчах». Рыбаки научили меня, как нужно пить из бутылки: не прикасаясь к горлышку верхней губой.

Около получаса я сижу у трубы и блаженствую. Потом принимаюсь за свой шпатель опять, а потом беру принесенную с собою метлу и сметаю в одну кучу всю дрянь, которую удается мне соскрести с моей крыши. И радуюсь, когда этой дряни оказывается особенно много: значит, поработал недаром!

Да, в моей работе есть немало такого, что по-настоящему нравится мне: из недели в неделю проводить свои дни под открытым небом, на такой высоте; сверху глядеть на тот мир, где копошатся Тюнтины, Барбосы и Прошки; видеть добрый результат своих трудов; знать, что в субботу принесешь домой заработанный рубль, — все это вызывает во мне живейшую радость.

[1] Дробина — приставная лесенка.

Но вначале, на первых порах, когда я, весь измаранный, после работы шагал по тем самым улицам, которые еще так недавно видели меня гимназистом с серебряным гербом на фуражке, я испытывал непреодолимый конфуз. Чтобы не показать никому, что я чувствую себя отщепенцем, я нарочно напускал на себя гордое презрение к насмешливым взорам, которые бросали на меня окружающие. Это была пустая бравада, потому что в душе я испытывал боль.

Но мало-помалу я свыкся со своим положением. Теперь я совершенно равнодушен к тому, что стоящая на балконе матам Шершеневич, завидев меня, отворачивается, будто нюхает цветы или гладит болонку, и уже не кричит мне, как прежде:

«Здравствуйте! Что вы так согнулись? Вам же не семьдесят лет!»

Впрочем, стоит мне взглянуть как-нибудь ненароком на маму, когда она стирает или шьет, и меня с новой силой охватывает горькое чувство: мне становится жалко и ее, и себя. Мама по-прежнему не говорит мне ни слова о постигшей меня катастрофе и даже как будто довольна, что я сразу же взялся за работу. Но она так осунулась и похудела, что мне страшно хочется утешить ее. И мне приходит в голову один восхитительный план, который я и сообщаю ей — тайком от Маруси — как величайшее мое изобретение. План очень простой и естественный, но выполнить его не так-то легко.

— Мамочка, я сделаю все... Вот увидишь!

Мама недоверчиво глядит на меня, и тут происходит событие, какого я никогда не забуду: вдруг она притягивает к себе мою голову и крепко целует меня в щеки, в шею, в подбородок, в глаза.

В нашей семье этого обычая не было. Сколько я помню себя, мама никогда не целовала ни меня, ни Марусю. С нами она была неизменно добра, но сурова. Может быть, поэтому ее внезапная ласка так потрясает меня. Я вскакиваю и говорю убежденно:

— Завтра же начну... Вот увидишь!

Издали доносятся тоскливые звуки: заиграл на трубе Симоненко. Но теперь в этих звуках мне слышится что-то веселое, какое-то обещание, призыв.

Глава девятнадцатая

Я ПРОДОЛЖАЮ УЧИТЬСЯ

С некоторого времени у меня появилось новое и очень важное занятие, которое сделало мою тогдашнюю жизнь гораздо интереснее, чем прежде.

Взобравшись с утра на крышу, я раньше всего достаю кусок мела и пишу на ней крупными иностранными буквами:

I look. My book. I look at my book.[1]

И так далее — строчек тридцать или сорок подряд. А потом долго шагаю над этими тарабарскими строчками, пытаясь затвердить их наизусть. Так перед началом работы я изучаю английский язык. Специально для этого я купил за четвертак на толкучке «Самоучитель английского языка», составленный профессором Мейендорфом, — пухлую растрепанную книгу, из которой (как потом оказалось) было вырвано около десятка страниц.

Этот Мейендорф был, очевидно, большим чудаком. Потому что он то и дело обращался к читателям с такими несуразными вопросами:

«Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери?»

«Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?»

И все же я готов был исписывать каждую крышу, на которой мне приходилось работать, ответами на эти дикие вопросы профессора, так как в своем предисловии к книге он уверял самым категорическим образом, что всякий, кто с надлежащим вниманием отнесется к его канарейкам и теткам, в совершенстве овладеет английской речью и будет изъясняться на языке Джорджа Байрона, как уроженец Ливерпуля или Дувра.

Я всем сердцем поверил ему и по его указке ежедневно писал на железных страницах такую несусветную чушь:

«Видит ли этот слепой незнакомец синее дерево глухонемого певца, на котором сидит, улыбаясь, голубая корова?»

И, хотя было невозможно понять, сидит ли эта странная корова на ветках этого синего дерева или она взгромозди-

---

[1] Я гляжу. Моя книга. Я гляжу на мою книгу *(англ.)*.

лась на слабые плечи певца, все же при помощи такого сумбура в мое сознание прочно внедрились самые первоосновы английской грамматики.

Словно о высшем блаженстве, мечтал я о том сладостном времени, когда и Шекспир, и Вальтер Скотт, и мой обожаемый Диккенс будут мне доступны, как, скажем, Толстой или Гоголь. Никогда не забуду того сумасшедшего счастья, когда, раздобыв у Людвига Мейера (он же Спиноза) книжку гениального американского писателя Эдгара По, я нашел там стихотворение «Аннабель Ли» и обнаружил, что понимаю в нем чуть не каждое слово. Я сразу решил, что Аннабель Ли — это Рита Вадзинская, и громко декламировал его во время работы, даже не подозревая о том, что, если бы мою декламацию чудом услышал какой-нибудь настоящий британец, он ни за что не догадался бы, что слышит английскую речь. Ибо профессор Мейендорф не научил меня (да и не мог научить), как произносятся английские слова, и я коверкал их наивнейшим образом.

Занимался я в ту пору не только английским.

Раздобыв на толкучке кое-какие учебники и программу шестого класса, я стал по вечерам заниматься алгеброй, латынью, историей, и, странное дело, оказалось, что гимназический курс удивительно легкий, когда изучаешь его без учителей и наставников, не в стенах гимназии, а в «Вигваме».

Нередко приходил ко мне Тимоша, и мы занимались вдвоем.

Мои занятия обрадовали маму, как великий сюрприз. Целый месяц (после того, как исключили меня из гимназии) она была уверена, что с моим образованием покончено и что в лучшем случае мне суждено сделаться жалким приказчиком в какой-нибудь жалкой лавчонке. И вот она малопомалу увидела, что заветнейшая мечта ее жизни, мечта, которую она считала разрушенной, осуществляется несмотря ни на что.

Словно к какой-то музыке, прислушивалась она к нашим занятиям с Тимошей. Количество синих баклажан, вареников с вишнями, дынь и «монастырских» арбузов, которыми она угощала Тимошу, не поддается никакому подсчету. Снова она стала вполголоса петь свои чудесные песни, склоняясь над лоханью или поливая цветы, снова стала смеяться

до слез над «Мертвыми душами» и «Паном Халявским». Видя, что на сердце у нее посветлело, я еще пуще старался вникать в «Физику» Краевича и «Латинскую грамматику» Кюнера.

Даже Симоненко стал относиться ко мне благосклоннее.

Как-то в воскресенье я увидел, что он красит ограду своего палисадника. Я сбегал домой за кистями и помог ему в этой веселой работе. Очень скоро весь его забор стал малиновый. В порыве благодарности добродушный усач стал совать мне в руку серебряный рубль. Я не взял. Тогда он окончательно растрогался и спросил у меня, не хочется ли мне поступить в полицейский участок помощником писаря.

— Место хорошее, сытное.

Писаря, служившие в полиции, были сплошное жулье и, так как драли с просителей за всякую малость, в самом деле не знали нужды: катались на извозчиках, носили шикарные галстуки, курили сигары и пьянствовали.

У него у самого, у Симоненко, была прибыльная и очень легкая служба. Каждое утро он напяливал на себя полицейский засаленный китель и шел на базарную площадь проверять, не обманывают ли торговцы своих покупателей, не всучивают ли им несвежие овощи и тухлую рыбу? Правильные ли у торговцев весы? Не нужно ли составить протокол о мяснике Лукине, продающем червивое мясо, или о кваснике Чумакове, торгующем беспатентным вином?

Казалось бы, торговцы должны были бояться его и трепетать при его появлении. На самом же деле они приветствовали его как лучшего друга.

С таким светлым лицом проходил он мимо их ларьков и товаров, словно лишь затем и явился сюда, чтобы поздравить их с хорошей погодой.

Весело накладывали они в большую корзину, которую несла за ним его дюжая работница Марья, и рыбу, и сало, и кульки со всевозможной крупой, и маслины, и ветчину, и орехи, и самые отборные фрукты и не требовали с него ни копейки.

И все это оттого, что по своей «доброте» Симоненко охотно предоставлял им возможность спускать покупателям всякую заваль и гниль. Никогда не проверял их фальшивых

весов и не штрафовал за «антисанитарное состояние» их лавок.

Это делалось явно, у всех на глазах. И все же... Как ни напрягаю я память, я не могу вспомнить ни единого случая, чтобы кто-нибудь назвал Симоненко бесчестным хапугой, взяточником. Напротив, все в один голос говорили о нем, что он неплохой человек, и все в нашем доме (кроме Маруси и мамы) относились к нему с уважением, завидовали ему и хвалили его. Если кому из соседок были нужны на короткое время утюги, или ступка, или сито, или кофейная мельница, они шли к Симоненко, и он никогда не отказывал им.

Любил подавать милостыню монахам и нищим.

Целовал ручки у мадам Шершеневич.

Усердно молился по праздникам в Касперовской церкви сестер милосердия (у нас за углом на Старо-Портофранковской улице).

И я хорошо помню ту круглую большую мармеладку, которую он подарил мне однажды, когда мне было лет шесть или семь. Я стоял во дворе и ревел: меня обидели какие-то мальчишки, а он вышел из своего палисадника, взял меня на руки и сунул мне в рот мармеладку. Она пахла табаком и селедкой, но мгновенно осушила мои слезы.

Полицейские в нашем городе были такие живодеры, драчуны, грубияны, что добродушный «хабарник» Семен Симоненко казался среди них чуть не праведником.

Глава двадцатая
«АНТИПАТ»

Между тем дела мои становились все хуже. Работы у Анаховича все меньше. Малярный сезон кончился.

Тот же Анахович устроил меня в артель по расклейке афиш. В артели работали десятки быстроногих мальчишек, причем каждого посылали в определенный район. Мне досталась дальняя окраина. Я стал бегать по переулкам и улицам с ведром клейстера и малярною кистью, изнемогая под тяжестью разноцветных афиш, которые надлежало возможно скорее расклеить на стенах, на заборах и на специальных колонках, торчавших чуть ли не на каждом углу.

Афиши были такие:

ПРИЕХАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ЗЕБЕКЕ!

УХ, КАК ХОРОШО В БАССЕЙНЕ ИСАКОВИЧА!

КАПИТАН ДЕ ВЕТРИО!!! ***Человек со стальным желудком!*** ***Глотает разбитые бутылки и рюмки!!!*** ***А также лягушек и змей!!!***

Чревовещатель **ПАНТЕЛЕЙМОН ВАНЮХИН** **Со своими говорящими куклами**

Уточкин! Уточкин! Уточкин!!!

Эта работа оказалась мне не под силу. Ее сподручнее делать вдвоем — одному и неудобно и тяжко.

Через неделю я бросил ее и по рекомендации усача Симоненко стал давать уроки пожилому военному писарю, которому нужно было усвоить программу четвертого класса гимназии, чтобы получить повышение по службе. Писарь был робкий, обходительный, скромный, но оказался большим скупердяем: так и не доплатил мне двух с половиной рублей. У него была странная фамилия: Головатюк.

Попалась мне и другая работа: каждый вечер от семи до одиннадцати читать одной престарелой полковнице Евдокии Георгиевне длиннющие романы из журналов «Родина» и «Нива», причем после первой же страницы Евдокия Георгиевна засыпала и мирно храпела все время, покуда продолжалось мое чтение. Когда же оно подходило к концу, старуха встряхивалась и, делая вид, что не спала ни секунды, горячо восхваляла прочитанное. И за каждый визит платила мне серебряный полтинник.

Эту работу подыскала мне Лека Курындина через одну из своих школьных подруг. По-прежнему Лека относилась ко мне с материнской заботливостью: раздобыла для меня с полдесятка учебников, которые были нужны мне, как хлеб, а на

пасху подарила мне английский словарик. А сколько холодных котлет приносила она мне в библиотеку-читальню, куда я забегал по воскресеньям после занятий с Тимошей и Муней!

— Опять почему-то мне дали котлеты. Терпеть не могу котлет, — говорила она, морща нос и делая смешную гримасу. — Скушай, пожалуйста, а то придется выбросить!

Котлеты были жесткие, сухие, с примесью едкого перца, но я съедал их с большим удовольствием — нужно же было выручить бедную Леку, и, кроме того, аппетит у меня в ту пору дошел до обжорства, должно быть, потому, что в последние месяцы я рос с необычайной быстротой. Гимназическая моя куртка (из материи «маренго») стала как-то сразу тесна и узка. К счастью, в конце лета я мог наконец сбросить с себя эту куртку и купить в магазине Ландесмана отличный шевиотовый костюм на скопленные пятнадцать рублей.

Я забыл сказать, что еще в те времена, когда я работал на крыше, я, как-то возвращаясь домой, увидел издали Риту Вадзинскую.

Сразу меня как кипятком окатил тот восторг, который всякий раз налетал на меня, когда она возникала предо мною на улице,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Теперь она стояла с подругой у кадки мороженщика. Тот только что снял с головы эту тяжелую кадку, обмотанную белым грязноватым холстом, и стал добывать из ее глубины холодные золотистые шарики «сливочного». Проходя мимо Риты, я от прилива любви и застенчивости сгорбился еще сильнее, чем всегда. И вдруг случилась страшная вещь: не прошел я и двух шагов, как Рита громко засмеялась и сказала мне вслед:

— Боже, какой *антипат*!

А ее подруга проговорила насмешливо:

— Был гимназистом, а стал трубочистом!

Эти слова ошеломили меня. Я не поверил ушам. Я готов был заплакать от горя. И не только потому, что Рита оскорбила меня, а и потому, главным образом, что она оказалась такая пошлая, дрянная девчонка!

«Антипат»! Существует ли на свете более безобразное, более вульгарное слово! И эту-то кривляку я принял за Аннабель Ли! Ей я посвятил мою «Гимназиаду»!

Зачем не мог я прежде видеть?
Ее не стоило любить,
Ее не стоит ненавидеть,
О ней не стоит говорить!

Впрочем, не успел я повернуть на свою улицу, как мое горе уже совершенно рассеялось и сменилось необузданной радостью.

Словно я вырвался из каких-то сетей, опутывавших меня по рукам и ногам.

Особенно же я был рад потому, что теперь наконец-то мне открылась возможность влюбиться в милую Леку Курындину, которая, я уверен, никогда, ни при каких обстоятельствах, не могла ввести в свою речь такое мерзкое слово, как «антипат»!

В звуках трубы усача Симоненко мне в этот вечер послышалось столько праздничного веселья и радости, что я чуть не затанцевал на железном листе, прикрывающем нашу помойку.

Глава двадцать первая
ВСЕ РАЗЛЕТАЕТСЯ ВДРЕБЕЗГИ!

Пожалуйста, не думайте, что с этой минуты все в моей жизни пошло благополучно и гладко.

Ничуть не бывало. Через год у меня появился злейший, коварнейший враг, который чуть было не разрушил все мои планы и замыслы.

Этим врагом был я сам.

Правда, на первых порах я учился усердно: всю премудрость шестого класса одолел настойчивым трудом. Но через год, когда мне предстояло с таким же упорством овладеть программой семиклассников, на меня вдруг напала непреодолимая лень. Словно дьявол вселился в меня.

Я забросил учебники, разошелся с Тимошей и, хотя хорошо сознавал, что каждый день моей праздности ведет меня к верной гибели, ничего не мог поделать с собою и в конце концов стал отъявленным лодырем.

То была самая постыдная полоса моей жизни.

Началась она очень невинно — с горячего увлечения Уточкиным.

Уточкин в то время еще не был прославленным летчиком, да и самолетов тогда еще не было.

Молодой, по-молодому веселый, он тогда лишь начинал свою карьеру как чемпион велосипедного спорта, и не существовало на свете такого гонщика — ни иностранца, ни русского, — который мог бы хоть раз обогнать его на нашем городском циклодроме.

Если бы мне в ту пору сказали, что в мировой истории были герои, более достойные поклонения и славы, я счел бы это клеветою на Уточкина. Целыми часами просиживал я вместе с другими мальчишками под палящим солнцем верхом на высоком заборе, окружавшем тогда циклодром, чтобы в конце концов своими глазами увидеть, как Уточкин на какой-нибудь тридцатой версте вдруг пригнется к рулю и вырвется вихрем вперед, оставляя далеко позади одного за другим всех своих злополучных соперников — и Богомазова, и Шапошникова, и Луи Першерона, и Фридриха Блитца, и Захара Копейкина — под неистовые крики толпы, которая радовалась его победе, как собственной.

— Уточкин! Уточкин! Уточкин! — кричал я в исступлении вместе с толпой, чуть не падая с забора вверх тормашками.

Товарищи мои — Муня Блохин, Лобода, Бондарчук — тоже любили Уточкина и тоже посещали циклодром. Но их увлечение никогда не доходило до страсти, я же отдал Уточкину всю свою пылкую душу: не пропускал ни одного из его состязаний с румынскими, бельгийскими, итальянскими гонщиками и был беспредельно счастлив, когда однажды увидел его в гастрономическом магазине «Братьев В. И. и М. И. Сарафановых», в котором он, как обыкновеннейший смертный, покупал сосиски и вино.

Заметив мой восторженный взгляд, он лениво протянул ко мне руку, взъерошил мне волосы своими рыжими короткими пальцами. Для меня это было великим событием, которым я гордился перед всеми мальчишками. И как они завидовали мне!

Добро бы у меня не было других увлечений! Но нет: с такой же сумасшедшей, бессмысленной страстью я стал увлекаться бумажными змеями.

Вновь меня захватила мечта: создать такой замечательный змей, который мог бы схватиться со змеем Печенкина и победить его в воздушном бою.

Для этого мною (с великими трудностями!) была добыта чудесная бечевка, которая называлась у нас «английский шпагат», и огромный лист светло-синей чертежной бумаги. Все эти сокровища я снес к Леньке Алигераки, с которым и решил соорудить сверхмощный, боевой гигант.

– Это будет змеюга, уй-юй-юй! Мы так и назовем его: «Смерть печенкинцам!»

С этого времени и начинается моя измена маме, Марусе, самому себе. Каждое утро, вместо того чтобы засесть за учебники, я прихожу к Леньке в заброшенный старый сарай. Там, насупив свой крохотный лобик, Ленька, маленький, невероятно длинноносый мальчишка с черными маслянистыми глазками, сидит на полу среди кучи всякого тряпья, весь поглощенный изготовлением змея. Увидев меня, он всякий раз говорит:

– Хорошо, что ты пришел подсоблять!

Но моя помощь ему совсем не нужна. Я необходим ему лишь как почтительный зритель, перед которым он может красоваться и важничать. Мастерит ли он бамбуковую раму для змея, мерит ли камышинкою змеиную «путу», завязывает ли узлы на хвосте, он жаждет одобрений и похвал. А если я забываю его похвалить, он сам принимается восхищаться собою:

«Глазомер у меня – прямо циркуль!»

«Клейстер я сварил – хоть железо приклеивай!»

Через три-четыре дня змей готов – огромный змеюга, величиною с теленка. Охрой и суриком я малюю на нем пучеглазую рожу, под которой подписываю большущими печатными буквами:

«СМЕРТЬ ПЕЧЕНКИНЦАМ!»

Потом мы перематываем восьмерками весь английский шпагат на длинную дубовую чурку, прячем змея за яслями под воловьим навесом и ждем хорошего ветра, чтобы змей поднялся в небеса и там схватился со змеем Печенкина.

Но целую неделю стоит штиль. Наконец в воскресенье к полудню белье, висящее во дворе на веревке, начинает шевелиться и дергаться и вдруг, как по команде, вздымается вверх. По небу с моря бегут облака. Ветер, ветер, – и с каждой минутой сильней. По улицам носится пыль, засоряя прохожим глаза. Девочки, выходя за ворота, визжат и прижимают свои юбки к коленкам. Пора! Я взбираюсь со змеем на крышу и держу его двумя руками за края. Ленька внизу

подо мною долго стоит неподвижно и вдруг кричит мне отчаянным голосом: «Хоп!», бросает на землю пузатый моток и, пропуская нитку через левый кулак, бежит что есть духу по длинному двору к воротам.

Змей, хлестнув меня хвостом по лицу, медленно взлетает над домами, а там его подхватывают веселые вихри и дружно несут в высоту.

Я прыгаю с сарая во двор и, возбужденный, счастливый, перехватываю у Леньки конец бечевы:

— Уй-юй-юй, как тянет!

Кажется, что и змей так же счастлив, как мы: весело помахивая длинным хвостом, он не егозит, не суетится, не ерзает по небу, но гордо и спокойно парит в вышине.

Я выпускаю еще двадцать или тридцать аршин бечевы, он легко взмывает еще выше, весь позолоченный солнцем, и теперь уже всякому видно — из далеких и близких кварталов, — какой он силач и красавец!

Отовсюду сбежались мальчишки, и каждый просит, чтобы ему «на секундочку» дали подержать бечеву. Мне очень хочется порадовать их, но Ленька рявкает на них страшным голосом, и они в испуге умолкают.

А что же Печенкин? Конечно, он понял, что тягаться с нашим гигантом ему не под силу, и, не желая позорить себя, держит свой змей на земле, где-нибудь в темном подвале. Воображаю, как он злится и бесится вместе со своими печенкинцами и как все они завидуют нам!

Так проходит час. Мы блаженствуем. И вдруг из-за невысоких конюшен соседнего дома как-то робко и даже застенчиво выплывает в небо печенкинский змей! Каким он кажется неказистым и маленьким! На что он годится, этот жалкий малыш? Ведь бечева у нас в тысячу раз крепче печенкинской, и пусть он только попробует завязать с нами бой — тут ему и будет капут!

Мы заранее торжествуем победу и громко кричим «ура», когда плюгавый печенкинский змей пытается приблизиться к нашему.

Но тут происходит невероятная вещь: наш гордый, могучий, спокойный гигант начинает суетиться, метаться и, вдруг прочертив в небе огромный зигзаг, падает с высоты как подстреленный куда-то на далекие улицы, на далекие деревья или крыши, и в руках у нас остается ненужная, слабая нить.

Ленька дико взвизгивает и в отчаянии садится на землю.

— Негодяй! — кричу я ему, задыхаясь от ярости. — Это ты, это ты, это ты виноват!

И набрасываюсь на него с кулаками.

Мы барахтаемся в пыли и грязи. Он извивается, кусает мне руки, вонзается ногтями в мое ухо и дико ревет, а из-за невысокой стены слышно, как на соседнем дворе гогочут от восторга печенкинцы.

В этой катастрофе и правда виноват один Ленька.

Самонадеянный, самодовольный бахвал, он уверил меня, что тот хвост, который он смастерил для змеюги, — чудесный, замечательный хвост, так как он, Ленька, собственноручно изготовил его из пестрых лоскутков и тесемок, крепко-накрепко связав их между собою узлами. Узлы-то были крепкие, да лоскутки и тесемки — гнилые. Попадалось среди них и мочало, совсем уж непригодное для такого большого змеюги.

Об этом я сказал ему раньше, но он только сплюнул презрительно. Вообще он был такого высокого мнения о себе, о своем мастерстве, что мало-помалу и я уверовал в его непогрешимость. Всегда как-то веришь самоуверенным людям — по крайней мере, со мною это бывало всегда.

Но злодей Печенкин был умнее. Поняв, что нитку нашего змеюги ему никогда не порвать, он зашел, так сказать, с тыла и одним сильным рывком без особого труда отодрал у воздушного щеголя его пышный, но хилый хвост. А змей без хвоста — словно камень: ни на миг не удержится в небе.

Чтобы спасти хотя бы часть бечевы, нам нужно было, чуть только произошла катастрофа, собрать во дворе уцелевшую нить и тотчас же сломя голову бежать из ворот в те переулки и улицы, близ которых свалился змей. Вместо этого мы с Ленькой в припадке бессмысленной злобы долго тузили друг друга, барахтаясь на грязной земле, к великому удовольствию быстроногих печенкинцев, которые, ни минуты не мешкая, побежали гурьбой в те места, где протянулась драгоценная нить, и мигом расхватали ее по клочкам.

Весь в синяках, с подбитым глазом, в изодранной куртке, взъерошенный, несчастный и жалкий, приплелся я в тот вечер домой. И до чего мне было стыдно садиться вместе с мамой за стол, есть ее кашу, ее брынзу, ее борщ, ее хлеб! С каким негодованием смотрела на меня в тот вечер Маруся, и

какую я провел ужасную бессонную ночь! По ночам я с особенной ясностью видел все постыдное безрассудство своего поведения, столько раз называл себя дармоедом и трутнем, злостным растратчиком своих лучших годов, столько раз давал себе слово исправиться, воротиться к труду и к учению, но наступало утро, и меня снова тянуло на улицу, либо в гавань к пароходам и парусникам, либо на велосипедные гонки, либо на пожар, либо на бой петухов, либо просто гонять голубей усача Симоненко, лишь бы не прикасаться к учебникам, которых я избегал как огня.

Мама за все это время ни разу не бросила на меня сердитого взгляда, но стоило мне появиться в дверях, как веки и брови у нее начинали дрожать, а румяные губы сжимались.

Однажды, проходя по Новорыбной, я увидел попа Мелетия. Он казался таким добрым и красивым и так ласково отвечал на поклоны прохожих! Но я шарахнулся от него, как от буйвола. Я не мог допустить, чтобы он, погубивший меня, мог злорадствовать, увидев, каким я сделался одичалым и жалким.

Разгильдяйство мое продолжалось месяца три, даже больше, и за это время я раз навсегда всем своим сердцем почувствовал, какая смертельная скука с утра до ночи искать развлечений; я увидел, что быть шалопаем — это мучительный труд, что безделье не только позор, но и боль.

Впрочем, этой боли я никому не показывал, а, напротив, щеголял перед всеми своей бесшабашной разнузданностью. Мне и сейчас горько вспомнить, с каким ужасом взглянула на меня Лека Курындина, когда в ответ на все ее упреки и жалобы я, неожиданно для себя самого, произнес хулиганскую брань, которой устыдился в тот же миг. Жильцы в нашем доме стали сторониться меня, а стряпуха биндюжников Мотя, встречая меня, приговаривала:

— От как худо дитю без батька! Был бы у тебя в доме папаша, не вышла бы из тебя шантрапа.

В июле я окончательно отбился от дома и не видел ни Маруси, ни мамы. Маме ни с того ни с сего я наговорил омерзительных грубостей, о которых мне и теперь очень совестно вспомнить, и в порыве какой-то бессмысленной злобы заявил, что ухожу навсегда. Нечесаный, без фуражки, в рыжих и рваных ботинках, очень худой и голодный,

я слонялся без всякого дела по раскаленному пыльному городу

Единственной моей компанией стали печенкинцы. По целым часам я ловил с ними рыбу, охотился за тарантулами, играл до одурения в орлянку и, если выигрывал две-три копейки, покупал себе хлеба и квасу.

Еще хорошо, что на Большой Арнаутской в глубоком подвале жила со своим мужем рябая Маланка — та самая, что помогала моей маме возиться с бельем. Когда меня слишком уж мутило от голода, я спускался к Маланке по крутым, осклизлым и кособоким ступенькам, и она кормила меня то помидорами, то мамалыгой, то рыбой. Позже я узнал от нее, что всю эту еду и мои любимые вареники с вишнями — ей тайком давала для меня моя мама.

Спать я уходил на берег моря. Там в большой шаланде старого рыбака Симмелиди можно было отлично устроиться на ночь. Но вскоре о шаланде проведали и другие мальчишки, такие же бездомные, как я. Они забирались туда еще с вечера и, едва только я появлялся, швыряли в меня камнями и комьями глины. (Их было трое, и они были старше меня.) Приходилось ложиться на голый песок, который к утру становился невыносимо холодным.

Не знаю, что стало бы со мной, если бы эта праздная, нелепая и горькая жизнь затянулась до зимних морозов. Должно быть, я стал бы бродягой и умер бы где-нибудь под снегом в степи.

Глава двадцать вторая
ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА

Спасла меня, как это ни странно, инфлюэнца — тяжелая болезнь, которая теперь чаще называется: грипп.

Эпидемия инфлюэнцы в то время нагрянула на наш город впервые. Тогда эту болезнь не умели лечить, и многие от нее умирали.

Заболел инфлюэнцей и бедный Тимоша. Он долго провалялся в постели и сильно отстал от класса.

Попечитель учебного округа фон Люстих, в виде особой милости, разрешил ему держать экзамены осенью.

Ничего этого я не знал, так как уже несколько месяцев не встречался ни с одним из своих школьных товарищей. Но вот Тимошина сестра, «разноцветная» Лиза, увидела меня как-то в гавани на Новом молу, где я вместе с одним из печенкинцев ловил себе на ужин бычков. Она вихрем налетела на меня и потребовала, чтобы я сию же минуту отправился вместе с нею к Тимоше, потому что он болен, скучает и давно уже хочет повидаться со мной.

Я сказал ей с наигранной грубостью, что знать не хочу никакого Тимошу. И все же на следующий день рано утром меня так потянуло к нему, что, кое-как почистив свою обувь и пригладив непослушные космы, я поплелся по знакомой дороге к дому-кораблю.

Вот и море, спокойное, бледно-сиреневое, словно оно вылиняло на солнце. Вот и несносные чайки, которые надоедливо кружатся над ним. Вот и узкая корабельная лестница, вот и балкон, а на балконе под тентом — Тимоша, похудевший и слабый: щеки стали серые, а уши торчат, как еще никогда не торчали. Он сидит среди книг и тетрадей, и тут же аптечные склянки с лиловыми и желтыми рецептами.

Увидев меня, он до того взволновался, что не может выговорить ни единого слова.

Я сижу нахохлившись и тоже молчу.

Наконец он заговаривает почему-то о чайках: какие они противные, жадные.

Заикается он еще сильнее, чем прежде, и я вижу, что ему очень стыдно и своей слабости, и своего заикания. Это доставляет мне радость: я ведь думал, что он будет смотреть на меня свысока, с той оскорбительной жалостью, с которой смотрят на меня все окружающие, а он, оказывается, даже завидует мне и сам нуждается в том, чтобы его пожалели.

Едва только я чувствую это, мне и в самом деле становится жалко его, и, когда он показывает мне задачу по алгебре, которую ему не удается решить, я, чтобы щегольнуть перед ним, напрягаю все силы ума и, к немалому своему изумлению, безошибочно решаю ее. Он показывает вторую задачу, каверзную задачу о двух поездах. Мы долго бьемся над нею вдвоем, и в конце концов я победоносно решаю ее.

Потом мы сделали перевод из «Энеиды» Вергилия, и как-то так само собою вышло, что, уйдя от Тимоши, я не пошел ни к печенкинцам, ни на циклодром, ни на похороны

генерала Подушкина, а тихонько взобрался на чердак и вытащил из-под сена учебники, провалявшиеся так долго в «Вигваме».

Самой нежной и радостной была моя встреча с «Английским самоучителем» профессора Мейендорфа. Я готов был расцеловать эту книгу и почувствовал себя безмерно счастливым, когда вновь на ее страницах предо мной замелькали немые певцы да одноглазые тетки, покупающие в пекарнях канареек и буйволов. Я по сей день благодарен этому чудаку Мейендорфу: если бы не его сумасбродный учебник, я никогда не мог бы читать в подлинниках ни Шекспира, ни Вильяма Блэйка, ни Кольриджа, ни Шелли, ни других величайших английских поэтов, которых полюбил на всю жизнь.

На следующее утро я, после долгих колебаний, с мучительным чувством стыда, вошел наконец — виноватый и робкий — в прихожую нашей квартиры, откуда так позорно бежал. Мама стояла и гладила. Я был почему-то уверен, что она встретит меня градом упреков и что мне придется плакать перед нею и каяться. Но она взглянула на меня со своей обычной спокойной приветливостью, словно я и не уходил никуда, и сказала самым обыкновенным, но чуть дрогнувшим голосом:

— Борщ — в духовке, а бублики — на столе под салфеткой.

Зато Маруся, сидевшая тут же за книгой, смерила меня уничтожающим взглядом и, видимо, хотела сказать что-то очень язвительное. Но сдержалась и сказала беззлобно:

— Я на твоем месте пошла б и постриглась.

И снова уткнулась в книгу.

С этого дня я опять принялся за работу. Каждое утро, сунув за пазуху заготовленный с вечера большущий бутерброд с колбасой или салом (который я съедал на ходу), я спускался по знакомому откосу к Тимоше — одолевать вместе с ним физику, латынь, древнегреческий. Так как мы с Тимошей еще раньше отлично спелись в совместных трудах над учебниками, дело у нас быстро наладилось, и вскоре у меня возродилась надежда, что я непременно сдержу свою клятву, данную маме в ту лунную ночь. И, когда я возвращался к себе на чердак, я чувствовал, что никакие соблазны уже не собьют меня с прямого пути.

Бесовское наваждение кончилось, и теперь уж никогда в жизни я не поддамся ему.

Глава двадцать третья

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

В те печальные месяцы, когда, отбившись от дома, я стал вести бессмысленную уличную жизнь бездельника, я почти ничего не читал. Теперь я с жадностью набросился на чтение и стал глотать в необъятном количестве книги и книжки, какие только мне удавалось добыть. Прочитал всего Диккенса, Смайльса, Спенсера, Бокля. Прочитал Лескова и Тургенева. Особенно взбудоражили меня сочинения Писарева, которые дал мне Иван Митрофаныч.

— Только, чур, никому не показывай!

Прочтя эти сочинения с горячим восторгом, я сразу почувствовал себя «критически мыслящей личностью» и ни с того ни с сего заявил оторопелой Марусе, что отныне я считаю зловредными и танцы, и музыку, и другие искусства, потому что они, сказал я, «тормозят человечество на его многотрудной дороге к прогрессу».

Маруся назвала меня жалким *вандалом*, но по ее тону я почувствовал, что она втайне любуется мною, так как, в сущности, ей очень приятно, что ее брат научился свободно орудовать такими словами, как *многотрудная дорога*, *прогресс*, *человечество*, и хорошо понимает, что такое *вандал*.

Впрочем, в своем вандализме я оказался не слишком-то тверд. Не прошло и месяца, как под музыку скрипок, фаготов и флейт я лихо отплясывал кадрили и польки на свадьбе Циндилиндера и Цили, легкомысленно забывая о том, что моя пляска «тормозит человечество на его многотрудной дороге к прогрессу».

А Тимоша настолько поправился, что к концу сентября, после того как он сдал все экзамены, он стал выходить со мной в море на таможенной шлюпке «Тайфун». Грести он не мог: все еще был слаб, как старик, мешковато сидел на корме и командовал. А гребцами были мы: я и «разноцветная» Лиза.

Однажды мы взяли с собою Леку Курындину, которая почему-то смертельно боялась морских путешествий. Не думаю, чтобы эта прогулка доставила ей удовольствие: вежливый, деликатный Тимоша становился в море непростительно груб.

Когда Курындина сказала про лодочную скамейку — ска-

мейка, он притворился, что не понимает ее. Скамейку надо было называть по-морскому: банка.

А когда я осмелился через две-три минуты назвать его суденышко лодкой, он с негодованием сказал:

— Лодок не б-б-бывает на свете. Это для К-курындиной — лодка. А для моряков это шлюпка. Или баркас. Или шаланда. Или бот. Или ялик. А слово «лодка» это К-курындина выдумала.

Через несколько времени он скомандовал Леке, чтобы она подала ему вымпел, а она не знала, что вымпел — это маленький белый флажок, и подала ему ковшик, лежавший на дне. Он посмотрел на нее с таким отвращением, что она заплакала, и нам пришлось пришвартоваться к деревянным ступенькам какого-то мола. Когда она вместе с Лизой оставила нас, он долго бубнил о бестолковых девчонках, которые набьются в шаланду, как куры в курятник, и давай визжать:

Нелюдимо наше море! —

а сами не знают, где нос, где корма.

Но чуть только кончилось плавание и мы вступили на таможенную пристань, он снова превратился в Тимошу, добродушного, застенчивого, скромного малого.

С Лекой я вскоре подружился опять. К осени она достала мне чудесный урок: я должен был заниматься латынью с двумя шустрыми и неглупыми мальчиками. Их отец был молдаванин, капельдинер городского театра, по фамилии Вартан, солидный, представительный мужчина с бритым актерским лицом. Мало того, что он платил мне огромные деньги — двенадцать рублей ежемесячно, — он пускал меня бесплатно на галерку театра, где я впервые слушал (в исполнении Фигнеров, знаменитых певцов) и «Кармен», и «Пиковую даму», и «Гугенотов», и «Евгения Онегина».

К тому времени дела мои сильно поправились: приехал дядя Фома — все такой же чернобровый красавец — и подарил мне свою деревенскую свитку, правда не новую, даже заплатанную, но это-то и придавало ей особую прелесть. Я раздобыл на толкучке мохнатую облезлую шапку и чувствовал себя в этой одежде отлично.

Наступила весна, пришло лето. Жизнь наша мало-помалу наладилась.

И вдруг случилось страшное событие, которое налетело на меня, как гроза. Даже сейчас, через столько лет, мне больно воскрешать его в памяти.

Началось с того, что мадам Шершеневич, гулявшая со своими болонками мимо нашего дома, вдруг крикнула мне издали:

– Здравствуйте!

Я удивился, так как она давно уже перестала здороваться со мною.

– Здравствуйте, здравствуйте! – повторила она, сияя веселыми черными глазками. – А ваш-то Циндилиндер... Или как его?.. Шток или Штосс?.. Вот так артист! Вы подумайте!.. Но я всегда говорила, всегда...

– Юзя Шток? Циндилиндер? Что с ним такое? – спросил я.

– Уж будто не знаете! – засмеялась она. – Это же ваш первый дружок... Вы-то лучше всех должны знать!

И, продолжая смеяться, ушла.

Я встревожился. Чему она рада? Что с ним случилось, с Циндилиндером? Давно я не видел его.

Он живет на Большой Арнаутской, в том же доме, где теперь поселилась Маланка. Я побежал к нему с каким-то нехорошим предчувствием. Вот и его двор – очень длинный и узкий, сверху донизу набитый жильцами. Таких дворов немало в нашем городе. Все их жильцы копошатся не в комнатах, а тут же во дворе, у своих керосинок, корыт и кастрюль: тут они жарят скумбрию на подсолнечном масле, тут же, не отходя от порога, выливают грязные помои; тут же ссорятся, ругаются, мирятся и непрерывно весь день с утра до вечера кричат на бесчисленных своих малышей, которые тоже кричат, словно дикие.

Когда, бывало, ни войдешь в этот двор, кажется, что там катастрофа – обрушился дом или кого-нибудь режут, между тем это обыкновеннейший двор, до краев заселенный южанами, которые просто не способны молчать.

Замолкает этот двор лишь тогда, когда июньское или июльское солнце слишком уж сильно накаляет его. В эти часы все население двора, спасаясь от беспощадных лучей, прячется за плотными ставнями в своих душных и тесных каморках и мирно дремлет под жужжание бесчисленных мух.

Но едва только появляется во дворе первая предвечерняя тень, все окна распахиваются, люди снова выбегают во двор, и начинается та же крикливая жизнь, которая затихает лишь поздно ночью под великолепными южными звездами.

По такому двору идешь как сквозь строй. Десятки любопытных, пронзительных глаз встречают и провожают тебя, и, покуда дойдешь до конца, к тебе уже приклеено какое-нибудь едкое прозвище, определяющее всю твою суть.

Я подхожу к одной женщине, которая, деловито наклонясь над полулежащей черноволосой соседкой, ищет у нее в голове насекомых:

— Где здесь живет Юзя Шток?.. Циндилиндер?..

Чуть только я произношу это имя, черноволосая вскакивает и подзывает какого-то лысого в рваной жилетке:

— Он спрашивает Штока-Циндилиндера! — кричит она ему таким звонким и радостным голосом, словно сообщает ему смешной анекдот.

Лысый смотрит на меня с изумлением и, повернувшись к старухе в пунцовом капоте, показывает ей на меня:

— Он спрашивает Штока-Циндилиндера!

И оба смеются. И вместе с ними смеется весь двор.

Глава двадцать четвертая
ГДЕ ПРАВДА?

А с разных концов двора сбегаются люди — молодые и старые — и целая орава детей. Они рассматривают меня с любопытством. Наконец один из них, красноносый, с аршином в руке, очевидно портной, говорит мне с преувеличенной вежливостью:

— Вы ищете Циндилиндера-Штока? Если вам так интересно иметь его адрес, пожалуйста, я могу вам сказать. — И он подмигивает кому-то в толпе. — Возьмите карандаш, запишите: Куликово поле, городская тюрьма, номер камеры... там вы узнаете.

Новый взрыв общего дружного смеха. Очевидно, красноносый считается здесь остряком.

Циндилиндер в тюрьме? Что за чушь! Я протискиваюсь сквозь обступившую меня густую толпу и спускаюсь к Ма-

ланке в подвал. Она рассказывает странные, невероятные вещи: мои милый Циндилиндер, которого и мама, и я, да и все в нашем доме — даже полицейский усач Симоненко — считали таким честным, таким благородным, которому все мы поверили, что он давно уже отошел от своей уголовной «профессии», оказался дерзким и бесстыдным грабителем: на прошлой неделе, во вторник, забрался ночью в пустую квартиру мадам Чикуановой и дочиста ограбил ее. Вынес оттуда все самое ценное: шкатулку с дорогими вещами, серебряные ложки, золотые часы и даже зонтик ее маленькой внучки, детский зонтик, который ей привезли из Японии...

— Брехня, — говорю я. — Никогда не поверю, что Циндилиндер... Что Юзя...

Но тут поднимается с кровати лохматый Савелий, Маланкин муж. Это мрачный косолапый неряха, заросший бородой чуть не до самых бровей. Про него говорили, что вот уже несколько лет он никогда не снимает ни шапки, ни огромных своих сапожищ. До сих пор не могу я понять, почему Маланка, молодая, хорошенькая и неглупая девушка, с мягким голосом и тихой улыбкой, могла выйти за такое чудовище.

Подвал, в котором ютятся они оба с Маланкой, только называется подвалом, а на самом деле это погреб, очень глубокий, без окон. Круглые сутки горит в нем вонючая керосиновая тусклая лампочка и стоит такая ужасная сырость, что хлеб, принесенный из лавки, уже через два-три часа становится тяжелым и мокрым, словно его долго держали в воде.

— Брехня?! — говорит Савелий и надвигается на меня угрожающе. — Так, значит, я, по-твоему, брехун?

Оказывается, он был понятым, когда полиция делала у Циндилиндера обыск (понятой — это официальный свидетель), и видел своими глазами, как у Циндилиндера под какими-то досками нашли и шкатулку мадам Чикуановой, и ее ножницы, и ее гребешок, и ее носовые платки, и японский зонтик ее маленькой внучки. Конечно, Циндилиндер клялся и божился, что не знает, откуда у него эти вещи, но мадам Чикуанова, чуть только увидела их, закричала, что все эти вещи — ее, что они украдены у нее из квартиры во вторник, когда она ездила к сыну на дачу. А Циндилиндер во вторник...

Дальше я не слушал. Так вот оно что! Значит, все эти годы Циндилиндер ловко обманывал нас, разыгрывал из себя простака, а на самом деле остался таким же мазуриком, каким моя мама застигла его года четыре назад на подоконнике соседнего дома, когда он швырнул в нее цветочным горшком за то, что она помешала ему воровать. А мы верили ему как лучшему другу, верили, что под нашим влиянием он совсем, совсем переменился. И Циля – она тоже поверила. Бедная Циля! Ведь она не позволяла ему взять без спросу чужую иголку или коробочку спичек. Как мучится она теперь, когда вдруг обнаружилось, что она связала свою жизнь с грабителем! Но что, если и она... Нет... Это никак невозможно!

Во рту у меня пересохло. Ноги до того ослабели, что я должен был опуститься на стул.

Между тем Савелий продолжал:

– И Цильку забрали... Как же! Известно: жена. Там из нее вышибут золотые часы, будь покоен.. Там подстригут ее острые когти.

Оказывается, Циля, когда ее во время обыска спрашивали, куда она девала украденные Циндилиндером золотые часы, пришла в такую безумную ярость, что стала царапаться, визжать и кусаться.

– Укусила Карабаша – надзирателя... Антона Игнатича. А у него знаешь какие кулаки... Ого-го!

Не помню, как выбрался я из этого мрачного погреба, как попрощался с Маланкой, как добрел до нашей Новорыбной.

Скорее к Симоненко! Он знает... Ведь он околоточный... Он не может не знать.

К счастью, он тут, у себя, в палисаднике. Сидит под шелковицей, благодушный, седой, в белой вышитой украинской рубахе, и, лениво отгоняя назойливых ос, пробует вишневую наливку. Лицо у него спокойное, круглое, доброе. Тут же на столе перед ним – его медный корнет-а-пистон, на котором он зудит каждый вечер.

– Что это ты так запыхался?

– У меня к вам дело... Очень важное.

– Дело? Садись и рассказывай. Уж не надумал ли идти в писаря?

– Нет! У меня к вам другое...

— Погоди! — говорит он. И, не повернув головы, громко кричит в раскрытое окно своей кухни: — Стакан!

Марья приносит стакан и со стуком ставит его предо мной. Но мне даже противно подумать о приторной вишневой наливке.

— Пей. Холодная! Или, может быть, пива?..

Но я отодвигаю стакан. И тут только вижу, как сильно дрожат мои руки, будто я пронес на плечах трехпудовый мешок.

— Циндилиндер... — говорю я, запинаясь. — Вы знаете его... Юзя Шток...

Глаза у Симоненко становятся круглыми.

— Ворюга! Шарлатан! — кричит он. — Не хочет жить честным трудом. Польстился на чужое добро!

Я смотрю на него с удивлением. «Не дико ли, — думаю я, — что этот «хабарник», у которого во всем его доме нет ни одного куска сахару, ни одной крошки хлеба, заработанных честным трудом, с такой искренней ненавистью кричит о «ворюге, польстившемся на чужое добро».

Симоненко между тем успокаивается и говорит своим мягким, доброжелательным голосом:

— По дружбе советую: не суйся ты в это грязное дело. Говорю тебе любя, от души. Потому что... Как бы и тебя не притянули к нему... Все знают, что вы с этим... Как его?.. Циндилиндером друзья-приятели. Притянут — не вывернешься. Тем более, что ты незаконный... Нет папаши, чтобы за тебя заступиться...

Я, не прощаясь, выбегаю на улицу и сейчас же слышу у себя за спиной тошнотворные звуки трубы.

Нужно спешить на урок, я и так опоздал. Бегу по Базарной, оттуда на Пушкинскую.

«Неужели, — говорю я себе по дороге, — они оба, и Циндилиндер, и Циля, такие гениальные актеры, что могли столько лет притворяться, разыгрывать из себя благородных людей? Стала бы Циля за такие гроши работать с утра до ночи на фабрике «Глузман и Ромм», если бы ее муж был грабитель, всегда имеющий возможность раздобыть для нее и роскошные платья, и золотые часы?»

Когда я пришел на урок и рассказал обо всем, что случилось, Вартану, он без всяких колебаний сказал:

— Это часто бывает. Еще бы! Удалось же такому кровопийце, как Яго, — помните в «Отелло» у Шекспира? — притворяться защитником правды и чести.

Похожий на актера капельдинер Вартан всегда говорил, как на сцене. Он смолоду служил при театре и на своем веку перевидал такое великое множество пьес, что ему было нетрудно припомнить, сколько там выведено лукавых злодеев, скрывающихся под масками честнейших людей.

Да и мне вдруг ни с того ни с сего припомнился матерый разбойник Джон Сильвер из «Острова сокровищ» Стивенсона, злой и коварный пират, искусно притворявшийся перед своими хозяевами, что он служит им верой и правдой.

Глава двадцать пятая

СУД

Воротился я домой только к ужину. Мама уже знала от Маланки, что Циндилиндер и его жена арестованы.

— Подумать только, какие они хитрецы! — сказал я, присаживаясь на кухне к столу. — Притворялись такими святошами, а мы, дураки, им поверили.

Мама помолчала немного и сказала медленно, тихо, без всякой запальчивости, словно взвешивая каждое слово:

— Как ты себе хочешь, а я и сейчас все такая же дура: верю, что они оба невиновны, — и Циля, и он.

— Какая ты странная! — сказала Маруся своим рассудительным и укоризненным голосом, не допускающим никаких возражений. — Подумай сама: разве нашли бы у тебя, например, и зонтик, и шкатулку... И другие вещи мадам Чикуановой, если бы ты не похитила их? Ведь это *абсолютно* прямые улики, и сомневаться никак невозможно.

— Не знаю, что такое абсолютно, — ответила мама все так же медлительно, — но знаю, что Циндилиндер — не вор.

Однако тот, похожий на Собакевича, тучный судья, пред которым через две-три недели предстали Циндилиндер и Циля, держался другого мнения: он был непоколебимо уверен, что перед ним самые настоящие воры.

Напрасно Циндилиндер доказывал, что в ночь, когда была ограблена квартира мадам Чикуановой, он вместе с Цилей гулял на именинах у Цилиной тетки, где они и остались потом ночевать, судья только усмехнулся презрительно и потребовал от подсудимых, чтобы они не старались

обмануть правосудие, а без обиняков сообщили суду, куда они девали золотые вещи мадам Чикуановой, ее бриллианты, серебро и посуду, оцененные в три тысячи триста рублей.

В ответ на это Циля сказала еле слышным, придушенным голосом:

— Убейте, зарежьте меня... А я не...

И тихо заплакала.

(Позже я узнал, что ее сильно избили в участке.)

Циндилиндер с измученным лицом, с потухшими глазами твердил монотонно и вяло, что ни зонтика, ни часов, ни шкатулки он и в глаза не видал, но старый судья, очевидно, привык с давних пор не верить таким заявлениям, так как все воры всегда на суде утверждают, будто они не виноваты ни в чем.

Было похоже, что судья очень куда-то спешит, а ему предстояло осудить за сегодня еще человек десять, не меньше. Он поминутно смотрел на часы и каждому свидетелю отрывисто рявкал:

— Короче, короче!

Одного лишь свидетеля он выслушал с самым серьезным вниманием. Это был Георг Дракондиди, то есть попросту Жора, которого еще так недавно все мы считали глухим. Пополневший, в отличном костюме, Георг Дракондиди поведал суду, что подсудимый тогда-то ограбил на базаре ларек мещанина Корытникова, а тогда-то очистил дачу вдовы титулярного советника Эрлиха и похитил у потомственного почетного гражданина Пантюшкина все его белье с чердака.

Этого свидетеля судья выслушал с большим уважением. Потом снова посмотрел на часы и встал, чтобы произнести приговор.

Но тут к нему подошел секретарь, молодой человек с университетским значком, и стал торопливо шептать какие-то слова и показывать какую-то папку с бумагами. Судья насупился. Но секретарь зашептал еще более настойчиво, вытащил из папки большую бумагу, после чего судья, не скрывая досады, потребовал, чтобы часовые увели подсудимых, так как дело Иосифа Штока и его жены Цецилии Шток, обвиняемых по таким-то и таким-то статьям, подлежит подробному доследованию.

Я поспешил на Новорыбную сообщить про сегодняш-

ние события маме, но у нее, как нарочно, разыгралась мигрень.

Мама лежала на диване с изжелта-бледным лицом, с почерневшими веками.

Я начал было рассказывать ей о показаниях Жоры, но Маруся сделала мне знак: «уходи», и я удалился на цыпочках, так как во время мигрени маме было больно от всякого шума.

И должно же было так случиться, что Жору Дракондиди в его великолепном костюме через несколько дней арестовали на Дерибасовской улице в банкирской конторе Юнкерса, где он пытался разменять несколько фальшивых сторублевок. На квартире у него тотчас же сделали обыск и не нашли ничего, но когда в тот же вечер нагрянули к его чернобородому брату в «Заведение искусственных минеральных вод» и хорошенько пошарили в яме, заваленной пустыми бутылками, там на самом дне отыскали целый склад драгоценных вещей, золотых сережек, колец, — и в том числе часики мадам Чикуановой! Оказалось, что Жора — профессиональный грабитель, а его брат Фемистокл, торгующий содовой водой и сиропом, — укрыватель и скупщик краденого. Кроме часиков мадам Чикуановой, в яме были найдены ордена ее покойного мужа, его золоченая табакерка с бриллиантами, ее веер из слоновой кости...

Но как, спрашивается, вещи, принадлежавшие ей, могли появиться в хибарке Циндилиндера на Большой Арнаутской?

Дело в том, что к этой хибарке вели три или четыре ступеньки из трухлявых и занозистых досок. Если приподнять одну ступеньку, самую верхнюю, под нею открывалась дыра, ведущая в подполье хибарки.

Этим-то и воспользовался Жора (он же Георг Дракондиди). Ограбив квартиру мадам Чикуановой, он присвоил себе все наиболее ценные вещи, а шкатулку, и зонтик, и прочую грошовую мелочь подкинул тайком Циндилиндеру (в знойный день, когда жители дома спрятались от солнца за плотными ставнями), после чего сообщил анонимной запиской приставу Ивану Карабашу, что украденные вещи находятся под половицами такой-то квартиры, занимаемой Иосифом Штоком, ограбившим мадам Чикуанову.

Отчего же ему понадобилось губить Циндилиндера? Причина была очень простая. Когда-то Циндилиндер, чуть

не с двенадцати лет, принадлежал к той же шайке, что и Георг Дракондиди. Главарем у них был Фемистокл. Циндилиндер «работал» для него три или четыре «сезона», но вдруг, как мы знаем, решил покончить навсегда с воровством и заявил об этом Фемистоклу. Фемистокл был в бешенстве. Он не сомневался, что Циндилиндер рано или поздно сообщит полицейским о его темных делах и тогда ему, Дракондиди, может прийтись туговато. Он долго уговаривал Циндилиндера вернуться к воровскому ремеслу, прельщая его большими деньгами.

Но Циндилиндер не соблазнился его обещаниями и, уходя, заявил, что забросил в море саквояж с полным набором воровских инструментов, который в свое время был дан ему Жорой. Дракондиди еще пуще разгневался и решил во что бы то ни стало отомстить Циндилиндеру.

Местной полиции он не боялся, так как приставу Карабашу и без того было отлично известно, что происходит в «Заведении искусственных минеральных вод». За ту крупную сумму, которую он получал от Дракондиди ежемесячно из года в год, он охотно притворялся слепым. Вся местная полиция состояла у Дракондиди на жаловании и на все его подвиги смотрела сквозь пальцы.

Но Карабаш был полновластным хозяином только в своем Привокзальном участке. За пределами этого небольшого участка у него не было власти. И был он подчинен полицмейстеру. Нужно было действовать возможно скорее. И Дракондиди сообщил своей шайке, что Циндилиндер порвал с нею всякие связи, женился, поступил на работу. Шайка решила обезвредить его и жестоко расправиться с ним: подбросила ему украденные вещи.

И, конечно, Циндилиндеру никогда не спастись бы, если бы не нашелся свидетель, горбатый Иглицкий, который жил в том же доме на втором этаже, наискосок от жилья Циндилиндера. Он сидел у своего окна, играл в шахматы с Людвигом Мейером и, глянув случайно во двор, увидел, что у входа в хибарку, возле ее трухлявых ступенек, копошится одетый в рабочую блузу «глухонемой водопроводчик» Жора. Иглицкий не придал этому никакого значения. Но, когда арестовали Циндилиндера, он вспомнил о странном поступке «водопроводчика» Жоры и каким-то образом, не помню каким (кажется, при помощи влиятельных родственников), добился нового суда над мещанином Иосифом Штоком и

мещанкой Цецилией Шток. Вообще я многое забыл. Помню только, что Георг Дракондиди вел себя на суде с вызывающей наглостью, упорно отрицая какое бы то ни было касательство к этому делу, и что новый судья, молодой, синеглазый, признал его безусловно виновным не только в налете на квартиру вдовы Чикуановой, но и в преступной попытке взвалить свою тяжкую вину на других, на безукоризненно честных людей.

После чего Циндилиндер и Циля были освобождены из-под стражи, к бурному восторгу всего зала. В публике было немало студентов, приведенных Иглицким, были Цилины подруги и вообще молодежь. Они окружили оправданных, стали поздравлять их, целовать, обнимать.

Один я стоял в стороне от всех, как отверженный, не решаясь подойти к моим бывшим друзьям. Мне было совестно смотреть им обоим в глаза. Как мог я поверить клевете их врагов, россказням колченогого мужлана Савелия и «благодушного» хапуги Симоненко!

Замученные, но бесконечно счастливые воротились Циля и Циндилиндер домой. Весь двор на Большой Арнаутской встретил их криками радости. Чуть только они вошли в свою хибарку, вслед за ними вбежали туда их крикливые и пылкие соседи и нанесли им столько помидоров, баклажан, вареных яиц, что хватило бы на две-три недели, если бы они к вечеру не устроили пир, на котором все эти продукты были немедленно съедены. Стулья взяли у тех же соседей, стол сколотили из нескольких ящиков. Красноносый портной вместе со своей маленькой, юркой и говорливой супругой (он так и называл ее: «моя супруга») принес целую гору сушеной тарани.

Цилина мать принесла изюму, орехов, халвы, откуда-то взялись бутылки с пивом, и гости, усевшись за стол, стали наперебой поздравлять Циндилиндера, уверяя, что они все, как один человек, всегда верили в его невиновность.

Почетным гостем на этом пиршестве был горбатый Иглицкий, который, в сущности, спас Циндилиндера. Теперь ему выпала нелегкая участь: по прибытии всякого нового гостя он должен был снова и снова выходить из хибарки во двор, приподнимать трухлявую ступеньку и показывать ту знаменитую дыру, сквозь которую бессовестный Жора подкинул Циндилиндеру вещи мадам Чикуановой.

После этого гости шли к Циле, и каждому она показы-

вала лежащий в коробочке зуб, тот самый, который во время допроса выбил ей пристав Карабаш. Гости рассматривали этот зуб с величайшим вниманием, словно никогда не видали зубов, и в один голос говорили про Карабаша: подлец.

Я сидел невдалеке от Циндилиндера и с тоскою смотрел на него. Какой он сделался худой, ни кровинки в лице! И как изменила его борода, которая выросла у него за то время, что он был в заключении! И Циля тоже сильно подурнела, словно после тяжелой болезни.

Я попробовал было объяснить Циндилиндеру, по какой идиотской причине я усомнился в его правоте. Но он не дал мне договорить, хлопнул меня слегка по затылку и, взяв со стола грязноватую глыбу халвы, положил ее предо мной на газету, заменявшую скатерть.

— Ты же любишь халву...

Его дружеский жест успокоил меня: я понял, что Циндилиндер простил мне мое легкомыслие.

И все же я до сих пор с горьким чувством вспоминаю о тогдашнем своем поведении — и не прощаю себя. Вся эта история с Циндилиндером дала мне суровый урок: я понял, что не следует верить никаким обвинениям, которыми бесчестные люди ради своих низменных целей так часто пытаются оболгать, очернить, опорочить доброе имя беззащитных людей...

Не прикоснувшись к халве, которую я и вправду любил, я встал из-за стола и тихонько побрел домой, где меня ждала с ужином повеселевшая мама. Она была, как всегда, молчалива и ни слова не сказала о том, что пережила в эти дни.

Глава двадцать шестая

ПЕРЕМЕНЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

Летом мне пришлось повстречаться кое с кем из моих бывших товарищей, и я был поражен переменой, которая произошла почти с каждым из них.

Братья Бабенчиковы ушли из гимназии и превратились в прыщеватых юнкеров, которые назывались тогда длинным словом: «вольноопределяющиеся».

Степа Бугай сильно раздался в плечах, возмужал, обзавелся морской фуражкой и стал курить коротенькую трубку. Даже сплевывал, как истый моряк.

Муня Блохин, все такой же худощавый и юркий, вдруг вообразил себя великим актером, облекся, несмотря на жару, в черную суконную широкую блузу с огромным фиолетовым бантом и стал изводить окружающих, декламируя трагическим голосом:

> Я вчера еще рад был отречься от счастья.

При этом он так картавил, что у него получалось:

> Я вчега еще гад был отгечься от счастья.
> Я пгезгеньем клеймил этих сытых людей...

Валька Тюнтин сделался окончательно похож на разжиревшего борова, и это, очевидно, очень понравилось Рите Вадзинской: куда бы я ни шел, я постоянно встречал их вдвоем, и по ее лицу можно было сразу заметить, что она отнюдь не считает его «антипатом».

И так как я окончательно излечился от своей прежней влюбленности в эту злую и пустую девчонку, я уже не видел в ее лице никакой красоты.

Лобода и Бондарчук, самые умные ученики в нашем классе, прочитали на каникулах Дарвина, и оба пришли к убеждению, что бога нет и религия — обман. Гришка Зуев, с которым они вздумали было поспорить о существовании бога, сразу опроверг их ученые доводы одним несокрушимым аргументом: немедленно отправился в Покровскую церковь к отцу Мелетию и рассказал ему про их богохульство. Батюшка, похвалив доносчика, вызвал маловеров к себе и пригрозил им строгими полицейскими карами. Я тоже изменился не меньше других. На верхней губе у меня неожиданно вырос какой-то несуразный пушок. Я раздобыл себе суковатую палку (такую же, как у Ивана Митрофаныча) и отпустил волосы чуть не до плеч.

Едва только я стал «молодым человеком», а Маруся окончила школу, вся наша жизнь в один год изменилась: мы оба принялись добывать себе пропитание уроками — вдалбливали арифметику, географию, русскую грамматику, алгебру в головы неудачливых школьников, получавших единицы да двойки.

Долго, очень долго мои отношения с Марусей почему-

то никак не налаживались. Я был с нею непростительно груб, хотя втайне уважал ее очень. С горьким чувством вспоминаю теперь, как упорно я сопротивлялся ее добрым стремлениям сделать из меня благонравного мальчика и обогатить меня ценными сведениями. Как-то я сказал за обедом, что сегодня в журнале «Нива» я видел «эксиз» какого-то художника, — не помню какого. Маруся поморщилась и сказала своим педагогическим голосом, что нужно говорить не «эксиз», а «эскиз», и была совершенно права. Такого слова, как «эксиз», не существует. Но так силен во мне был бес противоречия, что я еще долгое время говорил «эксиз». И это побуждало Марусю всякий раз повторять наставительно:

— Не эксиз, а эскиз.

— Я так и говорю: эксиз.

Вместо слова «скоморох» я нарочно говорил «скоромох», чтобы снова и снова услышать, как Маруся поправляет меня:

— Не скоромох, а скоморох.

— Я и говорю: скоромох.

Это выводило ее из себя, но она сдерживалась и повторяла с наружным спокойствием:

— Нет, не скоромох, а скоморох.

Я перечил ей на каждом шагу самым бессовестным образом.

Вздумала она как-то водить меня на прогулку в Александровский парк, где по праздникам беспощадно гремел оглушительный военный оркестр. Нечего было и думать спастись от него: его страшные медные вопли доносились до самых далеких аллей. Дорожки были посыпаны гравием, который неистово скрежетал под ногами, а справа и слева на меня кричали грозные надписи:

«СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ХОДИТЬ ПО ТРАВЕ»
«СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПОРТИТЬ ГАЗОНЫ»
«СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВОДИТЬ СОБАК»
и т. д., и т. д.

Маруся и сама утомлялась от этих прогулок среди скучной вереницы людей. Но она была великодушная праведница и верила, что, шагая со мною под музыку и тем самым приучая меня к культурному отдыху, жертвует собой ради меня. Я же и здесь оказался недостойным ее благородных

забот и, когда мы возвращались домой после третьей или четвертой прогулки, заявил ей с необузданной резкостью, что мне осточертел этот парк и что я не болонка мадам Шершеневич, чтобы меня водили на цепочке!

Это было несправедливо и дико — за что я оскорбил человека, который по-своему желал мне добра? — и, конечно, я сейчас же раскаялся в своих грубых словах, но все же оставил Марусю на дороге одну и, не попросив у нее извинения, убежал со всех ног в свой «Вигвам».

Теперь наши отношения сгладились. Моя мальчишеская грубость с летами прошла, как проходит скарлатина или корь. Повзрослев, мы сделались с Марусей друзьями. Сблизила нас общая работа: с утра до вечера мы давали уроки всевозможным оболтусам, помогая им выкарабкиваться из омута двоек, где они погрязли с головой. Маруся, педагог по призванию, была так терпелива и неутомимо настойчива, что чадолюбивые маменьки стали считать ее чуть ли не волшебницей: в три-четыре месяца она превращала в отличников самых отсталых школяров.

Я пытался подражать ей во всем — никогда не улыбаться во время занятий, быть таким же серьезным и важным, — но у меня ничего не получалось. Уже на втором или третьем уроке я вступал со своими питомцами в длинные разговоры о посторонних вещах — о том, как ловить тарантулов, как делать камышовые стрелы, как играть в пиратов и разбойников, а также о подвигах Уточкина, о «Копях царя Соломона», о приключениях Шерлока Холмса.

Маруся нередко журила меня за панибратство с мальчишками, которые вдвое моложе меня, но, сколько я ни пыжился, мне никак не удавалось напускать на себя солидность и строгость. Не помогали ни длинные волосы, ни толстая суковатая палка, которой во время ходьбы я внушительно стучал по камням тротуара, совсем как Иван Митрофаныч. В конце концов Маруся примирилась с моей несолидностью, как и с прочими моими грехами, и всякие распри между мною и ею как-то сами собою затихли. А это опять-таки значило, что мы возмужали.

Заработки наши увеличились так, что мама наконец-то получила возможность отказаться от черной работы и принялась за свое любимое дело: вышивание украинских рушников и рубах; в этом искусстве она с детства была мастери-

цей — вышивала то гладью, то крестиками, никогда не копируя готовых узоров, свободно изобретая все новые сочетания линий и красок. Сначала она отдавала все свое рукоделие Суббоцкому, который платил ей гроши и вообще надувал ее всячески. Но к концу года у нее появилось так много клиентов, что услуги этого прожженного плута оказались уже не нужны.

Работала мама с большим увлечением. Все восхищались ее чудесными вышивками, больше всех — мамзель Франциска Рикке и ее молчаливая сестрица мамзель Мальвина, с которыми в последнее время мама довольно близко сошлась именно благодаря своим вышивкам.

— Артистичная работа! — говорила мамзель Франциска, когда мама показывала ей какую-нибудь новую вышивку. — Ей место не здесь, а в музеуме. В музеуме артистичных работ.

Мамзель Мальвина ничего не говорила, но в знак согласия с сестрицей Франциской важно кивала седой головой, на которой сквозь жидкие пряди волос уже просвечивала розовая лысина.

...На Большой Арнаутской, в доме, где жил Циндилиндер, произошли почти одновременно два очень важных события: у Цили родился мальчик Даня, такой же огненно-рыжий, как Циля. А у Маланки в подвале родились две девочки, которые по ошибке дьячка, записавшего их при крещении в церковную книгу, обе были названы Маланками. А так как Маланкина мать, служившая в нашем доме у одного из жильцов, тоже называлась Маланкой, эта ошибка дьячка ужасно огорчила двух старших Маланок, и они только тогда успокоились, когда, по совету мамы, стали называть одну из маленьких Маланок — Наталкой, а другую — Фросей.

Вскоре после рождения детей Маланка ушла от сонного и злого Савелия, который оказался скаредом, буяном и пьяницей. Захватив Наталку и Фросю, она поселилась у Моти, полногрудой кухарки биндюжников, и стала ходить на поденку: там постирает, там вымоет окна, там понянчит чужих малышей. Вырвавшись из темного подвала, она сразу сделалась прежней Маланкой: бойкой, неутомимой, задорной, насмешливой, или, как говорили у нас, — языкатой. Всякую работу она выполняла с таким удовольствием, что было ве-

село смотреть на нее. Бездетная Мотя полюбила ее близнецов и кормила их из общего котла до отвала.

А Фемистокл Дракондиди недолго просидел за решеткой. Вскоре он вернулся к своей прежней работе, и роскошная его борода стала вновь развеваться над красными, синими, голубыми сиропами. Очевидно, он щедро поделился с полицией найденными в его лавке сокровищами.

Эпилог

С того самого дня, когда Финти-Монти выдвинул из-под кровати свой сплюснутый, потертый чемодан и, достав оттуда книгу «Сочинения Д. И. Писарева», не без торжественности вручил ее мне, детство мое кончилось раз навсегда, невозвратно.

А это значит: конец моей повести. Ибо повесть моя — о детстве.

И все же, перед тем как расстаться с читателями, мне хотелось бы сказать им еще несколько слов.

И раньше всего — о том обещании, которое я дал своей маме. К великой ее радости, я в конце концов сдержал свое слово, но сдержал не сразу, а с большим запозданием. И Тимоша, и Муня, и Лобода, и Бондарчук давно уже стали студентами, а я все еще считался недоучкой, выгнанным из пятого класса. Дело в том, что та комиссия, перед которой я держал экзамены за весь гимназический курс, два раза проваливала меня самым бессовестным образом, и проваливала нарочно, по той же причине, по какой Шестиглазый и Прошка отняли у меня серебряный герб.

Лишь на третий год, когда я экзаменовался при Ришельевской гимназии, где с недавнего времени стали учительствовать Финти-Монти и Василий Никитич, я без малейших препон получил наконец аттестат с очень неплохими отметками, и было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко.

Студенческую фуражку я купил себе на толкучке — подержанную, чтобы походить на старого студента. Эта фуражка подействовала на маму магически: мама, которая в прежнее время не любила уходить со двора и почти ни с кем не заводила знакомств, вдруг пристрастилась к прогулкам со мною

по самым многолюдным местам и при всякой возможности вступала в разговоры с кем придется, лишь бы только сказать между прочим: «Вот это мой сын, студент...»

Словно выйдя на волю после многолетнего заключения в тюрьме, она стала разговорчива, общительна, страшно любопытна ко всему окружающему.

Чернобровая, статная, с благородным профилем и важной осанкой, она как будто впервые заметила свою красоту, впервые за многие годы купила себе новую шляпку, а на зиму сшила у портнихи «ротонду» — модное пальто без рукавов.

И даже побывала со мною и Марусей в театре — на гастролях знаменитого Фигнера.

Но недолго привелось ей гордиться своим сыном-студентом.

Вскоре в ее разговорах с людьми, с которыми она в ту пору встречалась, стала повторяться еще более гордая фраза: «Сын у меня, знаете, писатель...»

Так оно и было в действительности. То, о чем я не смел и мечтать, что казалось мне высшим человеческим счастьем, выпало на мою долю нежданно-негаданно.

Местная газета напечатала у себя на страницах мой довольно длинный — и довольно нескладный — «эксиз», и с этого времени началась моя литературная деятельность, которая длится без перерыва до настоящего времени уже шестьдесят с чем-то лет.

Теперь я по долгому опыту знаю, что быть писателем, пусть самым неприметным и скромным, — это и вправду великое (хотя порою очень нелегкое) счастье. Даже ту краткую повесть, которую вы сейчас прочитали, мне было так весело и так интересно писать. Ведь стоило мне сесть за письменный стол, взять перо и придвинуть к себе чистую бумагу, и мое далекое детство сразу вернулось ко мне, из старика я превратился в мальчишку, — и вот снова прыгаю, как дикарь, на гремучем железном листе, прикрывающем нашу помойку, снова скребу длинным шпателем раскаленную ржавую крышу, снова сижу верхом на высоком зубчатом заборе под сорокаградусным солнцем и ору во всю глотку:

«У-у-уточкин!»

И я буду еще более счастлив, если, читая эту книжку, вы вместе со мною полюбите мою бесстрашную, гордую маму,

настоящую героиню труда, и милую Марусю, и Тимошу, и Финти-Монти, и Василия Никитича, и Циндилиндера, и студента Иглицкого, и дядю Фому. И — признаться ли? — для полного счастья мне хотелось бы, чтобы вы разделили со мною мою лютую ненависть к Прошке, к Шестиглазому, к Зюзе Козельскому, к Жоре Дракондиди, к Савелию, к Тюнтину и прочей отвратительной нечисти, которая хоть и вывелась из нашего быта, но еще не до конца, не совсем, не везде.

Теперь она пытается портить нашу жизнь *под другими обличьями*, но мне очень хочется думать, что теперь легче расправиться с нею, чем в то далекое время, которое я пытался изобразить в этой книжке.

1967 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Матерям о детских журналах

Борьба с «чуковщиной»

МАТЕРЯМ О ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ

I

— «Нам очень нравится журнал «Задушевное Слово».

— «Приветствуем XXXI год издания!»

— «Желаем, чтобы в этом году «Задушевное Слово» было таким же интересным, как и в прошлом».

Эти пожелания, хвалы и приветы очень искренни и горячи, и, конечно, чистая случайность, что все они почему-то напечатаны в самом же «Задушевном Слове».

Об этом журнале недавно была статья — «Что такое Задушевное Слово?» В ней его очень хвалили и величали «опытным наставником, который является в определенный срок, чтобы развлечь детей, побеседовать с ними, рассеять их маленькие печали» и т. д., и т. д., и т. д.

Но по чистой случайности эта статья тоже была напечатана в «Задушевном Слове» (1907, №№ 1, 2).

Были об этом журнале и стихи, где его хвалили за мудрость:

Тот мудрец, — вероятно, знаком уж он вам?
Его имя для вас ведь не ново?
Он не сходит у вас со стола по годам...
То журнал «Задушевное Слово».

Эти стихи, по какому-то странному совпадению, опять-таки напечатаны в «Задушевном Слове» (1907, с. 24).

И хотя они подписаны неким Пановым-Веруниным, но ясно, что это псевдоним бессмертного «дяди Михея», столь же горячо и столь же бескорыстно воспевавшего гильзы Катыка:

Крем — роскошнейший табак,
Аромат в нем, вкус и смак.

Немного странно, конечно, что «дядя Михей» стал сотрудником детского журнала, но вот в «Задушевном Слове» его же стихи «Интересная Школа», — и в них опять:

Я писал не про мечту
Въявь, не под покровом
Называют школу ту
«Задушевным Словом».

Вместе с дядей Михеем похвалил «Задушевное Слово» и «Правительственный Вестник», но об этой похвале я узнал опять-таки из самого же журнала, где вся эта хвалебная заметка была подробно перепечатана («З. С.»[1] 1907, 12).

Словом, если «Задушевное Слово» — «мудрец», то мудрость и реклама — синонимы.

Базарный, лавочный, деляческий дух царит в этом детском журнале. И, что всего отвратительнее, журнал привлекает детей к участию в своих торгашеских планах. Под сантиментальным предлогом руководительства детской перепиской — открыт в этом журнале отдел: «Почтовый ящик», где изредка мелькнет такое письмо:

«Дорогая Катя Левенсон!

Неужели это правда, что вы похожи на китайца? Я была бы очень обрадована, если бы вы мне прислали свою карточку, так как видеть китайцев приходится довольно редко» («З. С.» 1907, № 36).

Все же остальное посвящено восхвалению «Задушевного Слова» — и других изданий Товарищества М. О. Вольф.

Детскому простодушию нравится всякая книга, которую удалось разобрать по складам, но только у «Зад. Слова» хватает бесстыдства печатать такие каракули:

— «Мой любимый поэт А. С. Пушкин, моя любимая писательница Чарская» (№ 26).

— «Моя любимая писательница Л. Чарская. Еще мои любимые писатели Тургенев, Лермонтов, Пушкин, Бичер-Стоу и Марк Твен» (№ 47).

— «Мои любимые поэты Пушкин и Шиллер. Мой любимый автор повестей Л. А. Чарская» (№ 4).

Читатель понимает, что Чарская — сотрудница «Заду-

[1] Здесь и далее «З. С.» — «Задушевное Слово».

шевного Слова», а Шиллер, Пушкин, Лермонтов и Тургенев не имеют этого преимущества.

Детям Чарская милее Шиллера, но ведь им шоколад Кайе милее Собора Парижской Богоматери, —что ж из этого следует? Ничего. Но для «Задушевного Слова» из этого следует реклама.

Круглый год все «Задушевное Слово» звенит насквозь: Чарская, Чарская, Чарская, — и эта ловкая рукодельница бесчисленных романов, повестей и стихотворений в условно-детском стиле, с условными институтками, условными черкесами, условными князьями и нищими приобретает размеры чуть ли не мирового гения. Что с детьми церемониться! Разве дети что-нибудь смыслят! — как бы раз навсегда решил этот журнал, и, вместо литературных приличий, установил какой-то литературный канкан. Недавно он дошел до того, что предложил читателям целую серию портретов этой г-жи Чарской, и вы можете видеть г-жу Чарскую:

1) в возрасте 1 года, 7 месяцев и 7 дней («З. С.», с. 69).

2) в младенческом состоянии (с. 55).

3) на 6 году (с. 197).

4) на 7 году (с. 251).

5) «в бытность ее институткою» (с. 441).

6) в нынешнем виде (с. 3) — причем из особой пометки явствует, что эта замечательная писательница в 1880 году была на шестом году, а в 1882 году — всего лишь на седьмом!

В качестве такого хронологического феномена, в два года стареющего только на год, она, конечно, заслуживает всякого внимания, но за счастливую соперницу Шекспира и Шиллера она может сойти только на страницах «Задушевного Слова».

Свое рыночное мировоззрение дядя Михей, натурально, прививает детям. Вот какие, например, он внушает им представления о человеческом счастьи:

Счастье Кубелика

...«Кубелик на собранные деньги купил 600 гектаров земли в штате Аригона. Недавно в этом участке открыты золотая и медные руды, оцениваемые в несколько миллионов?!» («З. С.» 1907, 2).

В золоте и в меди истинное счастье.

И, должно быть, сам Молчанин был бы доволен, если бы прочитал в «Задушевном Слове» такие заповеди для детей:

«Не заботься ни о чем ином, кроме выбора себе карьеры»...

«Не трать времени на мечтанья о прошлом и будущем, но всегда будь готов схватить (!) настоящий момент»...[1]

«Самый высокий талант ничего не стоит в сравнении с тактом и здравым смыслом»... «Только здравый смысл дает доступ к карьере» (1909 г.).

Эти заповеди так и называются: «Руководство для успешной карьеры» и, в соответствии, должно быть, с ними в «Задуш. Слове» публикуется для пользования детворы следующая невероятная

Таблица российских чинов.

Превосходительство:

Тайный Советник, Генерал-Лейтенант, Действит. Ст. Советн., Генерал-Майор.

Высокородие:

Статский советник.

Высокоблагородие:

Коллежский Советник, Надворный Советник, Коллежский Асессор.

Благородие:

Титулярный Советник, Штабс-Капитан и так далее, вплоть до Его Благородия Коллежского Регистратора. (Календ. для рус. уч. мол. 1909, с. 137). Большего издевательства над детской душой, сколько ни думай, не придумаешь.

Столь изощренный в «карьере» и в рекламе, наш «мудрец» совершенно теряется во всем, что не относится к этой области. Я никак, например, не могу признать грамотной такую его изумительную фразу:

«Лежа в кровати и смотря на обои, воображение рисует нам на последних различного рода фигуры» («З. С.» № 51).

---

[1] Ниже будет указано, как само «Задушевное Слово», верное своему девизу, умеет, когда нужно, «схватить настоящий момент».

Не хотел бы я также, чтобы дети мои заучили такие стишки:

У вас, у селезней,
Какие (!) труд и дело?
А я бужу людей,
Аж (!) горло заболело! («З. С.», № 2).

Гарибальди называется в этом журнале «Герой за (!) свободу Италии» (№ 37), а этюд И. Е. Репина к картине «Не ждали» — этюдом Н. Кошелева «Едут» (638).

О природе у этого журнала столько же сведений, сколько у всякого гостинодворского молодца. Недавно, к великому соблазну детей, он обнародовал у себя на страницах, что в Рязани будто бы в июне-июле месяце выпал снег с серой, и что будто бы высказывалось предположение, не находится ли это «в связи с прохождением земли через хвост кометы Галлея» (№ 38, 1910).

Но недели две спустя этот милый натуралист принужден был с конфузом сознаться, что хвост кометы Галлея здесь ни причем и что сера вовсе не сера... а обыкновеннейшая цветочная пыльца сосны или березы, которую только темный невежда может принять за хвост какой бы то ни было кометы (№ 41, 1910).

* * *

— «Редакция имеет честь покорнейше просить господ подписчиков придерживаться следующей таксе» — пишет детский журнал «Труд и Забава» (№ 7 за 1906 г., с. 17).

Не покорнейше-с, а покорнейше.

Это пасхальный номер журнала. Он напомадил волосы, украсился серебряной серьгой, смазал сапоги и пошел к «господам подписчикам» на поздравление.

— «Христос Воскресе! молодые читательницы и читатели», — сказал он на первой своей страничке.

И, покуда ему наливали вторую рюмку, произнес скороговоркой вирши, которые сочинял еще в бытность волостным писарем:

Христос Воскрес! Повсюду радость,
В моей душе вселила (!) младость.

Потом, ожидая, пока «господа подписчики» «придержатся таксе», стал рассказывать им, как устроить домашний театр.

– «Кто особенно любит и интересуется этим театром, тот сам должен все что нужно собственноручно приготовить к действию (!) его.

В этом самосоздании (!) и состоит особенное удовлетворение, которое так возвышает сердца юношей»[1].

«Представим освещенные солнцем пейзажи, сменяющиеся лунным освещением ночи, чудные сады, тенистые лесные дорожки, уютные крестьянские хижины, благоустроенные комнаты людей среднего класса (!) общества (!), а также великолепные хоромы дворцов прежних (!) рыцарей и лесные часовни, располагающие к молитве; нужно (!), чтобы глаз зрителя восторгался видом красивого, гористого ландшафта с башнями древнего замка, гордо расположенного на скале, видом шумных озер, ужасных сражений, а также различными улицами, их богатыми уличными сценками.»

«Венцом нашему искусству, должно послужить умение показать восход и закат солнца, воспроизвести, по возможности (!), сильную бурю, с молнией и громом, дождем, ветром и градом, и, когда нужно, и снегом, короче говоря, все явления природы мы искусно должны показать публике» («Труд и Забава», 1907, № 1).

Как вижу его при этом: серьга в ухе поблескивает, а к усам прилип клочок селедки. Сидит на кухне и философствует.

И кажется ему, упоенному, что слушают его не дети, а самые субтильные судомойки, и, «чтобы обнаружить пред ними свою образованность», он заявляет скороговоркою:

– «Палец токарного станка прикрепляется к станине помощью болта, который вводится в борозду пальца и также в борозду станины и затем привинчивается под столом станка гайкою. Суппорт может передвигаться вдоль стола, а лопасть суппорта вкладывается в подручник стержня» (№ 15–16).

Что такое суппорт, что такое лопасть, что такое подручник, что такое борозда, что такое станина, – этого, конечно, не знает никто, но в том-то и обаяние всякого лакейско-

[1] «Труд и Забава». 1906. X.

го красноречия. И, окончательно вообразив себя в избранном обществе господской кухни, этот детский журнал задал (детям!) такую загадку:

— Без рук, без ног, на бабу скок!

Должно быть, при этом он даже ущипнул какую-нибудь Секлетею, и та засмеялась пронзительно:

— Хи-хи-хи!

Но все же — как допускают наши педагоги, наши матери и отцы, чтобы воспитание детей было вверено кухонному мужику? У нас есть родительские кружки, комитеты, почему не восстанут они против подобных журналов! И зачем бездействуют общества защиты детей от жестокого обращения?

* * *

Я уже не говорю про то, что в одном только номере этого «детского» журнала — по моему подсчету — двадцать восемь раз рекомендуются детям острые ножи, спиртовые лампы, пилы, стамески, топоры, выжигательные какие-то аппараты и прочие колющие, режущие и жгущие принадлежности, весьма мало пригодные для детской (1908 г. № 5).

Матери, берегите детей!

Нередки в этом детском журнале такие, например, невинные рецепты:

«К полученному отвару прибавляют столько раствора индиго в крепкой серной кислоте, пока смесь не примет зеленый цвет» (1907, № 19–20).

Или:

— «Гарансис представляет собою краску, полученную из мерены, которая обработана серной кислотой» (1907, № 21).

Даже в невинной статье о детском театре — и то большую роль играют огненные языки, спирт, огонь, порошок стронцион.

Так и мелькают слова: «винно-каменная кислота», «хромокислая окись свинца», «серная кислота», «крепкая серная кислота», и отлегает от сердца, когда натыкаешься на такие строки:

— «Хотите представить на столе пушечный выстрел — с

громом, молнией, и всеми атрибутами, так действующими на нервных особ»? (№ 15–16).

Все-таки гром и молния лучше, чем серная кислота.

Иногда журнал вспоминает, с кем он имеет дело, и на минуту смягчается:

Боишься ты? – какая глупость!
Такой большой! мы не в лесу.
Иди сейчас, не то пойду я
И живо розги принесу.

Где же и место розгам, как не в детском журнале!

Но скоро сознание опять покидает его, и он снова бессмысленно шепчет вызубренные откуда-то слова, прельщая ими соблазнительных судомоек:

– «Лампочку можно накаливать аккумуляторами или элементами, если сила тока 5 ампер, то можно поместить лампочку 6 вольт (4 норм. свечи). Рубиновое стекло RR держится металлическими полосами ZZ».

Журнал взялся научить детей различным ремеслам, включая сюда и... стихотворство («на тот случай, как объясняет он, если когда-нибудь уж очень понадобится написать один-два куплета, хотя бы (!) в поздравительном письме на имя тети или дяди»). Но к задаче этой относится он чисто платонически и больше всего, – как мы видели, – любит растекаться такими периодами:

«При постройке театра, которую мы имеем в виду, большим подспорьем послужит нам умение владеть пилою, рубанком и стамеской, а также ножом, ножницами и еще многими другими вещами, как клеем и т. п.»

«Работа может быть производима не только театра (!) в малом виде, но и в большом».

«Постройка более крупного размера театра представляет некоторые трудности, но в том и состоит весь интерес, чтобы преодолеть эти трудности, сделать хорошую вещь. При сооружении сцены мы постараемся не отставать от настоящей, во всех деталях стать возможно ближе к истине».

Он говорит все тише и тише, и, наконец, его речь превращается в какое-то невнятное бормотание.

Пусть добрая Акулина уложит его где-нибудь в уголке, он проспится, и снова будет так же обольстителен, как и раньше.

* * *

Дать детям «Задушевное Слово» — это все равно, что поручить их воспитание коммивояжеру.

Дать им «Труд и Забаву» — значит избрать их наставником кухонного мужика. Оба эти журнала стоят по ту сторону литературы, и единственно возможное отношение к ним — пренебрежение.

Переходя к журналам «Юная Россия», «Родник», «Семья и Школа», «Юный Читатель», попадаешь в другую атмосферу. Здесь любят и чтут ребенка, не лгут и не виляют перед ним, говорят с ним трезво и спокойно. Как-то так заранее решили эти четыре журнала, что ребенок это просто уменьшенный человек, со всеми запросами и настроениями взрослых — только поменьше. И вот «Родник» — дает при своих номерах газету: «Голод в России», «Женщины требуют избирательного права», «Открытие Государственной Думы», «Съезд эсперантистов» и т. д.

А «Юная Россия» дает детям книжки, где наша вера в прогресс, наши страхи и радости, наши машины и наше электричество — все суеверия «взрослой» интеллигентской души заранее навязываются ребенку. Здесь ничего не берут у ребенка, и все дают ему свое, самое лучшее свое, — своего Линкольна и своего Ломоносова, свое «земля это шар, только сплюснутый у боков», и даже своего «Карла Маркса». В этих прекрасных статьях и очерках, написанных таким умелым, доступным языком (особенно удачным у «Юного Читателя»), где какая-нибудь сложная и часто мучительная идея, выстраданная человечеством, пересказывается так понятно, что ее поймет и грудной ребенок, — мне отдаленно чудится близорукое самодовольство современного интеллигента. «Мой мир — самый лучший, все приобщитесь к нему». И вот:

— «За последнее время большой интерес вызвало изобретение, обещающее произвести переворот *в области железнодорожного строительства и отразиться на торговле, промышленности, эмиграции* и т. д.: английский инженер Бренен изобрел однорельсовую железную дорогу» («Родник», 1907, № 19).

Но не фальшивы ли все эти стремления дать ребенку нашу торговлю, нашу эмиграцию, наше железнодорожное строительство, нашего инженера Бренена — не основыва-

ются ли они на том важнейшем заблуждении, *будто ребенок есть уменьшенная копия взрослого, будто, если взять взрослого и равномерно убавить каждое его свойство, то и получится ребенок.*

Для такого-то абстрактного, выдуманного, несуществующего ребенка и работают эти превосходные журналы. Но ведь настоящий ребенок не хочет уменьшенного мира, не хочет микроскопического Линкольна, микроскопического Маркса, микроскопического прогресса, микроскопической астрономии, публицистики, действительной жизни. Он создает свой мир, свою логику и свою астрономию, и кто хочет говорить с детьми, должен проникнуть туда и поселиться там. Дети живут в четвертом измерении, они в своем роде сумасшедшие, ибо твердые и устойчивые явления для них шатки, и зыбки, и текучи. Мир для них, воистину — «творимая легенда». Все необычайно, только что начато, все неожиданность и творится впервые, сейчас, на ходу. Как им радоваться инженеру Бренену, который пришел и отразился на какой-то торговле, на какой-то промышленности и эмиграции, ежели в их мире этим понятиям нет места, они привнесены туда насильно и решительно ничего не означают. Ребенок добр и великодушен: он впустит их к себе и поверит в них, и заживет с ними, но этим еще прибавится к нему новый груз неосязательных слов и непрочувствованных чувств, которых у него и без того много и с которыми к двадцати годам он неминуемо утратит самостоятельность.

Поменьше давай читателю и побольше бери у него, — вот девиз, с которым должен выступить детский журнал. Иначе как бы все его стремления не оказались особым видом утонченного духовного насилия. И слишком мало инициативы развивают в детях эти журналы. Для ребенка раскрасить картинку, склеить коробочку или (если он старше) устроить сад, пустить змей, — в тысячу раз полезнее всех на свете Линкольнов и Бренонов.

Вот «Золотое Детство», «Светлячок» и «Маяк» — чего только за год они не дадут детям для склеивания, раскраски, рукоделия. И работы из проволоки, и картонный театрик, и выкройки куклиных платьев, и даже кинематограф — зададут детским рукам и глазам работу, и до чего это превосходно.

А «Всходы» и «Родник» и т. д. гордо пишут на своем зна-

мени: «Волга впадает в Каспийское море», — и знать ничего не хотят. Они благонамеренны, они честны и старательны, но видали ли они когда-нибудь хоть одного живого ребенка?

* * *

Вглядитесь, например, повнимательнее в этот «Родник», в этот детский «Вестник Европы», орган «интеллигентов»-малолеток.

Раскройте, где придется, читайте:

— «Акрополь» — это древнейшая часть Афин, которая сохранилась со многими своими грандиозными, разрушенными храмами несмотря на слишком (стиль-то каков, обратите внимание) тысячелетнюю давность их. Он представляет собою огромную скалу, возвышающуюся над уровнем окружающей поверхности земли на 150 слишком метров»[1].

Согласитесь, что только золотушному, интеллигентскому петербургскому мальчику (и непременно, непременно — онанисту!) можно предлагать подобные строки, вольное подражание учебнику Янчина, и разве не специально для онанистов напечатана в этом журнале такая статья:

Товары, которыми торгуют на Калашниковской бирже

...«Большинство хлебных товаров с Калашниковской пристани идет за границу, и в этом ее (?) главное значение для земледельческой России.

«Товары эти суть следующие (так и сказано: «суть следующие»): пшеница, рожь, гречневая крупа, горох, ячмень, отруби пшеничные и ржаные, ржаная мука, льняное семя и выжимки».

Приятно, я думаю, какому-нибудь второгоднику придти из постылой гимназии, забросить постылый ранец, вымыть руки от постылого мелу и — в воскресение — засев за «свой» журнал, найти в нем «товары, которые суть следующие», «отруби пшеничные и ржаные», и «скалу, возвышающуюся над уровнем окружающей поверхности на 150 слишком».

---

[1] Я беру все примеры из одной и той же книжки «Родника», чтоб меня не упрекнули в нарочитом подборе. Это майская книжка за 1906 год.

С ужасом бежит он от них к беллетристике журнала, к его повестям и рассказам. Но и там его ждет все та же «Калашниковская биржа». Вот отрывок из повести «Горбун»:

«...Иван Васильевич рассказывал про землю, что она похожа на сплюснутый немножко шар; что она вертится около какой-то оси, и от этого бывает то день, то ночь.

– ...Вот этот шар изображает собою всю нашу землю, – доносилось до Матюшкиных ушей: –весь земной шар. Этот прибор называется глобусом... Глобус! – крикнул учитель громче задним, которые не расслышали название...» («Родник», май, 1906).

Школьнику вспоминается Янчин; он опять перелистывает несколько страниц и с отчаянием читает:

«Для этого разводят дифтеритную палочку на хорошей питательной среде, пока она (среда или палочка? – *К. Ч.*) сильно не разрастается. Потом (слушайте! слушайте! слушайте!) фильтруют через особые фарфоровые фильтры, чтоб отфильтровать жидкость от самих бактерий. Жидкость эта содержит дифтеритный яд или, как его называют, – токсин» («Родник», май за 1906).

Школьник бросает книгу и бежит покуситься на самоубийство. Когда его спасают, он бормочет в бреду:

– Фильтруют через фарфоровые фильтры, чтобы отфильтровать...

* * *

Ни одной улыбки, ни одной сказки, ничего настояще-детского. «Родник» цитирует «Пермскую Земскую Неделю» и «С.-Петербургские Ведомости» и ни минуты не может обойтись без какого-нибудь подстрочного примечания. Правда, недавно он затеял слегка пошутить с детьми, посмеяться, – но лучше бы он и не пробовал:

– Девочка, – рассказывает он, – выпала из окна и при этом «описала в воздухе параболическую траекторию равноускоренного движения, согласно законам падения тел» («Родник» 1908, с.46)

И еще:

– Фенульяры полетели на своих vis-a-vis с силой, равной их массе, умноженной на квадрат скорости» («Родник» 1908 г., III).

И еще:

– Люди заспорили «о семьдесят втором дѣсятичном знакѣ Нейперова логарифма числа 0.000.000.042» («Родник», V) и принялись за «несложные вычисления, чтобы определить вероятную траекторию метеора» – неправда ли, веселые шутки у этого детского журнала!

Не понимаю, почему в отделе юмористики он не печатает геометрических задач! То-то порадовались бы иные родители!

Ведь есть же среди нас такие Угрюм-Бурчеевы, которые любят, чтобы их дети «не баловались». И им, я уверен, нравится, что дети вместо журнала получают ежемесячный учебник с «параболической траекторией равноускоренного движения».

– Сиди смирно, не дрыгай ногами, читай «Родник»!

И бедный ребенок читает, например, рассказ «Божье наказание» («Родник» 1908, VIII), в котором двадцать три подстрочных примечания; читает, что «сомальский осел (equus somaliensis) водится на полуострове Сомали, начиная с 8 град. с. ш., а также по побережью Красного моря до Массавы», что онагр (equus onager) водится в Персии, Белуджистане и северо-западной Индии, а джиггетай, кулан, или кианг – на плоскогорьях Средней Азии, подымаясь здесь на высоту 1200 метров» («Родник» 1908, № 24) – и пусть кто-нибудь докажет мне, что давать ребенку подобные вещи не значит превращать его в гоголевского Петрушку или, в лучшем случае, навеки отбить у него охоту от всякого серьезного чтения.

Пускай бы «Родник» был учебником; что ж, и учебник хорошая вещь! В прошлом или в позапрошлом году, например, он чуть не через все свои книжки тянул статью «Наши садовые цветы, их родина и история». Что ж! это очень хорошо. Какая, в самом деле, это могла бы быть прекрасная статья, сколько могло бы быть обобщений, сколько поэзии, сколько интереснейших выводов! Вот прочтите в прошлогоднем «Задушевном Слове» статью г. Новорусского о грибах, – ведь оторваться нельзя; жалеешь, что так коротка. (И как она туда затесалась!) А в «Роднике» из этого вышел какой-то подробнейший и безнадежнейший «Иллюстрированый каталог», – вроде тех, что печатаются в садоводствах!

«Другим выдающимся растением наших садов, полученным из Вест-Индии, является ипомея (ipomea purpurea)

(рис. 66), имеющая теперь множество разновидностей. Эта ипомея была привезена к нам еще в 1629 году и носила сначала научное название вьюнка, «Convolvus major»...

«Кроме этой пурпуровой ипомеи за последнее время в садах наших появились еще две другие, прелестные для (?) южных губерний ипомеи — ipomea versicolor, известная больше под названием Мина Лобата (Mina lobata) (рис. 67), привезенная в Европу из Мексики в 1844 году, и менее распространенный у нас южно-американский вид I. Quamoclit» и т. д.

Не знаю, как вам, а мне это кажется преступлением. Писатель для взрослых может быть бездарным, сколько угодно, но писатель для детей обязан быть даровитым. В детской литературе вопрос о праве на бездарность не такой уж праздный вопрос. В «Роднике» же есть, например, два почтенных писателя, Н. Ф. Золотницкий и П. Вольногорский, которые, по-моему, этим правом весьма злоупотребляют. Я бы их на пушечный выстрел держал вдали от детей. Нет такой темы, нет такого интереснейшего вопроса, которых бы они не превратили в каталог, в перечень собственных имен и латинских названий и к которому они своими писаниями не внушили бы детям отвращения навеки-веков; и такие превосходные вещи, напечатанные в самом же «Роднике», как «Новозеландский Наполеон» г-жи С. Караскевич), «То, что было чудом» г. М. и «Вдоль берегов туманного Мурмана» г. К. Носилова, только ярче оттеняют беспомощность всех этих «ипомей» и «сомальских ослов».

Но, конечно, не в «ослах» дело, а дело в общем тоне журнала. Общий же тон — рационализм, утилитаризм, фребелизм, побольше «полезных» сведений, поменьше «мечтаний», стишки почестнее и покривее, и за всем этим, — повторяю, — самая нелепая российская интеллигентская «философия», будто дитя — это уменьшенный взрослый, и будто нужно все темы, интересующие взрослых, сунуть под микроскоп, и тогда получатся темы для детей!

Нет, задача детского журнала вовсе не в том, чтобы лечить детей от детского безумия — они вылечатся в свое время и без нас, — а в том, чтобы войти в это безумие, вселиться в этот странный, красочный, совершенно другой мир и заговорить с детьми языком этого другого мира, перенять его образы и его своеобразную логику (потому что своя в этом другом мире логика!), как это в последнее время хорошо

уловили в Европе. Прочтите сказки Киплинга, «Алису в волшебной стране», отыщите в Москве в альманахе Ив. Белоусова превосходную сказку Леонида Андреева «Бедный Волк» (кажется так?), — и вы поймете, о чем я говорю. От взрослого к ребенку — это неверный путь. Нужно педагогам «обратиться» и самим «стать, как дети». Иных путей нет, и не надо иных путей. Еще Толстой кричал когда-то об этом, но его никто не услышал, и он сам не услышал себя. Если мы, как Гулливеры, хотим войти к лиллипутам, мы должны не нагибаться к ним, а сами сделаться ими. «Родник», говоря с детьми, чувствует себя Гулливером, и в этом его — да и его ли одного — основной, главный грех, и за это мы должны отнестись к нему с осуждением.

* * *

Я вполне понимаю смятение и ужас В. В. Розанова, когда он на каком-то собрании родителей услыхал о подобном журнале для взрослообразных детей. — «Боже, — воскликнул этот проницательный педагог, — неужели до такой степени у всех выросла одна большущая газетная голова. Из папье-маше... Не живая, не кровная. В сущности, в глубине, не своя».

«В длинном заседании, таком тихом и скромном, — рассказывает В. В. Розанов дальше, — я пережил то, что переживают зрители в «Театре ужасов», который, кажется, был на Литейной. «Как человека гильотинируют», «Как человек умирает от ужасной язвы», или «Нападение Индейцев»... Здесь были эти же сюжеты: «человек с отрубленной головой», «умер от язвы», «напали Индейцы». «Индейцами» оказались ужасные «культурные идеи», — «общеизвестные и общепризнанные, — которые съели живую душу у матерей: и эти матери показались мне ужасающе несчастными!

Как — не почувствовать своего ребенка!

Быть матерью только по внешности, а на самом деле не иметь вовсе материнского содержания, такого особливого и оригинального в мире!! Все «содержание» иметь «от Вестника Европы».

Незаметно вместо вопроса «о наилучшем детском журнале» матери обсуждали собственно вопрос о наилучшем журнале для себя, для взрослой и образованной женщины, с «гимназией» и «курсами», для «гражданки».

В том и ужас, что это было совершенно не замечено, ни одной не пришло на ум, что это совершилось неуловимо. Неуловимо с первого же слова все стали обсуждать программу и устройство, идеалы и задачу журнала для себя!!

Поразительно.

Но никто не поразился.

Ни у одной матери не было представления о ребенке, как о чем-то другом, нежели она сама. Точно они не видали своих детей. Не видали не только души ребенка, но и физического его существа: «вот такой пузастый, с молочными губами, с вопросами то нелепыми, то трогательными. С миром мыслей и предчувствий, точнее — предмыслия и предчувствия, — до того оригинальным, своим, до того особливым, что не придет на ум приложить к ним схемы из «Вестника Европы».

С миром невинности!

С миром наивности!

Где все сказка и религия. Все миф. Где есть предчувствия гроба, смерти, Бога, совести, греха... но до того в новых очертаниях, не в таких, в каком знаем мы, взрослые.

Все матери точно говорили залпом:

— Скорее превращайте его во взрослого! Вот как мы... Пусть не теряет времени: долбите ему астрономию, историю религий, о камнях и раковинах («естествознание»)... Обо всем, пожалуйста, обо всем. Пожалуйста, поскорее... Да чтобы названия-то все знал... И понимал чтобы все...

Во мне шевельнулся Вольтер:

— А ведь мамаши не знают, чего они собственно хотят. В Москве есть универсальный магазин «Мюр и Мерилиз». Этажей в шесть, и где все можно найти. Матери собственно задаются желанием приготовить из детей своих идеального «мальчика-приказчика» к Мюр и Мерилизу: малого шустрого, «на все руки», расторопного, «обо всем имеющего понятие» и особенно знающего «названия» всех вещей, а также значение и употребительность всякой вещи. «Мальчишка дока», — как называют «хозяева». Но неужели это не чудовищно, что обеспеченные, богатые и европейски образованные русские матери семейств не имеют никакого другого идеала человека, как «дока-приказчик в магазине?» Это до того прискорбно, это до того прискорбно, это до того грустно, это так страшно»...

Как будто специальною целью своею поставили эти бла-

городные матери: обезличить, обаналить своих детей, — и тех же результатов добивается теми же средствами «Родник». Да и один ли «Родник»!..

* * *

Та же «философия» у детского журнала «Семья и Школа». Вообще это копия «Родника» — нечто вроде его бедной родственницы. Журнал пробавляется все больше переводами, и из 30 беллетристических вещей ровно половина была в 1907 г. переведена с английского, и эта половина занимала в журнале три четверти места.

Так что читатели «Семьи и Школы» беспрестанно вращаются среди лордов, пенсов, полисменов, стерлингов, «дорогих сэров», Поттеров, Браунов, Ролинзонов, кэбов и брекфестов, — но делает ли это их жизнь хоть немного веселее и краше?

Они читают этот журнал и сморщиваются, как старички. Собачья старость, уныние, — только мигают глазами — и на лице у них выражение: не пейте сырой воды!

Таковы же читатели «Всходов», — журнала бедного красою, бедного фантазией, но с «географией», «этнографией» — и даже литературной критикой!

Матери, пожалейте детей!

* * *

Что отвратительно поставлено в детских журналах —это стихи. Детских поэтов у нас нет, а есть бедные жертвы общественного темперамента, которые, вызывая во всех сострадание, в муках рождают унылые вирши про Пасху и Рождество, про салазки и ручейки; которым легче пролезть в игольное ушко, чем избегнут неизбежных «уж», «лишь», «аж», «вдруг», «вмиг»; для которых размер — проклятье, а рифма — Каинова печать. Прочным убежищем для этих калек год или два назад служил журнал г. Баранцевича «Красные Зори», где издавна раздавались такие слова:

— «Из стремян Борис наш сам (!) уж (!) на шею въехал (!). Непокорный удилам, конь летел, не ехал (!)».

Или:

Все распухло: щеки, губы,
Даже слезы на глазах («Кр. Зори», 1907, № 7).

Или:

Светила дня (!) склонялись. («Кр. Зори», 1907, № 12).

Если это стихи, то выборгское воззвание — октавы, а осведомительное бюро не Петрарка ли? При таком невероятном убожестве «Красные Зори» питают странное влечение именно к стихам. То расскажут о лягушонке, что

...в поспешности о т ч а й н о й (!)
По полям, лесам н о с я с я (!),
Все он пятки отдавил,

то дадут детям целую книжку выдержек из хрестоматий, и без того им опостылевших, то (непонятная жестокость!!) закажут какому-то суконщику пересказать стихами русские сказки, и этот варвар отмерит им версты полторы таких «стишин»:

Конь ее, чтоб в три дня мог,
Знать старик умом не плох:
Прежде ехали окольной
Пять лет тихо, а проворно —
Ровно три года,

и отмерит не без труда, ибо вместо ручья у него, у бедного, будет ру́чей (122); вместо крупа — кру́па (27); вместо щепки — щепки́ (3); ко́за (15); ку́манек (6) и т. д. Удивительно ли, что после «Красных Зорь» ваш сын скажет вам: — «Носяся в отчайной поспешности, мо́и кони ехали по зе́мле».

* * *

Вот журнал «Семья и Школа» (о котором я только что говорил) и решил «восполнить этот пробел» и выпустил для детей сборник «Новые поэты». Беда только в том, что эти поэты либо не новы (Вл. Соловьев, О. Чюмина, П. Я.), либо новы, но не для детей (Башкин, А. Федоров, Бальмонт, Бунин), либо и новы, и для детей, но не поэты (Н. Фольбаум, Германов, Белоусов).

И вот как отзывается об этом сборнике Бальмонт: «Составителю сборника, быть может, неизвестно, что ребенок свое детское впечатление запоминает на всю жизнь, и что подсунуть ребенку шелуху, когда можно дать ему драгоценные зерна, есть поступок дрянной и преступный».

«Издание такой книжки, как «Сборник» г-на В. Л., я считаю фактом литературной наглости» («Весы», 1908, III).

Как уже сказано, в этом «наглом» сборнике попадаются и новые поэты, но К. Д. Бальмонт не заметил, что они все целиком похищены у детского журнала «Тропинка»: Вяч. Иванов, Allegro, С. Городецкий, Блок.

«Тропинка» именно объединила вокруг себя таких писателей, как Allegro, Андрей Белый, А. Блок, З. Гиппиус, Сергей Городецкий, Вяч. Иванов, А. Ремизов, Дм. Мережковский, Федор Сологуб, и таким образом воскресила для детей угаснувший «Новый Путь», неожиданно обнаружив, что все эти писатели нужны детям, и знают детей, и хранят про себя новые формы детской литературы. Много горячего, истерически любовного накопилось для детей у покойной Зин. Аннибал и вылилось в прекрасном ее «Трагическом Зверинце». Сологуб и Гиппиус — давние знатоки детской души. Много совсем новых небывалых чертенят, подснежников, мухоморов и Зайчиков Ивановичей нашли на лесных опушках Ремизов и Allegro. Блок создал превосходные примитивы:

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли с собой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

А Сергей Городецкий, — теперь он повыдохся, но его детская книга «Ия» —для каждого ребенка сокровище, — она так оригинальна и грациозна. Я помню оттуда такое:

Месяц с Солнцем стал считаться,
— Кому раньше подыматься:
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел Ветер погулять.
Напустил он птиц крылатых,
Облак серых и лохматых и т. д.

Дальше не помню, но помню, что хорошо. И как очаровательно это:

Зима в окно стучится
И время к вечерку.
Пора чайку напиться,
Пожалуйте к чайку.

Уселись куклы чинно
За кругленьким столом,
– «Головка беспричинно
Болит», – сказала Мом.

«У Мом всегда капризы»!
Ответил кучер Тпру:
— Зачем вы бок у Лизы
Вспороли поутру?»

– «Мне нужно было тряпку
Стереть одеколон».
– А кто вчера Арапку
Засунул в граммофон?»

– Ах, кучер неприличный,
Ступайте вон скорей!
Чтоб были в час обычный
Мне сани у дверей».

«Тропинка» (идеальная, конечно, а не та жидковатая, которая лежит перед нами) говорит не для детей, и не про детей, а именно от лица детей.

Вышеприведенные стихи Блока и Городецкого словно написаны детьми. Тем-то и дорога «Тропинка», что в ней таится эта возможность: как-то по-новому, без тени насилья и лганья подойти к ребенку. Эта возможность сказывается в рисунках Сабашниковой, в повестях Мирович, в прекрасных статьях К. Соколова, и за это ей можно простить и скудость литературного материала и многие другие грехи. Всякий стишок «Тропинки» – не она поет детям, а, кажется, дети пропели ей. А она только почтительно вслушивается и, главное, верит им, верит в этот мир детских видений и страхов, – и вот у нее забор разговаривает с бочонком, а на малиновом кусту растут пряники и конфеты, а Зайчик Иваныч ставит самовар; дубы, сосны и ели получают под старость дар слова – особого, древесного слова, – и «вот откуда», объясняет «Тропинка», «этот мудрый долгий и глубокий гул в лесу»; солнце дергает своих лучишек за волосы, а кошки-

курнышки поднимают хвосты, как знамена, — и все это очень драгоценно, и если можно в чем упрекнуть «Тропинку», так это именно в том, что она и знать не хочет городских чудес и городской чертовщины. А и в городе немало бесов, немало сказок и призраков. Разве дети не создают порою мифов из столовых ложек, — и кто же должен помочь им в этом, как не «Тропинка». В «Тропинке» одна только комнатная городская писательница — г-жа Манасеина, напоминающая о таких мифических героях детского городского эпоса, как полотеры, швейцары, дворники.

А у всех остальных — города совсем не видно. Даже Александр Блок, даже Вяч. Иванов, даже Андрей Белый — эти городские поэты, порожденные городом и для города, говорят о белочках, об оврагах, о теплом весеннем ветре, о том, что

Кто-то с полночи нагреб
На проталину сугроб,

совершенно забывая, что у большинства из нас первые впечатления: крыши, трубы и городовые. Впрочем, всмотримся в эту «Тропинку» поближе, она интересна и в другом отношении.

II

Христос и звери, звери и Христос — вот и вся программа этого журнала.

Попадаются, конечно, и люди, но они либо со Христом, либо со зверьми, а сами по себе выступают редко. В «Тропинке» им делать нечего. Жмутся куда-то к какому-то уголку и «Амичис», и «Пушкин», и «Шекспир», зато какое раздолье ящерицам, змеям, Мадоннам, тараканам, Вифлеемам, божьим коровкам, Праведным Ноям, Свинкам-Золотая Щетинка, Зайчикам Ивановичам, святым Елизаветам, и в такой все это спутано клубок, что никак не отдерешь одно от другого и не знаешь, где кончается Мадонна и где начинается таракан: дружно и тесно, одною «кучей» живут они в «Тропинке». Совсем как в ковчеге, — из этой самой «Тропинки», — где праведник и святитель преудобно живет со змеями, ласточками, комарами, где змея ласточке хвост выела, а кошка проглотила дьявола.

Спуталось дьявольское, звериное, божеское, и мило все это ребенку, вот как дворовый пес Валетка. И Христос не страшен, и черт не страшен, а все уютное, очень «домашнее»: домашний Бог и домашний зверь — интимное, доброе, «комнатное».

«Адрес черного таракана, — говорит «Тропинка», — такой: третья щель, норка № 7», — уж чего интимнее, и как это сближает, сдружает ребенка с тараканом.

«Сам Христос, — говорит «Тропинка», — идя на Голгофу, раскрасил пасхальные яйца»; это тоже до чего интимно, и как это сближает, сдружает ребенка со Христом.

С Богом и со зверьми «Тропинка» запанибрата. Больше всего она любит «проделки», «проказы» зверей, а за одно, —почему бы и не выговорить? — «проделки», «проказы» Бога.

Господь разбивает на кусочки старую луну и делает из осколков звездочки, — разве это не Господни «проказы»? Господь разговаривает с совою и даже дает ей поручения. Господь заключает условие со Снегом. Господь приказывает Старичку-Часовичку нести бремя веков, — и если случится, что среди этих похождений Господь озябнет, то «Тропинка» призовет детей и скажет.

— Христос озяб — Его укройте!

А то как бы Ему не простудиться. Простуженный Бог — это, кажется, самостоятельное изобретение «Тропинки», не предусмотренное никакими теологами, — и, по-моему, этот божий насморк делает Бога для детей в тысячу раз милее, роднее, чем все толкования учебников, «одобренных и рекомендованных» для «употребления» в младших классах[1].

Там, в «Тропинке», Бог почти товарищ, свой, деревенский Бог, а здесь, в учебничке, это что-то до того путаное, неинтересное, что и думать о нем не хочется, не то что его любить.

И главный мой упрек «Тропинке», что она не всегда верна себе. Зачем, например, поэтесса П. Соловьева так настойчиво старается внушить малышам отвлеченные богословские идеи, — хотя бы о том, что своим воскресением Христос победил нашу смерть (стр. 32), или что Христовы страдания были нужны для неведомых божественных целей

[1] См. «Тропинку» за 1908 г. с. 17, 115, 326, 334, 732, 965.

(стр. 1000); напрасно также покойная Чюмина переводила там для детей стихи о том, что святая Дева, «любимая в Слове», воплотила зарю Божьего света» и «всемогущею стопою сокрушила главу коварному змею» (стр. 1117), — напрасно, ибо все это разбивает тот образ близкого и понятного Бога, который только что так хорошо красил в этой «Тропинке» яйца, договаривался с совой и дробил луну на кусочки.

* * *

Но, — такой или другой, — а вообще-то нужен ли детям Бог?

Не лучше ли будет и для детей и для Бога, если дети до поры, до времени проживут безо всякой даже мысли о каком-нибудь «Вифлееме», «Благовещении», «непорочном зачатии» и «праведном Ное»?

И, может быть, верно то, что я прочитал в одной новенькой книжке: будто и «Ной», и «Вифлеем», и «непорочное зачатие» «имеют расслабляющее влияние на ум, и на чувство, и на волю ребенка», а также «принижают и уродуют личность воспитанника». Не нужно религиозного воспитания: вот и все религиозное воспитание, — утверждает эта новенькая книжка, и что, если она хоть отчасти права?

В самом деле, оставьте на минуту «Тропинку» и подумайте вместе с автором этой книжки, что должно делаться в голове и в душе у семилетнего, восьмилетнего мальчишки, которому изо дня в день авторитетнейше сообщается о бессеменном зачатии Иисуса Христа; о неопалимой купине; об Антихристе; о чертях; о борьбе Иакова с Богом (причем Бог повредил Иакову ногу); о сотворении Евы из ребра Адама; о превращении жены Лота в столб; о превращении воды в вино, о хождении звезды; о том, что Бог-Сын искупал род человеческий у своего же Отца; о том, что Бог умилостивлял Самого Себя муками своего же единственного Сына, — подумайте, как все это способствует развитию логики, вере в обязательность разума, как это проясняет и укрепляет семилетний, восьмилетний ум!!

Автор ни секунды не думает оспаривать догматы или высмеивать библейские факты. Напротив, он — опять-таки справедливо — говорит, что глумятся над этими (пускай глубочайшими и труднейшими) истинами именно те, кто предлагает их восьмилетнему уму.

Если мальчишка, — говорит этот автор, — прослушав урок о том, что Бог один, но в трех лицах, представит себе Бога чем-то вроде урода о трех головах, то в этом богохульстве виноват будет только воспитатель.

Отвлеченности недоступны семилеткам, и поэтому, — настаивает наш автор, — сообщать детям вещи, которые не могут быть поняты их разумом или представлены в наглядных образах, — это значит приучать их довольствоваться словами вместо мыслей, это значит исподволь, систематически развращать их ум, создавать вредные умственные привычки.

И опять-таки он совершенно прав!

Кроме того, внушая ребенку, что Бог — причина всего, что все от Бога, не убиваем ли мы в самом зародыше пытливость ребяческой мысли?

И так дальше, и так дальше...

В воздухе звенит без конца:

— «Церковно-религиозное воспитание притупляет силу и ясность ума».

— «Религиозное воспитание препятствует развитию нравственного чувства!»

— «Религиозное воспитание препятствует развитию любознательности, логичности, научного понимания окружающих явлений».

— «Религиозное воспитание создает душевную раздвоенность, ослабляет и парализует волю».

— «Религиозное воспитание создает слабость религиозного чувства».

И так дальше, и так дальше, покуда всеми фибрами своей души не возненавидишь религиозное воспитание, и покуда с ненавистью не швырнешь от себя прочь эту слишком уж боголюбивую «Тропинку».

Книжка, о которой я говорю, называется «О религиозном воспитании детей». Сочинил ее г. Казмин-Вьюгов. Читаю ее и восхищаюсь: лихо, молодцевато, как по нотам, — раз-два-три! раз-два-три! — справляется (или даже расправляется) автор со своею слишком благодарною темою.

Ото всех «ковчегов» и «Вифлеемов» только пыль столбом; не успел оглянуться — все кончено: автор глядит Наполеоном, и вокруг него груда обломков.

И ведь хуже всего то, что он совершенно прав: ветхоза-

ветный Бог, то и дело посылающий людям моры, засухи, египетские казни, травящий людей медведицами и ядовитыми змеями, ни в коем случае не может служить ребенку хорошим образцом для поведения.

И пускай даже дело изменится к лучшему, пускай даже ото всех библейских жестокостей и причуд перейдут к малышу в учебничек только возвышеннейшие заповеди и заветы евангельской мудрости, — так и то, по мнению автора, ничего хорошего не произойдет.

В самом деле, разве мы не развращаем ребенка, когда внушаем ему эти заповеди и заветы? Мы, например, твердим ему на уроке «Закона Божьего»: «Отдай всю одежду, до последней рубашки!» — но интересно бы посмотреть на ту маменьку, которая поощряла бы сына к ежедневному раздаванию своих новых штанишек и курточек.

Бедная мать, конечно, не виновата, но, что хуже всего, сын это отлично понимает. Он живо, с семи, с восьми лет, свыкается с мыслью, что свои штанишки это одно, а «Закон Божий» — совсем другое. И таким образом, — опять таки справедливо говорить Г. Казмин-Вьюгов, — «создается двуличная, легкая, внешняя религиозность: человек признает религиозные требования слегка, на словах, живет же вопреки им, — но и живет робко, нерешительно, воровски, не имея, в сущности, никакой цельной религии, которая бы объединяла его личность, охватывала его разум, и сердце, и волю» (стр. 37).

Таким образом, в этом конфликте между новыми штанишками и старыми заповедями наш автор становится на сторону штанишек.

И, право, он поступает резонно.

Нужно же что-нибудь одно; а приучать детей к полувыполнению полузаповедей — какое же это будет религиозное воспитание?

* * *

И я вполне был готов согласиться с этой превосходной книжкой, если бы не одно ничтожное обстоятельство.

Это обстоятельство: васильки. Обыкновенные васильки, синие цветочки. Удивляюсь, как мог позабыть о них г. Казмин-Вьюгов.

Вы знаете откуда взялись васильки?

Дело было так: «На горе Голгофе, под страшною тучей, распяли злодеи Христа, а потом, когда ученики взяли Его тело, они зарыли в землю Его крест и два других креста, и посеяли на том месте колючки репейника, белену и дурман, но Бог позвал святого Василия, дал ему душистых райских семян и послал его на землю:

— Сойди и посей их на месте том, пусть цветы твои, как синие волны, распускаясь, колышутся над крестом», и т. д.

Читатель догадался, что это опять «Тропинка».

Она взяла такие обыкновенные, деревенские, русские цветочки — васильки, и заставила такого обыкновенного, деревенского русского святого — Василия — засеять ими проклятую гору Голгофу, и вот уже гора Голгофа стала обыкновенной деревенской русской горой, и даже не горой, а пригорком; и даже не пригорком, а, пожалуй, лужайкой; пожалуй, лесной опушкой — во всяком случае, психологически столь же близкой и родной, как именно лужайка, именно лесная опушка:

Все беленький, желтенький, бледно-лиловый
Да изредка красный цветок.

Нет, даже у Нестерова и Васнецова не нашлось такой мужицкой, народной Голгофы, а между тем в ней-то все дело.

Когда «Тропинка» рассказывает, что Бог красил яйца — это опять-таки деревенский, мужицкий Бог, а отнюдь не тот международный учебник, который толкует о троичности какого-то международного Божества.

Международного Божества не бывает, Бог — ведь это вовсе не эсперанто!

Когда «Тропинка» говорит о «чумазом дьяволе», об «Иуде с кошельком», о «Федориных мытарствах», о «гадючих, брюхатых, языкатых чертях», — то это опять-таки «наше»: наш Иуда, и наша Федора, и наши, несомненно, наши черти.

Недаром «Тропинка» так старательно собирает разные русские «легенды», недаром у ее статей то и дело отметочка: «записано в Томской губернии», «записано в Вятской губернии»; недаром она так охотно дает нам «мужицкие» картины Мясоедова, Репина, Максимова; недаром так часто она поминает «стояния», «деяния», «афонские пояски», «молебны во время засухи», «пасхальную заутреню», «писанки», «крашенки», «непочатую воду», «Ивана Купалу», «завивание

веночков», «величание», — она (может быть, бессознательно!) рвется всеми силами от теоретической, бесплотной религии, от религии «в химическом, так сказать, виде», к религии бытовой, преломленной в наших нравах, нашими нравами оплодотворенной.

Она (может быть, бессознательно!) хочет дать детям религию с мясом и костями, «теплую», «кровеносную» религию, а не ту абстракцию, которая занесена в «одобренный и рекомендованный» учебничек.

Конечно, учебник хорошая вещь, но разве говорить мы учимся по учебнику? разве смотреть мы учимся по учебнику? Дышать мы разве учимся по учебнику? До всякой грамматики — мы уже говорили правильно. Мужицкий говор, при всех отклонениях от грамматики, гораздо правильнее и, так сказать, абсолютнее, чем синтаксис и этимология Кирпичникова. Зачем срывать васильки с мужицкой деревенской Голгофы? Без этих васильков — Голгофа абстракция, почти алгебраическая величина, а с васильками она гораздо правильнее и гораздо, так сказать, «абсолютнее», чем все «Законы Божии для младшего возраста».

И г. Казмин-Вьюгов, а с ним и прочие противники нашего школьного религиозного воспитания, совершенно напрасно становится спиной к религиозному воспитанию *бытовому* —вот тому самому, образчиком коего (весьма несовершенным!) может служить «Тропинка».

Если у Руси нет школы, нет педагогики и вообще нет никакой культуры, то у Руси есть быт, и к этому быту мы, особенно теперь, должны устремиться всеми силами и других за собою позвать, — теперь, когда всюду свирепствует безбытность, беспартийность, «адогматизм» — эта поистине духовная азефовщина.

Г. Казмин-Вьюгов глянул в ту сторону, где мы фантастически наги и нищи, где Победоносцев, синод, циркуляры, — и немудрено, что он закричал: караул!

Но есть же другая сторона, где мы все еще богачи, такие же богачи, как и все другие, и нужно быть страшно слепым, хуже — нужно быть «русским интеллигентом», чтобы не заметить этой стороны.

Г. Казмин-Вьюгов, этаким Наполеоном ворвавшийся в победоносцевский мир, лихо, в пять минут, разрушил его до основания, но когда у этого Наполеона спросили: а что же вы построите на развалинах? — он вяло забормотал что-то

чрезвычайно банальное насчет того, что порою и математика может стать религией, и поэзия, и все, что угодно, даже «история с географией».

— А искусство! — забормотал он беспомощно. — Оглянуться на далекий путь от шалаша до прекрасных форм архитектуры, углубляться в мир музыки, пленительной, могучей, близкой душе, создающей из звуков целые океаны, наслаждаться лучшими творениями живописи, скульптуры, поэзии, — разве все это не дает элементов религиозного чувства.

Эта риторика неубедительна, именно потому, что она риторика. Речь ведь идет не о том, чтобы дать детям суррогат религии, чтобы возможно удачнее обмануть религиозное чувство и подсунуть ему половчее — камень, «очень похожий на хлеб», а о том, чтобы посытнее, пообильнее, поумнее утолить этот голод, дать нужную, удобоваримую, питательную пищу. И эта пища, эта питательная религия — только в быте, и нигде в другом месте.

* * *

Не школьная религия, не догматическая, не «бессеменное зачатие» и не «искупление рода человеческого», а религия бытовая, народная, национальная, — такая близкая к нам, такая несомненная, переплетающаяся с нашей природой, с нашими деревнями, снегами, свиньями, курами, — почти растущая в наших лесах, почти текущая в наших реках, — вот где необходимая религиозная пища для наших детей.

Великолепно говорит по этому поводу известный наш педагог Каптерев, — и я очень рад, что могу привести здесь эти глубокие его слова. Это то, что я писал много раз, но чего никогда не умел так отчетливо и внятно выразить:

«Православная русская церковь, — говорит г. Каптерев, — церковно-православное христианство есть не только известное религиозное воззрение, но и *известный уклад жизни, своеобразный быт, сумма народных особенностей.*

Праздники Рождества и Крещения с колядами, елками, гаданьями, зимними катаньями и удовольствиями, праздник Пасхи с весенним солнцем, куличами и пасхами, красными яйцами, христосованьем и разговеньями после долгого поста, крещенское водосвятие с купаньем в проруби желаю-

щих, Великий пост, службы Страстной недели с звонами и свечками, говенье, Троица с березками, молебны, панихиды, просвирки, лампадки, колокольный звон, — все это сделалось элементом быта у русского народа, все это *выражает известный уклад жизни, а не только религию.*

Бояться упоминания и рассказов об ангелах, чертях, чудесах, разных необыкновенных деяниях и происшествиях нечего, так как дитя — свой человек в области чудесного. Ему кажется удивительным не чудо, а отсутствие чуда, закономерность явлений, о которой оно и понятия не имеет.

У него все личное живет и действует по желанию и намерению, а не по изменному закону.

К такому закону его мысль придет значительно позже. Его не удивишь сообщением, что валаамова ослица заговорила по-человечески потому, что оно еще не уверено, что его домашняя кошка не может говорить. Конечно, и бог, и ангелы, и черти — все будет у него чисто материальное, так как ничего духовного оно ни представить, ни понять еще не может. Словом, для ребенка чудесный материальный, со всевозможными превращениями, исчезновениями и внезапными появлениями, мир есть естественный мир, а настоящий, естественный мир — нечто непонятное и недоступное».

И не оттого ли у «Тропинки» звери так тесно сплетены с Богом, тараканы с Мадонною, зайчики с Вифлеемом, что «Тропинка» выполняет именно эту миссию детского воспитания: она мерит окружающее мерилом «нашего», «национального», деревенского быта, а в деревенском быту пес Валетка такой же близкий и родной персонаж, как чумазый дьявол, намалеванный в церкви, как Иуда «с кошельком», как Федора, ходящая по мытарствам.

Звериный Бог — Божий зверь в данном случае не игра слов, не Мережковский, а сущая бытовая правда.

Вы помните, как это верно у Бориса Зайцева, в рассказе «Священник Кронид», где самое богослужение деревенского попа настолько пропиталось деревней, что стало похоже на косьбу или молотьбу, — и недаром, по словам Зайцева, «в день Егория священнику работа: благословение гуляющему скоту». Этим-то именно и сильна (худосочная во многих отношениях) «Тропинка»: она тоже, вслед за мужицким Богом, благословляет гуляющий скот. Мужик, — повествует она, — вышел раз, вместе с бабой за околицу, увидел зверя-

волчицу и, Христа ради, отогрел и приласкал ее («Тропинка», № 23, 1908 г.). Вот типичная повесть «Тропинки», где так прекрасно выявлена вся эта триада бытового, крестьянского воспитания: скот, Христос и мужик, — главное, главное мужик. Мужиком переполнена «Тропинка»: мужицкие сказки: о Марьяночке, о речке Смородине, о Красном Солнышке, мужицкие песни о мышах, о совиных детях, о коте, о кошке и т. д. Мужицкие пословицы, поговорки, загадки, приметы, обычаи. Стишки на мужицкий лад Беляевской, Пожаровой, Бальмонта, Городецкого. Рассказы из мужицкого быта: Ив. Кондурушкина (превосходные (!), Ст. Кондурушкина, Манасеиной, Вережникова — уж не воскрешение ли это старого народничества — применительно к детскому возрасту», — не того народничества, которое заботилось лишь о «нуждах» народа, а «мнениями» народа пренебрегало, но того, которое хочет жить и питаться именно этими «мнениями», и психику народную ставить, так сказать, во главу угла?...

III

ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ ЗА 1910 г.

* * *

Капитан Ревунов-Караулов занялся воспитанием детей.

Капитан Ревунов-Караулов издает теперь детский журнал.

Название журнала — «Ура». Темы журнала — петлички, маршировки, парады. Запах казармы несется от этих страниц. И вдохновенно сообщает воинственный капитан пяти-шести-семилетним читателям о «мортирах», о «тяжелой артиллерии», об «орудиях крупного калибра», «о двенадцатифунтовых» каких-то пушках (№ 35).

Эстетика членовредительства прививается детской душе.

«Взятие Риги», «Взятие Выборга», «Взятие Сарской мызы», «дело с кавказскими горцами» — смакуется с большим удовольствием, и, если какой-нибудь Редедя кого-нибудь «поразит», «разобьет», «одолеет», «усмирит», журнал подробнейше сообщит своим малюткам-читателям все чины и ордена второй и третьей степени, которыми был награжден за такие поступки герой.

Чины и табель о рангах для этого журнала — святыня. Он даже напечатал однажды для сведения наших младенцев такую, как мы видели выше,

Таблицу Российских Чинов.

Благородие.
Титулярный Советник. — Штабс-Капитан.

Высокоблагородие.
Коллежский Советник — и т. д.

и теперь беспрестанно рассказывает детям, что такой-то получил чин действительного статского советника, а такому-то — такой-то орден, а такому-то — золотая медаль, а такому-то табакерка.

...А такая-то рота «имеет погоны присвоенного полком цвета» (№ 43 для младшего возраста).

* * *

Но я тороплюсь покаяться. «Детского Ура» никакого нет. Называется оно не «Ура», а «Задушевное Слово».

Издает его не капитан, не Ревунов-Караулов, а такой же штатский, как я или вы, citoyen Вольф, тот самый, что в Гостином Дворе.

Вы удивляетесь, не правда ли? Вам казалось, что это журнал о сиротках и мотыльках: «Милые подруги по «Задушевному Слову» — любите ли вы апельсины? Я очень люблю апельсины, а также повести Чарской, — вот что мерещится вам всегда в этом прекрасном журнале. И вдруг — мортиры, парады, осады, — откуда, откуда такое?

Весь этот год «Задушевное Слово» только и бредит редутами, апрошами (?), рекогносцировками, и, если где-нибудь в Шувалове дети, «окаймленные знаменами-флажками», кричали ура, маршировали, занимались военными играми, — то журнал г. Вольфа захлебнется от восхищения (№ 37), а потом пойдет и расскажет детям про «Парад Кадетского Корпуса», про «Подвиг бомбардира Никитина» (№ 49), про «Последний выстрел по Парижу» (№ 27), про «Курсы военного строя», — и теперь до того дошло, что в по-

следнем своем номере он дал сплошную перепечатку из «Русского Инвалида» — о каких-то казаках и распубликовал для малюток-читателей такие прекрасные строки:

Те, кто хранит в себе веры и долга основы,
Пусть в тех именах, верных чести России сынов,
Отыще(у)т и храбрость и силу бестрепетно снова
По первому зову подняться опять на врагов! (№ 21).

Вот что печатает теперь этот Вольф в своем «Задушевном Слове». Не совсем грамотно, но как победоносно!

«Реванш, реванш!» «На врагов, на врагов!» — Что с вами, мой добрый Вольф? Откуда у вас, у штатского, такая военная прыть? Почему это вдруг, ни с того, ни с сего, вы стали из Гостиного рваться в бой? Кто это заставил вас (говоря метафорически!) обменять ваш мирный аршин на шпагу?

Вы теперь влюблены в генералов, — я верю: вполне бескорыстно. В № 6 у вас биография генерала Тотлебена. В № 22 — биография генерала Аргутинского. В № 19 — генерала Скобелева. В № 29 — генерала Витгенштейна. Что с вами, мой добрый Вольф?

И вы так напитались духом этих своих генералов, что в № 37 (для младшего возраста!) поместили *сразу* три военных статьи:

О маршировке детей в Озерках.

О детском полку в Павловске.

О потешных семеновских.

— И восторженно расписали военную «выправку» какого-то удалого восьмилетки: — то-то, небось, радуются на вас ваши генералы.

— Молодцом! — говорят они.

— Рад стараться! — отвечаете вы.

* * *

И, действительно, рады стараться, —я верю, вполне бескорыстно. Но все же — откуда, откуда у вас этакий «гром победы»?

Не стану вникать в причины, укажу лишь на то, что воинственный пыл «Задушевного Слова» не остался без поощрения, и что «Задушевное Слово» не дальше, как в прошлом году, получило такую приятную бумагу:

— «Главным Управлением Военно-Учебных Заведений, циркуляром по военно-учебным заведениям, разрешена

предварительная подписка на «Задушевное Слово», причем приготовительным военным школам разрешена подписка на издание для мдадшего возраста, а кадетским корпусам на издание для старшего возраста — для кадет I и II классов, о чем Главное Управление известило редакцию отношением от 3 ноября 1909 г. за № 26291».

— Видите, дети (как могут сказать люди с душой невозвышенной), как иногда бывает полезно и штатскому вдруг заняться парадами и маршировками. Вовремя крикни «ура», и получишь казенных читателей. А получишь, старайся уж их не терять, кричи и дальше «ура».

«Задушевное Слово» старается, благо теперь объявился новый военный сюжет: восхваление потешных полков. «Радость ребятишек и желание учиться военному строю превосходят всякие ожидания», — пишет «Задушевное Слово». Дети «восхищают военной выправкой». Они «подготовляют твердую основу русской армии из ее верных сыновей» (для младшего возраста для пятилетних детей). Мальчиков, к радости «Задушевного Слова», учат «строю, отданию чести, сторожевой службе», а также им «будет внушаться понятие о долге службы на войне, о присяге и знамени» (№ 37 для младшего возраста).

Можно подумать, что всю свою жизнь «Задушевное Слово» только и ждало, когда же, наконец, детскую превратят в казарму, и сделают педагога — фельдфебелем.

О, недаром «Задушевному Слову» теперь посылает улыбки газета «Россия», и недаром от него в восторге даже сам «Русский» Инвалид».

— «Задушевное Слово», — говорит этот специальный военный орган, — «правильно понимая, что *любовъ к армии* и ко всему героическому нужно прививать с детства, отводит свои страницы рассказам про русских героев», и «весьма искусно играет на струнах неиспорченного детского сердца».

Но я боюсь, что «Задушевное Слово» перестаралось. Знаете ли, *сколько* статей поместило оно об этих «потешных» за последние четыре месяца? Приведу вам полный перечень этих статей:

«Юные воины», № 33.

«Первая рота детей-школьников», № 33.

«Первый народный класс военного строя», № 34.

«Открытие курса военного строя», № 36.

«Потешные семеновские», № 37.

«Детский полк», № 37.
«Юные разведчики», № 38.
«Рота маленьких в Либаве», № 38.
«Телеграмма юных воинов», № 39.
«Потешные семеновцы», № 40.
«Еще одна рота потешных», № 41.
«Военный министр у молодых семеновцев», № 42.
«Потешная рота», № 43.
«Юные разведчики», № 43.
«Смотр потешных», № 43.
«Потешные», № 45.
«Потешные маневры», № 46.
«Потешные конного полка», № 46.
«Смотр потешных», № 47.
«Потешные саперы», № 48.
«Потешный Меленков», № 48.
«Потешные казаки», № 52.

Двадцать две статьи за такой непродолжительный срок — это уже, согласитесь, какая-то лошадиная порция. Можно, конечно, молиться, но зачем же лоб разбивать? Никто от «Задушевного Слова» не ждал и не требовал такой чрезмерной ретивости, и, небось, сами «генералы» смотрят на него с изумлением.

А оно потрафляет еще и еще, и, боюсь, иногда чересчур.

Вспоминая, например, с умилением «взятие Риги», зачем оно рассказывает детям, что осада этого города «стоила русским войскам 10 тысяч человек», а неприятелям — «60 или 70 тысяч человек», и что когда, «истомленные продолжительной осадой, болезнями и лишениями в пище и одежде, разрушительной бомбардировкой, рижане, наконец, сдались», — то «радостно отозвалась рижская победа во всех концах русской земли» (№ 39)?

— 80 тысяч трупов, — и радость?! — изумится каждый ребенок. — Болезни, голод, холод, убийство — и радость?!!

А когда из той же заметки ребенок к тому же узнает, что все эти 80 тысяч человек погибли чуть ли не оттого, что в городе Риге рижане чем-то не угодили Петру, то изумлению его не будет, конечно, пределов.

Эффект получится сильный, но вряд ли тот, какого добивался журнал, внедряющий в детское сердце «любовь к армии и ко всему героическому». Боюсь, что за этот эффект его не очень похвалят. Положительно избыток усердия

только мешает ему. «Вы, знаете, не очень», — посоветуют ему «там». — «Соблюдайте хоть оттенок благородства, — это никогда не мешает».

* * *

Благородством в «Задушевном Слове», как известно, заведует Чарская. Благородство — ее специальность.

Если вы прочитаете, как гимназист отдает свои золотые часы на лечение больного товарища, —знайте, это сочинила она.

— «Мне они не нужны, — говорит гимназист, отдавая часы. — Совсем не нужны... А на вырученные деньги позовите скорее доктора, купите лекарства, только бы выздоровел Аля»... (№ 38).

Девочка, отдающая бедному свою любимицу-куклу, — тоже сочинение Чарской:

— «Возьми эту куклу, —говорит семилетняя девочка. — Продай татарину... Много дадут... А ты пальто купи Ване... За куклу получи и купи... Не надо мне куклы, деда... Не надо... Не надо... Не надо»... (№ 22, 1909).

Другая девочка, отдающая деньги тому, кто разбил ее любимую куклу, — тоже изображается Чарской.

— «Мне не надо китаяночки... У меня есть денег немножко. Я их ему... мальчику отдам... Пусть пошлет своей маме слепенькой... А... китаяночку... мне ее не жаль нисколько»... (№ 8).

Все это очень благородно, но, неправда ли, слегка однообразно. Из одного и того же сахару лепит Чарская своих ангелочков. Не будем, однако, строги к этой бедной ремесленнице. Трудно, небось, без таланта, без капли искренности все лепить и лепить, — как на фабрике, — картонных, сахарных, пряничных Зиночек, Людочек, Лялечек.

Но нужно отдать ей должное: ремесло свое она знает отлично. Здесь немного изюму, там патоки; тут подрумянит, а там подсластит, — и новая повесть готова. Можно приниматься за следующую. Только что в одной ее повести девочку украли злые нищие[1], как вот ее новая повесть, где девочку крадут цыгане («Щелчок»).

И ту, и другую хотят научить воровству, но и та, и другая

---

[1] «Что было в сером доме».

честны; и ту, и другую терзают, но у той, и у другой есть защитник, — и этот защитник, сверкая глазами, кричит:

— Эй, вы! Знай, кто хоть раз посмеет тронуть Гальку (или Мальку, или Вальку), с тем я разделаюсь по-свойски! (№ 3, 1909).

Тысячу раз я читал эти строки у Чарской. В «Счастливчике» буквально то же самое:

— Кто из вас посмеет тронуть малыша, тому я такой фонарь подставлю, что на всю гимназию светло станет (№ 11, 1909). Злодеи «злобно хохочут» при этом; герои «сверкают глазами», а бедные Гальки вспоминают покойную мамочку. «О, если б наша мамочка была теперь жива».

* * *

Опытность, умелость, «ловкость рук» — и ни ветерка вдохновения. Есть такие безголосые певцы, которые отлично «владеют голосом». Любую тему, любой сюжет Чарская разыграет, как по нотам. Сегодня роман из сибирской жизни, завтра из жизни Кавказа, — гимназисты, институтки, разбойники, клоуны, цари и царицы — для нее никаких затруднений. Бойко, ловко, с готовыми эффектами, — здесь пафос, а там идиллия; тут pianissimo, а тут нажми педаль, — о, эта дама отлично знает свое ремесло! И, пожалуй, если б она не была Чарской, она была бы Вербицкой!

Вот бедная девочка Галя. Ее украли цыгане. Свирепый цыган Иванка (или Лойло, или Марко) скрежещет на нее зубами и вовлекает в пороки.

Она плачет, но остается тверда.

Он грозит ей голодною смертью.

И глаза его «под нахмуренными бровями» «загораются злобным огнем».

Но тут выбегает откуда-то юный цыган Орля, благородный, как тенор, как первый любовник. Он бросается к злому тирану.

— Исхлещи меня кнутом, — кричит он, — исхлещи меня кнутом до полусмерти, а Гальку оставь. Оставь, молю тебя об этом.

Итак дальше, — всюду бенгальские огни, ракеты, шутихи, фейерверки. Трах-та-ра-рах! Трах-та-ра-рах!

Эта превосходная повесть только едва началась, а я уж предвижу конец. Иванка, конечно, украдет коней (на то и

загримирован цыганом); за Иванкою будет погоня, – но рвите Гальку на части, пытайте ее, она не выдаст злодея, не отплатит ему злом за его злодеяния:

– Нет, нет, ни за что. Лучше сожгите меня на костре, но я никого не выдам!

Иванка в умилении воскликнет:

– Прости меня, милая Галька! Я уже не тот, каким был. Брошу я свое конокрадство и сделаюсь народным учителем.

А украденный конь окажется конем ее родного отца, который, поседевши от горя, искал свою дочь дни и ночи и вот, наконец, нашел. Он – «Рюрикович чистейшей крови» и богат, как Каниферштан. На радостях он простит этих ужасных цыган, а благородному Орле выпишет «Задушевное Слово» и выдаст за него замуж свою удивительную дочь.

Этот треск, этот азарт, эта пальба по детским нервам, эта дешевая романтика бульварных романов, – все это так же полезно пяти-шести-семилетним детям, как ром, или коньяк, или махорка, – но таков уж постоянный рецепт этой прославленной детской писательницы, и ее нехитрые приемы, над нами бессильные, чрезвычайно властительны над детской душой.

Там, где мы, взрослые, видим, скучая, только бойкую руку поденщика, только белые нитки и швы, дети горят и сгорают, как мухи на свечке, и вот уж какой-нибудь Боба извещает каракулями из Томска, что «Чарская выше Шекспира», а «Задушевное Слово» печатает эти каракули у себя на страницах, с самой недвусмысленной целью, и в особой статье прибавляет:

– «Не одни только дети признают эти «Записки» (г-жи Чарской) интересными... Главное Управление Военно-Учебных Заведений даже рекомендовало ее для чтения кадетам» (№ 5, 1909).

Ревунов-Караулов заговорил о своем.

О «МАЯКЕ» И ДРУГИХ

Месяца полтора назад в Москве начала выходить «Газетка для детей и юношества».

Издание убогое и пошловатое: старые клише, кривые стишки. Но бойкость, воистину, трактирная. Газетка обещает в рекламах:

— «Полный (!) обзор новостей и событий русской и заграничной жизни».

— «Новости всего (!) мира!».

И, конечно, к счастью, лжет, ибо, слава Богу, ни о Думе, ни о выборах в Англии, ни о португальском народе — да и вообще ни о чем газетном в ней нет для детей ни строки.

Кроме новостей, она обещает подписчикам:

— Фонограф.

— Телефон.

— Фотографическую камеру.

— Аэроплан.

— Автомобиль.

И все это за четыре рубля. Но если взять микроскоп и вглядеться, то увидишь мельчайшую строчку:

— «Как сделать самому».

То есть: телефона она вам не даст, а только научит, как сделать телефон. Кодака вы тоже не получите, а вам придется и кодак мастерить своими руками, и это, конечно, прекрасно, но так как я уже попробовал, по наущению той же «Газетки», сделать себе динамо-машину... из монопольной бутылки (см. № 1), то не питаю на этот счет никаких радужных надежд: автомобиля мне не иметь.

«Газетка же для детей» не смущается. Она обещает подписчикам за те же четыре рубля множество различнейших книг, — и, правда, я уже получил от нее три объемистых тома: в одном томе 28 строчек, в другом — 26, в третьем — 24 строки!! И самый толстый том — семь страниц[1]! Ловкие живут в Москве люди!

Вот, в виде образчика, отрывок из этих «книг»:

Философу не по себе:

Влиянье будто не вполне (Р и ф м а!).

Что ж! Надо нос чесать слегка.

Свершает этот а к т рука.

Затем п р о ц е с с ему знаком.

«Процесс», «акт», «аллюр», «переспектива», — ни одной (почти) русской строки: все надергано из заграничных листков. Впрочем, нет! Есть и русское: солдатский анекдот

---

[1] С жестокими рисунками Буша, которые, конечно, очень милы для взрослых, но для ребенка — ужасны. В них без конца режут, обваривают кипятком и т. д.

«про Машу — куфарку нашу» (№ 3) и перепечатка из «Жизни и Слова» — без указания источника (№ 2).

«Газетка» пойдет далеко, и потому я спешу предостеречь, если можно, читателей от этого милого органа. Уже и теперь, через столь краткий срок, она сообщает, что «ввиду скопления подписчиков, она увеличила штат служащих» и что — подписка принимается во всех чайных (?!) магазинах Перлова.

Почему не в трактире Малафеева?

* * *

Но все это пустяки, конечно: мало ли ловких людей! Безобразнее всего то, что у себя в программе шустрая эта газета, как особую приманку для подписчика, объявила крупными буквами:

— Охота и рыболовство!

И значит, она намерена учить малолетних детей, как лучше всего убивать зайцев, лисиц, карасей, вальдшнепов, — все равно: убивать. Убийству учит детей этот детский журнал: как нужно стрелять в живое, как нужно истреблять, истязать живое. О, лучше бы он учил детей картежу, разврату или пьянству! Ребенок чувствует жизнь всякого муравья, как свою; и целыми неделями плачет, если дворник утопит котят, и каким нужно быть безнадежным калекой душевным, чтобы разрушить в ребенке это великое чувство.

«Газетка» сознательно увлекает ребенка к убийству животных, и эти растлители детской души смеют после этого тут же лепетать что-то такое про Толстого! Толстой с содроганием посмотрел бы на этих забывших совесть людей. — «Оберегайте детскую чистоту от безнравственности старших, пишущих для детей», — советовал Толстой в одном частном письме, но, кажется, до этого никому никакого дела, и вот «Задушевное Слово», — под заглавием «Веселье и смех», — не смущаясь, помещает картину, как кто-то выстрелил животному в рот (№ 40) — то-то веселье и смех! — и, должно быть, тоже для смеха, сообщает крошечным детям, как свиньи проглотили у кого-то бумажник и тот моментально «убил свиней и извлек из их внутренностей куски кредит-

ных билетов, которые (слава Богу!) оказалось возможным восстановить» (№ 16, 1910).

Радуйтесь, малые дети: бумажник остался цел! А что же дороже бумажника!

* * *

...После всех штыков, мортир и кровавых побоищ, которыми прельщает детей это «Задушевное Слово», отдохнем на страницах «Маяка».

Здесь никто не крикнет «ура», не прославит убийства, не позовет детей «на врага», — здесь напротив твердят и твердят, что «война есть самое ужасное дело», «что сами люди не хотят ее, потому что они не чувствуют ничего к своим ближним и к далеким соседям, кроме дружбы и желания помочь» (VIII, 36).

Описав превосходно, как человек научился летать, «Маяк» обращается к детям с такими словами:

— «Пожелаем только одного, чтобы великая мысль, великая изобретательность человека послужила на благо всему человечеству, а не на забаву отдельным богатым людям и тем более не для *ужасного дела войны, убийства одних людей другими такими же людьми*».

Вряд ли за эти слова похвалит его тот «Вестник Русской Конницы», который в таком восторге от «Задушевного Слова», да и к чему «Маяку» похвалы «Русской Конницы». Он будто сказал себе раз навсегда: пусть другие вселяют в детей «любовь к армии и военному делу», а я попробую вселить в детей любовь к природе, — к чайкам, овсянкам, ежам. Пусть другие избирают героями Тотлебенов и Аргутинских, для меня каждая лисица — героиня, и каждый глухарь — герой.

Раскрываю наугад любую книжку журнала — хотя бы вторую за прошлый год. Первое, что попадается мне, — «Колючий воришка», прелестный рассказ о еже.

Вслед за ежом — о медведе: «Летняя берлога Михаила Ивановича Топтыгина».

После повесть, — нет, целый роман! — о каком-то благородном псе: «Джек — пожарная собака».

После — стишок о чайке: «Носится чайка над морем».

Чайки, медведи, ежи, собаки — обступили со всех сторон. Перелистываю книжку дальше: вся только ими полна! Вот овсянки, вот выхухоль, вот водяная крыса, вот норка, —

а сколько растений и злаков! И все это в одной только книге, — и каждая книга такая же. Переполнена природой сверху донизу.

Но почему этот «Маяк» так сильно влечется к природе? А вот (в той же книге!) прочитайте такие стихи:

Кто с давних лет привык с любовью и вниманьем
В былинке и цветке, во всем, что видит глаз,
Подметить прелесть форм и жизни трепетанье, —
Тот чистых радостей хранит в себе запас.

Влюбить ребенка в каждую «былинку», в каждый цветок, в каждое «жизни трепетание», и тем дать ему «запас чистых радостей» — такова у этого журнала цель, и нужно сказать, что он истинный виртуоз в своем деле.

Я так жалею, что, когда был ребенком, не читал журнала «Маяк». Теперь, увы, слишком «взрослый» и «занятой», я, скучая, «по долгу службы» взялся за роман о лисице, напечатанный в этом журнале[1], и просидел над ним до утра, как будто ничего не читал увлекательнее! Такое благоговение перед этой лисицей не за то, например, что она «спасла от смерти ребенка», а просто за то, что она лисица, живая, что в ней «трепетание жизни», столько любопытства ко всем ее делам и привычкам, столько внимательной любви, — и ни капли сентиментальности, фальши! Конечно, здесь нужен великолепный талант Сэттона Томпсона, чтобы безо всякой внешней «интриги», с одною только любовью, — делать такие чудеса!

Остальные же в этом роде опыты «Маяка» гораздо слабее, но все-таки в каждом номере непременно ведется какой-нибудь такой «звериный» роман, или «звериная» повесть: то «Лось с белой отметиной», то «Приключения красногрудого реполова и его жены», то «Сова», то «Форель — царица пруда» и т. д.

Драгоценно отметить, что прекрасные повести эти, вводящие ребенка в самую гущу природы, почти все были созданы англо-американцами. Сэттон Томпсон, Чарльз Робертс, Лонг, Кертон — вот кто явился теперь на смену Майн Риду и Куперу. Общая их черта: обожание всего, что живет. Они изучают зверей, как друзей, как родных, отправляются к

[1] «Лис Домино из окрестностей Гольдура». Сэттона Томпсона. «Маяк», 1909, IV–VI.

ним в логовища и норы без ружья и капкана, — и, как умеют, развенчивать романтику всяких «облав», «нападений», «охот», «стреляний», «погонь», которая так прочно угнездилась именно в детской книге.

Все они идут от Великого Генри Торо, который своею «Жизнью в лесу»[1] заразил их на много лет, и научил в каждом пне и в каждом черве видеть и чувствовать Бога. И когда у «Маяка» случайно срывается слово — «душа медведицы»:

— «На душе ее была тихая радость»... «было тепло на душе» (VII, 5);

и когда «Маяк» говорит про фиалкино *сердце*: — «Радостно билось *сердечко* цветка» (V, 77);

то это выходит у него естественно и не фальшиво.

И быть может со стороны это странно, что даже в «Страничку для Смеха» он сует протест против охоты и заставляет кролика читать собаке нотацию об этой жестокой забаве (V, 1910), но стоит только вспомнить «Газетку для детей» и «Задушевное Слово», чтобы удержать в себе всякое даже подобие улыбки.

Правда, «Маяк» в своем зверолюбии хватает порою через край. Он выводит, например, жениха и невесту, которые хоть и любили друг друга, но все же не до конца, так как невесте мерещилось, что жених затравил на охоте лисицу!

Но (слушайте! слушайте!) чуть оказалось, что лисица жива, в ту же минуту «тень, бывшая до сих пор между молодыми людьми, исчезла совершенно», девушка простила жениха, и «последняя тучка, омрачавшая их счастье, исчезла навсегда!!».

Это, конечно, чересчур, и зачем сочинять на самих же себя пародии? — но вот «Мамонт», «Мишка», «Дом на воде» — отнюдь не безвкусно обличают весь ужас охоты.

И еще одна у «Маяка» добродетель: он учит детей самодеятельности. Это тоже у него из Америки. Ребенку вредны отвлеченные знания: пусть всего добивается сам, все наблюдает сам, все перепробует сам — и вот «Маяк» в десятке статей и брошюрок учит детей и подростков.

— Как переплетать без инструментов книги.

[1] Рекомендую читателям эту классическую книгу. Она только что издана «Посредником» в переводе П. А. Буланже. Книжки Томпсона и Вильяма Лонга тоже можно найти в «Посреднике».

— Как развести огород.

— Как и что лепить из глины.

И даже (безнадежное предприятие!) как самому сделать камеру-обскуру, и как самому сделать лодку. Иногда он увлекается до того, что советует детям — самим искать кости мамонта?!!

— Отправляйтесь, — говорит, — в «живой» овраг... исследуйте дно ручья... Часто клыки мамонта попадаются в виде отдельных, разрозненных кусков... и т. д... (V, 38).

А то наставляет ребенка — не боясь «ни топких болот, ни глубоких лесных оврагов, ни сплошных гадючных зарослей, ни ночной темноты», твердо идти все вперед и вперед, ночевать в лесу, самому варить на костре картофель и т. д., и т. д. Все это превосходно, быть может, но я опасаюсь, что мне, бородатому, и теперь моя добрая мать не позволит таких упражнений.

Однако оставим шаржи, эта черта в «Маяке» драгоценна. Он учит детей самобытности, творчеству, инициативе, — и мы все, кто из гимназии вышли, словно без рук и без глаз, с одним только «поведением и прилежанием», должны бы завидовать нашим детям, что пред ними такие возможности.

Эти достопочтенные «Вестники Европы для детей» — «Родник», «Семья и Школа», «Юная Россия» и «Всходы» зарядили на десятки лет одно:

— «Земля есть шар» и «Линкольн — освободитель негров».

А для практики, для дела, для рук не дают ребенку решительно ничего («сиди смирно и читай про Линкольна»), «Маяк» же, напротив, каждой своею строкой привлекает и манит детей к вольному и легкому делу: то сделай бумажного змея, то ступай посмотри головастиков, то вырежь из дерева куклу и т. д., и т. д.

Мы в наше время из бумаги делали только шпаргалки, а по «Маяку», самый малый ребенок сделает из той же бумаги и «портфель», и «пенал», и волшебную какую-то книжку, — и как это приучит к терпению, к методичности — и мало ли к чему!

* * *

Но вот я хвалю-хвалю «Маяк», а сам отчего-то позевываю. Есть тайный порок у «Маяка», и шепну вам, что это скука.

Конечно, «выпиливание и вырезывание» — это очень

прекрасно, «дети, не мучьте животных!» — и того превосходнее, но ворвалось бы сюда на страницы что-нибудь удалое, лихое бесшабашное, закружило бы, увлекло детей, — все же было бы легче дышать. Конечно, «не мучьте животных» — свято, и са-мо-де-я-тель-ность — чего же лучше, но ведь детская игра и детская шалость — это святее всего. А где игры и резвость и шалости в этом прекрасном журнале?

Правда, есть игры: «Подвижные игры в комнате и на открытом воздухе», — но по печатному листику в год, Р какие-то все немецкие; правда, есть и забавы, но «научные» (так и зовутся: «Научные забавы» или: «Веселые занятия»).

Вот образчик этих «веселых (!!!) занятий»:

«*Цилиндрическая коробка*». Эта коробка делается, как футляр для нот (рис. 16). Вычерчивается прямоугольник ААСС; на 2/3 высоты (рис. 17) делаются циркулем два круга ВВ желаемых размеров» и т. д.

Весело? Еще бы. Я хохотал до слез. Увы, этот детский журнал не умеет смешить и смеяться. Есть в нем что-то слишком благонамеренное, постное, аскетическое в этом «Маяке». Хоть бы сказку, легенду, выдумку; эффектную, волнующую ложь, Жюль-Верна какого-нибудь или Уэльса, но нет, для «Маяка» это «грех». «Маяк» наставляет, что «лгать даже в шутку (!) нельзя!» — и всей душою льнет к обыденщине, к фактам и фактам, — и печатает такие, например, вещи, как «Воспоминания детства» А. К. Чертковой, где все так подробно, так буднично, что поневоле возжаждешь лжи.

«Воспоминания» А. К. Чертковой были для меня откровением. Еще маленькой девочкой эта сотрудница «Маяка», по ее же свидетельству:

— Не любила одеваться, завиваться, прихорашиваться (стр. 31).

— Не любила плясать (стр. 28).

— Не любила сладкого (стр. 34).

Подумайте, какая странная девочка! Не в этом ли весь секрет «Маяка». Он тоже не любил сладкого, не любил пляски и праздника и как-то даже забыл, что все в мире дети «очень-преочень» любят и леденцы, и веселье.

Конечно, «Маяк» благороден.

Он, как мы видели, — против войны.

Он также — против охоты.

Он также и против пьянства: «алкоголь — яд»: повторяет он (IX, 72).

И против телесных наказаний: «не нужно сечь детей, нужно лаской и уговорами» (VIII, 47).

И против рабства женщин:

– «Надо надеяться, – высказывает он, – что и башкирская женщина когда-нибудь выйдет из этой темноты и сбросить с себя бесправное рабство» (V, 20).

Он любит все хорошее, но чуть он коснется к хорошему, хорошее – не всегда, но часто – скисает, как молоко, и становится совсем не аппетитно.

В этом опасность «слишком хороших журналов», и мне, признаюсь, досадно, что добро, благородство, чистота не сумели явиться пред детьми в таком же обольстительном виде, в таком же ореоле, как является перед ними зло: «осады», «облавы», «взятия», «штурмы», «погони», «выстрелы».

В «Маяке» же никакой фантастики, все трезво и всюду факты. Без пляски, без смеха, без лакомств, без сказок думает этот журнал подойти к ребенку, – о, если б он улыбнулся хоть раз!

* * *

Вот есть, например, в Москве журнал «Путеводный Огонек», не Бог весть что такое. Но он такой пестрый, такой разухабистый, – не журнал, а как будто карусель: кружится и мелькает в глазах. Сказочки, прибаутки, раскрашенные картинки – все идет ходуном, ни минуты не становится. И для младшего возраста точно такой же: называется он «Светлячок». Этот находчив, затейлив, хитер на выдумки (как и всякая «голь»), в нем помещаются:

«Сказки «короче нет», и –
«Сказки «намотай на ус».

И язык у него нарочито детский, кудрявый игривый, и такие слова, как «избушонка», «гостик», «капризка» «старая-расстарая», «носишко», – так и пестрят у него на страницах, – но дети к нему, как мухи в меду, не отгонишь никак, и вот мне приходит в голову: а что если бы вместе связать как-нибудь этот маститый «Маяк» с удалым залихватским «Светлячком»? Пускай бы дал «Светлячок» «Маяку» все свое ухарство, все свои блестки и краски, а «Маяк» пускай даст «Светлячку» все свои «идеи» и «чувства».

А если этого нельзя, то пусть родители знают, что, выпи-

сав оба журнала («Маяк» и «Светлячок» или: «Маяк» и «Путеводный Огонек»), они дадут своим детям именно то, что надо. Конечно, в «Светлячке» и в «Огоньке» — очень плохи, безнадежны стихи, да и проза не слишком прекрасна, но очень уж радостен будет для детской души, слегка уставшей от степенного «Маяка», — дух беззаботности и развеселости, царящей в этих пестрых журналах.

IV

О ДЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Он бегал по саду и, как исступленный, выкрикивал:

Я больше тебя,
А ты меньше комара!

Это он сочинил про девочку Куку, но Кука давно убежала, а он (таковы поэты!) все еще носится в безвоздушном пространстве, — один, — ничего не видя, не слыша, и по-шамански твердит:

Я больше тебя,
А ты меньше комара!

Со стороны посмотреть: сумасшедший. Кружится, опьянен, оглушен, и как будто из-за тысячи верст до него доносится зов:

— Обедать!

Его, сомнамбулу, ведут, умывают, усаживают, но в душе не умолкает напевность, и, по инерции вдохновения, скандируя ложкой, он вновь отдается поэзии:

Дайте, дайте, дайте мне
Ка-артофельно пюре!

«Ка-артофельно» — бессознательная жертва на алтарь стихотворного ритма. Поэту четыре года, и в семье отнюдь не поощряют столь ранних его вдохновений. Тем более, что творчество требует от него высоких подъемов души. Нужно прыгать, нужно визжать, нужно размахивать руками, и тогда стихи появляются сами собой. Прицепив себе к поясу тряпку, нужно неистово бегать по детской и, хлопая в ладоши, заливаться:

Я головастик:
Вот мой хвостик!

И опять:

Я головастик:
Вот мой хвостик!

И опять, и опять, и опять! Иначе ничего не получится. Уже в самом кадансе этих стихов вы чувствуете, что автор их прыгал, как воробей. Здесь главное условие его вдохновения.

И в чем очарование этих поэм: они рождены среди дела; в них отражение жестов, событий, поступков. Стихи, как самоцель, совершенно чужды трехлетним, пятилетним поэтам. Искусство для искусства — это лозунг не для них! На почве тех или иных переживаний естественно, как роза из земли, появляется у них в душе стихотворение. Ведь ясно само собою; если ты пускаешь мыльные пузыри, то тебе естественно прыгать с соломинкой возле каждого из них с возгласом:

Как высóко!
Как далёко!

А если играешь в пятнашки, то для тебя естественно бегать и выкликать:

Как могу,
Так и бью!

И не раз, не два, а тысячу раз подряд. В этом тоже особенность детских стихов: их выкрикивают тысячу раз!

Потому они так и коротки: две строки, — длиннее нельзя! С каждым новым прыжком вся поэма повторяется снова. Она может быть даже об одну строку, лишь бы непременно она повторялась. Дальше вы прочтете про ребенка, который, заткнув себе пальцами уши, кружился на месте и твердил:

Как я желто говорю!
Как я желто говорю!
Как я желто говорю!

Покуда не насытился поэзией вдоволь, то есть покуда физически не устал. Кончилось прыгание — кончилось творчество. Детское стихотворство признак избытка «игра-

ющих» сил. Оно – явление того же порядка, что кувыркание, махание руками, дергание друг друга за волосы. Для детей возбужденных каждая фраза порою может превратиться в стихи.

Проезжал как-то мимо нашего сада финн-зеленщик и, увидев детей, сказал:

– Дождь прошел, а дорога сухая!

Страшный чужой человек с непонятными страшными словами! Этого было достаточно. Чуть он проехал мимо, дети запрыгали, как хлысты на радении, и в вакхической пляске запели:

Дождь прошел!
Дорога су́ка.

Десять, двадцать, множество раз, как волшебный какой-то обряд, как заклятие волшебное, пока не устали, не кинулись наземь – поэты, изнуренные песнопением.

Стихи трехлеток всегда экспромты. Бальмонтовское нечто есть в этой поэзии: опьяненное, мгновенное, рожденное пляской. И только к восьми, к девяти годам в детях пробуждается Брюсов: степенный, осторожный, обдумчивый. Стихи уже не «возникают», а «сочиняются», – сочиняются «на заданную тему», – преграциозные, порою, стихи, но уже без этого очарования первобытности, первозданности. Вот, напр., стихотворение семилетнего Юрия Брусянина:

Поднялся змей высоко
И лес он пролетел.
И мальчик горько плачет,
Зачем он улетел.

Хотя описанное здесь и противно законам природы – тем не менее это поэзия. А вот поэма мальчика Кесария В., когда ему шел десятый год:

ЯБЛОКО

Я видывал яблоко
В царском саду.
Ему не завидовал:
Ведь оно за решеткой.
Оно за решеткой.

Очень серьезно, умно, и какая примитивность рисунка, неподражаемая простота, – но нашей темы уже не касается.

Наша тема – трехлетние, пятилетние дети, – и только над такими детьми я прошу читателя присылать мне свои наблюдения[1].

* * *

– Дерево уже *срубито, побегом* туда, на поляну, и будем *жгить* костер.

– *Жгить*? Что такое *жгить*?

– Ну, жгать! Жгать костер! Жгать костер!

Это говорит трехлетний мальчик. Я посадил его себе на плечи, и мы бежим под солнцем на поляну. Он гладит меня по небритой, шершавой щеке и советует:

– Ты, знаешь, обрись (побрейся). Потому – мне щёкно.

Потом увидав у меня в голове седой волос, больно дергает и кричит:

– Лысый волос! Лысый волос!

– Где же дерево? – спрашиваю я.

– А вот там, где *лошада.*

Мы отогнали чухонскую лошадь, набрали сучьев, развели костер... Издали солидно ползет пузатая соседская девочка; ей тоже около трех.

– Это *всехный* костер? – осведомляется она предварительно.

– Всехный, всехный (общий)! Подходи, не бойся.

Оба стоят, глядят, молчат. Вдруг мальчик затыкает себе почему-то уши, пускается вокруг костра в неистовый пляс и вопит по-шамански:

– Как я *желто* говорю! Как я *желто* говорю!

Жаль, что я не записывал этих детских слов и речений. Ведь вот, например, *«всехный»* – это же прелесть что такое! *Всехная* земля, *всехный* воздух. И так понятно: *всем* принадлежащий, *всем* доступный, существующий для *всех* – значит, *всехный.* Мы же говорим почему-то «общий», но это совсем не то. Положительно нужно ввести это слово в обиход, во всехное, если хотите, употребление...

А гениальная изобретательница этого слова глядит, не отрываясь, в огонь и шепчет со вздохом:

– Здесь так много *муравей* и *камурашек*! Ты можешь *сгореть* их *деточков...*

---

[1] По адресу редакции газеты «Речь». С.-Петербург, ул. Жуковского, 21.

— Тебе жалко?

— Очень, очень-преочень!

...Я сижу на «срубитом» дереве и думаю: мы, взрослые, только ремесленники родного языка, а дети в нем творцы и художники. Для нас все слова уже готовы, скроены и сшиты, и голова каждого из нас — как бы оптовый склад таких готовых слов, «магазин готового платья». А у детей — это мастерская: ничего готового, — все мерится, шьется, все творится — каждую минуту заново, каждую минуту сначала, все — вдохновение и творчество...

...И какая чуткость к законам речи, какая логика: если от слова *убить* говорится: *убитый*, то почему же от слова *срубить* не сказать *срубитый*?

Если *«понесу»* — *«понесем»*, то почему же не сказать: *побегу — побегом*?

Если *«лгу»* — *«лгать»*, но почему же нет формы: *жгу* — *жгать*?

Или *лошада*; ведь это так же «правильно», так же «в духе языка», как и *лошадь*. Ребенок слышал всегда уменьшительное: *лошадка*, но лошадь ведь для него огромна, он чувствует фальшь этого уменьшительного, и говорит: лошада. (По аналогии: колодка — колода; водка — вода.)

Он иногда не за ту аналогию хватается, — это правда, — но чувство этих аналогий, чувство, что здесь «законы», что здесь какой-то порядок — обострено у него чрезвычайно. Он, например, говорит:

— А что, — Богин (Божий) домик — на небе?

— На небе.

— А у Бога жена есть?

— Еще бы!

— Где же эта Божица (богиня) живет?

«Богин» ведь это так же правильно, как и «Божий»: раз *«папин»*, *«мамин»* — то почему же не *«Богин»*? *«Божица»* тоже угадано верно: *«царица»* — *«жница»* — *«Божица»*. И великолепно, и драгоценно это чувство у ребенка, эта уверенность, что здесь, в языке, он хозяин, что слова — это податливый, мягкий, гибкий материал, из которого он может лепить, что ни вздумает; что нету заказанных, раз навсегда придуманных, кем-то для него изобретенных слов, которым он должен с самого начала «подчиниться»; что язык «зависит» не от папы и не от мамы, а держится сам собой. И пускай в душе у каждого трехлетки заново, своими путями, опять и

опять — *вырастает* русский язык — растет вместе с каждым ребенком, — растет органически, тогда стихия родной, народной эстетики, родной, народной логики (а что такое язык, как не логика и не эстетика народа?) как-то чудесно привьется ребячьей душе, внедрится глубоко и останется там навсегда. Тот никогда по-настоящему не научится своему языку, кто в детстве сам не был его творцом, не дострадался, не доработался сам до его форм, до его души, кто — (в уменьшении) — сам не прошел тех путей, которые пройдены целым народом — в духе этого языка, а не в букве его, в творчестве, в непрерывном строительстве...

И потому мне всегда казались безумными те родители, которые «исправляли» детскую речь, вытравляя из нее всякие следы своеобразия, всякого личного вдохновения.

— Хочешь чаю?

— Мерси, я уже *начаёпился*, — чинно отвечает ребенок.

Мать зеленеет от досады: «Что ты еще за штуку выдумываешь; сколько раз тебе говорила, что «начаепился» не говорят, а говорят» и т. д., и т. д.

Но чувство языка, как и музыкальное чувство, непобедимо, и у ребят оно изощрено до изумительной остроты. Жаль, что с годами оно притупляется; мы, взрослые, за многие годы только два, кажется, слова и выдумали: «отзовизм» и «бойкотизм».

* * *

Мы с одним мальчиком идем на реку:

— Что ты ползешь, как черепаха! — говорю я ему:

— Ну вот еще: черепаха! Я черепах, а не черепаха: потому что я мужчин».

Мальчику этому не было и трех лет. Он как-то бессознательно ощутил, что мужскому роду непристало оканчиваться на а, — и не допускает никаких исключений. Вообще, я заметил, что дети в языке больше пуристы, чем мы, что логика языка им яснее физиологии языка — и они (инстинктивно) усваивают нашу грамматику, как математику...

... Костер разгорелся чрезмерно... Берем земли и сыплем, чтоб погас.

— Что ж это ты: сначала зажег костер, а потом *разжигаешь*? Ах какой ты, право, дьяволенный.

* * *

Интересно, как чувствуют дети краски. Мы были как-то на взморье, одна девочка и говорит:

— У волн черные спинки и белые животики.

Помню, другая девочка сказала:

— Сено белое, а трава синяя...

...Я тороплюсь очень, а главного еще не сказал. Я хотел сказать (может быть, это ясно из сказанного), что детский язык мы должны изучать. Возьмите словарь живого великорусского языка Даля: там из детских слов, кажется, одна только «бяка» и включена. Мы изучаем арестантский язык, и воровской язык, и «говор станицы бывшего Моздокского полка терского казачьего войска» — (ей Богу! — смотри тот же словарь Даля), мы отправляемся за говорами и наречиями за сотни и тысячи верст, — а язык наших детей — самых творческих элементов человечества — все еще темен и чужд для нас, как какая-то нелепая тарабарщина. Нужно прислушаться к нему, нужно у него поучиться.

* * *

— «Ни одна сторона в жизни ребенка, — говорит проф. Sully, — не привлекает нас в такой степени, как его первые попытки пользоваться нашим языком. Первые усилия маленького человека в этой области очаровывают нас известной прелестью и обнаруживающимся в них горячим стремлением приблизиться к нам в духовном отношении, воспользоваться всеми благами человеческого общения».

«При этом, — продолжает он, — те трудности, которые мы ставим юному существу, начинающему изучать наш язык, и те приемы, посредством которых оно старается их преодолеть, придают этой области детской деятельности особенный, наполовину трогательный, наполовину комический интерес».

У мальчика бессонница. Он говорит:

— Я на один бок, я на другой бок, я на третий бок, я на четвертый бок, я на пятый бок, я на шестой бок, — все никак не могу заснуть.

Хорошо, что он умел считать только до шести!

— Мама! смотри: лошадь калошу потеряла! — сказал один мальчик, найдя на дороге подкову.

Писательница З. Шадурская сообщает мне очаровательный филологический спор между детьми 4-х, 5-ти и 7-ми лет.

М и ш а: Лампа уже зажгита?

К а т я: Зачем ты говоришь зажгита? Надо — зажгина.

Л е н а («дитя из народа»): Ну вот! «Зажгина!» — Зажгёна!

Дети часто занимаются филологией. Одна девочка ни за что не хочет назвать перочинный нож — перочинным:

— Никакие перья я им не чиню! — настаивает она. — Так за что же я стану его называть перочинным? *Отточительный* нож — это верно.

— Ах ты, стрекоза, — говорит этой девочке мать.

— Нет, я не стрекоза, а *людь*!

— В первый момент я не поняла, что она говорит», — сообщает г-жа Ф. — И попросила ее объяснить.

— Как же, ведь люди, ну, значит, людь! — объяснила она, и правильно: если «груди» — «грудь», то «люди» — «людь».

На Урале так и говорят: «ты что за людь»?

Интересное сведение сообщила мне та же корреспондентка:

«Мне было любопытно, — пишет она, — поймет ли моя девочка те своеобразные слова, которые говорили описываемые вами дети. Я прочла их ей, и все она вполне правильно поняла, ни на минуту не задумалась, так они ей были ясны». Она даже не заметила, что это экзотические, выдуманные слова.

В том то и суть, что детские речения — естественны. Они в высшей степени соответствуют требованиям языка. Они могли бы быть в языке и только *случайно* их там нет. Гениально ощущая дух родной речи, великолепно распоряжаясь суффиксами и флексиями слов, ребенок часто создает (творческой интуицией!) уже существующие слова, которых он сам, однако, никогда нигде не слыхал, — и мне сообщают о девочке, которая сама сочинила слово «никчемный», а у меня на глазах, другой ребенок сам «дошел» до слова «лавочник», которое чередовал со словом: «магазинщик».

Детские слова всегда в духе языка — и потому не оскорбляют уха: они «нормальны», они почти существуют, в них есть национальная логика речи, и когда ребенок говорит про платье, про рубашку, и т. д.

— Мои одетки!

А про ботинки, чулки:

— Мои обутки!

Когда он жену священника называет «священницей», и стоя перед зеркалом, говорит:

— Я красавлюсь!

Когда он предлагает:

— Две ленты: давай поодинакуем!

То в этих словах так много грациозной естественности, они так «присущи» нашему языку, так «идут» к нему, живая душа языка так чувствуется в каждом из них, что их встречаешь, как старых знакомых: как будто уже слышал их когда-то.

И со стыдом вспоминаешь наши «взрослые» неологизмы: до чего мертво и безобразно. Как нужно оторваться от родной культуры, от родного языка, чтобы создать, например, невероятное слово: «отзовист». Я недавно с ужасом прочитал в одной очень милой брошюре, что *партийцы* возмущены *отзовистами*, а *ультиматисты* — *рабочесъездовцами*, — нет, вы только подумайте об этих словах![1] Особенно *«отзовисты»*, ведь это какой-то гомункул, а не живой организм: взять древнее русское слово «звать», «отозвать», и приклеить к нему (гуммиарабиком!) иностранное «ист» — ведь это как раз противоположно тому, что делает каждый народ со всеми чужими словами: каждый народ бессознательно, инстинктивно к чужим словам приделывает свои окончания, приспособляет чужие слова к себе, к своей эстетике и своей психологии, всасывает чужие слова в себя, а у нас до того оторвались от народа, что не прочь объиностранить даже свое, коренное слово. (Капельный, крошечный факт, но огромный! До чего, значит, ненародно, «комнатно», теоретично было все наше общественное движение, раз оно создавало такие слова, как «отзовизм», «ультиматизм», «рабочесъездовец» и т. д.).

* * *

Но вернемся к нашим Кукам и Ленам.

— Это самая *кусастая* собака! — говорят они друг другу пугаясь, — и спрятавшись от коровы, сообщают:

— Наконец-то мы нашли *незабодаемое* место!

---

[1] См. брошюру «Столпы философской ортодоксии» г. Павла Юшкевича.

«Старух», — говорят они про старика. «Молодух» — про молодого. «Разузливать» — значит развязывать узел; «через-скокнуть», «черезшагнуть», тоже до чего естественно и метко. Один французский мальчик, убив нескольких слизняков (limaces), гордо обозвал себя поэтому limacier, а девочка, которая хотела, чтобы толпа ее подруг расступилась, толкала их и кричала:

— Расширокайтесь! Расширокайтесь!

Все это так очаровательно, что не хочется подходить к этому со скучною «филологией». К чему здесь разные «классификации», «ассимиляции», «ассоциации» и т. д. — когда все это в простом, «беллетристическом» смысле так увлекательно и хорошо. Вот, напр., г. М—ц сообщил мне слово *«фарфаркер»*, которым годовалый ребенок обозначал самовар.

Раньше всего я мог бы отметить здесь тенденцию ребенка удержать то же количество слогов, как и в услышанном слове:

Фар-фар-кер — са-мо-вар.

Потом я бы указал, что ребенок, выделив тот слог, на котором есть ударение: «вар», заменил в нем (сообразно такому-то закону) трудное «в» более легким «ф», и по известной склонности детей (и диких племен) к удвоению звуков, к параллелизму слогов образовал:

Фар-фар.

И т. д. Но это скучно и кропотливо, — и главное, это ненужно. Лучше я расскажу, как одна девочка, совершенно не слыхавшая об Оффенбахе, сказала мне во время грозы:

— Эти противные чухны! Что они делают гром!

И она же спросила:

— Сколько на свете Петербургов?

Я ей ответил: «один».

— А Москвов?

Я тоже ответил: «одна».

— Мало! — с грустью сказала она. И даже вздохнула. «Как мало!»

А вот еще лучше. Спросили ребенка, отчего он боится собаки. Ребенок ответил сократически:

— У твоей собаки рот есть?

— Есть.

— А зубы в роте есть?

— Есть.

— Ну так я ее боюсь.

Не пародировал ли он, таким образом, манеру взрослых отвечать «наводящими» вопросами? Во всяком случае он же однажды сказал за обедом:

— Нельзя есть много воздушного пирога! В животике будет много воздуха и улетишь, как воздушный шар!

Это уже явная пародия на взрослых, на их логику, на их советы, запреты, остережения, — и, что хуже всего, пародия почти бессознательная.

* * *

И так дальше, и так дальше! Мне бы пора и кончить, но не могу не упомянуть (и тоже с целями чисто «беллетристическими») еще об одном разряде писем, которыми читатели почтили меня.

Вот одно из подобных писем:

«М. Г.

Советую вам обратиться в чайные истинно русских людей, где служилые хулиганы так изрыгают выражения, приписываемые вами детям. Что касается детского языка, то советую вам почитать библию; там вы узнаете, как 3000 лет тому назад премудрый Соломон доказал, что *детского языка нет.* А я, как мать многих детей, могу вам доказать, что дети по недостатку развития своего ума умеют только картавить, т. е. коверкать недослышанные слова взрослых».

Дальше эта почтенная дама сулит мне «одиннадцатую версту», намекает на то, что я пьяница и делает почему-то вывод, что моя статья годится только для «Русского Знамени».

Другая подобная же особа возмущается самым этим словом «Детский Язык», и сражает меня аргументом:

— Яйцу курицу не учат!

Третья пишет такое, что мне даже неловко повторить. Вот небольшой отрывок:

«Вся статья достойна пера Пуришкевича, который только бы облизнулся на слова: «мужскому роду не пристало оканчиваться на а»!

Все это превосходно, но вот что плохо. О детском языке существуют такие книги:

Прейера. «Душа ребенка».

Baldwin'a: «Mental development in the Child» («Умственное развитие ребенка»).

Chamberlain'a: «Child» («Дитя»).

Buckman'a: «The Speech of Children» («Детский язык»).

Appel'я «O mowie dziecka» («О детском языке»).

Из каковых книг эти милые дамы узнали бы, что детский язык изучается, что изучение это приводит к широчайшим выводам (как, например, в книге Romanes'a «Mental Evolution of Man», где с помощью детского языка устанавливаются «переходные ступени, которые соединяют человеческий интеллект с умственными операциями зоологических предков человека»).

Бедные матроны обижены. Я как вижу их разъяренные лица. «Как!? Учиться у детей! Прислушиваться к детям! Ерунда! Издевательство!» «Я мать семейства, меня не обманешь». – «Соня, не болтай ногами!». – «Витя, как ты сидишь?» – «Это какие-то ироды, а не дети!» «И у них какой-то там «детский язык!» «Совсем не детский язык, а просто – коверкают слова, вот и все». «По недостатку развития ума!» «Картавят – вот и детский язык! Почитайте-ка Библию: там вы ясно увидите: яйца курицу не учат!».

Бедная, бедная курица! Кудахчет неведомо что. «Пуришкевич», «Русское Знамя», а почему – неизвестно. Тем же матерям, что себя не равняют с курами, я горячо рекомендую книгу Джемса Селли «Очерки по психологии детства» (3-е издание К. Тихомирова). Там есть глава «Маленький языковед», где подробно изучается первый лепет, переход к членораздельной речи, первое копирование речи, преобразование наших слов, логическая сторона детского языка, образование предложений и т. д.

Перевод превосходный, и книга читается, как роман...

В России есть энтузиасты детского языка, и среди них, я думаю, первое место занимает известный профессор Бодуэн-де-Куртенэ.

– «Ребенок, – по словам этого ученого – не повторяет вовсе в сокращении языкового развития целого племени, но, напротив того, *ребенок захватывает будущее*, предсказывая особенностями своей речи *будущее состояние племенного языка*, и только впоследствии пятится, так сказать, назад, все более и более приноравливаясь к нормальному языку окружающих».

«...Толчки к существенным изменениям племенного языка даются главным образом *в языке детей*... Дети проявляют стремления к известным значительным изменениям произношения и морфологического строя языка. Впоследствии они выучиваются говорить «правильно», наподобие окружающих, но раз данный толчок не остается без следа.

Дети этих детей наследуют предрасположение к подобным же изменениям *по направлению к будущему состоянию языка*, и с своей стороны повторяют эти изменения. Они впоследствии тоже усваивают себе нормальный язык окружающих, но поползновение к изменениям передается их детям и внукам первого поколения еще с большею силой и т. д. Наконец накопление следов от подобного рода толчков в целом ряде поколений ведет к действительным, окончательным изменениям во всем исторически сложившемся языке» (см. С. А. Венгерова «Критико-Биографический Словарь» т. V).

Видите, как превосходно! Здесь такие перспективы, о которых мы и не мечтали. Если это хоть в тысячной доле справедливо — то с каким благоговением мы должны изучать этот всеми осмеянный и презираемый детский язык.

Вообще побольше благоговения к детям, поменьше заносчивости, и вы откроете тут же, подле себя, такие сокровища мудрости, красоты и духовной грации, о которых вам не грезилось и во сне.

БОРЬБА С «ЧУКОВЩИНОЙ»
(документы 20-х годов)

1. К.И. Чуковский — заведующему Гублитом

26 октября 1926 года

ЗАВЕДЫВАЮЩЕМУ ГУБЛИТОМ

От К.И. Чуковского

I

Я могу гордиться тем, что я положил основание н о в о й детской литературе. Будущий историк этой литературы отметит, что именно с моего «Крокодила» началось полное *обновление ее ритмов, ее образов, ее словаря.*

Поэма была так необычна, что вначале ни один журнал не хотел ее напечатать.

— Это стихи для уличных мальчишек! — говорили редакторы.

Но именно такова была моя цель: создать уличную, несалонную вещь, дабы в корне уничтожить ту приторно-конфетную жеманность, которая была присуща тогдашним стихам для детей. И дети показали мне, что я на верном пути, что *мои стихи созвучны той новой эпохе, которая тогда надвигалась на нас.* Дворянская и чиновничья среда, где культивировалось «Задушевное слово», была разрушена до основания. Революция создала новое поколение детей, которое потребовало от своей литературы нового языка, нового стиля, новых ритмов, — и моя поэма в каждой своей запятой *шла навстречу этим новым требованиям.* Оттого-то вся новая малолетняя Русь *заучила эту поэму наизусть.* Поэма эта разошлась в 70.000 экземпляров (считая и экземпляр «Нивы», где она первоначально печаталась). Я не раз слыхал ее на улицах Одессы, Москвы, Феодосии, Ленинграда, Сестрорецка. Когда я прихожу в какой-нибудь дет-

ский дом и начинаю читать ее детям, они перебивают меня и начинают сами хором читать ее. Отрывки из нее давно стали в детской среде пословицами.

II

Отсюда следует, что книга эта по духу своему – не чужая ребенку, созданному нашей революцией. Да она и не может быть чужой ему, потому что:

во-первых – это книга для городского ребенка. Большинство детских стихов писались в России для деревенских детей, о деревне. В «Крокодиле» впервые появились: автомобиль, аэроплан, трамвай и *прочие образы большого города*, столь привлекательные для наших детей;

во-вторых. Стихи постоянно сбиваются на бойкую городскую частушку. Ритм подвижной и мажорный. Я десятки лет изучал ритм *уличных детских стихов*, прежде чем написал «Крокодила». Меня всегда возмущала унылая монотония русских деревенских стихов для детей.

В-третьих. Это поэма героическая. В ней маленький мальчик Ваня встает на защиту слабых. Он защищает весь город от нашествия диких зверей. В ней *проповедь действенного героического отношения к жизни*;

Ты злодей
Обижаешь людей?
Так за это мой меч
Твою голову с плеч! и т.д.

В-четвертых. В ней стремление к миру и братству:

Мы пушки закопаем,
Мы ружья поломаем,
Довольно мы сражались
И крови пролили!

И это – не толстовское непротивление, это – братство, добытое кровью и борьбой.

Поэтому я был весьма изумлен, когда узнал, что Гублит не нашел возможным разрешить четвертое издание этой книги, сочтя ее опасной и вредной.

Я был уверен, что если ее сюжет кое в каких местах и не отвечает тем (вполне основательным) требованиям, которые теперь предъявляются к детским стихам, *то ее стиль, ее форма, ее стиховая структура, ее общее направление вполне гармонируют с тем новым ребенком, которого создала революция.* Так до сих пор смотрели на дело многие большие коммунисты, Ленинградский Совет рабочих и крестьянских депутатов не побоялся в самые бурные годы издать эту книгу в огромном числе экземпляров, а впоследствии ее дважды перепечатывали в Госиздате. Никак не могу понять, почему советская власть на девятом году революции внезапно сочла эту книгу столь вредной.

Ш

Впрочем, теперь мне обещают разрешить мою книгу, если я в ней переделаю кое-какие страницы.

— Каких же вы требуете от меня переделок?

— Выбросите прочь городового и замените его милиционером.

Это крайне удивило меня.

— Неужели вы хотите, чтобы крокодил глотал не царского городового, а советского милиционера, и глотал наравне с собакой!?

— Нет,— говорили мне. — Это и вправду неловко. Пусть городовой остается, но замените Петроград — Ленинградом.

— Как! вы хотите, чтобы в городе Ленина оставались старики городовые, которых глотают кровожадные гадины!

— Нет, но мы вообще хотим, чтобы вы придали «Крокодилу» советскую идеологию.

— Но в нем и так ничего антисоветского нет.

— Помилуйте, в нем есть елка — предмет религиозного культа для буржуазных детей.

С этим я, конечно, не спорю: елка в моем «Крокодиле» имеется, но служит она, конечно, не религиозному культу, а беззаботному веселью детей. Не религия в елке, а поэзия, и каким нужно быть Угрюм-Бурчеевым, чтобы эту поэзию отнять у ребенка.

Горячо протестую против всей этой угрюм-бурчеевской практики.

2. К.И. Чуковский — А.В. Луначарскому

<Середина декабря 1927>

Дорогой Анатолий Васильевич.

Научно-педагогическая секция ГУСа[1] запретила моего «Крокодила». Это кажется мне вопиющим скандалом. Какова бы ни была моя поэма, она есть подлинное произведение искусства — и вычеркнуть ее из обихода детей может только мрачный изувер. Поэтому я считаю оскорблением не для себя, а для Наркомпроса то, что мой «Крокодил» запрещен.

И добро бы это была какая-нибудь черносотенная книга, проповедующая жестокость и рабство. Но Вы сами знаете, что этого нет.

В первой части «Крокодила» — героическая борьба слабого ребенка с огромным чудовищем для спасения целого города.

Во второй части «Крокодила» — протест против заточения вольных зверей в тесные клетки зверинцев. Освободительный поход обитателей леса для спасения порабощенных собратьев.

В третьей части — протест против несправедливых войн. Герой Ваня предлагает зверям «разоружиться», спилить себе рога и клыки. Те согласны, прекращают бойню и начинают жить в городах на основе братского содружества:

Стало на свете куда веселей,
Больше не нужно цепей и бичей.

Не советским педагогам восставать против этих стихов, особенно теперь, когда Советская страна заявила на весь

---

[1] ГУС — Государственный ученый совет, руководящий методический центр Наркомпроса РСФСР. Создан 20 января 1919 года по Постановлению Коллегии отдела высших учебных заведений. С конца 1927 года следовало получить разрешение ГУСа на издание любой книги для детей в Государственном издательстве. В дневнике К. Чуковского есть такие записи, сделанные в 1927 году: «*23 октября.* С “Крокодилом” худо. Нет разрешения ни в Москве, ни здесь. А между тем с 1-го ноября над детскими книгами воцаряется ГУС и начнется многолетняя канитель... *27 октября.* Сейчас получил от Воронского письмо. “Крокодил” задержан из-за ГУСа — т. к. с 1-го ноября эти книги должны проходить через ГУС» (Т. 12, с. 335).

мир могучий протест против каких бы то ни было вооружений и войн.

Казалось бы, нужно гордиться тем, что в Советском Союзе в революционные дни появилась детская книга с призывом:

Мы ружья поломаем,
Мы пули закопаем,
А вы себе спилите
Копыта и рога.

Но вместо этого комиссия ГУСа, созданная для борьбы с хулиганскими детскими книгами, запрещает эту книгу на первом же своем заседании.

Против чего же восстают педагоги? Против слова «Петроград». Против слова «городовой». Но нельзя же уничтожать подлинные произведения искусства из-за двух-трех устарелых слов. Мне предлагают заменить эти слова другими — но кому станет легче оттого, что Крокодил будет глотать милиционеров (и собак) в Ленинграде.

Поэтому я как старый писатель протестую против такой расправы с литературой.

Конфуз удесятеряется тем, что сейчас Госиздат в борьбе с частными издателями ведет со мной переговоры о приобретении всех моих детских книг.

Сейчас известная американская поэтесса Бэббет Дейч переводит «Крокодила» на английский язык, а немецкий поэт Грегер — на немецкий язык. Как объяснить им, что эта книга, изданная вначале Советом рабочих и солдатских депутатов, ныне запрещена по распоряжению ГУСа.

К. Чуковский

3. Н.К. Крупская. О «Крокодиле» Чуковского

<1 февраля 1928 >

Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам? Крокодил... Ребята видели его на картинке, в лучшем случае в Зоологическом саду. Они знают про него очень мало. У нас так мало книг, описывающих жизнь животных. А между тем жизнь животных страшно интересует ребят. Не лошадь, овца, лягушка и пр., а именно те животные, которых они, ребята, не видели и о жизни которых им хочется так знать.

Это громадный пробел в нашей детской литературе. Но из «Крокодила» ребята ничего не узнают о том, что им так хотелось бы узнать. Вместо рассказа о жизни крокодила они услышат о нем невероятную галиматью. Однако не все же давать ребятам «положительные» знания, надо дать им и материал для того, чтобы повеселиться: звери в облике людей это —- смешно. Смешно видеть крокодила, курящего сигару, едущего на аэроплане. Смешно видеть крокодильчика, лежащего в кровати, видеть бант и ночную кофту на крокодилихе, слона в шляпе и т. д.

Смешно также, что крокодил называется по имени и отчеству: «Крокодил Крокодилович», что носорог зацепился рогом за порог, а шакал заиграл на рояли. Все это веселит ребят, доставляет им радость. Это хорошо. Но вместе с забавой дается и другое. Изображается народ: народ орет, злится, тащит в полицию, народ – трус, дрожит, визжит от страха («А за ним-то народ и поет и орет...», «Рассердился народ и зовет и орет, эй, держите его да вяжите его. Да ведите скорее в полицию.», «Все дрожат, все от страха визжат...»). К этой картинке присоединяются еще обстриженные под скобку мужички, «благодарящие» шоколадом Ваню за его подвиг. Это уже совсем не невинное, а крайне злобное изображение, которое, может, недостаточно осознается ребенком, но залегает в его сознании. Вторая часть «Крокодила» изображает мещанскую домашнюю обстановку крокодильего семейства, причем смех по поводу того, что крокодил от страха проглотил салфетку и др., заслоняет собой изображаемую пошлость, приучает эту пошлость не замечать. Народ за доблести награждает Ваню, крокодил одаривает своих землячков, а те его за подарки обнимают и целуют. «За добродетель платят, симпатии покупают» – вкрадывается в мозг ребенка.

Крокодил целует ноги у царя-гиппопотама. Перед царем он открывает свою душу. Автор влагает в уста крокодила пафосную речь, пародию на Некрасова:

«Узнайте, милые друзья,
Потрясена душа моя.
Я столько горя видел там,
Что даже ты, гиппопотам,
И то завыл бы, как щенок,
Когда б его увидеть мог...
Там наши братья, как в аду –

В Зоологическом саду.
О, этот сад, ужасный сад!
Его забыть я был бы рад.
Там под бичами палачей
Немало мучится зверей:
Они стенают и зовут
И цепи тяжкие грызут,
Но им не вырваться сюда
Из темных клеток никогда.
...Мы каждый день и каждый час
Из наших тюрем звали вас
И ждали, верили, что вот
Освобождение придет,
Что вы нахлынете сюда,
Чтобы разрушить навсегда
Людские злые города,
Где ваши братья и сыны
В неволе жить обречены!
Сказал и умер. Я стоял
И клятвы страшные давал
Злодеям людям отомстить
И всех зверей освободить...»

Эта пародия на Некрасова не случайна.

Чуковский редактировал новое издание Некрасова и снабдил его своей статьей «Жизнь Некрасова». Хотя эта статья и пересыпана похвалами Некрасову, но сквозь них прорывается ярко выраженная ненависть к Некрасову. Описывая то, что Некрасову приходилось наблюдать в детстве, он замечает: «В пору же малолетства он мало вникал в то, что видел, и был самый обыкновенный помещичий сын». Помещичье происхождение Некрасова автор и дальше особо выпячивает: «...в сущности, Некрасов был дворянин, сын помещика, такой же барин, как Герцен, Тургенев, Огарев».

«К десятилетнему возрасту из мальчика вышел умелый картежник и меткий стрелок». «На одиннадцатом году Некрасов был отдан отцом в Ярославскую гимназию, где учился плохо и лениво». В семнадцать лет, по словам Чуковского, Некрасов был малоразвитым подростком, имевшим пристрастие к романтической позе и фразе, писавшим фразистые стихи, не имевшие успеха. Но Некрасов умел приспособляться. «Его бойкие и ловкие стишки о взятках, деньгах, картах и чинах — обо всем, чем волновалось тогдашнее общество, пришлись по вкусу невзыскательным читателям». Некрасов превратился, по словам Чуковского, в писателя-

поденщика, развлекателя публики, угождавшего «казарменно-канцелярской публике». «Все видели в нем бойкого, смышленого юношу, который умело и ловко пробивает себе дорогу». Но Некрасов «тайно терзался страшной тоской». Вообще тоска (или, как тогда говорили, хандра) была характерным свойством Некрасова, «присущим ему с самого детства».

На Некрасова обратил внимание Белинский – и Некрасов, забросив бойкие куплеты, стал писать «об угнетенных и страдающих». «Основной тон большинства его стихотворений – тон унылого, однообразного плача, прерываемого воплями проклятий и жалоб. Ритмы тягучие, с постоянным стремлением к протяжным звукам, протяжным словам. Почти все эти стихи повествовали о страданиях от холода, голода, насилия, болезней, нужды». «К началу пятидесятых годов благосостояние поэта упрочилось», он стал издателем. «У него был великий талант отыскивать и приманивать таланты». К концу 50-х гг. «в русском обществе выдвинулись и заняли передовые позиции “новые люди”, разночинцы, плебеи, люто ненавидевшие дворянскую, помещичью Русь. Некрасов, единственный из выдающихся русских поэтов, был тогда выразителем их идеалов и вкусов».

Далее описывается Некрасов во времена реакции конца 60-х гг. Затем говорится о разночинной молодежи и ее фантастической вере в революционный инстинкт народа. «Эти новые настроения передовой молодежи могуче отразились на некрасовском творчестве. Его отношение к народу становилось с каждых годом все любовнее». «А когда Некрасов заболел, его поклонение народу приняло еще более страстный характер. Можно сказать, что на смертном одре «народ» заменял ему бога. Мучаясь невыносимыми болями, он даже молился народу о своем исцелении».

Все это мог писать только идейный враг Некрасова. Мелкими плевками заслоняет он личность «поэта мести и печали». И как-то особо резко выступает это мелкое злобствование, вплетенное в громкие хвалы Некрасову, рядом с прощальным приветом Чернышевского, присланным из далекой ссылки умирающему поэту (эти слова приводит сам же Чуковский).

«...Скажи ему,– писал Чернышевский Пыпину,– что я горячо люблю его как человека, что я благодарю его за его

доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов».

Ну, ладно. Вернемся к «Крокодилу». После сказанного ясно, почему так режет эта пародия на Некрасова в детской книжке.

Чуковский так увлекся писанием пародии на Некрасова, что забыл, что он пишет для маленьких ребят... Дальше фабула такая: звери под влиянием пожирателя детей, мещанина-крокодила, курившего сигары и гулявшего по Невскому, идут освобождать своих томящихся в клетках братьев-зверей. Все перед ними разбегаются в страхе, но зверей побеждает герой Ваня Васильчиков. Однако звери взяли в заложницы Лялю, и, чтобы освободить ее, Ваня дает свободу зверям:

«Вашему народу
Я даю свободу,
Свободу я даю!»

Что вся эта чепуха обозначает? Какой политической смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уже невинный. Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю,– это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка. Приучать ребенка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях, но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое мы хотим дать нашему подрастающему поколению. Такая болтовня — неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником – веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него.

Я думаю, «Крокодил» ребятам нашим давать не надо не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть.

Н. Крупская
«Правда», 1 февраля 1928

4. Л.К. Чуковская — А.М. Горькому

<14 февраля 28 г.>

Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Я с детства привыкла знать, что если с писателем случается несчастье — нужно просить защиты у Горького.

С моим отцом, писателем К. И. Чуковским, случилось большое несчастье, и я обращаюсь к Вам, Алексей Максимович, за помощью.

После революции, отойдя от критической работы, К. И. работал в двух областях: в области создания детской книги и в области изучения Некрасова. «Крокодил» — книга, написанная еще до революции; после революции вышли следующие детские книги К. И.: «Мойдодыр», «Тараканище», «Муркина книга», «Мухина свадьба», «Пятьдесят поросят» (фольклор) и мн. др. Успех этих книг у детей — огромный, книги выдержали много изданий.

За последнее 10-летие К. И. вплотную подошел к изучению Некрасова. Им найден целый ряд ненапечатанных произведений Некрасова, им восстановлено множество искаженных цензурою строк. Им написана книга о Некрасове «Некрасов, как человек и поэт» и, наконец, им проредактировано для Госиздата Полное Собрание Сочинений Некрасова. В этом Собрании Сочинений имеется множество впервые печатаемых стихов Некрасова и, кроме того, почти каждое стихотворение в этом издании снабжено обширным комментарием.

Составление этих комментариев потребовало от К. И. двух лет упорной работы.

Академические круги признали издание Некрасова (Гиз, 1927) под редакцией К. И. — наиболее полным изо всех, когда-либо бывших.

В «Московской правде» от 1/II 28 г. появилась рецензия Н. К. Крупской, прилагаемая мною к этому письму. В своей рецензии Н. К. утверждает 1) что книгу Чуковского «Крокодил» давать детям нельзя, 2) что «Чуковский ненавидит Некрасова».

О первом утверждении я писать не стану.

Но я хотела бы, Алексей Максимович, чтобы Вы решили: права ли Н. К. в своем утверждении, что Чуковский ненавидит Некрасова?

Чуковский пародирует в указанном отрывке не Некрасова, а Лермонтова: «Мцыри». Кроме того, пародия ведь отнюдь не является доказательством ненависти к пародируемому автору... Н. К. надергала несколько фраз из статей К. И. о Некрасове, вероятно, не потрудившись прочесть эти статьи до конца. А между тем, каждый, внимательно прочитавший книгу Чуковского о Некрасове, знает, что цель этой книги — не обвинение и не оправдание Некрасова, а правдивое освещение его жизненного и творческого пути. Некрасов был барином-картежником — и в то же время великим поэтом и великим революционным бойцом. Чуковский в своей книге говорит: в том и заключается особое очарование и особая патетика некрасовской личности, что он проповедовал освобождение народа *несмотря* на свое барство, что он был великим поэтом, *несмотря* на свое картежничество... Неужели для того, чтобы в наше время чтить Некрасова — нужно непременно причесать его под безгрешного пролетария, ратующего за диктатуру пролетариата и строительство социализма в одной стране — в 50-х годах прошлого века?

Рецензия Крупской равносильна декрету о запрещении книг К. И. Половина его детских книг уже запрещена ГУСом; ходят слухи, что редактура нового издания будет поручена *не ему*...

К. И. совершенно подавлен. С ним происходит очень страшная вещь: впервые в жизни он не в силах работать. Свою работу над книгой о Толстом и Некрасове он бросил — говорит, что ему незачем, не к чему работать.

А между тем, как бы ни оценивать писательскую личность К. И.— нужно признать, что он большой *труженик*, что он 26 лет своей писательской деятельности трудится не покладая рук... и что Надежда Константиновна плюнула ему в лицо незаслуженно. Как бороться с этой травлей специалиста — я не знаю. Я обращаюсь за помощью к Вам и крепко надеюсь на то, что Вы поможете восстановить справедливость.

Глубоко Вас уважающая

Л. Чуковская
Ленинград, 14 февраля 28 г.

5. К. Чуковский — В защиту «Крокодила»

<февраль, 1928 >

I

Н.К. Крупская утверждает, что в моем «Крокодиле» есть какие-то антисоветские тенденции.

Между тем «Крокодил» написан задолго до возникновения Советской республики. Еще в октябре 1915 года я читал его вслух на Бестужевских курсах, выступая вместе с Маяковским, а в 1916 году давал его читать М. Горькому.

В то время «Крокодила» считали не Деникиным, но кайзером Вильгельмом II.

При таком критическом подходе к детским сказкам можно неопровержимо доказать, что моя Муха-Цокотуха есть Вырубова, Бармалей — Милюков, а «Чудо-дерево» — сатира на кооперацию.

Ведь утверждал же один журналист по поводу моего «Мойдодыра», что там я прикровенно оплакиваю горькую участь буржуев, пострадавших от советского строя. — «Читайте сами, — говорил журналист:

Одеяло убежало,
Улетела простыня,
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня.

Что это, как не жалоба буржуя на экспроприацию его имущества!»

У меня нет никаких гарантий, что любая моя сказка — при желании критика — не будет истолкована именно так.

Но к счастью, когда мой «Крокодил» появился в печати (в январе 1917 года), миллионы детей сразу поняли, что «Крокодил» есть просто крокодил, что Ваня есть просто Ваня, что я сказочник, детский поэт, а не кропатель политических памфлетов.

Понял это и Петроградский Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов, издавший эту книгу в 1918 году и распространивший ее в несметном количестве экземпляров.

II

Второй недостаток «Крокодила», по мнению Н.К. Крупской, заключается в том, что здесь я пародирую Некрасова. Приводя такие строки:

Узнайте, милые друзья,
Потрясена душа моя, —

Н.К. Крупская пишет:

«Эта пародия на Некрасова не случайна: Чуковский ненавидит Некрасова».

Между тем это — пародия не на Некрасова, а на «Мцыри» Лермонтова:

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел. Благодарю!

Хотя, признаться, я не совсем понимаю, почему нельзя пародировать того или другого поэта. Разве пародия на поэта свидетельствует о ненависти к нему? Ведь тот же Некрасов много раз пародировал Лермонтова, — неужели из ненависти? Стоит прочитать любую научную работу по истории и теории пародии, чтобы эти упреки пали сами собой.

III

Дальше Н.К. Крупская упрекает меня в том, что я «забыл, что пишу для маленьких детей». Этого я никогда не забывал. Забыли о детях те, кто в каждой наивной и беспритязательной сказке ищут контрреволюционных намеков. Моя новая книга «От двух до пяти» свидетельствует, что прежде, чем писать свои сказки, я долго и тщательно изучал детскую психику.

IV

Н.К. Крупская упрекает Крокодила за то, что он мещанин. Но кому нужно, чтобы он был пролетарием? Вообще же я думаю, что советская власть вовсе не требует, чтобы все детские книги, все до одной, непременно были агитками. Иначе Госиздат не печатал бы в нынешнем году таких буржуазных шедевров, как «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекельбери Финна» и много других. Вся практика Госиздата показывает, что слово «буржуазная литература» давно уже перестало быть жупелом.

Может быть мой «Крокодил» и бездарная книга, но никакого черносотенства в ней нет. В *первой* части — героиче-

ская борьба слабого, но храброго ребенка с огромным чудовищем для спасения целого города. Во *второй* части протест против заточения вольных зверей в тесные клетки зверинцев. В *третьей* части — герой освобождает зверей из зверинцев и предлагает им разоружиться, спилить себе рога и клыки. Они согласны, прекращают бойню и начинают жить в городах на основе братского содружества.

Я не выдаю этой идеологии за стопроцентный марксизм, но точно также не вижу причин, чтобы топтать эту книжку ногами.

V

Я пишу эти строки, чтобы показать, как беззащитна у нас детская книга и в каком унижении находится у нас детский писатель, если имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл.

Мудрено ли, что я, например, вместо сказок стал в последнее время писать только примечания к стихотворениям Некрасова да к «Воспоминаниям Авдотьи Панаевой». Но выгодно ли советским читателям, советской культуре, чтобы квалифицированные детские поэты изменяли своему прямому призванию? Если выгодно, пусть бьют нас и впредь. Бить нас очень легко и удобно, потому что мы вполне беззащитны[1].

К. Чуковский
Февраль, 1928

6. М. Горький — «Письмо в редакцию»

<14 марта 1928>

Уважаемый тов. редактор! В № «Правды» от 1 февраля 1928 г. напечатана рецензия Н. К. Крупской о «Крокодиле» К. Чуковского. Попутно автор рецензии критикует и отличную работу Чуковского о Некрасове. Мне кажется, что кри-

---

[1] В этой публикации шестая главка не печатается, поскольку она касается некрасоведческих работ Чуковского.

тика слишком субъективна, а потому — несправедлива. Нельзя же обвинять Чуковского «в ненависти» и Некрасову на том основании, что Чуковский указывает: в детстве Некрасов «был обыкновенный помещичий сынок», а в 17 лет «малоразвитым подростком» — таковы факты. Не вижу признаков «ненависти» и в том, что Чуковский указывает на «помещичье» происхождение Некрасова. Не понимаю, как можно назвать «мелкими плевками» такие фразы Чуковского, как выписанные автором рецензии: «У него был великий талант отыскивать и приманивать таланты», или «новые настроения передовой молодежи могуче отразились на творчестве Некрасова», или «когда Некрасов заболел, его поклонение народу приняло еще более страстный характер».

Все это совершенно не является материалом для обвинения Чуковского «в ненависти» к Некрасову и в идейной вражде к нему. Неверным кажется мне и указание на то, что Чуковский «вложил в уста крокодила пафосную пародию на Некрасова». Во-первых: почему это «пафосная пародия»? А уж если пародия, то скорее на «Мцыри» или на какие-то другие стихи Лермонтова. Очень странная и очень несправедливая рецензия.

Помню, что В.И. Ленин, просмотрев первое издание Некрасова под редакцией Чуковского, нашел, что это «хорошая толковая работа». А ведь Владимиру Ильичу нельзя отказать в уменьи ценить работу.

М. Горький
Сорренто 25 февраля 1928
«Правда», 14 марта 1928

7. С. Маршак, К. Чуковский — в коллегию Наркомпроса

<*Середина сентября 1928*>

В настоящее время мы переживаем Ренессанс детской книги.

Никогда на всем протяжении русской словесности не возникало в столь короткое время такого изобилия детских

стихов, которые были бы подлинными произведениями искусства.

Но вслед за мастерами и новаторами тянется длинный обоз литературных мошенников, которые, спекулируя на рыночном спросе, целыми лопатами сыплют на бедных детей кучи отвратительных, безграмотных книг, и нет ни одного достаточно авторитетного голоса, чтобы прогнать эту шайку.

Теперь при ГУСе создалась «Комиссия по детской книге». Мы, писатели, возлагали на эту комиссию большие надежды. Мы были уверены, что она начнет свою работу борьбой с хулиганскими и халтурными книгами и лишь *исподволь, осторожно и бережно* попытается влиять на тех из нас, кого она сама именует мастерами-художниками.

Мы ждали, что раньше всего эта комиссия выступит как заступница подлинно литературных книг и уже потом, в процессе работы попытается создать актуальные методы воздействия на творчество квалифицированных детских писателей.

Ведь дело идет именно о том, чтобы сблизить педагога и писателя, организовать их живое сотрудничество. Выполнение этой задачи требует большой осторожности, большого административного такта.

Вряд ли этот такт был соблюден, когда Комиссия на одном из первых же своих заседаний запретила поэму для детей «Крокодил», ибо до сих пор мы не встретили ни в Москве, ни в Ленинграде ни одного литератора, который не изумился бы, узнав о такой внезапной суровости. В число этих литераторов входят первоклассные художники слова, лучшие советские поэты, публицисты и критики. Они так смущены неожиданной расправой с «Крокодилом», что собираются, насколько мы знаем, заявить по этому поводу коллективный протест.

Но дело не в «Крокодиле». Дело в том, что, по мнению писателей, педагоги еще не выработали сколько-нибудь устойчивых, объективных критериев для оценки художественной детской словесности. Писатели убедились на собственном опыте, что педагоги до сих пор не умеют отличить хорошую фактуру стихов от плохой, неряшливую дилетантщину от подлинного произведения искусства, что почти все книги, одобренные ими за последние годы, с литературной точки зрения чудовищно плохи и показывают полное незна-

комство с теми элементарными требованиями, которые выработаны по отношению к книгам в нашей литературной среде.

Мы в данном случае не говорим о комиссии ГУСа, работа которой едва началась, но мы думаем, что в дальнейшем такой отрыв педагогов от литераторов гибелен. Взаимное непонимание опасно для обеих сторон. Нужно организовать их сближение. Нужно поднять широкую дискуссию о детской книге и привлечь к этой дискуссии не только педагогов, но и авторов.

Нужно, чтобы в комиссию ГУСа вошли авторитетные поэты и художники, пользующиеся в своей среде уважением. Нужно, чтобы эта комиссия на первых порах направила всю свою административную строгость против хулиганских и безграмотных книг, а отнюдь не против книг художественных. Несомненно, что среди художественных книг есть такие, которые могут быть не вполне приемлемы для педагогов, но борьба с этими книгами не должна ограничиваться чисто цензурными методами. Нам кажется, что товарищеское общение педагогов с писателями и художниками привело бы к более плодотворным результатам.

Мы считаем себя вправе высказать свои пожелания, так как мы на деле доказали, что нам издавна дорого процветание детской словесности. Один из нас (Чуковский) вовлек в детскую литературу таких авторов, как Саша Черный, Маршак и Борис Житков, а другой (Маршак) «создал» Виталия Бианки и авторов «Республики Шкид».

Мы оба – не только писатели, но и редакторы; мы заново перевели и переработали для советских детей ряд классиков иностранной литературы, при нашем содействии возникла целая артель молодых мастеров, работающих в Гизе над созданием новой детской книги в области географии, исторической повести, художественной зоологии, производительной техники и т. д.

Это дает нам уверенность, что Коллегия Наркомпроса отнесется к нашему заявлению с полным вниманием.

С. Маршак
К. Чуковский

8. Протест Федерации писателей — А.В. Луначарскому

<1928>

В Наркомпрос
А.В. Луначарскому

Мы, нижеподписавшиеся, с изумлением узнали, что почти все книги Корнея Чуковского — несомненно одного из лучших современных детских писателей — запрещены комиссией ГУСа даже без объяснения причин. В этих книгах Чуковский является подлинным мастером, оригинальным художником слова, создателем своеобразного стиля, и у Государственного ученого совета должны быть особенно веские данные, чтобы отнять у детей эти книги. Если же судить по тем рецензиям, которые последнее время были напечатаны лицами, близкими к ГУСу (например, о «Крокодиле» Чуковского), эти данные субъективны и шатки, и на основании одних этих данных уничтожать какую бы то ни было книгу, а особенно книгу ценную в литературном отношении — нельзя.

Надеемся, что это решение будет пересмотрено в ближайшее время и запрещение с книг Чуковского снято.

Подписали:

Ал. Толстой. К. Федин, О. Форш, Мих. Зощенко, Н. Тихонов, С. Маршак, Вяч. Шишков, Евг. Замятин, Ник. Никитин, Л. Сейфуллина, Ю. Тынянов, М. Слонимский, Б. Житков, С. Ольденбург, Евг. Тарле, Б. Эйхенбаум и многие другие.

9. К. Чуковский. <Наброски>

<1928>

Травля моих сказок достигла размеров чудовищных. Самое имя мое сделалось ругательным словом. Редактор одного журнала, возвращая авторам рукописи, пишет на них: это *чуковщина.* И хотя авторы уверяют меня, что они польщены, но я отнюдь не разделяю их чувств. Каждый детский писатель есть по своему душевному складу ребенок. А ребенок нуждается в ласке. Чтобы творить, детским писателям нужна атмосфера любви и сочувствия, та самая, которая окружала

когда-то наших гениальных предшественников, Эдварда Лира, Льюиза Кэрролла, а теперь окружает А.Милна и Лофтинга. Видя же вокруг себя только злые глаза и кулаки, детский писатель заглушает в себе свои сказки и песни. Враги чуковщины добились своего: Чуковский давно уже бросил писать для детей, — и за целые три года не написал ни строки. Победить чуковщину оказалось очень легко, так как она беспомощна и вполне беззащитна. Со стороны даже странно смотреть, зачем это враги чуковщины тратят понапрасну столько сил на ее сокрушение. Она и так давно сокрушена.

(Если бы вместо того, чтобы бороться с двумя-тремя детскими сказочниками, эти люди направили свою могучую боевую энергию против детской проституции, детского пьянства, детских венерических болезней — Москва, я уверен, совершенно избавилась бы от омерзительного наследия прошлой эпохи. Но они предпочитают бороться с чуковщиной, ибо это значительно легче.)

Детский писатель не может творить под аккомпанемент злобы, ругательства, так как самая основа его творчества — нежность.

И теперь, когда чуковщина сокрушена, убита, да позволено будет сказать о ней надгробное слово.

Я думаю, что у нее были и добрые качества:

Во 1-х, она была основана на любовном изучении детей.

Во 2-х, ей была присуща известная доля новаторства, ибо «Крокодил» не подражал никому, я сам изобрел и прием, и язык своих книг. После него стало значительно легче. Он проторил дорогу молодежи. И что бы вы ни говорили, большинство нынешних поэм для детей — суть внуки «Крокодила».

В 3-х, чуковщина — честная работа над своим материалом. Автор «Мойдодыра» всегда сознавал свои малые литературные силы и старался восполнить недостаток таланта старательной и кропотливой работой. Какова бы ни была чуковщина, в ней никогда не бывало ни одного грамма халтуры. А по нынешним временам это — как вы знаете, редкость.

Есть у чуковщины и 4-ое качество. Она литературна. Лундберг — в своем тонком и едком вступительном слове к нашим разговорам о чуковщине очень язвительно сказал, что, если меня любят дети, это вовсе не значит, что мои книги имеют какое бы то ни было достоинство. Лундберг, конечно, прав. Все помнят, как девочки-школьницы боготворили

свою обожаемую Лидию Чарскую. В тот день, когда в газете появилась моя статья против Чарской, дочь нашего лавочника отказалась продать мне коробочку спичек и свечку. А между тем ее писания были антилитературная рухлядь. Можно ли сказать это про мои стихи для детей? Их любят не только дети, но и писатели.

Когда в начале минувшего года Детская комиссия Гуса внезапно запретила почти все мои книги, Федерация писателей заявила протест против такой непонятной свирепости, а группа писателей в числе около ста человек подала в Наркомпрос заявление об отмене этой решительной меры. В этом заявлении писателям было угодно назвать меня «оригинальным художником слова». Я уверен, что я не заслужил этого почетного звания и что оно дано мне сгоряча. Но меня радует мысль, что чуковщину ругают лишь те, кто далеки от литературных кругов, кто даже представления не имеет о том, что такое произведение искусства, а сами литераторы в огромном своем большинстве за меня. Под заявлением в Наркомпрос есть такие имена, как Лидия Сейфуллина, Вяч. Шишков, Александр Яковлев, Константин Федин, Ефим Зозуля, Борис Пильняк, Алексей Толстой, Ольга Форш, Мих.Герасимов, Кириллов, Сергей Семенов, Николай Никитин, Мих.Зощенко, Елизавета Полонская, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум, академик Тарле, акад. Ольденбург – и другие. Так что когда Е. Лундберг в своей тонкой и язвительной речи попытался изобразить меня кем-то вроде Чарской в штанах – то есть любимцем только одних малышей, которые ведь не знают, что хорошо и что плохо, он забыл, что Чарскую никто, кроме детей, и не любил, что мы, писатели, считали ее вне литературы, чего в данном случае нет.

* * *

Как до сих пор велась борьба с чуковщиной? Простыми, но вряд ли достойными уважения способами. Меня призывали и спрашивали:

– Почему в «Мухе-Цокотухе» паук находится так близко к своей мухе? Это может вызвать у детей эротические мысли. Почему у комарика гусарский мундир? Дети, увидев комарика в гусарском мундире, немедленно затоскуют о монархическом строе? Почему мальчик в «Мойдодыре» побежал к Таврическому Саду? Ведь в Таврическом Саду была Государственная дума. Почему героя «Крокодила» зовут Ваня

Васильчиков? Не родственник ли он какого-то князя Васильчикова, который, кажется, при Александре II занимал какой-то важный пост? И не есть ли вообще Крокодил переодетый Деникин? Да, да, это высказывалось вслух, это даже порою печаталось — и на таких основаниях мои книги запрещались, изымались из обращения, урезывались. Сейчас запрещено «Чудо-дерево» как раз на таком основании.

«Чудо-дерево» я написал в утешение себе самому. Как многосемейный отец я всегда чрезвычайно остро ощущал покупку башмаков для детей. Каждый месяц кому-нибудь непременно нужны то туфли, то калоши, то ботинки. И вот я придумал утопию о башмаках, растущих на деревьях.

Лапти созрели,
Валенки поспели.
Что же вы зеваете?
Их не обрываете?

Пусть всякий, кто знает советских ребят, скажет по совести, могут ли эти стишки ввести кого-нибудь из них в заблуждение. Конечно, нет, ибо каждый советский ребенок чуть не с четырехлетнего возраста на собственном опыте знает, как трудно достается его обувь отцу. Как отец ходит по лавкам, как он торгуется, какое это вообще большое событие — покупать башмаки. Прочитать советским детям эту книжку — это значит вызвать у них дружный, недоверчивый смех. — Врешь, заливаешь! — кричат они мне, когда я читаю им «Чудо-дерево» и сами начинают разговор о том, как производится обувь. Нет ни одного малыша, который не понимал бы, что стихи написаны в шутку, для смеха, из желания позабавить их нелепицей.

10. К.И. Чуковский — А.Б. Халатову

(Отрывок из черновика)

<1928>

...Теперь о чуковщине. Вам почему-то угодно трактовать меня, как чистого эстета. Но когда выйдет собрание моих сочинений, вы увидите, что поэты, которым я отдал больше всего любви и внимания, суть Уот Уитмен, Шевченко, Некрасов. Вряд ли это были писатели, для которых содержание их творчества стояло на заднем плане. У Уота Уитмена,

как вы знаете, его тема настолько преобладала над всем остальным, что он бравировал полным пренебрежением к форме. И об этом поэте я написал больше десятка статей и шесть раз переводил его стихи — до такой степени мне была дорога его тема. Шевченка и Некрасова тоже нельзя назвать глашатаями чистой поэзии. А между тем это спутники всей моей жизни.

Чуждаюсь ли тенденции я в своих детских книгах. Нисколько! Например тенденция «Мойдодыра» — страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию. Думаю, что в стране, где еще так недавно про всякого чистящего зубы говорили, «гы, гы видать, что жид!» эта тенденция стоит всех остальных. Я знаю сотни случаев, где «Мойдодыр» сыграл роль Наркомздрава для маленьких.

Та же тенденция и у «Федорина Горя». Там пропаганда гигиены, санитарии, уважения к вещам, которого так не хватает нашей юной культуре:

Буду, буду я посуду
И любить, и *уважать*.

Тенденция моего «Лимпопо» — это уважение к медицине и докторам — тоже не лишнее в малокультурной стране.

Тенденция «Крокодила» и «Тараканища» даже слишком подчеркнута. Остальные книги — просто сказки, но черт возьми, неужели Советская страна уж не может вместить одного единственного сказочника! Я понимаю, если бы у нас было полсотни Чуковских и каждый из них написал бы полсотни «Бармалеев» и «Мух-Цокотух» — это была бы опасность. Это была бы чуковщина. Но ведь я почти единственный сказочник изо всех детских современных писателей, единственный сказочник на 150 000 000 — и пишу по одной сказке раз в три года.

11. К.И. Чуковский. <О докладе в ГИЗе>

<Январь 1929>

I

С моим докладом в ГИЗе произошло что-то странное. Доклад был озаглавлен отчетливо: «О технике писания дет-

ских стихов», и всякому наперед было ясно, что в нем будет говорено лишь о технике. Между тем, чуть я кончил, меня со второго же слова спросили: «А как же тема?» — «А что же тема?»— «Почему ты не сказал о теме?» — «Какая тема должна быть у детских стихов?» Как будто мы все уже отлично владеем поэтической формой и теперь нам только темы не хватает. За исключением двух, трех человек никто и говорить не захотел о моих злополучных «заповедях». Что и говорить о таких пустяках!

А между тем *именно в интересах темы* мы должны задуматься о форме, чтобы больше не портить бумагу всякой халтурной кустарщиной. Мы должны задуматься о форме наших стихов честно и скромно, как простые ремесленники, так как на карте вопрос о подлинной советской детской книге, о книге, которая была бы насыщена революционной идеей и в то же время была бы максимально художественна. Это отлично понимают нынешние руководители детского отдела Госиздата. Потому-то они и позвали меня сделать краткий доклад о технике писания стихов для детей. Этот доклад должен был послужить лишь введением в общую нашу беседу. Только в качестве такого введения я прочитал свои «Тринадцать заповедей для детского автора», вполне уверенный, что вы со своей стороны, на основании своего богатого опыта, сообщите мне 14-ю, 15-ю, 16-ю, 17-ю, 20-ю, и мы общими силами составим *нечто вроде руководства для будущих комиссий по детской книге, чтобы дать им более точные и объективные критерии при оценке стихов для дошкольника.* Но вам эта затея почему-то показалась ненужной, и вы предпочли дебатировать мало интересный вопрос о том, что такое чуковщина. Почему это произошло, я не знаю. Когда я в свое время составлял, по поручению Горького, книжку «Принципы художественного перевода», это был коллективный труд. Переводчики, даже такие, как Блок, Сологуб, охотно делились со мной своим опытом. Того же я ждал от вас. Особенно дороги мне ваши суждения о том, какова должна быть специфическая форма стихов для пролетарских и крестьянских детей. Это огромный вопрос, и я полагаю, что здесь вы многому могли бы меня научить.

II

А насчет того, что такое чуковщина, у меня есть особое мнение. Я, например, думаю, что этим словом ругаться нель-

зя. Между тем редактор одного из журналов, возвращая авторам рукописи, так и пишет на отвергнутых стихах: «*Это чуковщина*», и хотя авторы любезно уверяют меня, что они польщены таким отзывом, но от этого мне, право, не легче. Между тем в чуковщине есть, как мне кажется, и добрые качества. Чуковщина — это, *во-первых*, любовное и пристальное изучение детей. *Во-вторых*, это литературное новаторство — правда, очень скромных размеров: попытка изобрести новые формы и методы литературного подхода к ребенку. Что бы вы ни говорили, все же многие детские книги суть внуки моего «Крокодила», который был первою книгою этого рода и проторил дорогу позднейшим писателям. Думаю, что это не вина, а заслуга. *В-третьих*, чуковщина — это честная работа над своим материалом. Сознавая свои малые литературные силы, автор «Мойдодыра» старался восполнить недостаток таланта длительным и кропотливым трудом.

Так что те, кто ругается словом *чуковщина*, не умеют уважать ни чужой инициативы, ни чужого труда.

III

Но это отнюдь не значит, что я лично очень доволен чуковщиной. Напротив. Я хорошо понимаю, что многие мои приемы и темы исчерпаны, что мне нужно либо замолчать, либо начать какую-то новую литературную линию. Какую? Это для меня ясно вполне. К своему великому счастью, я теперь столкнулся с новым для меня миром детей, который до последнего времени был мне почти неизвестен. Это дети ленинградских рабочих, собранные в Очагах на окраинах. Я сейчас пишу о них книгу, — записываю их песни, слова, провожу с ними все свое свободное время, тщательно изучаю их быт и думаю, что самая атмосфера их жизни даст мне и новые темы и новые литературные приемы. Теперь, когда детский отдел Ленотгиза, по инициативе Маршака и Олейникова, связался с ребятами Путиловского завода, у меня впервые появилась возможность органически слиться с воспитываемыми в коллективе детьми. Я думаю, что только таким путем, путем органического слияния автора с данной социальной средой, может возникнуть художественная и в то же время идеологически ценная книга. Все остальное — халту-

ра. Я, конечно, во всякое время мог бы складывать вот такие стишки:

Весел, ласков и красив —
Зайчик шел в коператив,

но этого мне не позволяет моя литературная совесть. Именно из уважения к теме я предпочитаю пройти подготовительный период ученичества. Я хочу, чтобы советский и, главным образом, пролетарский ребенок подсказал мне не только образы, но и ритмы, и стиль, и вообще все художественные приемы моих будущих детских книг. Возможно ли это, не знаю...

Учиться я буду не у педагогов, а у самих малышей и надеюсь, что в конце концов под непосредственным влиянием их среды мне удастся найти новые формы и темы. Во всяком случае я этого хочу. И пусть поможет мне в этом чуковщина — то есть любовное изучение детей и длительная работа над своим материалом.

К. Чуковский
Москва. Январь 1929 г.

12. Мы призываем к борьбе с «Чуковщиной»

(*Резолюция общего собрания родителей Кремлевского детсада*)

<1929>

Общее собрание родителей Кремлевского детсада в количестве 49 чел. (22 рабочих, 9 красноармейцев, 18 служащих), заслушав и обсудив 7 марта сего года доклад о том, «какая книга нужна дошкольнику», считает необходимым привлечь внимание советской общественности к тому направлению в детской литературе, которое стало известно под общим названием «Чуковщина».

В настоящее время мы имеем книги Чуковского и его единомышленников в издании государственного издательства. Как выяснилось, Чуковского читают своим детям и часть наших родителей. Наш советский детсад ведет упорную борьбу за идеологию, за новый быт ребенка, и в этой борьбе сада книга является одним из наиболее ценных и важных средств воспитания ребенка. Это хорошо учитывают наши враги, стремящиеся *тоже через книгу* вырвать у нас ребенка, подчинить его своему влиянию.

Чуковский и его единомышленники дали много детских книг, но мы за 11 лет не знаем у них ни одной *современной книги*, в их книгах не затронуто ни одной советской *темы*, ни одна их книга *не будит в ребенке социальных чувств, коллективных устремлений.* Наоборот, у Чуковского и его соратников мы знаем книги, развивающие суеверие и страхи («Бармалей», «Мой Додыр» — Гиз, «Чудо-дерево»), восхваляющие мещанство и кулацкое накопление («Муха-цокотуха» — Гиз, «Домок»), дающие неправильные представления о мире животных и насекомых («Крокодил» и «Тараканище»), а также книги явно контрреволюционные с точки зрения задач интернационального воспитания детей (Полтавский «Детки-разноцветки» — и-во Зиф, Ермолаевой «Маски»— Гиз).

В переживаемый страной момент обострения классовой борьбы мы должны быть особенно начеку и отдавать себе ясный отчет в том, что если мы не сумеем оградить нашу смену от враждебных влияний, то ее у нас отвоюют наши враги. Поэтому мы, родители Кремлевского детсада, постановили:

Не читать детям этих книг, протестовать в печати против издания книг авторов этого направления нашими государственными издательствами, предложить изъять из продажи совершенно ненормальные по рисункам книги Полтавского «Детки-разноцветки» с рис. Чехонина и Ермолаевой «Маски», предложить нашим издательским организациям усилить работу по выдвижению и подготовке соответствующих товарищей из среды пролетарских писателей, которые взяли бы в свои руки создание детской книги, соответствующей всей системе нашего воспитания, книги, которая бы развивала в наших детях зачатки здорового воображения, дала надлежащее классовое направление всему ходу их мыслей.

Призываем другие детские сады, отдельных родителей и педагогические организации присоединиться к нашему протесту и также высказаться на страницах газет.

От редакции. Помещая резолюцию, редакция просит родителей и педагогов — обменяться на страницах журнала мнениями по данному вопросу, подкрепив их конкретными

материалами, наблюдениями, как реагировали дети на книжки Чуковского.

«Дошкольное воспитание», 1929, № 4
(Журнал Главсоцвоса)

13. К.Т. Свердлова. О «Чуковщине»

<1929>

Последние мысли Чуковского о детях и детской литературе собраны в его недавно вышедшей книге «Маленькие дети» (изд. «Красной Газеты»). Вокруг Чуковского группируется и часть писательской интеллигенции, солидаризирующаяся с его точкой зрения. Таким образом, перед нами, несомненно, общественная группа с четко формулированной идеологией.

Приведем несколько цитат из книги Чуковского. «Мне давно уже кажется, — пишет Чуковский, — что нам, сочинителям детских стихов и рассказов, необходимо «уйти в детвору», как некогда «ходили в народ». Иначе все наши писания будут мертвечина и фальшь».

И дальше, говоря о нелепицах: «Некоторые наблюдатели думают, что самая эта тяга к обратной координации вещей порождена в ребенке стремлением к *юмору*, нам кажется, что это не так, нам кажется, что остроумие здесь — только побочный продукт, а первопричина этой тяги иная. Мне кажется, что это явление сложное, я думаю, что тот инстинкт, который побуждает двухлетнего или трехлетнего ребенка устанавливать обратное взаимоотношение вещей, имеет в своей основе не юмористическое, но познавательное отношение к миру». «К счастью, ребенок не представляет себе всех колоссальных размеров того непонятного, которое окружает его, он вечно во власти сладчайших иллюзий, и кто из нас не видел детей, которые простодушно уверены, что они отлично умеют готовить обеды, играть на рояле, управлять оркестром и т. д. Их только потому не пугает их собственная неумелость, что они не подозревают об истинных размерах ее. Но всякий раз, когда по какому-нибудь случайному поводу они почувствуют, до чего они слабы, это

огорчает их до слез. Это сознание собственной слабости вызывает в ребенке, наряду с болью, и страх. Ребенок вообще необыкновенно пуглив. Он боится всего: и темной комнаты, и собственной тени, и чужого человека, и тысячи всевозможных чудовищ, которыми взрослые пугают его. Такой же страх вызывает в нем все непонятное, то, с чем не в силах совладать его ум. Я знаю ребенка, который проявляет все признаки страха. Когда при нем говорят на неизвестном ему языке, он забивается в угол у книжного шкафа и с испугом смотрит оттуда на всех говорящих, даже на свою родную мать. Другой ребенок — четырехлетняя девочка — начинает испуганно хныкать, когда при нем читают непонятную книгу. Тот участок мира, который еще неизвестен ребенку, пугает его».

«Хождение в ребенка», культ тем личного детства, культ хилого рафинированного ребенка, мещански-интеллигентской детской, боязнь разорвать с корнями «национально-народного» и желание какой угодно ценой во что бы то ни стало сохранить, удержать на поверхности жизни отмирающие и отживающие формы быта; коллекционирование мелочей и раритетов, культ и возведение в философию «мелочей», нелепиц, —- вот наиболее характерное для точки зрения этой писательской группы.

Почему надо присматриваться к писаниям Чуковского и иже с ним? Потому ли, что они предлагают возрождать и культивировать в детской поэзии народное творчество, потому ли, что они хотят веселить и забавлять ребят остроумной шуткой, веселой выдумкой? Конечно, нет!

Кто будет возражать против непревзойденных образцов народной поэзии, кто будет спорить против того, что ребенка надо смешить, ибо бодрый смех — залог здоровья ребенка!

Мы должны взять под обстрел *Чуковского и его группу потому, что они проводят идеологию мещанства, они несут ее с собой*.

Опасно не то, что Чуковский в «Муркиной книге» развесил башмаки на деревьях, а то, что *он подсовывает ребенку свою сладковато-мещанскую идеологию под видом заимствованных народных образцов – «рвите их, убогие, рвите, босоногие»*.

Из каких народных памятников заимствуют писатели этой группы свою сладковатую филантропию?

Опасно то, что писатели этой группы, делая, «много шума из ничего», создавая целые теории в оправдание своего творчества, возводя в философию «комнатные мелочи», которыми по существу являются все споры о нелепицах, перевертышах и т. п., говоря о познавательном инстинкте в детской игре, о детских страхах, ни словом не обмолвились о том, что в условиях нашего роста место неорганизованных ритмов «национальной поэзии» должна занять организованная ритмика грядущей индустриальной эпохи.

Говоря о детской игрушке, вздыхая о лубке, в котором ребенок представляет себя едущим не на коне, а обязательно на петухе или козе, *они ни звука не говорят о механизированной игрушке, познавательная ценность которой в том, что она знакомит ребенка с явлениями, с которыми он сталкивается в нашей жизни, при нашей установке на машину.*

Ратуя со всей горячностью за то, чтобы дать детям возможность умственной познавательной игры «в перевертывание», *писатели этой группы ни словом не обмолвились об играх нового порядка, заполняющих жизнь нашего ребенка, о детской физкультуре, ритмике, организованной игре, производственной игре.*

Плохо и опасно то, что, говоря о детских реакциях, детских переживаниях, детских страхах, писатели этой группы берут свои примеры из жизни детей, вырастающих в обстановке мещанской семьи, где детей «лелеют», оберегают от всякого дуновения жизни, выращивают их изнеженными, пугливыми, неврастеничными и нервными. *Чуковский ни словом не упоминает о наших детях, – детстве, организованном через детский коллектив, где берется установка на умственную и физическую выдержку, на физическую смелость, на здоровую конкуренцию детской энергии, где от встреч детской энергии разного порядка вырастает новый тип ребенка.*

В своей книге «О маленьких детях» Чуковский рассказывает, что после чтения письма одного педагога, укорявшего его в том, что он забивает «головы наших ребят всякими путаницами», ему стало не то, чтобы грустно, а душно: «Письмо затхлое, словно из погреба». Эти слова полностью хочется возвратить Чуковскому и всей его группе. Душно, как в

погребе, становится, когда смотришь на трагическую обреченность и узость его миросозерцания и идеологии. Вместо впитывания живой, молодой, бьющей ключом вокруг него жизни – гробокопательство, поиски безнадежно уходящего и отмирающего.

Мы должны категорически поставить вопрос о том, что с группой Чуковского нам в детской литературе не по пути, *мы можем допускать к печати его удачные и талантливо сделанные вещи, но с идеологией Чуковского и его группы мы должны и будем бороться*, ибо это идеология вырождающегося мещанства, культ отмирающей семьи и мещанского детства.

К. Свердлова
«Красная печать. Двухнедельный орган отдела агитации, пропаганды и печати ЦКВКП(б)», 1929, № 9–10

В этот том вошла книга К. Чуковского по детской психологии «От двух до пяти», в которой он сформулировал свои основные взгляды на детскую литературу, свои наблюдения над развитием языка детей, свои «заповеди для детских поэтов». Книга дополнена статьей «Признания старого сказочника», опубликованной посмертно.

К «От двух до пяти» примыкает статья «Литература и школа» — о преподавании литературы в школе и стиховом воспитании подростков.

Впервые Чуковский обратился к детской литературе в качестве критика — в своей давней книге «Матерям о детских журналах» (1911). Именно в этой книге он посвятил целую главу «Детский язык» тщательному изучению того, как дети осваивают родной язык. В главе уже содержались многие обобщения, получившие дальнейшее развитие на страницах «От двух до пяти». Именно в этой давней книге он попросил родителей «присылать ему все, что Вас заинтересует в Вашем или чужом ребенке». Поток хлынувших к нему писем, накапливавшихся десятилетиями, и позволил автору впоследствии перейти к обобщениям в статье «Лепые нелепицы» (1924), а затем и в «От двух до пяти». «Матерям о детских журналах» впервые после 1911 года перепечатывается в настоящем томе в отделе «Приложения».

Непосредственно связан с работой над «От двух до пяти» и еще один отдел в «Приложении» — «Борьба с “чуковщиной”». Там публикуются многие документы 20-х годов, относящиеся к тому, как сказки Чуковского пробивались в печать и каковы были тогда руководящие взгляды на детскую литературу.

В том вошли также воспоминания детства — «Серебряный герб».

«От двух до пяти». — Впервые под названием «Маленькие дети». (Худ. В. Белкин. Л.: Красная газета, 1928.) Третье, переработанное издание вышло в 1933 году под заглавием «От двух до пяти» («Издательство писателей в Ленинграде»). Затем книга много раз выходила в центральных издательствах. В 1957 — 59 годах одиннадцатое издание было повторено в Минске и в Киеве. 21-е издание (если не считать изданий в Минске и Киеве) было подготовлено к печати Корнеем Чуковским и вышло посмертно в издательстве «Детская литература» в 1970 году. Печатается по этому изданию. На страницах 25, 86, 191–193 настоящего тома восстановлены

по 8-му и 20-му изданиям цензурные купюры, сделанные по конъюнктурным причинам.

Приложение:

«Признания старого сказочника». — Впервые в газете «Литературная Россия», 1970, 23 и 30 января.

Печатается по книге «Жизнь и творчество Корнея Чуковского», М.: Детская литература, 1978.

Над этой статьей Корней Иванович начал работать еще до своей последней болезни. Закончить ее он не успел.

Публикацию статьи подготовила Лидия Чуковская, однако в те годы редакция сняла ее имя и ее вступление.

«Корней Чуковский был, как известно, и переводчиком, и литературоведом, но прежде всего критиком и детским поэтом, — писала в этом вступлении Лидия Корнеевна. — Здесь он выступает как поэт и критик в одном лице. А отчасти и как литературовед, изучающий черновики стихотворений.

Публикуемая статья являет собой редкий, быть может единственный в литературе случай: критик, мастер критического анализа с пристрастием и великою строгостью анализирует стихи мастера-поэта, и при том не чьи-нибудь, не чужие, а свои собственные.

Объясняет, где удачи и где провалы. И повествует о том, каким образом поэт, руководимый критиком, добивался удач».

Статья предназначалась в качестве приложения к книге «От двух до пяти», о чем Корней Иванович неоднократно говорил своим близким. Включая «Признания старого сказочника» в книгу, мы выполняем тем самым волю автора.

Литература и школа. — Впервые в газете «Правда», 18 января 1936. Статья входила в виде приложения в одно из изданий «От двух до пяти» (М., 1937). Печатается по: *К. Чуковский.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 6, 1969.

С вступлением и послесловием автора, датироваными 1968-м годом.

Серебряный герб. — Впервые под названием «Гимназия: Воспоминания детства» (М.; Л.: Детиздат, 1938). Третье издание вышло под названием «Серебряный герб» (М.: Детгиз, 1961). Печатается по пятому изданию (М.: Дет. лит., 1966) с учетом последующих исправлений автора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Матерям о детских журналах». — Впервые: СПб.: Рус. скоропечатня, 1911. — Печатается по этому изданию.

«Борьба с “чуковщиной”» — Печатается тринадцать документов, из них — документы № № 3, 6, 7, 8 — по газетам и журналам.

Остальные — по архиву К.И. Чуковского, хранящемуся в Рукописном отделе РГБ (Ф. 620). Эти материалы уже были частично опубликованы в журналах «Детская литература», 1988, № 5, с. 31–35 и «Горизонт», 1991, № 3, с. 17–25.

От тех трудных лет, когда почти все сказки Чуковского были запрещены и не издавались, осталась у него в архиве пухлая папка: «Борьба с чуковщиной». В папке – его письма в разные инстанции в защиту своих сказок, наброски, заготовки и черновики выступлений, письма читателей и писателей, протестующих против запрета издавать эти сказки, да и самые эти запреты.

Эти документы существенны, потому что лишний раз напоминают мало освещенные или забытые страницы истории нашей детской литературы. Знаменательны они и тем, что, защищаясь от несправедливых и невежественных нападок, Чуковский использовал весь свой арсенал профессионального литературного критика, умелого, находчивого и остроумного полемиста. Навязанная ему полемика заставила его сформулировать многие принципы, на которых основывалась его собственная работа в качестве детского писателя, многие его доводы из этой вынужденной полемики перекочевали впоследствии на страницы «От двух до пяти».

Чтобы создать полную картину, нами публикуются не только возражения Чуковского, но и статьи из противоположного лагеря, отражающие взгляды Н.К. Крупской, К.Т. Свердловой, родителей кремлевского детсада и др.

Начиная с одиннадцатого издания «От двух до пяти», в книгу входила глава «Борьба за сказку». В главе приводились многие примеры «обывательских методов критики», однако не были названы по именам те, кто организовал и возглавил «борьбу с чуковщиной».

Дело в том, что против Чуковского, напечатавшего в 20-е годы бóльшую часть своих детских сказок, выступила вся казенная педагогика, которую тогда возглавляли жены и родственницы видных деятелей ВКП(б). Считалось, что они достаточно подготовлены, чтобы руководить культурой, просвещением, детской литературой. Тут можно назвать Н.К. Крупскую – вдову В.И. Ленина, З.И. Лилину – жену Г.Е. Зиновьева, К.Т. Свердлову – вдову Я.М. Свердлова, Л.Р. Менжинскую – сестру В.Р. Менжинского – и других. Носительницы известных в те годы фамилий высказывали свои педагогические взгляды в виде непререкаемых резолюций, так как звучные фамилии подкреплялись весьма внушительными постами. Вот перечень их должностей: Н.К. Крупская – председатель научно-педагогической секции ГУСа (Государственного Ученого Совета), председатель Главполитпросвета, зам. наркома просвещения (с 1930 г.); З.И. Лилина – зав. Губ. Соцвоса, зав. отдела учебников Главсоцвоса при московском Госиздате РСФСР; К.Т. Свердлова – заведующая отделом детской литературы ОГИЗа (1925–1931), сотрудница Главлита (1931–1944); Л.Р. Менжинская – проректор Академии Коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской.

Именно поэтому статья Н. Крупской в «Правде» (1 февр. 1928 г.) «О “Крокодиле” К. Чуковского» представляла собой не литературную рецензию, но руководящую директиву, за которой немедленно последовали запреты на издание сказок.

О дальнейшем говорят уцелевшие свидетельства тех лет. Дочь К. Чуковского, Лидия Корнеевна, которой шел тогда 21-й год, написала письмо

Горькому в Италию (письмо хранится в Архиве М. Горького). Очевидно именно под влиянием этого письма Горький возразил Крупской в «Правде». В защиту Чуковского выступила также Федерация писателей.

В 1928–29 годах, когда борьба эта бурлила и клокотала, Чуковскому пришлось защищаться, отстаивая право детей на волшебную сказку. «Мне давно уже кажется, – писал Чуковский, – что нам, сочинителям детских стихов и рассказов, необходимо “уйти в детвору”, как некогда “ходили в народ”. Иначе все наши писания будут мертвечина и фальшь». Это суждение вызвало отповедь К. Свердловой: «”Хождение в ребенка”, культ тем личного детства... боязнь разорвать с корнями “национально народного”... культ и возведение в философию “мелочей”, нелепиц – вот наиболее характерное для точки зрения этой писательской группы».

Странную, непонятную для тогдашней интеллигенции манеру жен партийных сановников – поучать профессиональных литераторов – впервые высмеял в печати Владислав Ходасевич в своем эссе «Белый коридор». Ходасевич написал об Ольге Давыдовне Каменевой, жене Л.Б. Каменева. Она заведовала тогда Всероссийским театральным отделом. Вот несколько зарисовок Ходасевича:

«Она (О. Д. Каменева. – *Е.Ч.*) меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэты, художники, музыканты не родятся, а делаются: идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу – певицей или танцовщицей; дело все только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Ей непременно нужно вмешиваться в дела художественные. Поэтому она затевает новую организацию, нечто вроде покойного Пролеткульта, но не Пролеткульт... Ольга Давыдовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы сообща обсудить проект. Это значит – опять будут морить людей заседаниями».

В дневниковых записях Корнея Чуковского тоже присутствуют портреты руководящих педагогических деятельниц (см.: К. Чуковский. Дневник. Т. 12 настоящего издания).

Вот запись о Крупской: «Приняла любезно и сказала, что сам Ильич улыбался, когда его племяш читал ему моего «Мойдодыра». Я сказал ей, что педагоги не могут быть судьями лит. произведений, что волокита с «Крок<одилом>» показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу, которая разошлась в полумиллионе экземпляров и благодаря которой в доме кормится 9 человек.

Эта речь ужаснула Крупскую. Она так далека от искусства, она такой заядлый «педагог», что мои слова, слова литератора, показались ей наглыми. Потом я узнал, что она так и написала Венгрову записку: «Был у меня Чуковский и вел себя нагло» (Дневник. 28 ноября 1927. Т. 12, с. 345).

А вот о Лилиной:

«Мою «Белую Мышку» (по Лофтингу), предложенную мною в Госиздат, Лилина отвергла и написала о ней такой отзыв, который нужно сохранить для потомства: (Вклеен листок. — *Е. Ч.*):

«Это автограф подлой Лилиной. К. Чуковский».

«Приключения белой мыши» очень сомнительная сказочка. Никаких законов мимикрии в ней нет, а антропоморфизма хоть отбавляй.

Боюсь, что нас будут очень ругать за эту сказочку. Тут как-то все очень очеловечено вплоть до лошади, которая живет в кабинете» (Дневник. 20 мая 1926. Т. 12, с. 293–294).

Позже Чуковский записывает на эту же тему:

«...там, в ГУСе, сидят темные невежды, обыватели, присвоившие себе имя *ученых*... отзывы их так случайны, захолустны, неавторитетны, что самые худшие мнения о них оказались лучше действительности. Критериев у них нет никаких, и каждую минуту они прикрываются словом «антро[по]морфизм». Если дело обстоит так просто и вся задача лишь в том, чтобы гнать антропоморфизм, то ее может выполнить и тот сторож, который в Наркомпросе подает калоши: это дело легкое и автоматическое. Разговаривают звери — вон! Звери одеты в людское платье — вон! Думают, что для ребенка очень трудны такие антро[по]морфические книги, а они, напротив, ориентируют его во вселенной, т. к. он при помощи антропоморфизма сам приходит *к познанию реальных отношений*. Вот тема для новой статьи о ребенке — в защиту сказки. Когда взрослые говорят, что антро[по]морфизм сбивает ребенка с толку, они подменяют ребенка собою. Их действительно сбивает, а ребенку — нет, помогает. Сюжет для небольшого рассказа» (Дневник. 17 января 1928. Т. 12, с. 348).

А вот еще одна зарисовка в дневнике тех лет:

«На другой или на третий день по приезде в Москву я выступил в Инст<итуте> Детского Чтения в М. Успенском пер<еулке>. Прочитал «Лепые нелепицы». Слушать меня собралось множество народу, и я еще раз убедился, как неустойчивы и шатки мнения педагогов. Около меня сидела некая дегенеративного вида девица — по фамилии Мякина — очень злобно на меня смотревшая. Когда я кончил, она резко и пламенно (чуть не плача от негодования) сказала, что книжки мои — яд для пролетарских детей, что они вызывают у детей только бессонницу, что их ритм неврастеничен, что в них — чисто интеллигентская закваска и проч. Говорила она хорошо, но все время дергалась от злобы, и мне даже понравилась такая яростная убежденность. После прений я подошел к ней и мягко сказал:

— Вот вы против интеллигенции, а сами вы интеллигентка до мозга костей. Вы восстаете против неврастенических стихов — не потому ли, что вы сами неврастеничка. Я ждал возражений и обид, но она вдруг замотала головой и сказала: «Да, да, я в глубине души на вашей стороне... Я очень люблю Блока... Мальчики и девочки, свечечки и вербочки. Я требую от литературы внутренних прозрений... Я интеллигентка до мозга костей...»

В этой быстрой перемене фронта — вся мелкотравчатая дрянность педагогов. В прениях почти каждый придирался к мелочам и подробностям, а в общем одобрял и хвалил. Е.Ю. Шабад (беззубая, акушерского вида) попробовала было сказать, что и самый мой доклад — перевертыш, но это резонанса не имело. Каждый так или иначе говорил комплименты (даже Лилина), и вместо своры врагов я увидел перед собою просто добродушных обывательниц, которые не знают, что творят. Они повторяют заученные речи, а чуть выбьются из колеи, сейчас же теряются и несут околесину. Никто даже не подумал о том, что «Лепые нелепицы» не только утверждают в литературе «Стишок-перевертыш», но и вообще — ниспровергают ту обывательскую точку зрения, с которой педагоги подходят теперь к детской литературе, что здесь *ниспровержение всей педологической политики по отношению к сказке.*

Я из чувства самосохранения не открыл им глаз — и вообще был в тот вечер кроток и сахарно сладок. Сейчас я вижу, что это была ошибка, потому что, как я убедился через несколько дней, казенные педагоги гнуснее и тупее, чем они показались мне тогда» (Дневник. 28 ноября 1927. Т. 12, с. 347).

СОДЕРЖАНИЕ